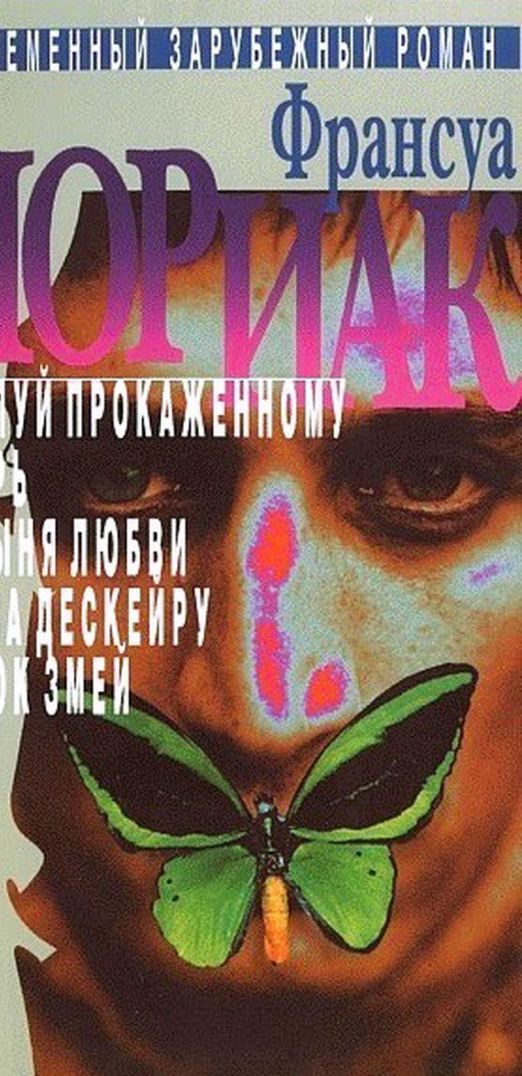
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа

# МОРИАК

ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
МАТЕРЬ
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
КЛУБОК ЗМЕЙ



ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
МАТЕРЬ
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
КЛУБОК ЗМЕЙ

Франсуа МОРИАК

1

# Том 1. Поцелуй прокаженному. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей

## Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак
ГРЕШНИКИ ПОД СЕНЬЮ БЛАГОДАТИ
ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

МАТЕРЬ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
КЛУБОК ЗМЕЙ
Часть первая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая

Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Часть вторая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая

## Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

Главный герой романа *«Поцелуй прокаженному»* — некрасивый, болезненный молодой человек, стеснительный и чудаковатый, который очень комплексует по поводу своей внешности и боится увидеть отвращение других людей, а потому избегает их, находя прибежище в религии. Однажды местную красавицу заставляют выйти замуж за героя, поскольку его род был богатым. При этом брак становится мучением для обоих. Может ли он

рассчитывать на свою долю женского тепла и ласки? И какой ценой можно добиться любви или заставить себя полюбить? Вновь автор ставит перед своими персонажами нелегкие нравственные задачи.

*«Матерь»* — один из ранних романов Франсуа Мориака. Тема романа — распад старинной провинциальной аристократии, вырождение так называемых благородных фамилий. Главные действующие лица романа выписаны необычайно ярко: это Фелисите, глава семейства, обожающая своего безвольного и глуповатого сына и защищающая дом от вторжении плебейки-невестки; Фернан, последний представитель рода, пятидесятилетний маменькин сынок; его жена Матильда, продавшая свою молодость за богатство и знатность.

Главный герой романа *«Пустыня любви»* — самолюбивый прожигатель жизни, обольститель женских сердец, вечно разбивающий их — неожиданно встречает в ночном ресторане женщину, которой он 17 лет назад поклялся отомстить за то, что она презрительно отвергла его юношескую лю-

бовь. Насколько будет сладкой этой месть?..

За этот роман автора получил Гран-при Французской академии в 1926 году.

Темами романа *«Тереза Дескейру»* становятся грех и преступление. Автор пытается найти истоки злодеяний, и поиски заводят его к проблемам брака в буржуазном обществе, проблемам семьи и морали. Не оправдывая героиню в ее преступлении, автор также сочувствует ей, поскольку она стала жертвой обывательского общества. Тереза становится женой ненавистного ей человека, самодовольного буржуа. Ее отчаяние превращается в ненависть, а ненависть ведет к преступлению. Казалось бы, у Терезы было все, что необходимо человеку для счастья. Так что же заставило ее разрушить собственное благополучие?

Роман *«Клубок змей»* принадлежит к самым острым, к самым разоблачительным произведениям Мориака-реалиста. Мир, изображенный в романе страшен и гнусен. Ложь, обман, равнодушие, вежливые недомолвки — такова повседневная жизнь большой и, на первый взгляд, совершенно счастливой се-

мьи удачливого провинциального адвоката Луи Калеза, почтенным старцем умирающего на руках у многочисленных отпрысков. Нет. Там не было ни открытых скандалов, ни скандалов тайных. Было идеально, в общем, все, кроме одного: в доме Калезов медленно умирала любовь. Любовь мужа и жены, вступивших в брак не отнюдь не по расчету. Любовь родителей к желанным, обожаемым детям, и детей, рожденных и растившихся в нежности и заботе. Как же и почему превратилась счастливая некогда семья в «клубок змей»?..

# Франсуа Мориак

# ГРЕШНИКИ ПОД СЕНЬЮ БЛАГОДАТИ

Франсуа Мориак (1885–1970) родился в Бордо, самом крупном городе Атлантического побережья, расположенном в краю ланд, где растут мачтовые сосны, а ветры с моря, двигающие дюны, насыпают новые песчаные валы. На протяжении всей жизни писатель никогда не испытывал неловкости оттого, что лучше столицы он знает Бордо и его окрестности. «Провинция — источник вдохновения, среда, что продолжает возводить на пути человеческих страстей преграды, почва, на которой произрастают драмы… Провинция все еще верит в добро и зло: сохраняет способность возмущаться и испытывать отвращение. Всякое пребывание в родных краях должно помогать нам разобраться в себе…» По мнению автора, этот край малопривлекателен. «Работа на земле тяжела и требует истового труда, жизнь в этом краю скудна и скучна, все события ее сводятся к приему пищи». Но какие бы отрицательные характеристики ни пытался дать провинции иной столичный житель, даже он признает ее преиму-

щества, пусть при отходе в мир иной. Любовь к родному краю сделала писателя ясновидцем, обладающим даром слышать музыку сосен в ландах и читать страницы внутренней жизни.

Родившись в консервативной и религиозной семье, Мориак получил соответствующее воспитание. Исследователи его творчества высказываются еще точнее: они говорят, что воспитание его было янсенистским, то есть католическим, но с протестантскими акцентами стойкости и воздержания. Мать Мориака с нежностью относилась к нему и его братьям, но была очень строга в вопросах морали. Неслучайно поэтому на всех произведениях этого автора лежит печать навязчиво возникающего повсюду, даже там, где его не ждешь, «плотского греха». В большинстве произведений автора встречаются проблемы, связанные с открытием сексуальности и ее подавлением, с мучениями из-за «необходимости греховной связи с женщиной», то есть с «торжествующей пошлостью» и «нищетой духа».

В 1928 г. он написал трактат «Страдания христианина», свидетельствующий о его духовном кризисе, поскольку он настроен бунтарски против христианского брака: «Обрекая женщину на вечную плодовитость, мужчина тем самым обре-

кает себя на вечное целомудрие». Трактат 1929 г. «Счастье христианина» свидетельствует о преображении Мориака. После серьезной операции на горле, когда он полагал себя уже почти отошедшим в мир иной, происходит преображение, он неожиданно делает удивительную карьеру: в 1933 г. его избирают во Французскую академию, для него открывается престижная работа, и успех неизменно сопутствует всем последующим его произведениям.

Начинал Мориак со стихов, обращенных к Богу и мирозданию. Первый его сборник стихов назывался «Руки, сложенные для молитвы» (1909). Его приветствовал мистик и философ национального толка Моррис Баррес. Первый роман, написанный в двадцать семь лет, «Дитя под бременем цепей» рассказывает о непростой встрече ребенка с враждебным, как выясняется, ему миром. Юноша из провинции ищет в столице избавления от душевной боли, которое возможно для него только на пути христианском. Он пытается примкнуть к религиозной организации «Любовь и вера», но в организации важна не идея, а культ ее предводителя. Предводитель требует преданного служения себе, а это невыносимо. Отвернувшись от единоверцев, юноша оказывается в тягостном

одиночестве, постепенно осознавая тот неординарный путь, который ему предстоит пройти.

Разразившаяся Первая мировая война, явственно затронувшая Мориака — ведь он принял в ней участие — заставила писателя еще точнее определиться по кардинальным вопросам любви и веры. Он понял более зримо, что ему не нравится в подлунном мире, что он не любит насилие, эгоизм и корыстолюбие, что ему ненавистны алчность и ложь, неправильное, как он полагает, догматическое понимание веры. Желание вскрыть движущие причины самых важных в человеческой жизни поступков движет писателем, когда он создает лучшие и наиболее известные свои романы «Поцелуй прокаженному» (1922), «Тереза Дескейру» (1929), «Дорога в никуда» (1939). Но ожесточенность, а затем прозрение подростка и молодого человека занимают его всегда: и в пятидесятые годы («Агнец», 1954), и в шестидесятые годы, когда он уже старик («Подросток былых времен», 1969), за что иные критики даже готовы назвать его писателем для молодежи.

В романе «Агнец» двадцатидвухлетний юноша, едущий из Бордо в Париж, чтобы поступить в семинарию, вмешивается в судьбу мужчины, имеющего дурную репутацию, «чтобы наставить

его на путь истинный», но в итоге пропадает сам. Читателю только остается догадываться, убийство это или самоубийство? Мориак пытается здесь разобраться в ситуации, обозначаемой им словами учителей своего героя как «искушение другими». Юноша чувствует себя ответственным за судьбу встреченных им людей. Однако как юноша «чистый», он обречен на неуспех, он агнец, которого судьба приносит на заклание, при этом, в сущности, не меняется дальнейший ход событий.

Обратившись в повести «Мартышка» к мальчику совсем нежного возраста, Мориак показал, насколько сложен контакт человека с миром, какие стадии он проходит, прежде чем огрубеет его душа, и он придет к твердому убеждению в необходимости защиты человеческого с помощью религии, традиций, обычаев, заведенного порядка вещей. Хаос в общих концепциях, неизбежное погружение в них юных существ всегда разрушительно и чревато необратимыми последствиями. Ребенок в этой повести погибает. Покончил ли он сам жизнь самоубийством, «помог» ли ему в этом отец, бросившийся в воду вслед за ребенком, одинаковые ли чувства руководили отцом и сыном в трагический момент, читатель этого не узнает.

Он вместе с писателем и участниками истории может только строить предположения. Однако читатель может быть твердо уверен в том, что основания покончить счеты с жизнью были и у того, и у другого. Струны души юного Гийу были натянуты до предела. И не только потому, что его слезы и не вполне привлекательный вид вызывали раздражение у матери, у служанки, у знакомых детей. Такое случается. Ребенку оказалось трудно, не по себе, в неразгаданном им мире лицемерия, расколовшемся на две половины, противостояние которых осознать в полной мере в ландах, стране уходящих традиций, чрезвычайно трудно.

«Классовая борьба — это ведь не просто так для учебников. Она вторгается в нашу повседневную жизнь, она должна направлять все наши поступки», — думает учитель-социалист Бордас. Под влиянием мещанки-жены он жестоко отстраняет от себя внука баронессы, который за свою короткую жизнь не встретил никакого тепла, никакой любви, никакого внимания и был рад новому человеку, его книгам, новым разговорам, даже рассказам о чужом ребенке.

Ни Гийу, ни его мать, никто из членов его семьи и людей таких, как понравившийся им

учитель Бордас, прежде не встречали. «Ведь школьный учитель — социалист, человек совсем другой породы: чрезмерная любезность баронессы, возможно, покажется ему оскорбительной. Людей этого сорта не возьмешь подчеркнутой учтивостью, якобы уничтожающей социальные различия». И хотя баронесса, как и все выросшие в деревне дворяне, умела говорить с крестьянами, знала все тонкости местного диалекта, ее речь источала порой обаяние старины, да и сын ее во время войны пропал без вести, на той же войне, где Бордас был ранен, «красному» учителю все это вместе было чуждо и почему-то восстанавливало его против старой дамы и всего, что с ней связано. Мориак не доискивается корней этого непонимания. Он лишь констатирует расподобление ближних по земле, но дальних по крови, приведшее к трагической гибели ребенка, очарованного атмосферой «нового» быта, взыскующего социальной справедливости Бордаса.

Как и многие его современники, будучи человеком верующим, точно указывающим на греховность несовершенной человеческой природы, Мориак рассуждал примерно следующим образом: «А зачем вообще говорить о каких-то преобразованиях, о революциях: голод и жажда

справедливости неизбежно столкнутся с голодом и жаждой совсем иного рода, со всякими гнусными вожделениями, с алчностью, с социальной глухотой и непониманием ближнего». Учитель Бордас не увидел и не почувствовал души ребенка, не понял ее ранимости, не предощутил отчаяния отринутого существа, которое никто не хотел понять, не хотел даже приблизиться к нему.

Неоправданной жестокостью отмечено поведение другого героя Франсуа Мориака — подростка из позднего романа «Подросток былых времен». Юноша постоянно издевается над наивной и робко влюбленной в него девочкой, которая в конце концов трагически погибнет. Мастерство писателя в этом произведении заключается в том, что он сумел показать, как в душах людей, проявляющих себя с отрицательной стороны, проклевываются добрые ростки: способность к нравственному перерождению и душевному сочувствию чужой беде. Эти ростки могут засохнуть, но могут и победить злые побуждения.

«Подросток былых времен» по имени Ален Гажак убежден, что от других мальчиков его отличает глубокая религиозность. Он верит в Бога, ему «нужен этот поплавок, чтобы удержаться на

поверхности нашего страшного мира и не пойти ко дну». Но подобно всем он испытывает влечения плоти, которые в его сознании вступают в вопиющие противоречия с предписываемой религией «чистотой». В этом романе Мориак с новой силой продемонстрировал, что человеку, не отступая от десяти заповедей, необходимо еще и мыслить самостоятельно, быть личностью, и, преступая «Божье» на земле, заслужить, быть может, «вечное спасение».

Современник на пути к Богу — сложное существо. И самое элементарное, и самое потаенное вступают в нем в рискованные отношения. Божественное в героях Мориака не просто подмешанная приправа, католическое мироощущение разлито в воздухе его произведений, не переставая выглядеть реально и быть правдоподобным. Герои вынужденно, в согласии и противоречии со своей совестью, решаются на те или иные поступки. Они могут думать о достижении «совершенства» (социального или морального?) на земле и потому жить мучительно, могут не думать об этом вовсе, однако это не означает, что жизнь не столкнет и тех и других со сложными ситуациями выбора, зрелого решения. Мир постоянно испытывает человека на прочность, мало

кто выдерживает эти испытания, ибо на пути к Богу встает слишком много преград. «Холодная душа, — пишет Франсуа Мориак, — восхищается собственной холодностью, не задумываясь над тем, что ни разу в жизни, даже в самом начале своих поисков путей к совершенству, она не испытала и тени чувства, которое хотя бы отдаленно напоминало любовь, и что она всегда обращалась к Господу только для того, чтобы призвать его в свидетели своих необыкновенных достоинств». Люди тщеславны и честолюбивы, не давая себе труда размышлять о ближнем, они совершают много непоправимых ошибок. Особенно в последнее время, когда они начали заменять религиозное чувство эстетическим переживанием.

В повести «Галигай» (1952) молодые люди, Николя Плассак и его друг Жиль, чувствуют себя настолько взаимно преданными и настолько близкими Богу, что им трудно помыслить об отношениях с женщинами. Однако пути их складываются по-разному. Жиль счастливо влюбляется и готов к браку. По-другому развивается интеллектуальная сенсорика Николя. Делая первые шаги на пути плотской любви, он сначала подсознательно, а затем все более осо-

знанно отталкивается от присутствия женщины в его повседневности. Его смущает не пробудившееся в нем вожделение, оно минимально, а бессмысленная рутина сближения с существом противоположного пола. Он не может сказать, что ему нужна женщина непременно богатая и родовитая, но и ожидающая его честная и бедная женщина ему не нужна. Он вовсе не стремится жить в одной комнате с существом, которое, кажется, уже все за него решило и чувствует себя уже настолько осененным чувством превосходства, невероятно близким, перешедшим Рубикон, что абсолютно заслоняет его внутреннюю свободу, свободу обращения к Всевышнему и жизни с Ним.

Галигай пыталась привести Николя к общему с ней «знаменателю», недооценив того места, которое он отводил ей в своем сознании, его личностные проявления. А по Тейяру де Шардену: «Именно тем, что есть в нас непередаваемо личного, мы соприкасаемся со Всеобщим». Это высказывание передает нам то ощущение веры, которое в безрадостном, весьма угрюмом, пропыленном и залитом слезами провинциальном мире сохраняет в себе герой, в котором много от самого Мориака. В контактах и связи с Гали-

гай не было никакой духовности, она чересчур торопливо создавала внешнюю форму их взаимоотношений, решая те вопросы, которые он и не ставил перед собой. Ему было трудно заявить о нежелании поддерживать с ней какие-либо взаимоотношения, но когда он совершил этот унизивший ее шаг, у него гора рухнула с плеч. Он возвысился над собой, «превратившись в немое и слепое существо»: он не сделал ни единого движения, пока не убедился, что она покинула комнату. После чего взял носовой платок и вытер руки. Он не стал поднимать кольцо, которое она бросила на пол. «В сущности он не испытывал к этой женщине того отвращения, которое заставило его сравнить ее руки с пиявками, но она была глубоко ему чужда и находилась по ту сторону его сознания». На вопрос о том, что же на самом деле его манило, отвечает последняя фраза повести: «Чужой самому себе, далекий от всех людей, он сел на парапет и стал ждать, словно назначил тут кому-то свидание». Николя Плассака увело от решавшей за него все вопросы женщины то, что все тот же Тейяр де Шарден называл «Божественной средой», «обширной и неизмеримой, легкой и неощутимой», «развитие которой приводит нас к самоотречению».

Глубинная вера и этические принципы писателя помогали ему определяться политически, что в тридцатые годы было чрезвычайно трудно, ибо запальных мыслителей, застрельщиков самых разных большевистских, пацифистских и националистических движений было немало. Франсуа Мориак почти безошибочно проложил свой путь между Сциллой и Харибдой своего времени. Он приветствовал антифашистов в Испании. Будучи благодарным Морису Барресу за поддержку в начале пути, в дальнейшем он не поддержал его национализм, осуждал большевизм за кровопролитие. Хотя и католик, он не стал пацифистом, радовался победам русских на Восточном фронте, принесшим в конце концов Европе освобождение.

Твердо и независимо звучит голос Мориака в публицистике военных лет. Он взыскательно анализирует события сороковых годов, подвергая критике неподготовленность армии, непредусмотрительность генералитета, отсталость техники, слепую доверчивость прессы и другие материальные и нравственные причины покорения Франции Германией. Немцы даже заняли его собственный дом. Отстаивая честь писателей, он осуждает презревших родину коллаборацио-

нистов, выступает в поддержку тех, кто помогает Франции не падать духом: «У каждой страны такие писатели, которых она заслуживает, они свидетели и не лгут, они сообщают в каждый данный момент точную температуру ее гения». В знаменитом дневнике военных лет, названном «Черной тетрадью», он констатирует, что только трудящиеся остались верны поруганной Франции. Французская полиция стала шайкой надзирателей на каторге: спекулянты, дельцы и продажные литераторы неплохо обогатились под покровительством оккупационной армии.

Фашизм не только принес разрушения, уничтожил большие массы людей, но еще на долгие годы подточил духовные силы народа, изуродовал его нравственность, исказил мораль.

Когда Франция была освобождена при активном участии генерала Шарля де Голля и восстановился некий порядок, при котором стало возможным не только восстановление страны, но даже и ее процветание, Франсуа Мориак написал апологетическую книгу «Шарль де Голль» (1963). Ее осудят в период развенчания «диктатора» де Голля, но она была написана вполне искренне.

Еще в 1952 году за творчество тридцатых и сороковых годов Мориак был награжден Нобелевской

премией по литературе, а написаны им к этому времени, помимо вышеупомянутых «Дитя под бременем цепей» и «Поцелуя прокаженному», «Матерь» (1923), «Пустыня любви» (1925), «Тереза Дескейру» (1927), «Клубок змей» (1932), «Фарисейка» (1941), «Мартышка» (1951), «Галигай» (1952).

Одним из лучших романов писателя считается роман «Тереза Дескейру», серьезное социальное произведение, поставившее проблему веры в необычном ракурсе. Героиня дает мужу под видом лекарства размеренные порции яда. Ей ненавистен ее брак по расчету с человеком, который ей отвратителен. Ее цель — завладеть его состоянием, избавившись от него самого. Когда-то в молодости стремление сделать хорошую партию побудило Терезу фактически продать себя под видом замужества. Этот шаг, для молодой девушки абсолютно нормальный, ни с чьей стороны не вызвал осуждения, но именно он стал прямым источником озлобления Терезы, в которой на какое-то время умолкло человеческое начало, и она оказалась способной на убийство.

Роман о Терезе Дескейру — в сущности, обширный монолог преступницы, хотя писатель присоединяет к нему свой голос, иногда настолько близко, что порой их невозможно отделить.

Мориаковская героиня начисто лишена всякого самолюбования и надеется искренностью признания заслужить у себя самой право начать новую жизнь. В эпиграфе романа звучат слова Бодлера: «Господи, смилуйся, смилуйся над безумцами, над безумными мужчинами и женщинами! Разве может считать их чудовищами тот, кто один только знает, почему они существуют на свете, отчего они стали такими, и как они могли бы не быть чудовищами?» Возможно, поэтому Тереза мысленно пробегает всю прожитую жизнь, останавливаясь не столько на ее внешних фактах, сколь на истории своей души. Детство Терезы — «снег чистый и холодный у истока мутной реки». В лицее она интересуется пустячными радостями и мелочными трагедиями пансионерок, но живет своей особой жизнью. Самая умная и самая образованная девушка в ландах, всосавшая с молоком матери хозяйственность и бережливость, выйдя замуж за богача Бернара из соседнего имения, вдруг прозревает, видя, что ее муж не хорош собой, не умен и даже похож на свинью. Тут подворачивается встреча с молодым парижанином, который убеждает Терезу, что она живет не просто в подчинении у мужа, но, можно сказать, даже в тюрьме, в однообразной трясине

устаревшего быта. Провинциалка рвется к свободе, мучительно ее жаждет, совершая все более отвратительные поступки и в конце концов даже добивается искомой безбедной жизни в Париже, но выясняется, что есть что-то очень страшное в уходе из семьи, где она была столь одинока. Мир, в котором она оказалась, погрузил ее в еще большее одиночество.

Роман «Клубок змей» написан от лица больного старика, окруженного кровно близкими ему людьми: это его жена, с которой он неразлучно прожил около полувека, их дочь, сын, замужние внучки. Внешне все они обращаются с ним до приторности ласково, но герой романа Луи был раньше адвокатом, и профессиональное умение отличать истину от притворства помогает ему понять, что все его близкие относятся к нему и друг к другу с ненавистью. Каждый из них с нетерпением ждет его смерти, чтобы захватить в свои руки принадлежащий ему сейф с бумагами. Старик ощущает себя у себя дома загнанным зверем в кольце охотников, но в то же время сознает, что и сам он в этом повинен: в свое время он жестоко обошелся с горячо любившей его матерью, обманывал жену, отталкивал от себя детей, к которым был совершенно равнодушен.

Пружиной всех конфликтов оказываются деньги, не теряющие власти над душами героев даже в самые счастливые их дни.

Из «Дневников» писателя, опубликованных в конце пятидесятых годов, видно, как много времени он провел над страницами своих «великих учителей», литературных мэтров — Бальзака, Флобера, Толстого и Достоевского. Он замечает, что, в сущности, они всю жизнь писали одну и ту же книгу: за что бы они ни брались, у них выходило то, чем они были сами. Их романы суть разножанровые исполнения самих себя. Мориак тоже считает, что он одержим одной лишь мыслью — спасением грешной души, иными словами — идеей активного гуманизма. У ортодоксальных католиков возникло даже против него обвинение в скрытом фрейдизме, в оправдании злостных преступлений, в небрежении христианскими ценностями. Но тем и притягательно мышление страстотерпца Франсуа Мориака, что он разрушает готовые шаблоны предъявляющих ему претензии косных пуристов. Литературные приемы писателя формировались под воздействием лучших классиков XIX столетия. Мориак, по его собственному выражению, хотел соединить «французскую риторику и русскую сложность».

Он бесконечно мог перечитывать страницы отдельных произведений, стараясь отгадать их секрет. Может, поэтому его романы так глубоки и афористичны.

Вслед за романом «Клубок змей» Франсуа Мориак написал «Тайну семьи Фронтенак» (1933) — книгу, пытающуюся утвердить семью как неоспоримую ценность. Несмотря на стремление отдельных членов семей вырваться из обуславливающих их патриархальных отношений во множестве романов писателя, он признает за семьей высокие достоинства, специально подчеркивая роль матери, хранительницы домашнего очага. В романе о семье Фронтенаков такая хранительница осталась без всякой поддержки после смерти мужа, и только ее добродетели, безграничная любовь к детям спасли ее семейство. Она способствовала тому, чтобы один из ее сыновей, самый молодой и строптивый, стал хозяином семейного дела. Но особенно она любила начинающего поэта и философа Ива, в чьем образе угадываются черты самого Мориака. Ив тоже был бесконечно предан своей матери, она была для него частью его «божественной среды», тем духом, который соединял его с самыми близкими и добрыми людьми на земле. В этом

заключалась его тайна и оправдание «предательства» — письменного рассказа о самой близкой ему, собственной, семье и взаимоотношениях тех, с кем он провел большую часть своей жизни.

Однажды в 1939 г. Сартр в «Нувель ревю франсэз» написал статью о том, что ему не нравится, как писатель вмешивается в судьбы своих персонажей: он не дает им свободы, необходимой для самоопределения в пространстве романа. Критика справедлива, известная заданность свойственна романам писателя. Его всегда менее занимала литературная техника, значительно больше его волновал возможный духовный резонанс. То, что может быть слабостью у одного автора, оборачивается духовной силой у другого. Вслед за Паскалем, в преданности которому Мориак изъясняется во многих статьях и сочинениях, он утверждает, что вера тогда только является истинной, когда она выстрадана жизнью, пережита и только впоследствии интеллектуально осмыслена. С этой точки зрения его романы — это своего рода опыты, которые до предела развивают реальные жизненные ситуации, при этом совершается некий драматический поворот событий, который и определяет их философско-символическое значение. Чаще всего

это возрождение героев после духовной смерти, снисхождение на них Благодати. Размышления Мориака минуют церковные догматы, но он остается на пути истинного христианства и непрерывности веры, которая заключается для него в бескрайней любви к Тому, чье присутствие в мире запредельно и неизменно.

**Оксана Тимашева**

# ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ

*ЛУИ АРТЮ*
*его почитатель и друг*
***Ф. М.***

# I

Лежавший на кровати Жан Пелуер открыл глаза. Вокруг дома стрекотали кузнечики. Сквозь жалюзи расплавленным металлом струился свет. Морщась от горечи во рту, Жан Пелуер поднялся. Он был такого маленького роста, что низкое трюмо отражало его жалкую физиономию, впалые щеки, острый длинный красный нос, напоминавший замусоленный ребенком леденец. На морщинистый лоб углом спускались короткие волосы. Лицо Жана скривилось, обнажились гнилые зубы и десны. Ненависть к себе еще сильнее, чем обычно, захлестнула его, в мозгу, однако, промелькнула сострадательная мысль: «Не размять ли тебе ноги, Жан Пелуер?» И он провел рукой по заросшему подбородку. Но как выйти, не потревожив отца? Между часом и четырьмя Жером Пелуер неукоснительно требовал полной тишины: это время покоя было для него священным, оно помогало пережить ночную бессонницу. В эти часы весь дом замирал: ни одна дверь не открывалась и не закрывалась, ни единое слово, ни единый чих не нарушали мертвую тишину помещения — десятилетними мольбами и жало-

бами отец выдрессировал и Жана, и слуг. Даже прохожие понижали голос под их окнами. Экипажи объезжали дом стороной. Но несмотря на то, что буквально все кругом оберегали его сон, едва пробудившись, отец принимался сетовать на звон посуды, лай, кашель. Может, он думал, что полный покой унесет его к покою вечному, как река несет свои воды к океану? Просыпался он неизменно в дурном расположении духа и даже в самый жаркий день, сверкая лысиной, усаживался с книгой в руках у кухонного очага. Кадетта колдовала над своей стряпней, обращая на хозяина внимания не больше, чем на подвешенный к потолку окорок. Жером Пелуер, напротив, наблюдал за старой крестьянкой, удивляясь, как это, родившись еще при Луи-Филиппе, она умудрилась ничего не знать ни о революциях, ни о войнах, ни о других промелькнувших за все эти годы событиях, и единственной ее заботой оставался выкармливаемый ею поросенок, которого закалывали под Рождество, после чего на ее гноящиеся глаза неизменно навертывались слезы.

Хотя после обеда весь дом отдыхал, пекло на улице манило Жана — прежде всего потому, что обещало уединение: вдоль узкой полоски тени, которую отбрасывали здания, он проскользнул

бы совсем незаметно, не вызвав смеха у девиц, сидящих с шитьем возле своих жилищ. Его жалкое бегство неизменно веселило женщин, но около двух они еще спали, — обливаясь потом, постанывая от досаждавших мух. Хорошо смазанная дверь даже не скрипнула. Жан пересек вестибюль, где из шкафов пахло вареньем и плесенью, а с кухни несло жиром. Его матерчатые туфли скрадывали звук шагов. С крюка под кабаньей головой Жан снял ружье, хорошо знакомое всем сорокам в округе. Жан слыл заклятым врагом сорок. На стойке накопилось много всякой всячины, оставшейся от прежних поколений: трость-ружье двоюродного деда Усилана, удочка и трость-шпага деда Лапенина, окованные железом палки, напоминавшие о водолечебнице в Баньер-де-Бигорре. Сервант украшало чучело цапли.

Жан вышел на улицу. Раскаленный воздух поглотил его, сомкнулся над ним, словно вода в бассейне. Жан решил было направиться к месту, где река, миновав деревню, выдыхает в ольховой роще родниковую свежесть. Но Жана там накануне допекли комары, к тому же ему хотелось перемолвиться с кем-нибудь словом. И Жан двинулся к дому доктора Пьёшона, чей сын, сту-

дент-медик, приехал этим утром на каникулы.

Все погрузилось в спячку, лишь иногда через прикрытые ставни солнце зажигало блики на старушечьих очках. Жан Пелуер прошел между двумя глухими оградами садов. Это был его любимый путь, здесь ничей взгляд не подстерегал его, и он мог свободно предаваться своим размышлениям. Размышляя, он морщил лоб, жестикулировал, смеялся, декламировал стихи — над его пантомимами подтрунивал весь город. Здесь же друзья-деревья скрывали от посторонних его одинокие речи. Впрочем, Жан предпочел бы лабиринт улиц в большом городе, где прохожим нет до тебя дела и можно сколько душе угодно беседовать с самим собой. Так, по крайней мере, уверял в своих письмах Даниэль Трази. Даниэль вопреки воле родителей занялся в Париже литературой. Жан представлял себе гибкую фигуру своего приятеля, рассекающую, словно волны, толпу парижан; наверняка он и сейчас, прерывисто дыша, плывет к четко поставленным целям — богатству, славе, любви, недостижимым для Жана Пелуера.

Неслышным шагом вошел Жан в дом доктора. Служанка сказала, что господа завтракают в городе. Жан решил подождать младшего Пьёшона.

Характерная обстановка комнаты, выходившей в вестибюль, давала ясное представление о том, кто в ней жил: на стене полочка для трубок, афиша студенческого бала, на столе череп с кощунственной носогрейкой в зубах, книги, приобретенные специально для чтения в каникулы — «Афродита», «Римские оргии»[1], «Сад пыток», «Дневник горничной»[2]. Внимание Жана привлекло «Избранное» Ницше[3] — он взял его в руки, полистал. Из открытого чемодана пахло летней одеждой. «*Что есть добро*? — прочел Жан. — *Все то, что возбуждает чувство силы, волю к власти, укрепляет человека. Что есть зло? То, что коренится в слабости. Пусть слабые и неудачники гибнут — слабого толкни. Вреднее всякого порока жалость, которую испытывает*

---

**[1] Примечания: 1**

«Афродита», «Римские оргии» — эротические романы французского поэта и писателя-модерниста П. Луиса (1870–1925).

**[2] Примечания: 2**

«Сад пыток», «Дневник горничной» — романы французского писателя, романиста, драматурга, публициста и художественного критика О. Мирабо (1848–1917).

**[3] Примечания: 3**

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий мыслитель, в значительной мере определивший новую культурно философскую ориентацию и основные черты неклассического типа философствования. Философия Ф. Ницше стало опорой фашисткой идеологии с теорией «высших» и «низших» рас.

*сила к немощным и опустившимся людям, — а не на этом ли строится все христианство?*»

Жан Пелуер положил книгу на место. Прочитанное хлынуло в него, как полуденный свет в комнату, когда открывают ставни. Жан и впрямь машинально подошел к окну и впустил в комнату приятеля дневной свет, затем еще раз перечитал жестокие слова. Потом закрыл глаза, снова открыл и уставился на свое изображение в зеркале: невзрачная физиономия жителя ланд[4] — «ландурка», как дразнили его в коллеже, тщедушное тело, с которым ничего не смогла поделать даже все преображающая юность. Жалкий тип — таких спартанцы сбрасывали в пропасть. Он вспомнил себя пятилетнего у сестер-монахинь: несмотря на высокое положение Пелуеров в обществе, все первые места и лучшие отметки доставались детям кудрявым и красивым. Он вспомнил, как на контрольной по чтению прочел лучше всех, а его все равно поставили на последнее место. Жан Пелуер спрашивал себя иногда, любила ли его на самом деле рано скончавшаяся от чахотки

---

**[4] Примечания: 4**

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

мать. Сам он ее не помнил. Вот отец, тот души в нем не чаял: Жан был слабым отражением его самого, его бледной тенью в этом мире, где он осторожно прохаживался в домашних туфлях или возлежал на кровати, благоухающей валерьянкой и эфиром. Старшая сестра господина Жерома, тетка Жана, племянника терпеть не могла, однако она так обожала своего сына Фернана Казенава, человека видного, председателя генерального совета департамента, — она жила вместе с ним в Б., — что все остальные для нее как бы не существовали, она их в упор не видела. И все же порой она снисходила до Жана, так как, по ее расчетам, через племянника, обреченного на холостяцкое прозябание и раннюю смерть, все состояние ее болезненного брата должно перейти в руки Фернана. Перед взором Жана в единый миг предстала вся его неприкаянная жизнь. Три года в коллеже он провел, ревниво скрывая свою сердечную привязанность к приятелю Даниэлю Трази и аббату, преподавателю риторики, которым было невдомек, что означает этот его взгляд — взгляд побитой собаки.

Жан Пелуер открыл книгу Ницше на другой странице — это оказалось «По ту сторону добра и зла» — и жадно впился глазами в высказывание

под номером 260, где шла речь о двух типах морали: морали господ и морали рабов. Он глядел на свое освещенное солнцем, желтое, как обычно, лицо и повторял слова Ницше, проникаясь их смыслом, — порывами октябрьского ветра отзывались они в его душе. На мгновение Жану показалось, что его вера вырвана с корнем, подобно дубу. Разве не она в этот знойный день валяется у его ног? Нет и еще раз нет! Дерево еще поддерживало его множеством своих корней. После обрушившегося на него шквала Жан опять обретал в своем сердце любимую тень, тайну, хоронящуюся под густой, вновь недвижной листвой. Жан осознал вдруг, что религия для него прежде всего убежище. Ему, уродцу, лишившемуся матери, она служила утешением. На алтаре обитал Тот, кто заменял Жану друзей, которых у него отродясь не было, а на Богородицу перенес Жан преданность, которая предназначалась матери по плоти. Душившие Жана признания изливались в исповеди или в безмолвных молитвах в сумраке церкви, в ночной свежести темного нефа. И тогда сосуд его сердца разбивался у невидимых ног. Если бы у Жана были кудри, как у Даниэля Тразн, которого с самого детства не переставали ласкать женщины, стал бы он

проводить свои дни среди старых дев и служанок? Он был из рабов, на которых так ополчался Ницше. Об этом свидетельствовала его невзрачная наружность, он носил на себе неизгладимую печать проклятия. Казалось, он был создан для того, чтобы терпеть одно поражение за другим, как, впрочем, и его отец, такой же набожный, как Жан, но более подкованный в богословии, еще недавно штудировавший святого Августина и святого Фому. Жана мало заботили догматы, религия была для него лишь поводом излить свои чувства, тем не менее он восхищался отцом, искавшим ей разумное обоснование. Жан всегда помнил слова, которые отец любил повторять: «Без веры кем бы я стал?» Однако при всей своей вере он не мог в обычный день пойти на мессу из боязни простудиться. По большим праздникам его пускали в протопленную ризницу, откуда он, тепло закутанный, следил за церемонией.

Жан Пелуер вышел из дома. Он снова, размахивая руками, шел по проходу между глухими стенами под дружественной сенью безмолвных деревьев. Иногда ему представлялось, что вера, поддерживавшая его на плаву, неожиданно покинула его. И ничего, ничего не осталось. Подобный исход доставлял ему странное удовле-

творение, на ум приходили школьные строчки: «Примерно наказать меня решили боги. Хвала, бессмертным, вам за то, что вы так строги…»[5] Но через несколько шагов он уже доказывал деревьям, камням, стенам, что среди христиан есть подлинные господа и что святые, великие ордена, сама католическая Церковь являют собой высочайший пример воли к власти.

Поглощенный таким множеством мыслей Жан пришел в себя лишь от звука собственных шагов в вестибюле — тут же со второго этажа донесся стон. Сонный плаксивый голос отца позвал Кадетту. На кухне застучали стоптанные башмаки служанки, во дворе залаяла собака, открыли ставни — пробуждение господина Жерома выводило из оцепенения весь дом.

Опухшие глаза, горечь во рту — отцу в эти минуты все представлялось в черном цвете. Жан поспешил укрыться в гостиной, где было прохладно, как в погребе. Налет на стенах скрывали заплесневелые обои. Бой часов здесь зачастую некому было слушать. Жан уселся поглубже в кресло. На душе у Жана было неспокойно, его вера теряла опору. Прожужжала и замолкла муха.

---

**[5] Примечания: 5**

Расин. Андромаха. Пер. И. Шафаренко и В. Шора. *(Здесь и далее примеч. пер.).*

Закукарекал петух, послышалась птичья трель — снова петух… часы пробили половину… опять петух… один… другой… Жан задремал.

Проснулся Жан в отрадный час, когда он обычно окольными улочками добирался до небольшой дверцы, ведущей в благовонный сумрак церкви. Отказаться ли ему теперь от этих свиданий с Богом? Но на какое еще свидание может рассчитывать такой мозгляк, как он? Вместо церкви Жан пошел в сад: заходящее солнце обещало прохладу. Там порхали белые бабочки. Внук Кадетты — красивый малый в сабо на босу ногу, любимец девушек — поливал салат. Жан Пелуер избегал этого парня, ему претило, что тот его слуга. Не справедливее ли было бы такому тщедушному типу, как Жан, ублажать этого юного, излучавшего довольство огородного бога? Жан даже издалека не отважился ему улыбнуться. С крестьянами Жан держался на редкость скованно. Сколько раз он пытался помочь кюре в благотворительных делах, в церковной школе, но всегда непонятный стыд сковывал его, обращал в посмешище, заставлял вернуться к своему одиночеству.

Господин Жером тем временем шел по аллее, окаймленной подстриженными грушевыми деревьями, гелиотропами, резедой, геранью, где

все перебивал запах огромной липовой рощи, заполнявшей, казалось, все пространство до самых небес. Господин Жером еле волочил ноги. Штанина застряла в туфле. На голове — помятая соломенная шляпа с отделкой из муара, на плечах — принадлежавшая сестре старая вязаная накидка. В руках у отца Жан признал том Монтеня[6]. Конечно же, в «Опытах», как и в религии, отец находил оправдание своему бездействию, они придавали его отношению к жизни некое подобие мудрости. Да, именно так, думал Жан, бедняга называет это стоицизмом, христианским смирением, на самом деле он просто не хочет признать, что потерпел полное поражение в жизни. Жан хвалил себя за проницательность. Да, он любил отца, жалел его и в то же время презирал. Больной без конца причитал: в затылке колет, тяжело дышать, тошнит... А тут еще к нему ворвался арендатор Дюберн д'Уртина и потребовал еще одну комнату, а то, видите ли, некуда поставить шкаф его замужней дочери. Почему его не оставят в покое? Почему не дадут спокойно умереть? В довершение всего завтра

**[6] Примечания: 6**

Монтень М. (1533–1592) — французский философ, писатель, политический деятель эпохи Возрождения. Выступал против теологического догматизма и схоластического авторитаризма

четверг, базарный день, мало того, к нему пожалуют сестра Фелисите и племянник — их потом не выгонишь. И весь этот бедлам начнется чуть свет, спозаранок больного разбудит скотина на базарной площади, а у дверей затарахтит машина Казенавов, возвещая о начале еженедельной напасти. Фелисите вломится на кухню и в угоду своему сыну поломает весь распорядок дня брата. Эта парочка укатит только вечером, оставив Кадетту в слезах и хозяина дома полуживым.

Слабый, беззащитный перед врагом, господин Жером втайне лелеял свою месть. Он так часто бормотал под нос, что оставит Казенавам «кукиш с маслом», что Жан поначалу не придал значения словам отца, когда тот наконец заговорил с ним об этом. «Мы обведем их вокруг пальца, Жан, только ты должен все сделать, как я скажу. Сделаешь?» Витавший в облаках Жан только улыбнулся в ответ. Тем временем отец оглядел его с ног до головы и сказал: «Тебе в твоем возрасте следует больше заботиться о своей одежде, ты ведь не на паперти стоишь!» И хотя господин Жером никогда прежде не обращал внимания на то, во что одет его сын, Жан и не подумал спросить, что тот имеет в виду. Жан вообразить себе не мог, какой сюрприз готовит ему судьба. Взяв

из отцовских рук Монтеня, Жан прочел: «*Что до меня, то я поклонник жизни как бы скользящей, малоприметной, немой*»[7]. Вот и они с отцом скользят по жизни неприметно, в безмолвии. Вода в озере подернулась рябью, вокруг мертвого крота сновали головастики. Опасаясь простуды, господин Жером поспешил к дому. От нечего делать Жан выглянул через приоткрытую калитку сада на улицу. Заметив его, внук Кадетты выпустил из рук девушку, которую сжимал в объятиях, — словно яблоко обронил.

**[7] Примечания: 7**
Монтень. Опыты. Ч. 3. Гл. X. Пер. А. С. Бобовича.

## II

В эту ночь Жан Пелуер почти не спал. Открытые окна глядели в белесую ночь — из-за кваканья лягушек в пруду было шумно, как днем. Обманчивый свет звезд до самой зари не давал угомониться петухам. Городские петухи перекликались с фермерскими, а те разносили петушиные крики дальше. «Тысячекратный зов, на сменах повторенный...»[8] Жан не спал, прислушиваясь к глухому звучанию стиха. Через оконные переплеты в комнату струилось сияние звезд, поглощавших небесную лазурь. Жан подошел босиком к окну и уставился на звездные миры, называя их по именам. При этом его неотступно преследовал вчерашний вопрос: что для него вера — некая совокупность идей или хитроумный способ утешить самого себя? Разумеется, среди господ преобладали верующие. Но разве Шатобриан[9], к примеру, не рискнул хоть раз

---

**[8] Примечания: 8**

Бодлер. Маяки. Пер. Вяч. Иванова.

**[9] Примечания: 9**

Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) — французский политический деятель эпохи Реставрации, писатель, один из основоположников романтизма в европейской литературе.

пожертвовать вечностью ради женской ласки? А сколько раз ради поцелуя предавал Сына человеческого Барбе д'Оревильи[10]? И не было ли их предательство ценой за обретенную победу?

На рассвете Жана разбудил жалобный визг поросят. Как и вообще по четвергам, Жан поостерегся открывать ставни, чтобы с рынка никто его не увидел. На тротуаре, прямо под окнами мадам Буриде, продавщица остановила Ноэми д'Артьял, чтобы спросить, успела ли та позавтракать. Жан не спускал жадных глаз с семнадцатилетней Ноэми. Ее лицо испанского ангелочка, обрамленное каштановыми кудрями, не очень сочеталось с коренастой фигурой, но Жану как раз и нравился контраст молодого, крепкого, слегка угловатого тела с ангельским личиком — местные кумушки недаром твердили, что Ноэми д'Артьял прямо загляденье. Приземистая Рафаэлева мадонна, она пробуждала в Жане все самое лучшее и самое худшее, рождала высокие мысли и вызывала низменные вожделения. Ее нежная шея покрылась испариной. Длиннющие ресницы и темные бездонные глаза придавали девушке целомуд-

**[10] Примечания: 10**

Барбе д'Оревельи Жюль Амеде (1808–1889), французский писатель, поздний романтик. Критиковал общество с позиций нравственно католического максимализма

ренный вид.

Младенческое лицо, девственно-детские губы — и неожиданно здоровые, как у парня, руки и затянутые шнуровкой мощные плотные икры. Жан следил за этим ангелом украдкой, а вот внук Кадетты, тот мог разглядывать Ноэми в упор — такие красавчики, пусть даже из простонародья, вправе пялить глаза на любых девушек. Жан едва осмеливался вдыхать потревоженный ее перкалевым платьем воздух, запах туалетного мыла и чистого белья, когда на обедне, пересекая неф, она задевала его стул. Вздохнув, Жан надел вчерашнюю (она же позавчерашняя) рубашку. Его тело было без толку ублажать. Для умывания он брал кувшин с водой и тазик, такой крошечный, чтобы можно было, не поломав, открывать крышку комода. В саду под липой Жан молиться не стал, а уткнулся в газету так, чтобы внук Кадетты не видел его лица. Он еще насвистывал, этот поганец! С красной гвоздикой за ухом внук Кадетты выглядел расфуфыренным самцом. Его синие брюки поддерживал ремень. Жан Пелуер люто ненавидел этого баловня судьбы и сам ужасался своей ненависти. Даже мысль о том, что этот хлыщ рано или поздно превратится в обрюзгшего крестьянина, не согревала душу, ведь к тому

времени на его место заступит другой — другой, столь же крепкий, столь же хорошо сложенный парень будет поливать салат, подобно тому как в воздухе будут порхать другие белые бабочки, как две капли воды похожие на сегодняшних. «Этим летним утром моя душа еще уродливее моего лица», — подумал Жан.

Из дома донеслись звуки флейты. Неужели это кюре? Его ежедневный визит обычно не приходился на эту пору. Как это он не побоялся прийти, зная, что Фернана Казенава воротит от одного только вида священнослужителя? Спрятавшись за липой, Жан Пелуер видел, как мимо трусцой пробежал Фернан, — он всегда бегал перед тем, как сесть за стол. За ним, задыхаясь, трусила его мать. Крупная, с большими ногами, с лицом старой матроны, она упиралась подбородком в дебелую грудь. Ни дать ни взять разладившаяся, отслужившая свое громоздкая машина, послушная воле своего любимца сына: тот словно нажимал кнопку, пуская в ход заржавленный механизм. Советник соизволил остановиться и подождать мать, он вытер платком влажный лоб и поправил соломенную шляпу. Насупленное божество обливалось потом. Металлический взгляд из-под очков ровным счетом ничего не выражал.

Мать расчищала ему дорогу, обламывая людей, словно ветки. Рассказывали, как однажды она выдала: «Если Фернан женится, моя сноха долго не протянет». Немудрено, что место снохи занять так никто и не рискнул, да и какая женщина согласилась бы кормить и нянчить этого увальня, который привык, чтобы его и на шестом десятке обслуживали, как младенца? «Затренькал, сволочь», — пробормотал Фернан, заслышав звон церковного колокола.

Жан проскользнул к столу, когда за ним с салфетками на груди уже восседали Фернан с матерью. Господин Жером немного припоздниился. Он сел сгорбившись, с виноватым видом, но, окинув быстрым взглядом присутствующих, не побоялся признаться, что его задержал кюре. На беду хозяев, когда подали баранью ногу, разразилась гроза. Первый кусок подали Фернану, и тот, взмахнув вилкой, обернулся к матери. Фелисите понюхала кусок, перевернула и бросила сквозь зубы: «Пережарено!» И гости разом отодвинули тарелки. Появилась Кадетта и с затравленным видом принялась, коверкая слова, защищать свою стряпню, что, впрочем, было излишне, ибо господин советник, сменив гнев на милость, умял и пережаренное мясо. Насытившись, он извинил-

ся, что не пришел поздороваться с дядей сразу по приезде, так как в вестибюле увидел шляпу священника. Пелуеры знали, что священники вызывали у Фернана физическое отвращение. Не поднимая глаз, господин Жером монотонным голосом произнес: «Кюре явился поговорить со мной о тебе, Жан. Поверишь ли, он задался целью тебя женить!» Фернан, ухмыльнувшись, бросил: «Чушь какая-то! Жану и двадцати трех нет». И тут же взорвался: что взбрело в голову этому святоше! Какое право он имеет совать свой нос в их семейные дела! И совершенно бестактно вполголоса добавил: «Еще неизвестно, способен ли Жан создать семью». Мать взглядом приструнила своего нахала сына. «Было бы чудесно, если бы Жан женился, — сказала она, — дому так нужна хозяйка! Правда, у нынешних девушек все больше дурь в голове, да и потом — это нарушит устоявшийся уклад жизни моего дорогого брата». Фернан, успокоившись, согласился с матерью: конечно, почему бы Жану не жениться? Только не выйдет ли ему это боком: у драгоценного племянника свои привычки, причуды, как у старого холостяка? Брату, если таковое случится, разумнее было бы не жить вместе с молодой четой, ввернула тетя Фелисите: сразу столько забот на

голову! И она напомнила, чем заканчивались попытки отправить Жана в коллеж. Уже и место было забронировано, и вещи собраны, коляска подана, но его отец в последний момент шел на попятную.

Жан встревожился, хотя ничуть не сомневался, что вся история с женитьбой от начала до конца выдумана отцом. Покопавшись в памяти, Жан вспомнил вечер второго октября, когда его под дождем и впрямь ожидало дряхлое ландо, чтобы отвезти в благочестивое заведение в Базаде, где дети со всей округи корпели над своими тетрадями, мечтая в душе об охоте. Чемодан Жана, доставшийся ему от двоюродного дедушки, до сих пор был обклеен бумагой в цветочек. Жан помнил, как рыдал отец, — так страшил его момент расставания. Бедняга, разумеется, и потом требовал тишины, но эту тишину стали изредка нарушать детские проблемы живущего с ним бок о бок сына.

До пятнадцати лет Жан занимался с кюре, а в коллеж поехал лишь сдавать экзамены. И вот теперь — что за внезапная блажь с его женитьбой? Жану пришли на память странные слова, сказанные отцом накануне в саду… Впрочем, к чему беспокоиться? Жан повторял себе, что не

способен создать семью. Казенавы, должно быть, не в своем уме, если приняли шутку всерьез. Теперь они донимали отца, чтобы тот назвал имя избранницы. Наступившее время сиесты позволило отцу уклониться от ответа. Несмотря на жару, гости двинулись в сад, и Жан в тревоге наблюдал из коридора за их оживленной беседой. При звуке мотора, возвестившем, что гости уехали, больной проснулся. Услышав, что отец зашаркал туфлями, Жан вошел в его пропахшую лекарствами комнату. В этой удушливой атмосфере Жану дали понять, что его на самом деле хотят женить и в жены ему прочат не кого-нибудь, а Ноэми д'Артьял. Наклонное зеркало на ножках отражало тело Жана, такое же сухое, как сожженная вересковая пустошь. «Она не захочет», — пробормотал он и вздрогнул, услышав совершенно немыслимый ответ: «Разговор с ней уже вели, она не против». Ее семейство и не мечтало о таком браке. Но Жан качает головой. Вытянув вперед руки, он словно пытается отогнать видение. Девушка в его объятиях, по своей воле! Та самая Ноэми из церкви, в чьи агатовые глаза он не осмеливался даже взглянуть! Ветерок в нефе, когда ее таинственное тело скользило мимо, овевал Жана, и это было подобно поцелую.

Тем временем отец излагает свои мысли — вернее, мысли кюре — по поводу женитьбы Жана. Пелуерам нужны наследники, чтобы ничто из их имущества не перепало тетке Фелисите и Фернану Казенаву. Господин Жером добавляет: «Ты ведь знаешь, если кюре что-нибудь задумал, он не отступится». Жан натянуто улыбается, уголки губ дрожат: «Ей будет противно со мной». Отец и не возражает. Его самого никогда не любили, поэтому ему и в голову не приходит, что сыну может привалить такое счастье. Однако он с готовностью напоминает о достоинствах Ноэми, которую, заботясь о своем приходе, избрал для Жана кюре. Ноэми из тех, кто не ищет в браке плотских радостей, для нее долг превыше всего, она будет предана Богу и своему супругу. Она будет одной из тех матерей, которые сохраняют святую простоту и невинность даже после многочисленных родов, — такие редко, но встречаются. Прокашлявшись, господин Жером растрогался: «Если я буду знать, что ты удачно женился и Казенавы не могут причинить тебе вреда, я смогу спокойно умереть». Кюре считает, что нужно ковать железо, пока горячо: Жан может видеться с Ноэми уже с завтрашнего дня. Она будет ждать его после завтрака у кюре в доме, а уж повод оста-

вить их наедине мадам д'Артьял найдет. Отец говорил быстро, раздраженно — даже пальцы у него дрожали, — предвидя, что Жан будет возражать, отказываться и его придется уламывать. Но Жан совсем потерял голову и не знал, что сказать. Стыдно так трусить! Разве не наступил момент выбраться из стада рабов и совершить поступок, достойный господина? Уникальный шанс разбить оковы, стать настоящим мужчиной. Отец ждал ответа, и Жан кивнул в знак согласия. Впоследствии, вспоминая эту минуту, когда повернулась его судьба, Жан вынужден был признать, что все решил десяток плохо усвоенных страниц Ницше. А в тот момент он так быстро ретировался, что господин Жером рот открыл от изумления — настолько легко досталась победа — и тут же решил как можно скорее сообщить новость кюре.

Не успел Жан сойти с лестницы, как уже уверовал в чудо, утратив в какой-то мере свое целомудрие, ведь ему дали понять, что он вовсе не обречен на вечную девственность. Жан представил себе, как смотрит в темные глаза Ноэми. Да от одного этого ноги подкосятся!

Жан решил, что ему надо вымыться. Ванна в доме Пелуеров была завалена картошкой, что

не редкость в этих краях. Пришлось Кадетте ее убирать.

После обеда Жан прошелся по городку. Он следил за собой, чтобы, не дай бог, не замахать руками, не заговорить с самим собой. С чопорным видом, напряженный, он приветствовал каждую группу знакомых, которые, как болотные лягушки, внезапно замолкали при его появлении. Но никто даже не улыбнулся. Наконец, когда последние дома остались позади, на пыльной дороге, тянувшейся между двумя рядами черных, дышащих жаром, словно в парилке, сосен, наполнявших лесной собор благоуханием, как из множества кадильниц, Жан с бодрым видом щелкнул пальцами и, рассмеявшись, воскликнул: «Я из расы господ, из расы господ!» Потом, сохраняя цезуру в стихе, продекламировал: «Какие тайные пружины — чудеса какие — подвигнули нам в помощь небеса святые?»

## III

Жан Пелуер опасается, что беседа вот-вот иссякнет: боязнь тишины заставляет кюре и мадам д'Артьял в безумном расточительстве касаться то одной, то другой темы. Платье Ноэми обволакивает стул, словно магнолия, вырастающая из вазы. Как сильно пахнущие цветы, которые не советуют оставлять в спальне на ночь, Ноэми пропитывает в этот знойный июльский день своим девичьим запахом скромную гостиную, где отовсюду — со стен, с камина — смотрит Бог. Жан косится, не поворачивая головы. Он разглядывает спустившуюся с пьедестала Ноэми, которая с такого близкого расстояния выглядит очень необычно — словно под увеличительным стеклом. Он жадно ищет недостатки, «пятна» в этом живом трепещущем драгоценном металле: на крыльях носа — черные точки, на шее в самом низу — старый след от ожога йодом. Шутка кюре заставляет Ноэми на секунду улыбнуться, и Жан успевает различить в ровном ряду ее зубов один темноватый, который растет как-то не так. Под его пристальным взглядом Ноэми опускает свои большие темные глаза долу, может, он потому и

впился в нее взором, чтобы не дать ей возможность хорошенько разглядеть его самого. Хорошо еще, что кюре не нуждается в собеседниках, он говорит без умолку и проповедует на самые разные темы.

Хотя кюре маленький и кругленький, жизнерадостным его не назовешь. Несмотря на полноту, в его облике есть некая суровость. Фермеры его не очень привечают, зато в городке кюре любят: не одна душа под его водительством достигла высот духовного совершенства. Он из тех, кто наследует землю. Казалось бы, приятные манеры, сокрушенный вид, податливость — но с пути его не сбить. Самых красивых девушек он отваживает от воскресных балов и по возможности мягко отвращает юношей от любовных похождений. Никому невдомек, что это он в последний момент удержал почтмейстершу от падения. И это он решил, что нехорошо Жану Пелуеру оставаться одному. Для кюре было важно еще и то, чтобы состояние Пелуеров не перешло в один прекрасный день к Казенавам — волк не должен проникнуть в овчарню.

Никогда раньше Жан не замечал, как высоко поднимается грудь женщины, когда она дышит: Ноэми почти касалась ее подбородком. Кюре ре-

шил не ходить больше вокруг да около: он встал со словами, что милым детям, наверное, есть что сказать друг другу, и пригласил мадам д'Артьял в сад, чтобы показать, какой большой урожай слив ожидается в этом году.

Словно для какого-нибудь научного опыта, маленького испуганного чернявого самца оставили в темной комнате с прекрасной самкой. Жан замирает на месте, не поднимая глаз: теперь это ни к чему, теперь он сам во власти чужого взгляда. Девушка рассматривает ничтожество, назначенное ей судьбой. Молодой красавец с изменчивым ликом, обитающий в девичьих грезах, во время бессонницы подставляющий широкую грудь и заключающий в жаркие объятия, — он теперь расплывается в полумраке дома священника, исчезает навсегда в самом темном углу гостиной, что твой сверчок. Ноэми глядит на своего суженого, от которого теперь никуда не деться: Пелуерам не отказывают. Родители Ноэми места себе не находят, боясь, как бы молодой человек не передумал, они и вообразить себе не могут, что заартачится их дочь. Ноэми тоже такое в голову не приходит. Вот уже четверть часа ее суженый грызет ногти и ерзает на стуле. Наконец поднимается. Стоя, Жан кажется еще ниже. Он что-то

бормочет под нос, Ноэми переспрашивает, и ему приходится повторить:

— Я знаю, что недостоин…

— Да что вы, мсье… — возражает Ноэми.

У Жана приступ самоуничижения, он признает, что его нельзя полюбить, и умоляет лишь, чтобы позволили любить ему самому. Слова льются как из рога изобилия. К двадцати трем годам Жан дождался наконец случая открыть свое сердце женщине. Он по привычке размахивает руками, словно в одиночестве обнажает свою душу, — впрочем, он так и так одинок.

Ничему не удивляясь, Ноэми созерцала дверь. Она слышала, как люди называли Жана тронутым, говорили, что у него не все дома. Он болтал без умолку, а дверь все не открывалась, казалось, никого не было в доме, кроме этого размахивавшего руками чудака. Ноэми совсем растерялась, к горлу подступили слезы. Но вот Жан замолк, и ей стало страшно, как будто где-то в комнате затаилась летучая мышь. Когда кюре с мадам д'Артьял вернулись, она бросилась на шею матери, не представляя себе, что подобное излияние чувств примут за согласие. Но кюре уже прижимал к себе Жана. Дамы ушли одни, чтобы не привлекать внимание соседок. Сквозь щель

между ставнями Жан видел рядом с худощавой, поджарой мадам д'Артьял, по-собачьи переставлявшей ноги, Ноэми в чуть помятом платье, ее поникшую голову — она походила на сорванный, едва живой цветок — цветок, которому не суждено распуститься.

Этот нелюдим, привыкший прятаться от мира, чтобы его никто не увидел, прямо-таки одурел от поднявшегося вокруг него шума. Случай вытащил его на божий свет, словно слова Ницше, обретя силу магической формулы, разрушили стены его темницы. Жан вбирал голову в плечи, растерянно моргал, напоминая потревоженную днем ночную птицу. По-другому вели себя и окружавшие его люди. Господин Жером нарушал дотоле незыблемый порядок дня, вместо привычной сиесты провожая кюре до ризницы. Казенавы в четверг не явились, зато они усиленно распространяли постыдные слухи о неких качествах Жана, будто бы не позволяющих выполнять семейные обязанности.

Смирение Жана было таким глубоким, что он искренне изумлялся, как это тетка с кузеном могут ему в чем-то завидовать. Соседки судачили о том, что Ноэми, бесспорно, заслужила свое счастье. Это стариннейшее семейство находилось

в тяжелом материальном положении. Потерпев неудачу в нескольких начинаниях, известный своим трудолюбием мсье д'Артьял не постеснялся поступить на службу в мэрию. Ни для кого не было секретом, что на Пасху д'Артьялам пришлось рассчитать единственную домработницу. Глядя в зеркало, Жан Пелуер уже не казался себе таким уродливым. Кюре не уставал повторять, что Жан хотя и неказист, наделен незаурядным умом. Почтительное молчание, с каким Ноэми, сидя на диване, слушала Жана, наводило его на мысль, что кюре прав: серьезная девушка и впрямь ценит в женихе прежде всего ум. Он забывался, как прежде, когда разговаривал сам с собой, морщил лоб, жестикулировал, невпопад цитировал стихи — и прекрасная девушка, съежившаяся на углу дивана, казалось, внимала его речам столь же благосклонно, как раньше деревья на пустынной дороге. В своих признаниях Жан зашел слишком далеко и даже упомянул о Ницше, который, возможно, заставит его пересмотреть свои моральные принципы. Ноэми вытирала влажные руки скомканным платком и бросала взгляд на дверь, за которой шептались ее родители. Разговора их она, к счастью, не слышала: отца Ноэми очень тревожили слухи о будущем зяте. Научен-

ный горьким жизненным опытом, он нисколько не сомневался, что внешне выгодная для дочери партия непременно таит в себе какую-нибудь напасть, на что мадам д'Артьял отвечала, что дурные слухи разносят Казенавы и что если Жан Пелуер до сих пор и сторонился женщин, то причиной тому его благочестие и робость.

В комнату струился лунный свет. Пробило одиннадцать. Мадам д'Артьял открыла дверь, не кашлянув предварительно и не постучав, и очень огорчилась, что не застала молодых в положении, которое наводило бы на определенные мысли. Она извинилась, что потревожила «голубков», но им с дочерью уже пора откланиваться. На прощание Жан коснулся губами волос Ноэми, после чего в компании собственной тени отправился бродить по улицам.

Его победные шаги будили сторожевых собак, которым луна мешала заснуть снова; так, даже в ночную пору, он умудрялся будоражить всю округу. Странное дело, но Жан уже не испытывал того волнения, какое охватывало его, когда Ноэми плыла по церкви в своем отутюженном платье. Время от времени Жан встряхивал головой, чтобы отогнать мысль о той сентябрьской ночи, когда она станет его женой. Эта ночь нико-

гда не наступит: случится война, кто-нибудь из них умрет, разверзнется земля…

Ноэми д'Артьял в рубашке до пят шептала под звездным небом слова молитвы. Холод мощенного плитками пола был приятен ее ногам. Беззащитную нежную шею окутывала ночная мгла. Ноэми не стала смахивать рукой застывшую слезинку, просто слизнула ее языком. Шелест липы, ее запах достигали Млечного Пути. Чуть безумные девичьи мечты уже покинули эту небесную колею. Сверчки, стрекотавшие в своем убежище, напомнили Ноэми о ее будущем муже. В этот вечер, растянувшись на простыне, предавая всю себя без остатка теплому течению ночи, Ноэми сначала плакала тихо, а потом зарыдала, уже не сдерживаясь. Она с жалостью глядела на свое нетронутое целомудренное тело, пламенеющее жизнью и в то же время полное какой-то растительной прохлады. Что с ним сотворит этот сверчок? Ноэми знала, что за ним будет право на любую ласку, и даже на ту загадочную и страшную, после которой родится ребенок, родится тщедушный чернявый маленький Пелуер. Этот сверчок будет всю жизнь рядом с ней, даже в кровати. Ноэми плакала навзрыд так, что наконец явилась мамаша — вышитая

кофта с фестонами, жидкая коса. Малышка тут же сочинила, что замужество вообще вызывает у нее отвращение, что она хочет уйти к кармелиткам. Спорить мадам д'Артьял не стала, просто прижала дочь к груди. Рыдания постепенно утихли. Тогда мадам д'Артьял сказала, что в таких делах надо полагаться на своего духовника. А разве не сам господин кюре выбрал для нее этот путь? Послушная душа, нежная, благочестивая, Ноэми не нашлась что ответить. Романов она не читала. Родительская воля была для нее законом, она не стала протестовать. Ее убедили, что мужчина вовсе не должен быть красавцем, что брак рождает любовь, как яблоня — яблоко… Но чтобы ее убедить, достаточно было несколько раз повторить незыблемую фразу: Пелуерам не отказывают. Разве можно не дать согласие Пелуеру-младшему, отвергнуть все эти фермы, овечьи стада, столовое серебро, копившееся десятилетиями белье во вместительных высоких благоухающих шкафах — отвергнуть все самое лучшее, что есть в их краю, краю песчаных равнин? Разве можно ответить отказом Пелуеру-младшему?

## IV

Земля не разверзлась. Никаких небесных знамений не случилось, и заря в этот сентябрьский вторник мягко осветила землю. Жан Пелуер спал как убитый — его пришлось будить. Каменный порог и плиты передней были устланы ветками самшита, листьями лавра, магнолии. Их запах перебивал все остальные запахи в доме. Шептались подружки невесты, не садившиеся, чтобы не помять платьев. Зал «Красной лошади» украшали бумажные гирлянды. Готовый праздничный обед должны были привезти из Б. десятичасовым поездом. Со всех сторон в открытых колясках целыми семьями прибывали гости. Все были в белых перчатках. Солнечные блики играли на цилиндрах мужчин, чьи фраки так изумляли крестьян.

Господин Жером продемонстрировал всем, что он свое дело сделал: он даже с кровати не встанет. Так он реагировал на все похороны и свадьбы в округе. Если случалось какое-нибудь торжественное событие, он проглатывал снотворное и задергивал занавески. Когда в свое время у его жены началась агония, господин Жером лег

наверху носом к стене и соизволил открыть глаза лишь после того, как ему доложили, что гроб уже закидали землей и что последний из гостей отправился восвояси. Когда в день свадьбы бледный как полотно Жан с потерянным видом явился за отцовским благословением, тот даже не разрешил Кадетте открыть ставни.

Ужасный день! Жану Пелуеру вспомнился весь его позор. Несмотря на то, что свадебный кортеж двигался под колокольный звон, сетования из толпы достигали его чуткого уха охотника. «Вот досада!» — бросил какой-то парень. Девушки, забравшиеся на стулья, прыскали со смеху. Жана охватила дрожь, он вцепился в бархат скамьи. Впереди сверкал огнями алтарь, позади бурлила толпа. По сторонам Жан не глядел, но чувствовал, как трепещет рядом загадочное женское тело. Голос кюре не умолкал. Ах, если бы его речь никогда не кончалась! Но солнце, изрешетившее щербатый пол церкви, клонилось к закату, близилась разоблачительница-ночь.

Жара испортила праздничный стол. Один лангуст попахивал, мороженое превратилось в желтую бурду. Мухи облепили печенье и ни в какую не желали улетать. Грузные дамы изнывали в своих нарядах. Обильный пот заливал одежду,

стекая под корсажами, и ничего нельзя было поделать. Лишь детишки радостно галдели за своим столом. Из глубины своего отчаяния Жан зорко следил за лицами гостей: о чем это Фернан Казенав шепчется с дядей Ноэми? Жан, как глухонемой, угадывал все по губам: «Послушай нас, вовремя горю можно было бы помочь. Но мы в нашем положении не могли вмешиваться — нас бы неправильно поняли».

# V

Комната в доме Аркашонов была меблирована под бамбук. Домашняя утварь стояла на самом виду. Обои были запачканы пятнами от раздавленных мух. Через открытое окно доносился запах моря, запах рыбы, водорослей, соли. Звук тарахтящего мотора удалялся к фарватеру. Два ангела-хранителя стыдливо прятали свои лица в кретоновой занавеске. Жану долго пришлось преодолевать свою собственную скованность, а потом бороться с неподвижной, словно труп, Ноэми. Слабый стон на рассвете обозначил конец этого шестичасового поединка. Весь в поту Жан даже боялся пошевелиться — он сам себе казался червем, отвалившимся от мертвого тела.

Ноэми походила на мученицу, которую сморил сон. Прилипшие ко лбу волосы, как у умирающей, делали ее лицо — лицо побитого ребенка — еще тоньше. Скрещенные у беззащитного горла руки сжимали немного выцветшую ладанку и медальон. Хотелось поцеловать эти ноги, хотелось схватить это нежное тело, осторожно, не разбудив, отнести его далеко в море и погрузить в божественную пену.

# VI

Хотя предполагалось, что молодожены отправятся в трехнедельное путешествие, через десять дней после свадьбы они нежданно-негаданно вернулись в дом Пелуеров, взбудоражив весь городок. Тут же примчались Казенавы, не в силах дотерпеть до четверга. Они пытались по виду Ноэми определить, как обстоят дела, но лицо Ноэми было непроницаемо. Впрочем, ее родители вместе с кюре положили конец пересудам: по их словам, голубки предпочли уют домашнего очага суете гостиниц и вокзалов. Выходя после мессы из церкви, нарядно одетая Ноэми с улыбкой пожимала всем руки, смеялась, и все решили, что она счастлива. Слегка удивляло лишь ее каждодневное присутствие на обедне. Женщины заметили, что после причастия Ноэми долго не отнимала рук от осунувшегося печального лица. Ее удрученный вид кумушки истолковали по-своему, решив, что она забеременела. Прослышав об этом, прибыла тетка Фелисите, чтобы ненароком оценить, не тесновато ли ей стало платье. Но тайная беседа с Кадеттой — ей можно было верить, ведь именно она стирала белье — успокоила ее. С этой

минуты тетка сочла более дипломатичным держаться в стороне, не желая, как она выражалась, своим присутствием создавать впечатление, будто она одобряет состряпанный кюре чудовищный брак. Она готовилась вернуться на сцену при первых признаках надвигающейся грозы.

Тем временем господин Жером с удивлением обнаружил, что сноха печется о нем с самоотверженностью монашки. Она приносила лекарства в назначенный час, следила, чтобы ужин подавали в строгом соответствии с установленным распорядком дня, и мягко, но решительно пресекала все попытки нарушить тишину во время сиесты. Жан, как и прежде, уходил из дома и кружил по улочкам. Спрятавшись за сосной у просяного поля, он выслеживал сорок. Была бы его воля, он остановил бы время, чтобы вечер никогда не наступал, но темень опускалась быстро. Сосны, потревоженные ветром с Атлантики, затягивали под сурдинку жалобную песнь, принесенную с мимизанских и бискаросских песков. Над густыми папоротниками поднялись шалаши из вереска — в октябре жители ланд охотятся за дикими голубями. Рядом с фермами витал аромат ржаного хлеба. На заходе солнца Жан стрелял последних жаворонков. Он подходил к городку,

и его шаги замедлялись. Еще чуть-чуть… еще немного времени, прежде чем своим присутствием в доме он начнет терзать душу Ноэми.

Крадучись, он пересекает прихожую. Так и есть: Ноэми ждет его. Приветливо улыбаясь, она идет к нему с лампой в руке, подставляет лоб, пробует на вес охотничью сумку и, как положено супруге, радуется возвращению любимого мужа. Но роль свою она выдерживает лишь несколько минут, сама при этом не строя никаких иллюзий. Во время обеда господин Жером развлекает их своими разговорами: с тех пор как его недугами занялась молодая сиделка, он не устает рассказывать о своих ощущениях. Кроме всего прочего, Ноэми взяла на себя обузу общаться с арендаторами, поэтому ей приходится много расспрашивать о делах в поместье. Господин Жером удивлялся, что эта девочка, по сути, единственная в доме, кто в состоянии проверять отчеты управляющего и следить за продажей бревен. Кроме того, именно снохе господин Жером ставил в заслугу то, что со времени женитьбы сына он поправился на целых два килограмма.

Когда же, отобедав, господин Жером погружался в дремоту, опершись ногами о подставку камина, супруги волей-неволей оставались наедине. Жан,

старяясь не дышать, усаживался подальше от лампы и словно растворялся в темноте. Но как бы то ни было, он был здесь, и в десять Кадетта вносила подсвечники. Потом следовало тягостное восхождение в спальню. Осенний дождь шуршал по черепице, хлопал ставень, затихал вдали звук дребезжащей тележки. Преклонив колена рядом с внушающей страх кроватью, Ноэми вполголоса произносила слова молитвы: «Склоняясь пред Тобою, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне сердце, способное узнавать и любить Тебя». Жан угадывал в темноте, как в отвращении напрягается тело любимой, и отодвигался как можно дальше. Ноэми иногда дотрагивалась рукой до его лица, невидимого во мраке и потому менее отвратительного, и чувствовала на его щеках жаркие слезы. Испытывая угрызения совести и жалость, она, закрыв глаза и стиснув губы, бросалась к Жану, как христианская девственница — к зверю на арене цирка, и стискивала несчастного в объятиях.

## VII

Охота на диких голубей служила Жану предлогом, чтобы проводить дни вдалеке от той, которую он изводил одним своим присутствием. По утрам он вставал еле слышно, чтобы не разбудить Ноэми. Когда она открывала глаза, двуколка уже увозила его далеко по грязной дороге. Жан распрягал коней у арендатора и, подходя к шалашу, прятался и свистел — боялся спугнуть голубей. Внук Кадетты кричал, что он может подойти, и они устраивались в засаде: долгие часы проводили они в тумане и дремоте под звон колокольчиков проходящего стада, под крики пастухов, вороний грай. После четырех пора было возвращаться, но чтобы явиться домой как можно позже, Жан заглядывал в церковь. Молитв он не произносил, но его сердце кровоточило. На глаза часто навертывались слезы. Ему представлялось, что его голова покоится на ее коленях. Потом Жан бросал на кухонный стол синевато-серых голубей с раздувшимися шеями. Башмаки Жана сушились у огня, теплый собачий язык лизал ему руку. Кадетта заливала бульоном ломтики хлеба. Следом за нею Жан входил в го-

стиную. Ноэми встречала его словами: «А я и не знала, что вы уже вернулись...» или «Руки мыть будете?» Тогда он шел к себе в комнату — ставни еще не были закрыты, фонарь освещал поливаемые дождем рытвины на дороге. Жан мыл руки, но вычистить застарелую грязь из-под ногтей не удавалось, и он прятал их под стол, чтобы не увидела Ноэми. Украдкой он наблюдал за ней: какая она бледная! Она почти ничего не ела. Жан неуклюже настаивал, чтобы она попробовала баранину. «Я же говорю, что не голодна!» Покорная улыбка, а иногда и сложенные для воздушного поцелуя губы смягчали минутное раздражение. Она глядела мужу в лицо, как верующая, отдавая Богу душу, глядит в лицо смерти. Улыбка вообще не сходила с ее уст, словно она хотела подбодрить лежащего на смертном одре. Это из-за него, из-за Жана, каменеет ее взгляд, из-за него у нее в лице ни кровинки. Рядом с ним иссякала ее молодая жизнь. Но, осунувшаяся, она была ему еще более дорога. Какую еще жертву так сильно любил палач?

Зато господин Жером совершенно расцвел. Всю жизнь для него существовали только его собственные страдания, чужих он не замечал. И все буквально остолбенели, когда услышали из

его собственных уст, что в последнее время он чувствует себя значительно лучше. Астма отпустила его. Он спал до самого рассвета без всяких снотворных. Хорошо, что он отказался лечиться у доктора Пьёшона, говорил господин Жером, ведь у того в доме лежит харкающий кровью сын. Из боязни заразиться господин Жером порвал со своим старым другом. Он клялся, что ему достаточно снохи, которая поднаторела в деле ухода за больными лучше всяких врачей. Взяла она на себя и заботу о его гардеробе. Самую пресную диету она умудрялась сделать вполне сносной. Лимонный и апельсиновый сок, иногда капелька старого арманьяка заменяли запрещенные специи, возвращали господину Жерому аппетит, который, если верить ему, он потерял еще пятнадцать лет назад. После нескольких робких попыток Ноэми подрядилась после обеда читать своему тестю вслух, чтобы пища лучше усваивалась. Она была неутомима и не прекращала читать, даже когда господин Жером начинал посапывать во сне.

Было час пополуночи — на час меньше оставалось содрогаться от отвращения во мраке супружеской спальни, следя за лежащим рядом неподвижным гадким телом и зная, что Жан из жалости к ней притворяется спящим.

Иногда он нечаянно задевал ее ногой, и Ноэми, проснувшись, прижималась к стене. Иногда она вздрагивала от неожиданной ласки: это Жан отваживался украдкой погладить ее, думая, что она спит. Теперь уже была очередь Ноэми притворяться спящей, ибо она всякий раз опасалась, что он на этом не остановится.

## VIII

У них никогда не было препирательств, которые подчас разобщают любящих. Они знали, что слишком уязвимы, чтобы наносить удары другому, — малейшая обида растравила бы рану, сделала бы ее неизлечимой. Каждый старался не делать другому больно. Все их движения были строго рассчитаны, чтобы не вызывать новых страданий. Жан отворачивался, когда Ноэми раздевалась, и никогда не входил в ванную, если она мылась. Он приучил себя к особой чистоте и, дрожа от холода, обливался в лохани специально привезенной из Любина водой. Единственным виновником случившегося Жан считал себя, Ноэми же ненавидела себя за то, что, по сути дела, не стала для Жана настоящей женой. Ни разу они не обменялись ни единым упреком, даже немым, — наоборот, взглядами они как бы просили друг у друга прощения. С некоторых пор они решили молиться вместе. Враги по плоти, они соединяли свои голоса в вечерних молениях, соединяя их в бесконечности, хотя здесь, на земле, живя бок о бок, Жан с Ноэми были каждый сам по себе.

Как-то утром, не сговариваясь, они встретились у изголовья одного немощного старика. Жадно схватившись за эту новую связующую их нить, они с тех пор раз в неделю делали обход больных, причем каждый приписывал эту заслугу другому. В остальное время Ноэми избегала Жана, точнее, ее тело избегало тела Жана. Тщетно пыталась она перебороть чувство гадливости.

Однажды хмурым ноябрьским днем Ноэми, которая терпеть не могла пешие прогулки, заставила себя отправиться с мужем в ланды до самого рубежа пустынных болот, где царит тишина, какая бывает накануне бури, и где слышно лишь, как глухо накатываются на песок волны океана. Голубые цветы горечавки уже не оживляли пейзаж. Ноэми быстро шла впереди, словно спасаясь бегством. Жан следовал за ней поодаль. Несколько веков назад предки Жана Пелуера, пасшие на этой пустоши скот, вырыли здесь для своих стад колодец. У этого топкого места Ноэми остановилась подождать мужа. Тот между тем задумался о пастухах былых времен, которых поражала загадочная болезнь, бушевавшая в ландах, — пеллагра. Их останки до сих пор можно было увидеть на дне колодца или в илистом грунте лагуны. Ах, он и сам хотел бы обнять эту скудную землю,

вылепившую его по своему подобию, — и пусть она запечатает ему уста последним поцелуем!

## IX

Часто от чтения отвлекал приход кюре. Он называл Ноэми «дитя мое», выпивал стаканчик ореховой настойки; однако казалось, он не мог уже, как прежде, вести с господином Жеромом богословские споры или развлекать его забавными историями из жизни духовенства. Перед этим судьей все напяливали на себя маску. Глаза теряли всякое выражение, каждый знал, что за ним зорко следят. Кюре больше не вел разговоров на разные темы, все, что он говорил, явно имело какую-то скрытую цель. Он протягивал к огню короткие распухшие ноги и украдкой бросал быстрый взгляд на хранивших молчание супругов. Не столь категоричный, не столь уверенный в себе, он больше не рассказывал о своих спорах с тем или иным рационально мыслящим оппонентом, как делал это прежде, когда перемежал свой рассказ фразами типа: «Тут-то я и загнал его в угол…» Господин Жером уверял, что видел кюре таким озабоченным лишь однажды, когда прежнему мэру взбрело в голову звонить в колокол на гражданских похоронах и прибрать к рукам церковный катафалк. Кюре хотел, чтобы Жан

вернулся к краеведческой работе, к которой он приступил с таким рвением, но которую год назад бросил, заявив, что ему не хватает нужных документов. По правде говоря, он никогда ничего не мог довести до конца: быстро охладевал. Первые страницы своих книг он, как правило, испещрял заметками, последние же оставлял неразрезанными. Размышлять, подыскивать нужные слова он мог лишь во время прогулок — за столом не получалось. Как-то вечером, когда господин Жером удалился к себе, кюре вновь затронул эту тему. Жан ответил, что продвинуться в своей работе он сможет, лишь проштудировав специальные труды, которые хранятся в Национальной библиотеке, — не отправляться же ему за этим в Париж? «Почему бы и нет?» — перебирая бахрому своего пояса, тихо спросил кюре. Взгляд его был устремлен на огонь. Слабый голосок прошептал:

— Я не хочу, чтобы Жан уезжал.

— Грех зарывать талант в землю, — возразил кюре. — Если человек не в состоянии довести до конца свое исследование, да и вообще какую бы то ни было работу, от него не будет никакого толка.

Священник принялся развивать свою мысль Печальный голос как бы через силу произнес:

«Если Жан поедет, я поеду с ним». Кюре покачал головой: ее дорогой свекр не сумеет без нее обойтись. Да и потом, разлука будет недолгой — несколько недель, месяцев… Ноэми не знала, что сказать. Воцарилось молчание. Прошло немало времени, прежде чем кюре надел свое пальто на вате, обул башмаки. Жан закутался в плащ, зажег фонарь. Кюре последовал за ним к выходу.

Декабрь стоял дождливый, дни стали короче, и супругам уже не удавалось избегать друг друга. Порой, правда, Жан отправлялся охотиться на вальдшнепов, но и тогда нужно было возвращаться к четырем, до сумерек. Единственный источник света — лампа — словно приближала их враждующие тела друг к другу. За окном усыпляюще шуршал дождь. У господина Жерома каждую зиму ныло левое плечо, и он без конца жаловался. Ноэми постепенно осваивалась. Она взяла себе за правило что ни день отговаривать Жана от путешествия в Париж. Она обещала Богу сделать все возможное, чтобы Жан остался с ней. Ежедневные мольбы не давали бедолаге пребывать по своему обыкновению в нерешительности и не удерживали его, а, наоборот, заставляли принять решение. Он смотрел на жену жалким взглядом и говорил: «Мне надо уехать, Ноэми».

Ноэми бурно протестовала, но, стоило Жану показать, что он колеблется, она не пыталась развить свой успех и тут же прекращала разговор. Господин Жером хотя и цитировал охотно «Двух голубков»: «Тягчайшее из зол — разлука», втайне предвкушал, как он будет жить вдвоем со снохой. И, наконец, кюре при каждом удобном случае подстегивал Жана. Как мог несчастный противостоять их нажиму? Впрочем, он и сам в глубине души смирился с необходимостью отъезда. Если не считать паломничества в Лурд и ночей любви, проведенных в Аркашоне, он никогда не покидал своего захолустья. В полном одиночестве окунуться в шумную парижскую жизнь… для Жана это было все равно что навсегда сгинуть в глубинах океана, с той лишь разницей, что человеческий океан намного страшнее Атлантического. Но все подталкивали его к краю пропасти. В конце концов отъезд был назначен на вторую неделю февраля.

Ноэми загодя занялась его чемоданом и бельем. Жан еще не уехал, а Ноэми уже повеселела: к ней вернулся аппетит, разрумянились щеки. Как-то раз Жан даже увидел в окно первого этажа, как Ноэми бросает снежки во внука Кадетты. Он ясно отдавал себе отчет, чем объясняется это внезап-

ное возрождение. Освобождаясь от мужа, Ноэми воскресала к новой жизни, как природа весной. Жану надо было покинуть свою супругу, чтобы та могла вновь расцвести.

Опустив замызганное окно в вагоне, Жан Пелуер не сводил глаз с платка, которым махала Ноэми. Как он развевался — символ радости и прощания! В последнюю неделю Ноэми окружила его деланой лаской и заботой, да так, что однажды ночью, чувствуя рядом ее жаркое дыхание, он прошептал: «Может, мне не ехать?» И хотя было темно и у нее в ответ вырвался лишь сдавленный крик, он, угадав ее страх, ужас, постарался тут же успокоить Ноэми: «Да нет, пожалуй, поеду». Это было единственный раз, когда Жан показал, что видит ее насквозь. Ноэми отвернулась к стене, и Жан услышал, как она плачет.

Жан Пелуер смотрел, как мелькают в окне поезда знакомые сосны. Он даже узнал чащу, где промахнулся, стреляя в вальдшнепа. Железнодорожное полотно тянулось вдоль дороги, по которой он так часто ездил на своей двуколке. Вот на краю пустоши в тумане дымки прячется ферма, к ней жмутся небольшая пекарня, хлев, колодец — Жан знал ее название, знал владельца. Потом уже другой поезд вез Жана через ланды,

где ему еще не приходилось охотиться. В Лангоне он попрощался с последними соснами, словно с друзьями, которые проводили его докуда могли и теперь на прощание благословляли его простертыми ветвями.

## X

Жан поселился на набережной Вольтера, в первой же гостинице. По утрам Жан смотрел, как идет дождь над Сеной, которую он еще не дерзнул пересечь, а в полдень отправлялся в кафе на Орлеанском вокзале, где клевал носом под шум поездов, уносивших счастливых путешественников на юго-запад. Поев, Жан не осмеливался сидеть просто так и заказывал бутылку белого вина, потом две рюмки ликера, и его стремительный ум уносился в нескончаемую даль. Судорожные движения, бессвязная речь Жана порой вызывали усмешку у соседей и официантов, но чаще всего Жана, забившегося между дверным тамбуром и колонной, просто не замечали. Жан читал газеты от корки до корки, вплоть до рекламы: убийства, самоубийства, сцены ревности, безумия — он проглатывал все, что свидетельствовало о непреходящем зле. После обеда билет за два су давал Жану доступ на перрон, где он искал вагон с надписью «Ирун» — вагон, чьи широкие окна на следующий день будут отражать песчаное однообразие ланд. Жан подсчитал, что поезд пройдет в восьмидесяти

километрах от его родного дома. Он дотрагивался до стенки вагона, и когда состав трогался, у Жана был такой вид, будто вместе с поездом отправлялась часть его души.

В кафе, куда он возвращался, играл оркестр, и Жан с тоской осознавал, какую неодолимую власть имеет над ним музыка. Она неизменно порождала в его душе образ Ноэми. Жан мысленно окидывал взглядом тело жены, которое мог созерцать лишь во время ее сна. В сентябрьские ночи, когда лунный свет струился на кровать, незадачливый фавн мог лучше узнать это тело, чем если бы соединялся с ним в пылу обоюдной страсти. В объятиях он сжимал только труп, глаза же его проникали в глубь ее естества. Может быть, лучше всего мы знаем женщину, которая никогда нас не любила.

В этот самый час Ноэми спала в просторной холодной комнате. Освободившись от постылого мужа, она была счастлива, нежась на своем одиноком ложе. Через много километров Жан чувствовал, как любимая радуется его отсутствию. Закрыв лицо ладонями, Жан мысленно давал волю своему гневу: он вернется домой, навяжет этой женщине свою волю, овладеет ею, а там хоть трава не расти! Он превратит ее

в вещь, которую будет использовать по своему усмотрению. И Ноэми вставала перед его взором — безмолвная, покорная, с нежной тяжелой грудью, — словно дерево, протягивающее ветви с плодами. Он вспоминал, как она говорила, что умрет от отвращения, не издав даже крика.

Жан оплачивал счет, возвращался по набережной в отель и, раздевшись в темноте, чтобы не видеть себя в зеркале, ложился спать.

Раз в три дня ему с чашкой шоколада приносили конверт, который он иногда не вскрывал до вечера. Что за охота читать притворные просьбы о скором возвращении! Единственной радостью для Жана было думать, что рука Ноэми касалась этого листка бумаги, что ногтем мизинца она прочеркивала невидимую линию… Но в конце марта Жану показалось, что в письмах стала проскальзывать искренность: «*Я убеждена, вы не верите, что я хочу снова вас видеть. Но вы плохо знаете свою жену*». «*Мне скучно без тебя*», — написала она в другом месте. Жан скомкал письмо и перечитал другое — от отца, пришедшее с той же почтой: «*Не поверишь, но Ноэми изменилась в лучшую сторону: пополнела, выглядит великолепно, она меня так холит и лелеет, что я даже забываю ее поблагодарить. Казенавы не появля-*

*ются, но я знаю, они вбили себе в голову, будто вы с Ноэми повздорили. Пусть думают, что хотят. Я набираюсь сил, не то что Пьёшон-младший, который уже из дома не выходит, только на машине ездит. Видно, что не жилец, хотя врач из Б. утверждает, будто с помощью йодной настойки поставит его на ноги. Да, молодые уходят, а старики остаются…*»

Когда наступили первые ясные деньки, Жан Пелуер рискнул перейти по мосту через Сену. В золотых лучах заходящего солнца он глядел в воду, и его руки касались теплого парапета, гладили его, словно живое существо. Вдруг сзади раздался шепот: «Эй, парень, пойдем-ка со мной». Рядом, откуда ни возьмись, возникло молодое женское лицо, бледное, несмотря на толстый слой румян. Распухшие пальцы с коротко подстриженными ногтями потянулись к его руке. Жан бросился бежать и перевел дух только у билетных касс Лувра. Он не посмел откликнуться даже на зов простой девки? Другой женщины, не Ноэми? В первый раз ему захотелось вдруг обзавестись любовницей, пусть она не будет от него в восторге, лишь бы он не внушал ей отвращение. Но и столь жалкое счастье оставалось для него несбыточным. С горечью осознав свое ничтоже-

ство, Жан вновь почувствовал приступ ярости. Почему он отказал этой женщине, обещавшей снисхождение и покорность? Разве такие, как он, не вправе претендовать даже на ласки уличных женщин? В воде затрепетало вечернее небо. Жан так размахивал руками, что набежала толпа детей. Ссутулившись, он снова пустился бежать, обогнул площадь и выскочил на улицу Руаяль. Было время ужина, и Жан, набравшись храбрости, переступил порог знаменитого кабаре.

Жан забился в угол, сев лицом к бару, похожему на кормушку из красного дерева, к которой слетаются разноцветные попугайчики. У него отлегло от сердца, когда он увидел, что всем тут наплевать, как он выглядит. И здешним бабенкам, и официантам в черном — этаким жирным крысам, подвизающимся в дорогих ресторанах. Эта ярко освещенная кишка привлекала слишком много дикарей из Америки, фермеров и провинциальных нотариусов, чтобы кому-нибудь пришло в голову поднимать на смех Жана Пелуера. Слегка разрумянившись от бутылки «Вовре», Жан улыбнулся, глядя на толпу у стойки. Дебелая блондинка сползла с табурета, подошла, попросила у Жана прикурить, сделала глоток из его стакана и посулив осчастливить его всего за

пять луидоров, в ожидании ответа вновь забралась на свой насест. Старик за соседним столиком посоветовал ему дождаться закрытия заведения, тогда «оставшиеся девицы скостят цену». Однако Жан Пелуер, оплатив счет, согласился на предложение блондинки. Та вышла вместе с ним. Они поймали такси, доехали до улицы Мадлен. Гостиничная лестница начиналась прямо на тротуаре — никакого вестибюля не было, — наверное, чтобы удобнее было вдыхать вонь с улицы.

Шпилька упала на мраморный столик, и Жан словно очнулся. Он бросил взгляд на непомерно большие ручищи своей дамы, на розовые ленточки, украшавшие ее трясущееся тело. Назвав Жана «своим зайчиком», она осторожно стянула с себя шелковые чулки. Даже когда плоть Ноэми кричала ему «нет», Жану не было так больно, как сейчас, от этой поспешной готовности отдаться, от этой безропотности, полного отсутствия брезгливости. Разинув рот, девица смотрела, как Жан бросил на стол банкноту. Прежде чем она успела опомниться, его и след простыл. Он несся по улице, словно за ним гнались. В сутолоке бульваров он неожиданно испытал облегчение, как будто чудом избежал ловушки. Его потянуло к сбросившим листву каштанам Елисейских Полей. С

трудом переведя дух, откашливаясь, Жан уселся на пустовавшую скамейку. Он подумал вдруг, что серп луны над его головой, затмевавший фонари, струит свое мерное сияние на верхушки деревьев на всем пространстве от Пиренеев до океана. На сердце полегчало: Жан был рад, что при всем своем убожестве не запятнал своей чистоты. Наступит когда-нибудь незакатный день, когда Ноэми и Жан узнают взаимную любовь. Жан как бы заранее предвкушал будущее согласие их преображенных тел. О свет, к которому будет призвана их бессмертная, нетленная плоть. «Нет никаких господ, мы все рождаемся рабами, и только ты, Боже, отпускаешь нас на волю!» — воскликнул Жан. Подошедший полицейский окинул Жана подозрительным взглядом и, пожав плечами, удалился.

Каждый день после двенадцати Жан устраивался на террасе кафе «Де ля Пэ», мимо которого двигался нескончаемый поток печальных лиц. Тайные болезни, алкоголь, наркотики делали однообразно уродливой тысячеликую толпу. Жану любопытно было наблюдать, как мужчины рыщут в поисках проституток, он пытался угадать, сколько их тут и какой порок толкает вот этого, к примеру, господина в монокле и с обвислой губой

в объятия уличных девок. Жан Пелуер жадно выискивал в толпе хотя бы кого-нибудь одного с печатью власти и господства на лице. О, он бы с радостью последовал за этим человеком! Но глаза людей блуждали по сторонам, руки дрожали, непомерная похоть искажала лица — людям в толпе было невдомек, что за ними наблюдают. Да и потом, разве эти, из расы господ, — разве они не знают смерти? Сидя за столиком, Жан жестикулировал, как у себя в городке, когда шел по улице между двух высоких оград. Он цитировал вслух Паскаля[11], его слова о том, чем кончается самая прекрасная жизнь. Смерть всех кладет на лопатки, что бы там ни вещал этот маразматик Ницше!

Молодые люди рядом с Жаном подталкивали друг друга локтями. Сидевшая с ними женщина окликнула Жана. Тот вздрогнул, швырнул на стол деньги и пустился наутек. «Вот полоумный!» — бросила ему вслед женщина. Но Жан уже смешался с толпой, он, словно крыса, несся

---

**[11] Примечания: 11**

Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. В своих литературных работах полемизировал с иезуитами, развивал представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве.

мимо витрин, в голове же у него тем временем рождался план дерзкого исследования, которое он озаглавит «Воля к власти и святость».

Иногда в витрине магазина мелькало его отражение, но Жан не узнавал себя. От плохого питания он осунулся и словно усох. Парижская пыль раздражала горло. Нужно было отказаться от сигарет. Он никогда раньше столько не дымил и в результате без конца сплевывал и кашлял. Часто кружилась голова, приходилось хвататься за фонари, чтобы не упасть. Лучше совсем не есть, решил Жан, чем после еды мучиться от колик в желудке. Может, в один прекрасный день его подберут в луже, как дохлую кошку? Тогда Ноэми станет свободной… Такие мысли посещали его в кинотеатре, куда он забредал, привлеченный не столько самим фильмом, сколько нескончаемой музыкой. Часто, в горячке валясь с ног от усталости, он заходил в баню. Ситцевая занавеска загораживала свет, из кранов капало, и тело было словно чужое. Столь убогим местом пребывания Жану приходилось довольствоваться лишь потому, что, кроме Мадлен, стоявшей на пути из гостиницы в кафе «Де ля Пэ», он долго не знал в Париже ни одной церкви. Но как-то раз, выбрав другой маршрут, Жан увидел Сен-Рош, и с тех пор

эта сумрачная церковь стала для него ежедневным пристанищем. Здесь, в храме на перекрестке улиц огромного города, пахло так же, как в родной церквушке в его богом забытой дыре. Порога библиотеки он так ни разу и не переступил.

Так, пожалуй, он и жил бы тут до самой смерти, если бы однажды кюре в своем письме самым настоятельным образом не призвал его вернуться под отчий кров, хотя, как понял Жан, ни с отцом, ни с Ноэми ничего плохого не стряслось. С тяжелым сердцем Жан сел в вагон с надписью «Ирун», в экспресс, который столь часто на его глазах медленно отходил от перрона, чтобы потом, набрав скорость, направиться на юго-запад.

## XI

Дома все было по-старому, письмо же к Жану кюре написал после исповеди Ноэми, на которой та призналась лишь в самых обычных, простительных прегрешениях. Однако она обратилась к своему наставнику за духовной поддержкой в смущавших ее искушениях, хотя о том, какого рода эти искушения, она не распространялась.

Отъезд Жана поначалу отозвался в Ноэми благодатной усталостью, какая бывает при выздоровлении. Одиночество приносило ей неизбывное наслаждение. Она жила расслабившись, в свое удовольствие. Неспособная разобраться в собственных чувствах, Ноэми все же понимала, что изменилась, и несмотря на то, что вела по-прежнему жизнь молодой девушки, ею, по сути, уже не была. Отвращение препятствовало рождению в ней женщины, но та, расцветая сама собой, таинственным образом заявляла о своих правах. Ноэми с тревогой отмечала, что прежнего покоя в ее душе нет, что ее дремлющее сердце не в ладах с пробудившейся плотью. Ее существо словно разрывалось, тело не желало забывать того, что с ним приключилось.

Единственным чтением молодой женщины был молитвенник, людей же она сторонилась, так как, несмотря на бедность, была благородного происхождения, поэтому ни романы, ни близкие друзья не могли просветить ее по поводу того, что совершалось в ней самой. Но тут провидению угодно было послать ей нового знакомого.

Стоял март, солнечные блики играли в лужах на площади. Жером Пелуер почивал после обеда, весь дом замер в ожидании, не скрипнула ни одна половица. Подобно всем женщинам в городке, Ноэми много шила. Вот и в этот раз она сидела со своим шитьем на первом этаже у окна с полураскрытыми ставнями. На столе перед ней лежало белье, требовавшее починки. Вдруг до нее донесся шум колес, и она увидела, как в нескольких шагах от окна остановилась двуколка. Молодой человек с поводьями в руках оглядывался по сторонам, ища, кого спросить, однако на улице не было ни души. Когда Ноэми из любопытства открыла пошире ставни, незнакомец повернул голову и, сняв шляпу, спросил, где живет доктор Пьёшон. Ноэми ответила, мужчина поблагодарил и, тронув хлыстом круп лошади, двинулся с места. Ноэми вернулась к шитью и весь день работала иглой, особо и не думая о незнакомце, но

его лицо то и дело само всплывало перед глазами. На следующий день в тот же час он снова проехал мимо ее окон, но на этот раз не остановился. Однако перед домом Пелуеров он попридержал лошадь, поглядел на закрытые ставни дома Ноэми и на всякий случай поклонился. За ужином господин Жером рассказал со слов кюре, что Пьёшону-младшему становится все хуже и хуже, и его отец послал за молодым врачом из супрефектуры, о методах лечения которого очень хорошо отзывались: он заставлял больных туберкулезом принимать большие дозы йодной настойки — по несколько сотен капель, разбавленных водой. Господин Жером сомневался, сможет ли желудок больного выдержать такое количество йода. Молодой доктор приезжал каждый день, и каждый день его экипаж замедлял ход у дома Пелуеров, однако Ноэми ставни не открывала. Заметив в окне неясную тень, — самой молодой женщины он не видел, — доктор каждый раз кланялся.

В городе с интересом следили за лечением — все больные туберкулезом в кантоне глотали йодную настойку. Утверждали, что дела Пьёшона-младшего пошли на поправку.

Весна в этом году была ранняя, конец марта стоял теплый, и люди постепенно оживали.

Как-то перед сном Ноэми разделась у открытого окна. Счастливая и печальная, она облокотилась на подоконник, спать не хотелось. Из вечернего мрака в результате какого-то таинственного сцепления мыслей выплыло столь поразившее ее лицо молодого человека, и Ноэми впервые сознательно задержала на нем свой мысленный взор. Коль скоро молодой человек каждый раз приветствует ее, не зная даже, видит она его или нет, не приличнее ли было бы завтра раздвинуть ставни и ответить на приветствие? Решив так именно и сделать, Ноэми неожиданно испытала такой прилив нежности, что совсем забыла о сне. Его образ становился все отчетливее: черные вьющиеся волосы — она обратила на них внимание, когда незнакомец приподнимал шляпу, плотные красные губы, короткая бородка, спортивный костюм, в кармане которого сверкала авторучка, мягкая тюсоровая рубашка с открытым воротом — галстук доктор не носил.

Жившая чувствами, Ноэми была приучена прислушиваться к голосу своей совести, и потому она сразу насторожилась. Первый тревожный звонок прозвучал, когда она молилась. Каждую молитву приходилось начинать заново: между Богом и ней улыбалось смуглое лицо молодого

человека. Это лицо преследовало Ноэми и когда она легла, и проснувшись, еще под впечатлением сна, она первым долгом подумала, что скоро его увидит. На утренней мессе она сидела, уткнувшись лицом в ладони. Когда во время сиесты экипаж замедлил ход перед домом Пелуеров, все ставни первого этажа были наглухо закрыты.

Именно в эти дни добровольный парижский изгнанник стал получать столь удивлявшие его письма, где Ноэми говорила: «Я скучаю по тебе…» Ноэми теперь сидела в темной комнате и ждала, когда проедет экипаж. Только после этого она приоткрывала ставни и возвращалась к работе. Но как-то раз ей вдруг подумалось, что излишняя щепетильность тоже грех. «Вбила себе в голову…» Ноэми решила раз и навсегда: она выглянет на улицу и ответит на приветствие доктора. Вот ей почудился стук колес, и рука потянулась к оконной задвижке, но нет… В этот день впервые за последние две недели врач не приехал.

В час, когда господин Жером принимал валерьянку, Ноэми поднялась к свекру и, не удержавшись, поведала тому, что молодого доктора сегодня у Пьёшонов не было. Оказалось, что господин Жером и сам это знал: у Пьёшона-младшего случился рецидив, он перестал переносить

йод. Если верить доктору, его без конца рвало кровью. Весна для туберкулезников время опасное. Ходили упорные слухи, что доктор Пьёшон высказал своему коллеге немало резких слов, и тот больше не осмеливался появляться в городке. Ноэми обсудила дела с пришедшим арендатором, потом помогла Кадетте сложить выстиранное белье. В шесть отправилась в церковь, оттуда, как обычно, к родителям. После ужина, сославшись на головную боль, уединилась у себя в комнате.

Теперь она вела более деятельную жизнь, события последних дней принесли свои плоды. Одевшись по-праздничному, она посетила знакомых дам — в городке было заведено раз в год церемонно обмениваться визитами. Побывала Ноэми и у арендаторов. Ей нравилось колесить по разбитым лесным дорогам. Лошадью правил внук Кадетты. Заросли сухого папоротника расцвечивались желтыми пятнами утесника. На дубах трепетали старые листья, до поры до времени противясь горячему дыханию южного ветра. Чистое круглое зеркало лагуны отражало вершины и вытянутые стволы сосен, небесную лазурь. На соснах, росших в несметном количестве, через свежие раны проступала смола, распространяя благоухание по всей округе. Куковали кукушки,

напоминая о прежних веснах. На ухабах коляска подпрыгивала, внука Кадетты бросало к Ноэми, и молодые люди смеялись как дети. На следующий день Ноэми пожаловалась на усталость и попросила управляющего объехать оставшихся арендаторов. После этого Ноэми вплоть до дня приезда ее мужа видели только на мессе.

## XII

Она ждала его на вокзале. Ее платье из органди сверкало на солнце. На руках у нее были нитяные перчатки без пальцев, на голой шее — медальон с двумя амурами, боровшимися с козлом. Дети играли, пытаясь удержать равновесие на рельсе. Издали донесся свисток паровоза, хотя самого поезда еще не было видно. Ноэми очень хотелось бы объяснить самой себе свое волнение радостным ожиданием. Разлука смягчила в ее памяти черты Жана, она воссоздала образ мужа приукрашенным, таким, что он уже не внушал отвращения. Сердцем Ноэми стремилась его полюбить и теперь сгорала от нетерпения обнять выдуманного ею Жана. Видит Бог, хотя в ее расцветшем нежном теле пробудилось желание, лелеявшее вопреки ее воле иные образы, Ноэми не поддавалась нечистым мыслям. Она не сомневалась, что за это сподобится увидеть сходящего с поезда мужа совсем не таким, каким она его, втайне радуясь, провожала.

Жан стоял на подножке вагона второго класса. Его и впрямь нельзя было узнать. Ослабевшими руками он еле держал чемодан, который про-

ворно подхватил внук Кадетты. Жан с трудом заковылял, вцепившись в жену. «Жан, дорогой, тебе нездоровится?»

Жан тоже не узнавал жену: разлука с ним явно пошла ей на пользу — яркая, цветущая женщина. Контраст между этой прекрасной женской особью и тщедушной особью мужского пола стал еще более разительным, чем был тогда, в гостиной кюре. Люди кругом шептались. Жану было стыдно перед продавщицей газет, перед начальником станции, перед почтальоном. «Мне надо было прислать за тобой коляску. Почему ты не написал, что заболел?» Ноэми постелила постель, вымыла Жану лицо и руки, накрыла ночной столик белой скатертью и положила скопившиеся, пока муж отсутствовал, журналы, ни разу даже не открытые. Жан, за которым ухаживали, как за малым ребенком, следил за Ноэми проницательным взглядом.

Господин Жером воспротивился тому, чтобы позвать доктора Пьёшона: этот добрейший человек не в силах был вынести мысль, что в доме может болеть кто-то, кроме него самого. Стоило Жану лечь в постель, как он улегся тоже, заявив, что совсем расхворался, и грубо отослал Кадетту, когда она пришла спросить, не нужно ли ему чего.

Ноэми поднялась к нему, но не чтобы справиться о его самочувствии, а за его согласием на приход доктора. Господин Жером и слушать не желал об этом, ведь Пьёшон не отходил от постели своего начиненного микробами сына. Если ей так уж приспичило пригласить эскулапа, пусть пошлет за «этим юношей с йодной настойкой». Отвернувшись, Ноэми возразила, что молодой человек не внушает ей доверия, да и потом, разве он не лечит всех туберкулезников в околотке? Господин Жером высокомерно перебил ее: это, мол, его последнее слово, и пусть ему больше не докучают. Как обычно в дни несчастий, он уткнулся носом в стену и время от времени издавал жуткие стоны: «О, Господи, Господи!», которые в детстве будили Жана в безмолвии ночи.

Когда Ноэми вернулась в комнату, горничная ставила складную кровать. На подушке возвышалась голова Жана — красные, воспаленные глаза, щеки с нездоровым румянцем, заостренный нос. При виде Ноэми Жан пробормотал, что в большой кровати ему холодно, что он всегда предпочитал спать на узкой, и потом, пока его не осмотрел врач, ему лучше спать отдельно. Ноэми запротестовала было, сделала вид, что огорчена, но нужных слов не нашла, только дотронулась

губами до влажного лба Жана. Тот, однако, отвернулся, не в силах вынести всю оскорбительность этого благодарного поцелуя.

День прошел в спокойствии и печали. Жан дремал в своем углу, пробудило его позвякивание ложечки о блюдце. Хотя он был вовсе не так уж болен, Ноэми поддерживала его, пока он пил. Пил же он нарочно медленно, чтобы как можно дольше чувствовать прикосновение ее теплой руки.

Опустились сумерки. Прозвонил церковный колокол. Во дворе внук Кадетты с гиканьем запрягал лошадь. Отворилась дверь, на пороге появился господин Жером в домашних туфлях на босу ногу и в испачканном лекарствами халате. Ему стало стыдно, что он так раздражился, он пришел попросить прощения. Сделав вид, что очень обеспокоен здоровьем сына, господин Жером сказал, что ждать больше нельзя и что он послал внука Кадетты за «молодым доктором с йодной настойкой». Жан запротестовал: он просто переутомился, несколько дней отдыха — и он будет как огурчик, доктор будет недоволен, что его побеспокоили из-за такого пустяка.

Сидя в темноте, Ноэми молча вслушивалась в удаляющийся стук колес и тихо, безутешно плакала. Ливень с градом хлестал по стеклам,

приближая приход ночи, но ни Ноэми, ни Жан не просили принести лампу. Наконец Кадетта сама пришла с лампой и накрыла на стол рядом с кроватью Жана. Во время еды Ноэми спросила, закончил ли он свое историческое исследование. Жан покачал головой, и Ноэми не стала больше задавать вопросов. Тут они снова услышали коляску.

— Вот и доктор, — проговорил Жан. Ноэми встала и отошла подальше от света. Как буря, надвигался на нее шум голосов, звук шагов на лестнице. Кадетта открыла дверь, и появился он. Ноэми не думала, что он такой рослый — красавчик, что и говорить! Смуглый брюнет, с удлиненным разрезом глаз, как у андалузского мула. Он без всякого стеснения посмотрел в глаза Ноэми, медленно окинул взором ее фигуру. И он, он тоже думал о ней! Ноэми дрожала, не решаясь выйти из тени. Но вот он обратился к больному:

— Расстегните, пожалуйста, рубашку. Не найдется ли у вас платок, мадам? Итак, тридцать один, тридцать два, тридцать три…

Лампа осветила ключицы, лопатки, бока Жана — все жалкое его хозяйство… Нет, состояние господина Пелуера опасения не вызывает, но надо соблюдать режим. Он прописал укрепляющее,

уколы какодилата. Время от времени доктор косился на Ноэми. Неужели он думает, что она нарочно так подстроила, чтобы он приехал? Получается, что она заставила врача отмахать шесть километров в коляске только для того, чтобы осмотреть переутомившегося супруга. Доктор все не уходил, его низкий голос не замолкал: он, мол, никогда не утверждал, что с помощью йодной микстуры может вылечить туберкулез на такой запущенной стадии, как у Пьёшона-младшего. Тягучие интонации деревенского жителя придавали его голосу мужественность. Ноэми чувствовала на себе его взгляд исподлобья, но он видел лишь безмолвную тень. Он заявил, что профилактика — важная вещь, тем более что господин Пелуер — благоприятное поле деятельности для всевозможных микробов, «и прежде всего для туберкулезных палочек».

— Кажется, ваша мать скончалась от чахотки?

Ему бы о любви говорить, а не о чахотке!

— За больным надо наблюдать, — продолжил доктор. Он явно напрашивался на повторное приглашение, а так как Ноэми молчала, он обратился непосредственно к больному, не желает ли тот, чтобы он посещал его и дальше — можно было бы, к примеру, поделать уколы.

— А ты как думаешь, Ноэми?

Та не ответила, и Жан, решив, что она не расслышала, повторил:

— Как ты считаешь, Ноэми, нужно мсье приходить еще?

— Нет никакого смысла, — ответила наконец Ноэми. Сказано это было таким тоном, что Жан из опасения, как бы доктор не обиделся, пробормотал, что «последнее слово в таких случаях остается за врачом». Ничуть не смутившись, здоровяк доктор обещал явиться по первому зову. Ноэми с лампой пошла проводить его до порога. Спускалась она быстро, чувствуя затылком горячее дыхание молодого человека. Коляска стояла у двери. Ноэми так и не удостоила доктора взглядом. Внук Кадетты цокнул языком. Фонарь освещал круп лошади. Ночной ветер погасил лампу, которую Ноэми держала в высоко поднятой руке, и молодая женщина осталась стоять в темноте, на пороге безмолвного дома, слушая, как затихает вдали стук колес.

Ночью она не сомкнула глаз. Жан ворочался на складной кровати, бормоча что-то непонятное. Ноэми встала поправить мужу одеяло, осторожно, чтобы не разбудить, положила ему на лоб руку, как положила бы ребенку, которому не

суждено будет родиться.

## XIII

Уже через день Жан Пелуер вернулся к привычному образу жизни. Пока отец по своему обыкновению отдыхал после полудня, Жан, крадучись, выходил из дома охотиться на сорок и, заглянув на обратном пути в церковь, как можно позже возвращался под родной кров. Ноэми уже не могла похвастать свежим цветом лица. Заметны стали круги у нее под глазами, смотревшими на мужа нежно и кротко. Жан надеялся, что, отказавшись от супружеского ложа, он уже не будет ей неприятен, но отчаянная борьба с отвращением к мужу лишала Ноэми последних сил. Несколько раз она звала Жана к себе, но тот притворялся, что спит. Тогда она поднималась с постели, подходила, целовала его — в давние годы такими поцелуями святые одаривали прокаженных. Бог его знает, радовались ли сами прокаженные, ощущая на своих язвах их дыхание? Но Жан отстранялся первый. «Оставь меня», — слетало с его губ.

Высокие садовые ограды были обсажены сиренью. В сумерках плыл запах жасмина. При свете

догорающего дня жужжали майские жуки. На вечерней службе, посвященной Деве Марии, после литании кюре говорил прихожанам: «Вашим молитвам препоручается судьба нескольких молодых людей, сдающих экзамены, нескольких выходящих замуж девушек, обращение грешного отца семейства, здоровье молодого человека, чьей жизни угрожает опасность». Все знали, что дела Пьёшона-младшего совсем плохи.

В июне зацвели лилии. Ноэми удивлялась, что Жан, уходя из дома, больше не берет с собой ружье. Он отвечал, что сороки хорошо изучили его повадки и стали теперь такие умные, что близко его к себе не подпускают. Ноэми боялась, что прогулки отнимают у Жана слишком много сил. Если прежде он возвращался оживленный, раскрасневшийся, то теперь она видела его подавленным, без кровинки в лице. Жан утверждал, что всему виной жара. Как-то ночью Ноэми услышала, что Жан несколько раз закашлялся, и тихо его окликнула:

— Ты спишь?

Он ответил, что у него немного першит в горле, ничего страшного, но Ноэми чувствовала, с каким усилием он сдерживает готовый вот-вот разразиться кашель. Ноэми зажгла свечу и увидела,

что Жан обливается потом. Она встревожилась. Казалось, Жан, закрыв глаза, внимательно прислушивался к действию каких-то таинственных сил внутри себя самого. Но вот он улыбнулся жене, и его улыбка, мягкая, ласковая, тронула ее до глубины души.

— Пить что-то хочется, — прошептал Жан.

На следующее утро температура у него не поднялась, она, наоборот, была слишком низкой. Это слегка успокоило Ноэми, впрочем, удержать Жана дома после завтрака она все равно не смогла. Настойчивость Ноэми, судя по всему, пришлась Жану не по душе. Он даже несколько раз посмотрел на часы, будто боялся опоздать.

— Твоя супруга решит, что ты спешишь на свидание, — пошутил господин Жером.

Жан промолчал. Из прихожей донесся звук его торопливых удаляющихся шагов.

Сумрачное небо предвещало грозу. Природа словно замерла: ни птичьих трелей, ни шелеста листвы. Весь этот день Ноэми томилась в бездействии у окна. В четыре часа раздались мерные удары колокола. Ноэми перекрестилась: кто-то отдавал богу душу.

— Это по Пьёшону-младшему. Он уже утром едва не преставился, — услышала она с площади.

Крупные капли дождя прибивали дорожную пыль, запахло грозой. Свекор еще не проснулся, и Ноэми пошла на кухню поговорить с Кадеттой о Робере Пьёшоне. Та по своей глухоте колокольного звона не слышала, но предположила, что новости можно будет узнать у «мусью Жана». Видя, что Ноэми не понимает, Кадетта запричитала: она, мол, так и думала, что госпожа ничего не знает, не то бы госпожа не позволила «нашему мусью», такому болезненному, каждый день ходить к Пьёшонам. Вот уже целый месяц. Ей же «мусью» строго-настрого запретил об этом рассказывать. С трудом скрыв свое изумление, Ноэми вышла.

Дождь прекратился. Ветер поднимал пыль и гнал по небу свинцовые тучи. Ноэми направилась к дому доктора, где смерть уже затворила все ставни. На пороге появился Жан. Несмотря на пасмурную погоду, он моргал, словно солнце слепило ему глаза. Жены он не заметил. Лицо его было землистого оттенка, взгляд устремлен в пространство. Он словно машинально двинулся к церкви, вошел. Держась на некотором расстоянии, Ноэми последовала за ним. Сырая прохлада церкви заставила ее вздрогнуть — так холодно бывает в земле, в свежевырытой могиле. Холод

пронизывает пришедших в церковь, которую время погружает все ниже и ниже и куда спускаешься теперь по ступенькам. И снова, как в предыдущую ночь, Ноэми услышала кашель, на этот раз гулкий, многократно отраженный церковными сводами.

## XIV

Жан попросил, чтобы его кровать перенесли вниз, на первый этаж, в комнату, окнами выходившую в сад. Когда Жан задыхался, кровать передвигали на веранду, и он смотрел, как ветер то расширяет, то сужает просветы между листьями. Привели мороженщицу: Жан мог пить только холодное парное молоко и съедал лишь несколько ложек мороженого. Отец навещал его, улыбался, но держался подальше. Жан хотел бы умереть в полумраке своей комнаты, однако он предпочел сад, чтобы Ноэми, не дай бог, не заразилась. Уколы морфия приносили облегчение. И покой! Покой после ужасных полуденных часов у постели Пьёшона-младшего, кричавшего от отчаяния, — так ему не хотелось навсегда покидать этот мир с вечерними гуляньями в Бордо, танцами в пригородных кабаре под звуки механического органа, долгими поездками на мотоцикле, когда песок прилипает к мускулистым ляжкам и ты обалдеваешь от скорости, и особенно ласками девиц.

Казенавы распустили слух, что из-за скупости господина Жерома его сын не может переехать в

место с более здоровым климатом, куда-нибудь в горы. Но во-первых, Жану вовсе не улыбалось умирать вне родного дома, а во-вторых, доктор Пьёшон заявлял, что против туберкулеза нет ничего лучше ландских лесов: он даже обставил комнату больного молодыми сосенками, как на праздник Тела Господня, и обложил кровать горшками, до краев наполненными смолой. В довершение всего он призвал своего молодого коллегу, хотя еще прежде удостоверился, что йод в сверхдозах Жан больше не переносил.

Ноэми встретила красавца доктора с полным равнодушием. Она даже не замечала, что он бледнеет, когда она на него смотрит или когда руки их случайно соприкасаются. Каждый раз, сталкиваясь с доктором, она радовалась, что теперь для нее существовал только один человек — умирающий супруг. Возможно, впрочем, в ее подсознании жила мысль о том, что доктор у нее на крючке. Может, и спокойствие ее отчасти объяснялось тем, что придет время, и она вытащит его на берег, живого, трепещущего. Жан не позволял Ноэми целовать себя, но не возражал, когда ее прохладная ладонь ложилась на его лоб. Верил ли он теперь в ее любовь? Верил и говорил «Благословен Господь, который перед смертью одарил

меня женской любовью». Теперь он уставал от молитв. И пока Ноэми считала пульс, держа его запястье, Жан, как некогда во время своих одиноких прогулок, вновь и вновь повторял шепотом все тот же стих — крик Паулины: «Мой бедный Полиевкт кончается в постели…»[12], и с его губ не сходила улыбка. Он вовсе не считал себя мучеником. Все называли его бедолагой, и он соглашался, что так оно и есть. Взгляд, брошенный назад, на тусклую череду прошедших дней, еще больше укреплял его в этом мнении. Он прозябал, гнил заживо. Но в тихой заводи его жизни забил вдруг родник, и если жил он как мертвец, то умирал, возрождаясь к новому бытию.

Как-то вечером, когда кюре и доктор Пьёшон задержались в прихожей, к ним подошла Ноэми и с горечью попеняла им за их молчание: почему, мол, они не дали ей знать о ежедневных дежурствах Жана у одра больного чахоткой. Доктор понурил голову, стал оправдываться: он не подозревал о плохом состоянии Жана. Он

---

**[12] Примечания: 12**

Имеется в виду пьеса французского поэта и драматурга П. Корнеля (1606–1684) «Полиевкт», в которой рассказывается о вельможе при дворе римского наместника в Армении Феликса, тайно принявшего христианство. Полиеввкт желает совершить религиозный подвиг: в языческом храме во имя истинного Бога сокрушить идолы каменных языческих богов и принять за это страдание или даже смерть.

ведь и сам все время был рядом с сыном, кто бы мог подумать, что безграничное милосердие к больному обернется столь чудовищными последствиями? Кюре оборонялся более энергично: Жан сам потребовал, чтобы они молчали. И вообще, духовники обязаны сохранять в тайне то, что им поверяют их чада.

— Но ведь это вы, вы, господин кюре, настояли на злосчастной поездке в Париж!

— Я ли один, Ноэми?

Она прислонилась к стене, машинально царапая пальцем трещину в выкрашенном под мрамор гипсе. Больной закашлял у себя в комнате. Зашаркали башмаки Кадетты.

— Я принял это решение, помолившись, — добавил кюре. — Следует почитать пути Господни.

И кюре натянул куртку.

В глубине его души, однако, копошились сомнения, бессонными ночами он оплакивал судьбу Жана. Напрасно твердил он себе, что больной оставил завещание в пользу Ноэми и что господин Жером намеревается после смерти своего бедного сына передать дом и большую часть своего имущества молодой женщине — при условии, правда, что она не выйдет замуж вторично. При всей своей щепетильности кюре был слишком

склонен вмешиваться в жизнь других людей. И вот теперь кюре спрашивал себя, правильно ли он поступил. В том, что этот брак должен быть счастливым, кюре не сомневался. И тогда — *sub specie aeterni*[13] — ему вроде бы следовало радоваться удаче. Ему-то какой прок от всего этого? Добрый пастырь, он заботился лишь о своей пастве. Каждый раз он оправдывал себя перед своей совестью, но та снова и снова не давала ему покоя. Он боялся, что перестал отличать добро от зла. Сомнения в правильности его поступков раз за разом терзали сердце кюре. Из смирения он служил теперь в своей будничной сутане и отказался от треуголки, которая отличала его от других священнослужителей. Постепенно он освобождался от мелких пороков. Так, совершенно равнодушно принял кюре весть о том, что епископ предоставил ему, хотя он не был деканом, право носить мантию с капюшоном поверх стихаря. Разве пристало ему, хранителю душ, прилепляться сердцем к подобным пустякам? Сейчас самое важное для него — разобраться, какую роль он сыграл в этой драме. Был ли он послушным орудием Господа? Или бедный сельский священ-

---

**[13] Примечания: 13**
С точки зрения вечного *(лат.).*

ник дерзнул подменить собой всемогущего Бога?

Между тем каждый вечер по обледенелой дороге приезжал в своей коляске молодой доктор. Сквозь густые макушки сосен, сквозь сплетенные ветви цедился лунный свет. Круглые темные вершины деревьев парили в воздухе. Несколько раз в сотне шагов от коляски с одного склона на другой перескакивали короткие кабаньи тени. Сосны расступались перед низким облаком, скрывавшим луг. Дорога поворачивала, и с реки веяло холодом. Молодой человек в козьем полушубке, отгороженный от внешнего мира туманом и ароматным дымом из трубки, не думал о том, что высоко над соснами мерцают звезды. Словно идущий по следу пес, он не поднимал глаз от мертвой земли. И когда его мысль отвлекалась от кухонного очага, у которого он скоро будет сушиться, от супа с вином, он вспоминал о Ноэми, казалось, такой близкой, но такой недоступной. «И все же, — размышлял этот охотник, — я не совсем промахнулся, она ранена…» Инстинкт всегда подсказывал ему, когда женщина оказывалась в его власти и готова была молить о пощаде. Он слышал зов молодого женского тела. Он обладал столькими женщинами, к которым поначалу нельзя было подступиться! Они были

замужем за настоящими мужчинами, не то что этот плюгавый Пелуер! Неужели уязвленная им, не в пример другим лишенная защиты, она будет единственной, кто ускользнет от него? Разумеется, сейчас, когда ее муж при смерти, ей неловко решиться на такой шаг, но что удерживало эту завороженную голубку, пока ее супруг не был так сильно болен? Какой магнит влек ее во тьму, подальше от света лампы? Неужели она любила другого? В благочестие Ноэми доктор не верил, он полагал, что хорошо знает подобного рода женщин. Ему уже приходилось мериться силами с кюре в борьбе за подобную овечку. Благочестивая женщина обманывает, позволяет себе грешок, крутится вокруг огня, обжигается и в последнюю минуту проскальзывает между пальцами, словно невидимой нитью притянутая к исповедальне. И доктор принялся строить планы на то время, когда муженек Ноэми наконец окочурится. «Она будет моей», — усмехаясь, говорил он себе. Его терпение было сродни терпению охотника, сидящего в засаде.

В эти дни богобоязненные прихожане, зашедшие в церковь и думавшие, что они одни, не раз вздрагивали, заслышав с хоров горестные вздохи: как только выпадала свободная минута,

кюре предстоял здесь в полумраке перед своим создателем. Только тут он обретал мир, не тот мир, которым одаривает тишина сумрачных, словно погруженных на дно деревенских церквей, а тот, который ничто в нашем дольнем мире дать не в состоянии. Священник сознавал, как далеко от тщедушного существа, от того Жана Пелуера, который был способен разве что почистить паникадило да помочь женщинам сплести гирлянды накануне великих праздников, от губителя сорок, — как далеко отстоит от него этот умирающий, отдавший жизнь за други своя. Кюре склонял голову перед Тем, кто таинственным образом делал богоподобными своих рабов.

## XV

Жара спала, и Жану, постоянно страдавшему от удушья, немного полегчало. Частые сентябрьские грозы опалили листву. Внук Кадетты приносил больному белые грибы, от которых пахло лесом и землей, и развлекал его, показывая пойманных овсянок. Птиц внук Кадетты откормит в темноте и, потушив в выдержанном арманьяке, подаст «мусью Жану». Вяхири в воздухе предрекали раннюю зиму: скоро уже придет время ставить для них приманки. Жан издавна любил позднюю осень, когда его душа вступала в тайный союз с опустелыми после жатвы полями, с рыжеватыми песчаными ландами, где одни лишь дикие голуби, стада да ветер. Он радовался, когда на заре открывали окно, чтобы он мог вдыхать тот же запах, какой вдыхал, в печали возвращаясь с охоты октябрьскими сумерками. Однако не дано ему было в покое ожидать перехода в иной мир: Ноэми не догадывалась, что умирающему необходима тишина, и если раньше она была не в состоянии скрыть от Жана свое отвращение, то сейчас она не могла избавить его от своего раскаяния. Ноэми окропляла слезами его руку,

умоляя о прощении. Тщетно твердил он ей: «Я сам тебя выбрал, Ноэми… я сам не позаботился о тебе…» Она мотала головой и ничего не хотела понимать, кроме того, что Жан умирал из-за нее: какой он благородный, возвышенный, выздоровей он — она бы в нем души не чаяла. Сторицей воздавала она ему ласку, на какую прежде была так скупа. Откуда ей было знать, что, пойди Жан на поправку, она тут же отдалилась бы от него и что любить она его могла лишь лежащего на смертном одре? Ноэми была очень молодой женщиной, неопытной и чувственной, не знавшей своего собственного сердца, сердца страстного, но бесхитростного и покорного Богу. Неуклюже пыталась она вытянуть из умирающего слова, которые избавили бы ее от угрызений совести. После подобных разговоров Жан падал духом и хотел только одного — не оставаться с женой наедине. Но это удавалось редко, так как господин Жером был прикован к постели всеми обрушившимися на него разом болезнями. Зато сколько самоотверженности выказывал молодой доктор! Жану оставалось лишь поражаться удивительной заботливости постороннего, в сущности, человека. Поддерживать беседу Жан не мог, но чужое присутствие облегчало его страдания.

Однажды днем на исходе сентября, очнувшись от долгой дремоты, Жан увидел в кресле у окна Ноэми. Ее голова запрокинулась во сне. Жан прислушался к ее спокойному, как у ребенка, дыханию и опять прикрыл глаза. Но тут скрипнула дверь и, осторожно ступая, вошел доктор. Жану было невмоготу здороваться, и он сделал вид, что спит. Скрипнули охотничьи сапоги доктора. И снова тишина, тишина, заставившая Жана посмотреть, что происходит. Его новый приятель стоял над уснувшей Ноэми. Сначала он стоял прямо, потом слегка наклонился, его покрытая волосами рука дрожала… Жан закрыл глаза. Раздался шепот Ноэми:

— Ах, извините… Вы меня напугали, доктор. Я, кажется, задремала… Наш больной сегодня совсем плох. Да и погода ужасная. Лист не шелохнется…

Доктор ответил, что с юго-запада все же дует ветерок.

— Ветер из Испании принесет бурю, — отозвалась Ноэми. Бледный как полотно, сгорающий от страсти молодой человек сам был подобен буре. Его глаза заволокло, словно небо. Ноэми поднялась, подошла к Жану и встала так, что между ней и доктором, пожиравшим ее глазами, оказалась

железная кровать.

— Вам надо беречь себя, для его же пользы, — молвил доктор.

— О, меня ничто не берет, я нахожу силы, чтобы есть и спать, как зверюшка какая-то… Интересно, как ведут себя люди, умирающие от горя?

Они сели вдалеке друг от друга. Жан по-прежнему притворялся спящим. Стараясь не шевелить губами, он декламировал про себя, обозначая цезуру: «Мой бедный Пелуер кончается в постели…»

Поздняя осень задержала Жана в своих объятиях, укрыла, обволокла пахучими слезами. Он меньше задыхался, стал принимать пищу. И все же в эти дни Жан неимоверно страдал. Пока он на пороге смерти, пока жив, в Ноэми можно было не сомневаться. Но когда он отойдет во тьму, как ему противостоять домогательствам красавца доктора? Жалкая тень почившего не разлучит тех, кому судьбой предназначено любить друг друга. Но виду Жан не подавал: он по-прежнему пожимал руку доктору, улыбался. Как он теперь хотел выжить, чтобы победить этого человека, чтобы предпочли именно его, Жана! Какое безумство было желать смерти! Даже без Ноэми, даже вообще без женщины так хорошо жить, пить утренний

воздух, когда ласка легкого ветерка лучше всех других ласк… Обливаясь потом, с отвращением вдыхая запах своего больного тела, Жан глядел на внука Кадетты, который протягивал ему через открытое окно первого в сезоне вальдшнепа. О, охотничьи зори! Блаженство сосен с тускло-серыми вершинами на фоне лазурного неба, похожих на тех кротких людей, которых прославит Бог. За густой лесной чащей зеленый травяной ковер, ольховая роща и легкий туман указывают на родник, который подкрашивает охрой песчаная почва. Сосны Пелуеров подобны передовому отряду огромного войска, обороняющего все пространство от океана до Пиренеев. Они возвышаются над Сотерном и Прокаленной долиной, где солнце въяве присутствует в каждой виноградной кисти. Со временем Жан меньше думал бы о своем теле, так как уродство, равно как и красоту, в конце концов поглощает старость. У него оставались бы возвращение с охоты, сбор грибов. Солнечное тепло давних летних дней сохраняется в бутылках «Икема», а закаты былых лет окрашивают «Грюо-Лароз» в красный цвет. Хорошо также читать у кухонного очага, когда снаружи льет нескончаемый дождь.

— Вам ни к чему приходить сюда завтра, — ска-

зала тем временем Ноэми.

— Да нет же, я приду, — возразил доктор.

Понимала ли Ноэми? Могла ли она не понимать? Открыл ли он ей свои чувства? Суждено ли Жану умереть, так и не узнав, чем кончится это единоборство у его смертного одра? Казалось, кто-то решил, что бедолага Жан мало помучился в жизни, и теперь наспех готовил ему новые оковы, которые можно разбить лишь ценой неимоверных усилий. Однако звенья одно за другим разрывались вплоть до этого последнего обострения болезни: страсти его угасли еще при жизни, и настал день, когда он мог глядеть абсолютно на все с одной и той же благодарной улыбкой. Теперь уже Жан повторял не стихи, а простые слова вроде: «Это я. Ничего не бойтесь…»

Поздняя осень с ее дождями обступила сумрачную комнату. Почему все спрашивают, болит ли что-нибудь у Жана, когда его боль превратилась в радость? Из этой жизни он воспринимал лишь петушиные крики, шум коляски, призывный звон колоколов, бесконечное журчание текущей с черепичной крыши воды, а ночью — клекот хищных птиц и вопли умерщвляемых зверей. В последний раз для Жана заря окрасила своим светом окна. Кадетта зажгла очаг, и смолистый дым

заполнил комнату. Часто знойным летом ветер в ландах доносил до него запах горящих сосен. Теперь этот запах вбирает его умирающее тело. Д'Артьялы утверждали, что Жан еще слышит, хотя и не видит. Господин Жером в запачканной лекарствами ночной рубашке стоял у двери, вытирая платком слезы. Кадетта и ее внук преклонили в темноте колена. Голос священника, произносившего искупительную молитву, бился, казалось, в створки невидимой двери: «Покинь этот мир, христианская душа, во имя всемогущего Бога-отца, создавшего тебя; во имя Иисуса Христа, Сына Божия, живого, пострадавшего за тебя; во имя Духа Святого, сошедшего на тебя; во имя Ангелов и Архангелов, во имя Престолов и Властей, во имя Начал и Сил…» Ноэми не спускала с Жана горящего взора, говоря про себя: «Он был прекрасен…» Для жителей городка похоронный звон по Жану слился со звоном, призывающим к утренней молитве.

## XVI

Господин Жером слег. Зеркала, в которых Жан Пелуер так часто созерцал свою невзрачную физиономию, были закрыты тканью. Тело Жана одели как для обедни. Кадетта даже нахлобучила на него фетровую шляпу, а в руки вложила молитвенник. На кухне стоял шум, как во время праздника: в столовой набралось человек сорок. Арендаторы рыдали вокруг катафалка, как античные плакальщицы. Кюре впервые служил по второму разряду. Каждому из приглашенных раздали по паре перчаток и по завернутой в бумажку монетке. Во время службы моросил дождь, но когда возвращались с кладбища, уже распогодилось. В ожидании воскресения мертвых Жан остался лежать в земле — в сухом песке, бальзамировавшем трупы.

Ноэми на три года надела траур. Столь долгий траур сделал ее в буквальном смысле невидимой. Она появлялась только на мессе, да и тогда переходила площадь, лишь удостоверившись, что поблизости никого нет. Даже в первые жаркие дни ее шею стискивал воротничок с белой каймой. Некоторые сочли, что шелковое платье

слишком блестящее и не годится для траура, и Ноэми отказалась от него.

Между тем распространился слух, что молодой доктор вдруг уверовал в Бога. В будни он зачастил на мессу: заходил в церковь между двумя визитами к больным. Когда спрашивали мнение кюре о столь утешительном для пастыря событии, тот отмалчивался в ответ, лишь его узкие, словно зашитые губы слегка расплывались в улыбке. Вероятно, кюре потерял авторитет, лишился силы убеждения, ведь он так и не смог добиться от господина Жерома, чтобы тот убрал из завещания пункт о запрете Ноэми выходить замуж, разумеется, если она хочет наследовать его состояние. Не удалось ему и смягчить суровый траур вдовы, чрезмерность которого он осуждал. Господин Жером кичился тем, что в его семье женщины вообще не снимали траур, да и родственники Ноэми как могли поддерживали в ней желание жить затворницей.

В зимние утренние часы в церкви царил полумрак, и молодой доктор, глядя на вдову, различал лишь смутную тень, да и сама Ноэми не поднимала глаз от плиток пола. Иногда, правда, он видел как в тумане ее лицо, лучащееся молодостью, несмотря на уединенную жизнь и посты

в день причащения. На следующий день после панихиды в годовщину смерти Жана, когда весь городок узнал, что Ноэми решила не снимать траурную вуаль, христианские чувства доктора были поколеблены. Он пренебрегал теперь не только мессой, но и своими больными. До старика Пьёшона дошли слухи, что его молодой коллега пьет, даже по ночам встает, чтобы пропустить рюмку-другую.

Господин Жером никогда так хорошо себя не чувствовал, и у его снохи появилось свободное время: она, правда, занималась поместьем, но сосны не требовали особого внимания. Ноэми по-прежнему твердо верила в Бога, но ее вера не была глубокой и не поддерживалась благочестивым чтением. Она была не способна к долгим размышлениям и оттого довольствовалась готовыми формулами. Нищих в смолистых ландах было кот наплакал, а толпу голосистых воспитанниц католического приюта для девочек лишь раз в неделю собирали у фисгармонии. Что же оставалось Ноэми, кроме как по примеру своих соседок предаться греху чревоугодия? На третий год траура Ноэми располнела, и доктор Пьёшон предписал ей один час в день ходить пешком.

Как-то в один из первых знойных дней она

отправилась на ферму под названием Тартеум и, выбившись по дороге из сил, уселась на склоне холма. Ее обступал дрок, в котором жужжали пчелы. Слепни и мошки, выбравшись из вереска, кусали ей ноги. Всем своим грузным телом Ноэми чувствовала, как в груди тяжело бьется сердце. Она думала о пыльной дороге, которую недавняя вырубка деревьев полностью отдала на откуп пеклу и по которой ей надо было плестись до дому еще три километра. Ноэми сознавала, что навсегда останется пленницей бесчисленных сосен с красными клейкими ранами, нескончаемых песков и обожженных ланд. В душе этой малообразованной, не приученной думать женщины зарождались смутные сомнения, которые в свое время терзали Жана: не эта ли иссушенная земля, не отшельническая ли жизнь заставляли ее, несчастную, жаждавшую воды, вздевать голову, тянуться к воде вечной? Ноэми вытерла влажные руки платком с черной каемкой и поглядела на пыльные башмаки, потом вниз на молодые папоротники, похожие на лапы с растопыренными пальцами. Подняв глаза — в лицо пахнуло ржаным хлебом с мызы, — Ноэми, задрожав, вскочила на ноги: перед домом стоял такой знакомый двухколесный экипаж. Сколько

раз в узкую щель между ставнями глядела она с восторгом на сверкавшие на солнце оси его колес! Ноэми стряхнула с платья песок. Экипаж покачивался. Вскрикнула сойка. Окруженная роем мошкары, Ноэми, не шелохнувшись, во все глаза смотрела на дверь, готовую вот-вот отвориться. Приоткрыв рот, с комком в горле, она ждала, подобно бессловесному послушному животному, когда появится молодой человек. Дверь наконец открылась, Ноэми вглядывалась в полумрак дома, где двигались неясные тени. Знакомый голос на местном наречии предписывал принимать огромные дозы йодной настойки. А вот и сам доктор: на солнце блеснули пуговицы его охотничьей куртки. Арендатор взял лошадь под уздцы и сказал, что сейчас самое опасное время года: могут случиться пожары, сушь, трава под деревьями не зазеленела, в ландах уже нет воды… Молодой человек натянул поводья. Почему Ноэми так отпрянула? Какая-то сила не давала ей шагнуть навстречу, тащила назад. Ноэми спряталась в высоких зарослях вереска. Колючий кустарник царапал руки. На мгновение она замерла, прислушиваясь к шуму удалявшегося экипажа, уже скрывшегося из вида.

Разумеется, избегая встречи с доктором, Ноэми

думала о том, что городок вознегодует, перестань она играть роль примерной вдовы. И потом, из-за завещания господина Жерома ее родня никогда не согласится на такой, по словам мадам д'Артьял, необдуманный брак. Но Ноэми преодолела бы все эти препятствия, когда бы ее не обуздывала иная сила, с которой не могло совладать ее влечение к доктору. Ничем не примечательная женщина, она была обречена на величие. Ей, простой невольнице, суждено было царствовать. Расположившая мещаночка должна была превзойти саму себя: для нее были заказаны все дороги, кроме одной — дороги отречения. В эту самую минуту в сосновом бору под комариный писк она осознала, что верность покойному осенит ее венцом смирения и славы, ей оставалось лишь подчиниться неизбежному. И Ноэми побежала через заросли вереска, и остановилась, только когда вконец обессилела, когда набились полные башмаки песка, — остановилась, обхватив чахлый дуб в одеянии из увядших листьев, все еще трепетавших на жарком ветру. Понурый дуб так походил на ее Жана!

**Ля-Мотт, Вемар, июль.**
**Жоане, Сен-Симфорьен, сентябрь 1921 г.**

# МАТЕРЬ

# I

— Она спит.

— Притворяется. Пошли.

Так шептались у постели Матильды Казнав муж и свекровь, за чьими исполинскими сплетающимися тенями на стене она следила из-под ресниц. На цыпочках, потрескивая подошвами, они приблизились к двери. Матильда услышала их шаги по скрипучей лестнице, потом их голоса — один пронзительный, другой хриплый — заполнили коридор первого этажа. Теперь они торопливо пересекали ледяную пустыню вестибюля, отделявшего крыло, в котором жила Матильда, от того, где в смежных комнатах обитали мать и сын. Где-то далеко захлопнулась дверь. Молодая женщина с облегчением вздохнула, открыла глаза. Над ней свисал с багета, окружая кровать красного дерева, белый миткалевый полог. Ночник освещал несколько синих букетов на стене и зеленый с золотым ободком стакан с водой на круглом столике, дрожавший от маневров паровоза, — вокзал был совсем рядом. Потом все стихло, и Матильда прислушалась к шепоту этой летней ночи (так во время вынужденной

остановки поезда пассажир вдруг слышит стрекот кузнечиков на незнакомом поле). Прошел двадцатидвухчасовой экспресс, и весь старый дом содрогнулся: затряслись полы, на чердаке или в одной из нежилых комнат отворилась дверь. Потом поезд прогрохотал по железному мосту, перекинутому через Гаронну. Матильда, вся обратившись в слух, старалась проследить как можно дольше за этим грохотом, быстро заглохшим в шорохе ветвей.

Она задремала, потом проснулась. Кровать ее опять дрожала: не весь дом, только кровать. Меж тем не было никакого поезда — станция спала. Лишь несколько секунд спустя Матильда поняла, что это озноб сотрясает ее тело. У нее стучали зубы, хотя ей уже стало жарко. Дотянуться до термометра, лежавшего на столике у изголовья, она не смогла.

Потом дрожь утихла, но внутренний огонь подымался, как лава; она вся горела. Ночной ветер раздул занавеси, наполнил комнату запахом жасмина и угольной гари. Матильда вспомнила, как страшно ей было позавчера, после выкидыша, когда к ее телу, залитому кровью, прикасались проворные и ненадежные руки повитухи.

«У меня, наверно, больше сорока… Они не захо-

тели пригласить сиделку…»

Ее расширенные зрачки уставились на колеблющийся венчик света на потолке. Руки сжали юные груди. Она позвала громким голосом:

— Мари! Мари де Ладос! Мари!

Но как могла ее услышать служанка Мари (прозванная де Ладос, потому что родилась в селении Ладос), которая спала на чердаке? Что это за темная масса возле окна, этот лежащий и словно бы нажравшийся — а может, притаившийся — зверь? Матильда узнала помост, воздвигнутый некогда по велению свекрови в каждой из комнат, чтобы ей было удобнее следить за сыном, — делал ли он «свой круг» на Севере, прогуливался ли по Южной аллее или возвращался, подстерегаемый ею, через Восточные ворота. Именно на одном из таких помостов, в маленькой гостиной, Матильда увидела в один прекрасный день, будучи невестой, эту огромную разъяренную женщину, которая, вскочив, топала ногами и кричала:

— Не видать вам моего сына! Никогда вы у меня его не отнимете!

Между тем внутренний жар спадал. Бесконечная усталость, раздавив все ее существо, не позволяла шевельнуть даже пальцем — хотя бы для того, чтобы отлепить рубашку от потного

тела. Она услышала скрежет двери, выходящей на крыльцо. Это был час, когда г-жа Казнав и ее сын, вооружившись фонарем, шли через сад к сооруженному возле крестьянского дома укромному местечку, ключи от которого хранили при себе. Перед Матильдой встала сцена, повторявшаяся ежедневно: они поджидали друг друга, продолжая разговаривать через дверь с вырезанным сердечком. Ей опять стало холодно. Зубы стучали. Кровать дрожала. Матильда нашарила рукой шнурок звонка — допотопной системы, вышедшей из употребления. Дернула, услышала, как трется о карниз канатик. Но колокольчик даже не звякнул в доме, погруженном во мрак. Матильда снова пылала. Зарычала собака под крыльцом, потом раздался ее яростный лай, кто-то шел по тропке между садом и вокзалом. Она подумала: «Еще вчера я испугалась бы!» В этом огромном доме, вечно сотрясаемом дрожью, где наружные стеклянные двери не были даже защищены глухими ставнями, ей случалось проводить ночи в безумном страхе. Сколько раз она вскакивала на постели, крича: «Кто там?» Но теперь ей больше не страшно — точно в этом пылающем костре она сделалась неуязвимой. Собака все еще скулила, хотя звук шагов затих.

Матильда услышала голос Мари де Ладос: «Qués aquo, Peliou!»[14] Потом услышала, как Пельу радостно забил хвостом по каменному крыльцу, а та успокаивала: «Lá, lá, tuchaou!»[15] Огонь снова покидал эту снедаемую им плоть. Безмерная усталость переходила в покой. Ей казалось, она вытягивает свои изнемогшие члены на песке, у моря. Молиться она и не думала.

---

**[14] Примечания: 14**
Чего лаешь, Пельу! *(диалект).*

**[15] Примечания: 15**
Ну, ну, замолчи! *(диалект).*

## II

Далеко от этой спальни, по другую сторону вестибюля, в маленькой гостиной рядом с кухней мать и сын глядели, как угасают и вновь вспыхивают головешки в камине, хотя уже стоял июнь. Опустив на живот недовязанный чулок, мать почесывала длинной спицей голову, где между крашеными волосами проглядывала белая кожа черепа. Сын отложил материнские ножницы, которыми вырезал изречения из дешевого издания Эпиктета[16]. Этот бывший воспитанник Политехнического решил, что книга, где будет собрана воедино вся мудрость, проповедуемая от начала рода человеческого, откроет ему с математической точностью тайну жизни и смерти. Поэтому он усердно копил всевозможные сентенции, тешился их вырезыванием, как ребенок, и только в этом занятии находил облегчение. Но сегодня вечером ни мать, ни сын не могли

---

**[16] Примечания: 16**

Эпиктет (ок. 50-138) — древнегреческий философ; раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу. Проповедовал идеи стоицизма. Выдержки из его учения, известные под названиями «Беседы» и «Руководство» сохранились в записи его ученика Арриана.

уйти от своих мыслей. Внезапно вскочив, Фернан Казнав вытянулся во весь свой рост и сказал:

— Мне кажется, зовут.

И, шаркая шлепанцами, двинулся к двери. Но мать тотчас настигла его:

— Не пойдешь же ты снова через вестибюль? Ты сегодня вечером трижды кашлял.

— Она совсем одна.

Что с ней может стрястись, по его мнению? Слишком уж он суетится из-за какого-то «несчастного случая»!

Взяв старую женщину за руку, он попросил ее прислушаться. Только паровоз да соловей в ночи; только обычные потрескивания от паровозных маневров. Но теперь — до первого поезда на рассвете — дом не будет дрожать. Случалось, однако, что длинные товарные составы, шедшие вне расписания, сотрясали почву, и тогда каждый из Казнавов, внезапно разбуженный, зажигал свою свечу, чтобы посмотреть, который час. Они снова уселись, и Фелисите, чтобы отвлечь внимание сына, сказала:

— Помнишь? Ты хотел вырезать одну мысль, которую прочел сегодня ночью.

Он помнил. Это было у Спинозы — что-то вроде «мудрость в раздумьях о жизни, а не о смерти».

— Хорошо, правда?

У него было больное сердце, и в выборе сентенций им руководил ужас перед кончиной. Кроме того, он инстинктивно тянулся к мыслям, легко доступным его уму, больше понаторевшему в цифрах, нежели в отвлеченных идеях. Он мерял шагами комнату, оклеенную зелеными обоями, на которых были вытеснены карты. Диванчик и кресла, обитые черной кожей, напоминали меблировку залов ожидания. Узкие и длинные полосы темно-красной материи окаймляли окна. Лампа, поставленная на письменный стол, освещала раскрытую книгу, деревянный стаканчик с перьями, магнит и кусочек почерневшего воска. Под стеклом пресс-папье улыбался Тьер[17]. Возвращаясь из глубины комнаты к г-же Казнав, Фернан заметил на ее сером и отечном лице гримасу сдерживаемого смеха. Он устремил на мать вопросительный взгляд. Она сказала:

— Это даже не был бы мальчик.

Он возразил, что Матильда в этом не виновата.

---

**[17] Примечания: 17**

Тьер Луи Адольф (1797–1877) — французский государственный деятель, глава исполнительной власти с февраля 1871, в сентябре 1871–1873 президент Франции; историк. В феврале 1871 заключил унизительный для Франции предварительный договор с Пруссией. После провозглашения Парижской Коммуны 1871 возглавил версальцев, с жестокостью подавивших Коммуну.

Однако старуха, покачивая головой и не подымая глаз от вязанья, похвалилась, что с первого взгляда «раскусила эту ничтожную гувернантку». Фернан, который снова уселся подле столика, где среди искромсанных сборников афоризмов поблескивали ножницы, осмелился:

— Какая женщина пришлась бы тебе по душе?

Неистовое ликование старой дамы прорвалось наружу:

— Уж, во всяком случае, не эта!

Она вынесла приговор на второй день, когда эта пустельга посмела прервать своим «вы уже это рассказывали» повествование упоенного собой Фернана, вспоминавшего, как он сдавал экзамены и единственный раз провалился в Политехническом, не заметив коварной ловушки в задаче, и каким, наконец, красивым жестом завершил он тот вечер, когда, желая продемонстрировать силу характера, облачился во фрак и отправился в оперу слушать «Гугенотов».

— Ну, и все прочее, о чем я даже не хочу говорить!

Эта идиотка быстро оскандалилась! И двух месяцев не понадобилось, чтобы возлюбленный сын вернулся почивать в свою школьную постельку у стены, отделявшей ее от материнской спальни. А

втируша почти всегда оставалась в одиночестве, в другом крыле дома. Отныне с ней считались даже меньше, чем с Мари де Ладос, вплоть до дня, когда ее надоумило поступить на манер тех женщин, которые в эпоху террора спасались в последнюю минуту от эшафота, сказавшись беременными. Поначалу мошенница более чем преуспела. Она стала для Фернана священной особой. Он лопался от гордости, поскольку на свет, возможно, предстояло появиться еще одному Казнаву. Подобно знатным вельможам, Фернан гордился своим именем, что выводило из себя Фелисите, в девицах Пелуйер, которая принадлежала по рождению «к лучшим домам в ландах[18]» и поэтому не любила вспоминать, что, когда она в 1850 году вошла в семью Казнав, бабка ее мужа «еще ходила в платке». В течение этих пяти месяцев беременности ее невестки не могло быть, следовательно, и речи о том, чтобы бороться… Но, разумеется, исподтишка старуха продолжала действовать. Ибо в конце концов Матильда могла бы родить и мальчика… слава

**[18] Примечания: 18**

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

богу, повитуха уже говорила, что Матильда плохо сложена и обречена на «несчастный случай».

— Я знаю тебя, дорогой: девочкой ты бы не интересовался. Для тебя было бы огорчением видеть ее. А заботиться, тратиться пришлось бы не меньше, чем на мальчика. Прежде всего — кормилица: Матильда была бы неспособна кормить сама. Это не для нее. Я-то была на ногах неделю спустя после того, как ты родился, и отняла тебя от груди только в полтора года; так же было, и когда я родила твоего бедного брата Анри.

Сын поднялся, поцеловал мать в лоб и торжественно провозгласил:

— Ты истинная родоначальница.

Он сел и вновь залязгал ножницами.

— Ну, скажи, Фернан, к чему бы тебе была девочка? — Старая дама гнула свое, не уставая проверять одержанную ею победу: — Представь себе только девочку, которую она воспитывала бы в ненависти к нам!

Он уставился своими круглыми навыкате глазами в пустоту, точно искал там призрак ребенка, хрупкое страшилище, придуманное матерью. Но за отсутствием воображения не увидел его.

Он не увидел ребенка, которого в эту самую минуту представляла себе, чтобы утешиться, его

молодая жена, одиноко умиравшая в спальне. Кровавый сверток, унесенный матроной, мог бы стать живым существом, укус которого, казалось Матильде, она ощущала на своей груди. Как бы выглядело это дитя? Горя в лихорадке, она нашла в своем сердце детское личико, не похожее ни на одно, встреченное ею в жизни, — лицо, не слишком красивое и даже несколько хилое, отмеченное в левом уголке рта знаком, который был у самой Матильды. «Я сидела бы у кроватки в темноте, пока не пройдет скорый, ведь он часто пугал бы ребенка». И царство, где она замкнулась бы с малюткой, было бы не от мира сего. Те, кто ее ненавидят, не смогли бы ее преследовать.

И вот в больном мозгу, к которому приливала кровь, неотступно вставал навязчивый, неразрешимый вопрос, терзавший ее: а ведал ли Господь, какое юное дерево могло произрасти из этого погибшего семени? Ведал ли Господь, какими стали бы эти не засветившиеся глаза? Не сулит ли смерть встречу с миллиардами существ, которые не воплотились? С тем, кем должен был стать этот комок плоти, с тем, кого он содержал в зародыше…

Но тут мысль Матильды замутилась. Это был миг, когда огненная волна откатилась, когда жар

словно бы покинул ее бьющееся в ознобе тело, залитое липким потом, отданное во власть того забытья, которое является преддверием смерти. Она ощущала себя отброшенной в сторону свирепым зверем, возможно, готовым снова к ней вернуться через секунду! Распростертая на своей кровати, лежа на спине, она ждала приближения дрожи; подстерегала ее предвестья. Но их не было. Она вглядывалась в недра своего существа, как смотрят в небо, не смея верить, что гроза удаляется. Жить! Неужели? Жить! Тяжелые и жаркие слезы смочили ее щеки. Она сложила, стиснула свои потные руки: «Вспомяни, Пресвятая Богородица, в бесконечном милосердии своем, что до сего дня никто, воззвавший к твоему покровительству, моливший тебя о заступничестве, никогда не был покинут…»

Она была выброшена на пляж жизни; она вновь слышала ночную музыку мира. Ночь дышала в листве. Огромные деревья шептались в лунном свете, не тревожа ни одной птицы. Волна прохладного и чистого ветра, который, придя с океана, пробежал по верхушкам бесчисленных сосен, затем по низким виноградникам и напитался напоследок ароматом в душистых тополях сада, прихлынула наконец, чтобы умереть на

этом изнуренном лице.

## III

Слабость ее была безмерна и сладостна. Сердце бешено билось, но не причиняло страданий. Нет, нет, она не умирала, а живая она впредь не позволит противнице взять верх над ней. Только бы осталась возможность снова забеременеть! Тогда враг будет вынужден сложить оружие. Достаточно усмирить свекровь: обуздать Фернана — ничего не стоит. Но, выйдя замуж, она имела глупость счесть, что теперь может жить свободно, ни в чем себя не сдерживая. Поэтому она дала волю своей склонности к насмешкам, которую с трудом прятала, пока была невестой. Поверила, что уже выиграла партию, на самом деле еще даже не начатую. Не велико дело, думает она, распалить робкого пятидесятилетнего холостяка, переглядываясь с ним сквозь заросли бирючины, отделявшие усадьбу Казнавов от сада Лашассеней, у которых Матильда жила в гувернантках! Тем более что крупная рыба охотно шла сама в расставленную сеть. Матильде, шпионившей сквозь ветви за стычками матери и сына, следовало бы помнить, что этот человек подхватывал ее как мяч в игре, что она в его руках была всего

лишь оружием в той повседневной борьбе, в которой сын до сих пор неизменно оказывался побежденным матерью.

Теперь, в бездне изнеможения, распростертая на самом дне, она надеется, что отныне сумеет обуздать свой безумный смех, притупить остроты, доводившие до бешенства Фернана Казнава, этого кумира, привыкшего быть предметом поклонения. Она забывает, что такой ее вылепила вся ее нищенская жизнь, что она сама ожесточилась, вооружилась сухостью, воздвигла стену глумления между собой и миром.

Еще девочкой, в приземистом доме на бульваре Кодеран — такие в Бордо именуют бараками — она вместе с Жаном, своим младшим братом, посмеивалась исподтишка над отцом, когда этот преподаватель третьего класса в лицее отрывался от проверки домашних заданий и застывал, уставясь в стену: свет из-под абажура падал только на худые руки, лежавшие на сочинениях, написанных детским почерком, бросая странный зеленый отблеск на эту оцепеневшую фигуру. Матильда и Жан в то время уже знали, что мать их отнюдь не умерла в Бордо, как им внушали, а живет под другими небесами, с другим мужем. И все же смеялись они бесхитростно, ведь они не

слышали, как стонет рядом с ними этот человек — затравленная дичь при последнем издыхании.

Этот питомец Парижского Педагогического института, чья борода была выхолена, безукоризненна, как и его стиль, приобрел опасную славу в год, когда он прочел десять лекций, посвященных «страданиям Рене»[19], воспитанницам частных курсов Р… — славу покорителя девицы Кусту (племянницы судовладельца, той самой, чей отец разорился на беговых лошадях). Он, однако, не сумел отстоять ее, когда она подверглась атаке человека своего круга. В этой истории невинность преподавателя была настолько очевидна, что многие из Кусту (ни один из которых не пожелал присутствовать на свадьбе), стали подчеркнуто отвечать на его приветствие после измены жены.

Позднее, когда в результате ряда мозговых нарушений он уже не мог даже самостоятельно править сочинения, Матильда, в ту пору студентка, делала это вместо отца, и она же каждое утро помогала больному сесть в трамвай на Круа-

**[19] Примечания: 19**

Романтическая повесть Ф. де Шатобриана (1768–1848), французского писателя, политика и дипломата «Рене, или Следствия страстей», в которой впервые во французской литературе был выведен образ героя-страдальца, французского Вертера.

Бланш, провожая его до улицы, проходившей позади лицея, чтобы ее не заметили лицеисты, спешившие на занятия. Остановившись на тротуаре, она смотрела, как отец удалялся на подкашивающихся ногах, направляясь в класс, где его ждал, возможно, издевательский галдеж. В то ужасное время она тем не менее еще отвечала смехом на разглагольствования кузена Лашассеня — «их провидения» — о том, что просто непостижимо, как преподаватель не додумается сам подать в отставку, или уверения г-жи Лашассень (в девицах Кусту), что, будь она в их положении, она уж сумела бы обойтись без гостиной и прислуги. Матильда находила также комичным нескрываемое предпочтение, отдаваемое отцом и кузенами Жану, чьим ангельским лицом, короткими кудрями цвета опаленного золота и острыми зубами, приоткрывавшимися, когда он по-детски смеялся, все они восхищались. А он вечерами убегал через окно гостиной. Матильда бодрствовала, чтобы отодвинуть засов парадного после полуночи, когда он вернется с глазами наивными и непристойными, казавшимися огромными от кругов блаженной усталости, с грязными руками и темным следом последнего поцелуя на его девичьей шее, которую открывал

незастегнутый ворот рубашки. Она встречала без единого упрека, но с сухой насмешкой этого помятого предрассветного ангела. В пору, когда Жан был любовником певицы из театра Буфф, он отнес в ломбард кое-что из их жалкого столового серебра, но Матильда даже не подумала уведомить об этом отца или Лашассеней. Она сочла брата спасенным в день, когда, выкупив все вещи до единой, он положил их обратно в буфет, проявив такое нежное раскаяние, что она, хотя и отрицала в себе экспансивность, поцеловала дорогое ангельское лицо — несколько поблекшее с апреля и подпорченное мелкими прыщами. Ангел, однако, по-прежнему улетал каждую ночь той роковой весны, и поскольку он был не столь божествен, чтобы его тело могло проходить сквозь стены, Матильда продолжала отодвигать для него засов. Иногда, смущенно глядя на нее, ангел отказывался лечь, бренчал в глубине кармана золотыми монетами, которые он вдруг бросал на стол, и говорил, что, когда они кончатся, он раздобудет еще. От него пахло табаком, мускусом, пахло постелью. Он напевал: *«Пусть мной владеешь ты сегодня — ты не узнаешь никогда — люблю иль ненавижу я...»* Она умоляла его не будить отца. Он требовал,

чтобы она сходила на кухню за остатками обеда. Матильда сама удивлялась, почему находит в этом полуночничанье горькое отдохновение. Она плохо понимала разглагольствования подростка: соприкасаясь бок о бок с этой юной гнилью, внимая его болтовне до зябкого часа первого трамвая, сама она оставалась незатронутой.

Наконец разразился скандал, быстро замятый усилиями директора лицея, Лашассеней, Кусту, о котором Матильда так никогда ничего и не узнала, кроме того, что в дело сунула нос полиция и следует выказывать особую благодарность Лашассеням за отправку Жана в Сенегал, где у Кусту были фактории.

Отец прожил еще несколько месяцев в полубессознательном состоянии, и Лашассени говорили, что как для него, так и для всех остальных было бы лучше, если бы он поскорее умер. В день его смерти они повторили, что это — избавление. Г-жа Лашассень утверждала, что на месте Матильды ей хватило бы деликатности не требовать траурных занавесей, поскольку за них, как и всегда, придется платить им. Они заплатили и даже приютили сироту в своем поместье Лангон, где проводили жаркие месяцы. На Матильду были возложены обязанности не слишком переутом-

лять наукой их дочь, чахлую и «придурковатую» девочку. Лашассени хвалили свою бедную кузину за «тактичность и умение исчезать». И вправду, перед десертом она словно бы испарялась. А сидя за столом, была незаметна, точно притушала блеск своих белокурых волос; взгляд ее казался отсутствующим; неброское платье сливалось с деревянными панелями. Поэтому в ее присутствии перемывалось самое грязное белье, и супруги не опасались тихони, делавшей вид, что у нее нет глаз, но все видевшей, нет ушей, но все слышавшей. Здесь Матильда «досыта» удовлетворяла, держа это в тайне, ту склонность к насмешкам, которой предстояло погубить ее у Казнавов. Все в ней, казалось, было иссушено, выжжено: унылая земля, лишенная влаги! Она полагала, будто знает, каков порядочный человек — по своему отцу, обманутому, опозоренному, оплачиваемому хуже, чем шофер такси (он собирал в банку из-под табака свои окурки). Она отнюдь не сомневалась, что видела любовь, представшую ей в облике брата, ангела с грязными перьями, стучавшего ночью в облупленную дверь барака. И вот она разглядывала Лашассеней с неистовой и глухой жестокостью. Она говорила себе, что, занятые главным образом едой, они оба равно разжирели,

что глаза у них заплыли салом, что этих мужа и жену легко счесть братом и сестрой, настолько одинаковой была их плоть, одинаковы обвислые щеки, лоснившиеся от вечного соуса. Она сравнивала их с медузами, чьи подвижные щупальца не дотягиваются ни до чего, кроме собственной дочери Ортанс, «*у которой*, — записывала в свою потайную тетрадь Матильда, — *на шее уже достаточно жемчуга, чтобы прикрыть следы золотухи*». Как презирала она их за столом, когда они неспешно переговаривались, перемежая слова долгим жеванием! «*Они связывают нить беседы только после того, как проглотят кусок, как люди, которые никогда не пожертвуют тем, что едят, ради того, что высказывают*». И она составила им эпитафию: «*Они ели и копили*».

Но перепалки другой пары за бирючинами живой изгороди уже отвлекали ее от развлечения Лашассенями. Изгородь проходила вдоль Южной аллеи, милой Фернану Казнаву. Сюда он убегал от материнского надзора. Трусливо озираясь по сторонам, пятидесятилетний сын, как лицеист, покуривал тайком запретную сигарету. Если случалось, что Фелисите обрушивалась на него с одного из помостов, устроенных для слежки за ним, он не всегда успевал затоптать окурок

под кустами. Однажды Матильда видела, как он пожирал тайком дыню, запрещенную ему по причине запоров, бросая через изгородь корки, одна из которых попала прямо в лицо шпионке. Она завернула в газету эти преступные корки, побежала к Казнавам, сообщила Мари де Ладос, что какой-то мародер разоряет ее бахчу, и потом снова притаилась за бирючинами, куда до нее долетело эхо разразившейся грозы.

Но частенько и она, в свою очередь, становилась объектом слежки. Она делала вид, что не замечает массивную фигуру Казнава, который, подобно какому-нибудь замшелому божеству, увенчивающему пограничный столб, раздвигал ветви кизила, орешника и бирючины. Она, разумеется, не строила воздушных замков в связи с этим маниакальным взглядом, который ее пожирал: молодая женщина на берегу Гаронны привычна к прожорливым взглядам, к этому жадному вниманию мужчин. Но г-н Лашассень тяжеловесно подшучивал над Матильдой: он утверждал, будто Фернан Казнав расспрашивал его о молодой девушке, о ее характере, вкусах; выяснял, действительно ли ее мать урожденная Кусту… И как было Матильде не вспомнить тут подслушанные через изгородь диалоги, долетав-

шие до нее в обрывках? (Ибо мать и сын бок о бок, точно старые фрегаты, удалялись по Южной аллее и появлялись вновь только после того, как завершали обход дома по кругу.)

Ей кажется, что она их слышит и сейчас, во мраке, когда слабость ее столь безгранична, что ей не по силам даже протянуть руку к перине. Дрожи пока нет; но смогут ли ее усталые члены воспрять из этой бездны? Может ли подобная разбитость не быть вечной? Ее тело сломлено не болезнью, думает она, но ударами, нанесенными этим мужчиной и этой старой женщиной, которую она представляет себе сейчас сидящей в кабинете, где протекло так много тягостных вечеров. Та поворачивает полено, отодвигает подальше кресла, ставит экран, предохраняющий от искр. Говорит сыну: «Я тебя не целую, я еще приду к тебе подоткнуть одеяло…»

Матильда вспоминает, как колотилось у нее сердце в тот день, когда, притаившись за бирючинами, она прислушивалась к нарастающей грозе двух сливающихся голосов. Наконец мать и сын появились в конце аллеи. Сначала громче кричал он, обвинял г-жу Казнав в том, что во время последних выборов та заставила его отклонить предложение комитета радикалов. Она не

разрешила ему даже сохранить за собой кресло в департаментском совете… Они остановились в нескольких метрах от притаившейся Матильды. Старуха говорила:

— Я прежде всего хотела, чтобы ты жил, понимаешь? Чтобы ты жил!

— Полно! Дюлюк еще вчера заверил меня, что я крепок как дуб. Он обещает, что я похороню вас всех. Ты хотела, чтобы я жил… возле тебя. Вот в чем правда.

— Ты крепок как дуб? Дюлюк сказал это тебе, чтобы польстить. Как будто после скарлатины, которой ты переболел в десять лет, у тебя не было всяких хворей, в которых врачи ничего не понимали, да еще твой хронический бронхит, подхваченный в год, когда ты пошел волонтером… не говоря уж обо всем, что ты умудрился подцепить с тех пор.

Еще один круг, и когда они появились вновь, молодая девушка услышала, что битва возобновилась на новой территории:

— Чтобы лучше держать меня в руках, ты помешала мне жениться. Ты… ты сделала меня одиноким.

— Тебе жениться? Бедный малый! Хотела бы я посмотреть на тебя в роли мужа.

— Не толкай меня на это.

Старуха пожала плечами. Задыхаясь, она обмахивала платком посиневшее лицо. Сейчас Матильде известно то, чего она не знала в ту пору и на чем мать основывала свое спокойствие: уже тогда Фернану нередко случалось в вечер после стычки сесть в поезд с чемоданом, но без самых нужных вещей, и отправиться в Бордо к некой особе, которую г-жа Казнав неизменно обозначала словом «привычка». «Знаете, Фернан, к сожалению, завел себе привычку на улице Югри». Она добавляла: «Он ее хорошо выдрессировал. За него нечего беспокоиться. Она его не разорит».

Но «привычке» никогда не удавалось удержать у себя Фернана дольше трех дней: он возвращался домой, дрожа, поскольку забыл взять с собой фланелевое белье, невыспавшийся, поскольку никогда не умел спать вдвоем, разъяренный ресторанами и чаевыми, короче, совершенно разбитый, угнетенный, поскольку такого рода упражнения утомляли его нервные центры.

— Завтра утром я уеду десятичасовым.

— Как тебе угодно, сын мой. Счастливого путешествия.

Матильда вспоминает пронзительные голоса, провопившие и эту угрозу, и этот ответ, — они

решили ее судьбу. Ибо едва она это услышала, как приняла решение сесть в тот же десятичасовой.

Теперь уж поздно лгать себе. Дрожи пока нет — но тебе так зябко, что ты убеждаешь себя, сама в это не веря, будто всему причиной ночной ветер и ледяной пот на твоих членах. Ты сама устремилась к своему несчастью. Ты не испытывала никакой нежности к этому старому человеку. Просто инстинкт крота толкал тебя искать выход из твоего подчиненного положения. Самое худшее в униженном состоянии, что оно заставляет нас рассматривать людей с точки зрения извлечения из них выгоды, и мы доискиваемся только одного, каким образом можно их использовать. Ты вглядывалась в каждого человека, в каждое событие, переворачивая их, как карты, в надежде получить козырь. Ты толкала каждую приоткрытую дверь, — пленница, ты вовсе не заботилась о том, ведет ли она в поле или в пропасть. Разумеется, в то утро, когда под предлогом визита к зубному врачу ты взяла билет второго класса до Бордо и уселась напротив Фернана Казнава, ты даже не могла себе представить, что твои ухищрения увенчаются успехом…

Матильда больше уже не сомневается — смертоносный ураган снова корежит ее, сотрясает,

пронизывает, буйствует, вырывая с корнем это молодое живучее деревцо. Она вспоминает, как девочкой, когда у нее подымался жар, она забавлялась, клацая зубами. Теперь она может предаваться этому вволю. Как трясется кровать! В первый раз она не тряслась так сильно. Захваченная этим циклоном, Матильда до странности отчетливо осознавала покой ночи вокруг неподвластного ей тела. Она слышала в уснувшем и недосягаемом мире беспокойное шевеление птиц, разбуженных луной. Слабый ветер едва покачивал верхушки деревьев. Одна! Одна! Где отец, который присаживался к ней на кровать, когда она болела в детстве, и неловкой рукой откидывал со лба влажные волосы? При свете ночника он правил домашние задания, пока не подходил час напоить ее травяным отваром. Мертвые не помогают умирать живым, которых они любили. Она произнесла вслух имя Жана, своего брата, возможно, еще не покинувшего сей мир. Ей следовало быть настойчивее, дознаться о нем, пусть он и не ответил ни на одно ее письмо… Где затерялось это слабое дитя? Озноб прекратился. Теперь ее затягивало в раскаленное горнило свирепой лихорадки, она вся горела, как молодая сосенка. Ей виделся высушенный пляж,

пожираемый огненным небом, разложившийся труп, который волна то затопляла пеной, то оставляла, чтобы снова накрыть, и, хотя лицо было чудовищно изуродовано, она знала, что это лицо Жана, ее брата. Но ни к одному человеку, кроме этого брата, она не взывала в бреду. Она никого не любила. Ее никто не любил. Это тело, которое испепелит смерть, никогда не испепелялось любовью. Забытье ласк не подготовило ее к вечному растворению. Эта плоть гибла, так и не познав своей тайны.

## IV

Чуть позже мать Казнав чиркнула спичкой, взглянула на часы, потом на мгновение внимательно прислушалась не к предрассветной и задумчивой ночи, но к дыханью обожаемого сына за перегородкой. После некоторой внутренней борьбы она встала с постели, сунула распухшие ноги в шлепанцы и, облачась в коричневый халат, зажав в кулаке свечу, вышла из комнаты. Вот она спускается по лестнице, идет по коридору, пересекает холодную пустыню вестибюля. Теперь она на территории врага: как ни крадучись подымается она, ступени скрипят под ее тяжестью. Она останавливается, слушает, идет дальше. Перед дверью гасит ненужную уже свечу и напрягает слух. Серый рассвет проникает на лестницу. Ни стона, ни жалобы, только какой-то странный звук, точно приглушенное постукивание кастаньет. Зубы клацают, клацают, и наконец слышится жалобный стон… Один Бог мог видеть, что отразилось на этом лике Медузы, подслушивающей под дверью, за которой хрипела ее соперница. Искушение не входить, пусть вершится то, чему суждено произойти…

Старуха колеблется, отступает, одумывается, поворачивает ручку.

— Кто там?

— Это я, дочь моя.

Уже не ночник освещает комнату, но холодная белизна сквозь жалюзи. Матильда смотрит, как надвигается на нее кошмар. И, стуча зубами, кричит:

— Оставьте меня. Мне ничего не нужно. Меня просто немного лихорадит.

Старуха спрашивает, не дать ли ей хинина.

— Нет, мне ничего не надо, только отдых, только повернуться к стене. Уходите.

— Как вам угодно, дочь моя.

Все сказано. Она выполнила свой долг. Ей не в чем себя упрекнуть. Чему быть, того не миновать.

Матильда, воздев руки, точно для заклятия, еще секунду после бегства врага держит их перед глазами, ошеломленная тем, что они сделались лиловыми. Ее сердце безумствует — птица, которую душат и крылья которой бьются все быстрее, все слабее. Она попыталась приглядеться, поднеся руки ближе к глазам, и не увидела своих ногтей, уже посинелых… но даже в эту минуту беспредельного ужаса она не подумала о вечно-

сти ночи, в которую погружалась: совершенно одинокая, Матильда не осознавала, что подошла к самому краю жизни. Будь она любима, поцелуи заставили бы ее вырываться из объятий вечного покоя. Но ей не пришлось рвать никаких связей — она ведь не знала привязанности. У ее изголовья не прозвучал торжественный голос, называя имя Творца, быть может, и грозного, устрашая ее милосердием, быть может, неумолимым. Не было никакого лица, залитого слезами, которое она оставляла бы позади и которое дало бы ей возможность соизмерить стремительность соскальзывания во тьму.

Ей выпала легкая смерть тех, кого никто не любил.

## V

— Слышишь, что говорит тебе Дюлюк?

Под тяжестью Дюлюка качались перила лестничной площадки. Дверь в комнату, где лежала покойница, осталась приоткрытой. Слышно было, как сморкается Мари де Ладос. Дюлюк, практиковавший тридцать лет, знал толк в родильной горячке: уж не собирается ли Казнав учить его медицине? Через двое суток после выкидыша не было никаких оснований приглашать к больной сиделку...

— Ну, а найми ты даже сиделку? Она ведь умерла не от горячки, бедняжка. Сердце сдало. Если бы не сердце, она сопротивлялась бы по меньшей мере три дня. Я видывал и таких, которые выдерживали больше месяца. Помнишь, когда я выслушивал твою супругу во время гриппа и тебя предупреждал насчет аорты?

Большой витраж на лестнице грязнил лазурь. Фернан Казнав вырвал руку, в которую вцепилась мать, твердившая:

— Слышишь, дорогой, что говорит тебе Дюлюк?

И он повторил в третий раз, точно сомнам-

була:

— Я должен был взять сиделку.

Он, не глядя, протянул руку Дюлюку, потом скользнул в черную полосу, образованную щелью приоткрытой двери, и увидел Мари де Ладос, склонившуюся над постелью. Сев поодаль, возле круглого столика, он понял, что она кончает заплетать в косу волосы покойницы, еще живые. От движения паровоза задрожала вода в стакане, и поскольку г-жа Казнав и Дюлюк на площадке заговорили громче, Фернан попытался отвлечься, вникая в их беседу. Доводилось ли ему видеть труп? Да, тридцать семь лет назад — тело отца в той комнате на первом этаже, которая потом стала кабинетом. Как спокойна была тогда его мать! Ему вспоминается, что она все твердила, целуя его: «Теперь начнется новая жизнь…»

Она входит с телеграммами в руке и бросает испытующий взгляд на неподвижно сидящего сына. Из сада доносятся голоса: монахини из богадельни, несколько дам, желает ли Фернан, чтобы их пригласили в дом? Он жестом отказывает. Она берет его за руку:

— Пойдем, дорогой. Ты же знаешь себя. Не оставайся здесь: тебе станет плохо.

Он отнял руку, даже не повернув головы. Она

спустилась, чтобы попрощаться с посетительницами, и снова поднялась. Она опять стала умолять его, чтобы он пошел отдохнуть, прибегая к обычным доводам:

— Кому теперь польза от твоей усталости. Хороши мы будем, если ты заболеешь…

Наконец он заговорил, не глядя на нее:

— В котором часу ты подходила к ее двери?

Она ответила, что, вероятно, часа в четыре.

— Ты сказала доктору, будто слышала, как у нее стучат зубы.

— То есть, подумавши, я сказала себе, что, возможно, этот звук оттого, что у нее стучат зубы.

— Почему ты не зашла к ней еще раз?

— Она сказала, что у нее ничего не болит, что ее только лихорадит… Она отказалась даже от хинина. Я ушла совершенно успокоенная.

— Ну, не такая уж успокоенная, если ты вернулась в шесть, чтобы посмотреть…

Она ничего не отвечает, потрясенная — не тем, что он ее допрашивает, как судья, но тем, что в интонациях дорогого сына ей слышится страдание. Она успокаивает себя мыслью: «Это от щепетильности…» Твердит себе: «Он не расстроен». Но какой ужас, если это так!

Живая Матильда не вынесла бы взгляда, кото-

рым старуха окидывает ее тело, ставшее навеки безразличным. Время торопило — необходимо было спуститься вниз, написать адреса на извещениях о смерти, но она никак не могла решиться оставить их наедине. Чего бы она не сделала, чтобы прервать это свидание с глазу на глаз! И вдруг она устыдилась своего чувства. Ей припомнилась картина в иллюстрированном издании Мишле: один из пап, приказав вырыть из могилы своего предшественника, судит покойника, выносит ему приговор, издевается над трупом... Осталась одна ночь, всего одна ночь до положения во гроб; завтра свинцовый футляр сокроет это тело, и взгляд Фернана натолкнется на тройной опечатанный гроб. Наконец-то он больше не увидит этого лица. Но как пылко он созерцал его! Никогда и ни на кого не смотрел он с таким безмолвным и печальным вниманием. Она вновь подошла к нему, взяла его за руку и произнесла повелительно и умоляюще:

— Пойдем!

Он оттолкнул ее. Она пошла к двери. Каким покойным, разгладившимся, счастливым, любимым казалось ей это уснувшее лицо! Мучаясь одышкой, она спустилась, села писать адреса и здесь, вдали от покойницы, вновь обрела хладно-

кровие. С чего это она встревожилась? Разве не будет отныне Фернан принадлежать ей безраздельно? Мари де Ладос пришла сказать, что барин велел передать барыне, чтобы та не ждала его к обеду. Она улыбнулась, эта крайность ее успокоила: теперь уж покойнице долго его не удержать. Не такой он был человек, чтобы стеснять себя из-за трупа. Но для него нет большего удовольствия, как досадить матери. Зря она старалась вытянуть его оттуда силой; прояви она безразличие, ему самому бы уже надоело… В самом худшем случае он спустится к ужину.

Весь день ей пришлось принимать черных, шепчущих под вуалетками дам в гостиной, где жалюзи были закрыты, зеркала занавешены, кресла погребены под чехлами. Все в один голос превозносили г-жу Казнав за ее стойкость. Все питали надежду, что часа в четыре их чем-нибудь угостят, хотя бы печеньем, — то ли им хотелось уверить себя, будто день не потерян попусту, то ли смерть пробуждала в них древний ритуальный инстинкт, смутную жажду возлияний, умиротворяющих отлетевшие души. Но им пришлось снять осаду натощак. Проводив последнюю посетительницу, Фелисите спросила Мари де Ладос, спустился ли барин. Служанка ответила, что ба-

рин еще наверху и приказал, чтобы в семь часов ему принесли туда бульон с яйцом, халат, шлепанцы и бутылку арманьяка. Она всегда говорила — барин настоящий Пелуйер: он прикидывается злым, но на самом деле нет человека добрее… Мари де Ладос почувствовала, что лучше ей не продолжать, хотя в сумраке вестибюля видела только неподвижную тушу своей барыни.

— Пошла на кухню, дубина.

Хозяйка отдала это приказанье тем тоном, каким сорок лет назад старик Пелуйер кричал Мари де Ладос, когда девушка в изнеможенье падала на стул: «Встань, лентяйка». Он не выносил вида сидящей служанки. Даже ела Мари в те времена стоя, на бегу, прислуживая господам. Право на стул принадлежало ей только если она бодрствовала у гроба или пряла. Грубые посконные простыни, в которые обернули сейчас наверху тело, переставшее страдать, были вытканы умершими служанками.

Госпожа Казнав отужинала в одиночестве, чутко прислушиваясь, убежденная, что с минуты на минуту лестница скрипнет под ногами разбитого усталостью сына. Когда она вставала из-за стола, ей показалось, будто она наконец слышит его, и она уже состроила безразличную мину, — но

это прошел вечерний скорый, и раскрылась от тряски чердачная дверь.

«Завтра к вечеру он сдастся».

Она набросила на плечи шаль, спустилась в сад. Восточный ветер пригнал паровозный дым; но аромат лип и жасмина перебивал запах гари. Стихло последнее щебетание птиц на деревьях. Старая женщина глядела на жалюзи, сквозь которые пробивался свет погребальных свечей. Она сказала вполголоса: «Хорошо ты завтра будешь выглядеть, мой петушок». Возле магнолии она спугнула соловья. Она шла вдоль сухой и пыльной лужайки, и кузнечики умолкали при ее приближении. Она представляла себе сына, зябко скорчившегося на рассвете подле трупа, который пролежал уже сутки. Он, так страшащийся смерти, утром будет, надо думать, сам на себя не похож.

## VI

Да, он и вправду был сам на себя не похож. Запахнув темный халат, откинув голову на спинку вольтеровского кресла, он не отрываясь смотрел на Матильду. На круглом столике стояла рюмка с арманьяком, уже опорожненная и вновь наполненная. Ночные бабочки порхали вокруг двух свечей, ударялись на потолке о собственные тени. Была минута, когда он произнес вслух имя Матильды, и мать не узнала бы этого голоса. Он вставал, подходил к кровати, прогонял какую-нибудь муху, созерцал эту вечную красоту. И повторял про себя: «Слепец… слепец…» — не понимая, что он и в самом деле видел это лицо впервые, ибо смерть стерла с него все, чем запятнала его жизнь: не осталось и следа от жадного, жесткого, напряженного выражения бедной девушки, которая вечно рассчитывает, презирает и насмехается; ни следа от затравленного зверя, готового дать отпор, — ни следа невзгод и тягот. Будь Матильда счастлива, любима, у нее, возможно, при жизни было бы такое лицо, как сейчас, исполненное покоя, — это умиротворенное лицо. «Слепец… слепец…» Слегка подстегиваемый

алкоголем, Фернан прислушивался к тому, как пробивается в нем боль; он опьяненно принимал эту незнакомку. Половодье ломало в нем льды непомерно затянувшейся зимы. В пятьдесят лет он впервые страдал из-за другого человеческого существа. В этот вечер он познал наконец то, что большинство людей открывает для себя в отрочестве. Горькие чары приковывали его к этому трупу. Он подошел еще раз, притронулся пальцем к щеке. И еще долго после того, как он его отнял, палец хранил ощущение бесконечного холода.

Что-то неведомое уходило с лица Матильды, — роковое мгновение, когда начинаешь думать о покойнике: «Он меняется…» Фернан вышел, наклонился над лестницей, залитой ночным светом. Проходил тот же поезд, который накануне слышала во время своей агонии Матильда. Дом, исполинское тело, содрогался, как в часы ее бессонницы, когда ей бывало так страшно. Фернан вспомнил, что пообещал ей установить на первом этаже глухие ставни. Он повторял это про себя, находя какое-то утешение в мысли, что был с нею ласков во время ее беременности. Он вернулся в комнату. Мерещился ли ему запах или он действительно исходил от этого предмета, который теперь его отталкивал и к которому,

казалось, липли простыни? Он отворил настежь окно, раздвинул жалюзи. Он был отнюдь не из тех, кто привык подымать взор к звездам, вместо того чтобы спать. Перед этим безмолвным восхождением светил его охватило ощущение внезапно застигнутого чуда, прикосновение к некой тайне. В нем нарастала тревога, некогда побудившая его вырезать сентенции; так он стоял, бедное создание, между окном и кроватью, между этими мертвыми мирами и этой мертвой плотью.

Уже не смея приблизиться к трупу, он остался у окна, впитывая ночь, насыщенную ароматами. Эти запахи трав, эти шуршащие потемки рождали в нем мысль о счастье, которое он теперь, наверно, мог бы вкусить, но которое навсегда пребудет для него неведомым. Он стиснул кулаки: он не соглашался на кончину Матильды. Войди сейчас его мать, он крикнул бы ей: «Не хочу, чтобы Матильда была мертвой!» — тем же тоном, каким в детстве требовал, чтобы все легли в постель, когда бывал болен сам, или в дни ярмарки, чтобы ему отвинтили одного из деревянных коней с карусели, или чтобы подали клубнику в декабре, или дали поиграть с настоящим ружьем, которое убивает.

Вспомнив одну из вырезанных им сентенций о бессмертии души, он пожал плечами: душа Матильды! Да плевал он на ее душу! Неужели есть дураки, которые утешаются этим? Он хотел, чтобы ему ее вернули живую, вернули это тело! Он хотел увидеть, как на испуганном, недоверчивом лице Матильды проступит радость. Он, не способный выйти за пределы своего «я» даже в сладострастии, теперь слишком поздно понимал, что само наше тело ищет, открывает собственное наслаждение, запрятанное вовне, растворенное в плоти другого тела, которому мы даруем счастье. Фернан почувствовал, что вонзает ногти себе в лоб. Какая-то ночная тварь зарыдала так близко от дома, что он отступил от окна с бьющимся сердцем, подумав: «Уж не „фрегас“ ли…» (таинственная птица ланд, которую притягивают не жилища, куда вошла смерть, но те, к кому смерть приближается).

Была глубокая ночь. До пяти ни одного поезда. Никакое дуновение не могло уже нарушить дремоты листьев. Даже с лугов доносился только сонный шепот трав. Фернан подошел к шкафу и тут же отскочил, увидев в зеркале свое страшное лицо, словно и он уже был тронут тлением, разлагавшим в трех метрах от него Матильду.

И снова ночное рыданье — настолько приблизившееся, что, казалось, оно прозвучало в комнате. Должно быть, она бьется о трубу, а то и в трубе! Фернан уставился на черную железную заслонку: не слышится ли за ней биение мрачных крыл? Он отступил к двери. Он был побежден. Он возвращался к матери: не зря старуха на другом конце дома, сидя на кровати, сдерживала себя, чтобы не броситься на помощь неблагодарному. Она тоже услышала ночную птицу и говорила себе, блаженствуя: «Теперь-то он не задержится, я его знаю!»

Но на площадке, куда кинулся Фернан, он увидел приближающийся огонек, осветивший лестничную клетку: появилась Мари де Ладос со своей лампой. Она была одета по-воскресному, голову охватывал черный платок, из-под которого высовывались длинные мочки старых ушей. Она подумала, что барину, наверно, хочется спать. Он взял из ее рук лампу и спустился так стремительно, что она потухла в коридоре. Добравшись до своей спальни, он на ощупь разделся и тут же уснул. Мать, услышав за перегородкой храп возлюбленного сына, тоже задула свою свечу, смирившись с тем, что ей уже не придется сегодня его поцеловать. А там, у покойницы, в

вольтеровском кресле, не смея откинуться на спинку, сидела Мари де Ладос, выпрямив плечи, отбрасывая на стену причудливую тень: ее беззубый рот непрестанно шевелился. Зерна четок в ямке передника были подобны зернам маиса и ячменя.

## VII

Опустив креп, несмотря на то что уже палил утренний зной, Фелисите Казнав вышла через Восточные ворота на дорогу вдоль железнодорожной линии Бордо — Сетт. Она шагала, откинув корпус, сложив руки на животе, подметая подолом платья помет и пыль. Несколько минут она следовала по большой дороге, потом свернула вправо, к кладбищу. Не переступая врат погоста, постучала указательным пальцем в застекленную дверь стража мертвых. Ворчливый голос — голос человека, более не рассчитывающего на чаевые, не ожидая вопроса, прокричал, что вот уже шесть дней г-на Казнава здесь не было. Мучимая одышкой, но с чувством облегчения, она тронулась в обратный путь, сочтя, что выиграла очко в своей борьбе против покойной. В течение недели, последовавшей за похоронами (на которых Фернан присутствовал, точно в бреду, и со следами таких страданий на лице, что город был поражен), он каждое утро непременно относил жене неуклюжий букет цветов с коротко обломанными стеблями, как обычно рвут дети. Наконец-то он сдался!

Фелисите подумала: «Это начало». Она уступила потребности успокоить себя. Но в глубине души ощущала безмерную усталость. Натура рассудочная, она была безоружна в борьбе с призраком. Она привыкла воздействовать только на живую плоть. Тактика усопшей сбивала ее с панталыку: притаившись в Фернане, та заняла в нем свои позиции, точно в крепости. Разумеется, Фелисите знала злопамятство возлюбленного сына, его ненависть к ней и даже предвидела удесятерение той жажды ее мучить, которая была у него всегда (ребенком он бил коленом по креслу, где сидела мать, до тех пор, пока она не молила о пощаде). Но на этот раз ничего похожего, он мстил ей полным безразличием, неким духовным отсутствием, и это расстраивало всю ее игру, пресекало все ее ухищрения. Отворяя Восточные ворота, она ощутила усталость, пот заливал ее тело под траурными доспехами. Она окунулась в плотный запах старых кустов самшита, окружавших круг водокачки, где ослица Гризетта дремала на истоптанной навозной тропке. Привычным движением Фелисите ткнула острием зонтика в старую кожу животного, которое, отбрыкнувшись, тронулось с места. «Какая разница, — подумала Фелисите, — ходит

ли он мечтать на кладбище или в луга, если все его мысли сосредоточены на той...» В это утро, как и ежедневно, слегка скосив плечо, прикрыв голову соломенной шляпой, купленной три года назад, которую он дал выкрасить в черный цвет, Фернан ушел из дому в своем сильно пахнущем потом пиджаке из альпаги. Когда полдень вынудит его вернуться, сесть напротив матери, он покажется ей особенно отчужденным. Ничто уже его не задевало; он никак не реагировал на слова, которые прежде вывели бы его из себя.

Она уселась у окна в кабинете, на подмостках, с которых могла подстеречь сына, — старая королева, лишенная престола. Опустив вязанье на живот, она не сводила глаз с калитки. Одиннадцатичасовой экспресс оповестил ее, что теперь уж Фернан не замедлит появиться. Она ждала всякий раз возвращения возлюбленного сына, словно оно должно было положить конец действию этих смертельных чар. «Он вернется ко мне, — твердила себе мать. — В пятьдесят лет люди не меняются...» Ей не приходило в голову, что он ничуть не изменился; он оставался все тем же маленьким мальчиком, капризно топавшим ногами, которого она знала; он не хотел, чтобы Матильда была мертва, и сама смерть не могла

справиться с его неистовой требовательностью.

Она спустилась с подмостков и, поскольку сын все еще медлил с возвращением, принялась повторять себе в сотый раз, меряя шагами комнату: «Значит, так: вспомним — я поднялась; я постучала в дверь; я спросила, не плохо ли ей; она мне ответила, что ей ничего не нужно… Да, но, вернувшись к себе в спальню, ты стала искать в медицинском словаре „заражение крови“.»

Она так ушла в себя, что ее застигли врасплох шаги Фернана в вестибюле и его голос, спрашивавший Мари де Ладос, подано ли на стол. Так как до обеда оставалось еще четверть часа, он пошел в сад. Фелисите, спрятавшись за занавесями, наблюдала. Он стоял посреди аллеи. На что он смотрел?

Мать и не подозревала, что он мысленно видел ту комнату на улице Югри, где раз в месяц его ждала «привычка». Махровые полотенца сушились на веревочке у окна. «Привычка» называла его своим старым скрягой, потому что никакими силами из него невозможно было вытянуть ни единого су сверх обычной таксы. И к этому сводилась вся история Фернана Казнава в области любви. Он поднял глаза к окну Матильды: «И все же, — подумал он, — во время своей беременно-

сти она могла видеть, что я ее люблю, держу ее сторону в спорах с матерью. Но она сочла, будто это из-за ребенка…» Тщетно он пытался припомнить случаи, когда был с ней хоть немного ласков. В эту минуту его преследовало только воспоминание о последней поездке с Матильдой в Бордо: как испортилось у него настроение, когда он узнал, сколько она потратила на приданое для младенца! «В мое время, — ворчал он, — матери и в голову бы не пришло что-нибудь покупать. Она сочла бы делом чести все связать собственными руками!» Матильда молча, уныло плелась за ним. Они вошли в ресторан, казавшийся немного попригляднее тех, куда он водил ее обычно: на столах стояли цветы. Она развернула салфетку и улыбалась наконец, счастливая, непринужденная. «Нет, сударь, у нас только порционные», — ответил метрдотель Фернану, который заказал «дежурное блюдо». И тогда, бросив взбешенный взгляд на меню, он встал, потребовал гардеробщика. Пришлось вновь пройти через весь зал, где тихими голосами переговаривались посетители и ухмылялись официанты. Они двинулись по раскаленному тротуару Алле-де-Турни. Фернан делал вид, что не замечает ее слез…

Он вернулся в дом. Г-жа Казнав, выпрямившись

на своих отечных ногах, присоединилась к нему в вестибюле.

— Тебе было жарко, бедняжка.

Она хотела вытереть своим платком его потное лицо, но он отвернулся.

— Ты весь мокрый. Ступай переоденься. Ты простудишься.

И поскольку он ничего не отвечал, она добавила:

— Я приготовила тебе «смену» на твоей кровати.

Неуклюжая и внезапно разъяренная, она последовала за ним в кабинет:

— Если ты простудишься, кому придется за тобой ухаживать? Мне.

Он наконец взглянул на нее и сказал:

— Ну что ж, ты предоставишь и мне тоже сдохнуть.

Она покачнулась от удара, не нашлась, что ответить. Они проследовали через кухню, не подымая, как всегда это делали раньше, крышки кастрюль, вошли в темную, полную запахов столовую.

— Ты ничего не кушаешь.

Расстроенная, она повторила свое «ты ничего не кушаешь», что в ландах предвещает болезнь

и смерть. Тот, кто потерял аппетит, потерял вкус к самому прекрасному на свете. Остается только лечь и ждать конца. Мари де Ладос прибавила:

— У барыни тоже нет аппетита.

Теперь это не было притворством, как во времена, когда, чтобы вынудить Матильду, которая вела хозяйство, сдать свои полномочия, мать и сын, в полном согласии, воротили нос от любого блюда.

Фелисите оказалась в кабинете одна; ненаглядный не последовал за ней. Еще недавно в эти часы, сидя бок о бок на черном кожаном диванчике за чашкой кофе, голова матери на плече сына, они читали вместе газету, хихикая, как школьники; и стоило молодой женщине открыть дверь, подчеркнуто умолкали на полуслове, резко отпрянув друг от друга. Фелисите чудится, она и сейчас слышит, каким тоном оскорбленной гувернантки ненавистная спрашивала: «Я помешала?» — «Нет, нет. Мы уже поговорили обо всем, о чем нам нужно было поговорить».

Эти стычки были радостью доброй дамы, ее жизнью. Где же он прятался теперь, ее возлюбленный сын? До смерти устав, он был вынужден лечь. Все эти хождения доводят его до полного упадка сил. Переутомление не пройдет безнака-

занно ни для его легких, ни для сердца… Не зная, куда деть себя, страдая, она хотела бы броситься к нему. Но зачем! Он теперь запирается от нее, как если бы она была Матильдой.

Солнечный луч выбивается из полуоткрытых ставней, играя на рамке дорогой Фелисите фотографии на камине: через месяц после свадьбы мать, сын и невестка позировали бродячему маэстро. Но за две секунды до щелчка Фернан отпустил руку жены, чтобы взять руку матери. Отныне на этой фотооткрытке Фелисите и ее сын красуются, сияя довольством, тогда как молодая женщина, на втором плане, стоит с опущенными руками, без улыбки.

Госпожа Казнав не устояла — пошла полюбоваться еще раз этой памяткой счастливых дней. Но, приблизившись, обомлела перед пустой рамкой. Она взглянула на стол, где поблескивали ножницы, которыми вырезал свои сентенции Фернан, потом на корзинку для бумаг. Господи боже! не виднелись ли сквозь плетеную соломку ее собственная улыбка, ее вздернутый нос, ее живот? Она кинулась за фотографией, выброшенной в мусор. Бесчестный отделил от нее изображение Матильды — он наверняка носил его у сердца, засунув в бумажник. Должно быть, тешил себя

наедине тем, что подносил фотографию к пылким губам... На протяжении двух недель старая женщина терпела страдания, не жалуясь; но эта вещественная улика его отреченья ее потрясла. Бешеный гнев снес все внутренние плотины, ее скрюченные пальцы задрожали от ярости. Она затопала ногами, как в тот день, когда кричала Матильде: «Не получите вы моего сына! Никогда не получите!» Она пошла к двери. У нее было глупое, напряженное лицо женщины, которая прячет под своим манто заряженный револьвер, склянку с соляной кислотой. Быть может, нельзя любить несколько раз. Быть может, любовь только одна. Эта старая женщина умирает из-за того, что не владеет больше своим сыном, умирает от жажды обладания, духовного господства, более жестокой, чем та, которая сплетает, соединяет, заставляет пожирать друг друга два юных тела.

Задыхаясь, мать отворила ставни. Полуденное солнце давило на иссохший сад. Песок аллей между пыльными газонами казался серым, как пепел. Пыхтение отходящего поезда напоминало тяжелое дыханье. В ярости старая женщина, качая бедрами, вышла на лестницу. С каждой ступенькой она задыхалась все больше и больше, но все-таки добралась до спальни неблагодар-

ного. Там было пусто: разбросанные флаконы, запах мочи. Фелисите испугалась своих лиловых щек в зеркале. Где настигнуть коварного, как не в комнате соперницы? Она спустилась (ее больные колени подгибались), прошла по коридору, через темный вестибюль, снова по коридору, наконец, поднялась по лестнице, которая вела к всесильной покойнице. Перед дверью мать, на исходе сил, замерла на несколько секунд, как в ночь агонии. Прислушалась. Но Господь не узрел тогда, как в этом мраке на старом настороженном лице мелькнуло удивленье, надежда, а потом расцвела безмерная преступная радость. Дрожа, она внимала легкому храпу, перемежающемуся икотой, стесненным дыханьем — слишком хорошо ей известными звуками, сладкой музыкой ее ночей, доносившейся через перегородку, как ощутимый признак обожаемого присутствия. Обычно она бодрствовала, как бы уцепившись за нить этого дыхания, и сама бессонница обращалась для нее в лучшую усладу… Но сегодня сон дорогого сына был у нее похищен покойницей. Прилив ярости снова всколыхнул ее, ослепил, она повернула ручку.

Фелисите пришлось зажмуриться: из широко распахнутых окон врывалось пламя неистового

июня. Аромат лилий, стоявших в двух вазах на столике, насыщал комнату так густо, словно не было этих открытых окон. Между вазами в рамке из ракушек *(память об Аркашоне),* слишком для нее просторной, — фотография Матильды, благоговейно вырезанная. Перед рамкой, в ряд — крохотный бриллиант, подаренный при обручении, кольцо, пара белых ношеных перчаток. Наконец, у подножья всех этих реликвий — рухнувший в вольтеровское кресло Фернан, со свесившейся на грудь головой, схваченный за горло сном. Шмель бился о потолок и о стекла, пока не обнаружил отворенное окно. Тогда его гудение затерялось в пылающем небе.

Башмаки Фелисите скрипнули. Фернан пошевелился. Она замерла, потом сделала шаг к столику, протянула вперед руки, точно Полиевкт[20] — сокрушитель кумиров. Плюнуть на эту карточку, разорвать ее, растоптать… Она не осмелилась. Голова Фернана упала на согнутую руку, опиравшуюся о стол, и перед матерью теперь был

---

**[20] Примечания: 20**

Речь идёт о главном действующем лице одноименной пьесы французского поэта и драматурга П. Корнеля (1606–1684) Полиевкте — вельможе при дворе римского наместника в Армении Феликса, который тайно принял христианство и желает совершить религиозный подвиг: в языческом храме во имя истинного Бога сокрушить идолы каменных языческих богов и принять за это страдание или даже смерть.

только большой шар с топорщащейся сединой. Она ощутила холод на своем потном лице. Взор ее помутился. Кровь шуршала в ушах, как будто, прижав к ним раковину, она слушала море. Ей хотелось заговорить, потому что язык ее налился тяжестью. Она не понимала, что это шумит — кузнечики, мухи или кровь в ее артериях. Невидимая рука толкнула ее к кровати, швырнула на ложе, где страдала и умерла Матильда. Старуха вытянулась, как зверь, стала ждать. Глаза ее вновь открылись, в груди отпустило: мрачная птица пролетела стороной. Фелисите вздохнула. Сын по-прежнему спал, раскатисто храпя. Она дрожала, вся в поту от едва миновавшей угрозы. И теперь озирала не столько даже с ненавистью, сколько со страхом алтарь, который воздвиг этот поверженный мужчина.

## VIII

За вечерней трапезой Фернан не обнаружил привычной атмосферы враждебности. Его удивил сам облик матери: она, имевшая обыкновение держаться прямо, величественно, властно, теперь сидела перед ним ссутулившись, с отвислыми и серыми щеками. Это вызвало у него не жалость, но досаду, — он собирался нанести ей удар и опасался, как бы она не раскричалась. Она приняла удар холоднее, чем он думал: она была уже подготовлена к нему тем, что видела днем. Поэтому она не дрогнула, когда Мари де Ладос пришла к ней за сменой простынь, чтобы постелить барину в спальне бедной молодой барыни. Она дала ключ от шкафа служанке, приложила губы ко лбу сына, взяла свой подсвечник. Фернан счел, что она играет в сдержанность. Нет, она вообще больше не играла. Зная, что сын изменил ей в своем сердце, она не удивилась его переходу к врагу с оружием и всем снаряжением.

Но когда она оказалась в своей спальне, ее испугала непривычная тишина. Ей показалось, будто она впервые слышит, как содрогается дом, выстроенный ее мужем Нумой Казнавом, в инте-

ресах его торгового дела («Северный и местный лес») прямо напротив вокзала. В годы вдовства ее оберегал от страха перед опасностью, таившейся во тьме, храп дорогого сыночка за перегородкой. Ни крадущиеся шаги, ни железный мост, громыхавший над рекой, ни стоны ветра в ночи равноденствия, ни соловьи в сирени, ничто не могло заглушить этого сонного дыханья. Несколько часов, которые Фернану пришлось провести подле Матильды, только придали большую цену его вновь отвоеванному присутствию. И вот сегодня вечером, лежа в своей спальне, в этих четырех стенах, где протекли полвека ее жизни, Фелисите Казнав впервые почувствовала себя здесь чужой! Последний вечерний поезд сотряс стекла. Теперь до следующего, на рассвете, пойдут только бесконечные товарные составы, которые не дают гудков и сливаются со сновидениями. Больше ни к чему жаться к стенке, приникать к ней губами — в соседней спальне уже не слышно тяжелого дыхания твоего распростертого сына. Повернись на другой бок. Закрой глаза. Прогони мысли… Внезапно она вскочила: кто-то прошел по саду.

Действительно ли кто-то прошел? Иногда ветер так ласково шевелит листву, что можно поклясть-

ся, будто это звук шагов. Фелисите чиркнула спичкой, ничего больше не услышала, погасила огонек. По перед ее мысленным взором стоял во мраке этот огромный беззащитный дом без ставней на стеклянных дверях. Ей представилось угрюмое лицо, прижавшееся к стеклу, безмолвно прорезаемому алмазом. Как добиться от Фернана ставней, которые она отвергла, не желая, чтобы он удовлетворил просьбу Матильды? Лучше всего напомнить ему о пожелании покойной: он выполнит его из благоговения. И тут Фелисите поняла, что страх, терзающий ее в эту ночь, неизменно мучил молодую женщину. Совпадение, случайность; старуха пожала плечами, пожурила себя. Но рассказы служанок, погребенные в памяти, уже пробудились, всплыли из самых глубин ее боязливого детства. Нет, нет, мертвые не мстят. Матильда разлагалась, с каждой секундой все больше, в третьем склепе налево у дальней стены кладбища. И тем не менее глаза Фелисите вопрошали потемки, точно она наконец предощутила по ту сторону зримого мира неведомое, несметное пламя. Она заставила себя рассмеяться, она верила только в то, до чего могла дотронуться. Она родилась во времена, когда лишь песчаные дороги связывали ланды с внешним миром. Тер-

рор изгнал из края священников. Мать Фелисите впервые причастилась в день своей свадьбы. Дети, росшие в ландах на заре прошлого века, поклонялись лишь беспощадному солнцу, ведали лишь всемогущество пламени, пожирающего сосновые рощи, — стремительного божества, которое бежит, неуловимое, оставляя за собой необозримое полчище факелов.

Спустившись несколько позднее обычного, ибо сон пришел к ней лишь на заре, она увидела на деревянном ларе трость и шляпу Фернана. Почему он не вышел из дому? Мари де Ладос заверила ее, что барин еще спит. Барыня сама может увидеть закрытые жалюзи.

Вперив глаза в эти окна, Фелисите страдает, как если бы та, другая, сжимала Фернана в своих объятиях. Она говорит себе вполголоса: «Я схожу с ума…» Терзалась ли мать хоть раз подобной пыткой, когда Матильда была жива? Она повторила себе: «Ты отлично знаешь, что ее там больше нет…» Ее больше там не было, но тем не менее Матильда удерживала на своем ложе того, кто бежал от нее живой. Фелисите не помнила, чтобы ей приходилось падать так глубоко, даже на следующий день после их свадьбы. Именно в тот день она уже ощутила уверенность в своей

победе. Неделю спустя после женитьбы, когда супруги еще пребывали в Биаррице, письмо Фернана принесло ей такую радость, что она много раз его перечитывала и до сих пор помнила самые прекрасные места. *«…Ты была права: только мать может понять такого человека, как я. Все другие женщины чужие. Они полагают, что любят нас, но думают только о себе. Наше здоровье отходит на второй план, когда речь идет об их удовольствии. Они считают законным, чтобы мы тратились на их нелепые прихоти. И требовательней всех те, которые до замужества подыхали с голоду. Помнишь гостиницу неподалеку от вокзала в Байонне, может, и не слишком роскошную, но вполне удовлетворявшую нас с тобой? Матильда не пожелала там остаться из-за того, что якобы заметила на стене след раздавленного клопа и что от ведра сильно воняло. Пришлось обосноваться в одном из этих отелей, которые я ненавижу, где куча людей, не оказывающих вам никакого внимания, пожимает плечами, когда даешь им на чай даже двадцать су! Матильда считает меня скрягой и говорит только о себе. Ничто, касающееся меня, ее не интересует. А я еще жаловался, что ты окружаешь меня излишними заботами! Уверяю тебя, ей на-*

*плевать на мое здоровье. И отнюдь не ей я обязан тем, что до сих пор не заболел. Она устраивает смертельные сквозняки в вагонах. Встает ночью, когда я сплю, и открывает окно. Незачем даже говорить тебе, что у меня начались мои боли в левом плече. Она непрерывно высмеивает все привычки нашей семьи, заявляет, что не умываться перед сном отвратительно, — как будто стоит себя утруждать, коль скоро все равно придется заниматься этим утром. Я могу поделиться с тобой лишь ничтожной частью того, что мне приходится терпеть. Не бойся ничего, матушка, твой сын выполнит свой долг до конца…»*

В летнее утро, похожее на сегодняшнее, это письмо наполнило старую мать-волчицу тревогой и счастьем одновременно. Какие прекрасные воспоминания оставили ей и последующие недели: несчетные признаки растущего разлада и, наконец, день, когда после ночи, подробности которой остались в тайне, бледный Фернан сказал матери: «Постелишь мне в моей прежней спальне…» Она ждала этой радости, не веря, что ее желанье сбудется так скоро. Она, как сейчас, видит себя в проветренной спальне, сидящей у изголовья детской кровати, застланной Мари де Ладос простынями, которые пахнут мятой

и родниковой водой; а сегодня… Увы! Солнце развеяло туман. Птицы умолкли, но стрекотала цикада. Хлопнули ставни, которые закрывала Мари де Ладос. Южный ветер обжигал кожу, нес запах горелых сосен. Небо над ландами, вероятно, было красноватым и дымным. Жажда земли под пыткой зноя нарастала с каждой секундой. Пельу рыл лапами и мордой, выкапывая прохладную ямку для своего сна. Как и накануне, Фелисите ощущала прерывистое биение крови, — она не двигалась, потому что малейший жест мог, возможно, подать сигнал смерти; точно в беспамятстве, она роняла какие-то слова, и Пельу настораживал уши, думая, будто она разговаривает с ним. Ей вдруг представился труп сына на кровати, где недавно лежал труп Матильды, и, внезапно вскочив, она бросилась в панике на пылающее крыльцо; в запахе гераней дышали ящерицы, пульсируя грудками. Когда она добралась до первой ступеньки, растворилась одна из дверей: появился Фернан Казнав. Он сказал:

— К столу подано, матушка.

Он был жив. Он был тут, на свирепом солнцепеке. Надвинутое на лоб канотье скрывало его лицо. Какой легкой ощутила себя грузная старуха, подымаясь к возлюбленному сыну! Недолгая

радость: когда она увидела его ближе и когда он, чтобы с ней поздороваться, снял свою шляпу, она с трудом сдержала крик перед этим опустошенным лицом. В каком состоянии возвращала его ей покойница! Губы — белее, чем если бы он напился уксуса, а глаза, налитые кровью, точно у старого пса… Садясь за стол, он тоже оглядел мать. За этой трапезой оба они были, без сомнения, испуганы видом друг друга. Но в то время как она не отрывала от него глаз, он вскоре ушел в себя, весь во власти некоего внутреннего виденья, от которого ничто уже не могло его отвлечь. Мари де Ладос могла сколько угодно восклицать: «Què calou!»[21], говорить, что где-то в ландах горит, но в набат не били, потому что пожар слишком далеко от города, — каким набатом можно было бы оторвать Фернана от воспоминанья о первой ночи, проведенной им в комнате, где умерла Матильда?

---

**[21] Примечания: 21**
Ну и жара! *(диалект).*

## IX

Сначала ему было даже приятно растянуться под просторными белыми крыльями занавесей, закрепленных на багете. В открытых окнах дышала, как близкое существо, ночь. Ничто не напоминало ни о бдении у гроба, ни о «фрегасе»; напротив, лежа на спине, закрыв глаза, сложив руки поверх простыни, вытянув ноги в позе мертвой Матильды, он ощущал, что его уносит отливом в пучину безграничного покоя. Она была здесь, не в комнате, в нем самом, неотделимая от его собственной плоти — его неусыпной плоти, которая вспоминала брачные ночи; потихоньку пробуждалась также и его мысль, сосредоточиваясь на времени, когда рядом со своим телом он ощущал боязливое тело Матильды. То, что предстало ему, было настолько убого и в то же время настолько карикатурно, что он невольно потряс головой и простонал вслух. Как и все в его роду, он был обречен умереть, так и не узнав, что значит любить, — как и все в его роду, как большинство людей. Судьба тешилась странной игрой, пробуждая в старом человеке глубинные воды, погребенные под такой толщей! И вот мутный

поток прокладывал в нем медленный путь. Он сам не понимал, что это такое. Его предки были ревнивыми любовниками сосен и виноградников. Нума Казнав, отец Фернана, завещал, чтобы на его могилу положили жирную глину из поместья, которым он особенно дорожил. Когда он взял себе жену, ему пришлось спросить у одного из друзей, как пользуются женщиной. Всем этим умершим женитьба обеспечивала, не говоря уже об округлении владений, преемственность обладания. Неизбежной смерти они противополагали вечность рода. Как правило, довольствовались одним сыном, одним-единственным, чтобы не иссяк тонкий ручеек жизни, который должен был нести до скончания века семейное состояние, пополняемое придаными и наследствами. Ни разу в истории рода страсть не отклонила этого мощного течения. Все женщины, как со стороны Пелуйеров, так и со стороны Казнавов, были из тех, что шепчут мужу: «Кончайте побыстрее». Но неотвратим день, когда ржавчина появляется на одном из звеньев цепи и начинает его разъедать. Горе тем, кому предстоит прийти после этого. О бедные, еще не родившиеся сердца! Дети мои, что бы вы взяли от меня!

Глухая враждебность Фернана к матери вну-

шает ужас; тем не менее, хотя именно от нее унаследовал он пламя, ревнивая нежность матери лишила сына способности вскормить в себе этот неведомый огонь. Чтобы не потерять свое сокровище, она сама превратила его в калеку; ей удалось удержать его только потому, что она его подавила. Она воспитала мальчика в недоверии, в глупом презрении к женщине. С пятнадцати лет он знал только две разновидности женщин: тех, что «мечтают наложить на вас лапу», и тех, от которых «можно заразиться». Без сомнения, эти препятствия не остановили бы существо любящее. Но Фернан был прежде всего отпрыском тех крестьян, которые вечерами, после ярмарки или базара, шагают, помахивая пустыми руками, держась по-королевски посредине дороги, в то время как изнуренная самка тащится следом, нагруженная хуже всякой ослицы. К тому же Фернан, чья гордыня была плодом длительного воспитания, принадлежал к породе мальчиков, которые из страха не понравиться утверждают, будто любую женщину можно заполучить, стоит только дать нужную цену. Он нисколько не сомневался, что «те, кого женщина заверяет, будто отдается бескорыстно, только тратят на нее еще больше, чем другие». Он говорил также: «Со

мной женщины знают, что получат столько-то… и никаких цветов, никаких подарков, никаких накладных расходов».

И вот, распростертый на постели Матильды, в потемках, он представлял себе солнечный день, палящий зноем Южную аллею, и видел за жужжащей зеленой изгородью юную фигуру, окруженную осами… Если бы все сводилось только к получению дополнительного оружия против матери, думаешь, решился бы ты раздвинуть ветки и притянуть к себе эту плотскую добычу, пахнущую медом? Да, разумеется, тебя прежде всего распаляла жажда мщения, но она маскировала иную жажду, более сокровенную, и теперь, когда ты обнаруживаешь ее, она уже неутолима, твоя добыча, душистая плоть твоей добычи уже разложилась, уже превратилась в нечто чудовищное, не имеющее даже имени…

Он поднялся, босой заметался по комнате, натыкаясь на мебель. Сказал вслух: «Значит, она любила меня, если я заставлял ее страдать…» Потряс большой головой, проворчал: «Нет, нет, то была не любовь…» Скорчил, чтобы заплакать, уродливую гримасу, ту же, что в детстве. На мгновение застыв неподвижно, принялся грызть ногти и опять произнес вслух: «Другой

мужчина? Другой?..» До сих пор ему не случалось мучиться ревностью, его предохраняла от этого непомерная гордыня. Другой мужчина в жизни Матильды? Он уже почти ощутил боль, но вспомнил то, что сотни раз повторяла его мать: «Она женщина порядочная, этого у нее не отнять. Только это и можно сказать в ее пользу, но это так...» И она добавляла, намекая на девицу Кусту, которая стала матерью Матильды: «Да, тут уж не скажешь, что яблоко от яблони недалеко падает». Фернан не знал, что старуха, выдавая эту похвалу невестке, вспоминала обед у девиц Мерле — обед «в честь возвращения из свадебного путешествия», когда слева от Матильды сидел классный надзиратель лицея. Говорили, будто он поэт; он давал советы той из барышень Мерле, которая писала стихи. Фелисите Казнав показалось, что за столом Матильда упивалась речами этого брюнета с «безукоризненными манерами». Один бог знает, не было ли мгновения, когда Матильда расслабилась, почувствовала себя непринужденно, ощутила в душе тайный росток, неуловимую склонность к тому, кто в гуле подходившего к концу застолья цитировал ей, понизив голос, какую-то строку. Смех уродовал лица сотрапезников. А он мечтал уже, наверно, о безумной

страсти, как в романе… но когда подали кофе, Фелисите с тяжеловесной настойчивостью обратилась к молодому человеку, прося его почитать стихи, и поскольку тот отказывался, умолила его хотя бы оставить несколько строк в альбоме, куда невестка переписывала понравившиеся ей фразы. С этого момента Матильда была начеку: Фелисите никогда не умела скрыть свою игру, а ее невестка похвалялась тем, что «всегда слышит издалека стук копыт свекрови». Надзиратель не добился даже взгляда, и когда нанес визит Казнавам, молодая женщина отказалась спуститься в гостиную. Фернан мог спать спокойно: бедное дитя, которое умело только отбиваться и парировать удары, никогда не изменяло ему даже в мыслях.

Впрочем, он уже не думал об этом; перед его глазами предстала собственная жизнь, мертвая пустыня. Как он мог, не умерев от жажды, перейти все эти пески? Но вот теперь он познавал муки этой жажды, которую не ощущал годами. Сама Матильда умерла прежде, чем узнала, что жаждет. Она была мертва, но он-то жил. Один источник иссякает, думал он, но тысячи неведомых источников бьют из земли: трудно ли найти замену какой-нибудь Матильде? Впервые познав

любовь, он восставал против этого миража, который застилает мраком всю вселенную, чтобы озарить светом единственное существо. Старый растленный ребенок, привыкший подчинять все своему удовольствию, извлекать из всего прок, он твердил себе, что Матильда только дала ему случай сделать сладостное открытие, он сумеет воспользоваться им с другой… С какой другой? Перед ним промелькнули сохнущие полотенца на окошке улицы Югри… С какой другой? В крошечном мире его низменной жизни, в этой сети, в этой липкой паутине, которой за полвека оплела его, чтобы сохранить, мать, он бился, как большая беспомощная муха. Он чиркнул спичкой и, подняв свечу перед зеркалом, долго глядел на себя. Только поклонение сотворяет кумира. Матильда, возможно, одна Матильда могла бы еще привязаться к этому старому, сварливому божеству, порожденному пятьюдесятью годами материнского обожания. Слишком поздно! Он подошел к окну. Вероятно, прошел дождик, ибо он ощутил запах истомленной земли. Он лег на пол ничком, подложив под лицо согнутые руки, и остался бы так лежать, но тело затекло и заставило его вернуться на кровать. Наконец сон принес ему освобождение. Проснулись первые птицы,

но не разбудили его, как будто это распростертое тело было всего лишь бренными останками.

## X

После этой ночи, сидя за завтраком напротив старика, бывшего ее сыном, Фелисите Казнав впервые подумала о нем не как о своей собственности, которая похищена другой и должна быть отвоевана силой. Впервые ее любовь начала походить на любовь других матерей, не требующую ничего взамен даруемого. В старой женщине, которая молчала и принуждала себя есть, неистово бунтовала покоренная страсть, готовая наконец к отказу от своих священных привилегий: только бы он был счастлив! Будь это в ее власти, она вернула бы Матильду из обители смерти. Хмель самопожертвования открыл перед ее любовью горизонты, ослепившие ее самое. Таков инстинкт любви, защищающейся от гибели: когда земля уходит у нее из-под ног, когда рушится привычное небо, она изобретает иную землю и иное небо. Это час, когда существо, уже нелюбимое, шепчет тому, кто уже не любит: «Ты меня не увидишь. Я не буду тебе надоедать. Я буду жить в твоей тени. Я окружу тебя заботой, которой ты даже не заметишь». Так Фелисите Казнав, опьяненная собственным поражением, бросала своей

изголодавшейся страсти, точно пищу, это самоотречение. Она нарушила молчание и сказала умоляющим тоном:

— Ты ничего не кушаешь, дорогой. Нужно кушать.

Он ответил, не подымая головы:

— Ты тоже ничего не кушаешь. — И по привычке избалованного ребенка добавил: — Я никогда не мог есть один, когда напротив сидит человек, который сам не ест и смотрит на меня.

— Но я ем, дорогой, я очень голодна.

И хотя горло ее сжала спазма, она попыталась проглотить кусок. Когда они встали из-за стола и Фернан уже направился к вражескому крылу дома, мать окликнула его:

— Мне нужно с тобой поговорить, дитя мое.

Он мгновение поколебался, потом, ворча, последовал за ней в кабинет.

— За что ты на меня сердишься?

Она сначала приоткрыла жалюзи. Повернувшись, она увидела сына и не сдержалась. Она пролепетала:

— Я тревожусь за тебя. Жизнь, которую ты ведешь, дорогой, не идет тебе на пользу. Ты поедом себя ешь, как выражается Мари де Ладос. Тебе нужно бы чем-то заняться… Повидаться с этими

господами… Ты в расцвете сил. До муниципальных выборов осталось всего несколько месяцев.

Он процедил, что со всем этим давно покончено, как она того хотела; и, поскольку она молчала, спросил, все ли она ему сказала. Она взяла его за руку и с пылом произнесла:

— Я не хочу, чтобы ты губил себя. Я не позволю тебе умереть.

— Как ей?

Она закричала, что не виновата в этой смерти. Ничто не предвещало горячки. Почему не верить Дюлюку? Не было никаких оснований приглашать к ней сиделку.

— И я же пошла к ней в ту ночь.

— Знаю, знаю.

— Я постучала к ней в дверь. Спросила, не плохо ли ей. Она мне ответила, что ни в чем не нуждается. К тому же время для лечения еще не было упущено, но сдало сердце. Дюлюк тебе сто раз повторял это. Ни ты, ни я тут не могли ничего поделать. Родильная горячка за два дня не убивает. Но у твоей жены было больное сердце.

Она ходила взад-вперед по комнате, не умолкая, стараясь убедить себя в той же мере, что и сына; она возвышала голос, словно хотела, чтобы ее слова долетели до какого-то незримого, но

внимательно прислушивающегося существа. Он немного отошел от двери и, пока она говорила, стоял, прикрыв лицо руками. Наконец он закричал:

— Это ты ее убила. Ты ее убивала понемногу день за днем.

Она в ярости запротестовала:

— Неправда. Я защищалась… Это мое право. И уж во всяком случае, нас было двое!

— Что ты хочешь сказать?

— Кто из нас двоих нанес ей больше ударов? Ну-ка ответь!

Гнев пробегал в ней, как огонь, сжигая только что зародившуюся готовность к самоотреченью. Теперь вопрос стоял не о том, чтобы принести себя в жертву, но о том, чтобы сломить бунтовщика-сына, взять над ним верх, как она брала всегда. Она вопила:

— Да взгляни же на себя, мой мальчик; нужно быть твоей матерью, чтобы тебя вынести. Вот уже пятьдесят лет, как я бьюсь с тобой, не пойму, как я до сих пор выжила. Когда я увидела, как явилась та, другая, ах, бедняжка! Я хорошо знала, что она недолго выдюжит! Тебе и года не понадобилось…

— Замолчи! Ни слова больше…

Она отступила перед этим землистым лицом,

перед трясущимися и поднятыми руками своего сына. При его приближении она оперлась о стену, встретив безумца улыбкой и словно бросая ему всем своим существом вызов другой матери: «Поражай чрево»[22].

Но в ужасе от того, что он уже готов был сделать, Фернан остановился. Опомнившись, он глядел на эту старую, тяжело дышавшую женщину, которую минуту назад он чуть было не ударил и которая произвела его на свет. Он смотрел на это бедное, задыхающееся, сдавшееся тело — и, разломав наконец жесткую кору, вся темная нежность его детства выплеснулась в жалком крике:

— Мама!

Она рухнула на диванчик, и он приклонил голову на ее плечо. Чтобы спрятаться, он возвращался под этот живой кров, ибо не было для него иного убежища на всем свете. Как отчаявшийся, который хочет покинуть землю и все же льнет к мачехе-земле, бьется об нее лицом, жаждет тьмы ее лона, так и этот мужчина при последнем издыхании обнимал свою старую мать, прижавшись к ней. И она, без сил, раздавленная, упивалась, прикрыв веки, этим мигом счастья. Потому что

---

**[22] Примечания: 22**

Имеется в виду Агриппина, которая была убита по приказу своего сына Нерона (Тацит. Анналы. XIV. 8).

знала — он скоро опомнится и еще больше озлобится на нее за свою минутную слабость. Ах, как бы она хотела, чтобы эта минута длилась вечно! Хотя рука ее затекала под грузом тяжелой головы, но она была матерью, привыкшей бодрствовать зимними ночами, потому что дитя не могло спать, не держа ее за пальцы, и она часами лежала с протянутой рукой, мучаясь, но не отнимая у маленького палача оледенелую кисть. И тем же движением, которым некогда она, молодая самка, жадно обнюхивала новорожденного детеныша, мать надолго прильнула губами ко лбу своего старого сына. Нет, нет, отныне она не станет его дразнить; она уже упивалась в восторге приоткрывшимися ей новыми небесами; ничего не требуя от сына, который был подле нее, она вернет ему вкус к жизни, она родит его вторично. Так мать поддавалась иллюзии, что возлюбленный сын может, по ее примеру, сделать усилие, чтобы возродиться. Она не понимала, что объект ее собственной страсти — здесь, живой, у ее ног, и что ей больше ничего не нужно от судьбы, тогда как он, избалованный ребенок, который на протяжении полувека неизменно ломал одну за другой все свои игрушки, теперь утратил последнюю из них как раз в момент, когда обнаружил всю ее

бесценность. Взгляни на него, бедная женщина: вот он уже подымается, вытирает тыльной стороной руки лоб, залитый потом, и до тебя доносятся его затихающие шаги в мертвом доме.

## XI

На несколько дней напряжение разрядилось, потому что и небо умерило свой пыл. Целую неделю грозы блуждали вокруг да около, над почти пустынной равниной (стояла пора, когда человек, сложа руки, оставляет солнце и виноград с глазу на глаз). Казалось, даже поезда с трудом прокладывали себе путь сквозь зной. Рассказывали, что между Лареолем и Тонейн от жары выгнулись рельсы. Наконец ночью какие-то шорохи разбудили мать и сына. Листва поглощала первые капли дождя так жадно, что понадобился почти целый час, чтобы он пробился к сожженному лицу земли и напитал почву, дохнувшую своим запахом — запахом желанья, далеко еще не утоленного, но уже обратившегося в радость. В краю огня людские страсти под стать неистовству неба, но подчас и умиротворяются вместе с ним. За едой Фернан уже не воздвигал между собой и матерью стену ненавидящего молчания. Никаких уступок, но крайняя почтительность, подчеркнутая услужливость и за столом — все знаки внимания, положенные пожилой женщине. Покидал он ее только после кофе. Осмотрительная, она не зло-

употребляла своими преимуществами. Твердила: «Я освобожу его…» Увы, не проявляя жестокости к ней, он по-прежнему истекал кровью из-за ее противницы.

Вокруг прерванной драмы трепетала под смилостивившимся небом орошенная листва тюльпановых деревьев, пирамидальных тополей, платанов, дубов. Огромные деревья защищали мать и сына от постороннего взгляда. То, что говорят о провинции и ее сплетнях, справедливо только по отношению к мелкому люду, живущему дверь в дверь. Но ничто так не укрыто от взгляда, ничто так не способствует тайне, как усадьбы, опоясанные оградами и настолько плотно окруженные садами, что люди в этих домах как бы общаются лишь между собой или с небом. В городе поведение Казнавов считали корректным: чем менее чувствительны мы к потере члена семьи, тем важнее подчеркнуть внешние проявления нашего траура. Нежелание матери и сына показываться на людях истолковывалось именно так. В течение всего этого дождливого сентября Фернан тем не менее выходил по утрам из дома, облачась в пелерину, капюшон которой опускал на лицо. Он шел по дорожке, отделявшей сад от железнодорожной

линии Бордо — Сетт. Рассеянно, не усматривая в этом ужасного предзнаменования, читал на товарных вагонах, стоявших на запасных путях, надпись «38–40 человек». Возвращался домой. Мать при его приближении всматривалась в замкнутое лицо. С каждым днем различала на нем все большую отрешенность, почти покой, как поначалу ей хотелось думать, наигранные. Но была ли она способна выдержать эту игру так долго? Он смягчился — почерпнул откуда-то неведомое утешение. Ему стало лучше, ему стало лучше, но она тут была ни при чем! Когда-то она прогнала из дому служанку только за то, что та утверждала, будто спасла жизнь Фернана, болевшего скарлатиной. Теперь его спасла покойница, прогнать которую ревнивой матери было не под силу. Так рушилась ее последняя опора: она не нужна Фернану. Никогда, со времен его младенчества, уже изуродованного множеством капризов, она не видела у него этой смутной и мягкой, почти детской, улыбки. На протяжении пятидесяти лет мать твердила: «Что бы с тобою стало, если б ни я! К счастью, я рядом! Не будь у тебя меня!» Увы! Она была тут, перед ним, но ее словно и не было, и без нее, возможно, наперекор ей, он вновь обрел покой. Сознание собственной

необходимости поддерживает жизнь старых женщин. Многие из них умирают от отчаяния, что уже не могут принести пользы. Некоторые, наполовину мертвые, возрождались к жизни, когда к ним взывали о помощи овдовевшая дочь, дети-сироты. Фелисите была уже не нужна сыну. По правде говоря, употребила ли она свое могущество в те времена, когда властвовала над ним, на то, чтобы сделать его счастливым? По ночам, не находя сна во враждебной тишине, угнетенная смертельной пустотой соседней комнаты, где уже не было за стеной ненаглядного, она твердила себе: «Всякая другая жизнь убила бы его. Будь он предоставлен самому себе, он бы умер…» Но что она знала об этом? Далекий ветер пробегал по ландам, достигал утопающих во мраке берегов, где последние сосны расступались перед священными виноградниками Сотерна, и оттуда, не зная, куда ему податься, обрушивал, наконец, свои объятия на деревья сада, которые вздрагивали разом.

И все же ей оставалось еще выполнить последнюю обязанность по отношению к ненаглядному: покойница, утешающая его, действовала на больной дух, но не на страдающее тело. Это тело, вышедшее из ее лона, по-прежнему принадлежа-

ло матери. Фернан не пожелал принять доктора Дюлюка, с которым по секрету посоветовалась г-жа Казнав. Тот считал, что прежде всего следовало преодолеть отвращение Фернана к пище, чтобы он «набрался сил». Фелисите заставляла себя есть, подавая пример сыну. Хотя состояние ее сосудов требовало строгих ограничений, она пичкала себя кровавыми бифштексами. Всякий раз за столом повторялся тот же диалог:

— Ты ничего не кушаешь, дорогой.

— И ты тоже.

— Нет, я ем, видишь? Возьми еще кусочек филе.

— Возьму, если возьмешь ты.

Мученичество не всегда возвышенно. Можно отдать свою жизнь, выбрав из всех смертей самую низменную.

Фелисите больше не выносила одиночества: в послеполуденные часы она крутилась в кухне и уже не могла сдержаться, чтобы не откровенничать с Мари де Ладос.

— Он терпеть ее не мог, когда она была жива. С чего бы ему теперь по ней убиваться.

— Té, pardine![23]

---

**[23] Примечания: 23**
И правда! *(диалект).*

— Он о ней и говорит-то только чтобы меня помучить. Напрасно я ему показала, что порчу себе кровь.

— И то сказать, барыня, так-то оно так.

Мари де Ладос молола кофе. Но из страха опоздать хоть на секунду с подтверждением ее боязливые собачьи глаза не отрывались от глаз хозяйки. Покорная улыбка не сходила с ее рабского лица. И все же она ничего не сказала, когда Фелисите добавила:

— Кто умер, тот умер. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон.

Мари де Ладос промолчала, потому что каждое воскресенье после ранней обедни, когда она отходила от Святого Причастия, накрыв голову своей венчальной вуалью, в ее верном сердце оживал весь ее усопший род, начиная с деда, которому, возможно, дали умереть с голоду, и безжалостных отца с матерью, кончая Жуазе — малым, овладевшим ею на сеновале летним вечером тысяча восемьсот сорок седьмого года, чьим преданным вьючным животным она оставалась на протяжении тридцати лет, и трехлетним ребенком, которого она потеряла. Так все, кто некогда населял убогую ферму, пробуждались в этом сердце, полном Бога. Мари де Ладос приглашала

войти даже толпу неведомых предков, собирая их вокруг Того, кто царил в ее душе.

— Я спокойна, отсутствующие, как говорится, всегда неправы.

— И то.

Но Фелисите не добавила больше ни слова и, выпрямив плечи, покинула кухню. Она начинала постигать, что отсутствующие, напротив, всегда правы: они ведь не препятствуют любви. Если мы оглянем свою жизнь, выяснится, что мы всегда бывали в разлуке с теми, кого больше всего любили: уж не потому ли, что достаточно обожаемому существу жить вместе с нами, чтобы оно сделалось нам менее дорого. Те, кто рядом, всегда неправы.

## XII

Настала та пора года, когда несмотря на подступающие холода, еще не решаешься разжечь первый огонь в камине, точно робеешь перед неведомыми переменами. Поэтому Казнавы обосновывались в кухне до и после каждой трапезы. Это сблизило мать и сына. Он уже не ограничивался равнодушными репликами, однако каждое его слово свидетельствовало о тайной работе, которая шла в нем, пробуждая любопытство к самым неожиданным вещам.

— А вы с папой любили друг друга?

Странный вопрос со стороны человека, прежде думавшего о мертвых еще меньше, чем о живых. И она не знала, как ответить, смутно чувствуя, что слово «любовь» приобретает в устах сына новый, глубокий смысл.

— А ты его любила так же, как меня?

Она отвечала, что «тут нет ничего общего». Нет, действительно, не было ничего общего между ненасытной потребностью в духовном господстве, в обладании, внушаемой ей возлюбленным сыном, от которого зависела вся ее боль и вся ее радость, — ее жизнь была полностью подчинена

его жизни, — и той привычной привязанностью, тем сожительством, которое так рано было оборвано смертью, не заставившей вдову пролить много слез. Нума Казнав умер в одиночестве, потому что Фелисите повезла тогда Фернана на воды в Сали. Она знала, что ее муж упал на улице перед домом девиц Мерле, на обратном пути из клуба, после своей обычной ежедневной партии в карты. Но не помнила ни того, что было ей рассказано об этой агонии среди чужих людей, ни того, что накануне смерти он обошел свое самое драгоценное сокровище — земли богадельни, управляемой им, возлюбленное поместье, из жирной почвы которого он завещал насыпать его могильный холм, ни того, что последними его словами были: «Вера спасает нас». Она не желала помнить о тайном чувстве удовлетворения, что все уже свершилось в ее отсутствие и ей остается только уладить деловую сторону, чем она была в высшей степени увлечена. Поскольку она никогда не подвергала суду свою совесть, ее никогда не мучило сознание позорности того опьянения чувством свободы, которое охватило ее, когда она осталась один на один с единственным предметом своей страстной любви, с сыном, поспешно забранным ею домой из лицейского интерната,

где он жил по требованию отца.

— А папа был очень расстроен смертью моего брата Анри?

Этот новый вопрос заставил ее содрогнуться. Виноградная лоза ярко пылала, освещая выцветшие плитки кухни. Мари де Ладос ощипывала первого вяхиря. Ее внук в черном фартуке, сидя у лампы, бубнил, заткнув уши, катехизис: *«Есть, значит, три Бога? — Простите, сестра моя, три ипостаси Святой Троицы — Бог один и единый».* Этот мальчик, Раймон, всегда жил у бабушки во время сбора винограда, потому что его родители нанимались к господину маркизу в Шато-Икем.

— Мы одинаково горевали, твой отец и я.

— Но ты сама мне говорила, что маленького Анри сфотографировали на смертном одре по папиному требованию… Ты считала, что это ни к чему.

Она мысленно представила себе померкшее, бледное, блеклое, ужасное лицо потерянного ребенка в семейном альбоме. Каким странным было в Фернане это внезапное любопытство к прошлому! Он походил на человека, который в рассеянности и без подготовки совершил прекрасное путешествие и много лет спустя досадует, что не умел тогда видеть, а теперь уж больше

не увидит. Он заставлял мать вспоминать, как безмерно страдал муж, когда умер этот младший сын, и каким ничтожным казалось ее собственное горе рядом с этой болью. Ею владел в ту пору только страх, как бы Фернан не заразился той же болезнью. Она боялась также, что впоследствии ребенку может повредить память о брате, умершем от менингита. С чувством облегчения она тогда подумала: «А ведь это мог быть он». Господи, к чему ворошить теперь эти воспоминанья? С тех пор прошло сорок лет. Она подняла глаза на сына, который, стоя спиной к огню, нервно подрагивал левой ногой, как всегда, когда он сосредоточенно думал о чем-нибудь. Ах, это все была она, ее противница! Именно она будила в старом человеке это мучительное любопытство к давно минувшему, эту склонность к пустым грезам. Но Фелисите даже не могла вообразить, о чем думал Фернан в эту минуту и какими извилистыми путями шла его мысль, а он говорил себе: «Я больше достоин жалости, чем мать, потому что у меня нет ничего, а у нее был я».

Лоза прогорела, в кухне стало темно. Мари де Ладос засветила керосиновую лампу на столе, клеенка которого была вся в пятнах и ножевых порезах. Мальчик, зубривший катехизис, по-

ставил локти на стол. Его рука, погруженная во всклокоченные, черные, как вороново крыло, волосы, казалась особенно белой. Он бубнил: *«Есть, значит, три Бога?»* — словно не знал, что есть только один-единственный Бог — одна-единственная любовь. И временами его сонные глаза оглядывали темные фигуры хозяев перед очагом. Мари де Ладос мыла в каморке посуду, как делала это на протяжении шестидесяти лет. Когда она вернулась, внук спал, уронив голову на стол, открыв рот. Она глядела на него: несказанная улыбка осветила ее лицо, выточенное из старого самшита, ее лик черной богоматери Хотя мальчик уже достиг возраста первого причастия, она взяла его на руки. Прелестная голова не двигалась, расцарапанные и грязные ноги свисали, болтая в воздухе башмаками, подбитыми железными подковками, точно копытца ослика. Она отнесла мальчика, не покачнувшись под его тяжестью: в двенадцать лет она уже служила в няньках у испольщика — работницей работников; ее заставляли держать двух ребятишек за руки, а на спину, еще по-детски хрупкую, привязывали младенца: если он плакал, ее били…

Меж тем Фелисите, ощутив на себе взгляд ненаглядного, подняла глаза. Сколько дней уже, как

он не проявлял к ней такого ласкового внимания? Она была так взволнована этим, что, тяжело поднявшись, обняла рукой шею сына, притянула его голову к себе и сказала:

— Я узнаю своего мальчика: он жалеет старую маму.

Если б она могла предвидеть, что он ей ответит, она сдержала бы этот порыв! Она едва успела закончить фразу, как получила удар прямо в сердце:

— Это *она* хочет, чтобы я был добр к тебе…

И он поцеловал мать в щеку.

Она отпрянула от него. Вдали затихал грохот товарного состава. Мать ощущала, как пронзают ее эти ужасные слова. Она была обязана милости врага: ей пришлось вынести этот позор. Он до того любил Матильду, что воскресил ее и убедил себя, будто она тут — в нем, рядом. И ее присутствие принесло ему покой, которого он никогда не ведал под игом матери. Небо изливалось дождем на усеянные листьями аллеи. Медный таз блестел в сумраке, как разгоряченное лицо.

## XIII

На следующий вечер мать и сын опять уселись там же, где накануне. Фернан сказал: «Можно бы разжечь огонь в кабинете»; но Фелисите ответила: «Успеется, вся зима впереди». В молодости, еще девушкой, ожидавшей супруга в глуши ланд, Фелисите проводила вечера вот так же на кухне, пропахшей, как и сегодня, ароматом каштанов и аниса. Только вместо лампы тогда была смоляная свеча, которая бросала свет на новое издание «Трех мушкетеров» у нее на коленях. Мари де Ладос, вероятно, в те далекие годы тоже могла присесть в этот час, если она пряла. Собаки рычали, учуяв диких кабанов, притягиваемых свиньями. На столе белели салфетки, прикрывавшие маисовую похлебку. Соседи, заходя, оставляли у порога свои сабо, и вместе с пришедшими в кухню врывалось дыханье смолистой ночи. Телега тряслась по ухабам песчаной дороги. А сегодня поезд своими гудками отделяет мрак ночи. Фелисите прислушивается к биению крови в висках. Она говорит Мари де Ладос, что чувствует тяжесть в животе, не следовало ей брать второй кусок угря; но она сделала это, только

чтобы сын последовал ее примеру. Стрела, вонзившаяся накануне, все еще терзает ее плоть. Она молчит: больше она не проронит ни слова, чтобы не навлечь на себя нового удара. Мари де Ладос заставляет Раймона прочесть «Верую». Мальчик спотыкается всякий раз на том же месте.

— Давай сначала!

— Верую в Святой Дух, в Святую Католическую Церковь, в Святое Причастие, отпущение грехов, вечную жизнь…

— И *«воскресение из мертвых»,* ну, дальше? Давай сначала!

Он прочитал единым духом, но, как упрямый ослик, запнулся на том же повороте с тупым, испуганным видом.

— Давай сначала!

Он решительно трогается с места рысью, потом, с разбегу, опять останавливается, насторожив уши, перед *«воскресением из мертвых».*

— Где только у него голова, у этого малого? Повтори-ка мне все двадцать раз подряд.

И мальчик, смеясь, точно в игре, когда нужно как можно быстрее сказать «большой колокол бьет», повторил: *«воскресение из мертвых, воскресение из мертвых».*

Когда он умолк, раздался голос хозяина:

— Люди верят, что мертвые воскресают во плоти…

Мари де Ладос, недоверчивая, как всегда, когда заговаривали о религии, ощетинилась и устремила поверх очков взгляд на своего барина. Но тут же успокоилась, потому что тот не смеялся. Фелисите прикинулась непонимающей, какое воскресение он имеет в виду, и проворчала:

— Ты ведь знаешь, что мы обещали Мари де Ладос больше не совать нос во все эти истории с Богом… — Она добавила: — Как мне худо!

Он не ответил. Он ходил взад-вперед по кухне, пока Мари де Ладос зажигала свечу, чтобы проводить мальчика. Наконец он остановился на другом конце кухни, как можно дальше от огня, прижав лоб к черному стеклу. Мать, которой стало очень нехорошо, позвала его, но он ее не услышал. Никогда она еще не чувствовала, что ненаглядный так далек от нее.

Она видела только смутный контур крупного темного тела, сливавшегося с ночью. Ей хотелось окликнуть его, но звук застревал в ее гортани. Она больше не видела сына, его больше не было; он тонул, терялся во влажных сумерках поздней осени. Наконец с огромным усилием она смогла выкрикнуть:

— Где ты?

Он, не повернув головы, ответил, что прислушивается к дождю, и снова прижал лицо к стеклу. Он долго оставался в этом сладком оцепенении, прислушиваясь к повторяющемуся, упрямому звуку удара капель по одному и тому же листу магнолии, касавшемуся окна, потом, когда пробегал ветер, к короткому ливню с листвы, потом к последнему экспрессу, промчавшемуся без остановки, — светящийся призрак головокружительной скорости и риска во тьме. Наконец раздался другой звук, и ему показалось, будто он узнал его, — в последние несколько недель после ужина мать падала, точно в яму, в недолгий сон и противно храпела, уронив голову, с отвалившейся нижней челюстью. Ему не хотелось выходить из состояния внутренней сосредоточенности, но, раздосадованный храпом, он обратил внимание, что на этот раз дыхание матери громче и затрудненней, чем обычно. Фернан обернулся, взял со стола лампу и приблизился к спящей. Он не сразу понял: тусклые глаза на землистом лице были широко открыты. Кончик языка высовывался из левого, неподвижного, угла рта, другая сторона рта судорожно сжималась, гримасничала.

## XIV

— Теперь таких уже больше не выкраивают, — говорил доктор, пораженный тем, что старая женщина выжила. Она, конечно, оставалась парализованной, лишилась речи. Ей постелили в кабинете на первом этаже, чтобы день она могла проводить в кухне.

— Здесь всегда найдется что-нибудь или кто-нибудь, чтобы занять ее, — говорила Мари де Ладос. — Она слышит, как идет поезд, смотрит на часы, не опаздывает ли он.

На самом деле она жила только ожиданием Фернана. Он входил утром, часов в восемь. Чашка кофе с молоком была приготовлена для него на углу стола. Он целовал мать в лоб; она устраивалась поудобнее и глядела, как он ест. Поначалу его стеснял этот потухший, окровавленный взгляд; но теперь он уже не обращал на него внимания. В полдень он ел один, потом ненадолго присаживался напротив калеки, открывал «Ла птит Жиронд» и, несмотря на выработавшуюся привычку, старался загородиться развернутой газетой от этого пристального и жадного взгляда. «Она пожирает его глазами», — говорила Мари де

Ладос. Прочтя газету, он уходил. Тогда мать вперяла взор в дверь и не отводила глаз еще долго после того, как он закрывал ее за собой. Подвижной рукой она терла, терла всегда одно и то же место своего платья, которое стало вскоре лосниться от износа. Потом ненаглядный проходил через кухню, чтобы поужинать, и, наконец, наставали часы вечернего бдения. Он уже не отворачивал лица, то ли чувствуя себя отчасти защищенным сумраком, то ли покорившись необходимости этого последнего акта милосердия, разрешая обожать себя. Весь день она жила ожиданием вечера. Она утоляла свою жажду глазами, перед тем как их затопит тьма. Подступал третий час, миг, когда жертве протягивают губку. Ах, горче желчи была на этом обращенном к ней лице любовь, дары которой предназначались другой. Фелисите Казнав смутно ощущала, что это хорошо — пострадать за своего сына; но она не знала, что была распята.

Умерла она в конце зимы. Жители Лангона рассказывают, что пришлось держать Фернана Казнава, который наклонился над могилой, точно хотел в нее броситься. Никто не понял, что он просто хотел разглядеть во тьме ящик, где обращалось в пыль и прах то, что было Матильдой.

## XV

Сначала Фернан Казнав решил, что только докучливый нотариус отвлекает его от Матильды: как сосредоточиться, как погрузиться в себя, в те бездонные глубины, где бодрствует возлюбленная душа, когда маленький пузатый человечек вторгается в любой час дня, раскладывает бумаги, требует подписи? Отец Фернана Нума Казнав, лишив наследства несовершеннолетнего сына, отказал все жене. У Фернана и мысли никогда не возникало оспорить противозаконное завещание. Еще и сейчас остаются старинные семьи, где Гражданский кодекс ничто рядом с волей всемогущего отца. Впрочем, достигнув совершеннолетия, Фернан с удовольствием переложил на плечи матери груз, который ее отнюдь не тяготил; он получал от нее ежемесячно необходимые деньги, и эта зависимость, предмет издевок Матильды, оборвалась только тогда, когда старую даму разбил паралич.

До того как Фернан Казнав поставил последнюю подпись, он убеждал себя, что лишь хлопоты, связанные со всеми этими рентами и владениями, нарушили тот душевный мир, то божественное

отупение, которое прежде позволяло ему воссоединяться с Матильдой. Но потом он узнал, как приятно иметь открытый счет в банке и сосны, растущие сами собой. Он понял, что если в День всех святых его мать отправлялась на одноколке в край песков, чтобы «наладить сбор смолы», в этом не было никакой иной необходимости, кроме желания подышать хоть раз в году запахом родных сосен в пору, когда осенние ветры раскачивают их темные верхушки. Вдова, которая поспешно сбыла с рук виноградники, так нежно любимые ее мужем, не согласилась продать лишь унылый лесной участок, где сама она явилась на свет. Фернан вспоминал времена своего детства, нескончаемое путешествие, когда, чтобы добраться до дедушки Пелуйера, он пересекал на одноколке весь Сотерн, потом, оставив позади виноградники веселой Гаронны, выезжал на лесную дорогу, изрытую воловьими упряжками. Лицо его матери в ту пору окаймлял черный чепец с завязками под подбородком. Трясясь в старой двуколке, запрокинув голову, ребенок глядел, как бежит смятенное октябрьское небо между черными, пригибаемыми книзу вершинами, и вскрикивал, когда от одного подвижного берега к другому перелетал птичий

треугольник. Если стремительные водяные струи размывали дорогу, давая знать о себе внезапной свежестью, мать прикрывала его своим плащом, точно черным крылом. Она боялась, как бы он не простыл, а он, напротив, жаловался, что ему чересчур жарко, и она, встревоженная, просовывала палец между его воротником и шеей. Однажды, в грозовой день, лошадь, обезумев от оводов, сломала оглоблю. Это было время года, когда быстро смеркается. Пока кучер-крестьянин чинил повозку, Фернан вместе с матерью ждал у края дороги. Помнится, он испытывал на этой пустынной дороге, уже тонувшей в сумерках, чувство счастливой безопасности, потому что рядом была мать. За высокими пепельными холмами подрагивали короткие ржавые папоротники обгоревших ланд. Звериный крик пастуха сзывал разбредшихся овец, неразличимых в пелене тумана… Счастливое чувство безопасности, потому что рядом была мать…

Фернан озирается вокруг: он в комнате, где умерла Матильда. Вот рамочка из ракушек, в которой она не улыбается. Какая-то птица выводит свою весеннюю песнь. Утренняя дымка и солнце. Чтобы настичь Матильду, ему нужно всплыть из глубин своей жизни на самую поверхность

недалекого прошлого. Он пробует растрогать себя мыслью о том, как недолго они прожили вместе. Но теперь уже у невестки нет перед свекровью того преимущества, что она мертва: старая противница лежит вместе с ней в третьем склепе слева у задней стены кладбища. Их обеих нет. И Фернан злится, что Матильде досталась такая ничтожная часть его жизни, в то время как огромная тень матери легла на все истекшие годы.

Он кончает одеваться, блуждает по саду, украдкой бросает взгляды на окно кабинета, где никогда уже не покажется, зля его, старое шпионящее лицо. Уж не потому ли, что он не ощущает подстерегающего взора, ему вовсе не так уж хочется быть вместе с Матильдой? Неужели необходима была эта бесконечная, неотвязная любовь матери, окружавшая его стеной своего пламени, чтобы он, затравленный, искал прибежища в глубинах своего «я», подле Матильды? И вот пожар затух, костер, приводивший его в бешенство, угас, оставив его дрожащим от холода на пепелище. Есть мужчины, способные любить только в пику кому-нибудь. И лишь стенания покинутой подстегивают их, толкая к сближению с другой.

И теперь, блуждая по Южной аллее, Фернан не знает, куда себя деть, останавливается, нюхает

один куст сирени, потом другой, словно тяжелый шмель, и при взгляде на бирючинную изгородь в его сознании не возникает никакого лица. Мари де Ладос кликнула его к столу, он поел больше, чем обычно, молодого горошка. И, предаваясь в одиночестве перевариванию пищи в кабинете, откуда еще не успели убрать кровать умершей, он испытал мимолетное чувство блаженства и несколько секунд думал о своей «привычке». Решив дать телеграмму на улицу Югри, он сел за письменный стол и стал припоминать, уже без всякого увлечения, некогда привычные слова, которые он писал в ярости. (Мысль о бегстве неизменно приходила ему на ум после очередной стычки с матерью.) Тщетно она высмеивала его, кричала: «В хорошеньком виде ты вернешься ко мне… Через три дня будешь на себя не похож!» Он знал, что она будет сгорать от беспокойства, что вплоть до его возвращения жизнь будет ей не в жизнь. Если бы не этот страх, который он оставлял за собой, Фернан, возможно, никогда бы и не уезжал. Унизительные и сладостные приезды домой, когда в атмосфере ворчливой радости, нежного поддразнивания, бесконечной заботливости он возвращался к жизни! Мысль, что он может воротиться из Бордо в этот опу-

стевший дом, оледенила его, — мысль, что он, старый, сломленный блудный сын, может выйти из поезда и не увидеть тут же свою мать, которая, облокотясь на перила веранды, обращенной к вокзалу, подняв руку ко лбу, пытается различить его в толпе пассажиров. И он уже рвал в мелкие клочки телеграмму. Больше некуда податься. Если мать хотела, чтобы он жил только ею и словно бы слитно с ее дыханием; если она не терпела соперничества никаких занятий, никаких развлечений, никаких чаяний, никакой любви, — она могла теперь торжествовать в глубинах мрака, что сделала свое дело; стоило угаснуть материнскому солнцу, и сын оказался вращающимся в пустоте — планета, сбившаяся с орбиты.

## XVI

Редкие прохожие на дороге, идущей вдоль железнодорожной линии Бордо — Сетт, останавливались, чтобы разглядеть за деревьями большой безмолвный дом, говорили, будто никто больше не выходит за его порог. Еще несколько недель можно было видеть, как отворялись жалюзи, за которыми Фернан Казнав проводил бессонные ночи, растянувшись на ложе Матильды. Но в один прекрасный день, в разгар лета, они так и остались закрытыми: во «вражеском крыле», как называла эту часть дома Фелисите, угасла всякая жизнь. По воскресеньям иногда ненадолго пробуждались окна спальни Фелисите Казнав, потом той комнаты, где Фернан надеялся обрести сон в своей детской кровати. Но, как он ни менял постели, бессонница держала крепко свою жалкую добычу. С наступлением осени, поры, когда в Михайлов день цыгане, одетые в пурпурные лохмотья, раскидывают возле ограды сада свой табор и разжигают вонючие костры, спальня Фелисите, а затем и спальня Фернана были заперты навсегда. У дома, точно у огромного тела, близящегося к кончине, омертвели конеч-

ности, и вся жизнь сосредоточилась в кухне. Отныне Фернан пользовался кроватью, которую поставили на первом этаже для парализованной матери да так и не успели убрать. Утром, едва поднявшись, он переходил в кухню и усаживался в то кресло подле очага, где, пожирая глазами сына, ждала смерти Фелисите.

Наверху, в комнате, где умерла Матильда, все покрывалось пылью. От нее потускнело стекло в рамке из ракушек, за которым выцветало молодое, неулыбчивое лицо. В вазах все еще стояли высохшие за несколько месяцев лилии, некогда менявшиеся Фернаном с таким пылким рвением; Мари де Ладос ворчала, что не может одна со всем управиться.

Оставаясь по-прежнему коленопреклоненной и дрожащей рабыней, Мари де Ладос видела теперь слишком близко старое низверженное божество, сваленное со своего пьедестала и отданное ей во власть. Фернан потребовал, чтобы она, как и в пору, когда ухаживала за своей хозяйкой, спала в темной комнате, прилегающей к кабинету, чтобы он мог позвать ее ночью плаксивым голосом. Она была его последним прибежищем, той, кто знала ушедших, и чьи соусы, приготовленные по утерянным рецептам, наполняли самые дальние

комнаты запахом, который любили деды. Эти огрубевшие от стирки руки служили трем поколениям Пелуйеров. Но судьба настигла Фернана Казнава и в этом последнем убежище, изгнав его и оттуда.

Вместе с дикими утками и пугливыми вяхирями пора сбора винограда вернула в кухню Раймона, внука Мари, чьи родители срезали грозди в Икем, у господина маркиза. Он стал красивым вихрастым малым с большими торчащими ушами и темной, как обожженная гончарная глина, грудью. Его большие и чисто вымытые ноги шлепали по истертым плиткам; плохо скрытый смех затаился в его глазах, похожих на рыжие виноградины шашлы. Поначалу Мари де Ладос боялась, как бы он не утомил барина, потому что мальчик без конца приходил и уходил, оставляя дверь открытой или хлопая ею. Но Фернан не позволил ругать его. Тем же тяжелым взглядом, которым в прошлом году следила за ним самим мать, он наблюдал за движениями этого дрозденка. Ему хотелось бы поговорить с мальчиком, но о чем говорят с детьми? Иногда он вынимал из жилетного кармашка круглую коробку с пастилками от кашля и, когда Раймон проходил поблизости от него, протягивал приманку, лас-

ково приговаривая: «Хочешь фисташковую?» Мальчик останавливался, не дыша, весь красный, и пока он брал конфетку, Фернан хватал его за руку, удерживал. Однако тот, отвернув голову, на которой топорщились, словно перья, иссиня-черные волосы, нетерпеливо переступал с ноги на ногу, рвался улететь…

Убедившись, что присутствие внука не досаждает барину, Мари приложила все усилия, чтобы оставить Раймона при себе на всю зиму. Фернан не учуял опасности. Фелисите не допустила бы даже такой просьбы: ей было отлично известно, что «этим людям палец в рот не клади». Отослав Мари де Ладос заниматься своими кастрюлями, обозвав ее дурындой, она не упустила бы случая сказать дорогому сыночку: «Что ты бы делал без меня! К счастью, я здесь! Без меня ты попался бы в капкан. Ты не видишь дальше своего носа. Ты беззащитен, как дитя. Не будь я настороже, тебя бы обвел вокруг пальца первый встречный…» Но она уже не шла впереди него, устраняя опасности. Он не заподозрил западни, даже когда родители Раймона заставили просить себя, не соглашаясь оставить его у г-на Казнава, а затем сделали вид, будто уступают только из милости.

Этот прожорливый малый с потрескавшимися от холода и перемазанными чернилами руками обращал на молчаливого барина не больше внимания, чем на буфет или стенные часы, и не замедлил разонравиться Фернану, а вскоре стал внушать ему страх, ибо он убедился, что из-за него Мари стала нерадивой. Та пренебрегала старым, придирчивым кумиром ради сияющего весельем мальчика, в чьих жилах текла ее собственная кровь. Не могло быть и речи о том, чтобы сесть за стол прежде, чем вернется домой он. Только стук его сабо на крыльце возвещал час трапезы. Стоило Раймону заболеть в декабре пустячной ангиной, чтобы Мари под этим предлогом покинула темную комнату, где спала подле барина. Хуже всего, что и мать мальчика обосновалась в доме, мотивируя это необходимостью ухаживать за ним. Мари де Ладос сильно ее побаивалась, — глаза и рот этой чернявой и беззубой уроженки ланд выдавали куриную злобность. По вечерам являлся и отец, служивший на винном складе, — высоченный гароннец, крепко сложенный, но распустивший пузо, которое свисало поверх синих рабочих штанов, не державшихся на ремне, — загубленный Геркулес, разъеденный изнутри смертоносной сладостью сотерна. Хотя

мальчик уже выздоравливал, эта парочка каждый вечер рассаживалась за столом на кухне, так что Фернану пришлось накрывать в столовой, где, несмотря на огонь, ярко пылавший в камине, стоял ледяной холод. Во время своих недолгих трапез он слышал грубый смех, взвизгивания; когда Мари де Ладос открывала дверь, чтобы внести очередное блюдо, до него доносился лишь приглушенный местный говор, позвякивание ложек и тарелок, но едва она закрывала за собой дверь, те принимались снова вопить.

Им было невдомек, что в холодной столовой, оклеенной желтоватыми обоями под дерево, которые он всегда ненавидел, Фернан был уже не один. Подымая голову от тарелки, он видел на том месте, где она неизменно восседала на протяжении полувека, свою величественную властительную мать — еще более импозантную в смерти и всем своим разгневанным божественным ликом устыжавшую слабого сына. Как! Он не может очистить дом от этих паразитов? Фернан мысленно воссоздавал грозную богиню, которой достаточно было нахмурить брови, чтобы все нижестоящие — маклеры, испольщики, холуи всех сортов — спешили выполнить ее волю. Старый

утопающий Эней[24], он протягивал ко всемогущей «матери-прародительнице» молящие руки. Побежденный, поклонялся той, которая была сильна. Его замечательная мать! И как только ничтожная ухмыляющаяся гувернантка посмела встать поперек ее пути? Матильда, чья тень также садилась за этот стол, вдали от огня, на самом сквозняке, как при жизни Фелисите, теперь уже не бросала ей — мертвой — вызов. Но Фернан вспоминал эту сутулящуюся спину, этот побитый вид, эти желтые глаза загнанной кошки.

Дом вздрогнул от проходящего скорого, но грохот его по мосту через Гаронну заглушили крики на кухне. Материнская ярость, это неистовство, так часто заставлявшее топать ногами грузную обезумевшую женщину, овладело Фернаном; и он уже поднялся и пошел к двери, когда появилась Мари де Ладос с каким-то молочным блюдом. Она кинула на барина взгляд, чуткий к признакам грозы на этом лице. Сказала пресекающимся голосом:

— Я скажу сейчас дочке, что она утомляет барина.

---

**[24] Примечания: 24**

Эней — в древнегреческой мифологии герой Троянской войны. Его странствия и подвиги описаны в поэме П. Вергилия Марона «Энеида».

Дрожа, она вернулась в кухню. Она трепетала перед дочерью от страха, который внушают их дети всем старикам в ландах. (Дочь и зять, вытянув у нее помаленьку все сбережения, обвиняли Мари в том, что та еще прячет деньги.) Несколько минут Фернан слышал только голос старухи. Но внезапно дочь чудовищно пронзительным голосом стала что-то вопить на местном наречии. Ничто так не свидетельствовало о странной изоляции, в которой жил Фернан, как его незнание диалекта. Приникнув ухом к двери, он понял, что Мари де Ладос дает отпор своим детям. Но чего они требовали от старухи? «Moussu» слишком часто повторялось в их разговоре, чтобы он не заподозрил предмета спора. Поскольку Фернан слышал недостаточно отчетливо, он вышел из столовой и пересек вестибюль. Его шаги пробудили эхо в огромном помещении, по сторонам которого две стеклянные двери, не прикрытые ставнями, выкраивали светлые прямоугольники ледяной ночи; коридор привел его к кухонной двери, открывавшейся прямо на площадку широкой лестницы. Дрожа от холода, он расслышал, кроме часто повторяющегося «Moussu», также «малый». Мари де Ладос закричала по-французски: «Да говорю же я вам, что он ни разу даже не

спросил, как малый». Не знает она, что ли, барина! Точно он человек, который станет стеснять себя ради какого-то мальчика! Раймон развлекал его несколько дней. А теперь он больше видеть его не хочет. Не заставишь же его силком… Дочь прервала ее, пронзительно вопя: «Нет, заставишь! Ты могла бы его принудить к чему угодно: он больше не может без тебя обойтись, эта старая тряпка! Но ты не любишь родных…» Они снова стали громко ругаться на диалекте.

Фернан выпрямился во весь свой огромный рост. Мать толкала его вперед: она была в нем; он был одержим ею. Чего он ждал, почему не ворвался без всякого предупреждения, не опрокинул одним ударом стол? Но земля уходила у него из-под ног, сердце бешено билось: «Прежде всего уснуть…» Он свалился на приоткрытый ларь для дров. Крышка хлопнула, и этот резкий звук оборвал крик за дверьми. Фернан поднялся, пошел в кабинет, где никто не поддержал огня в камине. Когда он наконец улегся и потушил свечу, то заметил, что Мари де Ладос забыла даже прикрыть жалюзи. Со своей кровати он видел прозрачность ночи. Поскольку весь день шел дождь, вода стекала с деревьев в сверхъестественной тишине, и на всем свете не было

ничего, кроме мерного капанья этих слез. На него снизошел покой, какая-то отрешенность, будто он предощутил по ту сторону своей ужасной жизни, по ту сторону своей собственной жестокости некое царство любви и тишины, где и мать его была иной, чем та, которой он только что был заворожен, точно вакханкой, и Матильда обращала к нему раскованное, умиротворенное лицо — улыбку блаженства.

На рассвете его пробудило струение дождя. Как он ненавидел их, эти сумрачные зимние дни! Он уже даже не помнил, что накануне предощутил неведомую благодать. Весь грязный прилив злопамятства вновь поднялся в нем вместе с этим темным утром. Он сжал в комок под одеялом свое старое недужное тело. Он видел перед собой наступающий день, пустой песчаный путь среди обгорелых ланд. Он закрыл глаза, чтобы выиграть время, чтобы достичь, не думая, оазиса завтрака. И пока Мари де Ладос разжигала огонь, ставила у его изголовья обжигающий кофе с молоком, он притворялся спящим, прильнув лицом к стене.

## XVII

Пообедав в полдень, Фернан Казнав остался на кухне, у огня. Как бы он перепугался, если бы узнал, до какой степени напоминает свою угасавшую мать, забившись вот так в кресло в сумраке струившегося дождем декабря. Мари де Ладос вошла, поддерживая ослабевшего внука, который впервые встал в этот день с постели. Она следила за хозяином, пытаясь проникнуть в его мысли. Но он не отрывал глаз от пламени. Тогда она подтолкнула к нему испуганного Раймона, повторяя:

— Что нужно сказать барину?

Фернан Казнав даже не повернул головы. Мари де Ладос настаивала:

— Он так страдал, бедняжка. Весь исхудал. Одни только глаза и остались.

И она щупала плечи мальчика. Хозяин взял щипцы, но вынужден был положить их, так как у него тряслись руки. Наконец он устремил на мальчика ледяной взор. И тут, не зная диалекта, все же вспомнил два слова, которые обычно употребляли его дед Пелуйер и Фелисите Казнав, когда хотели, чтобы человек или животное ис-

чезли с их глаз.

— Bey-t'en! (Пошел вон!) — сказал он и встал, опять-таки похожий на свою мать, но теперь уже на мать неколебимую и опасную. Мари де Ладос отступила в устрашенном обожании, таща за собой в каморку взлохмаченного внука, который подпрыгивал, как больной дрозд.

Фернан Казнав обосновался до вечера в кабинете перед камином. В четыре часа Мари де Ладос принесла ему лампу, закрыла жалюзи, и он пребывал в одиночестве, пока крикливый голос на кухне не оповестил его, что вернулась мать Раймона. Тогда он уселся, как накануне, в темном проходе на дровяной ларь и замер. «Нет, нет, — умоляла Мари де Ладос, — у него будет от этого удар...» Потом ее заглушил гортанный диалект дочери. Та кричала, что сама будет подавать к столу; но почему таким угрожающим тоном? Фернан озяб, вернулся в кабинет и неподвижно уставился в огонь. В семь часов Мари де Ладос пришла сказать, что барину подано. Она взяла лампу и подняла ее, как делала каждый вечер, отойдя в сторону и освещая путь барину, который увидел в ярком свете это старое, обезображенное морщинами лицо. Он прошел через кухню, отворил дверь в столовую и тут все понял: на чистой

скатерти напротив его прибора был поставлен второй; и поскольку стол был очень высокий, мать положила на стул Раймона книги, чтобы тому было удобнее есть суп.

Мальчик плакал за дверью; он не осмеливался войти, несмотря на уговоры матери, которая начинала повышать голос. Меж тем Фернан Казнав чувствовал, как в нем нарастает волна бешенства, он с наслаждением позволял матери наполнить его, пронизать, овладеть им. Налив себе полный бокал вина, он выпил его залпом, потом махнул рукой, и тарелки, поставленные для Раймона, разлетелись вдребезги на плитках пола. После этого грохота кухня точно вымерла. Хозяин вошел туда, увидел прежде всего дочь с ее птичьими глазами, а за ней Мари де Ладос, воздевшую сложенные руки. Он опять вспомнил слова диалекта, которыми пользовалась его мать, когда прогоняла с глаз долой слуг или животных:

— Annet-ben! (Убирайтесь вон!)

Тогда дочь сделала шаг вперед и принялась многословно вопить, что барин сам хотел удержать малого; из-за него тот даже упустил хорошее место; само собой разумелось, что барин берет на себя заботу о нем… И ребенок уже так привязался

к барину... Она умолкла, оробев перед молчанием барина, перед этим ледяным взглядом. Он повторил:

— Annet-ben!

Дочь вне себя завопила, что они не уйдут одни, что они уведут с собой старуху. Поняла ли ее Мари де Ладос? Она не протестовала, чуть отвернув голову и прикрыв лицо обеими руками, на которых выступали толстые вены. Дверь каморки за кухней приоткрылась, и мальчик просунул в щель мордочку лисенка, захваченного в норе. Между тем дочь, уверенная, что держит врага этой угрозой, победно улыбалась, щеря затвердевшие десны черного рта. Эта улыбка окончательно отдала Фернана во власть материнского демона. Его трясущиеся пальцы долго нащупывали в бумажнике стофранковую купюру, которую он швырнул Мари де Ладос (подхватила ее дочь). Потом он открыл дверь и беззвучным голосом сказал служанке:

— За своим сундуком придешь завтра.

Она посмотрела на него. Ее выгонял сейчас не только этот хозяин, но и все покойные хозяева. Поскольку она не двигалась с места, он повторил голосом старика Пелуйера:

— Bey-t'en!

И откинул голову, раздув шею, подобно Юноне[25], — точь-в-точь ожившая мать.

**[25] Примечания: 25**

Юнона — в римской мифологии богиня покровительница брака, материнства, женщин, супруга Юпитера.

## XVIII

Фернан Казнав услышал стук их сабо вдоль линии Бордо — Сетт, потом снова наполнил свой бокал и, опорожнив его, вышел из столовой. Последний поезд прогрохотал над рекой; дом больше не трясло. Тонкие облачка проплывали под невидимой луной, но свет ее пробивался сквозь них, так что Фернан Казнав, стоя посреди вестибюля, без лампы, видел себя в зеркале у двери. Его окружала тишина, еще более глубокая, чем в другие вечера. А меж тем он не припоминал, чтобы ему доводилось, бодрствуя в ночные часы, слышать когда-нибудь дыханье Мари де Ладос. Но достаточно, чтобы в самой дальней комнате ощущалось чье-то сонное дыхание, и атмосфера дома оживает настолько, что к сердцу безотчетно приливает, поддерживая его, легкая волна человеческого тепла. Поэтому Фернан Казнав впервые познал, что такое безмолвие. Он ведь слышал, как и накануне, бесконечную капель с веток, вокруг мертвого дома не было ничего, кроме этого мерного звука слез. Возможно, именно в эту минуту он обрел свою душу, ощутил покой в преддверии царства, где его мать остава-

лась его матерью, но одновременно была совсем иной — и той, что вдохновила его вышвырнуть из дома старую, покорную служанку, но одновременно и другой, все еще живой, живой в ином мире, матерью, от которой на него нисходило в этот вечер умиротворение, не ведающее гнева, отвращение ко всякой жестокости, таинственная отрешенность. Во всяком случае, он подумал, будто это так; ему не пришло в голову, что он выпил и что порой достаточно легкого хмеля, чтобы мы предощутили вечность. Холод пробудил его от этого сладкого оцепенения. Он вздрогнул всем телом, и зубы у него застучали, как у умиравшей Матильды. Тогда, направившись по коридору, который вел во «вражеское крыло», он стал, дрожа от холода, заходить во все комнаты, пока не добрался до той, где свет луны, пробиваясь сквозь жалюзи, озарял рамку из ракушек и рисовал на стене нежную тень увядших лилий. Здесь выходила на площадку дверь чердака, куда он вошел. Чердак простирался от крыла до крыла, проходя над вестибюлем. Круглое окошечко вбирало, точно воду, чистейший свет ночи, изливая его на большой ларь, разрисованный тюльпанами. Фернан, спотыкаясь о мертвые вещи, отворил дверь каморки, где спала Мари де Ладос, до того как

стала ночевать подле барыни. Она по-прежнему умывалась здесь по утрам и хранила все свои пожитки в черном деревянном сундуке. Жуткий холод пах тут мылом и одеждой тех, кто работает на других. Ночное сияние, проникая через круглое оконце, еще более узкое, чем то, которое было над вестибюлем, озаряло своими лучами гипсовую богоматерь с простертыми дланями, но оставляло в тени распятое тело над кроватью. Эта кровать была застлана домотканым покрывалом с человеческими фигурками — единственное яркое пятно, единственное сокровище этой кельи, которым Мари де Ладос отказалась бы пользоваться, скажи ей кто-нибудь, что оно «стоит денег». Фернан Казнав сел на это покрывало и, нагнувшись вперед, поставив локти на колени, прикрыв лицо руками, заплакал. Холод леденил слезы на его щеках. Тело содрогалось. Им овладел страх, что он умрет один, в этой каморке под крышей; спотыкаясь, он спустился с чердака, и ему пришлось цепляться за перила лестницы, чтобы наконец добраться до своей постели.

Он не спал, ощущая безмерную тяжесть, которая давила на его грудь, на его члены. Уж не пригрезилось ли ему, что кто-то идет по саду? Нет, поскольку Пельу яростно залаял, потом

вдруг стих. Фернан вспомнил, что забыл запереть дверь. Он услышал, как она отворилась от простого нажима, но не ощутил никакого страха. Шаги удалились к кухне, потом под дверь просочился свет. Фернан закрыл глаза, вновь открыл. Мари де Ладос держала лампу, прикрывая ее рукой, как экраном, так что свет падал на старое лицо черной богоматери. Но она не делала ни шагу вперед, ждала, пока он позовет.

— Мари!

Тогда, поставив лампу, она подошла к нему, и он ощутил на своем лбу эту изношенную ладонь.

**Жоане, Сен-Симфорьен.**
**23 сентября 1923 г.**

# ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ

## I

Долгие годы Раймон Курреж тешил себя надеждой, что еще встретит на своем пути Марию Кросс, которой он так жаждал отомстить. Не раз он, бывало, на улице бросался догонять какую-нибудь женщину, приняв ее за ту, кого искал. Но с течением лет злоба его притупилась, и когда судьба наконец столкнула их с Марией лицом к лицу, в первый миг он не ощутил того яростного торжества, какое должна была бы вызвать в нем эта встреча. В тот вечер он раньше обычного зашел в бар на улице Дюфо; было только десять часов, и джазовый певец-мулат услаждал своим пением одного-единственного слушателя — метрдотеля. В узком зале, который к полуночи едва вмещал желающих потанцевать, жужжал вентилятор, словно большая муха. Швейцара, удивленно заметившего: «Как вы сегодня рано, мосье!» — Раймон не удостоил ответом, лишь сделал знак рукой, чтобы он прекратил это жужжание. Напрасно швейцар, на правах старого знакомого,

пытался убедить его, что это вентилятор «новой системы, он поглощает дым, не делая ветра», — Курреж смерил его уничтожающим взглядом, и тот отступил назад, в гардероб, а вентилятор на потолке вдруг затих, как, опустившись на цветок, затихает шмель.

Молодой человек сел за один из столиков, нарушив их безупречную крахмально-белую линию, и поймал свое отражение в зеркале: выглядел он скверно, как в худшие свои дни. «В чем дело?» — подумал он. Черт побери, он ненавидит такие вот потерянные вечера, а сегодняшний вечер потерян из-за этой скотины Эдди Х. Раймону пришлось чуть ли не силой тащить юнца из дома, чтобы повести его в кабаре. Во время ужина Эдди, нетерпеливо ерзавший на стуле и весь захваченный уже каким-то новым предстоящим ему удовольствием, извинился за свою рассеянность: у него-де ужасная мигрень; а выпив кофе, удрал — веселый, с горящим взором и красными ушами, раздувая ноздри. Весь минувший день Раймон рисовал себе приятную перспективу этого вечера, но Эдди, несомненно, открыл для себя иные радости, более упоительные, нежели разговор по душам.

Курреж удивился, что испытывает не только

разочарование и унижение, но и грусть. Его потрясло, насколько дорог ему теперь даже самый никчемный приятель; для него это было ново: до тридцати лет, всецело поглощенный женщинами, он не ведал бескорыстия, которого требует мужская дружба, презирал все, что представлялось ему недостойным обладания, и, как ребенок-обжора, мог бы сказать о себе: «Я люблю только то, что можно слопать». В те времена товарищи были нужны ему лишь как свидетели и поверенные его тайн; друг был для него прежде всего парой ушей. Отрадно было и убеждаться в том, что он верховодит друзьями, подчиняет их себе; оказывать влияние на людей стало у него потребностью, и он кичился тем, что постепенно их развращает.

Раймон Курреж мог бы создать себе такую же клиентуру, как его дед — хирург, брат деда — иезуит, отец — врач, если бы он оказался способен подчинить свои страсти целям карьеры и не был бы столь нетерпелив в утолении мимолетных желаний. И вот теперь он достиг возраста, когда господства над людьми можно добиться, только найдя доступ к их душе, а Курреж умел разве что преподать своим ученикам науку утонченных наслаждений. Однако молодые явно предпочи-

тали общество своих сверстников, и его круг понемногу редел. Для любви хватает поживы надолго, но небольшая кучка друзей, начинавших жизнь вместе с нами, тает с каждым днем. Кто пережил потрясения войны, тех либо засосала семья, либо до неузнаваемости изменила работа, и Курреж, глядя на их седеющие волосы, на их лысины и животики, ненавидел их за то, что они его ровесники: он не мог им простить, что они убили свою молодость, предали ее еще до того, как она сама от них отвернулась.

Он гордился тем, что и после войны остался холостяком, и в тот вечер, сидя в пустом еще баре, где только приглушенно напевала мандолина (пламя мелодии то гасло, то, мерцая, вспыхивало опять), жадно разглядывал в отражении зеркал свое лицо под густой шапкой волос — лицо, которое тридцать пять прожитых лет еще не отметили своей печатью. Однако ему подумалось, что старение, не тронув пока его тело, исподволь подтачивает его жизнь. Хотя ему было лестно слышать, как женщины спрашивают: «Кто этот высокий молодой человек?» — он все же не мог не знать, что более прозорливые двадцатилетние юнцы уже не причисляют его к своему эфемерному племени. Может быть, у Эдди нашлось

занятие поинтереснее, чем до зари разговаривать с ним под оглушительный рев саксофона, а может быть, он просто сидит сейчас в другом баре, изливая душу какому-нибудь мальчишке 1904 года рождения, который поминутно перебивает его восклицаниями: «Я тоже!» или: «Точь-в-точь, как я!»

Вошли какие-то молодые люди, от робости напустившие на себя высокомерие и важность и растерявшиеся при виде пустого зала. Они обступили бармена и прилипли к стойке. Курреж никогда не позволял себе страдать из-за другого человека, будь то любовница или приятель. И вот, прибегнув к обычному методу, он уговаривал себя, что не стоит так огорчаться из-за бегства какого-то Эдди Х. — слишком много чести для подобного ничтожества. Его порадовало, что он без малейшей боли может вырвать из сердца ростки недавней привязанности. Он до того разошелся, что вознамерился завтра же выставить мальчишку за дверь, и бестрепетно решил больше никогда с ним не видеться. Ему даже стало весело, когда он подумал: «Я его вышвырну вон…» Курреж вздохнул с облегчением; но он все же чувствовал, что на душе у него осталась какая-то тяжесть и что Эдди тут ни при чем. Ах да, письмо, которое

он нащупал в кармане смокинга… Перечитывать его незачем: доктор Курреж, обращаясь к сыну, пользовался всегда эллиптическим языком, легким для запоминания.

> «Остановился в „Гранд-отеле“ на время съезда врачей. В твоем распоряжении утром до девяти, вечером после одиннадцати.
>
> *Твой отец* ***Поль Курреж***».

Раймон пробормотал: «Еще чего!» — и лицо его невольно ожесточилось. С отцом у него были особые счеты, он не мог просто презирать старика, как презирал всю остальную родню. Достигнув тридцати лет, Раймон безуспешно пытался вытребовать себе такую же долю имущества, какую получила его замужняя сестра. Когда родители ему отказали, он сжег мосты. Однако все состояние принадлежало его матери, госпоже Курреж, и Раймон прекрасно знал, что, будь дело за отцом, тот бы не поскупился — деньги для него ничего не значили. Он повторил: «Еще чего!» — но не мог не расслышать зова в сдержанном отцовском послании. Он не был так слеп, как г-жа Курреж, которую раздражала холодность и резкость мужа и которая часто повторяла: «Какой мне толк от

того, что он добрый, если я сама этого не чувствую? Представьте себе только, что было бы, будь он злым».

Раймон растерялся перед этим зовом — зовом отца, которого он не в силах был ненавидеть. Нет, он, конечно, ему не ответит, но все-таки… Позднее, когда Раймон Курреж будет восстанавливать в памяти обстоятельства этой ночи, он вспомнит, с какой горечью в душе входил в маленький пустой бар, но забудет о ее причинах — об измене приятеля по имени Эдди и о приезде в Париж отца; он уверит себя, что это горестное настроение было рождено у него предчувствием и что между его душевным состоянием в тот вечер и надвигавшимся на него событием существовала незримая связь. С тех пор он неизменно повторял, что какой-то мальчишка Эдди и даже доктор Курреж не могли бы привести его в такое смятение и что, едва пригубив свой коктейль, он бессознательно, душой и телом, почувствовал приближение той, что в ту самую минуту сидела в такси, остановившемся уже на углу улицы Дюфо, рылась в сумочке и говорила своему спутнику:

— Вот незадача, я забыла губную помаду…

— Возьмешь здесь, в туалете, — отвечал он.

— Какой ужас! Чтобы подцепить заразу…

— Ну, тогда Глэдис одолжит тебе свою.

* * *

Она вошла: шляпа с опущенными полями скрывала верхнюю часть лица, оставляя взгляду только подбородок, на котором время отмечает возраст женщины. Пятый десяток уже тронул кое-где его нежную округлость: слегка одрябла кожа, наметилась тяжелая складка. Тело, скрытое меховым манто, видимо, располнело. Она остановилась на пороге сверкавшего огнями бара, ослепленная, как только что выпущенный на арену бык. Когда к ней присоединился ее спутник, отставший из-за пререканий с шофером, Курреж, не сразу узнав его, подумал: «Где-то я видел эту рожу, это же типичный бордосец». И пока он разглядывал лицо грузного пятидесятилетнего мужчины, словно еще больше расплывшееся от самодовольства, на язык вдруг само собой навернулось имя: Виктор Ларуссель… С бьющимся сердцем Раймон стал присматриваться к женщине, а та, заметив, что в шляпе здесь она одна, сняла ее и тряхнула перед зеркалом головой с короткой стрижкой. Стали видны большие спокойные глаза, высокий лоб, наполовину прикрытый модной редкой челкой — несколькими

прядями темных волос. В верхней части лица сосредоточилось все, что еще оставалось у этой женщины от ее нерастраченной молодости.

Раймон узнал ее, несмотря на короткую стрижку, располневшую фигуру и признаки медленного увядания, шедшего вверх от шеи ко рту и щекам. Он узнал ее, как узнал бы дорогу, по которой ходил в детстве, даже если бы осенявшие ее дубы были срублены. Курреж прикинул в уме число прошедших лет и через несколько секунд подытожил: «Ей сорок четыре года: мне тогда было восемнадцать, а ей двадцать семь». Как всякого, кто путает счастье с молодостью, его никогда не покидало глухое, но тревожное сознание невозвратимости минувшего, взор его непрестанно погружался в бездну мертвого времени. Каждого человека, сыгравшего в его жизни какую-то роль, он прочно привязывал к определенным событиям и увидев знакомое лицо, без труда вспоминал дату.

«Узнала она меня или нет?» Но почему же она так резко отвернулась, будто не узнала? Стоя рядом со своим спутником, она что-то говорила ему, верно, упрашивала уйти отсюда, ибо он отвечал ей нарочито громко, тоном человека, которому нравится быть в центре внимания:

«Да ничего здесь не скучно, через полчаса тут яблоку будет негде упасть».

Он отодвинул один из столиков, недалеко от того, на который облокотился сейчас Раймон, тяжело сел на стул, его лицо, красное от прилива крови и отмеченное всеми признаками склероза, выражало безоблачное довольство. Но так как женщина все еще стояла не двигаясь, он воскликнул:

— Ну, чего же ты ждешь?

И вдруг его глаза и толстые, почти лиловые губы перестали излучать довольство. Полагая, что говорит тихо, он прибавил:

— Конечно, раз мне здесь нравится, ты непременно должна надуться.

Она, видимо, сказала ему: «Тише, нас слушают», — потому что он почти крикнул:

— Уж я-то знаю, как надо себя вести! По мне, пусть слушают!

Сидя недалеко от Раймона, женщина убедилась: чтобы видеть ее, молодому человеку надо наклониться, а значит, при желании она может избежать его взгляда. Курреж угадал эту ее спокойную уверенность; он вдруг понял, — и с каким ужасом! — что вот-вот упустит случай, которого ждал семнадцать лет. Ему казалось, что

за эти семнадцать лет в нем не остыло желание унизить женщину, которая тогда так унизила его, показать ей наконец, что он не из тех, кто позволяет какой-то бабенке водить себя за нос. Все эти годы он смаковал в воображении подробности желанной встречи, придумывал, какую хитрость пустит в ход, чтобы повергнуть к своим стопам, заставить плакать ту, перед которой однажды был так жалок… Если бы в этот вечер он встретил не ее, а другого знакомого той поры, когда он был восемнадцатилетним школьником, — товарища, которого особенно любил, или классного наставника, перед которым дрожал, — то при виде их наверняка не нашел бы в себе и следа той дружбы или ненависти, какую питал тогдашний юнец. Но разве в глазах этой женщины он не остался тем же, что в июньский четверг 19.. года, когда в сумерках стоял на пыльной улице предместья, благоухавшего лилиями, и звонил в дверь, с того дня закрывшуюся перед ним навсегда? Мария! Мария Кросс! Угловатого, стыдливого подростка, каким он еще был в те дни, она преобразила, сделала новым человеком, каким ему суждено было остаться на всю жизнь. Но сама Мария Кросс — как мало она изменилась! Все те же удивленные глаза, тот же лучезарный

лоб. Курреж подумал, что его любимый товарищ 19.. года сегодня вечером наверняка оказался бы лысым, бородатым толстяком, но лица некоторых женщин до зрелых лет сохраняют отблеск детства, и, быть может, это их вечное детство и скрепляет нашу любовь, оберегая ее от действия времени. Вот она здесь, перед ним, все такая же по прошествии этих семнадцати лет, полных неизвестных ему переживаний, подобная тем почерневшим статуэткам Пречистой Девы, чья улыбка не померкла в пламени Реформации и Террора. И она все еще на содержании у того же влиятельного человека, шумно выражающего сейчас свое нетерпение и досаду, оттого что люди, которых он ждет, не идут.

— Это он из-за Глэдис опять опаздывает… Терпеть не могу неточных людей, сам я всегда пунктуален. Странная вещь — я не выношу, чтоб меня ждали, и ничего не могу с собой поделать. Но люди иногда бывают такими грубиянами.

Мария Кросс коснулась его плеча и, видимо, опять сказала: «Нас слушают», — потому что он стал ворчать, — он-де не говорит ничего такого, чего другим нельзя слушать, и это же просто невероятно, что именно она позволяет себе его поучать.

Одного ее присутствия оказалось достаточно, чтобы Курреж без сопротивления отдался власти прошлого. Хотя его никогда не покидало ясное сознание невозвратимости минувшего, он избегал пробуждать в памяти точные его образы и ничего так не боялся, как восстания призраков. Но сегодня он был бессилен против хоровода лиц, который закружился перед ним от встречи с Марией: он ясно слышал, как бьет шесть часов и как хлопают крышки парт; дождь в тот день шел несильный, даже пыль не прибило; трамвай был плохо освещен, и ему не удалось дочитать «Афродиту»[26], — трамвай, битком набитый рабочими, чьи суровые лица смягчала усталость.

## II

От коллежа, где его часто выгоняли из класса и он, неопрятный мальчишка, слонялся по коридорам или подпирал стенку, до родительского дома в предместье было не близко, но Раймона это радовало. Сев в трамвай, он испытывал облегчение: здесь, среди чужих людей с безучастным

**[26] Примечания: 26**

Эротический роман французского поэта и писателя-модерниста П. Луиса (1870–1925).

взглядом, он был один, особенно зимой; темнота, которую лишь изредка разрывал луч фонаря или ярко освещенные окна какого-нибудь бара, изолировала его, отделяла от всех, от попутчиков в рабочей одежде, пахнущей влагой; у одного к отвислой губе прилепилась погасшая сигарета, другие дремлют, запрокинув лица в морщинах с въевшейся угольной копотью; из чьих-то отяжелевших рук выпала газета, а вон та простоволосая женщина тянет к свету очередной выпуск романа с продолжением, и губы ее шевелятся, точно в молитве. Но в конце концов после Таланской[27] церкви надо было сходить.

Трамвай, как подвижный бенгальский огонь, на секунду выхватывал из тьмы аллею какого-нибудь сада, ряды оголенных тисов и буков. Мальчишка, перескакивая через лужи, бежал по улице, где пахло сырым лесом и прелыми листьями, и слышал позади себя затихающий стук колес и троллеев. Он сворачивал на узкую тропинку, огибавшую сад Куррежей, и, толкнув незапертую калитку, входил в дом с черного хода, со стороны служб. Лампа, горевшая в столовой, отбрасывала свет на цветник под окнами, куда весной переса-

---

**[27] Примечания: 27**
Таланс — пригород Бордо.

живали фуксии, — они не любят яркого солнца. И Раймон опять хмурился, как в коллеже: брови его сдвигались в сплошную темную линию, рот кривился; он входил в гостиную и буркал «добрый вечер», обращаясь сразу ко всем, кто сидел там, сгрудившись возле тусклой, из экономии, лампы. Мать спрашивала, сколько раз надо ему говорить, чтобы он хорошенько вытирал ноги о железную скобу перед дверью, и неужели он рассчитывает сесть за стол «с такими руками». Г-жа Курреж-бабушка вполголоса замечала невестке:

— Вы же знаете, что Поль говорит: не надо попусту раздражать ребенка.

Так с его появлением сразу начинались язвительные речи.

Он садился где-нибудь в углу. Мадлена Баск, сестра Раймона, продолжала прилежно вышивать и даже не поднимала глаз на брата. «Я для нее значу меньше, чем собака», — думал Раймон. Он был «бичом семьи», и Мадлена любила говорить, что «он еще себя покажет», а ее муж, Гастон Баск, добавлял: «Особенно при таком бесхарактерном отце».

Рукодельница подняла голову, секунду прислушивалась, сказала: «Вот и Гастон», — и отложила вышивание.

— Я ничего не слышу, — откликнулась г-жа Курреж.

— Да, да, это он, — и хотя никто, кроме нее, не улавливал ни малейшего шума, Мадлена вскочила, выбежала на крыльцо и скрылась в саду, руководимая таким безошибочным инстинктом, словно принадлежала к особой породе животных, у которых самец, а не самка испускает запах, чтобы привлечь в темноте свою пару. Вскоре Куррежи расслышали мужской голос, затем угодливый и радостный смех Мадлены; они знали, что супруги не пойдут через гостиную, а поднимутся через боковую дверь наверх, где расположены спальни, и спустятся в столовую только со вторым ударом гонга.

За столом под большой висячей лампой собиралась вся семья: г-жа Курреж-старшая, ее невестка Люси Курреж, супруги Баск и четыре внучки — рыжеватые, как и Гастон Баск, в одинаковых платьицах, с одинаковыми косичками, одинаковыми веснушками; прижавшись друг к дружке, они сидели, как прирученные птицы на жердочке.

— Чтоб никто с ними не заговаривал, — изрекал лейтенант Баск. — Если кто-нибудь с ними заговорит, наказаны будут они. Итак, я всех пре-

дупредил.

Место доктора пустовало долго, даже если он бывал дома. Он входил с пачкой журналов в руках, когда все остальные уже ели. Жена спрашивала, неужели он не слышал гонга, ведь когда еда подается так беспорядочно, невозможно удержать прислугу. Доктор дергал головой, словно отгоняя муху, и, сев за стол, раскрывал журнал. То не был жест презрения: занятой человек привык экономить время, голова его была перегружена заботами, и он знал цену минуте. В конце стола, обособившись, сидели Баски, равнодушные ко всему, что не касалось их самих или их детей; Гастон вполголоса рассказывал жене, какие шаги он предпринимает, чтобы его не переводили из Бордо: полковник написал в министерство… Мадлена слушала мужа, не спуская глаз с детей и не переставая их дрессировать: «Нельзя вытирать тарелку хлебом». — «Ты что, не умеешь пользоваться ножом?» — «Перестань вертеться». — «Руки на стол, руки, а не локти…» — «Больше ты хлеба не получишь, так и знай». — «Хватит, ты уже напилась».

Баски образовали островок, окруженный атмосферой недоверия и секретности. «Они мне ничего не рассказывают». Все претензии, какие

имела к дочери г-жа Курреж, были сосредоточены в этой фразе: «Они мне ничего не рассказывают». Она подозревала, что Мадлена беременна, присматривалась к ее фигуре, по-своему истолковывала ее дурное самочувствие. Слуги всегда все узнавали раньше нее. Г-жа Курреж предполагала, что Гастон застраховал свою жизнь, но на сколько? Она не знала, какая в точности сумма досталась этой паре после смерти отца Гастона.

После ужина, в гостиной, Раймон делал вид, что не слышит ворчливого голоса матери: «Разве тебе не надо учить уроки? И сочинения вам не задали?» Он хватал одну из малышек, и казалось, что он вот-вот раздавит ее своими сильными руками; высоко подняв девочку над головой, чтобы она могла дотронуться до потолка, он потом резко опускал ее вниз и бешеным вихрем кружил маленькое податливое тельце. Мадлена Баск, перепуганная, взъерошенная наседка, как ни умиляли ее восторженные возгласы малышки, то и дело вскрикивала: «Осторожно! Ты ее искалечишь! Какой он грубый…» Тут бабушка Курреж откладывала в сторону вязанье, поднимала на лоб очки, и лицо ее растягивалось в улыбке: она горячо хваталась за любое свидетельство в пользу Раймона:

— Вот видите, как он обожает детей, и в этом ему нельзя отказать — он всегда готов возиться с малышами.

И старуха уверяла, что, раз он так любит детей, значит, по натуре он добрый:

— Достаточно увидеть Раймона с его племянницами — и всякий убедится, что это вовсе не испорченный мальчик.

Действительно ли он любил детей? Ему надо было ощущать в руках что-то живое, теплое, свежее, это как бы оберегало его от тех, кого он про себя называл «трупами». Раймон бросил хрупкое тельце на кушетку, выбежал из комнаты в сад и начал вприпрыжку носиться по устланным листьями аллеям, — клочки блеклого неба, видные сквозь голые ветви, освещали ему дорогу. В окне второго этажа горела лампа — там был кабинет доктора Куррежа. Неужели Раймон и сегодня пойдет спать, не поцеловав отца? Ах, довольно и того, что они почти каждое утро проводят вместе, во враждебном молчании: на рассвете двухместная карета доктора отвозила отца и сына в город. Раймон вылезал у заставы св. Генезия и по бульварам доходил до коллежа, доктор же ехал дальше, к больнице. Три четверти часа они сидели бок о бок в этой клетке, пахнущей старой

кожей, меж двух окон с мутными от дождя стеклами. Врач, который несколькими минутами позже у себя в клинике будет непринужденно и властно разговаривать с подчиненными и со студентами, уже не один месяц тщетно искал слова, способные смягчить это существо, которому сам он дал жизнь.

Как проложить путь к этому сердцу, ожесточившемуся в постоянной самообороне? Когда доктор радовался, что нашел наконец подход, и обращался к Раймону с тщательно продуманными словами, он этих слов не узнавал, — так подводил его собственный голос, звучавший насмешливо и сухо. Всю жизнь он страдал оттого, что не умел выразить свои чувства. Доктор Курреж славился своей добротой исключительно потому, что о ней свидетельствовали его добрые дела; не будь их, никто бы и не узнал об этой глубоко запрятанной, об этой заживо погребенной доброте. Невозможно было, скажем, заставить его выслушать изъявления благодарности, — он что-то бурчал и пожимал плечами. Сколько раз, катя дождливым утром в тряском экипаже рядом с сыном, он безмолвно вопрошал замкнутое лицо мальчика! И невольно как врач истолковывал некоторые признаки, которые подмечал в обли-

ке этого злого ангела, — обманчивую кротость глаз, обведенных темными кругами. «Бедный мальчик считает меня своим врагом, это не его вина, а моя». Он упускал из виду то свойственное подросткам чутье, которое безошибочно подсказывает им, кто их действительно любит. Раймон улавливал немой зов отца, он не смешивал его с остальными членами семьи — но оставался глух. Впрочем, он бы и не знал, что сказать робевшему отцу, ибо сам, несомненно, внушал ему робость, и это его еще больше замораживало.

Случалось все же, что доктор вынужден был делать выговор сыну, но он старался при этом взять как можно более мягкий, даже товарищеский тон.

— Я опять получил письмо от вашего ректора, оно касается тебя. Бедный аббат Фарж, ты его сводишь с ума! Похоже, это ты пустил в классе книгу по акушерству… ты ее стащил из моей библиотеки. Не скрою, возмущение аббата Фаржа кажется мне чрезмерным, вы уже в таком возрасте, когда пора знать жизнь, и в конце концов лучше почерпнуть сведения из серьезных источников… В этом смысле я и ответил вашему ректору… Но, кроме того, у вас в классе, в ящике для бумаги,

нашли номер «Ла Годриоль»[28] и, конечно, подозревают тебя, ты у них козел отпущения… Смотри, мой мальчик, кончится тем, что они выставят тебя за дверь за полгода до экзаменов…

— Нет.

— Почему же нет?

— Если уж они оставили меня на второй год, то теперь навряд ли провалят. Я их знаю! Не думай, они не выпустят из рук ни одного из нас, у кого есть шансы выдержать. Стоит им меня вышвырнуть, как меня тут же подхватят иезуиты. Им выгоднее, чтобы я, как они выражаются, портил других, чем лишиться хотя бы одного бакалавра, нужного им для статистики. Ты только представь себе торжествующую рожу Фаржа в день раздачи наград: из тридцати кандидатов двадцать три переведены и двоим разрешены переэкзаменовки! Гром аплодисментов!.. Ух, гады!

— Да нет же, нет, малыш…

Доктор сделал ударение на слове «малыш». Вот, наверно, подходящий момент, чтобы незаметно проникнуть в это ожесточившееся сердце. Давно уже его сын не разрешал себе с ним такой откровенности В его циничных речах сквозил

---

**[28] Примечания: 28**
Периодическое издание скабрезного содержания.

проблеск доверия. Какие выбрать слова, чтобы не отпугнуть мальчика, чтобы убедить его, что на свете существуют люди, свободные от расчета и хитрости, что бывают и особо искусные, чей макиавеллизм служит благородной цели, и они причиняют нам боль лишь для нашего же блага… Пока доктор искал наилучшее выражение для этой мысли, они успели выехать с проселочной дороги на городскую улицу, озаренную грустным утренним светом и загроможденную тележками молочников. Еще несколько минут, и будет застава и крест св. Генезия, которому некогда поклонялись паломники на пути к монастырю св. Якова Компостельского, теперь же там стояли только контролеры омнибусов. Так и не найдя нужных слов, доктор взял горячую руку сына и вполголоса повторил: «Малыш». Он увидел, что Раймон спит, прислонясь головой к окну, — или делает вид, что спит. Подросток закрыл глаза, чтобы они ненароком не выдали в нем слабости, желания сдаться; в его лице, угловатом, словно высеченном из кремня и совершенно непроницаемом, живыми оставались только две темные дужки трепетных ресниц… Он равнодушно высвободил свою руку из отцовской…

* * *

Когда вошла в его жизнь эта женщина — до той сцены в карете или позже? Женщина, которая сидит сейчас здесь, на диване, отделенная от него только одним столиком, так что ему даже не надо повышать голос, чтобы она его услыхала. Она как будто уже успокоилась и пьет вино, перестав бояться, что Раймон ее узнает. Иногда она обращает взгляд на него, но тут же снова отводит. Вдруг раздался ее голос, такой знакомый, — казалось, весь шум вокруг сразу стих: «А вот и Глэдис». Вошедшая пара уселась между Марией и ее спутником, и все четверо заговорили разом: «Мы никак не могли решить, что надеть...» — «Первыми всегда приходим мы...» — «Ну ничего, главное, что вы наконец здесь».

Нет, наверное, больше чем за год до этой сцены в карете между ним и отцом, однажды вечером (дело было, по-видимому, на исходе весны, так как лампу в столовой не зажигали) г-жа Куррежстаршая сказала невестке:

— Люси, я знаю, для кого в церкви делают белые драпировки, — те, что вы видели.

Раймон подумал, что снова начинается один из тех бесконечных разговоров, когда сыплются

и сыплются пустые фразы, — от доктора они отскакивали, не задев его. Чаще всего это бывали споры на хозяйственные темы: каждая из женщин защищала свою прислугу, — жалкая пародия на «Илиаду», где Олимпом служила столовая, а богини-покровительницы домашнего очага исходили яростью в кухонных перебранках. Нередко две хозяйки не могли поделить какую-нибудь поденщицу.

— Я наняла на ту неделю Травайотту, — сообщала, например, г-жа Курреж Мадлене Баск. Молодая женщина возражала, что у нее накопилось много детского белья для починки.

— Ты всегда перехватываешь у меня Травайотту.

— Ну и что же? Найми Кривоносую Мари.

— Кривоносая Мари — копуша, кроме того, она заставляет меня оплачивать ей проезд в трамвае.

Но в тот вечер упоминание о белых драпировках в церкви развязало более серьезный спор. Г-жа Курреж-старшая прибавила:

— Это для мальчика Марии Кросс, он умер от менингита. Похоже, она заказала похороны по первому разряду.

— Какая бестактность!

При этом восклицании жены доктор, который читал журнал, машинально поедая суп, поднял глаза. Его супруга тотчас же, как обычно, опустила свои, но зато очень сердитым тоном заявила: весьма прискорбно, что кюре не вразумил эту женщину, эту бесстыдную содержанку, которая пускает всем пыль в глаза своей кричащей роскошью — лошади, коляска и так далее и тому подобное. Доктор предостерегающе поднял руку:

— Не будем судить других… Нас она ничем не оскорбила.

— Но ведь это скандал. Разве не так?

Доктор покривился, и Люси, поняв, что он сейчас подумал: «Какая она все-таки мещанка», — заставила себя чуть сбавить тон, но не прошло и нескольких секунд, как она спять в раздражении заявила, что такая женщина внушает ей ужас… Дом, где столько лет жила ее старая приятельница, г-жа Буффар, теща Виктора Ларусселя, отдан теперь этой распутнице… Всякий раз, когда она проходит мимо, у нее просто разрывается сердце.

Прервав жену, доктор спокойным, даже тихим голосом сказал, что нынче вечером в том доме находится лишь несчастная мать, бодрствующая у смертного одра своего ребенка. И тогда г-жа

Курреж, воздев вверх указательный палец, торжественно произнесла:

— Кара Господня!

Дети услышали, как доктор с грохотом отодвинул стул. Он сунул в карман журналы и без слов направился к двери, стараясь сдерживать шаг, но семейство, застывшее в молчании, слышало, как он взбегает по лестнице через две ступеньки.

— Что я такого особенного сказала?

Госпожа Курреж с немым вопросом взирала на свекровь, на молодую чету, на детей и слуг.

Все молчали, слышался только стук ножей и вилок да голос Мадлены:

— Не кромсай хлеб… Оставь в покое эту кость…

Внимательно взглянув на свекровь, г-жа Курреж прибавила:

— Это болезнь.

Но старуха, уткнувшаяся носом в тарелку, будто не слышала. Раймон громко расхохотался.

— Выйди за дверь, там и смейся. А когда угомонишься — приходи.

Раймон отшвырнул салфетку. Какая благодать в саду! Да, это скорее всего было на исходе весны, — он помнит, что в воздухе с шумом носились жуки-дровосеки, а на десерт подавали клубнику. Он присел посреди лужайки на теплый камень

— закраину фонтана, где никто еще никогда не видел бьющей воды. На втором этаже от окна к окну металась тень отца. В пыльных и душных сумерках, опускавшихся над предместьем Бордо, мерно звонил колокол, звонил по умершему ребенку той самой женщины, которая в эту минуту допивала свой бокал так близко от Раймона, что, пожелай он только, он мог бы дотронуться до нее рукой. Выпив шампанского, Мария Кросс стала смелее поглядывать на Раймона, словно уже не боялась быть узнанной. Мало сказать, что она не постарела: хотя она носила теперь короткую стрижку, хотя ее туалет ни в чем не противоречил моде нынешней зимы, весь ее облик, казалось, сохранял приметы моды 19.. года. Она молода неувядающей молодостью, которая расцвела пятнадцать лет назад. А он — он уже не молод. Ресницы у нее все такие же трепетные, что и в ту пору, когда она говорила Раймону: «У нас с вами глаза похожи, как у брата с сестрой».

* * *

Раймон вспоминает, что на другой день после того, как отец демонстративно вышел из-за стола, рано утром он сидел в столовой, пил свой шоколад и, поскольку окна в сад были отворены,

слегка поеживался от утренней сырости. По дому разносился запах свежемолотого кофе. Гравий аллеи зашуршал под колесами докторской кареты: в то утро доктор запаздывал. Г-жа Курреж в лиловом капоте, с еще уложенными на ночь волосами, поцеловала мальчика в лоб, но тот невозмутимо продолжал завтракать.

— Папа еще не спускался?

Она объяснила, что хочет дать отцу письма для отправки по почте. Но Раймон догадывался о причине ее столь раннего появления. Когда большая семья живет под одной крышей, то члены ее, даже не открываясь друг другу, без труда разгадывают тайны своих близких. Свекровь говорила о невестке: «Она мне никогда ничего не рассказывает, но это не мешает мне видеть ее насквозь». Каждый считал, что всех других он видит насквозь, а сам остается неразгаданным. Раймон полагал, что знает, зачем пришла сюда его мать. «Она хочет к нему подладиться». После сцен, подобных вчерашней, г-жа Курреж всегда крутилась возле мужа, пытаясь вернуть себе его расположение. Бедная женщина всякий раз слишком поздно спохватывалась, что своими речами как нарочно отталкивает доктора от себя. Как бывает в кошмарных снах: каждая

ее попытка приблизиться к мужу только еще больше отдаляла ее от него, ибо его раздражало все, что бы она ни сказала и ни сделала. Полная беспомощной нежности, она ступала вперед словно впотьмах и, дотронувшись до него, лишь причиняла ему боль.

Услыхав, что на втором этаже захлопнулась дверь кабинета, г-жа Курреж налила доктору чашку горячего кофе; улыбка осветила ее лицо, измятое бессонницей, изможденное долгой чередой хлопотливых, однообразных дней, но эта улыбка мгновенно погасла и сменилась подозрительным выражением, как только в комнату вошел доктор:

— Ты в сюртуке и цилиндре?

— Как видишь.

— Ты идешь на свадьбу?

— ?…

— На похороны?

— Да.

— Кто умер?

— Ты его не знала, Люси.

— Скажи мне все-таки.

— Маленький Кросс.

— Сын Марии Кросс? Значит, ты с ней знаком? Ты мне никогда об этом не говорил, ты мне во-

обще ничего не говоришь. Но как только у нас за столом заходит речь об этой распутнице…

Доктор стоя пил кофе. Он ответил жене усталым, но таким мягким тоном, который свидетельствовал у него о высшей степени отчаяния:

— За двадцать пять лет ты все еще не поняла, что я стараюсь как можно меньше говорить о своих пациентах…

Нет, она этого не понимала и твердила свое: для нее это как снег на голову, — вдруг, ни с того ни с сего, узнать, что доктор Курреж пользует подобную особу.

— Думаешь, мне приятно, когда люди удивляются: «Как, вы этого не знали?» И приходится отвечать, что у тебя нет ко мне доверия, ты мне никогда ничего не рассказываешь. Значит, ты лечил ее мальчика? От чего он умер? Можешь мне сказать без утайки, я никому не передам, впрочем, с такими людишками церемониться нечего.

Словно не слыша и не видя ее, доктор надел пальто и крикнул Раймону:

— Поторапливайся, семь давно пробило.

Госпожа Курреж засеменила за ним вдогонку.

— Что я опять такого сказала? Сразу ты начинаешь злиться…

Хлопнула дверца кареты, и вот она уже скры-

лась в густых зарослях бересклета; лучи солнца начали рассеивать туман. Г-жа Курреж в полном смятении, разговаривая сама с собой, вернулась в дом.

В карете Раймон с жадным любопытством присматривался к отцу, он горел желанием удостоиться отцовской откровенности. То была минута, когда отец и сын, наверное, могли бы сблизиться. Но мысли доктора витали далеко от мальчика, которому он столько раз расставлял силки. Теперь добыча сама шла к нему в руки, только он об этом не догадывался. Он бормотал себе под нос: «Надо было мне пригласить хирурга… Всегда стоит попытаться прибегнуть к трепанации…» Он бросил жесткий цилиндр в глубь кареты, опустил стекло и высунул в окошко, на улицу, загроможденную тележками, свое заросшее бородой лицо. У заставы отец рассеянно произнес: «До вечера», — но не проводил Раймона глазами.

## III

Вскоре после этих событий, летом того же года, Раймону Куррежу исполнилось семнадцать. То лето помнится ему как небывало жаркое, засуш-

ливое, — кажется, с тех пор небо никогда уже не пекло каменистый город таким нестерпимым зноем. А ведь он не забыл, какое лето может быть в Бордо, где ближние холмы служат заслоном от северного ветра, а песок и сосны, подступающие к самым городским воротам, удерживают и копят жару; лето в Бордо, где почти нет деревьев, если не считать городского сада, — в тот год изнемогавшим от жажды детям казалось, что за его великолепными решетками чахнет последняя на свете зелень.

Но быть может, в памяти Раймона огонь небесный в то лето смешался с пламенем, пожиравшим его изнутри, — его и шестьдесят других таких же подростков, запертых во дворе коллежа, отделенном от соседних дворов рядом уборных. Нужны были два надзирателя, чтобы присматривать за этим стадом мальчишек, которые уже перестали быть детьми, но еще не стали мужчинами. Юная человеческая поросль, хилая и страждущая, вытянулась вверх за несколько месяцев неудержимого и мучительного роста. Но в то время, как свет и его обычаи понемногу придавали должную форму другим молодым деревцам — отпрыскам знатных семейств, Раймон Курреж еще без удержу расходовал весь свой пыл. Он внушал страх

и трепет учителям, которые всячески старались изолировать от остальных этого мальчишку с порезами на лице (его детская кожа пока еще плохо переносила бритву). В глазах примерных учеников он был порочным существом, — о нем рассказывали, будто он держит в бумажнике фотографии женщин, а во время службы в часовне читает «Афродиту», вложив книжку в молитвенник… «Он утратил веру…» Эти слова наводили на весь коллеж такой ужас, как если бы в доме умалишенных пронесся слух, что самый буйный из его обитателей сорвал с себя смирительную рубашку и голый бродит в окрестностях. Было известно, что в те редкие воскресенья, когда его не наказывали, а отпускали домой, Раймон Курреж прятал подальше свою школьную форму и фуражку с монограммой Пресвятой Девы, надевал пальто, купленное в магазине готового платья Тьерри и Сиграна, напяливал на голову смешной котелок, вроде тех, какие носят полицейские в штатском, и отправлялся в подозрительные балаганы на ярмарке; однажды его видели в одном из них с потаскухой неопределенного возраста.

Когда в день торжественной раздачи наград гостям, укрывшимся от зноя под сенью пожухлой листвы, было объявлено, что ученик Курреж,

безусловно, переведен с отметкой «вполне удовлетворительно», лишь он один знал, что заставило его, при его явной несобранности, приложить столько усилий, чтобы выдержать экзамен. Им завладела навязчивая идея, сделавшая его нечувствительным ко всем придиркам, скоротавшая ему часы заточения среди серых, облупившихся стен школьного двора, — то была идея ухода, бегства из дома однажды на заре летнего дня, бегства по Большой Испанской дороге, которая проходила мимо владения Куррежей и была скорее загромождена, нежели вымощена огромными булыжниками, — память об Императоре, о его пушках и обозах. С каким восторгом предвкушал Раймон каждый шаг, отдалявший его от коллежа и постылой семьи! Существовал уговор: если Раймона переведут в следующий класс, отец и бабушка дадут ему каждый по сто франков; поскольку восемьсот у него уже есть, он таким образом окажется владельцем тысячефранкового билета, благодаря которому, как он надеялся, сможет разъезжать по свету, все увеличивая расстояние между собой и своими. Вот почему он занимался и когда бывал наказан, не обращая внимания на игры товарищей. Иногда он закрывал книгу и с упоением предавался

своим мечтам: путь его пролегал через сосновые рощи, где стрекотали кузнечики; устав от дороги, он останавливался в прохладной, сумрачной харчевне на краю деревни без названия; лунный свет будил петухов, и с зарей мальчик, ощущая во рту вкус свежего хлеба, снова пускался в путь. Иногда ему придется ночевать и под стогом сена; какая-нибудь соломинка заслонит от него звезду, а разбудит его влажная рука рассвета…

И все-таки он не сбежал, этот мальчик, которого учителя и родные единодушно считали способным на все; его враги, сами того не ведая, одержали над ним верх: подросток терпит поражение оттого, что дает убедить себя в своем ничтожестве. Случается, что в семнадцать лет и самый необузданный мальчишка невольно проникается тем мнением о себе, какое ему внушают окружающие. Раймон Курреж был красив, но не сомневался в том, что он чудовищный урод и чудовищный грязнуля; не оценив по достоинству благородных черт своего лица, он был убежден, что вызывает у всех одно лишь отвращение. В ужасе от самого себя, он полагал, что никогда не сумеет оправдаться перед людьми за ту неприязнь, которую им внушает. Вот почему желание бежать уступало в нем желанию спрятаться,

закрыть лицо, избавиться от презрения посторонних. Этот распущенный мальчишка, чьей руки боялись коснуться воспитанники Конгрегации, так же, как они сами, еще не знал женщины и не считал себя способным понравиться хотя бы последней судомойке. Он стыдился своего тела. Ни родные, ни учителя не сумели разглядеть в его упрямом своеволии и неопрятности жалкую браваду подростка, пытающегося убедить их, что все это он делает нарочно, — бессильный бунт переходного возраста, самоуничижение паче гордости.

В каникулы по окончании класса риторики он был еще совсем не готов к побегу — им овладела безмерная трусость: скованный стыдом, он, как ему казалось, читал презрение в глазах служанки, убиравшей его комнату, не выдерживал взгляда доктора, который тот иногда подолгу задерживал на сыне. Поскольку Баски на весь август уехали в Аркашон, он лишился и привычных бесшабашных игр с детьми, с их гибкими, словно тростинки, телами.

Со дня отъезда Басков г-жа Курреж то и дело повторяла: «Как приятно все-таки наконец-то пожить своей семьей». Таким образом она брала реванш у дочери, заявившей однажды: «Мне и Га-

стону просто необходимо немножко полечиться одиночеством». На самом деле бедная женщина жила ожиданием ежедневных писем, а стоило только загреметь грому, как она уже видела семейство Басков, в полном составе застигнутое бурей в лодке. Ее дом наполовину обезлюдел, и пустые комнаты наводили на нее тоску. Чего хорошего ждать от такого сына, как Раймон, который целыми днями где-то носится, возвращается весь потный, озлобленный и, как зверь, набрасывается на еду?

— Люди мне говорят: «У вас же есть муж...» Да, как бы не так!

— Вы забываете, деточка, как занят Поль.

— Он сейчас почти не ездит с визитами, мама. Большая часть его пациентов уехала на воды.

— Его пациенты победнее никуда не ездят... А его лаборатория, а больница, а его статьи...

Обиженная супруга качала головой: она знала, что таких дел у доктора всегда найдется предостаточно, что до самой смерти у этого человека не будет и малейшей передышки, когда бы он, забыв о работе, спокойный и беззаботный, смог бы хоть на миг посвятить себя ей. Она не верила, что это возможно: ей было невдомек, что любовь сумеет прорыть себе ход даже сквозь самую заполнен-

ную жизнь, что, когда государственного мужа ждет любовница, он останавливает течение мировых событий. Такое неведение избавляло г-жу Курреж от страданий. Пусть она знала только один род любви — когда приходится бегать за недоступным тебе человеком, а он даже не оборачивается в твою сторону, — ее неспособность добиться от него хотя бы участливого взгляда не позволяла ей даже предположить, что с другой женщиной доктор может быть иным. Нет, она не хотела верить, что существует женщина, способная вырвать доктора из этого непостижимого мира, где ведутся наблюдения и статистика, где между двумя стеклышками растираются капли крови и гноя, и ей суждено было жить годы и годы, не ведая, что порой лаборатория по вечерам пустовала и больные напрасно ждали того, кто бы мог принести им облегчение, а он в это самое время предпочитал неподвижно сидеть в полумраке душной плюшевой гостиной, глядя на лежащую перед ним женщину.

Чтобы выкроить посреди работы эти тайные передышки, доктор вынужден был трудиться с двойным напряжением сил, он расчищал путь, стремясь доставить себе наконец эти минуты безмолвного влюбленного созерцания, когда

он утолял свое желание неотрывным взглядом. Иногда незадолго до этого вожделенного часа он получал от Марии Кросс записку: сегодня она занята, лицо, от которого она зависит, дает ужин в загородном ресторане, и если в конце своего послания Мария Кросс не назначала ему другой день и час, у доктора пропадала охота жить.

Будто по мановению волшебной палочки, вся его жизнь сразу перестраивалась в угоду этому новому свиданию: как бы он ни был занят, он, словно искусный шахматист, с одного взгляда усматривал возможные комбинации: что нужно переставить, изменить, чтобы минута в минуту очутиться в душной плюшевой гостиной и молча сесть в кресло, глядя на лежащую перед ним женщину. А если она не успевала его предупредить и назначенный час проходил в напрасном ожидании, доктор утешал себя, рассуждая: «Сейчас наше свидание все равно бы уже кончилось, а так это счастье у меня еще впереди». Ему было чем заполнить оставшиеся до встречи дни: лучшим убежищем для него служила лаборатория; здесь он переставал думать о своей любви; занятия наукой как бы отменяли время, поглощая часы и часы, пока не наступала наконец минута, когда можно было переступить порог того дома за Та-

ланской церковью, где жила Мария Кросс.

Терзаемый любовью, доктор в то лето не слишком присматривался к сыну. Посвященный во множество постыдных тайн, он часто говорил: «Мы почему-то думаем, что так называемые „происшествия“ нас не касаются, что убийство, самоубийство, бесчестье — это удел других, а вместе с тем…» А вместе с тем он так никогда и не узнал, что в те смертельно жаркие августовские дни его сын едва не совершил непоправимое. Раймону хотелось бежать и в то же время хотелось спрятаться, стать невидимкой. Он не осмеливался войти в кафе, в магазин. Ему случалось по десять раз проходить мимо какой-нибудь двери, прежде чем он решался ее отворить. Эта фобия делала бегство для него невозможным, а дома он задыхался. Вечерами ему нередко казалось, что самый простой выход — это смерть, и тогда он выдвигал ящик письменного стола, где отец держал револьвер старого образца; но Богу не было угодно, чтобы мальчик нашел пули. Однажды днем, пройдя через поникшие виноградники, Раймон спустился под уклон выгоревшей лужайки к рыбному садку: он надеялся, что водоросли и мхи оплетут ему ноги своими побегами, что он не сможет выбраться из гнилой воды и под ко-

нец глаза и рот его наполнятся тиной; никто его больше не увидит, да и ему не придется больше терпеть на себе чужие взгляды. На поверхности пруда плясала мошкара; лягушки, плюхаясь в воду, как камни, баламутили сумрачный водоем, кишевший таинственной жизнью. Не страх спас в тот день Раймона, а отвращение.

К счастью, он редко оставался один, так как теннисный корт Куррежей привлекал молодежь из соседних усадеб. Г-жа Курреж сетовала на Басков за то, что они ввели ее в расход, заставив построить корт, а сами взяли и укатили. Теперь кортом пользовались чужие люди; юноши в белом, с ракетками в руках, неслышно ступая в своих эспадрильях, появлялись в час сиесты в гостиной, здоровались с дамами и, едва осведомившись, где Раймон, выбегали опять на залитую солнцем площадку, которая вскоре оглашалась их возгласами «play», «out»[29] и звонким смехом.

— Даже не дают себе труда закрыть дверь! — ворчала г-жа Курреж-старшая: у нее была навязчивая идея — преградить жаре доступ в дом.

Раймон, возможно, не отказался бы поиграть, но его отпугивало присутствие девушек, особенно

---

**[29] Примечания: 29**
«Игра», «аут» *(англ.)*.

барышень Косруж — Мари-Терезы, Мари-Луизы и Маргерит-Мари, трех блондинок с такими густыми волосами, что их тяжесть вызывала мигрень у девушек, обреченных носить на голове грандиозные сооружения из золотистых кос, едва удерживаемые шпильками и поминутно грозившие развалиться. Раймон их ненавидел — какого черта они все время смеются? Они были хохотушки и всех вокруг находили «потешными».

По правде говоря, над Раймоном они смеялись ничуть не больше, чем над другими; не их вина была в том, что он считал себя всеобщим посмешищем. Впрочем, у него имелась и более определенная причина для ненависти к ним: накануне отъезда Басков Раймон смалодушничал и пообещал зятю, что будет проезжать его верховую лошадь, которую тот оставлял в конюшне. Но в те годы у Раймона, едва он вскакивал в седло, начиналось такое головокружение, что он являл собой довольно-таки жалкого всадника. Однажды утром девицы Косруж случайно увидели его на лесной дорожке: он проскакал мимо них, судорожно вцепившись в луку седла, и вскоре грохнулся на песок. При виде сестер Раймон тотчас же вспоминал, как они в тот раз оглушительно хохотали, а девушки при встрече с

Раймоном снова и снова смаковали подробности его падения с лошади.

Какую бурю в юной душе в разгар ее весны способно вызвать даже самое беззлобное поддразниванье! Раймон не отличал сестер Косруж одну от другой: ослепленный ненавистью, он видел в них единое жирное чудовище о трех шиньонах, всегда потное и кудахтающее под деревьями, мертвенно неподвижными в те знойные августовские дни 19… года.

Иногда он садился в поезд, который вез его через раскаленную печь города в доки, где в стоячей воде с расплывшимися радужными пятнами нефти и масла плескались худосочные подростки, истощенные нуждой и золотухой. Они резвились, гонялись друг за другом, и их босые ноги, шлепая по плитам набережной, оставляли на ней нестойкие влажные следы.

Снова наступил октябрь. Трудный переход совершился, Раймон миновал гибельное для его жизни время, ему суждено было уцелеть, и он уцелел — покамест для школьных занятий. Начался следующий учебный год, класс философии, где новые книги, запах которых он всегда так любил, раскрывали ему в виде сводной таблицы все мечтания человечества и все системы мышления.

Ему суждено было уцелеть, и не только благодаря собственным усилиям. Но близился час, когда в его жизнь должна была войти женщина — та самая, что в тот вечер в маленьком баре смотрела на него сквозь табачный дым и кружащиеся пары и чей чистый и ясный лоб пощадило время.

В зиму, предшествовавшую их встрече, Раймон пребывал во власти глубокого оцепенения, апатия обезоружила его, а присмирев, он перестал быть козлом отпущения. После этих каникул, когда он так мучительно метался между двумя навязчивыми идеями — бегства и самоубийства, Раймон стал охотно выполнять все, что от него требовали, и дисциплина помогала ему жить. Но и теперь он больше всего любил часы возвращения домой, ежевечерние поездки из одного предместья Бордо в другое. Закрыв за собой дверь коллежа, он вступал в сумрак узкой улочки, где его то окутывало влажным туманом, то пробирало сухим морозцем; ему были хорошо знакомы все оттенки неба — пасмурного или чистого, источенного звездами или затянутого облаками, подсвеченными изнутри невидимой луной; он доходил до заставы и садился в трамвай, всегда битком набитый усталыми, грязными и тихими людьми. Большой прямоугольный желтый

ящик, освещенный ярче «Титаника», углублялся в полусельские окраины Бордо и катил между грустными садиками, погруженными в зимнюю мглу.

* * *

Дома Раймон больше не чувствовал себя предметом бесконечных придирок: всеобщее внимание было теперь перенесено на доктора.

— Я очень за него беспокоюсь, — говорила свекрови г-жа Курреж. — Вы счастливая женщина — умеете не портить себе кровь. Завидую таким людям.

— Поль просто устал, понятно, он слишком много работает, но по натуре он крепкий, и это меня успокаивает.

Невестка пожимала плечами, не прислушиваясь к тому, что бормочет про себя старуха: «Он не болен, но страдает, что правда, то правда».

Госпожа Курреж твердила:

— Только врачи так упорно не желают лечиться.

За столом она пристально всматривалась в мужа, а он обращал к ней усталое, раздраженное лицо:

— Сегодня пятница, по какому случаю отбив-

ная?

— Тебе необходимо усиленное питание.

— Откуда ты взяла?

— Почему ты не покажешься Дюлаку? Врач не может лечить себя сам.

— Но, милая Люси, почему ты решила, что я болен?

— Ты же себя не видишь — на тебя страшно смотреть, это все говорят. Вчера меня опять спросили — уж не помню кто: «Что с вашим мужем?» Надо бы тебе попринимать холеин, я уверена, что это печень…

— Почему именно печень, а не какой-нибудь другой орган?

Она заявляла тоном, не допускающим возражений:

— Такое у меня впечатление.

У Люси было совершенно определенное впечатление, что это печень, — ничто не могло ее в этом поколебать, — и назойливее мухи кружила она возле доктора со своими наставлениями:

— Ты выпил уже две чашки кофе, я скажу на кухне, чтобы больше не варили. Это уже третья сигарета после завтрака, не спорь, пожалуйста, — в пепельнице три окурка.

Однажды она сказала свекрови:

— Он знает, что болен, и вот вам доказательство: вчера я застала его перед зеркалом; он, всегда такой небрежный к своей внешности, пристально рассматривал свое лицо, проводил по нему пальцами, — можно было подумать, будто он хочет разгладить морщины на лбу и на висках, он даже рот открыл и разглядывал свои зубы.

Госпожа Курреж-старшая настороженно посмотрела поверх очков на невестку, как будто боялась прочесть на ее недоверчивом лице нечто большее, чем беспокойство, — подозрение. Накануне вечером старая женщина почувствовала, что сын поцеловал ее крепче обычного, и возможно, догадалась, почему он вдруг так тяжело уронил голову ей на плечо; с тех пор, как он перестал быть ребенком, она привыкла чутьем угадывать его раны, которые могло залечить лишь единственное существо в мире — то, что их причинило. Но его жена, хотя она уже много лет страдала от своей безответной нежности, предполагала у него только физическое недомогание и каждый раз, когда он садился напротив нее и подпирал руками измученное лицо, упрямо твердила:

— Мы все считаем, что ты должен показаться Дюлаку.

— Дюлак не сообщит мне ничего такого, чего бы я не знал сам.

— Разве ты можешь сам себя выслушать?

Доктор не отвечал, прислушиваясь к тревожному биению своего сердца, которое словно держала, легонько сжимая, чья-то рука. Ах, он, конечно, лучше мог сосчитать удары в собственной груди, чем у какого-нибудь пациента, — удары сердца, трепещущего от той игры, которой он предавался возле Марии Кросс: как трудно ему было ввернуть словечко понежнее, намекнуть на свою любовь женщине, почитавшей своего врача, словно праведника, искавшей у него духовного утешения.

Доктор снова во всех подробностях переживал последний визит к ней: карету он оставил на дороге перед Таланской церковью и пошел пешком по улице, блестевшей лужами. Сумерки спустились так быстро, что, когда он входил в ворота, уже стемнело. В конце запущенной аллеи горел фонарь, бросавший красноватые отсветы на окна первого этажа невысокого строения.

Доктор не позвонил; никто из слуг не вышел ему навстречу и не проводил через столовую; без стука вошел он в гостиную, где Мария Кросс лежала на кушетке с книгой, но при его появлении не

встала, а даже еще несколько секунд продолжала читать и лишь после этого сказала:

— Ну вот, доктор, я в вашем распоряжении.

Она протянула ему обе руки и чуть подобрала ноги, чтобы он мог присесть на кушетку.

— В это кресло не садитесь, оно сломано. Вы же знаете — здесь уживаются роскошь и нищета.

В загородном доме, где Виктор Ларуссель поселил Марию Кросс, посетитель то и дело спотыкался о рваные ковры, а в складках занавесей прятались дыры. Временами Мария Кросс умолкала; однако для того, чтобы доктор мог подвести разговор к признанию, которое он решил ей сделать, надо было снять зеркало над кушеткой, зеркало, где отражалось его лицо, почти скрытое бородой, его налитые кровью глаза, испорченные микроскопом, лоб с залысинами, появившимися еще тогда, когда Поль Курреж держал конкурс в ординатуру. И все-таки он попытает счастья: прелестная рука свешивалась с кушетки, почти касаясь ковра, — он схватил ее и сказал вполголоса:

— Мария…

Она не отняла доверчивой руки.

— Нет, доктор, температуры у меня нет. — И прибавила, так как привыкла говорить только о

себе: — Я сделала то, что вы, мой друг, наверняка одобрите: сказала мосье Ларусселю, что коляска мне больше не нужна, — пускай продаст ее и лошадей и рассчитает Фирмена. Но вы же знаете, какой это человек, — он совершенно неспособен понять благородные побуждения. Он расхохотался и заявил, что ради каприза, который не продлится и нескольких дней, незачем «все здесь переворачивать вверх дном». Но я стою на своем и отныне буду ездить только на трамвае, в любую погоду, — уже сегодня ехала, когда возвращалась с кладбища. Я подумала, что вы будете мною довольны. Так я чувствую себя не столь недостойной нашего маленького усопшего, меньше чувствую себя… содержанкой.

Последнее слово она произнесла еле слышно. Ее прекрасные, полные слез глаза были устремлены на доктора, смиренно испрашивая его одобрения, и он тотчас дал его; серьезным, спокойным голосом он похвалил эту женщину, без конца заклинавшую его:

— Вы такой замечательный человек… вы самый благородный из всех, кого я когда-либо знала… одного вашего существования довольно, чтобы заставить меня уверовать в добро…

Он пытался протестовать.

— Я совсем не такой, как вы думаете, я всего только жалкий человек, снедаемый желаниями, так же, как другие…

— Вы бы не были святым, — возражала она, — если бы не презирали себя.

— Нет, нет, Мария! Какой там святой! Если бы вы знали…

Она взирала на него с безмерным восхищением, но ей никогда не случалось беспокоиться о нем, как беспокоилась его жена, или хотя бы замечать, что он плохо выглядит. Восторженное преклонение, которым удостаивала его эта женщина, делало его любовь безнадежной. Ее восхищение воздвигало перед его страстью каменную стену. Будучи вдалеке от Марии Кросс, несчастный убеждал себя, что нет на свете препятствий, которых такая сильная любовь не могла бы преодолеть, но стоило ему снова очутиться лицом к лицу с молодой женщиной, так почтительно ловившей каждое его слово, — и он сдавался перед очевидностью своего непоправимого несчастья: ничто на свете не могло бы изменить характера их отношений, она не любовница его, а ученица, он не любовник, а наставник. Протянуть руки к этому распростертому телу, привлечь его к себе было бы таким

же безумием, как разбить это зеркало. А ведь он еще не подозревал, с каким нетерпением Мария ждала, чтобы он ушел. Внимание доктора ей льстило — при ее унизительном положении она не могла не ценить знакомство с таким видным человеком, но до чего же ей было с ним скучно! Не догадываясь, что его визиты ей в тягость, доктор с каждым днем все сильнее чувствовал, что больше не в силах скрывать свою тайну, и уже так плохо скрывал ее, что лишь бесконечным равнодушием к нему Марии можно было объяснить, почему она до сих пор ничего не заметила. Если бы она испытывала хоть проблеск влечения к доктору, его любовь бросилась бы ей в глаза. Увы! Какой рассеянной может быть женщина в присутствии человека, которого она хоть и уважает и даже чтит и обществом которого гордится, но с которым ей нестерпимо скучно, — это уже отчасти открылось доктору, открылось настолько, что он совсем пал духом.

Доктор поднялся, прервав Марию Кросс на полуслове:

— Ах, — сказала она, — конечно, ведь вы не располагаете собой, вас ждут несчастные… Я не хочу быть эгоисткой и присваивать вас себе.

Он опять прошел через пустую столовую, через

переднюю, спустился в застывший сад, где на него дохнуло холодом. Пока он ехал домой в карете, ему представилось лицо Люси, участливое и огорченное, — она, наверно, ждет его и тревожится, и он несколько раз повторил себе: «Только не причинять никому страданий, довольно и того, что я сам страдаю, не причинять страданий другим…»

* * *

— Сегодня ты выглядишь еще хуже. Чего ты ждешь, почему не пойдешь к Дюлаку? Если ты не хочешь сделать это ради себя, то сделай хотя бы ради нас. Можно подумать, будто ты сам по себе, а нас это совсем не касается.

Госпожа Курреж призвала в свидетели Басков, которые беседовали вполголоса, но теперь прервали разговор и послушно вторили ее увещаниям.

— Конечно, папа, мы все желаем, чтобы вы как можно дольше оставались с нами.

При звуке этого ненавистного голоса доктор устыдился своей неприязни к зятю, которая всякий раз вскипала в нем снова. «Он все же честный малый… я не прав…» Но разве мог он забыть причины своей ненависти к Гастону Баску?

За все годы супружества доктор только в одном нашел осуществление своей мечты: напротив их большого супружеского ложа стояла детская кроватка, и каждый вечер они с женой любовались спящей Мадленой, их первым ребенком.

Девочка дышала неслышно, прелестная ножка откинула одеяло, между прутьями кроватки свешивалась чудесная пухлая ручонка. Это было такое кроткое дитя, что ее можно было баловать без опасения испортить, и нежная привязанность отца приручила девочку настолько, что она могла часами бесшумно играть у него в кабинете. «Вы утверждаете, будто она не слишком развита, — говорил доктор, — она развита больше, чем надо». Позднее доктор, который терпеть не мог появляться на людях с г-жой Курреж, радовался, когда его встречали с этой юной девушкой. «Тебя принимают за мою жену!» К тому времени он выбрал для нее одного из своих учеников, единственного, который, как ему казалось, вполне его понимает — Фреда Робинсона. Доктор уже называл его сыном и ждал только, пока Мадлене исполнится восемнадцать лет, чтобы можно было заключить брак, как вдруг, в конце той зимы, когда она впервые стала выезжать, Мадлена объявила отцу, что обручилась с лейтенантом

Баском. Яростное противодействие отца длилось не один месяц и было одинаково непонятно для всех — и для семьи, и для общества. Как мог он предпочесть богатому офицеру с приятной наружностью и блестящим будущим какого-то жалкого неимущего студента без роду, без племени? Эгоизм ученого, говорили люди.

У доктора были причины слишком личного свойства, чтобы он мог делиться ими с кем бы то ни было. Воспротивясь браку Мадлены, он почувствовал, что стал врагом обожаемой дочери, и вбил себе в голову, что она будет рада его смерти, что отныне он для нее только препятствие — старая стена, которую надо снести, чтобы соединиться с зовущим ее самцом. Из потребности разобраться в себе и определить, насколько сильна ненависть к нему его любимой девочки, доктор довел свое упрямство до крайней степени. Даже его старуха-мать была с ним не согласна и стала сообщницей молодых людей. В его собственном доме плелись тысячи интриг, чтобы влюбленные могли соединиться вопреки его воле. Когда он наконец сдался, дочь наградила его поцелуем в щеку, а он, как прежде, слегка откинул ей волосы назад и коснулся губами ее лба. Все вокруг непрестанно твердили: «Мадлена обожает

отца, она всегда была его любимицей». До самой смерти он, конечно же, будет слышать от дочери нежные слова: «Дорогой мой папочка».

А покамест приходилось терпеть общество этого Баска. Неприязнь к нему доктора так или иначе давала себя знать, несмотря на неимоверные усилия, которые он над собой делал. «Удивительное дело, — говорила г-жа Курреж. — У Поля есть зять, который думает обо всем совершенно так же, как он сам, а он его не любит». Этого-то и не мог доктор простить молодому человеку: тот искажал и возвращал ему в карикатурном виде самые дорогие для него идеи. Лейтенант принадлежал к числу людей, чье одобрение только тяготит нас и заставляет усомниться в истинах, за которые мы еще недавно готовы были пролить свою кровь.

* * *

— Да, папа, поберегите себя ради ваших детей, позвольте им защищать ваши интересы против вас самих.

Доктор вышел из столовой, не ответив ни слова. Немного погодя супруги Баск удалились к себе в спальню (священная территория, о которой г-жа Курреж говорила: «Ноги моей там не будет, Мадлена дала мне понять, что ей это было бы

неприятно. Ну а мне два раза повторять не надо, я понимаю с полуслова») и стали молча раздеваться. Стоя на коленях возле кровати и уткнувшись головою в полог, лейтенант вдруг обернулся к жене и спросил:

— Это владение входит в общее имущество?

— ?

— Я спрашиваю, было ли оно приобретено твоими родителями за время их супружества?

Мадлена полагала, что это так, но точно не знала.

— Хорошо бы узнать, потому что в случае, если твой бедный папа… мы будем иметь право на половину.

Он опять погрузился в молчание, потом вдруг спросил, сколько лет Раймону, и, казалось, был недоволен тем, что ему только семнадцать.

— А какое это имеет значение, почему ты спрашиваешь?

— Просто так…

Возможно, он подумал, что наличие в семье несовершеннолетнего всегда осложняет дело с наследством, потому что, поднявшись, сказал:

— Лично я думаю, что твой папочка покинет нас не ранее, чем через несколько лет.

Огромное ложе разверзлось в полумраке перед

супругами: они улеглись в него так же просто, как в полдень и в восемь вечера садились за стол — когда приходило время утолить голод.

В те ночи Раймону случалось внезапно проснуться: он не мог понять, что за теплая густая жидкость струится по его лицу, затекает в рот; нашарив рукой спички, зажигал их и убеждался, что из левой ноздри у него сочится кровь, пачкая рубашку и постель. Он вставал и, дрожа от холода, разглядывал в зеркале свое длинное тело, все в алых пятнах, вытирал о грудь липкие от крови пальцы и потешался над своим измаранным лицом, воображая себя одновременно и убийцей, и убитым.

## IV

Был вечер, похожий на все вечера в конце января, — к этому времени зима в тех краях уже идет на убыль, — когда Раймон, ехавший в рабочем трамвае, с удивлением заметил напротив себя эту женщину. Ничуть не страдая оттого, что он ежевечерне оказывается среди этой людской массы, он внушал себе, будто он эмигрант и сидит на нижней палубе судна, рассекающего ночной мрак; деревья были кораллами, прохожие и ка-

реты, плохо различимые во тьме, — обитателями морских глубин. Путешествие длилось слишком недолго, чтобы он успел испытать унижение: все люди вокруг были так же неряшливы и неухоженны, как он сам. Когда его взгляд встречался с чужим взглядом, Раймон не читал в нем насмешки; правда, его белье было все-таки чище, чем, скажем, плохо заправленная рубашка на волосатой груди вон того здоровяка. Среди этих людей он чувствовал себя уверенно, не догадываясь о том, что довольно было бы одного слова, чтобы между ним и ими пролегла вдруг пустыня, разделяющая целые классы и отдельных людей. Все, что могло быть общего между ними, заключалось в кратком соприкосновении при посадке в этот трамвай, разрезающий темноту предместий. Раймон, такой грубый в коллеже, здесь и не подумал бы оттолкнуть от себя парня, который, обессилев от усталости, привалился к нему головой, и его тело, сморенное сном, казалось, распадается, словно развязавшийся букет.

Итак, в тот вечер он увидел напротив себя эту женщину, эту даму. Она сидела между двумя мужчинами в перепачканной маслом одежде, вся в черном, откинув с лица вуаль. Позднее Раймон спрашивал себя, почему он совершенно

не ощутил под ее взглядом того смущения, какое вызывала у него последняя служанка. Нет, никакого смущения, никакого стыда, быть может, потому, что в этом трамвае он чувствовал себя безымянным и ему не приходило в голову, каким образом он мог бы вступить в разговор с незнакомкой. Но прежде всего он не находил в ее лице ничего похожего на любопытство, насмешку, презрение. А между тем — как эта женщина его разглядывала! Пристально, методично, и должно быть, в это время думала: «Это лицо скрасит мне те неприятные минуты, которые я вынуждена проводить в городском транспорте, рядом с этим печальным ангельским ликом я не замечаю никого. Созерцание его делает меня неуязвимой — ничто не может меня задеть. Его лицо передо мной — словно неведомая страна, его ресницы — берега, омываемые волнами; между краями век дремлют в тумане два озера. Пальцы в чернилах, воротник и манжеты грязные, одной пуговицы не хватает, но все это лишь земля, испачкавшая прекрасный плод, который вдруг сорвался с ветки и упал, но он цел и невредим, и ты подбираешь его бережной рукой».

И Раймон тоже невозмутимо рассматривал ее, ибо мог не опасаться, что незнакомка ему что-

нибудь скажет, их ведь ничто не связывало, — рассматривал с тем спокойным любопытством, с каким мы, бывает, не отрываясь глядим на какую-нибудь планету. (Как по-прежнему чист ее лоб! Нынешним вечером Курреж украдкой смотрит на нее, озаренную иным светом, нежели огни этого бара, светом мысли, отблеск которой так непривычно видеть на лице женщины, но именно он особенно волнует нас и не дает забыть, что слова Мысль, Идея, Совесть, Душа суть женского рода!)

Возле Таланской церкви молодая женщина поднялась и вышла, оставив покинутым мужчинам лишь запах своих духов, но он успел рассеяться еще до того, как сошел Раймон. В этот январский вечер было совсем не холодно, и юноша мог идти не торопясь; сырой воздух был пронизан ласковым дыханием весны. Земля была еще голая, но она просыпалась.

* * *

Погруженный в себя, Раймон не замечал, что происходило в тот вечер за семейным столом: отец казался совершенно больным, он выглядел так плохо, что г-жа Курреж прикусила язык: «Его нельзя волновать», — объяснила она потом чете

Баск, когда доктор вместе с матерью поднялся к себе. Все-таки на свой страх и риск она пригласила Дюлака. Стоя у камина и отравляя воздух дымом сигары, лейтенант решительно заявил:

— Какие еще могут быть сомнения, мама, он болен.

Говорил он отрывисто и слова произносил нечетко, речь его напоминала воинскую команду, и когда Мадлена заметила: «Может быть, это просто недомогание...» — лейтенант перебил ее:

— Да нет, Мадлена, случай очень серьезный, твоя мать права.

Когда же молодая женщина посмела что-то возразить, он крикнул:

— Я ведь уже сказал, что твоя мать права! Неужели непонятно?

* * *

Поднявшись во второй этаж, г-жа Куррежстаршая тихонько постучала в комнату сына, сидевшего за столом над раскрытыми книгами. Не задав ему ни единого вопроса, она села и молча принялась вязать. Если бы ее сын пожелал прервать молчание и отчужденность, если бы у него явилась потребность говорить, — что же, она была тут, рядом, готовая его выслушать, однако

безошибочное чутье подсказывало ей, что не надо лезть к нему в душу. Какой-то миг ему хотелось исторгнуть все, что его душило, но ему пришлось бы начать издалека, пришлось бы выпустить из темницы все свои муки вплоть до последней, сегодняшней… А как объяснить несоизмеримость своих переживаний с причиной, их вызвавшей? Ничего особенного ведь не случилось: в назначенный час, когда доктор примчался к Марии Кросс, слуга объявил ему, что мадам еще не вернулась; он забеспокоился, но решил подождать в пустой гостиной, где стенные часы стучали медленней, чем его сердце. Лампа освещала балки на потолке — причуду архитектора, на маленьком столике возле дивана стояла пепельница, полная окурков: «Она слишком много курит, отравляет себя». Сколько книг! Но ни одной разрезанной до конца. Он перевел взгляд на тяжелые портьеры из выцветшего шелка с дырками внутри складок. Повторяя про себя: «Роскошь и нищета, нищета и роскошь», — взглянул сначала на стенные, потом на свои часы, решил, что через четверть часа уйдет, — казалось, время бежит быстро. Но чтобы оно не прошло совсем уж незаметно, доктор запретил себе думать о своей лаборатории, о прерванном опыте. Он встал, приблизился к

кушетке, опустился на колени, боязливо, искоса поглядев на дверь, и зарылся лицом в подушки… Когда он поднимался, его левое колено издало привычный треск. Он остановился перед зеркалом, потрогал пальцем набухшую височную артерию и подумал вслух, что всякий, кто увидел бы его в эту минуту, счел бы сумасшедшим. По привычке ученого все сводить к формулам он сказал себе: «Стоит нам остаться наедине с собой, как мы становимся сумасшедшими. Да, наш самоконтроль выключается, когда над нами нет контроля других». Увы! Эти рассуждения как раз и съели те четверть часа передышки, которые он себе разрешил.

Как объяснить матери, которая сидит здесь и ждет, чтобы он ей открылся, какую безмерную тоску он пережил в те минуты, минуты вынужденного отказа от ежедневного грустного счастья — беседы с Марией Кросс. Нет, это не вызывало желания излить душу кому бы то ни было, хотя бы и родной матери. Кто из нас обладает даром в нескольких словах обнажить свой внутренний мир? Как выделить из этого неостановимого потока главное, а не второстепенное? Надо говорить либо все, либо ничего. Да и что может понять сидящая здесь старая женщина в той глубинной

музыке, которая звучит в душе ее сына, в ее кричащих диссонансах? Сына, человека другого пола — другой породы. Ничто так не отдаляет нас друг от друга, как пол, словно расстояние между двумя планетами… В присутствии матери доктор вновь переживает свое страдание, но не рассказывает о нем. Он вспоминает, что, устав дожидаться Марию Кросс, уже взялся было за шляпу, как вдруг в вестибюле послышались шаги, и весь он словно оборвался и полетел в пустоту. Дверь отворилась, но перед ним предстала не женщина, которую он ждал, а Виктор Ларуссель.

— Вы слишком балуете Марию, доктор.

Ни нотки подозрения в голосе. Доктор улыбнулся этому безукоризненно светскому человеку в бежевом костюме, сангвиничному, излучавшему довольство и самодовольство.

— Какая пожива для вас, врачей, все эти неврастенички и мнимобольные женщины. А? Нет, я шучу, доктор, ваше бескорыстие всем известно. Мне чертовски повезло, что Марии попался такой редкостный экземпляр вашей породы. Знаете, почему она до сих пор не вернулась? Мадам изволила отказаться от экипажа, это ее последний каприз. Между нами говоря, она, по-моему, с дуринкой, но красивой женщине это даже при-

дает пикантность, а? Как вы думаете, доктор? Старина Курреж! Рад вас видеть, оставайтесь у нас обедать, Мария будет очень довольна, она вас обожает. Нет? Ну так, по крайней мере, дождитесь ее возвращения, ведь я только с вами и могу о ней говорить.

«Я только с вами и могу о ней говорить…» Такой блестящий, преуспевающий человек, и вдруг эта душераздирающая фраза. «Эта связь, — думал доктор в увозившей его карете, — скандализует весь город, а между тем любовь к Марии — единственное благородное чувство у этого болвана. В пятьдесят лет он показал, что способен страдать из-за женщины, и хотя он владеет ее телом, ему этого мало. За пределами его привычного мира, его общества, его дел, его конюшни для него отныне существует нечто более высокое — его страдание… Не все так уж глупо в романтической концепции страсти. Мария Кросс! Мария! Горько, бесконечно горько, что я ее не видел, но еще горше, что она и не подумала меня предупредить. Видимо, я мало что значу в ее жизни: она пропускает свидание со мной, даже не вспомнив о нем… Минуты наших встреч для меня были бесконечностью, а для нее ничем…»

Доктор вздрагивает, услышав какие-то слова:

его мать решила прервать молчание. Старая женщина тем временем тоже следовала по наклонной тропе своих тайных тревог и не думала больше о неизвестной ей ране сына, обратившись к тому, что неотвязно занимало ее, — к отношениям с невесткой.

— Я ей потакаю во всем, она только и слышит от меня: ну, конечно, дочь моя, извольте, как вам будет угодно. Ни в чем ей не перечу. С тех пор как Люси дала мне понять, что все состояние принадлежит ей… Слава богу, ты зарабатываешь достаточно. Правда, когда ты на ней женился, у тебя не было ничего, кроме надежд на будущее, а за ней стояла семья Булассье, эльбефских суконделов. Конечно, в то время их фабрики еще не были тем, чем стали теперь, и все же она могла бы сделать более выгодную партию. «Когда у тебя есть деньги, хочется, чтобы их стало больше», — вот что она мне как-то сказала в связи с замужеством Мадлены. Но не будем жаловаться, — если бы не слуги, можно было бы жить. «Самое ужасное на свете, дорогая мамочка, это когда слуги разных хозяев должны уживаться на одной кухне».

Он коснулся губами материнского лба, оставил дверь приоткрытой, чтобы ей было не так темно спускаться по лестнице, и машинально повто-

рил: «Самое ужасное на свете...»

* * *

На следующий день каприз Марии Кросс — отказ от экипажа — все еще продолжался, потому что Раймон снова увидел незнакомку в трамвае: она сидела на прежнем месте, и ее спокойные глаза снова ощупывали лицо подростка, блуждали вокруг его ресниц, скользили вдоль темной опуши волос надо лбом, подолгу останавливались на зубах, сверкавших между неплотно сжатыми губами. Он вспомнил, что с позавчерашнего дня не брился, потрогал пальцем свою худую щеку, потом стыдливо убрал руки под пелерину. Незнакомка опустила глаза, но он не сразу заметил, что один носок без резинки у него сполз, обнажив ногу. Раймон не решился его подтянуть, только изменил положение. И все-таки он не страдал: больше всего Раймон ненавидел у людей смех, улыбку, пусть даже сдержанную; он улавливал малейшее подергиванье в уголках рта, знал, что означает закушенная нижняя губа... Но у женщины, которая сейчас его разглядывала, лицо было совсем необычное — лицо разумного существа и животного, да, животного, удивительного, невозмутимого и не ведающего, что такое смех. Он не

знал, что его отец часто подшучивал над Марией Кросс, над ее манерой надевать на лицо смех, словно маску, которая потом спадает, а взгляд остается все таким же печальным.

Когда она сошла у Таланской церкви, и Раймон увидел перед собой кожу сиденья, чуть вмятого там, где она только что сидела, он уже не сомневался, что завтра увидит ее опять; он не мог бы объяснить свою уверенность никакой разумной причиной, — он просто верил. Вечером, после ужина, он притащил к себе в комнату два кувшина воды, снял с крюка лохань, а утром встал на полчаса раньше, потому что решил отныне каждый день бриться.

Куррежи могли бы часами наблюдать за почкой каштана, так и не постигнув тайны расцветания; столь же мало замечали они чудо, свершавшееся рядом с ними: подобно тому как первый удар заступа вдруг обнажает часть совершенной статуи, так первый взгляд Марии Кросс пробудил в грязном школьнике нового человека. Под теплыми лучами женских глаз неухоженное юное тело уподобилось тем шершавым молодым стволам античного леса, в которых вдруг начинала шевелиться сонная дриада. Куррежи не видели этого превращения, потому что члены тесно

сплоченной семьи перестают видеть друг друга. Вот уже несколько недель, как Раймон превратился в молодого человека, стал следить за собой, стал заниматься водолечением, уверенный в том, что он нравится, и поглощенный планами обольщения, а его мать все еще видела в нем неряшливого мальчишку. Женщина, не успевшая произнести ни слова, одной лишь силой своего взгляда преображала их мальчика, лепила его заново, но Куррежи не замечали на нем следов этих неведомых чар.

В трамвае, который больше не освещался, так как дни стали длиннее, Раймон теперь каждый раз отваживался на новый подвиг: скрестив ноги, открывал свежие и хорошо натянутые носки, начищенные до блеска ботинки (у креста св. Генезия сидел чистильщик); у него больше не было причин прятать свои манжеты, носил он теперь и перчатки. Однажды он снял их, и молодая женщина не могла удержаться от улыбки при виде слишком ярко накрашенных ногтей, над которыми маникюрше пришлось изрядно потрудиться, но было бы лучше, если бы эти ногти, которые Раймон годами обгладывал, пока еще не выставлялись напоказ. То были лишь внешние признаки невидимого пробуждения: туман,

скопившийся в этой юной душе, понемногу рассеивался от участливого внимания незнакомки, по-прежнему безмолвной, но с каждым днем все более близкой. Быть может, он не такое уж чудовище и, подобно другим молодым людям, способен привлечь к себе взгляд женщины, а быть может, и не только взгляд! Несмотря на их обоюдное молчание, само время пряло нить, соединявшую их вернее, чем какое-либо слово или жест. Они чувствовали, что близится час, когда они обменяются первым словом, но Раймон не предпринимал ничего, чтобы ускорить его приближение: смиренный раб, он был доволен и тем, что больше не ощущал на себе цепей. Какая это была огромная радость — стать вдруг другим человеком. Разве до того, как на него впервые взглянула незнакомка, он не был просто неопрятным мальчишкой? Всех нас лепили и переделывали женщины, любившие нас, и пусть они даже недолго были нам верны, мы остаемся их творением — творением, которого они, впрочем, не признают и которое никогда не отвечало их мечтам. Не бывает такой любовной, такой дружеской связи, которая прошла бы через нашу жизнь, не оставив в ней след навечно. Тридцатипятилетний холостяк Раймон Курреж, сидящий

нынче вечером в маленьком баре на улице Дюфо, не был бы тем, что он есть, если бы в 19.. году, будучи учеником последнего класса коллежа, не увидел однажды в вечернем трамвае, как напротив него садится Мария Кросс.

## V

Отец первым открыл в Раймоне этого нового человека. Как-то в воскресенье, на исходе той весны, доктор сел за семейный стол еще более погруженный в себя, чем обычно, так что едва слышал шумный спор между зятем и сыном. Речь шла о бое быков, коего Раймон был страстным любителем; сегодня он ушел с корриды после того, как закололи четвертого быка, боясь пропустить шестичасовой трамвай, но жертва оказалась напрасной: именно сегодня незнакомки там не было… «Сегодня же воскресенье, это можно было предвидеть, из-за нее я не досмотрел двух быков». Так он размышлял, когда лейтенант Баск вдруг произнес:

— Не понимаю, как твой отец позволяет тебе посещать, эту бойню.

Ответ Раймона: «Смешно, когда офицер так боится крови», — развязал скандал. Доктор вдруг

услышал:

— …Нет, ты посмотри на меня хорошенько!

— Смотрю и вижу молокососа!

— Ах, молокососа? Ну-ка, повтори еще раз!

Оба вскочили, все бросились их разнимать. Мадлена Баск кричала мужу:

— Не отвечай ему, много чести, мало ли что он болтает.

Доктор упрашивал Раймона сесть:

— Садись и ешь, и покончим с этим.

Лейтенант орал, что его обозвали трусом, г-жа Курреж уверяла, что Раймон вовсе не хотел этого сказать. Тем временем все опять сели: молчаливый сговор побуждал их поскорее погасить эту вспышку. Интересы семьи внушали им глубокое отвращение ко всему, что угрожало ее внешнему равновесию. Инстинкт самосохранения подсказывал этому экипажу, осужденному пожизненно пребывать на одной галере, что нельзя дать разгореться пожару на борту.

Поэтому в столовой наконец воцарилось молчание. Мелкий дождик, дробно постукивавший по ступенькам, вдруг перестал, и на притихшее семейство пахнуло душистой свежестью. Кто-то поспешил сказать: «Становится прохладно». На что другой голос ответил, что дождик был ни-

кудышный, даже пыль не прибило. Между тем доктор в изумлении разглядывал своего совсем взрослого сына, о котором в последнее время почти не думал, и едва узнавал его. Как раз в это воскресенье он покончил с долгим кошмаром, терзавшим его с того самого, теперь уже далекого, дня, когда Мария Кросс забыла о назначенном ему свидании и оставила его с глазу на глаз с Виктором Ларусселем. Нынешнее воскресенье, уже подходившее к концу, было одним из самых страшных дней в его жизни, но он наконец-то вернул себе свободу (по крайней мере, он так полагал). Спасение принесла безмерная усталость, изнеможенье, которому нет названия, — поистине, в этот день он слишком сильно страдал! Осталось лишь одно желание: бежать с поля боя, забраться в темную нору старости. Почти два месяца прошло с тех пор, как он напрасно ждал Марию Кросс в ее гостиной, посреди «роскоши и нищеты», до нынешнего страшного дня, когда он наконец сложил оружие! И вот за столом, где все сидят молча, доктор опять забывает о сыне и перебирает в памяти все подробности этого мученичества, восстанавливая его этап за этапом.

* * *

Нестерпимая мука началась для него назавтра после несостоявшегося свидания, когда он получил от нее длинное письмо с извинениями:

«*Здесь есть и доля Вашей вины, дорогой мой друг,* — говорила ему Мария в этом послании, читанном и перечитанном за два месяца сотни раз, — *это Вы внушили мне мысль отказаться от ужасающей роскоши, которой я так стыжусь: не располагая больше экипажем, я не смогла вернуться вовремя, чтобы принять Вас у себя в обычный час. Теперь я позже приезжаю на кладбище и охотнее там задерживаюсь. Вы не можете себе представить, какой покой царит на склоне дня под стенами обители, где столько птиц распевает на могилах. Мне кажется, что мой мальчик одобрил мой поступок, что он мною доволен. Какое удовлетворение я испытываю теперь в рабочем трамвае, которым езжу домой! Вы, наверно, сочтете меня восторженной сумасбродкой, но ничего подобного — я чувствую себя счастливой среди этих бедняков, коих я недостойна. Не могу Вам сказать, до чего мне приятны эти поездки в трамвае. Известное Вам лицо может теперь на коленях просить меня*

*сесть опять в коляску, которую оно изволило мне подарить, — я не соглашусь. Дорогой доктор, так ли уж важно, видимся мы или нет? Мне довольно Вашего примера, Ваших наставлений, мы с Вами близки независимо от физического присутствия. Об этом так превосходно писал Морис Метерлинк[30]: „Придет время, и оно уже недалеко, когда души будут познавать друг друга без посредничества тел“. Пишите: мне достаточно Ваших писем, дорогой страж моей совести!*

*Должна ли я еще принимать таблетки? А уколы? У меня осталось всего три ампулы, надо ли покупать еще коробку?*»

Если бы она и не оскорбила его так жестоко, это письмо не понравилось бы ему из-за сквозившего в нем самодовольства, притворного, самоупоенного смирения. Посвященный в самые печальные людские тайны, доктор относился к людям с бесконечной снисходительностью. Но один порок был ему ненавистен: уловки тех, что жаждут обелить себя в падении. Вот последняя степень убожества, до которой может дойти человек: когда собственная грязь ослепляет его,

**[30] Примечания: 30**

Метерлинк Морис (1862–1949) — бельгийский драматург и поэт, символистская поэтика которого выражала протест против приземленности натурализма.

как алмаз. Нельзя сказать, чтобы Мария Кросс была привычна к подобной лжи. Вначале она даже привлекала доктора пылким стремлением разобраться в себе и ничего не приукрашивать. Мария часто и охотно рассказывала ему о своей матери, о ее благородной самоотверженности: «мать овдовела очень молодой, бедная учительница в главном городке кантона, она, — говорила Мария, — подавала дочери пример, достойный восхищения. Мама надрывалась, чтобы платить за мое учение в лицее, она уже видела меня студенткой Высшей педагогической школы. Ей выпала радость незадолго до смерти присутствовать на моей свадьбе, довольно-таки неожиданной. Ваш зять Баск хорошо знал моего мужа, младшего врача в его полку. Он меня обожал, и я была с ним счастлива. После его смерти мне с моим мальчиком было почти не на что жить, но все-таки я смогла бы выбиться из нужды. Не лишения погубили меня, а нечто более низкое — желание занять лучшее положение, прочное положение замужней женщины… А что меня удерживает возле „него“ теперь, так это трусость, страх перед необходимостью снова вступить в борьбу за существование, перед работой, перед плохо оплачиваемой службой». С тех пор как бы-

ли сделаны эти первые признания, доктор не раз слышал, как она смиренно каялась, осуждала себя без снисхождения. Откуда же взялась вдруг эта отвратительная склонность к самовосхвалению? Впрочем, не это больнее всего задело доктора в ее письме: он огорчился оттого, что обманывал себя, не решаясь по-настоящему исследовать другую свою глубокую рану, единственно невыносимую для него: Мария больше не стремилась его видеть, она весело сообщала ему об их предстоящей разлуке. Ах! сколько раз в ушах у него звучала эта фраза Метерлинка о душах, которые познают друг друга без посредничества тел! Она звучала, когда какой-нибудь пациент с бесконечными подробностями рассказывал ему о своей болезни или сам он, заикаясь от бешенства, отчитывал студента, не знающего, что такое кровохарканье. Конечно, безумец он был, полагая, будто молодой женщине может доставить радость его присутствие. Да, безумец, безумец! Но разве разумные доводы могут уберечь нас от нестерпимой муки, когда обожаемая женщина, чья близость необходима нам как воздух, с равнодушным, а быть может, утоленным сердцем соглашается нас никогда больше не видеть? Мы ничего не значим для той, что стала для нас всем.

Все это время доктор силился побороть себя. «Я опять застала его перед зеркалом, — сетовала г-жа Курреж, — он и сам уже начинает волноваться». Глядя на свое жалкое, усталое лицо мужчины за пятьдесят, доктор сознавал, что никакое другое зрелище не могло бы так охладить его пыл, вызвать такое спокойствие — спокойствие отчаяния. Не думать больше о Марии, словно она умерла, ждать смерти самому, взвалить на себя двойной груз работы, да, истязать, убивать себя, добиться облегчения благодаря отупляющему действию непосильного труда. Но он, всегда возмущавшийся тем, что другие люди себе лгут, все еще обманывал себя: «Она нуждается во мне, я обязан ее лечить, как всякого больного...» Он написал ей, что считает необходимым ее наблюдать, что она вольна ездить на трамвае, но надо ли ей каждый день выходить? Он просит указать ему день, когда она будет дома. Он оставляет за собой право навестить ее в обычное время.

Целую неделю он ждал ответа. Каждое утро, едва бросив взгляд на груду газет и проспектов, убеждался: «Она еще не написала». И принимался считать: «Я опустил письмо в субботу, по воскресеньям почту разносят только один раз, так что она может получить его не раньше понедельни-

ка. Ответила она тоже не сразу, а самое малое через два-три дня… Было бы просто удивительно, если бы я уже сегодня получил ответ. Начинать беспокоиться надо с завтрашнего дня».

Однажды вечером, вернувшись домой без сил, он нашел письмо:

*«…Посещение кладбища для меня святая обязанность. Я решила совершать это паломничество в любую погоду. Именно в сумерки я чувствую себя ближе всего к нашему маленькому ангелу. Мне кажется, будто ему известен час моего прихода, будто он меня ждет. Это нелепо, я знаю, но у сердца свои резоны, как говорит Паскаль*[31]*. Когда я наконец сажусь в шестичасовой трамвай, я чувствую себя счастливой, удовлетворенной. Известно ли Вам, что это трамвай для рабочих? Но меня это не пугает, я чувствую себя близкой к народу, и если я по видимости от него отдалилась, то разве не приблизилась к нему иным образом? Я смотрю на этих людей, и они кажутся мне такими же одинокими, как я, — как*

**[31] Примечания: 31**

Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. В своих литературных работах полемизировал с иезуитами, развивал представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве.

*бы Вам объяснить! — такими же деклассированными, изгоями. У меня более роскошный дом, чем у них, и все же это только меблированная комната. Я и они — мы не владеем ничем, даже нашими телами… Почему бы Вам не заглянуть сюда попозже, по дороге домой? Я знаю, что Вы не любите встречаться с г-ном Ларусселем, но я предупрежу его, что мне надо поговорить с Вами наедине. Вам придется только после консультации обменяться с ним несколькими вежливыми фразами. Вы забыли мне ответить насчет таблеток и уколов».*

Сначала доктор изорвал это письмо и клочки побросал на пол. Потом на коленях собрал их, поднялся с трудом. Разве она не знает, что он не переносит общества Ларусселя? Все в этом человеке было ему ненавистно, — ах, да он же одной породы с Баском… Те же торчащие крашеные усы, отвислые щеки, квадратные плечи говорили о неизменном самодовольстве. Толстые ляжки, обтянутые коверкотом, были воплощением бесконечной сытости. Оттого что Ларуссель обманывал Марию Кросс с женщинами самого низкого пошиба, в Бордо говорили, будто Марию Кросс он держит «для показа». Доктор, наверно, единственный знал, что Мария была и осталась

неразделенной страстью знатного бордосца, его тайным поражением, и что он исходит яростью. И все равно он купил ее, этот дурак, и владел ею один! Овдовев, он, быть может, и женился бы на ней, если бы не сын, единственный наследник фирмы Ларуссель, которого целая армия нянек, воспитателей, священников готовила к его высокому предназначению. Нельзя было ни подвергать мальчика опасности контакта с подобной женщиной, ни оставлять ему в наследство имя, запятнанное мезальянсом. «Что вам сказать, папа, — твердил Баск, очень дороживший славой родного города, — я нахожу такие чувства весьма достойными. Ларуссель из очень родовитой семьи, все он делает с поразительным шиком, это джентльмен, — остальное меня не касается».

Как посмела Мария, знавшая, какое отвращение доктор питает к Ларусселю, назначить ему свидание именно в тот час, когда он неизбежно должен был столкнуться нос к носу с этим человеком? Он дошел до того, что стал убеждать себя, будто она нарочно подстроила эту встречу, чтобы от него избавиться. После того как он неделю за неделей писал ей — и тут же рвал — самые яростные и самые безумные письма, он наконец отправил ей короткое и сухое послание, в

котором сообщал, что поскольку она не могла решиться хотя бы один раз побыть дома днем, это, несомненно, означает, что чувствует она себя как нельзя лучше, а посему вовсе не нуждается в том, чтобы он впредь занимался ее лечением. Она прислала ему с обратной почтой четыре страницы извинений и протестов и уведомила, что послезавтра, то есть в воскресенье, будет ждать его целый день:

«*…Господин Каруссель поедет на бой быков, он знает, что я не большая охотница до подобных зрелищ. Приходите ко мне пить чай. Буду ждать Вас до половины шестого*».

Никогда еще доктор не получал от нее менее выспренного письма, где к тому же не было ни слова о здоровье и о лечении. Он перечитал письмо несколько раз и то и дело ощупывал его в кармане, убежденный в том, что это свидание будет не таким, как другие, и что он сможет открыться ей в своей любви. Но поскольку сей ученый муж не раз уже замечал, что его предчувствия не сбываются, то упорно твердил себе: «Нет, нет, это не предчувствие, в моем ожидании нет ничего противного логике: я написал ей сердитое письмо, она ответила любезно, и теперь от меня зависит, чтобы разговор с самого начала

принял более интимный, более доверительный оборот…»

В экипаже, по пути из лаборатории в больницу, он рисовал себе предстоящее свидание, неустанно сочинял весь диалог. Доктор принадлежал к числу мечтателей, которые никогда не читают романов, ибо никакой чужой вымысел не может для них сравниться с их собственным, где они играют главную роль. Едва выписав рецепт какому-нибудь пациенту, еще у того на лестнице, он, как собака, отрывающая спрятанную кость, сразу же возвращался к своим фантазиям, хотя порой их стыдился, — этот робкий человек только в воображении наслаждался радостью покорять людей и вещи своей всемогущей воле. В мыслях своих доктор, в жизни столь щепетильный, не знал удержу, не останавливался перед самой ужасающей расправой — вплоть до истребления всей своей семьи ради того, чтобы начать новую жизнь.

Если в течение двух дней, еще отделявших его от свидания с Марией Кросс, доктору не пришлось подавлять в себе подобные мысли, то лишь потому, что в истории, придуманной им для собственного утешения, не обязательно было кого-то убивать, — надо было только порвать с

женой, как делали у него на глазах столь многие из его собратьев, порвать без каких-либо иных оснований, кроме гнетущей скуки, которую он испытывал подле нее. В пятьдесят два года еще не поздно насладиться несколькими годами счастья, быть может, и отравленного угрызениями совести, — но почему тот, кто не изведал его совсем, должен сопротивляться хотя бы призрачной радости? Его присутствие отнюдь не делает счастливой его желчную супругу… А дочь, а сын? Он уже давно примирился с мыслью, что они его не любят. Нежность детей? После замужества Мадлены он узнал, чего она стоит. Что касается Раймона, то он не дает к себе подступиться, а значит, не заслуживает того, чтобы отец приносил себя ему в жертву.

* * *

Доктор чувствовал, что воображаемые картины, которыми он себя тешил, весьма не схожи с его обычными мечтаниями. Даже когда он, бывало, одним махом истреблял всю свою семью, он, несомненно, испытывал некоторый стыд, но никакого раскаяния, скорее сам себе казался смешным: то была пустая игра ума, которая не затрагивала глубин его существа. Нет, он никогда

не думал, что способен быть чудовищем, и не считал себя отличным от других людей, каковые, по его мнению, все оказывались сумасшедшими, едва лишь оставались наедине с собой, вне контроля окружающих.

Но в течение двух суток, прожитых им в ожидании этого воскресенья, он чувствовал, что всей душой предался своей мечте и что мечта эта стала для него надеждой. Он слышал в сердце отзвук предстоящего разговора с Марией, — слышал так отчетливо, что не представлял себе, как между ними могут быть сказаны иные слова, кроме тех, что он придумал. Без конца шлифовал он свой сценарий, суть которого составлял следующий диалог:

— Мы оба находимся в глубоком тупике, Мария. Нам остается либо умереть, разбившись о стену, либо жить, начав все заново. Вы никогда никого не любившая, навряд ли сможете полюбить меня. Вам остается всецело довериться мне — единственному человеку, способному за свою нежность ничего не требовать взамен.

В этом месте он как бы слышал протест Марии:

— Вы сошли с ума! А ваша жена, ваши дети?

— Я им не нужен. Заживо погребенный имеет право, если он еще в силах, поднять придавив-

ший его камень. Вы не в состоянии измерить пустыню, отделяющую меня от моей жены, моей дочери, моего сына. Слова, которые я к ним обращаю, до них не доходят. Животные прогоняют от себя детей, когда те вырастают. А самцы чаще всего их вообще не узнают. Чувства, переживающие свою функцию, выдуманы человеком. Христос это знал, ибо требовал, чтобы его предпочли всем отцам и всем матерям, и осмелился гордиться тем, что пришел разлучить жену с мужем и детей с теми, кто произвел их на свет.

— Не равняйте себя с Богом.

— Разве я не являю для вас его подобие? Не мне ли вы обязаны потребностью в самосовершенствовании? (Тут доктор перебил себя: нет, нет, никакой метафизики!)

— А ваша практика, ваши больные? Репутация человека, творящего добро… Подумайте, какой скандал!

— Если бы я умер, им бы все равно пришлось обходиться без меня. Кто из нас незаменим? А ведь речь действительно идет о том, чтобы умереть, Мария, умереть для нынешней моей одинокой и трудной жизни и возродиться рядом с вами. У моей жены останется принадлежащее ей состояние. Я вполне сумею вас обеспечить: мне уже сейчас

предлагают профессуру в Алжире и в Сантьяго… Детям я оставлю то, что мне удалось скопить по сегодняшний день…

На этом месте воображаемого разговора экипаж остановился у больницы. Доктор переступил ее порог с видом все еще отсутствующим, с глазами человека, освободившегося от чар, о которых он даже не знал. Покончив с делами, он опять с какой-то затаенной жадностью предался своим мечтам, повторяя про себя: «Я сошел с ума, и все же…» Он знал кое-кого из коллег, кому удалось воплотить в действительность этот прекрасный сон. Правда, если их беспорядочная жизнь заранее подготовила общественное мнение к такому скандалу, то про доктора Куррежа весь город в один голос твердил, что это святой. Ну и что? Именно потому, что он не по праву присвоил себе эту репутацию, каким облегчением будет сбросить с себя ее бремя, им не заслуженное. Ах! Наконец-то почувствовать людское презрение к себе! Да, он найдет для Марии Кросс и другие слова, кроме наставлений к добру и поучительных советов, он поведет себя, как мужчина, который любит женщину и завоевывает ее силой.

* * *

Наконец занялась заря этого воскресенья. В такие дни доктор имел обыкновение делать только самые неотложные визиты, не заезжая в свой кабинет в городе, где он принимал всего три раза в неделю и где всегда было полно больных. Он терпеть не мог эту комнату на первом этаже дома, целиком занятого всякими конторами, он не в состоянии, говорил доктор, прочесть или написать там хотя бы строчку. Подобно тому как в Лурде[32] находит себе место и самое жалкое *ex voto*[33], так и все, чем одаривали доктора его признательные пациенты, было собрано в этих четырех стенах. Ненавидевший вначале все эти бронзовые статуэтки, австрийскую терракоту, амурчиков из прессованной мраморной крошки, все эти бисквиты, барометры-календари, он в конце концов стал находить своеобразный вкус в своей ужасающей коллекции и даже радовался, когда получал какое-нибудь особенно безобраз-

**[32] Примечания: 32**

Лурд — город на юге Франции в департаменте Верхние Пиренеи. Один из наиболее важных в Европе центров паломничества.

**[33] Примечания: 33**

Таблички, прибиваемые в церкви верующими в благодарность за исполнение просьбы.

ное «произведение искусства». «Только ничего старинного!» — советовали друг другу его пациенты, озабоченные тем, чтобы доставить доктору удовольствие.

В то воскресенье, когда доктор ждал свидания с Марией Кросс, надеясь, что оно перевернет его жизнь, он дал согласие в три часа дня принять у себя в городском кабинете одного делового человека, неврастеника, который в течение всей недели не мог урвать и часа свободного. Доктор согласился: так он сможет выйти из дому сразу после обеда и еще какое-то время до вожделенной и страшной минуты побыть наедине с собой. Он не велел закладывать экипаж и не пытался сесть в переполненный трамвай; люди гроздьями висели на подножках — на этот день был назначен матч регби и первая в году коррида. Фамилии Альгабено и Фуэнтес броско красовались на желтых и красных афишах. Хотя бой быков начинался только в четыре часа, толпа, заполонившая безглазые улицы — в воскресенье магазины закрыты — устремлялась к арене. Молодые люди в канотье с яркими лентами или в шляпах из светло-серого фетра, почитаемых ими за испанские, весело смеялись, окутанные клубами дыма от дешевых сигарет. Из кафе выплескивался на

дорогу свежий запах абсента. Доктор не помнил, чтобы ему когда-нибудь доводилось вот так брести среди толпы с единственной целью убить время, остававшееся у него до определенного часа. Какой странной казалась праздность этому сверхзанятому человеку! Он, не умеющий бездельничать, теперь пытался думать о начатом опыте, но видел перед собой только Марию Кросс, лежащую на кушетке с книжкой.

Внезапно солнце скрылось, и встревоженные люди увидели на небе тяжелую тучу. Кто-то уверял, что на него упала первая капля, но солнце показалось снова. Нет, гроза не разразится до тех пор, пока не отмучается последний бык.

Может статься, размышлял доктор, что все произойдет и не совсем так, как он себе представляет, но в одном он был непоколебимо уверен — он не уйдет от Марии Кросс, пока не откроет ей свою тайну, шаг этот наконец будет сделан. Половина третьего… Еще час придется убить до приема. В кармане он нащупал ключ от лаборатории. Нет, не стоит: не успеешь войти, как надо будет уходить. Толпа заволновалась, словно ее вдруг всколыхнуло ветром. Раздались крики: «Вот они!» В стареньких «викториях» с важно восседающими спереди замызганными кучерами появились

сверкающие матадоры и их квадрильи. Доктор удивился, не увидев в этих суровых, изнуренных лицах ничего низменного: странные священнослужители в красном с золотом и лиловом с серебром облачении. Набежавшая туча снова притушила свет, и матадоры подняли худые лица к потускневшему небу. Доктор выбрался из толпы и шел теперь по узким пустынным улочкам. В кабинете, где на малахитовых колонках улыбались терракотовые и алебастровые женщины, его обдало подвальной сыростью. Старинные стенные часы тикали медленно, степенно, не так торопились, как настольные часики — подделка под дельфтский фаянс, — стоявшие посреди большого стола, где прессом для бумаг служила статуэтка в стиле модерн — женщина, опирающаяся задом о глыбу хрусталя. Все эти фигурки словно пели хором название обозрения, которое доктор только что читал на всех городских перекрестках: «Только это одно хорошо!» — все, вплоть до быка из металла под бронзу, положившего морду на свою корову. Окинув взглядом эту замечательную коллекцию, доктор вполголоса произнес: «Эпоха предельной деградации рода человеческого!» Он отодвинул один ставень, и в луче огня заплясали пылинки. Расхаживая по

комнате, он потирал руки и твердил про себя: «Никакой подготовки, в первых же словах намекнуть ей, какое отчаяние охватило меня, когда я подумал, что она больше не желает меня видеть. Она удивится, а я объясню, что не могу жить без нее, и тогда, может быть, может быть…»

Он услышал звонок, сам пошел открывать и ввел пациента. Ну, этот не нарушит его мечтаний, надо только не мешать ему говорить: похоже, такой неврастеник требует от врачей лишь одного — чтобы они терпеливо его слушали. Он, несомненно, представлял себе врачей некими мистическими существами, так как буквально выворачивал себя наизнанку, обнажая самые тайные свои болячки. Доктор уже опять вернулся мыслями к Марии Кросс: «Я человек, Мария, несчастный человек из плоти и крови, как все прочие люди. Нельзя жить без счастья, — я это понял слишком поздно, но все-таки ведь не настолько поздно, чтобы вы отказались последовать за мной». Когда пациент кончил говорить, доктор произнес с тем полным благородного достоинства видом, которым все знавшие его так восхищались:

— Прежде всего необходимо, чтобы вы уверовали в свою волю. Если вы не будете считать себя

свободным, я не смогу ничего для вас сделать. Все наше искусство пасует перед ложным самовнушением. Если вы считаете себя беспомощной жертвой наследственности, то чего вы ждете от меня? Прежде чем вас лечить, я требую от вас акта веры в вашу способность обуздать в себе тех зверей, которые вам совершенно чужды.

Пока пациент, перебив доктора, горячо возражал ему, тот встал и, подойдя к окну, сделал вид, будто разглядывает сквозь полуотворенные ставни пустынную улицу. Он испытывал почти ужас оттого, что в нем еще живут лживые слова, рожденные умершей верой. Подобно тому как мы видим свет звезды, погасшей за столетия до нас, так и души окружавших доктора людей воспринимали лишь эхо веры, которую сам он давно утратил.

Он вернулся к столу, заметил, что фаянсовые часики под Дельфт показывают четыре часа, и отпустил пациента.

«У меня еще есть время», — говорил себе доктор, пускаясь почти бегом по тротуару. Дойдя до площади Комедии, он увидел, как публика, выплеснувшаяся из кино, осаждает трамвай. Ни одного фиакра. Ему пришлось встать в очередь, но он то и дело поглядывал на часы. Привыкнув к

тому, что в его распоряжении всегда есть карета, доктор не умел рассчитывать время. Он пытался себя успокоить: в худшем случае он опоздает на полчаса, для врача это пустяк. Мария всегда его ждет… Да, но в этом письме она предупреждала — до половины шестого, а уже пять часов! «Эй, да не толкайтесь вы так, что за безобразие!» — прикрикнула на него какая-то дама, щекотавшая ему нос перьями своей шляпы. Стоя в переполненном, душном трамвае, он пожалел, что надел пиджак, ему было нестерпимо жарко: чего доброго, лицо будет грязное и от него будет пахнуть потом.

Шесть часов еще не пробило, когда он сошел возле Таланской церкви. Сначала он двинулся быстрым шагом, потом, обезумев от тревоги, побежал, хотя у него болело сердце. Небо заволокла грозовая туча. Последнему быку суждено было истечь кровью под хмурым небом. За решетками садиков пыльные ветви сирени взывали о дожде, как протянутые руки. Редкие прохладные капли уже падали на доктора, а он бежал к женщине, видя ее перед собой на кушетке с раскрытой книжкой, от которой она не сразу поднимет глаза…

Но когда он подошел к воротам, то вдруг увидел ее перед собой — она выходила. Оба останови-

лись. Мария запыхалась, она тоже бежала.

— Ведь я вам писала — до половины шестого, — сказала она с едва уловимой досадой. Он окинул ее зорким взглядом.

— Вы сняли траур?

Она оглядела свое летнее платье.

— Но лилово-розовый цвет — это ведь полутраур.

Как непохоже было это начало на то, что он рисовал себе в воображении! Безмерная трусость подсказала ему слова:

— Поскольку вы уже на меня не рассчитывали и вас, наверное, где-то ждут, отложим до другого раза.

— Кто это, по-вашему, меня ждет? — живо спросила она. — Какой вы странный, доктор.

Она направилась обратно к дому, он последовал за ней. Подол ее платья из лилово-розовой тафты волочился в пыли, она наклонила голову, и ему открылась ее шея. Мария предложила доктору прийти в воскресенье, в полной уверенности, что в этот день незнакомого юноши в шестичасовом трамвае не будет. И все же, когда в назначенный час доктор не пришел, она, загоревшись радостной надеждой, бросилась вон из дома.

«Один шанс из тысячи, — рассуждала она, —

что ради меня он поедет этим трамваем… Ах! только бы не упустить эту радость…» Ей так и не довелось узнать, ехал ли в то воскресенье незнакомый юноша в шестичасовом трамвае и грустил ли оттого, что ее там нет… Тяжелые капли дождя разбивались о ступеньки крыльца, по которым она торопливо всходила, слыша позади себя шумное дыхание старика. Ах, как назойливы те, до кого нашему сердцу нет никакого дела и чей выбор пал на нас, в то время как мы их вовсе не выбирали! Посторонние люди, о которых мы не хотим и знать, чья смерть была бы нам столь же безразлична, как их жизнь… Между тем они-то и заполняют наше существование.

Они миновали столовую; в гостиной Мария распахнула ставни и, сняв шляпу, прилегла на кушетку. Она улыбнулась доктору, тщетно собиравшему обрывки заготовленных фраз, и сказала:

— Вы задыхаетесь… Я вас заставила слишком быстро идти.

— Не такой уж я старый.

Как всегда, он поднял глаза к зеркалу, висевшему над кушеткой. Да полно, не знает он себя, что ли? Почему у него каждый раз екает сердце и лицо застывает в скорбном оцепенении, словно

он ожидал, что из зеркала ему улыбнется его юность. И вот он уже спрашивает: «Ну, как наше самочувствие?» — спрашивает тем отечески-снисходительным тоном, который всегда брал в разговорах с Марией Кросс. Она еще никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас, — она сообщила это доктору с удовольствием: хоть маленький реванш за только что пережитое разочарование Нет, сегодня, в воскресенье, незнакомый мальчик навряд ли оказался бы в трамвае. Зато завтра, завтра он непременно там будет, и она уже вся была устремлена к этой будущей радости, к надежде, которая каждый день ее обманывала и рождалась опять, — надежде, что, быть может, произойдет что-то новое и он наконец с нею заговорит.

— Можете беспрепятственно прекратить уколы… (Он смотрел в зеркало на свою редкую бороду, на облысевший лоб и вспоминал, какие пылкие слова готовился сказать.)

— Я хорошо сплю и, представьте себе, доктор, больше не скучаю, и, однако, мне совершенно не хочется читать. Я не смогу дочитать до конца

«Путешествие в Спарту»[34], можете забрать у меня книгу.

— Вы по-прежнему ни с кем не видитесь?

— Неужели вы думаете, что я способна вдруг сблизиться с любовницами этих господ, — я, до сих пор бежавшая от них, как от чумы? Вы прекрасно знаете — в Бордо я единственная в своем роде женщина, я не могу водиться ни с кем.

Да, она часто ему об этом говорила, но как бы жалуясь, и никогда еще у нее не было такого умиротворенного, такого счастливого лица, как сейчас. Доктор догадывался, что язычок этого пламени не тянется больше к небу, что оно уже не горит понапрасну, а нашло себе пищу где-то здесь, на земле, но что это за пища, он не знал. Он не мог удержаться и довольно язвительным тоном заметил, что, хоть она и не видится с этими дамами, зато видится иногда с этими господами. Почувствовал, что краснеет, разговор, кажется, принимал тот оборот, которого он так жаждал, и действительно, Мария смеясь спросила:

— Ах, вот оно что, доктор! Вы ревнуете? По-

---

**[34] Примечания: 34**

Роман французского писателя М. Барреса (1862–1923), посвященному своему «путешествию» в Грецию. Но на деле автор занимался в романе не столько описанием того, что ему приходилось встречать на пути, сколько пропагандой националистских идей.

думать только! Он делает мне сцену ревности! Нет, нет, успокойтесь, я шучу, — поспешила она добавить, — я знаю, какой вы человек.

Можно ли было сомневаться, что она и в самом деле хотела только пошутить и даже не могла вообразить себе, что доктор питает подобное чувство? Она озабоченно смотрела на него.

— Я вас не обидела?

— Да, Мария, вы меня обидели.

Но она не поняла, о какой обиде идет речь, она оправдывалась, заверяла в своем уважении, в своем благоговении перед ним: разве он не снизошел к ней? Разве ему не угодно было иногда возвышать ее до себя? Порывистым жестом, таким же фальшивым, как эта последняя фраза, она схватила его руку и поднесла к губам. Он резко ее отдернул. Уязвленная, Мария Кросс встала, подошла к окну и стала смотреть на затопленный сад. Доктор тоже поднялся. Она сказала, не оборачиваясь:

— Подождите, пока кончится ливень.

Он остался стоять в сумрачной гостиной. Человек последовательный, он воспользовался этой горькой минутой, чтобы вырвать из своего сердца всякие желания, всякую надежду. Ладно, с этим покончено, все, что связано с этой женщи-

ной, больше его не касается, он вышел из игры. Он взмахнул рукой, словно что-то отметая. Мария обернулась и резко сказала:

— Дождь перестал.

И так как он не двигался с места, прибавила, что вовсе не выставляет его за дверь, но хорошо бы ему воспользоваться затишьем. Она предложила ему зонтик, и он было хотел взять, но потом отказался, подосадовав на себя за мелькнувшую мысль: «Зонтик придется вернуть, это будет поводом прийти еще раз».

Он не страдал. Он упивался грозой, шедшей уже на убыль, и думал о себе, вернее, о какой-то части своего существа, как думают об умершем друге, утешая себя тем, что тот больше не страдает. Партия была сыграна, и он проиграл, возвращаться к ней бессмысленно. Отныне он будет жить только своей работой. Вчера из лаборатории ему позвонили, что сдохла собака, которой удалили поджелудочную железу. Сможет ли Робинсон раздобыть другую? Шли трамваи, переполненные усталой и возбужденной публикой, но доктору нравилось идти пешком через это предместье, заросшее сиренью, где после грозы, в наступающих сумерках, воздух был по-деревенски свеж и душист. Хватит страдать, хватит биться головой

об стенку, как сумасшедший в карцере. Та всемогущая сила, что исходит от женского существа и что с детства влекла его к себе, была теперь подавлена, загнана в самую глубь его души. Полное самоотречение. Несмотря на рекламные щиты, блестящие трамвайные рельсы, на велосипедистов, припавших к рулям, украшенным букетами поникшей сирени, это предместье Бордо казалось ему настоящей деревней: на месте баров он видел харчевни, где сидят погонщики мулов, — при лунном свете они снова пустятся в дорогу и будут катить всю ночь, лежа, словно мертвецы, в своих тележках лицом к звездам. На порогах домов детишки, совсем как деревенские, возились с уснувшими майскими жуками. Перестать биться головой об стенку. Сколько лет уже он изводит себя этим безнадежным занятием! Он вспоминает, как однажды утром, — это было почти полвека тому назад, — перед началом нового учебного года рыдал у постели матери, а она кричала на него: «И не стыдно тебе плакать, лентяй ты эдакий!» Она не знала, что его отчаяние имело одну-единственную причину — что ему придется расстаться с нею. А после этого… Он опять легонько взмахнул рукой, будто что-то отметал, наводил порядок. «Ну-с, завтра утром

посмотрим...» — произнес он и, словно дозу морфия, вогнал в себя повседневные заботы: собака сдохла, надо все начинать сначала. Но разве на сегодняшний день у него не должно было уже накопиться достаточно фактов, чтобы он мог подтвердить свою гипотезу? Сколько времени потеряно! Какой позор! Он, не сомневавшийся в том, что все человечество напряженно следит за каждым его действием в лаборатории, — сколько же дней потратил попусту! Наука требует, чтобы ей отдавались безраздельно, со всей страстью. «Ах, я навсегда останусь дилетантом!» Ему показалось, что меж ветвей вспыхнул огонь — это взошла луна. Впереди замаячили деревья, за ними прятался дом, под крышей которого собрались все те, о ком он с полным правом мог сказать: «мои». Сколько раз уже изменял он клятве, которую теперь снова оживил в своем сердце: «С этой минуты я сделаю все, чтобы Люси была счастлива!» И доктор прибавил шагу, спеша убедиться, что на сей раз не оскользнется. Он заставил себя вспомнить их первую встречу в Аркашонском саду — ему было тогда двадцать пять лет, — устроенную одним из его коллег. Но внутренним взором видел не юную невесту тех далеких дней, не эту выцветшую, блеклую

фотографию, а совсем другой образ — молодую женщину в полутрауре, ликующую оттого, что он запоздал, и радостно устремившуюся к другому — к кому? Доктор почувствовал острую боль в груди, на секунду остановился и вдруг бросился бежать, чтоб увеличить расстояние между собой и тем человеком, которого любила Мария Кросс. Он и в самом деле испытывал облегчение, не подозревая, что с каждым шагом приближается к своему неведомому сопернику… Именно в тот вечер, в столовой, когда Раймон сцепился с Баском, доктору бросилась в глаза разительная перемена в сыне — он вдруг увидел, как нежданно расцвел и возмужал этот незнакомый ему человек, которого он произвел на свет.

* * *

Поднялись из-за стола. Дети подставили лбы под рассеянные поцелуи взрослых и отправились по своим комнатам в сопровождении матери, бабушки и прабабушки. Раймон подошел к застекленной двери в сад. Доктора поразило, с какой привычной уверенностью его сын взял из кожаного портсигара сигарету, размял ее пальцами и закурил. В петлице у него красовался бутон розы, складка на брюках была безупречно отгла-

жена. «Удивительно, — подумал доктор, — до чего он похож на моего покойного отца…» Да, это была копия хирурга Куррежа, который чуть ли не до семидесяти лет растрачивал на женщин состояние, нажитое им благодаря его врачебному искусству. Он первым в Бордо воспользовался благами антисептики. Никогда он не обращал ни малейшего внимания на своего сына и называл его не иначе как «малыш», словно не мог вспомнить его имя.

Однажды вечером его привела домой незнакомая женщина: рот у него был перекошен и сочился слюной; при нем не оказалось ни часов, ни бумажника, ни бриллиантового перстня на мизинце. «Я унаследовал от него только сердце, подверженное страстям, но не способность нравиться… она досталась его внуку».

Доктор наблюдал за Раймоном, глядевшим в сад, — тот молодой человек был его сыном. После всего пережитого сегодня ему хотелось расчувствоваться, излить душу, хотелось спросить мальчика: «Почему мы никогда не говорим друг с другом? Думаешь, я не смогу тебя понять? Так ли уж велико расстояние между отцом и сыном? Неужели двадцать пять лет, разделяющие нас, имеют такое большое значение? У меня все то

же сердце, что и в двадцать лет, а ты — плоть от моей плоти, — вполне возможно, что у нас с тобой одинаковые склонности, вкусы, искушения… Кто первым прервет затянувшееся между нами молчание?»

Мужчина и женщина, как ни различны они по своей природе, соединяются в любовном объятье. И даже мать может дотянуться до лба своего взрослого сына и поцеловать его; но вот он, отец, не может ничего, разве только положить руку на плечо мальчику, что и сделал сейчас доктор Курреж. Раймон, вздрогнув, обернулся. Отец отвел взгляд и спросил:

— Дождь все еще идет?

Раймон с порога вытянул руку в темноту.

— Нет, перестал.

Не оборачиваясь, он бросил через плечо: «Пока…» — и звук его шагов вскоре затих вдали.

Госпожа Курреж остолбенела от изумления, когда муж предложил ей пройтись с ним по саду. Она ответила, что только сходит за шалью. Доктор слышал, как она поднимается по лестнице, потом с необычайной поспешностью сбегает вниз.

— Возьми меня под руку, Люси, луна скрылась, тьма кромешная…

— Но на аллее хорошо видно.

Когда она слегка оперлась на его руку, он уловил исходивший от нее запах — все тот же, что и в былые дни, когда они были женихом и невестой и долгими июньскими вечерами сидели рядышком на скамейке… Запах ее кожи и дыхание сумерек — это был знакомый аромат тех далеких дней.

Он спросил у Люси, заметила ли она серьезную перемену в их сыне. Нет, она по-прежнему находила его замкнутым, грубым, упрямым. Доктор возражал: Раймон теперь не так разболтан, лучше владеет собой, к тому же у него появилась потребность заботиться о своей внешности.

— Ах, да, в самом доле, Жюли вчера ворчала, что он заставляет ее два раза в неделю гладить ему брюки.

— Попытайся успокоить Жюли, ведь она знает Раймона с рождения.

— Жюли нам предана, но и преданность имеет свои границы. Мадлена может говорить что угодно, но ведь ее слуги ничего не делают. У Жюли плохой характер, верно, но ведь ее можно понять, если она злится, что ей приходится убирать всю черную лестницу и часть парадной.

Какой-то скупой на песни соловей взял несколько нот и смолк. Они шли под кустами боярышника, благоухавшего горьким миндалем.

Доктор опять вполголоса заговорил:

— Наш маленький Раймон…

— Мы не найдем замену Жюли, об этом не надо забывать. Ты скажешь, что она выживает всех кухарок, но чаще всего она бывает права… Взять хотя бы Леони…

Отчаявшись, он спросил:

— Какую Леони?

— Помнишь, еще такая толстуха… нет, не самая последняя, а та, что прожила у нас всего три месяца, она не желала убирать столовую. А между прочим, Жюли не обязана это делать…

Он заметил:

— Нынешняя прислуга уже не та, что прежде.

Он чувствовал, как спадает в нем поднявшаяся было волна; отлив уносил с собой уже готовые излиться признания, жалобы, слезы.

— Пожалуй, нам лучше вернуться…

— …Мадлена мне твердит, что кухарка на нее злится!.. Но Жюли тут ни при чем. Эта девка требует прибавки: здесь они не могут так наживаться, как в городе, хотя все-таки и здесь есть на чем выгадать, а то бы они и вовсе не стали у нас жить.

— Я пошел домой.

— Уже?

Она почувствовала, что разочаровала его, что ей бы надо помолчать, дать выговориться ему, и пробормотала:

— Мы так редко говорим друг с другом…

Сквозь пошлые слова, которые накапливались в ней помимо ее воли, сквозь стену, которую изо дня в день воздвигала между ними ее мещанская узость, Люси Курреж слышала глухой призыв заживо погребенного; да, она улавливала крик засыпанного в шахте, и в ней самой — но на какой глубине! — что-то откликалось на этот голос, теплилась робкая нежность.

Она склонила голову, будто хотела положить ее мужу на плечо, угадывая во тьме его напряженную фигуру, его замкнутое лицо, но вдруг бросила взгляд на окна дома и не удержалась:

— Опять ты оставил свет в кабинете.

И тут же пожалела о своих словах. Он прибавил шагу, торопясь от нее уйти, взбежал на крыльцо, облегченно вздохнул при виде пустой гостиной и, никого не встретив, поднялся к себе в кабинет. Оставшись наконец один, он опустился в кресло у стола и принялся разглаживать свое измученное лицо, потом опять решительно взмахнул рукой… Жалко, что собака сдохла, другую будет не так-то легко достать. Но он и сам виноват: из-за всей

этой идиотской истории не проследил за ходом опыта. «Я слишком полагался на Робинсона… Он, по-видимому, неправильно рассчитал срок последней инъекции». Придется пойти на новые расходы и начать все сначала… А впредь пусть Робинсон только измеряет собаке температуру и делает анализы мочи — больше ничего.

## VI

Из-за перерыва тока трамваи остановились и неподвижно вытянулись вдоль бульваров, похожие на вереницу походных гусениц. Понадобилась эта маленькая авария, чтобы Раймон Курреж и Мария Кросс наконец-то подали друг другу знак. После того воскресенья, когда их обычная встреча не состоялась, обоих снедала тревога, что они могут никогда больше не встретиться, и каждый решил сделать первый шаг. Но она видела в нем неискушенного школьника, способного оскорбиться из-за пустяка, а он — как мог он осмелиться заговорить с женщиной? Он скорее угадал, чем увидел ее среди пассажиров, набившихся в трамвай, хотя на ней в первый раз было светлое платье. А она, слегка близорукая, заметила его издали, потому что в тот день из-за

какой-то церемонии в коллеже ему пришлось надеть форму, и на плечи у него была небрежно накинута пелерина, не завязанная у шеи (в подражание курсантам Морского медицинского училища). Одни пассажиры садились в трамвай, решив дождаться, пока он пойдет; многие, наоборот, сходили и шли пешком. Раймон и Мария одновременно оказались у выхода. Не глядя на него, чтобы он не подумал, будто она обращается именно к нему, она вполголоса сказала:

— В конце концов мне не так уж далеко идти…

А он, чуть отвернувшись, — щеки у него горели, — подхватил:

— Разок даже приятно пройтись пешком.

Тогда она осмелилась взглянуть ему в лицо, — она еще никогда не видела его так близко.

— Уж раз мы с вами все время возвращаемся вместе, не будем нарушать эту привычку.

Некоторое время они шли молча. Она украдкой рассматривала его пылающую щеку, его слишком юную, нежную кожу, пораненную бритвой. Совсем еще по-детски, обеими руками, он поддерживал на спине набитый книгами ранец, и она утвердилась в мысли, что он почти ребенок, — мысль эта наполнила ее неясным чувством, в котором смешивались сомнение, стыд и радость.

А он был скован робостью, связан по рукам и ногам, как еще недавно, когда перешагнуть через порог какой-нибудь лавки казалось ему сверхчеловеческим подвигом. Он был поражен, что ростом выше ее; розовато-лиловая соломенная шляпа закрывала ей почти все лицо, но ему была видна ее обнаженная шея и чуть приоткрытое плечо. Он пришел в ужас оттого, что не найдет слов, чтобы прервать молчание, и драгоценная минута будет упущена.

— Вы, кажется, в самом деле живете недалеко.

— Да, Таланская церковь в десяти минутах ходьбы от бульвара.

Вытащив из кармана носовой платок, испачканный чернилами, он вытер лоб, потом заметил чернила и сунул платок обратно.

— Но вам, мосье, может быть, гораздо дальше…

— О нет, моя остановка сразу после церкви. — И он поспешил добавить: — Я младший Курреж.

— Сын доктора?

Он порывисто сказал:

— Его все знают, правда?

Она вскинула голову, чтобы пристально взглянуть на него, и он увидел, что она побледнела. Тем не менее она сказала:

— Поистине, мир тесен… только, пожалуйста,

не рассказывайте обо мне отцу.

— Я ему никогда ни о чем не рассказываю, кроме того, я ведь не знаю, кто вы.

— Лучше вам этого и не знать.

Она снова посмотрела на него долгим взглядом: сын доктора! Это, наверное, очень наивный, очень благочестивый мальчик. Услышав ее имя, он в ужасе убежит. Возможно ли, чтобы он его не знал? Маленький Бертран Ларуссель до прошлого года учился в том же коллеже… Там наверняка склонялось имя Марии Кросс…

Он продолжал настаивать, не столько из любопытства, сколько из страха перед молчанием:

— Да, да, назовите мне ваше имя, я же вам свое назвал…

Луч заходящего солнца упал на порог зеленной лавки и зажег огнем апельсины в корзинке. Сады были словно залеплены пылью; вдали виднелся мост, перекинутый через железную дорогу, на которую Раймон еще недавно не мог смотреть без волнения: по ней шли поезда в Испанию. Мария Кросс напряженно думала: «Назвать себя — значит скорее всего потерять его!.. Но разве долг не велит мне его оттолкнуть?» Она страдала и наслаждалась этим спором с собой, действительно страдала, но в то же время испытывала

какое-то смутное удовлетворение, заставившее ее прошептать: «Как это трагично…»

— Когда вы узнаете, кто я… — (Невольно ей вспомнился миф о Психее[35] и «Лоэнгрин»[36].)

Он вдруг расхохотался, наконец-то сбросив с себя оковы.

— Все равно мы с вами будем встречаться в трамвае… Вы же заметили, что я нарочно стараюсь сесть именно в этот, шестичасовой трамвай, — не заметили? Да ну? Знаете, я иногда прихожу раньше и мог бы вполне успеть на тот, что отходит без четверти шесть… Но я нарочно его пропускаю — из-за вас. И даже вчера ушел с корриды после четвертого быка, чтобы не прозевать вас, но вас почему-то не было, а говорят, Фуэнтес к концу превзошел себя. Ну а уж теперь, когда мы с вами заговорили, почему вы придаете такое значение вашему имени? Во-первых, мне на все плевать… С тех пор как я убедился, что вы на меня смотрите…

---

**[35] Примечания: 35**

Психея — мифологическая, красивая молодая девушка, на которой женился Амур; олицетворение человеческой души.

**[36] Примечания: 36**

«Лоэнгрин» — опера Р. Вагнера (1850), в основу сюжета которой положены различные народные легенды о рыцаре, приплывающем в ладье, запряженной лебедем. Он появляется в тот момент, когда девушке или вдове, всеми покинутой и преследуемой, грозит смертельная опасность. Рыцарь освобождает девушку от врагов и женится на ней.

Эта речь, которую в устах любого другого Мария сочла бы неотесанной и грубой, показалась ей восхитительно непосредственной, и позднее, всякий раз, когда ей случалось переходить дорогу в этом месте, она вспоминала, какие чувства всколыхнулись в ней от этих неуклюжих слов мальчика, школьника, — какая нежность, какое счастье…

— Вы непременно должны назвать мне ваше имя, — в конце концов мне ведь стоит только спросить папу. Это очень просто: дама, которая всегда сходит у Таланской церкви.

— Я вам скажу, но поклянитесь, что вы никогда не будете говорить обо мне с доктором.

Она догадывалась, что теперь он уже не уйдет, даже узнав ее имя, но делала вид, будто еще боится этого. «Положимся на судьбу», — сказала она себе, ибо в глубине души была уверена в победе. Немного не доходя церкви, она потребовала, чтобы дальше он шел один: «Из-за лавочников — они все меня знают и пустят сплетню».

— Хорошо, но только после того, как я узнаю…

Не глядя на него, она быстро проговорила:

— Мария Кросс.

— Мария Кросс?

Ковыряя землю зонтиком, она поспешила до-

бавить:

— Сначала узнайте меня получше…

Ошеломленный, он не сводил с нее глаз: «Мария Кросс!» Значит, вот она, та самая женщина, чье имя он впервые услышал в один из летних дней на Аллее Турни, когда публика разъезжалась со скачек… Она проехала в коляске, запряженной парой рысаков, и кто-то рядам с ним сказал: «Вот это женщина, что ни говори!» И еще ему вдруг вспомнилось, как в то время, когда он принимал лечебные души и из-за этого был вынужден в четыре часа уходить из коллежа, он нередко обгонял на улице юного Бертрана Ларусселя, уже полного спеси; длинные ноги в гетрах из рыжей кожи. Иногда его сопровождал слуга, иногда священник в черных перчатках, в сутане с высоким воротником. Из всех «больших» единственно Раймон пользовался у «средних» грозной славой; чистый и набожный Бертран, когда Раймон шел с ним рядом, пожирал глазами этого «порочного типа», не подозревая, что в глазах «порочного» сам он был окутан манящей тайной. В то время еще жива была г-жа Ларуссель, и по городу, да и в коллеже, ходили нелепые слухи: Мария Кросс, говорили одни, желает стать законной женой Ларусселя и требует от своего любовника, чтобы

он пустил по миру всех своих домочадцев; другие уверяли, будто она ждет, пока г-жа Ларуссель умрет от рака, чтобы потом обвенчаться в церкви с вдовцом. Но раз Раймон видел в окне кареты рядом с Бертраном бескровное лицо его матери, о которой дамы Курреж и Баск говорили: «Вот страдалица! И с каким достоинством она переносит свои муки! Можно сказать, что она проходит чистилище еще здесь, на земле… Такому мужу я бы с презрением плюнула в лицо и, конечно, бросила бы его». Как-то раз Бертран Ларуссель вышел из школы один. Услышав, что сзади, насвистывая, идет «порочный тип», он прибавил шагу, но Раймон приноровился идти с ним в ногу, не спуская глаз с короткого пальто и фуражки из одинаковой английской материи, необыкновенно красивой. Каким роскошным казалось ему все, что принадлежало этому мальчику! Когда Бертран бросился бежать, из его ранца выпала тетрадь, но прежде, чем он это заметил, Раймон успел ее подобрать. Мальчик вернулся назад, бледный от страха и ненависти:

— Отдай!

Но Раймон, усмехаясь, вполголоса прочитал надпись на обложке: «Мой дневник».

— Дневник юного Ларусселя — это, наверное,

интересно.

— Отдай тетрадь!

Раймон вбежал в ворота городского парка и свернул в пустынную аллею; позади он слышал прерывистый жалобный голос: «Отдай, я скажу!» Но «порочный тип», забравшись в гущу кустарника, дразнил Бертрана, который вскоре выбился из сил и, упав на траву, громко рыдал.

— На, держи свою тетрадь, свой дневник, идиот!

Он поднял мальчика, вытер ему глаза, отряхнул пыль с английского пальтишка. Какая неожиданная нежность у этого грубияна! Маленький Ларуссель, казалось, был тронут и даже улыбался Раймону, а тот, поддавшись внезапной жестокой прихоти, спросил:

— Скажи, ты ее когда-нибудь видел, эту Марию Кросс?

Залившись краской, Бертран схватил свой ранец и пустился наутек, но Раймон и не думал его преследовать.

Мария Кросс… Так, значит, это она сейчас пожирает его глазами. Он представлял ее себе более высокой и более загадочной. Эта маленькая женщина в сиреневом платье и есть Мария Кросс. Видя, как растерян Раймон, она почувствовала

презрение к себе и смущенно пролепетала:

— Вы не подумайте… Вы только не подумайте…

Она трепетала перед этим судьей, который казался ей ангелоподобным; она не распознала в нем нечистого отрока, не знала, что весна нередко бывает сезоном грязи и что этот подросток может ее просто испачкать. Не в силах вынести презрение, которое виделось ей в глазах мальчика, она едва слышно с ним попрощалась и обратилась в бегство, но он ее догнал:

— Значит, завтра вечером в том же трамвае?

— Вы этого хотите?

Уходя, она дважды обернулась, а он стоял неподвижно и думал: «Мария Кросс ко мне неравнодушна». Он повторял и повторял про себя, словно не мог поверить в свое счастье: «Мария Кросс ко мне неравнодушна».

Раймон жадно вдыхал вечернюю свежесть, как будто в ней заключалась сущность мироздания и как будто его отныне раскованное тело способно было всю ее впитать в себя. Мария Кросс к нему неравнодушна… Рассказать об этом товарищам? Но ведь никто не поверит. Вот уже показалась густая листва усадьбы, где члены одной семьи жили так же скученно и разрозненно, как миры,

составляющие Млечный Путь. Ах, эта клетка сегодня никак не могла вместить в себя распиравшую его гордость. Он обошел сад стороной и углубился в сосновый бор, в отличие от других зеленых насаждений не обнесенный оградой и прозванный «Береговым лесом». Земля, на которой растянулся Раймон, была теплей живого тела. Сосновые иголки оставили отпечатки на его ладонях.

Он вошел в столовую, когда отец, разрезая страницы нового журнала, отвечал на замечание жены:

— Я не читаю, я только просматриваю заглавия.

Казалось, никто не слышал приветствия Раймона, кроме бабушки.

— Ага! Вот и мой пострелёнок…

И так как он проходил мимо ее кресла, она остановила его и притянула к себе:

— От тебя пахнет смолой.

— Я был в Береговом лесу.

Она с удовольствием оглядела его и про себя ласково выбранила: «Озорник!»

Раймон принялся шумно, как собака, хлебать суп.

Какими ничтожными казались ему сейчас все

эти люди! Он парил в небесах. Ближе всех был ему сейчас отец: он знал Марию Кросс, бывал у нее дома, лечил, видел в постели, прикладывал ухо к ее груди и спине… Мария Кросс! Мария Кросс! Это имя душило его, как сгусток крови в горле, он ощущал во рту его нежную солоноватую теплоту, и в конце концов оно горячей волной хлынуло ему на язык. Он не выдержал:

— А я только что видел Марию Кросс.

Доктор тотчас метнул на него острый взгляд.

— Откуда ты знаешь, что это была она? — спросил он.

— Мы шли с Папильоном, он ее знает в лицо.

— О, о! — воскликнул Баск. — Смотрите, Раймон покраснел!

Одна из девочек подхватила:

— Да, да, дядя Раймон покраснел!

Раймон раздраженно пожал плечами. Отец, не глядя на него, задал еще вопрос:

— Она была одна?

И, услышав ответ: «одна», принялся снова разрезать страницы журнала. Между тем г-жа Курреж сказала:

— Удивительно, что такие женщины интересуют вас больше всех прочих. Ну что за событие встретить на улице эту особу? В те времена, когда

она была горничной, вы бы ее даже не заметили.

Доктор перебил жену:

— Но помилуй, она никогда не была горничной!

— Впрочем, — резко заявила Мадлена, — в этом не было бы для нее ничего унизительного, решительно ничего.

И так как горничная вышла, унося какое-то блюдо, Мадлена с ожесточением напустилась на мать:

— Можно подумать, что ты нарочно раздражаешь слуг, нарочно их оскорбляешь. А Ирма как раз особенно чувствительна.

— Невероятно… Впору у себя дома надеть перчатки…

— Можешь со своей прислугой обращаться, как тебе угодно, но не выживай из дому других, особенно, если ты заставляешь их прислуживать за столом.

— Как будто ты очень церемонилась с Жюли… ты славишься тем, что не можешь удержать ни одной служанки… Всем известно, что мои слуги уходят только из-за твоих…

Возвращение горничной прервало спор, который обе женщины продолжали приглушенным тоном, как только она опять ушла на кухню.

Раймон с интересом присматривался к отцу: если бы Мария Кросс была горничной, перестала бы она существовать для него или нет? Вдруг доктор поднял голову и, ни на кого не глядя, произнес:

— Мария Кросс — дочь той самой учительницы, которая возглавляла школу Святой Клары, когда твой дорогой господин Лабрусс был там приходским священником, Люси.

— Как, это та самая ведьма, которая причинила ему столько огорчений? Та, что предпочитала пропустить мессу, когда не могла со своими ученицами занять передние скамьи главного нефа? Ну что же, меня это не удивляет. Яблоко от яблони недалеко падает.

— А помнишь, — сказала г-жа Курреж-старшая, — что нам рассказывал этот бедняга Лабрусс? Вечером после выборов, когда маркиз Люр-Салюс потерпел поражение от мелкого адвокатишки из Базаса, учительница со всей своей бандой пришла его дразнить под окна его дома, и руки у нее были все черные от пороха — она пускала ракеты в честь нового депутата.

— Нечего сказать, хороша семейка…

Но доктор уже их не слушал, и вместо того, чтобы, как каждый вечер, подняться к себе в кабинет, последовал в сад за Раймоном.

В тот вечер отцу и сыну не терпелось поговорить. Какая-то сила сблизила их помимо воли, словно они владели одной и той же тайной. Так ищут и узнают друг друга сообщники, посвященные. Каждый видел в другом единственного человека, перед кем он мог бы выговориться, излить то, что отягощало его сердце. Как два мотылька слетаются с разных концов к коробке, в которой бьется пахучая самка, так и они, следуя причудливыми путями своих желаний, столкнулись лицом к лицу перед невидимой Марией Кросс.

— Раймон, у тебя есть сигарета? Я уже забыл вкус табака… Спасибо… Пройдемся?

Доктор слушал себя и удивлялся, подобно тому обманутому, что вдруг узнает, как у него опять открылась язва, которую он считал уже чудом исцеленной. Еще сегодня утром, в лаборатории, он испытывал то облегчение, которое окрыляет верующего после отпущения грехов, — он искал в своем сердце былую страсть и не находил ее. Каким торжественным и даже резонерским тоном взывал он к Робинсону, которого с весны некая девица из театра Буфф нередко отвлекала от его обязанностей.

— Друг мой, ученый, влюбленный в свою науку

и стремящийся достичь в ней известных вершин, не может не считать потерянными часы, минуты, отданные любви к женщине…

А когда Робинсон, откинув назад свои непокорные волосы и протерев стекла очков полой халата, прожженного кислотой, отважился заметить: «И все-таки любовь…» — доктор перебил его:

— Нет, дорогой мой, у настоящего ученого наука не может не одержать верх над любовью, исключая краткие затмения. Иначе у него на всю жизнь останется горький осадок оттого, что он лишил себя более высоких радостей, которыми насладился бы, отдав весь свой пыл науке.

— Несомненно, — ответил ему Робинсон, — что большинство великих ученых скорее всего испытали только плотскую любовь, я не знаю среди них таких, что были бы одержимы истинной страстью.

В этот вечер доктор понял, почему одобрение со стороны ученика заставило его покраснеть. Довольно было одной фразы Раймона: «Я видел Марию Кросс», — чтобы в нем всколыхнулась страсть, которую он считал уже умершей. Ах, на самом деле она только дремала, долетевшие до нее слова пробудили и напитали ее, и вот она

уже потягивается, зевает и встает во весь рост. Не в силах завладеть тем, к чему она вожделеет, она утоляется словами. Ладно, была не была, доктор будет говорить о Марии Кросс.

Сблизившись благодаря обоюдному желанию восхвалять Марию Кросс, отец и сын с первых же слов перестали понимать друг друга: Раймон утверждал, что женщина такого пошиба не может не вызывать отвращения у благочестивых скромников, он восхищался ее смелостью, ее безудержным честолюбием, всей ее вольной жизнью, какой она рисовалась ему в воображении. Доктор возражал, что Мария вовсе не куртизанка и не надо верить людской молве.

— Я хорошо знаю Марию Кросс! Могу сказать, что во время болезни ее маленького Франсуа, да и после того, я был ее лучшим другом… Она со мной делилась…

— Бедный папа! Представляю, как она тебе морочила голову! Разве нет?

Доктор усилием воли взял себя в руки и с жаром ответил:

— Нет, мой мальчик: она исповедовалась мне с необыкновенным самоуничижением. Если на свете есть человек, о котором можно сказать, что его поступки на него не похожи, то это именно

Мария Кросс. Ее погубила неизлечимая лень. Ее мать, учительница в школе Святой Клары, готовила ее к поступлению в Педагогический институт, но ее брак с младшим врачом Сто сорок четвертого полка прервал эти занятия. В течение трех лет ее семейной жизни никто не мог сказать о ней худого слова, и будь ее муж жив по сей день, она оставалась бы самой порядочной и самой незаметной из женщин. Ей ставили в упрек единственно ее лень и как следствие этой лени — неспособность позаботиться о своем доме. Муж ее, бывало, ворчал, — это она мне сама рассказывала, — что весь их обед нередко составляла миска лапши, разогретой на спиртовке. Она предпочитала целый день валяться с книжкой, одетая в драный халат и шлепанцы на босу ногу.

Если бы ты знал, как претит роскошь этой пресловутой куртизанке! Подумай только, еще совсем недавно она решила больше не пользоваться коляской, которую ей предоставил Ларуссель, и теперь ездит на трамвае, как все… Чего ты смеешься? Не вижу тут ничего смешного… Да перестань ты ржать, это мне действует на нервы… Когда она осталась вдовой с ребенком на руках и надо было идти работать, ты легко можешь себе представить, какой беспомощной

должна была чувствовать себя эта «интеллигентка»... На ее беду, какая-то приятельница ее покойного мужа устроила ее секретаршей к Ларусселю. У Марии не было никакой задней мысли, по Ларуссель, как правило, беспощадный к своим служащим, ей почему-то не делал ни одного замечания, хотя она всегда опаздывала и не слишком усердствовала в работе, а этого было достаточно, чтобы ее скомпрометировать. Когда она смекнула, в чем дело, бессильная что-либо предпринять, то в глазах остальных уже была «пассией патрона», и их враждебность сделала для нее дальнейшую работу невозможной. Она уведомила Ларусселя, который только этого и ждал. Он предложил молодой женщине, пока она не подыщет себе другого места, присматривать за его загородным домом, который он не смог или не пожелал в том году сдать...

— И она не нашла в этом предложении ничего предосудительного?

— Нет, она, конечно, прекрасно поняла, для чего он это затеял, но бедной женщине приходилось теперь оплачивать квартиру, которая была ей уже не по средствам, кроме того, у ее сына Франсуа началось воспаление кишечника, и врач считал, что ему необходимо жить за городом;

наконец, она чувствовала себя уже настолько скомпрометированной, что у нее не хватило мужества отказаться от такого выгодного предложения. Обстоятельства оказались сильнее ее.

— Ну, конечно…

— Ты не знаешь человека, о котором судишь! Она долго сопротивлялась. Но что ей было делать? Не могла же она запретить Ларусселю приводить к себе вечерами гостей, — да, я признаю, она оказалась слаба и непоследовательна, согласившись присутствовать на этих ужинах в качестве хозяйки. Но я-то знаю, как происходили эти знаменитые ужины по средам, эти пресловутые оргии… Они бы не вызвали никакого шума, если бы как раз в то время состояние госпожи Ларусель так заметно не ухудшилось. Клянусь тебе, в то время Мария даже не знала, что жена ее патрона опасно больна. «Я не сознавала, что поступаю дурно, — говорила она мне, — ведь я тогда еще ничего не позволяла мосье Ларусселю, ни одного поцелуя, решительно ничего. Что плохого было в том, что я возглавляла эти дурацкие застолья? Конечно, меня опьяняло желание блеснуть перед ними… Я изображала из себя мыслящую женщину и чувствовала, что мосье Ларусель мною гордится… Он обещал позаботиться о моем

ребенке…»

— Здорово она тебя околпачила!

До чего же наивен его папаша! Но особенно злило Раймона, что доктор принизил Марию Кросс до уровня какой-то жалкой учительницы, честной и слабовольной, и тем обесценил его победу.

— Она уступила Ларусселю лишь после смерти его жены, уступила от скуки, от какого-то отчаянного безразличия, — да, вот это точное слово, она сама его нашла — «отчаянное безразличие». Впрочем, женщина трезвого ума, без иллюзий, она не верила ни его позам скорбного вдовца, ни туманным обещаниям когда-нибудь на ней жениться. По ее словам, она слишком хорошо изучила подобных господ, чтобы питать на сей счет какие-либо иллюзии. Как любовница она делала ему честь, но как жена! Тебе известно, что Ларуссель отправил своего мальчишку, Бертрана, учиться в Нормандию, чтобы тот ненароком не встретил его с Марией Кросс. В глубине души он вовсе не считает Марию существом иной породы, нежели те потаскухи, с которыми он каждый день ее обманывает. Вообще, физической близости между ними почти нет, я это знаю, я в этом убежден, — можешь мне поверить, мой мальчик, хотя Ларуссель и сходит по ней с ума — ведь он

совсем не такой человек, чтобы держать ее просто «для показа», как думают в Бордо. Но она его к себе не подпускает…

— Что же, по-твоему, Мария Кросс — святая?

Отец и сын друг друга не видели, и все же каждый чувствовал враждебность другого, хоть они и разговаривали вполголоса. Имя Марии Кросс на какой-то миг сблизило их, и оно же их вновь разъединило. Мужчина шагал с поднятой головой, подросток шел, уставив глаза в землю, вдруг он со злостью отшвырнул ногой шишку.

— Ты, Раймон, видимо, считаешь меня глупцом… Однако, если кто из нас двоих и наивен, то это ты, мой мальчик. Видеть в людях одно плохое вовсе еще не значит в них разбираться. Да, ты нашел верное слово: в такой вот Марии Кросс, чьи беды мне хорошо известны, прячется святая… Но тебе не понять…

— Смех, да и только!

— Кроме того, сам ты с ней не знаком, веришь всяким россказням. Я-то ведь с ней знаком.

— А я… я знаю, что знаю.

— Что ты знаешь?

Доктор остановился посреди аллеи, затененной каштанами, и сжал руку Раймона.

— Да пусти же меня! Охотно верю — Мария

Кросс не подпускает к себе Ларусселя, но ведь есть другие…

— Врун!

Ошеломленный, Раймон пробормотал: «Ах, вот оно что!» У него мелькнуло подозрение, но, едва возникнув, тут же улетучилось. Он тоже никак не мог связать любовь с привычным для него образом отца, человека хотя и занудного, но не от мира сего; детскими глазами он всегда смотрел на доктора как на существо бесстрастное и безупречное, неподвластное злу и неподкупное, выше всех прочих людей. В темноте он слышал его прерывистое дыхание.

Тут доктор сделал над собой нечеловеческое усилие и почти веселым тоном повторил:

— Врун, да, врун! Хвастунишка, вздумавший излечить меня от иллюзий. — И так как Раймон молчал, прибавил: — Ну, рассказывай.

— Я ничего не знаю.

— Ты только что сказал: я знаю, что знаю.

Раймон ответил, что сказал это просто так, — ответил тоном человека, решившего молчать. Доктор больше не настаивал. Как бы он ни старался, сын все равно его не поймет, хотя он здесь, рядом, весь ощетинившийся против отца: доктор ощущал возле себя жар и одуряющий аромат его

тела — тела молодого животного.

— Я бы еще побыл здесь… Не хочешь ли на минутку присесть, Раймон? Вот наконец и ветерок повеял…

Раймон заявил, что предпочитает лечь спать. Еще несколько секунд доктор слышал, как его сын гонит ногой шишку, а потом он остался один под зеленым навесом деревьев, внимая жалобам, которые воссылали к небу изнывающие от зноя и тоски луга. Подняться со скамейки стоило огромного усилия. В кабинете у него все еще горело электричество: «Пусть Люси думает, что я работаю… Сколько времени потеряно! Мне пятьдесят два года, нет, пятьдесят три. Что за сплетни мог рассказать Раймону этот Папильон?» Обеими руками доктор стал ощупывать ствол каштана, на котором, как он помнил, Раймон и Мадлена вырезали свои инициалы. И вдруг он обнял дерево и, закрыв глаза, прижался щекой к его гладкому стволу. Немного погодя решительно выпрямился, отряхнул рукава и, наугад поправив галстук, зашагал к дому.

Тем временем Раймон, руки в карманах, шел по дорожке через виноградники, все еще гоня перед собой шишку и бормоча себе под нос: «Какой же он легковерный! Теперь таких нет!» О, уж он-то

знает, что к чему, его не проведешь, Раймон не собирался смаковать свое счастье до исхода этой душной ночи. Усыпавшие небо звезды и запах акаций были ему безразличны. Летняя ночь напрасно взывала к этому юному самцу, хорошо оснащенному природой и в ту минуту, как никогда, уверенному в своей силе, в мощи своего тела, глухого ко всему, что телу неподвластно.

## VII

Единственное средство забыться — работа. Каждое утро доктор просыпался исцеленным, словно у него удалили точившую его язву, и ехал в город, один, потому что с наступлением тепла Раймон экипажем не пользовался. Мыслями доктор все время жил в лаборатории, а от его страсти оставалась лишь притупившаяся боль, о которой он хранил смутное воспоминание. Он бы мог пробудить ее, если бы захотел, и дотронувшись до чувствительного места, наверняка исторг бы у себя крик. Но вчера самая дорогая для него гипотеза была опровергнута опытом, по уверениям Робинсона, безукоризненным, — это грозило свести на нет всю проделанную работу. Как будет торжествовать Х., заявивший в Биологическом

обществе, что у него, Куррежа, ошибочная методика исследования!

Величайшее несчастье женщин состоит в том, что ничто не отвлекает их от терзающего втайне врага. В то время как доктор, прильнув к микроскопу, совершенно забывал о себе и об окружающем мире, всецело захваченный тем, что наблюдал в эту минуту, словно собака, сделавшая стойку перед дичью, Мария Кросс лежала на кушетке при спущенных жалюзи, дожидаясь вожделенного часа свидания — краткой вспышки огня в тусклом сумраке ее дней.

Но даже этот единственный час — как был он ненадежен! Им очень скоро пришлось отказаться от удовольствия ездить вместе до Таланской церкви. Мария Кросс приезжала раньше Раймона и встречалась с ним недалеко от коллежа, в одной из аллей городского парка. Он держал себя еще более скованно, чем в первый день, и его пугливая неловкость окончательно убедила Марию в том, что это совсем еще ребенок, хотя кое-что в его поведении — то смешок, то брошенный им намек, то взгляд исподлобья — могли бы ее насторожить, но она упрямо держалась за созданный ею образ ангела. Она приближалась к этому ангелу с величайшей осторожностью,

затаив дыхание и на цыпочках, словно боялась спугнуть дикую птицу. Все поддерживало ее в этом заблуждении: его щеки, вспыхивавшие румянцем от всякого пустяка, его гимназический жаргон и едва уловимые, как легкий налет, следы детскости в его развитой, сильной фигуре. Мария себя запугала тем, что она видела в Раймоне и чего на самом деле в нем не было; она трепетала перед чистотой его взгляда, упрекала себя в том, что замутила и встревожила его душу. Ничто не подсказывало ей, что в ее присутствии Раймон неотвязно думал об одном: как ему теперь поступить — снять меблированную комнату?

У Папильона был один адресок… Но, пожалуй, для такой женщины это будет не вполне пристойно… Тот же Папильон говорил, что в гостинице «Терминус» можно снять комнату на день, надо было бы справиться, но Раймон ходил и ходил мимо входных дверей, не решаясь войти. Он предвидел всевозможные трудности и считал их неодолимыми…

Мария Кросс думала о том, как бы завлечь Раймона к себе, но не решалась даже намекнуть ему на это. Она остерегалась запачкать, хотя бы и мысленно, этого пугливого мальчика, свою дикую птицу, но уверяла себя, что в душной плю-

шевой гостиной, в глубине дремлющего сада, их любовь наконец изольется в словах, подобно тому как недавняя гроза разрешилась дождем. Она не воображала себе ничего такого — разве что прижмет его голову к своей груди… Он будет возле нее, как молодой олень, приученный ее заботами, и она возьмет в ладони его теплую мордочку. Впереди ей виделся долгий путь их любви, но она и мысли не допускала об иных ласках, кроме самых ранних и самых чистых, запрещая себе думать о постепенно возгорающейся пылкости — о лесе, в котором любящие раздвигают ветки ради того, чтобы заблудиться… Нет, нет, так далеко они не зайдут, она не станет разрушать чувства, обуревающие этого мальчика, — восхищение и страх. Как дать ему понять, не вспугнув, что на этой неделе он может прийти в душную плюшевую гостиную — надо воспользоваться тем, что г-н Ларуссель уехал по делам в Бельгию.

* * *

Сидя вечером за столом, доктор наблюдает Раймона, жадно хлебающего суп, но видит в нем не сына, а чужого человека, который сказал ему о Марии Кросс: «Я знаю, что знаю…» «Что такое мог рассказать ему Папильон? Черт возьми,

можно ли теперь сомневаться в том, что Марией завладел какой-то незнакомец? Ждать письма совершенно бессмысленно, слишком ясно, что она больше не хочет меня видеть. Признак, что она увлеклась… Но кем? Даже не знаю, как теперь подступиться к мальчику. Настаивать, чтобы он сказал, — значит выдать себя…» В эту минуту его сын поднимается из-за стола и выходит, не отвечая матери, которая кричит ему вдогонку;

— Куда ты? Он теперь почти каждый вечер ездит в город, — добавляет она. — Я знаю, что ключ от ворот он берет у садовника и возвращается в два часа ночи через кухонное окно. Если бы ты слышал, как он отвечает на мои замечания. Тебе надо наконец вмешаться, но ты бесхарактерный человек!

Доктора едва хватает на то, чтобы пробормотать:

— Умнее всего закрыть глаза.

До него доносится голос Баска: «Будь это мой сын, уж я б его выдрессировал!» Доктор поднимается, тоже выходит в сад. Посмей он только, он бы крикнул: «Для меня не существует ничего, кроме моей муки». Люди никогда не задумываются над тем, что именно увлечения отцов чаще всего отдаляют их от сыновей.

Он возвращается к себе, садится за письменный стол, выдвинув один из ящиков, достает оттуда связку писем и перечитывает те, что Мария писала ему полгода назад: «*Ничто не может привязать меня к жизни сильнее, чем желание стать лучше… Мне безразлично, что это будет совершаться втайне и что люди по-прежнему будут указывать на меня пальцем, я смиряюсь с бесчестьем…*»

Доктор забывает, что в то время подобный избыток добродетели приводил его в отчаяние и для него было пыткой, что их отношения развиваются в столь возвышенной сфере; он приходил в ярость оттого, что невольно спасает женщину, с которой ему так сладостно было бы пасть. Он представляет себе, с какой насмешкой читал бы это письмо Раймон, возмущается и вполголоса возражает, как будто в комнате он не один: «Позерство?» Не позерство ли этот ее высокий литературный слог? Но разве тогда, у постели умирающего ребенка, это тоже было позерство — ее смиренная скорбь, ее готовность принять страдание, словно через постулаты кантовской философии, внушенные ей матерью, к ней прорвалось наследие старой мистики? Стоя на коленях перед маленькой кроваткой (какое

одиночество окружало этого покойника, какое презрение!), она нещадно винила во всем себя, била себя в грудь, стонала, что все к лучшему: по крайней мере, ее мальчик не успел устыдиться за свою мать… В этом месте слово брал ученый: «Она, бесспорно, была искренна, и все же при всем величии ее горя в нем была доля самодовольства — она удовлетворяла свой вкус к позе…»

Мария Кросс всегда искала романические ситуации: разве она не вбила себе в голову, что ей непременно надо повидаться с умирающей г-жой Ларуссель? Доктор потратил немало усилий, убеждая ее, что встречи такого рода бывают эффектны только на сцене. Тем не менее ему пришлось взять на себя роль защитника любовницы перед женой, и он смог передать Марии заверения, что она прощена.

Чтобы немного отвлечься, доктор подошел к открытому окну и, вслушиваясь в полумрак летней ночи, пытался различить в ее слитном шуме отдельные звуки: непрестанный треск цикад, кваканье с болотца, отчетливые голоса двух жаб, прерывистое пенье какой-то птицы, быть может, вовсе и не соловья, звонки последнего трамвая. «Я знаю, что знаю», — сказал Раймон. Кто же это мог понравиться Марии Кросс? Доктор переби-

рает в памяти имена и отбрасывает их одно за другим: все эти люди внушают ей отвращение. Но кто, кто же не внушает ей отвращения? Нука, вспомни, что поведал тебе Ларуссель, когда пришел однажды на прием, чтобы измерить давление: «Между нами говоря, она этого дела не любит… вы меня понимаете, а? Со мной — еще куда ни шло, потому что это все-таки я… В первое время, когда я собирал у себя приятелей, это было просто забавно. Все они вертелись вокруг нее, и я ждал, что будет: ведь когда кто-нибудь из друзей представляет нам свою любовницу, мы первым делом думаем, как бы ее отбить, верно? Я подумал: ну-ка, ну-ка, попробуйте, господа… но надолго их не хватило — она их быстро отвадила. На свете нет женщины менее искушенной в любви, чем Мария, и получающей от нее так мало удовольствия, — я знаю, что говорю. Это непорочная женщина, доктор! Более непорочная, чем все эти кичливые добропорядочные дамы, которые ее презирают». И Ларуссель еще сказал: «Именно потому, что Мария так непохожа на других женщин, я все время боюсь, что в мое отсутствие она может принять какое-нибудь нелепое решение; все дни напролет она мечтает, а выходит из дому, только чтобы поехать на кладбище… Вы не дума-

ете, что на нее повлияла какая-нибудь книга?»

«Да, может быть, книга, — размышляет доктор, — хотя нет, я бы об этом знал, это ведь по моей части! Бывает, что книга переворачивает жизнь мужчины, и еще как! Да, бывает, но жизнь женщины? Полноте! По-настоящему, глубоко нас может взволновать лишь что-то живое, из плоти и крови. Книга? Роман?» Он покачал головой. Слово «роман» навело его на мысль о любовных шашнях, и он сразу вообразил рядом с Марией Кросс неведомого ему наглого обольстителя, эдакого горного козла.

В траве надрывно кричали коты. Под чьими-то шагами захрустел гравий, рядом со стуком открылось окно: это, конечно, вернулся Раймон. Потом доктор услышал, как кто-то идет по коридору; в дверь к нему постучали — вошла Мадлена:

— Папа, ты еще не спишь? Я беспокою тебя из-за Катрин, у нее вдруг начался хриплый кашель… ни с того ни с сего… Боюсь, не круп ли.

— Нет, круп начинается совсем не так. Сейчас я приду.

Немного погодя, когда он выходил от дочери, резкая боль в левой стороне груди вдруг приковала его к месту: схватившись рукой за сердце, он застыл у стены коридора, но никого не позвал на

помощь и в ясном сознании слышал за дверью разговор четы Баск:

— Ну что тебе сказать? Да, он ученый, никто не спорит, но наука сделала его скептиком, он больше не верит в лекарства, а как можно лечить без лекарств?

— Так он же говорит, что это пустяк — не ложный круп даже.

— Не беспокойся, кому-то из своих пациентов он бы непременно выписал рецепт. Но у себя в семье он не церемонится, не желает себя утруждать. Иногда просто зло берет, что нельзя обратиться к кому-нибудь другому.

— Да, но зато как удобно, что он всегда под рукой, даже ночью. Когда папочки не станет, я потеряю всякий покой из-за малышей.

— Надо было тебе выйти за врача!

Смех был заглушен поцелуем. Доктор почувствовал, как рука, стиснувшая ему сердце, разжалась, и неслышной поступью удалился. Он лег в постель, но ему не лежалось, и, спустив ноги с кровати, он остался сидеть в потемках. Все вокруг было объято сном, только листва шелестела… «Любила ли Мария кого-нибудь? Я вспоминаю некоторые ее капризы… например, как она хотела заставить крошку Габи Дюбуа

порвать с Дюпоном-Гюнтером. Но это был тоже высокий порыв… Должно быть, в числе ее предков был какой-нибудь подвижник, от которого она унаследовала стремление спасать человеческие души… Кстати, кто мне говорил в связи с этой историей, что эта самая Габи рассказывала о Марии бог знает что? Я помню и другие ее выходки… Быть может, она действительно не совсем „того“… Мне приходилось замечать, что натуры чересчур возвышенные… Но уже светает!»

Он взбил подушку, осторожно лег, чтобы не потревожить свой разладившийся механизм, и погрузился в забытье.

## VIII

— А что мне сказать садовнику?

В пустынной аллее городского парка Мария Кросс пытается уговорить Раймона прийти к ней домой, где он наверняка никого не встретит. Она настаивает и стыдится своей настойчивости, чувствуя, что вопреки себе поступает как совратительница. Могла ли она увидеть в робости мальчика, который еще недавно топтался у дверей магазинов, не решаясь войти, что-либо иное, кроме невинной боязни? Вот почему она

запротестовала:

— Пожалуйста, не думайте, Раймон, что я хочу… Пусть у вас не будет таких мыслей…

— Мне неприятно, что надо будет пройти мимо садовника.

— Но я же вам объясняю, что никакого садовника нет. Я живу одна в пустом доме, который мосье Ларусселю никак не удается сдать. Он поместил меня там как сторожиху.

Раймон громко расхохотался.

— Значит, вы и есть садовница!

Молодая женщина пожала плечами и, отвернувшись, пробормотала:

— Все говорит против меня. Никого не заставишь поверить, что я согласилась занять это место без всякой задней мысли. Моему сыну Франсуа нужен был свежий воздух…

«Знаем мы эту песню, — подумал Раймон. — Болтай, болтай…»

Он перебил ее:

— Так вы говорите, что садовника у вас нет, ну, а прислуга?

Мария успокоила его: по воскресеньям она отпускает свою единственную служанку Жюстину. Эта женщина замужем за кочегаром, он приходит к ним ночевать, чтобы в доме с ненадежными

запорами был хоть один мужчина, — в предместье неспокойно, но по воскресеньям после обеда Жюстина и ее муж уходят. Раймону надо только толкнуть дверь и войти: слева будет столовая, а сразу за ней гостиная.

Нахмурясь, он ввинчивал каблук в песок аллеи. За кустами бирючины поскрипывали качели, подошла разносчица, предлагая припорошенные пылью булочки и шоколадные батончики в желтой обертке. Раймон признался, что сегодня не завтракал, и купил себе рогалик и шоколадное печенье. Глядя на мальчика, отщипывающего кусочки рогалика, Мария поняла, что ее ждет: ее желания в истоке своем всегда чисты, а поступки неизбежно оказываются безобразными. Когда в трамвае она обратила внимание на этого подростка и его лицо стало усладой для ее глаз, на уме у нее не было ничего дурного. С какой стати отказывать себе в таком безобидном удовольствии? Разве человек, изнывающий от жажды, колеблется, прежде чем припасть к источнику, который встретился ему на пути? «Да, я хочу принять его у себя дома, но только по той причине, что на улице или на скамейке парка мне не удастся заставить его передо мною раскрыться. Ну и пусть со стороны это выглядит некрасиво: двадцатисемилетняя

женщина, содержанка, завлекает к себе подростка, сына единственного человека, который оказал ей доверие, единственного, кто не бросил в нее камень…» И после того, как они расстались немного не доходя до креста св. Генезия, она опять подумала: «Я хочу, чтобы он пришел, но не за тем, не за тем, — при одной мысли об этом мне делается дурно… Но он все равно опасается, да и как ему не опасаться? Все мои поступки в моих глазах выглядят совершенно невинно, а в глазах других — гадко. Но, может быть, людям виднее?» Она произнесла одно имя, потом другое… Если ее презирают за навязанные ей поступки, то сама она помнит и другие, совершенные ею втайне, о которых знает только она одна…

Мария толкнула калитку, которую в воскресенье впервые откроет Раймон, прошла по дорожке, заросшей травой (садовника-то нет). Тучи нависали так низко, что казалось непонятным, почему они до сих пор не прорвались, — небо как будто тоже обессилело от всеобщей жажды. Поникли увядшие листья. Служанка не закрыла ставни, и большие мухи бились о деревянные панели столовой. Мария нашла в себе силы только кинуть шляпку на пианино и растянулась на кушетке, пачкая ее своими туфлями. Единственное, что

она была еще в состоянии сделать, это зажечь сигарету. Ах, это была ее беда — физическая вялость при самом лихорадочном воображении! Сколько вечеров потеряла она, лежа здесь, на этой кушетке, с сердечной болью от беспрерывного курения! Сколько планов бегства, очищения рухнуло и пошло прахом! Для начала надо было подняться, что-то предпринять, повидаться с людьми. «Но уж коли я отказываюсь исправить свою жизнь с внешней стороны, остается только не позволять себе ничего такого, что могло бы отягчить или потревожить мою совесть. Так вот, юный Курреж…» Решено, она зовет его к себе ради единственного удовольствия, которое уже испытала в шестичасовом трамвае: ради его утешительного присутствия, ради грустного и неторопливого созерцания, — только здесь, у себя, она будет созерцать его вблизи и вволю. И больше ничего? Больше ничего? Когда присутствие какого-то человека нас волнует, мы невольно трепещем при мысли о возможности продолжения, неясное будущее нас пугает. «Мне очень скоро надоело бы на него смотреть, если бы я не знала, что он отвечает на мою игру и что в один прекрасный день мы с ним разговоримся… Таким образом я не мыслю себе в этой гостиной ничего иного, кроме

задушевной беседы, материнских ласк, нежных поцелуев. Но имей же мужество признаться себе в том, что за пределами этого невинного счастья ты угадываешь огромное пространство, одновременно запретное и ничем не огражденное: никаких застав, перед тобой открытое поле, и ты незаметно заходишь все дальше в потемках, где так легко ненароком заблудиться.

А потом? Кто запретит нам насладиться счастьем? Разве я не могу сделать этого мальчика счастливым?.. Вот здесь-то и начинаются сомненья: ведь это сын доктора Куррежа, святого человека… Он и мысли не допустил бы о чем-либо подобном. Я сама однажды, смеясь, сказала ему, что нравственный закон в его душе сияет столь же ослепительно, как звездное небо над его головой…»

Услышав дробный стук капель по листьям, раскаты неспешно подступающей грозы, Мария закрыла глаза и, сосредоточась, представила себе чудесное лицо мальчика, такого чистого (как ей хотелось думать), а тот меж тем в эту минуту прибавлял шагу, чтобы не угодить под ливень, и размышлял: «Папильон говорит, что в этих делах надо сразу идти на штурм, он говорит: женщин такого пошиба надо брать силой, они только силу

и любят…» В растерянности мальчик поглядел на рокочущее небо и вдруг пустился бежать, набросив на голову пелерину; чтобы срезать кусок пути, он с ловкостью горного козла перемахнул через кусты.

Гроза уходила, но она еще висела над головой, и как раз наступившее затишье выдавало, что она еще близко. И тут Мария Кросс почувствовала, что ее осенило свыше, она была убеждена, что поступает правильно, сомнений быть не могло. Она поднялась, села за стол и принялась писать: «*Ни в коем случае не приходите в воскресенье, не приходите вообще, никогда. Только ради Вас иду я на эту жертву…*» Тут бы ей и поставить точку, но какой-то демон шепнул ей, чтобы она написала еще целую страницу: «*Вы могли бы стать единственной отрадой и утешением моей ужасной, загубленной жизни. Нынешней зимой, возвращаясь по вечерам вместе с вами, я отдыхала душой, о чем вы и не догадывались. Но Ваше лицо, на которое Вы позволяли мне смотреть, было лишь зеркалом души, коей я мечтала завладеть: знать о Вас все без остатка, унимать Ваши тревоги, раздвигать ветки на Вашем пути, быть для Вас больше, чем матерью, ближе, чем подругой… Да, я об этом мечтала… но не в моей*

*власти стать иной… Вопреки себе, вопреки мне Вы дышали бы здесь атмосферой разврата, в которой я задыхаюсь…*» Она еще долго писала. Дождь припустил вовсю, и не слышно было ничего, кроме плеска воды. Окна были закрыты, за печкой шуршал сверчок. Мария взяла было книгу, но было слишком темно, а из-за грозы электричество не зажигали. Тогда она села за пианино и начала играть, наклонившись вперед, словно ее руки притягивали к себе голову.

Назавтра — то была пятница — Мария почувствовала безотчетную радость оттого, что после грозы погода испортилась, и весь день провела в халате, предаваясь чтению, музыке и безделью, пытаясь вспомнить каждое слово своего письма и представить себе, как его читает юный Курреж. В субботу после гнетуще-тяжелого утра снова пошел дождь, и теперь Мария поняла, чему она так радуется: плохая погода давала ей основание не выходить в воскресенье из дома, как она намеревалась раньше; в случае, если Раймон все-таки придет на свидание, несмотря на письмо, она будет на месте. Чуть отойдя от окна, сквозь которое она наблюдала, как разлетаются брызгами на дорожке капли дождя, Мария произнесла громким и твердым голосом, словно давала торжествен-

ный обет: «Какая бы ни была погода, я уйду».

Куда она пойдет? Будь жив Франсуа, она повела бы его в цирк. Иногда она выезжала в концерт и одна занимала целую ложу, охотнее всего — ложу бенуара, но публика быстро ее узнавала: по движению губ Мария угадывала свое имя, наведенными на нее биноклями враждебная толпа словно ощупывала ее, лишенную возможности защищаться. Чей-нибудь голос произносил: «Ничего не скажешь, одеваться эти дамочки умеют», — «Имея деньги, это не так уж трудно. И, кроме того, у них ведь только и есть забот, что о своем теле». Случалось, кто-нибудь из друзей Ларусселя покидал клубную ложу и приходил с ней поздороваться: стоя вполоборота к залу, он громко смеялся, гордясь тем, что на людях разговаривает с Марией Кросс.

Но с того вечера, как в Мюзик-Холле ее публично оскорбили женщины, она перестала бывать где бы то ни было, исключая концерты общества св. Цецилии. Любовницы местных тузов ненавидели ее за то, что она не желала терпеть их общество. Только одна из них на несколько дней снискала ее благосклонность — та самая Габи Дюбуа, показавшаяся ей «возвышенной душой» после того, как они однажды вечером

обменялись несколькими словами в «Красном льве», куда ее затащил Ларуссель. Шампанское немало способствовало возвышению души Габи Дюбуа. В течение двух недель молодые женщины виделись ежедневно. Мария Кросс с терпеливым ожесточением, хотя и тщетно, пыталась порвать узы, привязывавшие ее приятельницу к другим людям. На одном из утренних спектаклей «Аполлона», куда Мария пришла, поддавшись приступу скуки, и, как всегда, сидела в ложе одна, привлекая к себе взгляды всего зала, она услышала в партере резкий смех Габи, потом засмеялись другие, до Марии донеслись обрывки негромко произнесенных оскорблений: «Эта потаскуха разыгрывает из себя королеву… эта… а прикидывается недотрогой…» Марии вдруг показалось, что она больше не видит в зале ни одного человеческого профиля — только обращенные к ней звериные морды. Когда в театре опять погасили свет и глаза зрителей приковала к себе обнаженная танцовщица, Мария тихонько сбежала.

Ее маленького Франсуа с ней больше нет, и теперь она никуда не пойдет. Вот уже год, как его не стало, и только он один еще может заставить ее выйти из дому, только эта каменная плита, не длиннее детского тельца, хотя для того, чтобы к

ней подойти, надо миновать аллею с указателем: «Великие». Но на пути к мертвому мальчику ей суждено было встретить живого.

В воскресенье утром бушевал ветер, но не из тех ветров, что лишь раскачивают верхушки деревьев: налетая порывами с юга, от моря, он с неодолимой силой заволакивал небо сплошным темным полотнищем. Только одинокий голос синицы открыл Марии, что тысячи птиц молчат. Тем хуже, она останется дома: юный Курреж получил ее письмо, она уже знает, насколько он робок, и может не сомневаться в его послушании. Если бы она даже не писала ему, он наверняка не решился бы войти в эту калитку. И она улыбнулась, вспомнив, как он ввинчивал каблук в песок аллеи и упрямо повторял: «А садовник?» Сидя в одиночестве за завтраком, она прислушивалась к шуму надвигающейся грозы. Крылатые кони ветра, сделав свое дело, мчались в бешеной скачке дальше, храпели и бились в ветвях деревьев. Не иначе как они пригнали сюда, на реку, с просторов взъярившейся Атлантики морских голубков и серебристых чаек, не садящихся на воду; казалось, этот ветер своим дыханьем окрасил облака, что неслись над предместьем, в мертвенно-зеленый цвет водорослей и забрызгал

листву едкой пеной. Высунувшись из окна в сад, Мария ощутила на губах ее леденящий привкус. Он не придет, но если бы она даже не писала ему, разве бы мог он выйти в такую погоду? Сначала ее снедала тревога, что он не придет. Ах, куда лучше знать, что он и в самом деле не придет. Впрочем, если она никого не ждет, зачем открывать буфет в столовой и проверять, остался ли еще портвейн? Наконец хлынул ливень, пронизанный солнцем. Мария раскрыла книгу и стала читать, ничего не понимая, терпеливо начала страницу сначала, но опять без толку; села за пианино, стараясь играть не слишком громко, чтобы услышать, если хлопнет входная дверь. Боясь разочарованья, она упрямо твердила себе: «Это ветер, это, конечно, ветер», — хотя уже слышала в столовой неуверенные, мешкающие шаги. Она застыла на месте, не в силах встать, и вот он уже здесь, в гостиной, смущенный тем, что с его шапки льет вода. Он не смеет сделать ни шагу, она не смеет заговорить с ним, оглушенная всколыхнувшейся в ней страстью, которая ломает все преграды и неистово устремляется к реваншу, которая в секунду захватывает все существо человека, подчиняет себе все его физические и духовные силы, обнажает его вершины и его дно. И все же она строгим тоном

произнесла самые обычные слова:

— Разве вы не получили моего письма?

Он все еще стоял в растерянности. («Она просто водит тебя за нос, — твердил ему Папильон. — Не позволяй ей морочить себе голову: держись посмелее…») Но, увидев перед собой это лицо, показавшееся ему таким разгневанным, Раймон опустил голову, как наказанный ребенок. А Мария, дрожа, словно здесь, в этой плюшевой гостиной, один на один с нею находился разъяренный молодой олень, не смела шевельнуться. Он пришел, хотя она сделала все возможное, чтобы его оттолкнуть, — значит, ее счастье не будет отравлено угрызениями совести и она может предаться ему всецело. Судьбе, которая пожелала бросить мальчика ей в жертву, она отвечала, что сумеет быть достойной этого дара. Чего она боялась? В эту минуту она была полна любви самой чистой, самой возвышенной, и доказательством тому служили слезы, набежавшие ей на глаза, когда она подумала о Франсуа: через несколько лет он стал бы таким же, как этот юноша… Она не знала, что гримаса, которую она сделала, сдерживая слезы, была истолкована Раймоном как признак раздражения, а быть может, и гнева. Неожиданно она сказала:

— В конце концов почему бы и нет? Вы хорошо сделали, что пришли. Положите-ка шапку на стул. Не беда, что она мокрая, этот генуэзский бархат видал виды… Хотите портвейну? Да? Нет? Значит, да.

Пока он пил, она сказала:

— Почему я написала вам это письмо? Я и сама не знаю… У женщин бывают причуды… впрочем, я знала, что вы все равно придете.

Раймон вытер губы тыльной стороной ладони.

— Вообще-то я чуть было не остался дома. Я подумал: она уйдет, и у меня будет дурацкий вид.

— С тех пор как у меня траур, я почти никуда не хожу… Я вам никогда не рассказывала о моем маленьком Франсуа?

Франсуа появился неслышно, словно он был живой. Быть может, матери хотелось удержать его возле себя, чтобы нарушить опасное уединение. Раймон увидел в упоминании Франсуа уловку с целью заставить его не выходить из рамок, но Мария, наоборот, хотела придать ему уверенности и, далекая от того, чтобы бояться его, полагала, что он сам ее боится. Впрочем, не она позвала на помощь своего умершего ребенка — он вошел сам, как входят дети, заслышав в гостиной материнский голос. Раз ее мальчик тут,

с ней рядом, значит, все будет благопристойно. Что ты себя терзаешь, несчастная женщина? За твоим креслом стоит маленький Франсуа, он улыбается, он не краснеет от стыда.

— Прошло, кажется, чуть больше года, как он умер. Я еще хорошо помню день похорон… мама сделала сцену отцу… — Он замолчал, пытаясь вспомнить, что именно было сказано.

— Сцену? Почему? Ах да, понимаю… Даже в те дни у людей не было сострадания.

Поднявшись с кресла, Мария взяла альбом и положила его Раймону на колени.

— Я хочу показать вам его фотографии. Их видел до сих пор только ваш отец. Вот Франсуа на руках у моего мужа — ему всего месяц от роду, в этом возрасте младенец еще и на человека не похож, разве только для матери. А вот посмотрите: тут ему два года, он смеется, держа в руках мячик. Тут мы сняты в Сали, он тогда был слабенький, мне пришлось израсходовать последние сбережения, чтобы остаться на весь сезон, но там был доктор такой доброты, такого милосердия… Его фамилия была Казамайор… Это он держит ослика за повод.

Наклонившись над Раймоном, чтобы переворачивать страницы, она не видела сердитого

лица подростка, который не мог шевельнуться с тяжеленным альбомом на коленях и бесился от этой вынужденной скованности.

— Вот он шести с половиной лет, за два месяца до смерти. Он выглядит поправившимся, верно? Я все время спрашиваю себя, не слишком ли много заставляла его заниматься? Ваш отец уверяет, что нет. В шесть лет он читал все, что бы ни попало ему под руку, даже то, чего он еще не мог понять. Живя рядом со взрослым человеком… — На секунду умолкнув, она продолжала:

— Это был мой товарищ, мой друг… — ибо в эту минуту и сама не понимала, чем был для нее Франсуа в действительности и чего она от него ждала. — Он уже начал задавать мне вопросы. Сколько ночей я провела без сна, думая о том, что в один прекрасный день придется ему объяснить… И единственная мысль, которая сегодня помогает мне жить, — что он ушел, не зная… что он не знал… что он никогда не узнает…

Она выпрямилась, руки ее повисли; Раймон не осмеливался поднять на нее глаза, но слышал, как содрогается ее тело. Хоть он и был растроган, он все же сомневался в ее искренности. Позже, на обратном пути, он будет повторять себе: «Она сама увлеклась этой игрой… она же просто играет

покойником… И все-таки, слезы?» Его представление о ней поколебалось. Подросток создал себе канонический образ блудницы, в полном соответствии с тем, что ему внушили его учителя, хотя и считал себя не подверженным их влиянию. Мария Кросс осадила его со всех сторон, словно армия, готовая к атаке; на ее щиколотках звенели браслеты Далилы[37] и Юдифи[38]; не существовало, по его мнению, такого предательства, такого притворства, на которое не была бы способна эта женщина, чьего взгляда праведники страшились пуще смерти.

— Приходите еще, когда захотите, я всегда дома, — сказала ему Мария Кросс.

Вся в слезах, но умиротворенная, она проводила его до дверей, не назначив ему нового свидания. После его ухода она села у кроватки Франсуа; она принесла сюда свою скорбь, как ребенка, уснувшего у нее на руках. Ее охватило чувство покоя,

---

**[37] Примечания: 37**

Далила — в Ветхом Завете женщина, возлюбленная Самсона, которого она предательски выдала филистимлянам.

**[38] Примечания: 38**

Юдифь — в ветхозаветной апокрифической традиции вдова, спасающая свой город от нашествия ассирийцев. Придя с лагерь врага, она обольщает полководца Олоферна и обещает ему помочь овладеть городом. Но, оставшись с ним наедине в шатре, отрубает Олоферну голову, чем повергает захватчиков в замешательство, помогая городскому ополчению прогнать их прочь.

быть может, обманчивого. Она не ведала, что не всегда ей будет оказана помощь; нет, мертвые не помогают живым; напрасно мы умоляем их показаться на краю бездны: их молчание, их отсутствие скорее походят на соучастие.

## IX

Для Марии Кросс было бы гораздо лучше, если бы первый визит Раймона не оставил у нее ощущения безопасности и невинности. Она была в восторге, что все обошлось так просто: «Я себе задурила голову», — думала она. Она как будто испытывала облегчение, но вскоре начала терзаться, что отпустила Раймона, не условившись с ним о новом свидании. Она не позволяла себе выйти из дому в те часы, когда он мог бы прийти. Жалкая игра страстей настолько несложна, что юноша овладевает ею с первой же своей интрижки, — Раймону не нужны были ничьи советы для того, чтобы решить: пусть-ка она поварится в собственном соку.

После четырехдневного ожидания Мария стала осыпать себя упреками: «Я с ним говорила только о себе, только о Франсуа, это нагнало на него тоску… Что ему за интерес смотреть этот альбом?

Надо было мне расспросить, как он живет, завоевать его доверие. Ему было скучно, он счел меня занудой… А вдруг он больше не придет?»

Вдруг он больше не придет! Беспокойство вскоре переросло в паническую тревогу. «Ну, конечно! Можешь ждать сколько угодно! Он больше не придет, его теперь не заманишь, в его возрасте скучных людей не терпят… Да! Вот и все, это дело конченое!» Ужасное, ошеломляющее открытие! Он больше никогда не придет. Мария Кросс засыпала последний колодец в своей пустыне. Отныне вокруг нее только песок. Что может быть более опасного в любви, нежели бегство одного из сообщников? Его присутствие часто сковывает: сидя напротив Раймона Куррежа, Мария Кросс видела в нем прежде всего подростка и полагала, что было бы подлостью смущать его душу, — она помнила, кто его отец; то, что еще оставалось в его лице детского, напоминало ей ребенка, которого она потеряла, даже мысленно она приближалась к нему с каким-то пламенным целомудрием. Но теперь, когда его здесь нет и она опасается, что больше никогда его не увидит, чего ей пугаться этой вскипевшей в ней мутной волны, этого бешеного водоворота? Уж коли ей не дано утолить жажду этим плодом, почему хотя

бы не вообразить себе его неведомый вкус? Кому от этого вред? Можно ли ждать упрека от камня, на котором выбито имя Франсуа? Кто видит ее в этом доме, где у нее нет ни мужа, ни ребенка, ни слуг? Жалкая болтовня г-жи Курреж, ссоры из-за прислуги, — как это было бы хорошо, если бы Мария Кросс заняла свой ум чем-то таким! Куда податься? За изгородью поникшего сада раскинулось предместье, а за ним — каменистый город, где если и разразится гроза, то следом неизбежно потянутся девять удушливо жарких дней. Под этим мертвенным небом и лютый зверь рыщет вялый, в поисках убежища, ворчит. Блуждая по саду или по пустым комнатам, Мария Кросс постепенно уступает (а есть ли у нее иной выход из ее унизительного положения?), уступает соблазну безнадежной любви, которая подарит ей лишь жалкое счастье быть самой собой. Она больше не предпримет никаких мер против пожара, но и не будет страдать от своей заброшенности, от безделья; огонь, сжигающий ее изнутри, поглотит ее всецело. Невидимый демон нашептывал ей: «Ты погибнешь, но больше не будешь скучать».

Самое удивительное в грозе не хаос, а тишина, оцепенение, в которое она повергает окружающий мир. Сквозь оконные стекла Мария видела

листву, неподвижную и словно намалеванную. В подавленности деревьев было что-то человеческое: можно было подумать, что им знакомы бесчувствие, остолбенение, сон. Мария дошла до того предела, когда страсть становится наваждением, она бередила свою рану, раздувала в себе огонь: любовь становилась для нее удушьем, спазмой, которую она ощущала то в горле, то в груди. Письмо Ларусселя вызвало у нее дрожь отвращения. Ах, одна мысль о близости с ним… впредь этого не будет, совсем… До его приезда еще две недели… Она успеет умереть. Она жила Раймоном, мыслями о нем и воспоминаниями, которых сама стыдилась: «Я смотрела на кожаный ободок его шапки, там, где он касается лба… вдыхала запах его волос…» А удовольствие видеть его лицо, его шею, его руки… Отчаяние принесло ей невообразимый покой. Иногда у нее мелькала мысль, что ведь он жив, что ничего еще не потеряно, что, может быть, он все-таки придет. Но тут же, словно надежда пугала ее, Мария спешила вернуться к полному самоотречению, к спокойствию женщины, которой уже нечего ждать. С каким-то жутким наслаждением она углубляла пропасть между собой и тем, кого упорно считала непорочным: этот недоступный

мальчик сиял так же далеко от нее и ее любви, как охотник Орион[39]. «Я, женщина уже пожившая, падшая, и он, еще не вышедший из детства; его чистота — это небо, разделяющее нас, и даже моей страсти не преодолеть этого расстояния». Все последние дни западный и южный ветры влекли за собой темные легионы туч и раскаты грома, готовые уже обрушиться на землю, но вдруг медлили, огибали зачарованные вершины и исчезали, оставляя после себя такую свежесть, словно уже излились дождем.

В ночь с пятницы на субботу дождь наконец шелестел не переставая. Благодаря снотворному Мария спокойно встретила благоуханное дуновенье, которым пахнуло из сада на ее измятую постель, и погрузилась в сон.

Солнечным утром, сладко потягиваясь в постели, она удивилась тому, что накануне так страдала. Что это еще за блажь? Зачем все истолковывать к худшему? Мальчик жив, он ждет только знака. После пережитого кризиса Мария вновь почувствовала себя трезвой, уравновешенной и, пожалуй, разочарованной. «Только и

**[39] Примечания: 39**

Орион — красавец-великан, охотник из свиты богини Артемиды. Был убит ею из лука за любовную измену, но помещен Зевсом на небо в виде созвездия.

всего? Да он придет, — размышляла она, — для верности я ему напишу, и я его увижу». Ей надо было во что бы то ни стало столкнуть свое страдание с предметом этого страдания. Она постаралась внушить себе представление об обыкновенном безобидном мальчике и удивилась, что не дрожит больше при мысли о том, как его голова будет покоиться у нее на коленях. «Напишу доктору, что познакомилась с его сыном (знала, что не напишет). Почему бы и нет? Что мы с ним делаем плохого?» После полудня она вышла в сад, блестевший лужами; она была действительно спокойна, слишком спокойна, так что даже ощущала какой-то смутный страх: если в нас ослабевает страсть, значит, мы ближе к небытию; уйдет любовь, и ей нечем будет скрыть пустоту своей жизни. Она пожалела, что погуляла по саду всего каких-нибудь пять минут, и прошлась еще раз по тем же аллеям, потом поспешила домой, так как во влажной траве у нее промокли ноги… Надев шлепанцы, растянулась на кушетке, закурила, взялась за книгу, но что такое? Все ей было неинтересно. Она опять вышла в сад. И, бросив взгляд на окна дома, вдруг увидела за стеклом гостиной Раймона.

Он прижался к стеклу лицом и забавлялся,

расплющивая нос. К сердцу ее прихлынула волна — была ли это радость? Она взошла по ступенькам крыльца, думая о том, что здесь только что ступали его ноги, распахнула дверь, поглядев на щеколду, которой только что касалась его рука, медленно пересекла столовую, пытаясь придать лицу подобающее выражение.

Раймону не повезло, что он пришел именно после тех дней, когда Мария так пылко мечтала о нем и так страдала. В первые минуты она была растерянна — ей не удавалось сразу заполнить теперешнюю пустоту между былым безмерным волнением и тем, кто был его причиной. Она не отдавала себе отчета в своем разочаровании, хотя уже испытывала его, о чем свидетельствовал ее вопрос:

— Вы из парикмахерской?

Мария еще никогда не видела его таким: слишком коротко подстриженные, напомаженные волосы… Она коснулась рукой белого шрама на виске:

— Это я упал с качелей, — сказал он, — мне тогда было восемь лет.

Она присматривалась к нему, пытаясь соразмерить этого сильного и в то же время тощего мальчика, этого большого щенка со своим же-

ланием, своей болью, своим голодом, своим отречением. Из тысячи чувств, всколыхнувшихся в ней с его приходом, все, что еще можно было спасти, едва сосредоточилось вокруг этого напряженного покрасневшего лица. Но она не замечала недвусмысленного выражения его глаз, горевшей в них отчаянной решимости робкого юноши, твердо решившего победить, труса, осмелившегося действовать. Он еще никогда не казался ей таким ребенком, и она с властной нежностью повторяла ему то, что так часто говорила своему Франсуа:

— Хотите пить? Я вам сейчас дам смородинного сиропу, только сперва немного остыньте.

Она указала ему на кресло, но он присел на кушетку, на которой уже устроилась Мария, и уверял ее, что если чего и жаждет, то не сиропа. Она натянула юбку на свои приоткрывшиеся ноги, что вызвало у него восклицание:

— Какая жалость!

Тогда она поднялась и села рядом с ним; он спросил, почему она не осталась лежать:

— Надеюсь, вы меня не боитесь?

Эти слова напомнили Марии, что она и в самом деле боится, но чего? Это же Раймон Курреж, мальчик Курреж, сын доктора.

— Как поживает ваш почтенный отец?

Он пожал плечами, выпятил нижнюю губу. Она предложила ему сигарету, но он отказался; закурила сама и, опершись локтями о колени, сказала:

— Да, вы мне говорили, что не особенно дружите с отцом, это в порядке вещей: отцы и дети… Когда Франсуа, бывало, устраивался у меня на коленях, я думала: пользуйся, пока можно, долго это не продлится.

Мария Кросс заблуждалась насчет того, что означало у Раймона пожимание плечами и надутые губы. В эту минуту он хотел отогнать воспоминание об отце — не потому, что тот был ему безразличен, а наоборот: после того, что произошло между ними позавчера, воспоминание это стало неотвязным. После обеда доктор догнал Раймона в виноградниках, где тот в одиночестве расхаживал по дорожке и курил, и молча пошел с ним рядом, как человек, который подавляет в себе желание что-то сказать. «Что ему от меня надо?» — думал Раймон, предаваясь жестокому удовольствию молчать ему назло, как молчал осенними утрами в карете с мутными от дождя стеклами. Он даже со злорадством ускорил шаг, убедившись, что отец едва за ним поспевает и

уже немного отстал. Но, перестав вдруг слышать позади себя его дыхание, Раймон обернулся: черный силуэт доктора неподвижно застыл посреди дорожки, обе руки он прижимал к груди и пошатывался, будто пьяный; сделав несколько шагов, он тяжело осел между кустами. Раймон бросился возле него на колени: прислонив его безжизненную голову к своему плечу, он увидел вблизи лицо с закрытыми глазами, белые, как мел, щеки. «Ну что ты, что ты, папочка!» Этот голос, одновременно молящий и властный, привел больного в чувство, словно в нем заключалась целебная сила. Еще дыша с трудом, он попытался улыбнуться — улыбка вышла смущенной. «Ничего, ничего, это пустяки…» Он видел встревоженное лицо сына, слышал его голос, такой же нежный, как в ту пору, когда Раймону было восемь лет. «Прислонись головой ко мне. У тебя нет чистого носового платка? Мой грязный». И Раймон осторожно отер отцовское лицо, начинавшее оживать. Вновь открывшиеся глаза доктора увидели сначала волосы сына, которые чуть шевелил ветер, потом тугую гроздь винограда, а надо всем — желтовато-серое небо, где что-то грохотало, словно камни сыпались из невидимых тележек. Опираясь на руку сына, доктор направился к дому. На их щеки

и плечи падал теплый дождь, но идти быстрее было нельзя. Доктор сказал Раймону: «Это ложная грудная жаба, но она причиняет такие же боли, как настоящая… Я сделаю вид, будто у меня отравление, и два дня полежу в постели без еды, на одной воде. Только ни слова бабушке и маме…» А когда Раймон перебил отца: «Ты меня не обманываешь? Ты уверен, что это несерьезно? Поклянись, что это несерьезно», — доктор тихо спросил: «Ты огорчился бы, если бы я…» Но Раймон не дал ему закончить: он обхватил рукой дрожащее от напряжения тело, и у него вырвался крик: «Какой же ты глупый!» Со временем доктор будет вспоминать эту милую грубость, вспоминать в тяжелые минуты, когда сын станет для него чужим, станет противником с глухим сердцем, не отвечающим на зов. Вдвоем они вошли в гостиную, но отец так и не осмелился поцеловать сына.

— Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? Я ведь пришел сюда не затем, чтобы говорить о своем отце! У нас найдется занятие поинтересней… Разве нет?

Раймон выбросил вперед большую неуклюжую лапу, которую Мария схватила на лету и осторожно придержала.

— Нет, Раймон, нет, вы его не знаете, потому что живете рядом с ним. Хуже всего мы знаем своих близких… Мы доходим до того, что перестаем видеть тех, кто нас окружает. Представьте себе, в моей семье меня всегда считали уродиной, потому что в детстве я немножко косила. А в лицее, к великому моему удивлению, подруги сказали мне, что я хорошенькая.

— Вот-вот, расскажите мне какие-нибудь истории про женский лицей.

Навязчивая идея старила его лицо. Мария не решалась отпустить его большую руку, хотя чувствовала, как она становится влажной, — это вызывало у нее отвращение, а ведь несколько минут назад она бледнела от одного прикосновения этой руки. Теперь же, продержав ее секунду, она готова была закрыть глаза и отвернуться, — рука была мягкая и потная.

— Ладно! Я вас заставлю узнать доктора получше, я упрямая!

Он перебил ее, заявив, что и он тоже упрямый.

— Смотрите, я поклялся, что сегодня я добьюсь своего.

Он сказал это так тихо, запинаясь, что ей нетрудно было сделать вид, будто она не расслышала. Но она все же отодвинулась от него

подальше, потом встала, открыла окна.

— И не скажешь, что прошел дождь, такая духота. Впрочем, я слышу вдали гром… Если только это не пушка Сен-Медарда.

Она показала ему над деревьями косматую темную тучу, неровные края которой были позолочены солнцем. Но он вдруг с силой схватил ее за руки пониже локтя, толкнул к кушетке. Она вымученно засмеялась: «Пустите меня!» — и чем сильнее она отбивалась, тем веселее смеялась, давая понять, что эта борьба не более как игра, что она понимает ее именно так. «Дрянной мальчишка, да пустите же меня…» У него на лице застыла гримаса смеха, и, отступая к дивану, она видела совсем близко бесчисленные капельки пота на низком лбу, крылья носа, усеянные черными точками, ощущала кислый запах изо рта. Незадачливый молодой фавн вознамерился одной рукой удержать оба ее запястья, но Мария высвободилась одним рывком. Теперь их отделяли друг от друга кушетка, стол и кресло. Она немножко запыхалась, но заставила себя засмеяться:

— Так вы полагаете, мой мальчик, что женщину берут силой?

Он не смеялся — униженный юный самец был в ярости от своего поражения. Его животное са-

молюбие, и в те времена уже непомерное, было глубоко ранено и сочилось кровью. Всю жизнь он будет помнить об этой минуте, когда женщина сочла его отвратительным (чего вовсе не было), да еще и смешным. Все его будущие победы, все его жертвы, покорные и жалкие, не смогут смягчить жгучую боль этого первого унижения. Долгое время при одном воспоминании об этом он будет до крови кусать себе губы, по ночам впиваться зубами в подушку. Раймон Курреж сдерживает слезы ярости, бесконечно далекий от мысли, что улыбка Марии Кросс может быть притворной и она вовсе не хочет оскорбить обидчивого мальчика, а лишь пытается не выдать своего смятения, краха своей мечты. Ах, только бы он ушел! Скорей бы остаться одной!

Совсем недавно Раймон удивлялся, что рядом с ним сидит знаменитая Мария Кросс, и повторял про себя: «Эта маленькая женщина, такая простая, и есть Мария Кросс». И ему надо было только протянуть руку: она была здесь, рядом, покорная, вялая, он мог взять ее, повалить, овладеть ею, — и он протянул руку, но этого жеста оказалось достаточно, чтобы между ним и Марией пролегла пропасть. Да, она все еще была здесь, но безошибочным чутьем он понял, что

отныне ему никогда до нее не дотронуться, как не дотронуться до звезды. Именно теперь он увидел, что она красива: всецело занятый мыслью о том, как сорвать и вкусить этот плод, ни секунды не сомневаясь в том, что плод предназначен ему, он даже толком не разглядел ее, — что ж, теперь тебе остается пожирать ее глазами.

Она повторяла — мягко, боясь, чтобы он не рассердился, но непреклонно: «Мне надо побыть одной, Раймон… поймите, я должна остаться одна…» Доктор страдал оттого, что Мария не дорожила его присутствием, но Раймон познал страдание еще горшее — желание любимой женщины во что бы то ни стало избавиться от нашего присутствия, желание, которого она уже ничем не маскирует, не в силах скрыть, она выбрасывает, извергает нас… Для нее жизненно важно, чтобы мы ушли, она жаждет предать нас забвению: «Поторопись исчезнуть из моей жизни…» Она разве что не выталкивает нас — боится сопротивления. Мария Кросс подала Раймону его шапку, открыла дверь, пропустила его вперед, а у него было только одно стремление — испариться, он бормотал какие-то глупые извинения, сгорал со стыда, снова став подростком, который отвратителен самому себе. Но едва лишь он очутился

на улице и калитка за ним захлопнулась, как он нашел наконец слова, которые надо было бросить в лицо этой шлюхе… Слишком поздно! И долгие годы его мучила мысль, что он ушел, не высказав ей всего, чего она заслуживала.

* * *

В то время как на улице Раймон облегчал свою душу всевозможными ругательствами, какими бы он хотел, но не осмелился осыпать Марию Кросс, молодая женщина закрыла двери, закрыла окно и легла. Высоко над деревьями какая-то птица то и дело издавала прерывистый зов, подобный невнятным вскрикам спящего человека. Предместье полнилось звоном трамваев, гудками; улицы оглашали песни подвыпивших субботних гуляк. Однако Марию Кросс душила тишина — тишина, которая подступала к ней не извне, а поднималась из самой глубины ее существа, скоплялась в пустой комнате, наполняла дом, сад, город, мир. И посреди этой удушающей тишины жила она, созерцая в себе пламя, внезапно лишенное всякой пищи и все-таки не угасавшее. Чем питался этот огонь? Она вспомнила, как, бывало, на исходе ее одиноких бдений черные головешки в очаге, который она считала

погасшим, озарялись последней вспышкой. Она искала обожаемое лицо мальчика из шестичасового трамвая и не находила его.

Теперь это был просто дрянной, злой мальчишка, одуревший от робости и сам себя подстегивающий, — образ настолько же далекий от истинного Раймона, как и тот, что был приукрашен ее любовью. Она ополчилась против того, кого сама же преобразила и обоготворяла: «И из-за этого паршивого юнца я то страдала, то возносилась на седьмое небо…» Мария не знала, что этому незрелому подростку довольно было одного ее взгляда, чтобы превратиться в мужчину, чье коварство, чьи ласки и грубость со временем испытают на себе многие другие женщины. Если она создала его своей любовью, то, презрев его, завершила свое творение: она пустила в свет юношу, для которого стало манией доказывать самому себе, что против него нельзя устоять, даром что какая-то Мария Кросс и устояла. Отныне во все его любовные похождения будет подмешиваться глухая враждебность, желание ранить, заставить свою подружку молить о пощаде. Всю свою жизнь он будет вызывать на глазах других женщин слезы Марии Кросс. И хотя этот инстинкт охотника был у него, несомненно, врожденным, не будь Марии,

какая-нибудь слабость могла бы его укротить.

«Из-за этого уличного мальчишки…» Какая гадость! И все-таки в ней продолжало гореть неугасимое пламя, хотя его больше ничто не поддерживало. Ни один человек в мире не будет обласкан этим светом, этим теплом. Куда податься? На монастырское кладбище, где покоится прах Франсуа? Нет, нет, сознайся себе, что возле покойника ты ищешь только алиби. Она так усердно посещала мальчика на кладбище ради сладостных минут, которые проводила на обратном пути рядом с другим, живым мальчиком. Лицемерка! На могиле ей нечего делать, нечего сказать; каждый раз она наталкивалась на нее, словно на дверь без замка, заколоченную навеки. Все равно, что стать на колени прямо посреди улицы… Ее мальчик, ее Франсуа, всегда готовый засмеяться или заплакать, стал горсточкой праха… О ком ей мечтать рядом с этим прахом? О зануде-докторе? Нет, он ей не нужен. Но что пользы в стремлении к самосовершенствованию, если нам на роду написано, чтобы все наши начинания, при самых благих намерениях, казались двусмысленными? Когда Мария гордилась достижением какой-нибудь цели, злое начало в ней ухитрялось обратить это достижение к своей выгоде.

Она никого не желает видеть и никуда не стремится из этой гостиной с рваными портьерами. Может быть, в Сен-Клер? Ее детство в Сен-Клере… Ей вспоминается парк, куда она прокрадывалась, когда уезжало некое религиозное семейство — враги ее матери. Казалось, будто природа дожидалась их отъезда после пасхальных каникул, чтобы сорвать с почек их коричневое облачение. Поднимались папоротники и своей раскидистой пушистой зеленью закрывали нижние ветви дубов, но сосны покачивали все теми же седоватыми макушками, и можно было подумать, будто им нет никакого дела до весны, — пока однажды утром и они тоже не выпускали желтоватое облако пыльцы — дыхание своей любви. Мария находила где-нибудь на повороте аллеи то сломанную куклу, то платок, зацепившийся за терновник. Но теперь она чужая в тех местах и не нашла бы там ничего, кроме песка, на котором когда-то лежала, растянувшись на животе.

Когда Жюстина возвестила, что обед готов, Мария привела в порядок волосы, села за стол и подвинула к себе дымящийся суп. Служанка и ее муж очень хотели через полчаса попасть в кинематограф, и Мария вскоре осталась в одиночестве у окна гостиной. Липа еще не цвела

и не благоухала; подняв глаза, Мария увидела уже покрытые тенью рододендроны. Из страха перед небытием, чтобы не захлебнуться, она ищет соломинку, за которую можно было бы ухватиться. «Я поддалась, — размышляет она, — инстинктивному побуждению бежать, которое почти все мы испытываем перед человеческим лицом, искаженным голодом и нуждой. И вот ты уверяешь себя, что эта скотина — совершенно иное существо, нежели мальчик, которым ты восхищалась, — нет, это все тот же мальчик, но в маске: как у беременных женщин бывает на лице маска раздражения, так у мужчин, одержимых страстью, вылезает наружу и пристает к лицу морда сидящего в них животного, часто мерзкая и всегда страшная. Галатея[40] бежит от того, кто ее напугал, и в то же время зовет его… Я мечтала о долгом пути, о неспешном продвижении вдвоем от умеренных широт к более знойным, но этот грубиян понесся вперед без оглядки… Почему я не уступила его страсти? Вот когда бы я обрела невыразимый покой, а быть может, и нечто большее… Наверное, нет такой пропасти между людьми,

**[40] Примечания: 40**

Галатея — нимфа, любившая простого пастуха Акиса. Циклоп Полифем, из ревности, обрушил на него скалу, и тогда Галатея обратила своего погибшего возлюбленного в источник.

которую не могла бы заполнить любовь… Какая любовь?» Она вспоминает, и рот ее искажается гримасой отвращения, вырывается возглас «фу-у-у!» — ее осаждают назойливые картины: она видит, как от нее, весь красный, бранясь, отходит Ларуссель: «Какого рожна тебе еще надо?»

Чего же ей, в самом деле, надо? Она бродила по пустой комнате, облокачивалась на подоконник, мечтала о такой необычайной тишине, когда она могла бы почувствовать в себе любовь еще до того, как та промолвит хоть слово — и все же любимый услыхал бы ее, он уловил бы в ней желание прежде, чем оно зародилось бы в нем самом. Всякая ласка предполагает преодоление расстояния между двумя существами. Но она и ее любимый так бы слились воедино, что объятье бы им не понадобилось — то краткое объятье, которое расторгается стыдом… Стыдом? Ей показалось, будто она слышит смех этой девки, Габи Дюбуа, и слова, что та однажды ей выплеснула: «Да нет же, нет, что вы говорите! Наоборот, только это одно и прекрасно, только в этом одном нет обмана… В моей собачьей жизни это единственное утешение…» «Откуда у меня такое отвращение к этому? Есть ли ему какое-то объяснение? Свидетельствует ли оно об особом

влечении к кому-то единственному?» Сотни путаных мыслей возникали у Марии и потом исчезали, словно падающие звезды, пропавшие болиды в пустынной лазури над ее головой.

«Свойство моей натуры, — рассуждает Мария, — не есть ли это общее свойство? Нельзя быть на свете более одинокой, когда ты без мужа, без детей, без друзей, но что такое это одиночество в сравнении с той изоляцией, от которой не может тебя избавить и самая нежная семья, изоляцией, в которой мы оказываемся, обнаружив в себе признаки особой породы, уже почти исчезнувшей, и пытаемся истолковать ее инстинкты, ее потребности, ее таинственные цели? Ах, хватит изводить себя этим самокопанием!» Если на небе еще чуть брезжил остаток дня и отблеск нарождающейся луны, то под затихшей листвой деревьев сгущались сумерки. Свесившись в ночной сад, привлеченная печалью растений и захваченная этой печалью, Мария Кросс поддалась не столько желанию испить из воздушного потока, запруженного ветвями, сколько искушению потеряться, раствориться в этом потоке, — чтобы пустыня внутри нее наконец-то слилась с пустыней вселенной, чтобы молчание внутри нее стало неотличимо от молчания сфер.

## X

Между тем Раймон Курреж, извергнув по пути все ругательства, которыми он так и не осыпал Марию Кросс, испытывал жгучую потребность запачкать ее еще больше; вот почему, едва вернувшись домой, он пожелал увидеть отца. Как доктор ему и говорил, он решил два дня провести в постели, не принимать никакой пищи и пить только воду, к несказанной радости своей матери и жены. Только ложной грудной жабы было бы мало, чтобы заставить его на это решиться: ему хотелось испытать на себе действие такого метода лечения. Накануне вечером у него побывал Робинсон.

— Я предпочла бы Дюлака, — сказала г-жа Курреж, — но как-никак Робинсон тоже врач, он может выслушать.

Робинсон неслышно, по стеночке, проскользнул в дом, украдкой поднялся по лестнице, все время боясь столкнуться лицом к лицу с Мадленой, хотя они даже не были помолвлены. Доктор, — глаза закрыты, голова легкая и до странности ясная, тело свободно покоится под тонким одеялом, согретое дневным теплом, — без

усилий следовал путями своих мыслей, и ум его блуждал на этих путях, петляющих и запутанных, как собака, бывает, прочесывает кустарники вокруг хозяина, который гуляет, но не охотится. Доктор без устали сочинял статьи, которые оставалось лишь написать, последовательно, пункт за пунктом, отвечал на критику, вызванную его последним сообщением в биологическом обществе. Присутствие матери было ему приятно, но и присутствие жены — тоже, и было приятно это отметить; отдыхая, наконец, после изнурительной гонки, он не противился обществу Люси, его восхищало, как его мать стушевывалась, чтобы избежать конфликтов с невесткой; две женщины без спора поделили между собой добычу, на время вырванную у работы, у науки, у неведомой любви, — и он не сопротивлялся, он прислушивался к малейшему их слову, его мир сужался соразмерно их миру. И вот он уже хотел знать, твердо ли Жюли решила уйти или все-таки можно надеяться, что она поладит со служанкой Мадлены. И чья бы рука ни ложилась ему на лоб, рука матери или жены, он снова чувствовал себя защищенным, как в детстве, когда ему случалось заболеть; он радовался тому, что умрет не в одиночестве; он думал, что нет ничего

проще, чем смерть в такой вот комнате с привычной мебелью красного дерева, где твоя мать, твоя жена принуждают себя улыбаться, и горечь последней минуты будет подслащена ими, как подслащивается всякое горькое лекарство. Да, умереть запеленатым в эту ложь, зная, что тебя обманывают…

В комнату вдруг хлынул свет; вошел Раймон, ворча: «Ни черта не видно», — и приблизился к лежащему отцу — единственному человеку, перед которым он мог сегодня вечером очернить Марию Кросс: он уже ощущал во рту вкус тех гадостей, которые собирался выплюнуть. Больной сказал: «Поцелуй меня». И с любовью взглянул на сына, который позавчера вечером на дорожке в винограднике вытирал ему лицо. Но, войдя со света в полумрак этой комнаты, подросток плохо различал отцовские черты и спросил сухим тоном:

— Помнишь наш разговор про Марию Кросс?

— Да, а что?

В этот миг Раймон, наклонившийся над распростертым телом отца, словно для того, чтобы поцеловать его или пырнуть ножом, увидел пару глаз, с тревогой прикованных к его губам. Он понял, что отец тоже страдает. «Я это знал, — по-

думал он, — с того вечера, когда он обозвал меня вруном...» Раймон не чувствовал ревности — ему было трудно представить себе, что его отец мог когда-либо быть любовником; ревности он не чувствовал, только непонятное желание заплакать, к которому примешивались раздражение и насмешка: этот жалкий вид — бледные щеки, поросшие редкой бородой, и этот сдавленный, умоляющий голос:

— Так что же? Что ты знаешь? Говори скорей.

— Папа, мне все наврали, ты, конечно, лучше знаешь Марию Кросс, я непременно хотел тебе это сказать. А теперь отдыхай. Какой ты бледный! Ты уверен, что эта диета тебе полезна?

Раймон с изумлением слышит собственные слова — прямо противоположные тем, которые он собирался выкрикнуть. Он кладет руку на горячий, печальный лоб отца — ту самую руку, которую только что держала Мария Кросс. Доктор находит эту руку прохладной, он боится, что сын ее снимет.

— Мое мнение о Марии сложилось уже давно...

Он приложил палец к губам, так как в комнату вернулась г-жа Курреж. Раймон бесшумно удалился.

Мать доктора внесла керосиновую лампу (по-

тому что при его слабости от электричества у него могли заболеть глаза) и, поставив ее на комод, приспустила абажур. Этот скудный свет, свет былых времен, воссоздавал таинственный мир уже не существующих комнат, где тусклый светильник боролся с густою тьмой комнат, заставленных мебелью, едва различимой во мраке. Доктор любил Марию, но был от нее оторван: он любил ее, как должны любить нас умершие. Эта любовь соединяла в себе все его былые увлечения, с юношеских лет… Прослеживая свой путь, доктор убедился, что его всегда захватывало одно и то же чувство, похожее на то, от которого он только что перестал страдать. Он мог бы восстановить унылый ряд пережитых мук, перечислить имена тех, в кого был влюблен, почти всегда безответно… А ведь когда-то он был молод… Нет, не только возраст отделял его от Марии Кросс, он и в двадцать пять лет столь же мало был способен преодолеть пустыню между собой и этой женщиной. Он вспомнил, как, едва окончив коллеж, в возрасте Раймона был влюблен без всякого проблеска надежды. Таково уж было свойство его натуры — неспособность покорить тех, кого он обожал, и никогда он не сознавал этого более отчетливо, чем в случаях полууспеха, когда ему

удавалось привлечь к себе вожделенный предмет, но вблизи тот вдруг оказывался жалким, ничтожным, совершенно несоизмеримым с тем, что доктор перечувствовал, перестрадал из-за него. Нет, не в зеркале надо было ему искать причину своего одиночества — одиночества, которое, видимо, суждено ему до смертного часа. Другие мужчины, такие, каким был его отец, каким, несомненно, станет Раймон, до старости остаются верны своей натуре, повинуются своему любовному призванию, а он с юных лет повиновался своей одинокой судьбе.

Когда обе женщины спустились в столовую к обеду, до него донеслись звуки его детства: стук ложек о тарелки; но для его слуха и для его сердца ближе был шелест листвы во мраке, стрекотанье кузнечиков, кваканье лягушек, довольных тем, что пролился дождь. Потом мать и жена вернулись к нему.

— Ты, наверно, очень ослабел, — сказали они.

— Я не смог бы держаться на ногах.

Но поскольку диета была лечебным средством, его слабость их не пугала.

— Тебе, наверно, хотелось бы поесть…

Благодаря слабости он вновь чувствовал себя ребенком. Женщины разговаривали вполголоса,

доктор расслышал произнесенное имя, спросил:

— Разве это была не барышня Малишек?

— Так ты нас слышишь?.. Я думала, ты спишь… Нет, Малишек — это ее золовка, ее фамилия Мартен.

Но когда пришли Баски, доктор спал; он открыл глаза, лишь услыхав, как захлопнулись двери их комнат. Потом его мать свернула вязанье, тяжело поднялась, поцеловала его в лоб, в глаза, в шею и сказала:

— Жара у тебя нет…

Он остался наедине с г-жой Курреж, которая сразу начала причитать.

— Раймон опять уехал в Бордо с последним трамваем. Бог знает, в котором часу он вернется. У него было сегодня такое лицо! Можно испугаться… Когда он истратит деньги, подаренные ему к Новому году, он нам наделает долгов… Если уже не наделал…

Доктор произнес вполголоса:

— Нашему маленькому Раймону… уже девятнадцатый год… — и вздохнул, подумав о пустынных улицах ночного Бордо; ему пришел на память матрос, о чье распростертое тело он споткнулся однажды вечером; грудь и лицо у него были залиты вином и кровью.

На верхнем этаже еще раздавались шаги… возле служб бешено лаяла собака… Г-жа Курреж прислушалась:

— Кто-то идет… Это не может быть Раймон, собака бы сразу успокоилась.

Кто-то подходил к дому, но нисколько не таясь, а наоборот, стараясь привлечь к себе внимание. В ставни застекленной входной двери постучали. Г-жа Курреж высунулась из окна.

— Кто там?

— Нужен доктор, очень срочно.

— Доктор Курреж ночью не выезжает, вы это прекрасно знаете. Ступайте в деревню, к доктору Ларю.

Но пришелец, державший в руке фонарь, настаивал. Доктор, еще сонный, крикнул жене:

— Скажи ему, что ничего не поделаешь… Какой был бы смысл жить за городом, если все равно надо беспокоиться по ночам…

— Нет, мосье, это невозможно, мой муж выезжает только на консультации… Кроме того, у него есть условие с доктором Ларю…

— Но, мадам, речь идет о его пациентке, здесь, по соседству… Когда он узнает, кто она, он придет. Это мадам Кросс, мадам Мария Кросс — она упала и разбила себе голову.

— Мария Кросс? Почему вы думаете, что ради нее он скорее побеспокоится, чем ради кого-нибудь другого?

Но доктор, едва услыхав это имя, встал и, слегка отстранив жену, высунулся в окно:

— Это вы, Маро? Я не узнал вашего голоса… Что случилось с вашей госпожой?

— Она упала, мосье, и разбила голову… Она бредит и зовет господина доктора…

— Через пять минут… я только оденусь…

Он закрыл окно и стал искать свои вещи.

— Ты собираешься туда идти?

Он не ответил, только вполголоса пробормотал, обращаясь к самому себе:

— Куда запропастились мои носки?

Жена протестовала: он же только сию минуту объявил, что ни за какие деньги не будет выезжать ночью! Почему же вдруг такая перемена? Он на ногах не держится, того и гляди свалится от слабости.

— Речь идет о моей пациентке, ты понимаешь, что раздумывать не приходится.

Она повторила саркастическим тоном:

— Да, я понимаю, долго не понимала, но теперь понимаю.

До этой минуты г-жа Курреж еще не подозре-

вала мужа и не старалась его уязвить. Но он, уверенный в своем окончательном избавлении, в своем отречении от любви, не уловил насмешки. После той мучительной страсти, которую он преодолел, нынешняя нежная тревога казалась ему как нельзя более безобидной и похвальной. Он не подумал о том, что его жена не имеет возможности сравнивать прежние его чувства к Марии Кросс с нынешними, как сравнивал он сам. Два месяца тому назад он не посмел бы открыто показать свою тревогу, как показывал ее сейчас. Когда мы сгораем от любви, то инстинктивно стараемся ее скрыть, но стоит нам лишь отказаться от ее радостей, стоит лишь смириться с вечным голодом и жаждой, как мы полагаем, что теперь-то уж нам незачем утруждать себя притворством.

— Нет, бедная моя Люси, все это от меня теперь далеко… Со всем этим покончено. Да, я очень привязан к этой несчастной, но ничего такого здесь нет…

Он оперся о кровать, пробормотав: «Это верно, я хочу есть», — и попросил жену сварить ему на спиртовке шоколад.

— И ты полагаешь, что в такое время я могу достать молоко? На кухне, наверно, даже хлеба не найдется. Ничего, когда ты подлечишь эту особу,

она приготовит тебе легкий ужин… Не даром же ей тебя беспокоить!

— До чего же ты у меня глупа, бедняжка! Если бы ты знала!

Она взяла его за руку и сказала прямо в лицо:

— Ты сказал: «Со всем этим покончено… все это далеко от меня». Значит, между вами что-то было? Что? Я имею право знать. Я ни в чем не стану тебя упрекать, по я хочу знать.

Доктор запыхался; обуваться ему пришлось в два приема. Он пробурчал:

— Я говорил вообще. Это не относилось к Марии Кросс. Полно, Люси, ты меня просто не поняла.

Но она восстанавливала в памяти истекшие два месяца. Ах, наконец-то разгадка найдена! Все теперь объяснилось, все ей стало ясно.

— Поль, не ходи к этой женщине. Я никогда от тебя ничего не требовала… Ты можешь мне в этом уступить.

Он мягко возражал, что от него это не зависит. Он обязан пойти к больному пациенту, который, возможно, при смерти: ушиб головы может оказаться смертельным.

— Если ты помешаешь мне выйти, то будешь ответственна за ее смерть.

Она отпустила его, не найдясь, что ответить.

Глядя ему вслед, она бормотала: «Может быть, это уловка, они сговорились», — потом вспомнила, что доктор со вчерашнего дня ничего не ел. Присев на стул, она прислушивалась к голосам в саду:

— Да, она выпала из окна… это, несомненно, несчастный случай: если бы она хотела покончить с собой, то навряд ли выбрала бы окно гостиной на антресолях… Да, она бредит. Жалуется на боль в голове… ничего не помнит.

Госпожа Курреж слышала, как ее муж велел человеку сходить в деревню за льдом: он может достать лед в гостинице или у мясника, кроме того, надо взять у аптекаря бром.

— Я пойду через Береговой лес. Это будет быстрее, чем если я велю закладывать карету…

— Фонарь вам не понадобится: при такой луне видно, как днем.

Доктор только вышел через задние ворота со стороны служб, как услышал, что его кто-то догоняет, прерывающийся голое позвал его по имени. Тогда он узнал жену, в халате, с заплетенными на ночь косами, — запыхавшись, не в силах говорить, она протянула ему кусок черствого хлеба и толстую плитку шоколада.

* * *

Он прошел через Береговой лес, где луна освещала поляны, но сквозь листву ее лучи проникнуть не могли, зато на дороге она царила полновластно и разлилась так широко, словно светом своим проложила себе русло. Хлеб с шоколадом напомнил доктору вкус его завтраков в пансионе — то был вкус счастливейших минут на рассвете, когда он отправлялся на охоту и его ноги омывала роса, — ему было тогда семнадцать лет. Оглушенный неожиданностью, он еще почти не чувствовал боли: «Если Мария Кросс умирает, из-за кого она хотела умереть? И хотела ли? Она ничего не помнит. Ах, до чего же они невыносимы, эти „ушибленные“, — никогда ничего не помнят и заволакивают тьмой решающий момент своей судьбы! Но расспрашивать ее нельзя: надо, чтобы ее мозг сперва мало-мальски начал работать… Помни — ты всего только врач у постели больной. Нет, это не самоубийство: когда хотят умереть, то не бросаются с антресолей.

Насколько я знаю, наркотиков она не принимает… Правда, однажды вечером в ее комнате пахло эфиром… но в тот вечер у нее была мигрень…»

Помимо снедавшей его тревоги где-то в глу-

бинах сознания собиралась другая гроза — она разразится в свой час: «Эта несчастная Люси, она еще ревнует, какое убожество! Об этом будет время подумать позже. Вот я и пришел… Можно подумать, будто этот сад в лунном свете я вижу на сцене театра. Дурацкая декорация, как в „Вертере“… Криков не слышно». Главная входная дверь была приоткрыта. Доктор по привычке направился в пустую гостиную, но, спохватившись, вернулся и поднялся во второй этаж. Жюстина впустила его в комнату. Он подошел к кровати больной; стонущая Мария Кросс в эту минуту сбрасывала со лба компресс. Он не видел ее тела, обтянутого одеялом, тела, которое мысленно так часто раздевал. Не видел ни разметавшихся волос, ни оголенной руки — его заботило только одно: чтобы она его узнала, чтобы бред у нее был перемежающийся. Она несколько раз спросила: «Кто это пришел? Доктор? Что такое случилось?» Он констатировал: амнезия. И вот, склонившись над этой обнаженной грудью, легкое колыханье которой под платьем еще недавно приводило его в трепет, он слушает сердце, потом, осторожно касаясь пальцами раны на лбу, определяет ее границы. «Здесь больно, а здесь?.. а здесь?» Она ушибла также бедро, он немного отвернул одея-

ло, обнажив только пораженный участок, затем прикрыл его. Глядя на часы, сосчитал пульс. Это тело отдано ему для того, чтобы он его вылечил, а не для того, чтобы он им обладал. Его глаза знают, что им надлежит не восхищаться, а обследовать. Доктор жадно смотрит на страдающее тело, напрягая всю силу своего разума; его ясный ум ставит заслон безрадостной любви.

Мария стонала: «Больно… Ох, как больно…» Снимала компресс и требовала новый, тогда служанка смачивала полотенце в чайнике. Вернулся шофер — он принес ведерко льда, но когда доктор попытался положить Марии на лоб резиновый пузырь со льдом, она оттолкнула его и властным тоном потребовала горячий компресс.

— Поживей, пожалуйста, — прикрикнула она на доктора, — целый час надо ждать, пока вы что-нибудь сделаете!

Доктора очень заинтересовали эти симптомы, он их наблюдал и у других «ушибленных». Распростертое перед ним тело, чувственный источник его помыслов, его одиноких мечтаний и услад, вызывало у него теперь только сосредоточенное любопытство, только усиленное внимание. Больная перестала бредить, речь ее теперь лилась сплошным потоком. Доктор

удивлялся, что Мария, которая обычно говорила с трудом, подолгу подыскивая слова, вдруг стала такой красноречивой, без всяких усилий находила самые точные выражения и научные термины. «Какая же это тайна — человеческий мозг, — размышлял доктор, — если от одного ушиба его мощь удесятеряется!»

— Нет, доктор, нет. Я вовсе не хотела умереть. Не смейте даже думать, что у меня было такое желание. Я ничего не помню, но одно знаю наверняка — я хотела не умереть, а уснуть. Я всегда стремилась к покою. Если кто-то хвастал, что довел меня до самоубийства, я запрещаю вам этому верить. Вы меня поняли: за-пре-ща-ю!

— Да, мой друг… Клянусь вам, что никто не хвастал… Приподымитесь чуть-чуть: проглотите-ка вот это — это бром… Он вас успокоит…

— Меня не нужно успокаивать… Я страдаю, но я спокойна. Уберите только лампу. Тем хуже, я испачкала постель. Возьму и опять опрокину ваше лекарство, если мне захочется…

А когда доктор спросил ее, не стало ли ей легче, она отвечала, что страдает сверх всякой меры, но не только из-за раны; и, возвысив голос, начала опять сыпать словами, вызвав у Жюстины замечание:

— Мадам как по книге читает.

Доктор велел ей идти отдыхать, он сам посидит до утра возле больной.

— Какой еще есть выход, кроме сна, доктор, я вас спрашиваю? Все для меня теперь так ясно! Я понимаю то, чего раньше не понимала… люди, которых мы, кажется, любили… любовь с неизменно жалким концом… теперь мне открылась истина… (Она сбросила рукой остывший компресс, и ее намокшие волосы прилипли ко лбу, словно от пота.) Нет, не любовные увлечения, а любовь — она в нас живет одна, единственная, и мы пытаемся соединить наши случайные находки — глаза и рты, вдруг да они подойдут друг к другу. Какое безумие надеяться, что ты достигнешь этой цели! Подумайте — между нами и другими людьми нет иного общения, кроме прикосновений, кроме объятий… и, наконец, сладострастия! Правда, мы прекрасно знаем, куда ведет эта дорога и для чего она проложена, — для продолжения рода, как говорите вы, доктор, исключительно для этого. Да, понимаете, мы следуем по единственно возможному пути, но он ведет не к тому, чего мы ищем…

Вначале доктор лишь краем уха прислушивался к этой речи, не пытаясь ее понять и только

изумляясь этому сумбурному словоизвержению, как будто физического потрясения оказалось довольно, чтобы пробудить в ней дремавшие мысли.

— Доктор, надо любить наслаждение. Габи сказала: «Да нет же, милая Мария, представьте себе — это единственная вещь в мире, которая меня никогда не обманывала». Увы! Наслаждение доступно не всем… Я не создана для этого… Может быть, оно единственно способно заставить нас забыть о цели, которой мы ищем, и стать самой этой целью. «Поглупейте» — это легко сказать.

Доктор подумал: «Любопытно — она применяет к сладострастию наставление Паскаля, касающееся веры». Чтобы успокоить ее любой ценой и дать ей отдохнуть, он поднес ей ко рту ложку брома, но она оттолкнула ее, снова облив одеяло.

— Нет, нет, не желаю вашего брома: захотела и вылила на постель. Уж вы-то мне в этом не помешаете. — И без всякого перехода заявила: — Между мной и теми, кем я хотела обладать, вечно оказывается эта зловонная трясина, эта грязь, это болото… Они не могли понять… Они думали, я позвала их затем, чтобы мы вместе погрязли…

Губы ее шевелились, и доктору показалось, что она бормочет имена, фамилии, он наклонился

к ней с жадным любопытством, но не услышал имени того, кто произвел в ней это смятение. На несколько секунд он забыл, что перед ним больная, он видел только лживую женщину и обрушился на нее с упреками:

— Ну вот! Значит, и вы такая же, как другие! Как другие, вы ищете только одного: наслаждения… Да, мы все, все ищем только этого…

Она вскинула свои прекрасные руки, закрыла ими лицо, застонала протяжно. Доктор пробормотал: «Что это со мной? Я сошел с ума!» Он сделал свежий компресс, налил опять ложку брома, чуть приподнял раненую голову. Мария наконец согласилась выпить лекарство. Немного помолчав, она сказала:

— Да, я тоже, я тоже. Но вы знаете, доктор, как бывает, когда видишь вспышку молнии и в ту же секунду раздается удар грома? Так вот, у меня наслаждение и отвращение смешиваются, как молния и гром, — они поражают меня одновременно. Я не знаю дистанции между наслаждением и отвращением.

Она немного успокоилась и перестала разговаривать. Доктор сел в кресло и бодрствовал, пытаясь разобраться в путанице мыслей. Он думал, что Мария заснула, но вдруг снова раздался

ее голос, мечтательный и умиротворенный:

— Человек, с которым мы могли бы соединиться, владеть им — но не плотски… тот, кто владел бы нами…

Нетвердой рукой она сбросила со лба влажное полотенце. Воцарилась тишина, тишина уходящей ночи — время самого глубокого сна, когда звезды на небе передвинулись и мы их больше не узнаем.

«Пульс у нее ровный, она спит, как ребенок, который дышит так неслышно, что мы встаем проверить, жив ли он. Кровь прилила у нее к щекам, они порозовели. Это тело перестало страдать, боль уже не защищает его от твоего желания. Надо ли, чтобы твоя томящаяся плоть еще долго бодрствовала возле этой усыпленной плоти? Плотское счастье, — размышляет доктор. — Рай, открытый простакам. Кто сказал, что любовь — это радость бедняков? Могло ведь случиться и так, что именно я каждый вечер, окончив дневные труды, ложился бы рядом с этой женщиной, но это была бы уже не та женщина… Она родила бы мне уже нескольких детей… Ее тело носило бы на себе следы перенесенных мук и тех усилий, которые она изо дня в день тратила бы на домашнюю работу… Желания больше нет, есть

только пошлая привычка… Однако уже светает! Служанка что-то не торопится!»

Доктор опасается, что не сможет дойти до дому. Он уговаривает себя, что это голод его так обессилил, он боится, как бы сердце не подвело, и считает его удары. Физический страх вытесняет у него любовную тоску, но судьба Марии Кросс, хотя этого еще ничто не предвещает, уже незаметно отделилась от его собственной: отданы швартовы, выбран якорь, корабль снялся с места, и, хотя люди еще не знают, что он отплыл, через час он станет всего лишь точечкой на горизонте. Доктор не раз замечал, что жизнь обходится без подготовительных церемоний: с юношеских лет почти все предметы его обожания исчезали внезапно, увлеченные другой привязанностью или, в лучшем случае, уехав насовсем из города, перестав писать. Не смерть отнимает у нас тех, кого мы любим, напротив того, — она их нам сберегает, задерживает в их пленительной юности. Смерть — это соль нашей любви; жизнь — вот от чего тает любовь. Завтра доктор будет лежать больной, а его жена — сидеть у изголовья кровати. За выздоровлением Марии Кросс будет наблюдать Робинсон, он и отправит ее на воды, в Люшон, потому что там обосновался его лучший друг и

надо помочь ему создать клиентуру. Осенью г-н Ларуссель, которого дела часто призывают в Париж, надумает снять там квартиру, невдалеке от Булонского леса, и предложит Марии Кросс в ней поселиться, потому что, по ее словам, она предпочтет умереть, нежели вернуться в таланский дом с рваными коврами и дырявыми портьерами и опять сносить оскорбления бордосцев.

Когда в комнату вошла служанка, то будь доктор и не так слаб, — настолько, что ничто иное, кроме этой слабости, уже не занимало его мысли, — будь он даже полон жизни и сил, никакой внутренний голос не подсказал бы ему, чтобы он подольше глядел на спящую Марию Кросс. Ему не суждено было снова прийти в этот дом, но он этого не знал.

— Вечером я приду опять, — сказал он служанке. — Если она будет неспокойна, дайте ей еще ложку брома. — И так как он шатался и вынужден был держаться за мебель, чтобы не упасть, то в этот единственный раз, уходя от Марии Кросс, не оглянулся.

Он надеялся, что утренняя свежесть всколыхнет в нем кровь, но принужден был остановиться возле крыльца, зубы у него стучали. Как часто пробегал он весь этот сад за несколько секунд,

летя навстречу своей любви, а теперь он видит вдалеке ворота и думает, что навряд ли сможет до них дотащиться. Он едва бредет сквозь туман, размышляет, не лучше ли вернуться, у него наверняка не хватит сил дойти до церкви, где он, возможно, нашел бы помощь. Вот наконец и ворота, за их решеткой карета, его карета, и сквозь поднятое стекло он видит застывшее, словно мертвое, лицо Люси Курреж. Он открывает дверцу, валится на жену и, положив голову ей на плечо, теряет сознание.

— Не волнуйся, Робинсон проделает в лаборатории все, что нужно, и будет вести твоих больных… Сейчас он в Талансе, ты знаешь, у кого… Не разговаривай.

Из своей безмерной усталости доктор наблюдает за суетой обеих женщин, догадывается о смысле их шепота. Он не сомневается в том, что серьезно болен, и нисколько не верит их заверениям: «Обыкновенный грипп, но при твоем нынешнем истощении он тебе совсем ни к чему…» Он хочет видеть Раймона, а Раймона никогда нет дома. «Он заходил, когда ты спал, но не захотел тебя будить». На самом деле лейтенант Баск уже три дня тщетно искал Раймона по всему Бордо, в тайну посвятили пока только одного

сыщика-любителя: «Мало ли что может быть…»

Через шесть дней Раймон однажды вечером вошел в столовую во время ужина, — исхудавший, с закопченным лицом, с подбитым глазом. Он жадно набросился на еду, и даже девочки не посмели обратиться к нему с вопросами. У бабушки он спросил, где отец.

— Он загрипповал… Ничего страшного, но мы немножко беспокоимся за его сердце. Робинсон сказал, что не надо оставлять его одного. Мы с твоей мамой дежурим возле него ночью.

Раймон заявил, что сегодня его очередь. А когда Баск рискнул заметить: «Тебе бы лучше пойти спать, взгляни на свое лицо…» — он возразил, что совершенно не чувствует усталости, что все это время прекрасно спал.

— Знаете, кроватей в Бордо еще хватает.

Это было сказано таким тоном, что Баск потупил взгляд. Немного спустя доктор, открыв глаза, увидел, что возле него стоит Раймон. Он притянул его к себе и слабым голосом сказал: «От тебя пахнет мускусом… Мне ничего не нужно, ступай спать». Но около полуночи его вырвали из забытья шаги Раймона, ходившего взад-вперед по комнате. Юноша распахнул окно, высунулся и недовольно сказал: «Какая душная ночь…»

Влетели мотыльки. Раймон снял пиджак, жилет и воротничок и уселся в кресло; через несколько минут доктор услышал его ровное дыхание. На рассвете доктор проснулся раньше того, кто взялся его оберегать, и удивленно воззрился на сына — голова Раймона свесилась, он не дышал, словно убитый сном. Рукав его рубашки был разорван, обнажая черную от грязи мускулистую руку, на которой выделялась татуировка — такая, какую делают себе моряки.

## XI

Вертящаяся дверь маленького бара ни на минуту не останавливалась; вокруг танцующих пар сужалось кольцо столов, а под их ногами, словно шагреневая кожа, сжимался ковер линолеума: в такой тесноте танцы поневоле принимали вертикальное направление. Женщины, сидевшие на банкетках, смеялись, заметив у себя на руках, плотно прижатых к чужим рукам, пунцовый след нечаянной ласки. Женщина, которую звали Глэдис, и ее спутник закутались в меха.

— Так вы еще не идете?

Ларуссель заверил их, что они уйдут, когда все это начнет становиться слишком забавным.

Засунув руки в карманы, поводя плечами и выставив вперед живот, он подошел к стойке, взгромоздился на табурет и рассмешил бармена и сидевших рядом с ним молодых людей, похвалившись, что знает рецепт возбуждающего коктейля. Оставшись одна за столиком, Мария отпила шампанского, поставила бокал. Равнодушная к присутствию Раймона, она улыбалась неопределенной улыбкой, поглощенная какой-то неведомой ему страстью, защищенная и отделенная от него всем тем, что накапливается в жизни человека за семнадцать лет. Раймон, нырнув в пучину этих ушедших лет, всплыл на поверхность слепой и оглохший. Пусть в хаосе прошлого ему неотъемлемо принадлежит всего лишь узкая дорожка, по которой он пробежал в густом мраке; принюхиваясь к земле, он шел своей тропой, невзирая на тех, кто встречался ему на пути. Но вдруг он очнулся от грез: сквозь толпу и дым Мария Кросс метнула на него быстрый взгляд и сразу отвернулась. Почему она даже не улыбнется ему? Раймон растерялся: под взглядом этой женщины, после стольких лет, в нем снова ожил подросток, каким он когда-то был, — робкий и неуклюжий от затаенного желания. Сердцеед Курреж, прославленный своей дерзостью, в этот

вечер трепетал: с минуты на минуту Мария Кросс могла подняться, исчезнуть — неужели он так и не попытается ничего предпринять? Над ним тяготело роковое предопределение, по которому мы раз и навсегда становимся в глазах женщины лишь соединением произвольно выбранных элементов, и других она знать не желает. Против законов этой химии человек бессилен: когда бы мы с этой женщиной ни столкнулись, она видит в нас именно эти элементы, всегда одни и те же, от которых нам чаще всего хочется отделаться. Это наша беда — наблюдать, как любимое существо у нас на глазах составляет себе наш образ, пренебрегая нашими лучшими добродетелями, но извлекая на свет такую-то слабость, такой-то порок, такой-то смешной недостаток… И до тех, пор, пока она на нас смотрит, она навязывает нам свое видение, вынуждает нас считаться с ее узким представлением. И она никогда не узнает, что в глазах другой, чья привязанность для нас ничего не стоит, наша добродетель лучезарна, наш талант ослепителен, наша сила сверхъестественна, а наше лицо — лицо кумира.

Опять став под взглядом Марии Кросс стыдливым подростком, Курреж перестал помышлять о мести; теперь у него было скромное желание,

чтобы этой женщине стали известны его любовные успехи и все его победы с того дня, когда, изгнанный из Таланса, он буквально сразу же был похищен и взят на содержание одной американкой, которая полгода продержала его в «Рице» (семья полагала, что он в Париже готовится к экзаменам в Центральное училище искусств и ремесел). Но ему кажется, что именно это и невозможно, невозможно явиться перед Марией Кросс иным, чем он явился в душной плюшевой гостиной, среди «роскоши и нищеты», в тот день, когда она твердила ему, отвернувшись: «Мне надо побыть одной, Раймон, поймите, я должна остаться одна».

Наступил час, когда обычно начинался отлив посетителей, оставались только завсегдатаи, которые, войдя сюда, в этот бар, сбрасывали с себя вместе с верхней одеждой и будничную тоску. Вот молодая женщина в красном платье кружится от радости, раскинув руки крыльями, а партнер обхватил ее за бедра: как они счастливы, эти бабочки-однодневки, вспорхнувшие ввысь; здоровенный американец покачивает в танце своей бритой головой, головой мальчугана; повинуясь какой-то прихоти, изобретает всевозможные па, моментами непристойные, а когда ему аплоди-

руют, неуклюже раскланивается со счастливой детской улыбкой.

Виктор Ларуссель вернулся на свое место напротив Марии, время от времени он оборачивался и пристально смотрел на Раймона. Его широкое лицо раскраснелось от вина (кроме темно-бурых мешков под глазами), казалось, он ждет, чтобы с ним наконец поздоровались. Напрасно Мария умоляла его направить взгляд в другую сторону; в Париже Ларусселю было невыносимо одно — что там кругом незнакомые лица. У себя в городе он почти не встречал людей, самый вид которых не напомнил бы ему какое-то имя, какие-то связи, — людей, которых он не мог бы с первого взгляда отнести к определенному кругу — к тем, кому следует оказывать учтивость, или к отверженным, которых знаешь, но не приветствуешь.

Такая память на лица, которую историки приписывают лишь великим людям, более чем заурядна: Ларуссель помнил Раймона, потому что видел его когда-то в окне отцовской кареты и потому что ему случалось потрепать мальчика по щеке. В Бордо, где-нибудь на Интендантской улице он бы и виду не подал, но здесь, помимо того, что он не мог свыкнуться с унижением, что его никто не узнает, у него было еще тайное желание,

чтобы Мария не оставалась одна за столиком, пока он заигрывает с двумя русскими девицами. Внимательно следивший за движениями Марии, Раймон предположил, что она пытается убедить Ларусселя не заговаривать с ним; он вбил себе в голову, что и через семнадцать лет она по-прежнему видела в нем неуклюжее и робкое животное. Молодой человек услышал, как бордосец ворчит: «А потому что я так хочу, вот и все». Его злое лицо расплылось в улыбке, и он подошел к Раймону с самоуверенностью человека, убежденного в том, что его рукопожатие — великая милость.

— Я не ошибаюсь? Вы ведь сын нашего славного доктора Куррежа, моя жена вас очень хорошо помнит — она вас знала мальчиком, в те времена, когда доктор ее лечил.

Не спрашивая, он взял бокал молодого человека и заставил его пересесть за их столик, рядом с Марией, которая быстро сунула руку Раймону и тут же отдернула.

Ларуссель на секунду присел, потом встал и бесстыдно спросил:

— Вы позволите, а?.. на минутку…

И вот он уже снова у стойки, рядом с двумя русскими девицами. Хотя он мог вернуться с минуты на минуту и Раймону надо было воспользоваться

моментом, он хранил молчание. Мария отвернулась, — на него пахнуло запахом ее волос, и он с глубоким волнением заметил в этих коротких теперь волосах несколько сединок. Несколько? Быть может, тысячи… Рот, пожалуй, слишком большой, с полными губами, — плод, каким-то чудом еще не тронутый, — сосредоточил в себе всю чувственность этой женщины, зато ее глаза под высоким, открытым лбом лучились чистым огнем. Ах, что за важность, если волны времени помяли, исподволь источили, сделали дряблыми ее подбородок и шею! Не глядя на молодого человека, она сказала:

— Мой муж деликатностью не отличается…

Раймон сделал глупость, которой можно было бы ждать от восемнадцатилетнего: позволил себе выразить удивление, что она замужем.

— А вы не знали? Весь Бордо, между прочим, это знает!

Она решила замкнуться от Раймона в ледяном молчании, но, казалось, была сбита с толку, обнаружив, что на свете есть человек, притом житель Бордо, не знающий, что она теперь зовется г-жа Виктор Ларуссель. Он оправдывался тем, что уже много лет не живет в Бордо. Тут уж она не могла удержаться и нарушила обет молчания: г-н

Ларуссель решился на этот шаг в первый послевоенный год… Он долго колебался из-за сына…

— Но именно Бертран, как только демобилизовался, упросил нас оформить брак. Я больше уже не настаивала — уступила более высоким соображениям…

Она добавила, что, конечно, осталась бы жить в Бордо, если бы…

— …не Бертран, он учится в Политехническом, а господин Ларуссель проводит здесь каждые две недели, так что у мальчика есть домашний очаг.

Вдруг ей стало стыдно, что она разговорилась, разоткровенничалась; вновь напустив на себя отчужденный вид, она спросила:

— А как поживает наш милый доктор? Жизнь разлучает нас с самыми добрыми друзьями.

Как бы она была рада с ним увидеться! Но когда Раймон, поймав ее на слове, сказал: «Отец как раз сейчас в Париже, в „Гранд-отеле“, он будет счастлив…» — она резко отвернулась, притворившись, будто не слышала. Ему не терпелось ее позлить, пробудить в ней ярость, и он наконец набрался духу и осмелился затронуть больную тему:

— Вы на меня не сердитесь за ту мою выходку? Я был просто неотесанным мальчишкой, да еще таким наивным! Скажите мне, что вы больше не

сердитесь!

— За что мне на вас сердиться? — Она сделала вид, что не понимает, потом сказала: — А, вы имеете в виду ту нелепую сцену… но мне вам нечего прощать, думаю, в те времена я была просто глупа. Принять всерьез такого юнца, каким вы были тогда! Сегодня мне эта история кажется совершенно не стоящей внимания! Вы не поверите, как все это теперь от меня далеко!

Он, несомненно, ее разозлил, хотя и не совсем так, как предполагал. Все, что напоминало прежнюю Марию Кросс, внушало ей отвращение, однако историю с Раймоном она считала теперь просто смешной. Ее беспокоило: вдруг он знает, что она пыталась покончить с собой… Нет, тогда он держался бы более нагло, не сидел бы таким скромником. Раймон предвидел все, кроме самого худшего — кроме равнодушия.

— Я была тогда целиком сосредоточена на самой себе и придавала значение всяким пустякам. Мне кажется, будто вы говорите со мной о какой-то другой женщине.

Раймон знал, что ярость, ненависть — суть продолжение любви; и если бы ему удалось пробудить их в Марии Кросс, его дело было бы не безнадежно, но он вызвал в ней только раз-

дражение, только стыд, что она могла когда-то довериться такому ничтожеству, так унизить себя! И она еще насмешливым тоном прибавила:

— И вы полагали, что подобные глупости могут играть в моей жизни какую-то роль?

Он пробурчал, что в его-то жизни они сыграли роль, — признание, которого он не делал даже самому себе и которое наконец-то вырвалось у него. Он не сомневался в том, что вся его судьба была отмечена печатью этой злосчастной истории отроческих лет; он страдал, слыша спокойный голос Марии Кросс:

— Не зря Бертран говорит, что настоящей жизнью начинаешь жить только после двадцати пяти — тридцати лет.

Раймон смутно чувствовал, что это не так, что на исходе отрочества в нас уже заложено все, чему суждено исполниться впоследствии. На пороге юности наша игра уже сделана, все определено; быть может, она сделана еще с детства: какая-то склонность, заложенная в нашу плоть еще до нашего рождения, растет вместе с нами, приспосабливается к нашей отроческой чистоте, а когда мы возмужали, неожиданно распускается чудовищным цветом.

Раймон, растерянный и все искавший оружие

против этой недоступной женщины, вспомнил наконец, что так жаждал ей высказать, и хотя по мере того, как он говорил, в нем росла уверенность, что слова его совершенно не к месту, все же продолжал: конечно, эта история не помешала ему познать любовь… да еще как! У него, несомненно, было больше женщин, чем у любого из его сверстников, — стоящих женщин, потаскух он не принимает в расчет… Мария Кросс, пожалуй, даже принесла ему счастье. Она откинула голову назад и, прищурясь, посмотрела на него с выражением гадливости. Так чем же он недоволен?

— Потому что вас, понятно, интересует только эта гадость…

Она закурила сигарету, прислонилась своим подбритым затылком к стене и сквозь дым наблюдала, как кружатся в танце три пары. Когда джаз делал передышку, мужчины отпускали от себя дам, хлопали в ладоши, потом умоляюще протягивали руки к неграм — так, словно их жизнь зависела от этого дикого грохота; тогда сердобольные музыканты ударяли с новой силой, и бабочки-поденки, взвихренные бешеным ритмом, порхали опять, прильнув друг к другу.

Тем временем Раймон зло смотрел на женщину с коротко стриженными волосами, которая

сидела и спокойно курила, на ту самую Марию Кросс, — он искал и наконец нашел слова, способные вывести ее из себя:

— Тем не менее вы бываете здесь.

Она поняла, что он хотел сказать: человек всегда возвращается к своим ранним склонностям. С удовольствием отметил он, как ее лицо залилось краской, как сурово сдвинулись брови.

— Мне всегда были отвратительны заведения такого рода, вы, должно быть, плохо меня знаете! Вот ваш отец, наверное, помнит, какой для меня было мукой, когда господин Ларуссель тащил меня в «Красный лев». Бесполезно говорить вам, что я хожу сюда по обязанности, да, по обязанности… Но разве такой человек, как вы, способен понять мои терзания? Даже Бертран и тот советует мне потакать, — конечно, в разумных пределах, — вкусам моего мужа. Если я хочу сохранить какое-то влияние на него, не надо слишком натягивать струну. Знаете, Бертран человек широких взглядов: он умолял меня не противиться его отцу, когда тот требовал, чтобы я остригла волосы…

Достаточно было Марии произнести это имя — Бертран, чтобы напряжение оставило ее и она успокоилась, помягчела. Раймон увидел мыслен-

ным взором пустынную аллею бордоского парка в четыре часа пополудни и мальчишку, который запыхавшись догонял его; услышал плаксивый голос: «Отдай тетрадь...» Что за человек получился из этого хилого мальчика? Раймон попытался задеть Марию:

— Теперь у вас взрослый сын...

Нет, она вовсе не была задета, а засияла улыбкой:

— Ах, да, вы же знаете его по коллежу!

Раймон снова стал человеком в ее глазах — ведь он бывший соученик Бертрана.

— Конечно, взрослый, но не только сын, а одновременно и друг, и наставник. Вы не можете себе представить, сколь многим я ему обязана.

— Да, вы говорили — вашим замужеством.

— Замужеством, верно, но это еще не все. Он открыл мне... ах, нет, вам не понять. И все-таки, я сейчас подумала, ведь вы были его товарищем, — мне хотелось бы знать, каким он был в детстве. Я уже не раз спрашивала мужа, но это просто невероятно: отец ничего не может сказать о том, каким был его сын. Он твердит одно: «Был милым ребенком, как все дети». По правде говоря, непохоже, чтобы вы могли близко наблюдать Бертрана. Во-первых, вы намного старше!

Раймон пробурчал:

— На четыре года, это ерунда. — И добавил: — Помню мальчишку с девичьим личиком.

Она не рассердилась, но со спокойным презрением сказала: да, она вполне представляет себе, что ему и Бертрану не дано понять друг друга. Раймон увидел, что в представлении Марии ее пасынок парит над ним на недосягаемой высоте. Мария думала о Бертране, она пригубила шампанского и блаженно улыбалась. Как разъединившиеся бабочки-поденки, она тоже хлопала в ладоши, чтобы музыка помогла ей продлить очарование. Что осталось в памяти Раймона от женщин, которыми он обладал? Многих он навряд ли бы узнал снова. Но за эти семнадцать лет почти не проходило дня, когда бы он не воскрешал в своей памяти, не поносил, не ласкал это лицо, которое сегодня видит так близко. И все же она была так далека от него в эту минуту, что он не выдержал и, стремясь приблизиться к ней любой ценой, еще раз упомянул Бертрана.

— Он скоро уже окончит институт?

Она отвечала с готовностью, что он на последнем курсе, он потерял четыре года из-за войны, она надеется, что он окончит с отличием. А когда Раймон прибавил, что Бертран, несомненно,

пойдет по стопам отца, Мария возразила, что ему будет дано время подумать. Впрочем, она уверена, что он везде займет достойное место. Раймону не понять, какая это высокая душа!

— В институте он затмевает всех. Но я сама не знаю, зачем вам все это говорю… — И, словно спустившись с облаков, спросила: — А вы? Чем вы занимаетесь?

— Всякими делами… Ничем определенным.

И вдруг его собственная жизнь показалась ему бесконечно жалкой. Мария вряд ли слышала, что он ответил: нет, она не презирала его, для нее он просто не существовал. Привстав, она делала знаки Ларусселю, который все еще разглагольствовал у стойки, тот крикнул:

— Еще минуточку!

Вполголоса она заметила:

— Какой он красный! Он слишком много пьет.

Негры укутывали свои инструменты, как заснувших детей. Только пианино, казалось, не может остановиться; одна пара еще кружилась, другие, так и не расцепившись, рухнули. Наступил час, который любил посмаковать Раймон: час, когда когти спрятаны, глаза полны неги, голос приглушен, а руки притаились… В это время он обычно улыбался, грезя о том, что вскоре

произойдет: на рассвете из комнаты выйдет мужчина, насвистывая, он тихо удалится, оставив на кровати изнуренную, словно убитую женщину… Ах, Марию Кросс он бы, конечно, так не оставил. Целой жизни не хватило бы на то, чтобы насытиться этой женщиной! Она настолько равнодушна к нему, что и не замечает, как он касается ее колена своим, даже не чувствует прикосновения. У него нет власти над нею, а ведь в минувшие годы счастье было так близко: тогда она думала, что любит его. Он этого не знал, он был еще совсем ребенком, ей надо было предупредить его, намекнуть, чего она от него ждет, он приближался бы к ней так медленно, как бы она того желала, — он умел, когда надо, умерять свое неистовство. Она насладилась бы радостью… Теперь уже слишком поздно, неужели придется ждать века, до тех пор пока снова произойдет совпадение их судеб в шестичасовом трамвае? Он поднял глаза, посмотрел на себя в зеркало: молодость уходила, появились признаки увядания, время быть любимым прошло, наступило время любить, если ты этого достоин. Он положил свою руку на руку Марии Кросс:

— Помните трамвай?

Она пожала плечами и, не оборачиваясь к нему,

с вызовом спросила:

— Какой трамвай? — И сразу же, чтобы он не успел ответить, прибавила: — Вы будете очень любезны, если сходите за господином Ларуссе-лем и возьмете его пальто, иначе мы никогда не уйдем отсюда.

Он как будто не слышал. Она притворялась, когда спросила: «Какой трамвай?» Раймон хотел возразить, что в его жизни не было ничего более драгоценного, чем те минуты, когда они сиде-ли друг против друга среди бедняков, которые дремали, запрокинув черные от угольной пыли лица; из чьих-то отяжелевших рук выскользнула газета, а простоволосая женщина тянула к свету роман с продолжением, и губы ее шевелились, словно в молитве. Тяжелые предгрозовые капли прибили пыль на узкой дороге, огибавшей сзади Таланскую церковь; их обогнал какой-то рабочий на велосипеде; он сидел, пригнувшись к рулю, и на боку у него висел холщовый мешок, откуда торчала бутылка. Пыльные ветви деревьев по-ходили на протянутые руки, молящие о глотке воды.

— Прошу вас, будьте так любезны, приведите сюда моего мужа. Он не привык столько пить, мне надо было остановить его, он совершенно не

переносит алкоголя.

Раймон, севший было на свое место, поднялся и, увидев себя в зеркале, опять ужаснулся. Зачем ему оставаться молодым? Он еще мог рассчитывать, что его полюбят, но выбирать уже не приходилось. Все возможно для того, кто сохраняет эфемерный блеск человеческой весны. Пять лет долой, думает Раймон, и он мог бы еще попытать счастья: как никто другой, он знал, что мужчина в пору цветущей молодости способен победить неприязнь, привычки, целомудрие и угрызения совести женщины уже пожившей, ибо самая его молодость пробуждает в ней жадное любопытство. Но теперь он чувствовал себя безоружным и смотрел на свое отражение в зеркале, как накануне битвы смотрел бы на сломанную шпагу.

— Если вы не решаетесь, я пойду сама. Его там спаивают… Как мне его увести? Боже, какой позор!

— Что сказал бы ваш Бертран, если бы увидел вас здесь, рядом со мной, а своего отца там, за стойкой?

— Он бы все понял, он понимает все.

* * *

В эту минуту возле стойки послышался шум от падения грузного тела. Раймон бросился туда и попытался с помощью бармена поднять Ларусселя, ноги которого застряли в опрокинутом табурете, а окровавленная рука судорожно сжимала разбитую бутылку. Мария вся дрожала; она накинула отцу Бертрана на плечи меховую шубу и подняла воротник, чтобы скрыть от людей его полиловевшее лицо. Бармен сказал Раймону, уплатившему по счету, что «никогда нельзя знать — вдруг это сердечный приступ», — и почти на руках донес до такси своего грузного клиента — настолько он боялся, чтобы тот не «окочурился» в стенах заведения.

Мария и Раймон, сидя на откидных сиденьях, поддерживали лежащего; на носовом платке, которым была обернута его раненая рука, все шире расплывалось кровавое пятно. Мария причитала:

— Такого с ним еще никогда не бывало… надо было мне помнить, что он не переносит вина… Дайте мне слово, что вы никому не скажете…

Раймон ликовал: с безмерной радостью приветствовал он неожиданный поворот судьбы. Нет,

в этот вечер он не расстанется с Марией Кросс. Как глупо было сомневаться в своей счастливой звезде!

Хотя зима была уже на исходе, ночь выдалась холодная; выпал мелкий град, покрывший площадь Согласия белым ковром.

Раймон продолжал поддерживать грузную тушу на заднем сиденье, откуда слышались бессвязные слова, перемежавшиеся отрыжкой. Мария открыла флакон с нюхательной солью, и молодой человек с наслаждением вдохнул отдающий уксусом запах; его согревал жар любимого тела, и он пользовался короткими мгновеньями, когда в машину падал свет какого-нибудь фонаря, чтобы пожирать глазами это прекрасное и униженное лицо. Мария взяла в руки массивную голову старика, на которую было страшно смотреть, — в эту минуту она была похожа на Юдифь.

Больше всего на свете она желала сейчас, чтобы консьерж ничего не заметил, и была счастлива воспользоваться услугами Раймона, чтобы дотащить больного до лифта. Уложив его в постель, они увидели, что его рука сильно кровоточит, а зрачки сузились и их почти не видно.

Мария металась в растерянности, не умея оказать больному ту помощь, к которой привычны

другие женщины… Придется будить слуг на седьмом этаже! Но какой скандал! Она решила позвонить своему врачу, но тот, по-видимому, выключил у себя телефон, так как никто не отвечал. Она разрыдалась. Тогда Раймон вспомнил, что его отец в Париже, подумал, что надо бы его вызвать, и предложил Марии это сделать. Не сказав ему «спасибо», она бросилась искать в справочнике телефон «Гранд-отеля».

— Отцу нужно только одеться и поймать такси, и он будет здесь.

На этот раз Мария взяла его за руку; она открыла какую-то дверь, зажгла свет.

— Не хотите ли прилечь здесь? Это комната Бертрана.

Она сказала, что больного вырвало и теперь ему лучше; но рана все еще беспокоит его. Когда она ушла, Раймон сел и застегнул пальто на меху: батареи плохо грели. Он вызывал в памяти полузабытый голос отца; из какой-то дали доносится до него этот голос. Они не виделись три года — со дня смерти бабушки Курреж. В то время Раймон был очень стеснен в деньгах; может быть, он в слишком резких выражениях потребовал свою долю наследства. Но вот что особенно задело за живое молодого человека и ускорило разрыв:

отцовские упреки, касавшиеся его образа жизни, который приводил в ужас этого щепетильного человека; сделки маклера, комиссионера казались ему недостойными отпрыска Куррежей; он считал себя вправе потребовать от Раймона, чтобы тот нашел себе более подобающее ему занятие… Через несколько минут он будет здесь — поцеловать ли его или только подать руку?

Раймон задается этим вопросом, но один предмет в комнате приковывает к себе его взгляд — кровать Бертрана Ларусселя, железная койка, такая узкая, такая целомудренная, под ситцевым покрывалом в цветочек, что Раймон разражается смехом: кровать старой девы или семинариста. Стены голые, за исключением одной, заставленной книгами; на рабочем столе — порядок, как в душе праведника. «Если бы Мария пришла ко мне, — размышляет Раймон, — это произвело бы в ней перемену». Она увидела бы диван, такой низкий, что он почти сливался с ковром на полу; всякий, кто попадал в полумрак этой комнаты, испытывал опасное чувство потерянности, искушение расслабиться, позволить себе поступки, которые, казалось бы, ни к чему не обязывают — как если бы ты совершил их на другой планете или во сне… Но в комнате, где в тот вечер

сидел Раймон, не было даже занавесок на окнах, замерзших в ту зимнюю ночь: тот, кто в ней жил, несомненно, желал, чтобы рассвет будил его еще до первого удара часов. Раймон не распознал во всем этом признаков безгрешной жизни; эта комната, созданная для молитв, навела его на мысль, что отказ от любви, отрицание ее — это лишь уловки, отдаляющие наслаждение и делающие его более острым. Он прочел на корешках названия нескольких книг и проворчал: «Нет, что за идиот!» Все эти истории о мире ином были ему бесконечно чужды, ничто не могло бы вызвать у него большего отвращения.

Что отец так долго не едет! Ему не хотелось больше сидеть одному, эта комната, казалось, смеется над ним. Он распахнул окно: глазам его представились крыши в свете запоздалой луны.

— Ваш отец уже здесь.

Он закрыл окно, последовал за Марией в комнату Виктора Ларусселя и увидел тень, склоненную над его кроватью, узнал на стуле огромный отцовский цилиндр, палку с набалдашником слоновой кости (его, Раймона, лошадку в те времена, когда он играл в лошадки), но когда доктор выпрямился, Раймон не узнал его. И все-таки он знал, что этот старик, который сейчас улыбался

ему и притянул к себе, — его отец.

— Не курить, не пить спиртного, не употреблять кофе; в полдень — белое мясо, ужин без мяса, — и вы проживете сто лет. Вот так!

Доктор повторил «вот так» тем тягучим голосом, который бывает у человека, когда он думает совсем о другом. Он не спускал глаз с Марии, а она, видя, что он не двигается с места, поторопила события:

— Я думаю, что сейчас нам всем хорошо бы поспать.

Доктор последовал за ней в переднюю и робким голосом опять повторил: «Все-таки какая удача, что мы снова встретились...» Когда у себя в гостинице он торопливо одевался и потом ехал в такси, он был уверен, что Мария Кросс не даст ему договорить эту короткую фразу и прервет ее восклицанием: «Теперь, доктор, когда я вас нашла, я вас больше не отпущу». Но она сказала совсем другие слова в ответ на те, которые он, едва переступив порог, поторопился произнести: «Все-таки какая удача...» И вот он повторял эту заранее заготовленную фразу уже четвертый раз, словно его настойчивость могла вызвать желанный ответ. Нет, она его не вызвала: Мария подала ему пальто, не раздражаясь тем, что он не сразу

попал в рукав, и мягко сказала:

— Поистине, мир тесен, — вот сегодня вечером мы встретились снова, может случиться, что встретимся еще.

Так как она сделала вид, что не расслышала реплики доктора: «А не надо ли немножко помочь случаю?..» — он возвысил голос:

— Не думаете ли вы, мадам, что надо бы немножко помочь случаю?

Насколько в тягость были бы для нас умершие, если бы они вернулись. Иногда они возвращаются с тем представлением о нас, которое мы бы страстно желали разрушить, возвращаются полные воспоминаний о том, о чем мы жаждем забыть. Всякому живому человеку тягостны эти вновь всплывающие обломки.

— Я уже не та ленивица, доктор, которую вы когда-то знали; я должна сейчас лечь, потому что в семь мне надо вставать.

Она была уязвлена тем, что он не выразил удивления. Ее раздражало, что старик не сводит с нее упорного взгляда, твердя: «Так вы не считаете, что мы могли бы помочь судьбе? Нет?» С несколько суховатой вежливостью она ответила, что знает его адрес.

— Я теперь почти не бываю в Бордо… Но, может

быть, вы…

Это так любезно с его стороны, что он побеспокоился!

— Если свет на лестнице погаснет, кнопка вон там.

Он не двигался с места, упорствуя: помнит ли она еще о своем падении из окна? Раймон выступил из темноты и спросил:

— О каком падении?

Она утомленно покачала головой и сказала с большим усилием:

— Знаете, доктор, что было бы очень мило? Мы могли бы писать друг другу… Я уже не такая любительница писем, как прежде, но в конце концов ради вас…

Он возразил:

— Письма ничего не стоят — какой смысл писать, если не видишься?

— Так именно потому, что не видишься!

— Нет, нет. Если люди уверены, что больше никогда не увидятся, то неужели им, по-вашему, нужно, чтобы переписка, эта видимость жизни, поддерживала их дружбу? Особенно, когда один из них убеждается, что для другого это тяжкая повинность… Когда человек стареет, Мария, он становится трусливым, свою долю горя он уже

получил — он боится прибавки.

Он никогда еще не говорил с ней так откровенно; поняла ли она наконец? В этот момент она была рассеянна, потому что ее звал Ларуссель, потому что было уже пять часов и ей хотелось поскорее избавиться от обоих Куррежей.

— Ну что ж, я напишу вам первая, доктор, и повинность отвечать ляжет на вас.

Но немного погодя, когда дверь за ними закрылась и, взяв ее на задвижку, она вернулась в комнату мужа, он услышал, что она хохочет, и спросил о причине.

— Знаешь, что я вообразила? Ты не будешь смеяться надо мной? Доктор, похоже, был немножко влюблен в меня — тогда, в Бордо… Это бы меня нисколько не удивило…

Виктор Ларуссель заплетающимся языком ответил, что он ее нисколько не ревновал, ему вспомнилась одна из его старых шуток: «Еще один, созревший для холодного камня». Он добавил, что бедняга доктор, видимо, пережил сердечный приступ, многие его пациенты, которые не решаются отказаться от его услуг, потихоньку обращаются к другим врачам.

— У тебя сейчас нет болей в сердце? А рука не беспокоит?

Нет, у него уже ничего не болит.

— Как бы эта сегодняшняя история не стала известна в Бордо… Молодой Курреж не может, а?..

— Он туда не ездит. Спи… я погашу свет.

Она села в темноте на кресло и не двигалась, пока не послышался спокойный храп. Тогда она вышла и направилась к себе в комнату, замешкалась перед неплотно закрытой дверью к Бертрану, не устояв, толкнула ее и, едва переступив порог, услышала запах табака, человеческий запах. Она пришла в ярость: «Надо же было так потерять голову, чтобы впустить сюда этого…» Она открыла окно, вдохнув рассветный холодок, на какое-то мгновенье стала на колени у кровати; губы ее шевелились, она прижалась лбом к подушке.

## XII

Как некогда двухместная карета с мутными от дождя стеклами везла отца и сына по улицам предместья, так и теперь такси увозило доктора и Раймона, обменявшихся поначалу не большим количеством слов, чем в те забытые утренние часы. Но то было молчание иного рода: Раймон держал за руку старика-отца, слегка привалив-

шегося к нему, и говорил:

— Я не знал, что она вышла замуж.

— Они никому не сообщили, по крайней мере, я так полагаю, я надеюсь… Во всяком случае, мне не сообщили.

Говорят, на оформлении брака настаивал молодой Ларуссель. Доктор привел остроту Виктора Ларусселя: «Я заключаю морганатический брак». Раймон проворчал: «Это чудовищно!» В серых лучах рассвета он наблюдал украдкой лицо отца, лицо обреченного, видел, как тот шевелит бескровными губами. Это застывшее лицо, эта каменная маска испугали его, и он произнес первую пришедшую на ум фразу:

— Как поживают наши?

Все поживали хорошо. Нельзя не восхищаться Мадленой, — сказал доктор, — она живет только ради дочерей, руководит ими в житейских делах, плачет втихомолку и вообще показала себя достойной героя, которого потеряла. (Доктор никогда не упускал случая похвалить зятя, убитого в Гюизе, и воздать ему должное, он упрекал себя в том, что не распознал его достоинств; а между тем сколько людей во время войны погибли смертью, которая им не подобала.) Катрин, старшая дочь Мадлены, просватана за Мишона, третьего сына

в этой семье, ждут, пока ей исполнится двадцать два года, чтобы объявить о помолвке.

— Только никому не говори.

Это наставление он произнес тоном своей жены, но Раймон ничего не ответил: «Кого это здесь может интересовать?» Доктор вдруг замолчал, словно его пронзила острая боль. Молодой человек занялся вычислениями: «Ему шестьдесят девять или семьдесят лет… Можно ли в таком возрасте еще страдать от любви, к тому же после стольких лет разлуки?» Он ощутил боль от собственной раны и испугался; нет, нет, это скоро пройдет. Ему вспомнилось, что часто твердила одна из его любовниц: «Когда мне приходится страдать от любви, я сворачиваюсь калачиком, я жду, я уверена, что человек, из-за которого мне хочется умереть, завтра, быть может, не будет значить для меня ничего; виновника стольких моих страданий я впредь даже не удостою взглядом; как ужасно любить и как постыдно разлюбить…» Однако этот старик исходит кровью уже семнадцать лет: при такой жизни, как у него, строго размеренной, отданной долгу, страсть держится годами, замыкается в себе; она не растрачивается, гниет, выделяет яд и разъедает живой сосуд, в котором заключена.

Они обогнули Триумфальную арку; между чахлыми деревьями Елисейских полей текло черное шоссе, как река в Эребе.

— Я думаю, что скоро покончу со случайными заработками. Мне предлагают место на одном предприятии — на цикорной фабрике. Через год обещают пост управляющего.

Доктор ответил рассеянно:

— Я очень рад, мой мальчик... — И вдруг: — А как вы познакомились?

— С кем?

— Ты знаешь, о ком я говорю.

— О товарище, который предлагает мне это место?

— Да нет, о Марии.

— Это дело давнее: когда я был в последнем классе, мы, кажется, перекинулись несколькими словами в трамвае.

— Ты мне об этом ничего не говорил. Однажды ты рассказывал — я это помню — что какой-то приятель показал ее тебе на улице.

— Может быть... Через семнадцать лет я уже точно не помню... А, да! Как раз на другой день после этой встречи она и заговорила со мной — вот-вот, она спрашивала, как ты поживаешь, — она знала меня в лицо. Впрочем, я думаю, что

сегодня вечером, если бы ко мне не подошел ее муж, она бы обдала меня презрением.

Казалось, доктора это успокоило, он прикорнул в углу, бормоча: «Впрочем, что это может значить для меня?» Он махнул рукой, потом разгладил ладонями лицо, выпрямился и, сев вполоборота к Раймону, постарался отвлечься от этих мыслей и всецело сосредоточиться на делах сына:

— Как только ты займешь прочное положение, сынок, женись.

И так как Раймон расхохотался, запротестовал, старик снова обратился к самому себе, снова заговорил о своем.

— Ты не можешь себе представить, как это хорошо — жить в гуще семьи… Да, да! Несешь на себе тысячи забот о других; эти тысячи уколов оттягивают твою кровь от сердца, понимаешь? Они отвлекают нас от нашей потаенной боли, нашей глубокой внутренней боли, становятся необходимыми для нас… Видишь, я хотел дождаться окончания конгресса, но это сильнее меня: я уеду сегодня восьмичасовым поездом… Самое важное в жизни — это создать себе убежище. Надо, чтобы в конце, как и в начале, нас выносила женщина.

Раймон процедил сквозь зубы: «Спасибо! Лучше сдохнуть…» Он смотрел на высохшего старика,

изглоданного страданиями.

— Ты не можешь себе представить, какую защиту я обрел среди вас. Жена, дети — все это окружает, стесняет нас, оберегает от натиска желаний. Вот ты, хотя ты со мной почти не разговаривал, — это не упрек, дорогой мой, — ты никогда не узнаешь, сколько раз в минуту, когда я уже готов был поддаться сладостному и, быть может, преступному побуждению, я чувствовал у себя на плече твою руку, и это помогало мне опомниться.

Раймон пробурчал: «Что за безумие считать, будто существуют запретные радости!» Вслух он сказал:

— Ах, мы с тобой сделаны из разного теста: я быстро разорил бы свое гнездо.

— А думаешь, я не причинял страданий твоей матери? Не такие уж мы разные: сколько раз я мысленно разорял свое гнездо!.. Ты ничего не знаешь… Не спорь; быть может, несколько неверностей не так омрачили бы ее счастье, как та измена в мечтах, которую я совершал в течение тридцати лет. Я хочу, чтобы ты знал, Раймон: ты навряд ли был бы худшим мужем, чем я… Да, да! Я развратничал в мечтах — разве это лучше, чем действительный разврат? И посмотри, как мне

теперь мстит твоя мать: избытком заботы. Теперь ее назойливость мне просто необходима… Она не щадит себя, печется обо мне денно и нощно, ах, моя смерть будет блаженной! С прислугой теперь плохо; нынешние слуги, говорит она, совсем не похожи на прежних: мы не смогли найти замену Жюли. Ты еще помнишь Жюли? Она уехала к себе в деревню. Так вот, твоя мать сама заменяет всех, мне иногда приходится ей выговаривать за это: она не боится сама подметать, натирает паркет…

Он на секунду замолчал, потом умоляюще закончил:

— Не оставайся один!

Раймон не успел ответить; такси остановилось возле «Гранд-отеля», надо было выйти, расплатиться.

У доктора едва оставалось время уложить вещи.

* * *

Этот утренний час — час подметальщиков и зеленщиков был хорошо знаком Раймону Куррежу; он жадно вбирал в себя, вспоминал, узнавал ощущения, связанные с возвращением на рассвете: радость усталого, сытого животного, которое хочет лишь поскорее забраться в свое логово и

уснуть. Удачно, что отец пожелал расстаться с ним у входа в «Гранд-отель». Как он постарел! Как сдал!

«Расстояние, отделяющее нас от родных, — подумал он, — всегда слишком мало; наши близкие никогда не бывают от нас достаточно далеко». Раймон полагал, что больше не думает о Марии, вспомнил, что сегодня у него много дел, достал записную книжку, полистал ее, изумился тому, что нынешний день словно бы удлинился, — или, может быть, сократилось количество дел, которыми он собирался его занять? Утром? Ничего. После полудня? Те два свидания? Он не пойдет. Он заглянул в предстоящий день, как ребенок в колодец, — ему нечего туда бросить, разве что несколько камешков, но чем же засыпать дыру? Только одним можно было бы заполнить эту безмерную пустоту: позвонить у дверей Марии, велеть доложить о себе, быть принятым, сесть в комнате, где будет сидеть она, заговорить с нею — все равно о чем, — этого более чем достаточно, чтобы занять сегодняшние свободные часы и еще многие другие. Условиться о свидании с Марией, пусть даже на далекий срок, — с каким терпением, словно охотник в засаде, убивал бы он время, отделяющее его от этого дня! Даже если бы она

отложила свидание, Раймон утешился бы, знай он, что оно все-таки состоится, и этой новой надежды хватило бы, чтобы заполнить пустоту его жизни. Его жизнь — это провал, через который перекинут мост ожидания. «Подумаем, — рассуждал он, — начнем с самого простого: можно возобновить отношения с Бертраном Ларусселем, войти в его жизнь. Но у нас разные склонности, разный круг знакомых, где я могу встретить этого святошу, в каком святилище?» Раймон мысленно пропускает все остановки на пути к Марии; пропасть между ними наконец-то преодолена, и вот ее загадочная головка покоится у него на руке, он ощущает на своем бицепсе ежик ее подбритого затылка, словно щеку подростка; лицо Марии движется к нему навстречу, растет, — увы! — такое же недоступное, как на экране кинематографа. Раймона удивляет, что первые прохожие не оборачиваются на него, не замечают его безумия. Он опускается на скамью напротив церкви св. Магдалины. Какое несчастье, что он увидел ее снова, не надо было больше ее видеть: ведь все его увлечения за эти семнадцать лет, помимо его воли, вспыхивали, как средство против Марии, подобно тем кострам, что зажигают

крестьяне в ландах[41], чтобы встречным огнем остановить лесной пожар… Но он увидел ее опять, и пламя стало еще жарче, только усилившись за счет огней, которые должны были его подавить. Его чувственные пристрастия, его привычки, вся наука разврата, которую он терпеливо усваивал и развивал, стали пособниками пожара, который гудел и ширился, захватывая все более обширное пространство.

«Свернись калачиком, — твердил он себе, — долго это не продлится, а покамест заглушай боль наркотиками; поплавай на спине». Но его отец — тот будет страдать до самой смерти, да и что у него была за жизнь! Главное — это знать, помог бы ему разврат избавиться от любви или нет. Все служит любви: голод ее раздражает, сытость усиливает; наша добродетель — дразнит, возбуждает; любовь запугивает и чарует нас, но стоит нам ей раз уступить, как мы все больше и больше поддаемся ее безмерным требованиям. Да, она неистова. Надо было спросить отца, как мог он жить с этой опухолью. Что он, в сущности,

---

**[41] Примечания: 41**

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

получил за свою добродетельную жизнь? Какую нашел отдушину? Что может Бог?

Раймон пытался разглядеть, куда передвинулась большая стрелка на циферблате пневматических часов; он подумал, что его отец, наверное, уже покинул отель. У него явилось желание еще раз поцеловать старика — естественное желание сына, но его с отцом соединила еще другая, тайная кровная связь: они породнились через Марию Кросс. Раймон поспешно спустился к Сене, хотя времени до отхода поезда еще оставалось достаточно; быть может, он поддался тому роду безумия, который заставляет бежать человека, чья одежда охвачена огнем.

Уверенность, что он никогда не будет обладать Марией Кросс, умрет, не обладав ею, была нестерпима. Все, что у него было, ничего не стоит; ценность имеет лишь то, что никогда ему не достанется.

Ах, эта Мария! Он был потрясен тем, что один человек, сам того не желая, может возыметь такой вес в судьбе другого человека. Ему никогда не случалось думать о тех наших свойствах, что нередко помимо нашей воли и на большом расстоянье воздействуют на чужие сердца. Сейчас, когда он шел по тротуару между Тюильри

и Сеной, страдание заставило его впервые сосредоточиться на вещах, о которых он никогда раньше не думал. Нет сомнения: именно потому, что на заре нынешнего дня он почувствовал, что у него больше нет ни планов, ни желаний, ни радостей, ничто уже не отвлекало его от жизни минувшей; когда он лишился будущего, все его прошлое закопошилось перед ним. Сколько там было созданий, для которых встреча с ним оказалась роковой! Он еще не знает, сколько жизней направил по верному, сколько по неверному пути; ему неведомо, что из-за него некая женщина вытравила плод, некая молодая девушка умерла, что такой-то его товарищ поступил в духовную семинарию и что каждая из этих драм так или иначе повлекла за собой другую. На краю той ужасной пропасти, какою стал для него этот день без Марии, — а за ним потянется вереница других таких же дней, — ему открылись одновременно и его зависимость от нее, и его одиночество: жизнь близко столкнула его с женщиной, которая — он в этом уверился — навсегда останется для него недосягаемой; достаточно ей видеть свет, для того чтобы Раймон оставался в потемках, но до каких пор? А если он захочет выйти из тьмы, чего бы это ему ни стоило, если захочет вырваться из

этого силового поля, какое может найтись для него убежище, кроме отупения и сна?..

Разве что эта звезда на его небосклоне вдруг погаснет, как гаснет всякая любовь. Но Раймон носит в себе неистовую страсть, унаследованную от отца, — всесильную страсть, способную до самой смерти порождать другие живые миры, других Марий Кросс, чьим жалким спутником он постепенно станет… Надо было, чтобы до смерти отца и сына им наконец открылся Тот, кто помимо их воли призывает, притягивает из самых глубин их существа этот огненный прилив.

Он миновал пустынную набережную Сены, взглянул на вокзальные часы: отец, наверное, уже сидит в поезде. Раймон спустился на перрон, прошел вдоль вагонов, но долго искать ему не пришлось; в одном из окон он увидел его мертвое лицо; веки были сомкнуты, руки сложены на раскрытой газете, голова слегка запрокинута, рот приоткрыт. Раймон постучал в стекло: мертвец открыл глаза, узнал сына, заулыбался и, спотыкаясь, двинулся по коридору ему навстречу. Но вся его радость была отравлена детским страхом, что поезд вот-вот тронется и Раймон не успеет выйти.

— Теперь, когда я тебя повидал, когда я знаю,

что ты хотел еще раз увидеться со мной, ступай, мой дорогой, уже запирают двери.

Напрасно молодой человек уверял его, что осталось еще пять минут и что в худшем случае поезд остановится на Аустерлицком вокзале; старик успокоился только тогда, когда его сын очутился опять на перроне. Опустив стекло, он ласкал его взглядом, полным любви.

Раймон осведомился, все ли у него есть, что нужно в дороге: не хочет ли он другую газету или книгу? Закрепил ли он за собой место в вагоне-ресторане? Доктор отвечал: «Да… да…» — пожирая глазами этого мальчика, этого мужчину, такого отличного от него, такого похожего на него, — частицу его существа, которая на какое-то время его переживет и которую ему не суждено больше увидеть.

**1924 г.**

# ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ

*Господи, смилуйся, смилуйся над безумцами, над безумными мужчинами и женщинами! Разве может считать их чудовищами тот, кто один только знает, почему они существуют на свете, отчего они стали такими и как они могли бы не быть чудовищами?*

***Шарль Бодлер***

*Тереза, многие скажут, что ты не существуешь. Но я знаю — ты существуешь: ведь уже годы и годы я слежу за тобой, нередко останавливаю, когда ты проходишь мимо, и я срываю с тебя маску.*

*Помню, как юношей я увидел твое бледное личико с тонкими губами в душном зале суда, где судьбу твою решали судейские чиновники, менее свирепые, чем расфуфыренные дамы.*

*Позднее ты появилась передо мной в гостиной помещичьего дома в образе молодой нервной женщины, которую раздражали своими заботами старушки-родственницы и простоватый муж. «Да что это с ней? — говорили они. — Уж мы-то,*

*кажется, предупреждаем все ее желания».*

*А с тех пор сколько раз я любовался тобой, когда ты сидела, задумавшись, подперев изящной, но вовсе не крошечной рукой свой прекрасный высокий лоб! Сколько раз я видел сквозь живые прутья клетки, именуемой семьей, как ты металась там, словно волчица, и косила на меня злобным и печальным взглядом.*

*Многие, вероятно, будут удивляться, как я мог создать образ, еще более отталкивающий, чем прочие мои герои. Неужели мне никогда не удастся вывести на сцену людей, излучающих добродетель, открытых сердцем? Однако у человека «открытого сердца» не бывает трагических историй, а мне ведомы драмы сердец замкнутых, тесно связанные с грязной человеческой плотью.*

*Я хотел бы, Тереза, чтобы страдания привели тебя к Богу, долго питал надежду, что ты будешь достойна имени святой Локусты. Но ведь многие из тех, кто верит, однако, в искупление падших и страждущих душ, стали бы тогда кричать о кощунстве.*

*Как бы то ни было, расставшись с тобой на шумной улице, я надеюсь, что ты не будешь одинока.*

# I

Адвокат отворил дверь. Терезу Дескейру, стоявшую в коридоре у боковых дверей зала суда, обдало холодом, и она глубоко вдохнула сырой осенний воздух. Она боялась, что на улице ждут любопытные, и не решалась выйти От ствола платана отделился человек в пальто с поднятым воротником, она узнала отца. Адвокат крикнул: «Дело прекратили!» — и повернулся к Терезе:

— Можете выходить, никого нет.

Она спустилась по мокрым ступеням. Маленькая площадь и в самом деле оказалась совсем безлюдной. Отец не поцеловал дочь, даже не взглянул на нее, — он расспрашивал адвоката Дюро, и тот отвечал вполголоса, словно боялся, как бы их не подслушали. До Терезы доносились обрывки разговора:

— Завтра получу официальное уведомление о прекращении дела «за отсутствием состава преступления».

— А тут не может быть каких-нибудь сюрпризов?

— Нет, дело в шляпе, как говорится.

— После показаний моего зятя это стало ясно.

— Ясно… ясно… Всякое случается.

— Ну, раз, по собственному его утверждению, он никогда не считал капель…

— Знаете, Ларок, в делах такого рода показания жертвы…

Раздался голос Терезы:

— Жертвы не было.

— Я хотел сказать — жертвы своей неосторожности.

Оба собеседника повернулись к молодой женщине, зябко кутавшейся в накидку, и мгновение смотрели на ее бледное, ничего не выражавшее лицо. Она спросила, где стоит коляска; оказалось, что отец велел кучеру ждать за городом, на дороге к Бюдо, чтобы не привлекать внимания.

К счастью, темнело теперь рано. Да и добраться туда можно было по самым тихим улицам этого главного города супрефектуры. Тереза шла посередине, спутники — справа и слева от нее; они вновь заговорили между собой, как будто ее тут не было, но так как она, шагая между ними, мешала обоим, они то и дело толкали ее локтями. Тогда она немного отстала и, сняв с левой руки перчатку, стала отрывать мох со старых каменных стен, мимо которых они проходили. Иногда ее обгонял какой-нибудь рабочий, ехавший на

велосипеде, или крестьянская тележка; спасаясь от брызг жидкой грязи, Тереза прижималась к стене. Хорошо было, что сумрак скрывал лица и люди не могли узнать ее. Запах свежеиспеченного хлеба и сырого тумана был для нее не только привычным запахом, разливавшимся вечерами в этом маленьком городке, Тереза находила в нем аромат жизни, наконец-то возвращенной ей; она закрывала глаза, впивая дыхание уснувшей земли и мокрой травы, и старалась не слышать разглагольствований низенького человека с короткими кривыми ногами, который ни разу не обернулся, не взглянул на дочь, — упади она на краю дороги, ни он, ни адвокат Дюро и не заметили бы этого. Теперь они уже не боялись говорить во весь голос.

— Господин Дескейру дал превосходные показания. Но ведь тут еще всплыл рецепт! По существу, речь шла о подлоге… И доктор Педмэ подал в суд жалобу…

— Он взял жалобу обратно…

— Но все-таки… Что за объяснение она дала! Какой-то незнакомый человек передал ей рецепт…

Не столько от усталости, сколько из желания не слышать больше всех этих слов, которыми оглушали ее много недель, Тереза все замедляла

шаг, но расстояние не могло заглушить пронзительный голос отца:

— Сколько раз я твердил ей: «Да придумай ты, несчастная, что-нибудь другое… Придумай что-нибудь другое…»

Действительно, он достаточно твердил ей это, может отдать себе должное. Почему же он все еще волнуется? То, что он называет честью их семьи, спасено, ко времени выборов в сенат никто уже и вспоминать не будет об этой истории. Так думала Тереза, и ей очень хотелось, чтобы эти двое ушли далеко-далеко, но они в пылу спора остановились посреди дороги и все говорили, говорили, жестикулировали.

— Уверяю вас, Ларок, смелость лучше всего: перейдите в наступление, напечатайте статью в воскресном номере «Сеятеля». Если хотите, я могу за это взяться. Заголовок дать энергичный, например «Гнусные слухи»…

— Нет, друг мой, нет! Нет! Да и что отвечать? Ведь совершенно очевидно, что следствие вели спустя рукава, даже не прибегли к экспертизе графологов. Выход, по-моему, только один: молчать и замять дело. Сам я тоже буду действовать, приложу все старания, но в интересах семьи надо все это замять… надо замять…

Собеседники двинулись дальше, и Тереза не слышала, что ответил адвокат. Она тяжело вздохнула, жадно глотая сырой ночной воздух, как будто ей грозило смертельное удушье, и вдруг ей вспомнилась Жюли Беллад, неведомая ей бабка с материнской стороны; ее лицо осталось Терезе незнакомым; напрасно было бы искать у Ларoков или у Дескейру какого-нибудь портрета, дагерротипа или фотографии этой женщины — никто о ней ничего не знал, кроме того, что она ушла из дому. И воображение подсказывало Терезе, что и она тоже могла бы вот так исчезнуть, уйти в небытие, и позднее ее дочка, маленькая Мари, не нашла бы в семейном альбоме образа той, которая произвела ее на свет. А сейчас Мари спит в детской и нынче поздно вечером, приехав в Аржелуз, Тереза войдет к ней, прислушается в темноте к сонному дыханию ребенка, склонится над кроваткой и, словно истомившись от жажды, прильнет губами к дремлющему источнику жизни.

У придорожной канавы стояла коляска с опущенным верхом, свет от ее фонарей падал на крупы поджарой пароконной упряжки. Справа и слева от дороги темной стеной высился лес. С обоих дорожных откосов первые сосны про-

тягивали навстречу друг другу длинные ветви, переплетались верхушками, и под этим зеленым сводом дорога уходила в таинственный мрак. Сквозь спутанную сеть сосновых веток в вышине проглядывало небо. Кучер смотрел на Терезу с явным любопытством. Она спросила, поспеют ли они на станцию Низан к последнему поезду, и он успокоил ее, но сказал, что все-таки лучше не мешкать.

— Вот задала я вам работы, Гардер. Но это уж в последний раз.

— Больше, стало быть, незачем приезжать?

Она кивнула головой, а кучер по-прежнему не сводил с нее глаз. Неужели всю жизнь ее будут так разглядывать?

— Ну что? Ты довольна?

Отец, казалось, заметил наконец, что она тут. Тереза бросила быстрый, испытующий взгляд на его желчное, землистое лицо; фонари коляски ярко освещали желтоватую седую щетину бакенбардов, окаймлявших его щеки. Она тихо ответила ему:

— Я столько выстрадала… Я совсем разбита…

И она умолкла: зачем об этом говорить? Ведь отец не слушает ее, совсем не замечает. Какое ему дело до переживаний дочери! Для него важно

только одно: его карьера — восхождение к высотам сената, прерванное из-за скандала с Терезой («Все бабы — истерички или идиотки!»). По счастью, она уже не носит фамилии Ларок, теперь она Дескейру. Она избежала суда присяжных, и отец облегченно вздохнул. Но как помешать противникам растравлять его рану? Завтра же он поедет к префекту департамента. Слава богу, владелец газеты «Ланд консерватрис» у него в руках из-за скандальной истории с совращением малолетних… Г-н Ларок подхватил Терезу под локоть.

— Садись скорее, пора ехать.

И тогда адвокат — быть может, с коварным умыслом или просто желая что-то сказать Терезе на прощание — спросил, встретится ли она уже в этот вечер с г-ном Дескейру. Она ответила: «Ну, конечно. Муж меня ждет…» — и только тут, впервые после суда, представила себе, что через несколько часов она переступит порог спальни, где лежит ее муж, еще не совсем оправившийся от болезни, и что ей придется жить множество дней и ночей в тесной близости с этим человеком.

С самого начала следствия она поселилась в доме отца за чертой города и, конечно, не раз совершала точно такое же путешествие, как сего-

дня, но тогда она думала только о том, чтобы как можно точнее информировать мужа; перед тем как сесть в коляску, она выслушивала последние наставления Дюро относительно тех ответов, какие должен давать ее муж при новых допросах, и в те дни Тереза не испытывала никаких мучений, никакого чувства неловкости при мысли, что она сейчас очутится лицом к лицу с больным мужем: ведь тогда шла речь не о том, что произошло в действительности, но о том, что важно было сказать или не говорить. Необходимость защиты сближала их, и еще никогда они не были так спаяны, как в те дни, — их объединяла маленькая Мари, плоть от плоти их. Они старательно сочиняли для следователя простую и связную историю, которая могла бы удовлетворить его логический ум. В дни следствия Тереза садилась в тот же самый экипаж, который ждал ее и сейчас, но всякий раз ей тогда хотелось, чтобы поскорее кончилось ее ночное путешествие, а теперь она мечтала о том, чтобы оно длилось бесконечно! Тереза хорошо помнила, что стоило ей тогда сесть в коляску, как ей уже не терпелось очутиться в Аржелузе, а дорогой она припоминала, какие сведения ждет от нее Бернар Дескейру, не побоявшийся заявить следователю, что однажды

вечером жена рассказала ему, как совсем незнакомый ей человек умолил ее заказать для него по рецепту его врача лекарство, так как сам он уже не смеет показаться в аптеке, потому что должен аптекарю деньги… Но адвокат Дюро считал, что Бернару не следует заходить слишком далеко и уверять, будто ему помнится, как он упрекал жену за такую неосторожность…

Но вот кошмар рассеялся, и о чем же им с Бернаром говорить нынче вечером? Ей так ясно представился затерявшийся в лесу дом, где он ждет ее; она видела в воображении спальню с кафельным полом, низкую лампу на столе среди газет и аптекарских склянок… Во дворе еще заливаются лаем сторожевые псы, которых разбудил подъехавший шарабан, потом они умолкают, и вновь воцаряется торжественная тишина, словно в те ночи, когда она смотрела, как Бернар мучается жестокими приступами рвоты. Тереза старалась вообразить себе первый взгляд, которым они сейчас обменяются. А как пройдет ночь и что будет завтра, и послезавтра, и в следующие дни и недели — в этом доме, где им с Бернаром уже не надо больше придумывать вместе приемлемую версию пережитой драмы. Теперь между ними будет стоять только то, что

произошло в действительности… то, что произошло в действительности… И в паническом страхе Тереза бормочет, повернувшись к адвокату (на самом деле она говорит это для отца):

— Я рассчитываю пробыть несколько дней дома, с мужем. А когда ему станет лучше, вернусь к отцу.

— Ах, так? Ну уж нет, милая моя, нет, нет!

Кучер заерзал на козлах, а Ларок добавил, понизив голос:

— Ты что, совсем с ума сошла? Уйти от мужа в такой момент? Нет уж, будьте теперь неразлучны, будьте неразлучны. Слышишь? До самой смерти…

— Верно, папа. Что это мне в голову взбрело? Значит, ты сам станешь ездить к нам в Аржелуз?

— К чему? Я буду ждать вас у себя, как обычно, по четвергам — в ярмарочные дни. Приезжайте ко мне, как раньше приезжали!

Просто невероятно, что она до сих пор не уразумела, насколько опасно для него и для всех малейшее нарушение приличий. Это смерть! Понятно? Может он положиться на нее? Она причинила своей семье столько неприятностей!..

— Ты будешь делать все, что велит тебе муж. Думаю, что я выражаюсь совершенно ясно.

И г-н Ларок втолкнул дочь в коляску. Адвокат протянул Терезе руку с трауром под ногтями.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал он от всего сердца, ведь если бы дело пошло обычным ходом, ему это было бы совсем невыгодно: семейство Лароков и Дескейру пригласили бы защитником адвоката Пейрекава из Бордоского судебного округа. Да, да, все хорошо кончилось.

## II

Терезе нравился запах прелой кожи, свойственный старым экипажам. Сигареты она забыла, но не очень этим огорчилась, так как терпеть не могла курить в темноте. Фонари освещали откосы дороги, бахрому папоротников, нижнюю часть стволов исполинских сосен. Груды щебня разрывали тень от коляски. Иногда проезжала тележка, запряженная мулами, и мулы сами сворачивали вправо, а задремавший возница даже и не просыпался. Терезе казалось, что она никогда не доберется до Аржелуза, она надеялась, что никогда не доберется; больше часа езды до станции Низан, потом поезд узкоколейки с бесконечными остановками на каждой станции. Сойдет она в Сен-Клере, а оттуда еще десять километров на шарабане (дорога там такая, что ни один автомобиль не решится двинуться по ней ночью). На каждом повороте еще может вмешаться судьба и избавить Терезу от страшной встречи. Словом, опять заговорило воображение, которому она, несомненно, поддалась бы накануне суда, если бы следствие поддержало обвинение, — тогда Тереза мечтала бы о землетрясении. Она сняла

шляпку, прижалась щекой к пахучей кожаной обивке «виктории»; от толчков раскачивалась ее маленькая головка, ее бледное лицо, вся она безвольно отдавалась дорожной тряске.

До этого вечера она жила, как затравленный зверь, но вот пришло спасение, и только теперь она почувствовала безмерную усталость. Ввалившиеся щеки, резко обозначившиеся скулы, полоска тонких губ и великолепный высокий лоб. Словом, у нее лицо обреченного человека. Да, хоть на суде ее и не признали виновной, она обречена на вечное одиночество. Таким очарованием (а раньше она считалась в обществе неотразимой) обладают все, у кого лицо выдает их тайные терзания, жгучую душевную рану, если они не умеют скрывать свои муки. Забившись в угол коляски, Тереза, эта разоблаченная отравительница, едет по ухабистой дороге, проложенной в густой тени соснового бора, и тихонько проводит правой рукой по своему лицу мученицы, заживо сжигаемой на костре. Что скажет ей при встрече муж, после того как своими ложными показаниями он спас ее? Конечно, сегодня он не задаст ей никакого вопроса… Но завтра? Тереза закрывает глаза, потом, открыв их, смотрит вокруг; лошади идут шагом, и она пытается определить, где она,

что это за подъем. Ах, зачем думать о встрече? Может быть, все будет гораздо проще, чем она воображает. Не думать заранее. Заснуть… Почему она уже не в коляске? Стол, накрытый зеленым сукном, за столом какой-то человек. А-а, это следователь… опять он… Но ведь он же прекрасно знает, что дело прекращено. Однако он отрицательно качает головой: дело не может быть прекращено, имеется новый факт. Новый факт? Тереза отворачивается, чтобы враг не видел ее исказившегося лица. «Вспомните хорошенько, сударыня, вы ничего не спрятали во внутренний карман старой пелерины, которую носите теперь только в октябре, когда идете на охоту, стрелять вяхирей? Ничего вы в кармане этой пелерины не забыли?» Отпираться невозможно. Тереза задыхается. Не сводя глаз со своей добычи, следователь кладет на стол пакетик, запечатанный красным сургучом. Тереза могла бы наизусть сказать, что написано на пакетике, а следователь вслух разбирает надпись резким своим голосом:

*Хлороформ — 10 граммов*
*Аконитин — 2 грамма*
*Дигиталин — 0,2 грамма*

Следователь разражается хохотом… Тормоз

скрежещет о колесо. Тереза просыпается, полной грудью вдыхает туман (должно быть, начался спуск к Белому ручью). Вот так же в юности ей не раз снилось, что по ошибке ее вторично заставляют сдавать выпускные экзамены, а сейчас она испытывает такое же радостное чувство облегчения, какое приносило ей в те далекие годы пробуждение от страшного сна. Немного беспокоило ее лишь то, что нет официального документа о прекращении дела. «Но ведь ты же знаешь, что сначала известят адвоката…»

Свободна! Чего же еще желать? Теперь для нее будет легче легкого жить возле Бернара. Открыть ему всю душу, ничего не оставив в тени, — вот в чем спасение. Вытащить на свет божий все, что было скрыто, и сделать это не мешкая, нынче же вечером. Решение это переполняет сердце радостью. По дороге в Аржелуз она успеет «подготовиться к исповеди», как говорила ее благочестивая подруга Анна де ла Трав каждую субботу в счастливые дни летних каникул. Милая младшая сестра Анна, невинное создание, какое большое место ты занимаешь во всей этой истории! Самые чистые люди не ведают, в чем они бывают замешаны каждый день, каждую ночь и какие ядовитые семена прорастают там,

где ступали их детские ножки.

Конечно, эта юная школьница была совершенно права, когда твердила своей подружке Терезе, рассудительной насмешнице: «Ты и представить себе не можешь, какое чувство освобождения испытываешь, когда признаешься на духу во всем и получишь отпущение грехов, — все старое сотрется и можно зажить по-новому». И действительно, стоило Терезе решить, что она все скажет, как она и в самом деле почувствовала облегчение: «Бернар все узнает, я все ему скажу…»

А что она ему скажет? «С чего начать признания? Можно ли передать словами это темное сплетение желаний, решений, непредвиденных поступков? Как исповедуются те, кто сознает свои преступления? Но я-то ведь не сознавала свое преступление. Я не хотела сделать то, в чем меня обвиняют. Я сама не знала, чего я хотела Я не знала, к чему ведет неукротимая сила, клокотавшая во мне и вне меня. Сколько же она разрушила на своем пути! Даже мне самой стало страшно…»

Фонарь с коптившей керосиновой лампой освещал побеленную известкой стену железнодорожной станции Низан и стоявшую у дверей тележку. (Какая тьма сгущается вокруг полосы света!) С поезда, стоявшего на запасном пути,

доносились гудки паровоза, похожие на мычание и печальное блеяние. Гардер взял саквояж Терезы и снова впился в нее взглядом. Должно быть, жена велела ему: «Посмотри хорошенько, какая она теперь, поди на ней лица нет…» Тереза безотчетно одарила отцовского кучера прежней своей улыбкой, из-за которой люди говорили: «Право, и не поймешь, хорошенькая она или нет, просто чувствуешь на себе ее обаяние…» Тереза попросила Гардера купить для нее билет — самой ей страшно было пройти к кассе через зал ожидания, где сидели две фермерши: пристроив свои корзинки на коленях, обе они вязали, покачивая головой.

Кучер принес билет, Тереза велела ему оставить сдачу себе. Он притронулся рукой к фуражке, потом сел на козлы и, разобрав вожжи, обернулся в последний раз — поглядеть на дочку своего хозяина.

Состав еще не был сформирован. Когда-то, приезжая летом на каникулы или возвращаясь в город к началу учебного года, Тереза Ларок и Анна де ла Трав радовались долгой остановке на станции Низан. Они закусывали в харчевне яичницей с ветчиной, потом, обняв друг друга за талию, прогуливались по дороге. Сейчас она

такая темная и мрачная, но в те годы, уже отошедшие в прошлое, Тереза видела ее всю белую, залитую лунным светом. Подружки смеялись, глядя на свои длинные, сливавшиеся вместе тени. Разумеется, говорили об учительницах, о подругах; одна защищала свой монастырский пансион, другая — свой лицей. «Анна!» — громко произнесла в темноте Тереза. Прежде всего надо рассказать Бернару об Анне… Но ведь Бернар обожает точность. Он педантически классифицирует все чувства, каждое рассматривает отдельно и знать не желает, какая сложная сеть путей, переходов и переплетений существует меж ними. Как же ввести его в те туманные области, где жила и страдала Тереза? А ведь это необходимо. Остается только одно: сегодня вечером войти к Бернару в спальню, сесть у его постели и повести его за собой шаг за шагом, пока он не остановит ее и не скажет: «Теперь я понял. Встань. Я прощаю тебя».

Она прошла в темноте через садик начальника станции, услышала запах хризантем, но самих цветов не могла различить. В купе первого класса никого не было. Впрочем, при свете тусклого фонаря ее лица все равно никто бы не разглядел. Читать невозможно, да и любой роман показался

бы Терезе пресным по сравнению с ее ужасной жизнью. Может быть, она умрет от стыда, от тоски, от угрызений совести, от усталости, но только уж не от скуки.

Она забилась в угол, закрыла глаза. Да неужели такая умная женщина, как она, не сможет рассказать всю эту драму так, чтобы суть ее стала понятной? Да, да. Когда она кончит, Бернар поднимет ее и скажет: «Иди с миром, Тереза, не тревожься больше. Мы будем жить в Аржелузе, в этом самом доме, до самой своей смерти, и никогда между нами не встанет то, что произошло. Мне хочется пить. Спустись сама в кухню, приготовь мне стакан оранжада. Я выпью его залпом, даже если он окажется мутным. Я не испугаюсь, если у него будет странный привкус, как у того шоколада, который я когда-то пил по утрам. Помнишь, любимая, как у меня поднималась рвота? Милыми своими руками ты поддерживала мне голову, не отводила взгляда от зеленоватой жидкости, извергаемой моим желудком, приступы рвоты не пугали тебя. Но как ты была бледна в ту ночь, когда я заметил, что у меня онемели и отнялись ноги! Меня бил озноб, помнишь? А этот болван доктор Педмэ поражался, что температура у меня очень низкая, а пульс такой частый…»

«Ах, нет, — думает Тереза, — он не поймет. Надо начать с самого начала…» А где начало наших поступков? Наша судьба, когда мы хотим обособить ее, подобна тем растениям, которые невозможно вырвать из земли вместе со всеми корнями. Может быть, Терезе надо начать с детства? Но ведь и само детство — это некий конец, завершение.

Детство Терезы — чистый, светлый исток самой мутной из рек. В лицее она казалась ко всему равнодушной, словно и не замечала мелких драм, терзавших ее подруг. Учительницы часто ставили им в пример Терезу Ларок: «Тереза не ищет иной награды, кроме радостного сознания, что ее можно считать олицетворением высоких человеческих чувств. Совесть — вот ее единственная путеводная звезда. Гордая мысль, что она принадлежит к избранным натурам, поддерживает ее надежнее, чем страх перед наказанием…» Так высокопарно говорила о ней одна из учительниц. Тереза думает: «А была ли я счастлива? Была ли я так чиста сердцем? Вся моя жизнь до замужества предстает передо мной как свет и чистота, — несомненно, по контрасту с неизгладимой грязью брачной ночи. Лицей и все, что предшествовало супружеству и рождению ребенка, кажется мне теперь раем. Но тогда я это-

го не сознавала. Могла ли я знать, что в те годы, когда еще не начиналась моя жизнь, я как раз жила подлинной жизнью? Да-да, я была чиста, да, я была ангелом! Но ангелом, исполненным страстей. Что бы там ни говорили мои учительницы, а я страдала и доставляла страдания другим. Я радовалась, что могу причинить кому-нибудь боль, и радовалась боли, которую причиняли мне мои подруги. Страдания наши были очень чисты, никакие угрызения совести не примешивались к ним: наши горести и радости доставляли нам невинные развлечения».

А как приятно было Терезе сознавать, что она нисколько не хуже Анны, с которой они встречались в летние месяцы под дубами Аржелуза. Тогда она могла говорить этой девочке, воспитанной монашками Сакре-Кёр: «Чтобы быть такой же чистой, как ты, мне не нужны все эти ваши ладанки и бормотание молитв». Да и чистота Анны де да Трав проистекала главным образом из неведения. Монахини-воспитательницы накидывали множество покровов на реальную действительность, скрывая ее от своих воспитанниц. Тереза их презирала за то, что они не видят разницы между добродетелью и неведением. «Ты, дорогая, жизни не знаешь», — говорила она Анне в те

далекие, такие уже далекие дни чудесных летних каникул в Аржелузе… И вот, думая о них в поезде узкоколейки, который тронулся наконец, Тереза говорит себе, что именно с воспоминаний об этих днях ей и нужно начать, если она хочет во всем разобраться. Невероятно, но это так — светлая заря нашей жизни уже чревата самыми страшными грозами. «Небо голубое поутру — будет буря днем иль ввечеру». А после бури увидишь развороченный ливнем цветник, сломанные ветки и грязь. Когда-то Тереза жила, ни о чем не задумываясь, ничего не загадывала, на жизненном ее пути не было никаких крутых поворотов, она незаметно спускалась по склону, сначала медленно, потом все быстрее. И вот юное, жизнерадостное существо, каким она была в те далекие дни летних каникул, стало погибшей женщиной, которая возвращается нынче осенним вечером в тот же Аржелуз, возвращается крадучись, под покровом темноты.

Как она устала! Зачем отыскивать тайные пружины того, что уже совершилось? В оконном стекле отражается ее лицо, бледное, неподвижное, как у мертвой, а за окном ничего не видно; колеса стучат по рельсам уже по-другому, паровоз дает долгий гудок, поезд осторожно подходит

к станции. В темноте покачивается фонарь в чьей-то поднятой руке, какие-то люди перекликаются, выкрикивают что-то на местном диалекте, пронзительно визжат выгружаемые из вагона поросята. Это станция Юзест. А дальше — Сен-Клер, а оттуда придется ехать до Аржелуза в шарабане. Так мало времени осталось у Терезы, чтобы подготовиться к своей защите.

## III

Аржелуз поистине стоит на краю света, дальше уж ни проехать, ни пройти. Местные жители называют его «околоток»: тут нет ни церкви, ни мэрии, ни кладбища — просто несколько ферм, разбросанных вокруг ржаного поля; находится он в десяти километрах от маленького городка Сен-Клер, с которым его соединяет единственная и притом ужасная дорога. Вся в выбоинах и ямах, она за Аржелузом разделяется на песчаные тропинки, и до самого океана, на протяжении восьмидесяти километров, увидишь только болота, лагуны, чахлые сосны, дюны, где пасутся овцы, у которых шерсть становится пепельно-серого цвета к концу зимы. Все видные семьи Сен-Клера — выходцы из этого глухого околотка. В середине прошлого века, когда сосновая смола и древесина стали давать прибыль вдобавок к тем скудным доходам, какие жители Аржелуза получали от своих овечьих отар, деды нынешней знати Сен-Клера переселились в этот городок, а их прежние жилища в Аржелузе стали фермами. Резные балки потолка да кое-где сохранившиеся мраморные камины свидетельствуют об их бар-

ском происхождении. Но с каждым годом дома эти все больше оседают, и кое-где широкая стреха обвисшей крыши почти уже касается земли.

Среди этих старых жилищ два еще остались господскими домами. Семейство Ларок и семейство Дескейру сохранили давние постройки в том виде, в каком унаследовали их от своих предков. Жером Ларок, член генерального совета департамента и мэр города Б., главную свою резиденцию имел у въезда в столицу супрефектуры, но ничего не хотел менять в своем аржелузском доме, доставшемся ему от покойной жены (она умерла вскоре после рождения Терезы, оставив ее грудным младенцем). Г-н Ларок не удивлялся, что дочь его любит проводить в Аржелузе летние каникулы. Она приезжала в июле и жила там под надзором тети Клары, старшей сестры отца, глухой старой девы, тоже любившей «этот уединенный уголок», потому что здесь, по ее словам, она не видит, как все время шевелятся чьи-то губы, и знает, что и слышать тут нечего, кроме шума ветра в сосняке. Г-н Ларок радовался, что Аржелуз, избавлявший его от присмотра за дочерью, сближает ее с Бернаром Дескейру, за которого ей предстояло выйти замуж, как того желали оба семейства, хотя их соглашение еще не

носило официального характера. Бернар Дескейру получил в наследство от отца дом в Аржелузе, стоявший рядом с домом Лароков; правда, он там не появлялся до дня открытия охоты и оставался ночевать только в октябре, так как устроил себе неподалеку «хижинку», куда переселялся во время охоты на вяхирей. Зиму этот рассудительный юноша проводил в Париже, где учился на юридическом факультете. Летом он не много дней посвящал семье, так как ненавидел своего отчима Виктора де ла Трав, за которого г-жа Дескейру, овдовев, вышла замуж, хотя у него за душой не было гроша ломаного, а его мотовство служило предметом толков всего Сен-Клера. Анна де ла Трав, сводная сестра Бернара, казалась ему маленькой девочкой, не заслуживающей никакого внимания. Много ли больше думал он о Терезе? Весь край считал, что они с Бернаром должны пожениться, так как их владения, казалось, были просто созданы для того, чтобы соединиться, и благоразумный юноша был согласен с этим всеобщим мнением. Но он ничего не оставлял на волю случая и полагал, что умение хорошо наладить свою жизнь — великое достоинство, которым можно гордиться. «Человек бывает несчастен только по своей вине», — говорил он. Несмот-

ря на молодость, он был довольно толстым. До женитьбы он отводил одинаковое место труду и удовольствиям; он любил и хорошо поесть, и выпить, а главное, любил охоту. Но зато и занимался он юриспруденцией «как одержимый», по выражению его матери, — ведь муж должен быть выше жены по образованию. Тереза и в юности славилась своим умом, а ум, как известно, ведет к вольномыслию. Но Бернар знал, чем можно урезонить женщину, и к тому же совсем было бы неплохо, как его убеждала мать, заручиться поддержкой в лагере вольнодумцев, и г-н Ларок, отец Терезы, мог быть ему полезен. Итак, в двадцать шесть лет Бернар Дескейру после путешествий в Италию, Голландию и Испанию, «заранее солидно изученных», должен был жениться на Терезе Ларок, самой богатой и самой умной девушке во всем крае, пусть даже и не самой хорошенькой. («Но как ее увидишь, сразу подпадаешь под ее обаяние, не замечая, хорошенькая она или дурнушка».)

Тереза даже улыбнулась, таким карикатурным предстал в ее воображении Бернар, произносивший эти слова. «Но, в сущности, он был гораздо развитее большинства возможных для меня

женихов». В ландах[42] женщины куда тоньше мужчин — ведь мужчины со школьной скамьи общаются только между собой и душевной тонкости не приобретают; их сердце навсегда отдано ландам, мыслями они всегда в ландах, для них ничего не существует, кроме удовольствий, какие им предоставляют ланды; им казалось бы не только разлукой с родным краем, но изменой ему, если бы они перестали походить на своих фермеров, не говорили бы на местном диалекте, отказались бы от грубых манер и диких повадок. А разве у Бернара под этой грубой оболочкой нет своего рода доброты? Когда он был почти что при смерти, фермеры говорили: «Как не станет его, то уж больше не найдешь здесь настоящего хозяина». Да, есть у него и доброта, и здравый смысл, и добросовестность, он никогда не говорит о том, чего не знает, не переоценивает своего ума и способностей. Юношей этот неотесанный Ипполит был недурен собой, но предпочитал не гоняться за девушками, а травить зайцев в ландах.

---

**[42] Примечания: 42**

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

Однако совсем не его видит Тереза, прижавшись лбом к окошку вагона и закрыв глаза, не он, равнодушный жених, возникает перед ее мысленным взором, не Бернар, а его младшая сестренка Анна: вот она с раскрасневшимся личиком катит на велосипеде в прежние, далекие дни из Сен-Клера в Аржелуз в девятом часу утра, пока еще не настал самый зной, но уже цикады искрами перелетают от сосны к сосне и под чистейшим небом земля уже начинает обдавать жаром, как раскаленная печь, где гудит яркое пламя. Тучи мошкары поднимаются над высокими зарослями вереска. «Накинь на плечи пелеринку, а то у нас в гостиной холодно, как в погребе», — говорила Тереза, а тетя Клара добавляла: «Деточка, я, конечно, дам вам попить холодненького, но только немного погодя, когда вы остынете, вы ведь вся в поту». Анна выкрикивала глухой тете Кларе слова приветствия. «Да ты не надрывайся, милочка, она все по губам понимает…» Но Анна старательно выговаривала каждое слово, искривляя во все стороны свой маленький ротик. Тетушка отвечала невпопад, и наконец подружки, не выдержав, убегали в сад, чтобы посмеяться на свободе.

В тесном купе Тереза вспоминает эти дни своей юности, такие чистые, но исполненные неизъ-

яснимого, трепетного блаженства, когда еще неведомо было, что эти сияющие отблески радости — единственная ее доля счастья на земле. Ничто, ничто не предвещало, что не будет у нее в жизни более светлых минут, чем те, которые она проводила в разгар жаркого лета в темной гостиной, на старом диване, обитом красным репсом, сидя рядом с Анной, когда та рассматривала фотографии в альбоме, поддерживая его коленями. Откуда же приходило тогда счастье? Разве было хоть малейшее сходство во вкусах Анны и Терезы? Анна терпеть не могла читать, любила только шить, болтать всякий вздор и смеяться. Ни о чем она всерьез не думала. А Тереза с жадностью поглощала и романы Поль де Кока, и «Беседы по понедельникам» Сент-Бёва, и «Историю консульства» Тьера — словом, все, что валялось в стенных шкафах загородного дома. Ничего общего во вкусах, и только в одном были они единодушны: обеим очень нравилось быть вместе в эти знойные летние дни, когда приходилось укрываться от огня небесного в полумраке комнат. Иной раз Анна вставала посмотреть, спадает ли жара. Но едва она приоткрывала ставни, солнечный свет врывался, как струя расплавленного металла, и как будто загоралась циновка

на полу, и вновь приходилось все закрывать, прятаться от жгучих лучей.

Даже к вечеру, когда солнце только понизу окрашивало в красный цвет стволы сосен и последний кузнечик неистово стрекотал у самой земли, под дубами стояла жара. Подруги усаживались у кромки ржаного поля, словно на берегу озера. Принимая переменчивые образы, над ними скользили грозовые облака; пока Тереза успевала разглядеть крылатую женщину, которую Анна увидела в небе, растаявшее видение вытягивалось в какого-то страшного зверя.

В сентябре уже можно было после полдника выйти из дому, побродить по безводному, жаждущему краю — в Аржелузе нет ни одного ручейка, нужно долго идти среди песков, пока не доберешься до истоков речки под названием Юр. Она рождается из множества родников, которые бьют в узких травянистых ложбинках среди корней ольхи. В их ледяной воде босые ноги коченели, но стоило ступням обсохнуть, их снова обжигала земля. Одна из тех «хижинок», где в октябре прячутся охотники, подстерегая вяхирей, служила Терезе и Анне убежищем от жары, не менее приятным, чем темная гостиная. Говорить им было не о чем, да и не хотелось говорить, они не

обменивались ни единым словом; одна за другой проносились минуты этих долгих невинных привалов, девушки не двигались, словно боялись пошевелиться, как охотник, когда он услышит подлетающую стаю и подает спутникам знак: «Тише!» И обеим подругам казалось, что от малейшего жеста рассеется неясное и такое чистое ощущение счастья. Первой, очнувшись от дремоты, выходила из хижины и потягивалась Анна, ей не терпелось пострелять на закате солнца жаворонков. Тереза не выносила этой забавы, но шла вслед за подругой, не могла с ней расстаться. Анна снимала с гвоздя охотничье ружье, которое не отдавало при выстреле. Стоя на косогоре, Тереза смотрела, как охотница, забравшись в рожь, как будто целится в солнце, намереваясь его погасить. Тереза затыкала себе уши. Короткая ликующая трель обрывалась в синеве, и охотница подбирала раненого жаворонка, осторожно сжимала его в ладонях и, лаская губами перышки, вдруг душила его.

— Завтра приедешь?

— Ну что ты! Не каждый же день!

У Анны не было желания видеться с подругой ежедневно. На ее разумный ответ нечего было возразить. Даже самой Терезе не приходило в

голову спорить, раз Анна предпочитает видеться реже. Конечно, ничто бы ей не помешало приезжать каждый день, но зачем встречаться очень уж часто. «Так в конце концов можно и опротиветь друг другу», — говорила она. Тереза отвечала: «Да… да… Главное, не насилуй себя, приезжай, только когда захочется, когда не будет ничего лучшего». Тоненькая, полудетская фигурка исчезала вдали, на темной уже дороге слышался дребезжащий звонок велосипеда.

Тереза возвращалась домой; фермеры издали кланялись ей, дети к ней не подходили. В этот час овцы вразброд паслись под дубами, и вдруг вся отара пускалась бежать, а пастух орал на них. Тетя Клара, поджидавшая племянницу на крыльце, по обыкновению глухих людей, начинала говорить, говорить без умолку, для того чтобы не заговорила Тереза. Отчего становилось так тоскливо? Читать не хотелось, ничего не хотелось делать, и Тереза вновь отправлялась побродить. «Не уходи далеко, скоро ужин». Тереза выходила на дорогу, там было пустынно до самого горизонта. У порога кухни начинал звякать колокол. Пожалуй, уже пора и лампу зажигать. Тетя Клара неподвижно сидела за столом, положив крест-накрест руки на скатерть, и для этой глухой старухи

тишина была столь же глубокой, как и для юной дикарки Терезы.

Бернар, Бернар, как ввести тебя в этот неясный мир, тебя, принадлежащего к породе слепцов, к безжалостной породе все упрощающих людей? «Нет, — думает Тереза, — он с первых же слов прервет меня: „Почему же вы вышли за меня замуж? Я ведь не бегал за вами…“». В самом деле, почему она вышла за него? Он действительно не проявлял нетерпения. Тереза хорошо помнила, как мать Бернара, во втором браке г-жа де ла Трав, сообщала всякому встречному и поперечному: «Он прекрасно мог бы подождать, но она сама этого захотела, да, сама захотела. У нее, к сожалению, не такие принципы, как у нас, она, например, курит, дымит, как паровоз, это ее стиль. А все-таки характер у нее прямой, открытый, правдивый. Мы быстро привьем ей здоровые взгляды. Конечно, не все нам по душе в этом браке… Да, да… Вот, например, эта Беллад, ее бабка с материнской стороны… мы же знаем… Но ведь все это уже позабылось, верно? Дело тогда замяли, не довели до скандала. Скажите, пожалуйста, вы верите в наследственность? У ее отца, разумеется, дурной образ мыслей, но поведение самое похвальное, прямо святой человек. Дочери

он всегда подавал только хорошие примеры. К тому же и связи у него большие, они всегда могут пригодиться. И, наконец, надо же на некоторые вещи закрывать глаза. А кроме того — хотите верьте, хотите нет, — Тереза богаче нас. Просто невероятно, но это так! Да еще она преклоняется перед Бернаром, а это не повредит...»

Да, она преклонялась перед Бернаром, это ей давалось без труда. При встречах в Аржелузе — в гостиной или под дубами, у кромки ржаного поля — ей стоило только вскинуть на него глаза, а уж он умел вызвать в ее взгляде выражение простодушной влюбленности. Видеть у своих ног такую добычу Бернару было, конечно, лестно, но это не удивляло его. «Не играй, пожалуйста, с ней, — твердила мать, — она томится».

«Я вышла за него замуж из-за того, что...» Нахмурив брови, закрыв ладонью глаза, Тереза старается вспомнить. Во-первых, сыграла роль ребяческая радость, что благодаря этому браку она станет невесткой Анны. Но радовало это главным образом самое Анну, Тереза же такие родственные связи не ставила ни во что. По правде говоря (чего тут стыдиться?), для нее было не безразлично, что у Бернара имение в две тысячи гектаров. Страсть к собственности была у нее в

крови. В отцовском доме, когда после долгих трапез убирали со стола посуду и подавали спиртные напитки, Тереза зачастую оставалась в обществе мужчин и с интересом слушала их разговоры о фермах, о фермерах, о крепежном лесе, сосновой смоле и скипидаре. Ее увлекали цифры, подсчеты. Несомненно, ее соблазняла мысль сделаться хозяйкой таких больших сосновых лесов. «Впрочем, и он тоже влюбился в мои сосны». Но, может быть, в Терезе говорило более смутное чувство, которое она сейчас пытается определить: быть может, она искала в браке не столько материального могущества, богатства, сколько убежища. Что толкнуло ее на этот брак, как не чувство страха? Юная, но практичная девушка, с детства приученная к хозяйству, она поспешила войти в подобающий для нее круг, занять в нем раз и навсегда определенное место. Она хотела укрыться от какой-то невидимой опасности. Никогда она не казалась такой рассудительной, как в пору ее помолвки с Бернаром, она стремилась вступить в семейный клан, «устроиться», войти в добропорядочный мирок, спасти себя.

В ту весну, когда их обручили, они ходили гулять по песчаной тропе, которая вела от Аржелуза к Вильмежа. На дубах еще держались засохшие

листья, темными пятнами пачкавшие небесную лазурь, побуревший прошлогодний папоротник приникал к земле, а из нее уже пробивались штыки новых побегов ядовито-зеленого цвета. Бернар говорил: «Будьте осторожны, не бросайте сигарету, может случиться пожар — в ландах совсем не осталось воды». Тереза спрашивала: «А правда, что в папоротнике есть синильная кислота?» Бернар не знал, достаточно ли ее в папоротнике, чтобы отравиться. И ласково говорил: «Уж не хочется ли вам умереть?» Тереза смеялась. Он сказал, что ей надо быть проще. Терезе вспомнилось, как она закрыла глаза, а две большие руки сжали ее голову и низкий голос шепнул ей на ухо: «В этой головке, верно, есть еще и другие ложные мысли?» Она ответила: «Вы их изгоните, Бернар». Они с любопытством смотрели, как работают каменщики, которые делали пристройку к ферме Вильмежа. Владельцы ее, проживавшие в Бордо, предназначали эту ферму в качестве летней резиденции для своего сына, у которого была «слабая грудь». Сестра его умерла от той же болезни. Бернар презирал этих Азеведо. «Они клянутся и божатся, будто они не евреи… А стоит только посмотреть на них! Да еще все страдают чахоткой и прочими недугами». На

душе у Терезы было спокойно. Скоро, к свадьбе, из монастыря Сен-Себастьян приедет Анна. Она должна вместе с сыном помещика Дегилема собирать пожертвования во время венчания. Анна просила Терезу ответить ей «с обратной почтой» и описать в письме, как будут одеты другие подружки невесты: «Нельзя ли прислать образчики тканей? Ведь в наших общих интересах выбрать такие тона, чтобы они гармонировали друг с другом…» Никогда еще Тереза не испытывала такого душевного покоя, ей казалось, что это покой, а на самом деле то была дремота, сонное оцепенение ядовитого гада, таившегося в ее груди.

## IV

Свадьба состоялась в Сен-Клере, в тесной церкви, где болтовня дам заглушала одышливую фисгармонию, а их крепкие духи перекрывали запах ладана, и в этот знойный день Тереза почувствовала, что она погибла. Она, как лунатик, вошла в клетку и вдруг очнулась, когда громыхнула и захлопнулась тяжелая дверь. Ничего как будто не изменилось, но она поняла, что отныне уже не может погибнуть одна. В густой чаще семейных устоев и правил она будет подобна тлеющему огню, который ползет под зарослями вереска, охватывает пламенем одну сосну, потом другую, перекидывается с дерева на дерево, и вот уже пылает целый лес исполинских факелов. В толпе гостей не было ни одного лица, на ком хотелось бы остановить свой взгляд, — только Анна. Но детская радость младшей подружки стеной отделила ее от Терезы. Чего она радуется? Она не ведает, что нынче вечером их разлучит не только расстояние, но также и то, что Тереза стояла на грани мучений, ее отделяло то непоправимое, что должно было испытать ее невинное тело. Анна останется на том берегу, где пребывают чистые

существа, Тереза смешается с толпой тех женщин, которые изведали все. Вспомнилось, что в ризнице, когда она наклонилась поцеловать Анну, поднявшую к ней смеющееся личико, перед ней вдруг возникла бездна, вокруг которой она, Тереза, создавала целый мир туманных печалей и туманных радостей; в несколько мгновений ей открылось безмерное различие между темными силами, бурлившими в ее сердце, и простодушной, милой мордочкой, испачканной пудрой.

Еще долго после этого дня и в Сен-Клере, и в городе Б. люди, толкуя об этой свадьбе Гамаша[43] (больше сотни фермеров и слуг пировали под дубами), всегда вспоминали, что новобрачная — «хоть и не красавица, но зато само обаяние» — всем показалась в этот день некрасивой, даже страшной. «Она сама на себя не походила, совсем другая стала...» Люди видели только то, что внешность ее изменилась, и винили в этом белое подвенечное платье, которое было ей не к лицу, винили жару, — они не распознали, что видят ее истинное лицо.

В день этой полудеревенской, полугосподской свадьбы вечером группы гостей, расцвеченные

**[43] Примечания: 43**

Имеется в виду описанная в «Дон-Кихоте» Сервантеса пышная свадьба богатого крестьянина Гамаша.

яркими платьями девушек, преградили дорогу автомобилю новобрачных и проводили их шумными приветствиями. На дороге, усеянной цветами белой акации, они обгоняли выписывавшие зигзаги тележки, в которых лошадьми правили подвыпившие крестьяне. Вспомнив о той ночи, что последовала за свадьбой, Тереза шепчет:

— Это было ужасно… — Потом спохватывается. — Да нет… не так-то ужасно…

А разве она очень страдала во время их путешествия на итальянские озера? Она играла в сложную игру «не выдавай себя». Жениха обмануть нетрудно, но мужа!.. Кто угодно может произносить лживые слова, но ложь тела требует иной науки. Не всякому удастся изображать желание, наслаждение, блаженную усталость. Тереза сумела приучить свое тело к такому притворству и черпала в этом горькую усладу. В мире неведомых ей ощущений, в который мужчина принуждал ее проникнуть, она с помощью воображения допускала, что там и для нее, возможно, есть счастье, но какое оно? Перед ней словно был пейзаж, затянутый густой сеткой дождя, и она старалась представить себе, каким он был бы при ярком солнце, — вот так Тереза открывала, что

такое страсть.

И как легко было обмануть Бернара, ее спутника с пустым взглядом, всегда обеспокоенного тем, что номера картин, выставленных в музеях, не соответствуют указаниям путеводителей, довольного тем, что он в кратчайший срок увидел все, что полагалось посмотреть. Он весь уходил в наслаждение, как те очаровательные поросята, на которых забавно смотреть, когда они, хрюкая от удовольствия, бросаются к корыту. («Я стала этим корытом», — думает Тереза.) У него был такой же, как у них, торопливый, деловой, серьезный вид и такая же методичность. «А разве так можно? Разве это хорошо?» — осмеливалась иногда спросить изумленная Тереза. Он, смеясь, успокаивал ее. Где он научился классифицировать все, что касалось плотских утех, различать ласки, дозволенные порядочному человеку, от повадок садиста? Тут он никогда не проявлял ни малейшего колебания. Однажды вечером в Париже, где они остановились на обратном пути, Бернар демонстративно покинул Мюзик-Холл, возмущаясь спектаклем, который там давали: «И подумать только, что иностранцы видят эту мерзость! Какой позор! А ведь по таким зрелищам они судят о нас!..» Терезу поразило, что этот стыдливый человек через

какой-нибудь час заставит ее терпеть в темноте его мучительные изобретения.

«Бедняга Бернар, а ведь он не хуже других. Но вожделение превращает человека, приближающегося к женщине, в чудовище, совсем на этого человека не похожее. Ничто так не отдаляет нас от нашего сообщника, как его чувственное исступление. Я видела, как Бернар утопает в пучине похоти, и вся замирала, как будто этот сумасшедший, этот эпилептик при малейшем моем движении мог удушить меня. Чаще всего уже на грани последнего наслаждения он вдруг замечал, что остается тут одинок; мрачное неистовство прерывалось: Бернар отступал, чувствуя, что я, будто отброшенная волной на берег, лежу, стиснув зубы, холодная, ледяная».

От Анны пришло только одно письмо — она очень не любила писать, но каким-то чудом каждое ее слово было приятно Терезе: ведь в письмах мы выражаем не столько подлинные наши чувства, сколько те, какие должны испытывать, чтобы доставить удовольствие адресату. Анна жаловалась, что она не может больше ездить на велосипеде в сторону Вильмежа — теперь там живет молодой Азеведо, она лишь издали видела его шезлонг, стоявший в папоротниках, — чахо-

точные внушают ей ужас.

Тереза несколько раз перечитывала это письмо и не ждала от Анны других вестей, поэтому она была очень удивлена, когда на другой день после прерванного посещения Мюзик-Холла в обычный час доставки почты увидела на трех конвертах почерк Анны де ла Трав. Отделы «до востребования» разных почтамтов переправили супругам Дескейру в Париж целую пачку писем, так как путешественники не останавливались в некоторых городах, торопясь «вернуться в свое гнездышко», как говорил Бернар, а в действительности по той причине, что они уже не могли постоянно быть вместе: муж изнывал от скуки без своих охотничьих ружей, без своих собак, без деревенской харчевни, где подавали «удивительно приятное кисленькое винцо, какого нигде не найдешь»; а тут еще эта женщина, такая насмешливая, холодная, явно не испытывающая никакой радости на супружеском ложе и не желающая говорить об интересных вещах!.. А Терезе хотелось поскорее вернуться в Сен-Клер — так осужденному, томящемуся в пересыльной тюрьме, любопытно бывает посмотреть на тот остров, куда его сослали на вечную каторгу. Тереза с трудом разобрала на каждом из трех конвертов

дату, обозначенную почтовым штемпелем, и уже хотела было распечатать самое давнее письмо, как вдруг Бернар издал глухое восклицание и крикнул ей что-то — слов она не расслышала: окно было отворено, и как раз на этом перекрестке автобусы с ревом меняли скорость. Бернар отложил бритву и углубился в чтение письма матери. Тереза, как сейчас, видит его летнюю рубашку с короткими рукавами, обнаженные мускулистые руки, до странности белые, и внезапно побагровевшие шею и лицо. В это июльское утро уже стояла удушливая жара, солнце, сиявшее в закопченном небе, подчеркивало, как грязны видневшиеся перед балконом фасады старых домов. Бернар подошел к Терезе и крикнул:

— Ну это уж просто безобразие! Хороша твоя любимица! Ну и Анна! Кто бы мог подумать, что моя сестрица выкинет такую штуку!..

И в ответ на вопрошающий взгляд Терезы сказал:

— Представь себе, влюбилась в молодого Азеведо! Да, влюбилась в этого чахоточного юнца, для которого родители сделали пристройку в Вильмежа… И, кажется, дело тут серьезное… Она заявляет, что дождется своего совершеннолетия и выйдет за возлюбленного… Мама пишет, что дев-

чонка совсем сошла с ума. Только бы Дегилемы не узнали. А то молодой Дегилем, чего доброго, пойдет на попятный и не посватается! Ты получила письма? Это от нее? Ну, сейчас все узнаем. Распечатай поскорее.

— Хочу прочесть все три письма по порядку. И к тому же я не собираюсь показывать их тебе.

Даже тут сказался ее характер — вечно она все усложняет. Но, в общем, важно только одно — чтобы она образумила девчонку.

— Мои родители рассчитывают на тебя, ты ведь имеешь огромное влияние на Анну. Да-да, не спорь. И они ждут тебя как свою спасительницу.

Пока Тереза одевалась, он пошел отправить телеграмму и заказать два билета на Южный экспресс. Терезе он посоветовал начать укладываться.

— Да почему ты не читаешь письма этой дурочки?

— Жду, когда ты уйдешь.

Еще долго после того, как он затворил за собой дверь, Тереза лежала на диване и курила, уставясь глазами в золотые, но уже потускневшие буквы большой вывески, укрепленной на балконе противоположного дома. Наконец она разорвала первый конверт. Нет-нет, не может

быть, чтобы это писала ее маленькая глупенькая Анна, воспитанница монастырского пансиона, ограниченная девочка! Разве могли из-под ее пера вырваться такие пламенные слова! Нет, не могла из ее черствого сердца — а ведь Тереза догадывалась, что у Анны черствое сердце — излиться эта Песнь Песней, эта исполненная счастья жалоба женщины, захваченной страстью, умирающей от восторга при первом любовном прикосновении.

*«…Когда я его встретила, то просто не могла поверить, что это он: ведь он бегал, играя с собакой, он весело кричал. Нельзя было и вообразить, что это тяжелобольной человек. Конечно, он вовсе не болен, родные просто стараются поберечь его, потому что в их семье были трагические случаи. Он даже не кажется хрупким, а скорее худеньким. И знаешь, он привык, чтобы его баловали, лелеяли. Ты меня не узнала бы: ведь это я приношу и накидываю ему на плечи пелерину, когда спадает жара…»*

Если бы Бернар вернулся в эту минуту и вошел в номер, он удивился бы, увидев свою жену, сидевшую на постели, — это была какая-то незнакомка, странная, не похожая на Терезу женщина. Она нервно бросила сигарету, разорвала второй конверт.

*«...Я буду ждать сколько понадобится, меня не запугают никакими запретами, моя любовь их и не чувствует. Меня теперь не выпускают из Сен-Клера, но ведь Аржелуз не так-то от него далеко, и мы с Жаном прекрасно можем встречаться. Помнишь нашу с тобой охотничью хижинку? Выходит, что это ты, дорогая, заранее выбрала место, где мне довелось испытать такое счастье. Только ты, пожалуйста, не подумай, будто мы делаем что-то дурное. Он такой деликатный. Ты и понятия не имеешь о юношах, подобных ему. Он много учился, много читал (так же, как ты), но у молодого человека это не раздражает меня, и мне ни разу не приходило желания поддразнить его. Ах, как бы я хотела быть такой же ученой, как ты! Душенька моя, как ты, должно быть, наслаждаешься теперь, когда изведала блаженство, мне еще незнакомое, и как же должно быть велико это блаженство, если я вся трепещу, едва приближаюсь к нему! Когда мы с Жаном встречаемся в охотничьей хижине (той самой, в которую ты приносила с собой наш полдник), когда он обнимает меня и рука его замирает на моей груди, а я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце (он называет это „последней дозволенной лаской“), меня охватывает*

*чувство счастья, такого осязаемого, что, право, я, кажется, могла бы потрогать его. И все же мне думается, что за пределами этой радости есть что-то, какая-то иная радость. И когда Жан, весь бледный, уходит, воспоминание о наших ласках, ожидание того, что будет завтра, опьяняет меня, и я бываю глуха к жалобам, мольбам и оскорблениям моих близких, — ведь эти жалкие люди не знают и никогда не знали... Прости меня, дорогая, я говорю тебе о счастье, как будто и ты еще не познала его; но ведь я совсем новичок по сравнению с тобой, и я уверена, что ты будешь за нас с Жаном — против наших мучителей».*

Тереза разорвала третий конверт, в нем была короткая, наспех набросанная записка:

*«Приезжай скорей, дорогая. Они нас разлучили, меня стерегут. Они воображают, что ты встанешь на их сторону. Я им сказала, что положусь на твое суждение. Сейчас я тебе все объясню: он не болен... Я счастлива и страдаю. Я счастлива, что страдаю из-за него, и радуюсь его страданиям, — ведь они доказывают, что он любит меня...»*

Дальше Тереза не стала читать. Всовывая листок обратно в конверт, она обнаружила там не замеченную прежде фотографию. Подойдя к окну, она стала пристально вглядываться в снимок,

запечатлевший юношу с такими густыми волосами, что голова его казалась слишком большой. Тереза узнала на снимке то место, где он был сделан: знакомый пригорок, где Жан Азеведо стоял, гордо выпрямившись, подобно библейскому Давиду (позади простирались ланды, где паслись овцы). Куртку он перекинул через руку, ворот рубашки был расстегнут… («Он называет это „последней дозволенной лаской“…») Тереза подняла глаза и удивилась, увидев в зеркале выражение своего лица. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы разжать стиснутые зубы, проглотить слюну. Она смочила одеколоном лоб и виски. «Итак, Анна изведала счастье любви… А что же я? А как же я? Почему не я?» Фотография осталась на столе, рядом блестела булавка…

«Я это сделала… Да, сделала…» В тряском поезде, вдруг ускорявшем ход на спусках, Тереза твердит про себя: «Да, я так сделала. Два года назад в номере гостиницы я взяла и вонзила булавку в фотографию, в то место, где у человека сердце, и сделала это не в ярости, а спокойно, словно так и полагалось поступить, потом разорвала пронзенную фотографию на клочки, бросила их в уборную и спустила воду».

Вернувшись, Бернар обрадовался, что у жены

серьезный вид, словно она поразмыслила без него и выработала план действий. Умная женщина. Только напрасно она так много курит, отравляет свой организм! По мнению Терезы, не стоило придавать большого значения капризам юной девушки. Нетрудно будет ее образумить... Бернару приятно было слышать успокоительные слова, приятно было сознавать, что в кармане у него лежат билеты на обратный путь, а главное, ему льстило, что его родные уже прибегают к помощи его жены. Он заявил, что сколько бы это ни стоило, но на прощание он непременно свезет жену позавтракать в хорошем ресторане в Булонском лесу. В такси же он без умолку говорил о своих планах на охотничий сезон: ему не терпелось попробовать собаку, которую натаскивал для него в Аржелузе егерь Бальон. Мать пишет, что благодаря прижиганиям его лошадь больше не хромает. В ресторане было еще немного народу; бесчисленная армия официантов внушала им некоторую робость. Тереза до сих пор помнит характерный запах, стоявший в этом ресторане: тут пахло геранью и всякими закусками. Бернар никогда еще не пил рейнвейна: «Вот черт, его тут не держат!» Но что ж поделаешь, ничего, не каждый же день праздник! Широкая спина Бер-

нара закрывала зал от глаз Терезы. За большими зеркальными окнами скользили и останавливались автомобили, бесшумно, как в кино. Тереза видела, как около ушей Бернара перекатывались желваки, она знала, что это сокращаются височные мышцы. Сразу же после первых глотков вина лицо у Бернара побагровело: этому красивому малому, выросшему в деревне, уже несколько недель не хватало простора, движений, от которых быстрее сгорает в организме ежедневная порция пищи и спиртных напитков. Тереза не чувствовала к нему ненависти, но как ей хотелось остаться одной, подумать о своей муке, припомнить, где ей было особенно тяжко, ну, просто почувствовать, что Бернара нет рядом с нею, что не нужно заставлять себя есть, улыбаться, следить за выражением своего лица, стараться притушить взгляд, а свободно предаться тайному отчаянию: твоя подруга бежала с необитаемого острова, где она, как ты воображала, должна была томиться возле тебя до конца жизни; она перебралась через бездну, отделяющую тебя от других людей, соединилась с ними, — словом, живет теперь на другой планете… Да нет, какая уж там «другая планета»! Анна всегда принадлежала к миру несложных натур. В дни их одиноких

каникул Тереза подолгу всматривалась в ее юное лицо, когда девочка спала, положив голову ей на колени. Обманчивый облик! Подлинную Анну де ла Трав она никогда не знала — ту Анну, которая теперь бегает на свидания к Жану Азеведо в заброшенную охотничью хижину, затерявшуюся между Сен-Клером и Аржелузом.

— Что с тобой? Почему ты не ешь? Не надо им ничего оставлять, просто жаль оставлять, когда дерут такие деньги. Может, тебе плохо от жары? Чего доброго, в обморок упадешь? А может, тебя мутит? Уже?

Тереза улыбнулась — улыбнулись только ее губы. Сказала, что она думает о похождениях Анны (надо было упомянуть об Анне). Бернар ответил, что теперь он вполне спокоен, раз Тереза взяла это дело в свои руки, и тогда она спросила, а почему его родители противятся этому браку. Он решил, что она смеется над ним, и попросил ее «не говорить парадоксов».

— Во-первых, как тебе известно, эти Азеведо — евреи. Мама хорошо знала старика Азеведо — того самого, который отказался креститься.

Но Тереза ответила, что в Бордо люди, носящие старинные фамилии португальских евреев, принадлежат к весьма родовитым семьям.

— Азеведо уже были очень важными особами, когда наши предки, нищие пастухи, тряслись от лихорадки среди своих болот.

— Послушай, Тереза, ведь ты споришь просто из духа противоречия. Все евреи — одного поля ягоды… Да к тому же все эти Азеведо вырожденцы, все насквозь туберкулезные, каждому это известно.

Она зажгла сигарету размашистым движением, которое всегда шокировало Бернара.

— А вспомни-ка, Бернар, от чего умерли твой дед и твой прадед? А когда ты женился на мне, ты поинтересовался, от какой болезни скончалась моя мама? Неужели ты полагаешь, что в твоем роду и в моем тоже нет ни чахоточных, ни сифилитиков? Найдутся, друг мой, найдутся — да еще в таком количестве, что можно заразить весь мир.

— Позволь тебе сказать, Тереза, что ты заходишь слишком далеко! Даже в шутку, даже для того, чтобы подразнить меня, ты не должна касаться нашей семьи.

Он был уязвлен, он гордо выпятил грудь, ему хотелось одержать верх и не показаться Терезе смешным. Но она все не сдавалась.

— И мое, и твое семейства просто нелепы со своей близорукой осторожностью. Они приходят

в ужас от всем известных недугов, но совершенно равнодушны к гораздо более многочисленным, но скрытым изъянам души и тела. Ты вот употребляешь иногда выражение «секретные болезни», верно? Самые опасные для потомства болезни как раз и остаются секретными; в наших семьях о них никогда не думают, ведь наши родные прекрасно умеют прикрывать, прятать семейную грязь; если б не слуги, никто бы ни о чем и не подозревал. К счастью, существуют слуги…

— Я не стану тебе отвечать; когда ты закусишь удила, лучше подождать, пока ты выдохнешься. Со мной это еще полбеды — я же знаю, что ты шутишь. Но у нас дома это не пройдет. Мы не любим шуточек, которые затрагивают честь семьи.

Семья! Тереза потушила сигарету и уставилась взглядом в одну точку. Она видела перед собой клетку с бесчисленными живыми прутьями решетки — клетку, где кругом уши и глаза. И там она, Тереза, сидит, скорчившись в углу, обхватив руками колени, уткнувшись в них подбородком, и так и будет сидеть, дожидаясь смерти.

— Ну, Тереза, очнись! Если бы ты видела, какое у тебя сейчас лицо!

Она улыбнулась, снова надела маску.

— Да это я просто так… Ты совсем дурачок,

дорогой мой.

Но когда ехали обратно в такси и Бернар прижимался к ней, она рукой отстраняла, отталкивала его.

В этот последний вечер перед возвращением в родные края они легли спать в девять часов. Тереза приняла таблетку, но напрасно ждала она сна — сон все не приходил. На мгновение она забылась в темноте, но тут Бернар, пробормотав что-то невнятное, повернулся, и она ощутила, как его большое и горячее тело прижалось к ней; она оттолкнула его и, чтобы избавиться от этих жарких прикосновений, вытянулась на самом краешке постели, во через несколько минут он вновь перекатился к ней, словно его тело бодрствовало, даже когда спало сознание, и даже во сне искало свою привычную добычу. Резким толчком, от которого он, однако, не проснулся, она вновь отстранила его… Ах, если бы отстранить его раз и навсегда! Сбросить с постели куда-то в темноту.

В ночном Париже перекликались автомобильные гудки, как лунными ночами перебрехивались в Аржелузе собаки, как пели наперебой петухи, и ни малейшей прохлады не вливалось с улицы.

Тереза зажгла лампу и, опершись локтем о

подушку, внимательно вглядывалась в человека, неподвижно лежавшего возле нее, — в молодого мужчину, которому шел двадцать седьмой год; сбросив с себя легкое одеяло, он спал так спокойно, что даже не слышно было его дыхания; взлохмаченные волосы падали ему на лоб, еще гладкий, на виски без единой морщинки. Он спал, этот безоружный и нагой Адам, спал глубоким и как будто вечным сном; жена набросила одеяло на это неподвижное тело, поднялась с постели, нашла письмо, которое она не дочитала, подвинулась ближе к лампе.

*«Если бы он захотел, чтобы я убежала из дому, я бы все бросила и бежала с ним без оглядки. Мы останавливаемся на краю, на самом краю „дозволенной ласки“ — останавливаемся по его воле, а не потому, что я сопротивляюсь, вернее, это он сопротивляется, а я хотела бы перейти ту неведомую мне последнюю черту, о которой он говорит, что одно уж приближение к ней — несказанное блаженство; послушать его, так надо всегда оставаться по эту ее сторону, он гордится тем, что умеет остановиться на наклонной плоскости, тогда как другие удержаться уже не в силах и катятся вниз».*

Тереза растворила окно, разорвала три письма

на мелкие клочки, наклонилась над каменной пропастью, где в этот предрассветный час слышался только стук колес ручной тележки. Обрывки бумаги, кружась в воздухе, падали на балконы нижних этажей. Тереза вдохнула свежий запах зелени. Откуда, из каких полей принес его ветер в эту асфальтовую пустыню? Тереза представила себе, как упала бы она на мостовую, разбилась насмерть и вокруг ее тела засуетились бы люди — полицейские и ночные бродяги… «Нет, Тереза, у тебя слишком много воображения, ты не покончишь с собой». Да, по-настоящему ей и не хотелось умереть, ее призывала неотложная задача, и выполнить ее нужно было не из мести, не из ненависти, во для того, чтобы проучить эту юную дурочку из Сен-Клера, поверившую в возможность счастья. Пусть она узнает, так же как сама Тереза, что счастья на земле не существует. Если у Терезы нет с Анной ничего общего, пусть общим для них будет только это — тоска, отсутствие высокой цели, высокого долга, и пусть ждет их только низменная, будничная обыденность и безутешное одиночество. Уже заря осветила кровли. Тереза вновь вытянулась на своем ложе около спящего мужа, но лишь только она легла, он тотчас пододвинулся к ней.

Проснулась она с ясной головой, спокойная, рассудительная. Зачем заглядывать так далеко? Семья зовет ее на помощь, и надо действовать сообразно требованиям семьи, так будет надежнее, по крайней мере, не собьешься с правильного пути. И Тереза соглашалась теперь с Бернаром, когда он в сотый раз доказывал, что если брак Анны с молодым Дегилемом расстроится, это будет просто катастрофа. Дегилемы люди не их круга, у них дед был пастухом… но ведь у них лучшие во всем краю сосновые леса; Анна же в конце концов не так уж богата — от отца ей нечего ждать, кроме виноградников в болотистой низине около Лангона, их чуть не каждый год затопляет! Анне ни в коем случае не следует упускать такого жениха, как Дегилем. От запаха шоколада Терезу за завтраком мутило, эта легкая тошнота подтверждала другие признаки: беременна, уже! «Лучше сразу же завести ребенка, — сказал Бернар, — потом можно будет и не думать об этом», — и он уважительно посмотрел на женщину, носившую во чреве своем его будущего наследника, единственного владельца бесчисленных сосен.

# V

Скоро Сен-Клер! Сен-Клер… Тереза измеряет мысленным взором путь, который прошла в воспоминаниях. Удастся ли ей довести Бернара хотя бы до этого рубежа? Трудно надеяться, что он согласится проделать весь этот извилистый путь таким медленным шагом, ведь ничего существенного она еще не успела сказать. «Когда я вместе с ним дойду до того перевала, до которого добралась, мне еще столько останется ему открыть». И она задумывается над загадкой собственной своей души, она вопрошает ту молодую замужнюю даму, чье благоразумие все так хвалили, когда она поселилась в Сен-Клере; ей вспоминаются первые недели, прожитые в прохладном и темноватом доме родителей Бернара. Ставни тех окон, которые выходят на городскую площадь, всегда закрыты, но слева за решеткой виден сад, пламенеющий гелиотропами, геранью, петуниями. Тереза служила доверенным лицом, посредницей между супругами де ла Трав, укрывавшимися от солнца в полумраке маленькой гостиной первого этажа, и Анной, бродившей по дорожкам сада, из которого ей запрещалось выходить. Тереза

говорила родителям:

«Будьте помягче, кое в чем уступите ей, предложите, например, поехать с вами попутешествовать, прежде чем она примет какое-либо решение. Я добьюсь, что она согласится поехать. А в ваше отсутствие я кое-что предприму». Супруги де ла Трав считали желательным, чтобы Тереза встретилась с молодым Азеведо. «От лобовой атаки ничего хорошего нельзя ждать, мама», — говорила Тереза. По мнению г-жи де ла Трав, никакие слухи, слава богу, еще не просочились. Одна только мадемуазель Моно, почтовая служащая, в курсе дела — она перехватила несколько писем Анны, «но эта девица будет нема как могила. Она у нас в руках и болтать не посмеет».

«Надо избавить бедную девочку от лишних страданий», — говорил Гектор де ла Трав. И все же он, отец, еще недавно готовый исполнить любой самый нелепый каприз Анны, теперь вполне соглашался с женой: «Что поделаешь, лес рубят — щепки летят», — или говорил: «Когда-нибудь она нам еще спасибо скажет». Так-то оно так, но что, если она заболеет? Супруги умолкали, и глаза у обоих затуманивались, — несомненно, они мысленным взором следили за своей дочерью, видели, как бродит по солнцепеку их исхудавшая

девочка, которая с отвращением отказывается от пищи; она ходит по саду, не замечая, что топчет цветы на клумбах, жмется к решетке, как дикая козочка, ищет лазейку. Г-жа де ла Трав говорила, покачивая головой: «Не могу же я вместо нее пить мясной сок, верно? В саду она наедается фруктов — только чтоб за столом ничего не есть». А Гектор де ла Трав утешал себя: «Если бы мы дали согласие, она сама бы потом упрекала нас, хотя бы из-за того, что наплодила несчастных детей». Жена сердилась — зачем он как будто ищет оправданий? «Хорошо, что Дегилемы еще не вернулись. И, по счастью, им безумно хочется женить сына на нашей Анне…» А дождавшись, когда Тереза выйдет из комнаты, они спрашивали друг друга: «И чем только этим девчонкам забивают головы в монастыре? Ведь дома-то у нее перед глазами хорошие примеры, и мы всегда следили, какие она книги читает. Тереза говорит, что сильнее всего могут вскружить голову молоденьким девушкам назидательные романы из „Розовой библиотеки“, но Тереза всегда сыплет парадоксами. К тому же Анна, слава богу, не такая уж страстная любительница чтения, мне никогда не приходилось делать ей замечаний на этот счет. Она может стать превосходной семьянинкой. Право, если

нам удастся уговорить ее поехать с нами, переменить обстановку... Ты помнишь, как ей помогли морские купания, когда мы повезли ее в Сали, после того как она болела корью и бронхитом? Поедем, куда она захочет, вот именно — куда захочет. Бедная наша девочка, так ее жаль!» Г-н де ла Трав, вздыхая, говорил вполголоса: «Эх, какая уж ей радость путешествовать с нами!» — «Что ты сказал?» — переспрашивала жена, — она уже стала туга на ухо. «Ничего, ничего», — отвечал он. Но не вспомнилось ли этому старику, уютно расположившемуся в богатом доме жены, не вспомнилось ли ему вдруг путешествие с любимой женщиной, блаженные часы его молодой влюбленности?

В саду Тереза разыскивала Анну. Бедняжка так исхудала, что прошлогодние платья висели на ней, как на вешалке. «Ну, что?» — громко кричала она, заметив подругу. Пепельно-серый гравий на дорожках, высохшая, шуршащая под ногами трава, запах опаленной солнцем герани и эта юная девушка, казавшаяся в знойный августовский день более чахлой, чем сжигаемые солнцем цветы, — от всего этого у Терезы больно сжималось сердце. Иной раз грозовой ливень вынуждал их укрыться в оранжерее; крупные градины стучали

по стеклам.

— Ну почему же тебе не поехать? Ведь все равно ты не видишь его.

— Да, я не вижу его, но знаю, что он близко, всего в десяти километрах отсюда. Я знаю, что когда ветер дует с востока, он слышит церковный благовест в то же самое время, что и я. Разве тебе все равно, где будет Бернар — в Париже или в Аржелузе? Я не вижу Жана, но знаю, что он недалеко. В воскресенье, за мессой, я даже не пытаюсь повернуть голову и посмотреть, нет ли его в церкви, — с наших мест виден только алтарь, и толстая колонна отгораживает нас от всех. Но при выходе…

— В прошлое воскресенье его не было?

Тереза знала, что его не было, и знала, что Анна, которую тянула за руку мать, тщетно искала в толпе любимое лицо: Жана не было.

— Может, он нездоров… Может, его письма перехватывают. Мне ничего не известно.

— Странно все-таки, что он не находит возможности передать тебе записку.

— Если бы ты захотела, Тереза… Да нет… Я же знаю, что ты в щекотливом положении.

— Согласись поехать в путешествие, и без тебя, может быть, мне удастся…

— Я не могу отправиться куда-то далеко от него.

— Да ведь он все равно уедет отсюда, детка. Через несколько недель его не будет в Аржелузе.

— Ах, замолчи! Это нестерпимая мысль. И ни единой весточки от него! Я не могу так жить. Я уже едва дышу. Чтобы не умереть, я должна поминутно вспоминать его слова, которые наполняли меня радостью. Но я столько раз их твердила, что теперь уже не уверена, действительно ли он говорил их. Нет, погоди, при нашей последней встрече он сказал слова, которые до сих пор звучат у меня в памяти: «В моей жизни нет никого, кроме вас…» Да, он именно так и сказал, а ведь это значит: «Вы — самое дорогое для меня в жизни…» Не могу в точности вспомнить.

Сдвинув брови, она словно вслушивалась в эхо этих утешительных слов и до бесконечности расширяла их значение.

— А какой он с виду, этот юноша?

— Ты представить себе не можешь!

— Неужели он совсем не похож на других молодых людей?

— Я хотела бы описать его тебе, но не могу найти слов… В конце концов он, возможно, показался бы тебе самым обыкновенным. Но я-то знаю, что

это совсем не так.

Она уже и сама не могла сказать, что именно отличает его от других, он был озарен ослепительным светом ее любви к нему. «А меня, — думала Тереза, — страсть сделала бы еще более зоркой, от моих глаз ничто не ускользнуло бы в том человеке, которого бы я полюбила».

— Тереза, если я соглашусь поехать, ты увидишься с ним? Передашь мне его слова? Будешь пересылать ему мои письма? Если я поеду, если у меня хватит мужества поехать…

Тереза уходила, покидала это царство света и зноя и вновь проскальзывала, словно темная оса, в кабинет, где сидели родители Анны, выжидая, чтобы спала жара, а их дочь уступила. Много понадобилось этих посреднических переговоров, чтобы Анна согласилась наконец поехать с родителями. И, вероятно, Терезе так и не удалось бы ее уговорить, если бы не известие о скором возвращении Дегилемов. Анна затрепетала перед этой новой опасностью. Тереза убеждала ее, что молодой Дегилем не только богатый жених, но, «пожалуй, и недурен собой».

— Да что ты, Тереза! Я и глядеть на него не хочу, он в очках, плешивый, старый.

— Ему двадцать девять лет.

— Ну я же и говорю — старый! Да и все равно, старый или не старый…

И вот наконец за ужином супруги де ла Трав заговорили о Биаррице, забеспокоились, в какой там устроиться гостинице. Тереза наблюдала за Анной — оцепеневшая, безмолвная, тело без души… «Ну заставь же себя, пожалуйста, съесть что-нибудь… ведь можно же заставить себя…» — твердила г-жа де ла Трав. Анна машинально подносила ложку ко рту, ни искорки света в глазах. Никто и ничто для нее не существовало, кроме отсутствующего… Иногда губы ее чуть трогала улыбка: ей вспоминалось какое-нибудь его слово, ласка, которую он дарил ей в «хижине», затерявшейся среди зарослей вереска, тот случай, когда Жан Азеведо неосторожным движением чуть порвал ей блузку. Тереза смотрела на Бернара, склонившегося над тарелкой; так как он сидел спиной к свету, ей не видно было его лица, но она слышала, как он неторопливо жует, перемалывает челюстями пищу, священнодействует… Она спешила встать из-за стола. Свекровь говорила: «Она хочет, чтобы окружающие ничего не замечали. Я бы с удовольствием побаловала ее, но она не любит, чтобы за ней ухаживали. А такого рода недомогания вполне естественны, раз она в

положении. Бывает и хуже. Но что ни говорите, а она ужасно много курит. — И г-жа де ла Трав пускалась в воспоминания о своей первой беременности: — Помню, когда я ждала тебя, Бернар, мне непременно нужно было нюхать резиновый мячик — только благодаря этому меня переставало выворачивать наизнанку».

— Тереза, ты где?

— Здесь, на скамейке.

— Ах да, вижу огонек твоей сигареты.

Анна присела рядом, прислонилась головой к неподвижному плечу Терезы и, глядя на небо, сказала:

— Он видит эти звезды, слышит звон к вечерне... — И еще она сказала: — Поцелуй меня, Тереза.

Но Тереза не наклонилась к доверчиво прильнувшей к ней головке. Только спросила:

— Тяжко тебе?

— Нет, нынче вечером не тяжко! Я поняла, что так или иначе встречусь с ним. Теперь я спокойна. Главное, чтоб он это знал, а он это узнает от тебя. Я решила согласиться на поездку. Но, когда вернемся, я через каменные стены пройду, рано или поздно брошусь к нему на грудь — в этом я уверена, как в том, что я живу на свете. Нет,

Тереза, нет, хоть ты, по крайней мере, не читай мне нотаций, не говори о семье…

— А я и не думаю о семье, детка, я о нем думаю: нельзя же так вот врываться в жизнь человека, у него ведь тоже есть отец, мать, свои интересы, есть работа, есть, может быть, любовная связь…

— Нет, он мне сказал: «Кроме вас, у меня никого нет на свете…» А в другой раз так говорил: «Наша любовь — вот единственное, чем я дорожу сейчас».

— «Сейчас»?

— Ну что ты вообразила? Неужели ты думаешь, что он хотел сказать «в этот час»?

Терезе уже не нужно было спрашивать Анну, тяжело ли ей: она знала, что девочка, сидящая рядом, в темноте, страдает, но не испытывала к ней жалости. Почему ее надо жалеть? Ведь так сладостно тихонько повторять имя какого-то человека, которого ты полюбила, и верить, что ваши сердца неразрывно связаны. Одна уж мысль, что он существует, живет, дышит, вечером засыпает, положив голову на согнутую руку, что он просыпается на заре, словно его молодое тело разрывает дымку утреннего тумана…

— Ты плачешь, Тереза? Это из-за меня ты плачешь? Ты, стало быть, любишь меня.

Девушка опустилась на колени, прижалась головой к боку Терезы и вдруг выпрямилась:

— Послушай, меня что-то толкнуло. Там что-то движется.

— Да, вот уже несколько дней, как он шевелится.

— Ребеночек?

— Да, он уже живой.

Они вернулись домой, обнявшись, как ходили когда-то по низанской, по аржелузской дороге. Тереза вспоминает, что трепещущая у нее под сердцем ноша внушала ей тогда страх: сколько страстей, сокрытых в самой глубине ее естества, должно перейти к этому бесформенному зародышу! Ей не забыть, как она, не зажигая огня, сидела в тот вечер у раскрытого окна в своей комнате (Бернар крикнул ей, когда она еще была в саду: «Не зажигай света, комары налетят!»). Она считала, сколько месяцев осталось до рождения ребенка. Ей хотелось верить в Бога и вымолить у него, чтобы это неведомое существо, которое она еще носит во чреве, никогда не появлялось бы на свет.

## VI

Странно, что дни, потянувшиеся вслед за отъездом Анны и супругов де ла Трав, вспоминаются ей теперь как пора тупого оцепенения. Было решено, что, оставшись в Аржелузе, она найдет какой-нибудь способ воздействовать на этого Жана Азеведо, чтобы заставить его выпустить из когтей добычу, но она ничего для этого не делала — ее тянуло ко сну, к покою. Бернар согласился на это время поселиться в Аржелузе, и даже не в своем доме, а у Лароков, так как там было удобнее, а кроме того, там жила тетя Клара, что избавляло их от всех хозяйственных хлопот. Но что было Терезе до чужих людей? Пусть сами разбираются в своих делах. А ей бы так вот и жить в дремотном бездействии, пока она не разрешится от бремени. Ее возмущало, зачем Бернар каждое утро напоминает ей, что она обещала потолковать с Жаном Азеведо. И она обрывала его: она уже с трудом переносила общество мужа. Возможно, что в ее раздражительности повинна была, как полагал Бернар, ее беременность. А сам Бернар тогда испытывал первые приступы мнительности, свойственной людям такого склада, хотя редко

бывает, чтобы она проявлялась у них раньше тридцати лет. Его преследовал страх смерти, удивительный у такого крепыша и здоровяка. Но что можно было ему ответить, когда он страдальчески говорил: «Вы не знаете, что я чувствую…» У этих чревоугодников, у этих потомков праздных и упитанных людей тело только с виду кажется могучим. Посадите сосну в плодородную, удобренную почву, она станет расти очень быстро, но скоро сердцевина дерева начнет гнить, и сосну, как будто в полной ее красе, придется срубить. «Это у вас нервное», — успокаивали Бернара, но он-то хорошо чувствовал роковую трещину — «раковину», таящуюся в металле. И эта мнительность вдруг дала себя знать; он перестал есть, лишился аппетита. «Почему же ты с врачами не посоветуешься?» Он с притворным равнодушием пожимал плечами — в действительности же неопределенность меньше страшила его, чем возможный смертный приговор. Ночами Тереза иногда просыпалась от его хриплых стонов. Он брал жену за руку и прикладывал ее ладонь к своей груди, чтобы Тереза услышала, с какими перебоями стучит у него сердце. Тереза зажигала свечу, вставала и капала валерьянку в стаканчик с водой. «Ведь это, в сущности, случайность,

что валерьянка — целебное средство, — думала она. — Почему бы ей не быть смертельным ядом? Ведь, кроме вечного сна, ничто нас не успокоит, ничто не может по-настоящему усыпить. Почему же этот нытик так боится смерти? Ведь она бы раз и навсегда его успокоила». Бернар засыпал раньше ее. Каково было ей ждать сна, лежа рядом с этим крупным телом, слушать, как его храп порою переходил в тоскливый стон. Слава богу, теперь Бернар ее не домогался — из всех физических усилий плотская любовь казалась ему самой большой угрозой для сердца. На заре кричали петухи, будили людей на фермах. Восточный ветер доносил из Сен-Клера благовест — там звонили к заутрене. Тереза смыкала наконец глаза. Но тогда вскакивал лежавший рядом с нею муж, поспешно одевался, умывался по-крестьянски, едва ополаскивая лицо холодной водой. Потом, прошмыгнув в кухню, как голодная собака, вытаскивал из кладовой остатки вчерашнего ужина и завтракал наспех, обгладывая остов курицы, быстро прожевывая ломти холодного жаркого, или просто закусывал гроздью винограда и коркой хлеба, натертой чесноком, и этот торопливый завтрак был для него единственной приятной едой за весь день. Он бросал куски собакам — Фламбо

и Диане, и они, щелкая зубами, подхватывали подачку на лету. Туман приносил с собою запахи осени. То были часы, когда Бернар переставал страдать и вновь чувствовал в себе всемогущие силы молодости. Скоро полетят вяхири — надо заняться манками, привадами, у которых выколоты глаза. В одиннадцать часов он возвращался домой и приходил в спальню, когда Тереза еще была в постели.

— Ну что? Как с этим Азеведо? Ты же знаешь, что мать ждет в Биаррице вестей от нас.

— А как твое сердце?

— Не говори ты мне о сердце! Вот спросила, и я опять стал его чувствовать. Разумеется, это доказывает, что тут все на нервной почве… Ты ведь тоже думаешь, что это нервное?

Тереза никогда не отвечала так, как ему хотелось:

— Откуда мне знать? Ведь только тебе одному известно, что ты испытываешь. Твой отец умер от грудной жабы, но это, разумеется, еще не значит, что и у тебя… тем более в твоем возрасте. Конечно, сердце — слабое место у всех Дескейру. До чего ты смешон, Бернар, со своим страхом смерти! Неужели у тебя не бывает, как у меня, например, чувства нашей полной бесполезности? Нет? Тебе

не кажется, что жизнь таких людей, как мы, удивительно похожа на смерть?

Бернар пожимал плечами. Она раздражала его своими парадоксами. Дело нехитрое — показывать свое остроумие, надо только все говорить наперекор здравому смыслу. Но зря Тереза тратит на него порох, добавлял он, лучше поберегла бы его для разговора с молодым Азеведо.

— Тебе известно, что в середине октября он уезжает?

В Вилландро, последней станции перед Сен-Клером, Тереза размышляет: «Как убедить Бернара, что я вовсе не была влюблена в этого юношу? Он наверняка вообразит, что я влюбилась без памяти. Как все слепцы, которым любовь совсем неведома, он должен вообразить, что такое преступление, как то, в котором меня обвиняют, может объясняться только любовной страстью». Надо, чтобы Бернар понял, что в ту пору она была еще далека от ненависти к нему, хотя зачастую он был ей противен; однако ей и в голову не приходила мысль, что другой мужчина казался бы ей милее. В конце концов Бернар был не так уж плох. Она терпеть не могла создаваемые в романах образы необыкновенных личностей, какие никогда не встречаются в жизни.

Из всех, кого она знала, незаурядным человеком она считала только своего отца. Она старалась приписать какое-то душевное величие этому упрямому, недоверчивому радикалу, который сразу ставил на нескольких лошадок: он был и помещик, и промышленник (кроме лесопилки в Б., он еще занимался на своем заводике в Сен-Клере переработкой смолы, добывавшейся в собственных его владениях и в сосняках его многочисленной родни). Главным же занятием г-на Ларока была политика, и, хотя его резкость вредила ему, в префектуре к нему прислушивались. А как он презирал женщин, даже Терезу — еще в те времена, когда все восхищались ее умом. А со времени семейной драмы у его дочери он твердил адвокату: «Все они идиотки или истерички». Этот антиклерикал любил выставлять себя человеком целомудренным. Хоть он и напевал иногда какую-нибудь песенку Беранже, но терпеть не мог, когда при нем затрагивали в разговоре некоторые темы, и густо краснел тогда, как юноша. Бернар слышал от де ла Трава, что г-н Ларок женился девственником. «И знакомые уверяют меня, что и теперь, когда он давно уж вдовеет, у него нет любовницы. Оригинал твой папаша!» Ну да, оригинал. Но если вдали от отца

Тереза создавала приукрашенный его образ, то при свидании с ним она сразу чувствовала всю его будничность. В Сен-Клере он бывал редко, чаще приезжал в Аржелуз, так как не любил встречаться с супругами де ла Трав. Хотя по уговору в доме запрещалось говорить о политике, но при них за обедом, как только подавали суп, начинался нелепый спор, вскоре становившийся злобным. Терезе было стыдно вмешиваться в это, и она из гордости не открывала рта, пока спор не затрагивал религии. Тут уж она не выдерживала и бросалась на помощь отцу. Все кричали, и так громко, что даже тетя Клара улавливала обрывки фраз и тоже вмешивалась в схватку; выкрикивая слова своим ужасным голосом глухого человека, старая радикалка давала волю своим политическим страстям: «Да, да, нам известно, что творится в монастырях». А в сущности, думала тогда Тереза, тетя Клара в Бога верит больше, чем любой из де ла Травов, ополчилась же она против Вседержителя за то, что по его соизволению она и глухая и безобразная, да так и умрет, не изведав ни любви, ни плотских наслаждений. С того дня, как г-жа де ла Трав в порыве негодования вышла из-за стола, стали по обоюдному согласию избегать в спорах всякой метафизики. Впрочем,

достаточно было и политических тем, чтобы вывести из себя противников, хотя при всем различии их взглядов они были единодушны в главном: все они полагали, что единственное благо в этом мире — собственность, и самое ценное, ради чего и стоит жить на свете, — это владеть землей. Так чего же они спорят, мечут громы и молнии? И если уж хотят пускать пыль в глаза, то все-таки знали бы меру. Терезе, у которой «чувство собственности было в крови», хотелось, чтобы вопрос ставился с циничной простотой — она ненавидела громкие слова, которыми ее отец и де ла Травы прикрывали общую им всем страсть. Когда ее отец заявлял о своей «неуклонной преданности демократии», она одергивала его: «Ну чего ты стараешься? Мы ведь одни!» Она говорила, что ее тошнит от высокопарных фраз в политике, ей была непонятна трагическая сторона классовых конфликтов, — ведь она выросла в краю, где даже бедняк владеет клочком земли и стремится приобрести ее побольше, где всеобщая тяга к земле, страсть к охоте, склонность хорошо поесть и хорошо выпить создают некую братскую связь между буржуа и крестьянами. А ведь Бернар имел к тому же образование, про него говорили: «Его кругозор шире, чем у окружающих».

Тереза сама радовалась тому, что муж у нее такой человек, с которым можно поговорить: «В общем, он гораздо выше своей среды». Так она думала до тех пор, пока не встретилась с Жаном Азеведо.

Это было ранней осенью, когда ночная прохлада держится все утро, а сразу после завтрака, как бы ни жгло солнце, задолго до сумерек поднимается дымка тумана. Уже летели первые стаи вяхирей, и Бернар возвращался домой только к вечеру. Но в то утро он после дурно проведенной ночи отправился в Бордо посоветоваться с врачом.

«Мне тогда ничего не хотелось, — думает Тереза. — Я прогуливалась с часок по дороге, потому что беременным полезно ходить пешком. В лес старалась не углубляться — ведь из-за этих охотничьих хижинок приходится поминутно останавливаться, подавать свистом сигнал и ждать, когда охотник крикнет, что можно пройти, но иногда в ответ услышишь долгий свист, значит, в дубняк спустилась на деревья перелетная стая, а тогда надо притаиться и сидеть тихонько. Потом я возвращалась домой, дремала у огня в гостиной или в кухне, и все мне подавала тетя Клара, а я, как богиня, не удостаивающая взглядом смиренную жрицу в своем храме, не

обращала ни малейшего внимания на эту старую деву, гнусавым голосом рассказывавшую всякие истории, которые слышала от фермеров и кухарок; она говорила, говорила без умолку — ведь тогда ей не нужно было делать усилий, чтобы расслышать чужие слова; почти всегда ока рассказывала какой-нибудь мрачный случай из жизни фермеров, которых она хорошо знала, старательно лечила, самоотверженно ухаживая за больными. Она говорила о том, как морят на фермах стариков голодом, заставляют работать до самой смерти, как оставляют калек без всякого ухода и как порабощены там женщины изнурительным трудом. С каким-то удовольствием она передавала на местном наивном диалекте самые жестокие слова этих людей. По правде говоря, она только меня одну на всем свете и любила, а я принимала как должное, что она становится передо мной на колени, чтобы расшнуровать мои ботинки, снять с моих ног чулки и согреть ступни старыми своими руками.

Приходил за распоряжениями Бальон, если на следующее утро ему надо было ехать в Сен-Клер. Тетя Клара составляла список покупок и поручений, возлагавшихся на него, отдавала ему рецепты на всех больных в Аржелузе: „Прежде

всего сходите в аптеку — аптекарю целого дня не хватит, чтобы приготовить все эти лекарства..“.

Моя первая встреча с Жаном… Тут надо припомнить все обстоятельства, каждую мелочь. Я решила пойти в ту заброшенную охотничью хижину, где мы с Анной полдничали когда-то и где она, как мне было известно от нее, назначала свидания этому Азеведо. Нет, я вовсе не собиралась совершать туда паломничество. Просто сосны в той стороне поднялись так высоко, что там уже невозможно было подстерегать вяхирей, и можно было не бояться помешать охотникам. Хижина стала для них непригодна: разросшийся кругом нее лес скрывал горизонт; между рядов высоких сосен уже не проглядывали широкие полоски неба, где охотник, подстерегающий добычу, видит полет стаи. Не забыть бы, что октябрьское солнце еще палило, что мне трудно было идти по песку, да и мухи не давали покоя. А как тяжело мне было нести свой живот! Я так мечтала посидеть на ветхой скамейке в хижине. Когда я отворила дверь, из нее вышел какой-то молодой человек с непокрытой головой; я сразу узнала в нем Жана Азеведо и сначала подумала, что помешала его любовному свиданию, такой у него был смущенный вид. Я хотела было уйти,

но, странное дело, он только и думал, как бы меня удержать: „Да нет же, входите, пожалуйста, клянусь, что вы мне нисколько не помешали“. Почему он спросил меня, видно ли снаружи то, что происходит внутри хижины? Я вошла по его настоянию и очень была удивлена, что там никого нет. Может быть, пастушка убежала через другой выход? Но не слышно было, чтобы хрустнул хоть один сучок. Он тоже узнал меня и сразу же заговорил об Анне. Я села, он стоял — в той же позе, как на фотографии. Я старалась угадать сквозь его легкую рубашку, где то место на груди, которое я проткнула на снимке булавкой; я смотрела на него с любопытством, но без всякого волнения, и беззлобно вспомнила то, что написала мне Анна: *„Я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце… он называет это „последней дозволенной лаской“…“* Был ли он красив? Великолепной лепки лоб, бархатные глаза, свойственные его племени, слишком полные щеки и препротивные прыщики — признак волнения крови у юношей, а главное — влажные ладони, которые он торопливо вытирал носовым платком, прежде чем пожать мне руку. Но глаза и горячий взгляд были прекрасны. Мне понравился и его большой рот, чуть приоткрывавший острые

зубы, — право, казалось, что он сейчас высунет язык, как молодой пес, когда ему жарко. А какая я была тогда? Вполне в духе семейства Дескейру, насколько мне помнится. Я говорила с ним надменно, с пафосом обвиняла его в том, что он „внес смятение и раздоры в почтенную семью“. Ах, надо вспомнить его непритворное изумление — этот юнец искренне расхохотался: „Так вы воображаете, будто я хочу жениться на Анне? Вы полагаете, что я домогаюсь этой чести?“ Я поразилась, и мне сразу стало ясно, какая глубокая пропасть отделяет Анну, пылающую страстью, от этого равнодушного юноши. Он энергично защищался: конечно, как ему было не поддаться очарованию такой прелестной девочки. Но ведь поиграть не запрещается, и именно потому, что тут не могло быть и речи о браке, игра казалась ему безобидной. Он, разумеется, только притворялся, что разделяет намерения Анны… И когда я высокомерно оборвала его, он с горячностью возразил, что сама Анна может засвидетельствовать его порядочность — он никогда не заходил слишком далеко. В конце концов, мадемуазель де ла Трав обязана ему часами искренней страсти, вероятно, единственными, которые ей суждено испытать за всю ее унылую жизнь. „Вы говорите,

что она страдает, но поверьте мне, эти страдания — лучшее, что она может ждать от судьбы. Я знаю вас по рассказам и уверен, что все это можно вам сказать, ибо вы не похожи на здешних мещан. Перед отплытием в мрачное путешествие на борту старой сенклерской каравеллы я снабдил Анну запасом разнообразных чувств и мечтаний, — быть может, они спасут ее от отчаяния и, уж во всяком случае, от отупения“. Теперь уж я не помню, раздражали ли меня эта непомерная претенциозность, эта рисовка или они мне даже нравились. Да и по правде сказать, он говорил так быстро, что сначала я не успевала улавливать смысл, но вскоре я привыкла к этому многословию. „Как! Вы считаете меня способным желать такого брака? Бросить якорь в этих песках или же взвалить на свои плечи ношу — потащить за собой в Париж глупенькую девочку? Прелестный образ Анны, конечно, сохранится в моей памяти, и в ту минуту, как вы меня тут застигли врасплох, я как раз думал о ней… Но разве допустимо, чтобы человек застыл на одном месте? Каждое мгновение должно приносить ему свою особую радость, отличную от всех пережитых им радостей“.

Сочетание в одном существе этой жадности юного животного и несомненного ума показа-

лось мне таким необычным, что я слушала не прерывая. Да, я положительно была ослеплена. Правда, дешевой мишурой! Но все-таки ослеплена. Помню дробный стук овечьих копытец, звон бубенчиков, дикие крики пастухов, возвещавшие, что приближается стадо. Я сказала этому юноше, что может показаться странным, если нас увидят вдвоем в этой хижине; мне хотелось, чтоб он ответил: „Не надо уходить, давайте притаимся и будем тихонько ждать, пока стадо пройдет дальше“. Меня порадовало бы это молчаливое ожидание, словно мы два сообщника. Я вдруг тоже стала требовательной и хотела, чтобы каждая минута дарила мне острые переживания. Но Жан Азеведо беспрекословно отворил дверь хижины и вежливо посторонился, пропуская меня первой. Он проводил меня до Аржелуза, убедившись, что я против этого не возражаю. Как быстро, казалось мне, мы дошли, но за это время мой спутник успел затронуть в разговоре множество тем! И до чего по-новому он освещал то, что я уже хорошо знала, как мне думалось. Когда, например, он заговорил о религии, я сказала то, что обычно говорила дома, а он прервал меня: „Да, да, конечно… но ведь это гораздо сложнее…“ И он бросал в споре доводы, восхищая меня их

оригинальностью. А было ли чем восхищаться?.. Кажется, я и теперь могу повторить эту мешанину, которой он меня угощал: он говорил, что долго воображал, будто всего важнее самоуглубление, искание бога. „Взойти на корабль и пуститься в море, избегая, как смертельной опасности, людей закоснелых, возомнивших, что они уже все нашли, застывших на одном месте, где они вырыли себе берлоги, чтобы погрузиться в дремоту. Я долго их презирал…“

Он спросил у меня, читала ли я книгу Рене Базена „Жизнь отца Фуко“. Я ответила деланным смехом. И тогда он сказал, что эта книга потрясла его. „Жить среди опасностей, в самом глубоком смысле этих слов, — добавил он, — это, пожалуй, означает, что человек не столько ищет, сколько уже нашел своего Бога и, обретя его, остается в его орбите…“ Он восторгался „деяниями мистиков“, жаловался на необузданность своей натуры, не позволяющую ему следовать их примеру, — ведь, „даже обращаясь к ранней юности, я не помню себя целомудренным“. Это бесстыдство, эта легкость, с которой он выворачивался наизнанку, право, были даже забавны после нашей провинциальной скрытности, молчания, которыми каждый из нас охраняет свою внутреннюю

жизнь! Сплетни в Сен-Клере касаются чисто внешних обстоятельств, сердца всегда остаются замкнутыми. Ну что я, в сущности, знаю о Бернаре? Быть может, в нем есть нечто значительное, бесконечно более важное, чем та карикатурная фигура, какой я представляю его себе. Жан говорил, я слушала молча, на язык приходили только избитые фразы из наших обычных словопрений. Подобно тому как у нас в ландах телеги всегда делают „по колее“, то есть с достаточно широким ходом, для того чтобы колеса попадали в проторенные дорожные колеи, все мои мысли до сих пор шли „по колее“ моего отца и родителей моего мужа. Жан Азеведо шагал с непокрытой головой; у меня все еще перед глазами его рубашка с отложным воротом, открывавшим треугольник узкой, мальчишеской груди и слишком широкую шею. Чувствовала ли я влечение к нему? Ах, господи, нет! Но вот мне впервые встретился человек, считавший, что важнее всего — умственная жизнь. Он то и дело упоминал имена своих учителей, говорил о своих парижских друзьях, передавал их слова, рассказывал о книгах, и я не могла считать его каким-то феноменом: он входил в обширную когорту избранных умов, тех, кто „поистине живет“, как говорил он. Он

приводил имена, и мысли не допуская, что я могу их не знать, и я не показывала вида, что слышу их впервые в жизни.

Когда за поворотом дороги показалось ржаное поле Аржелуза, я невольно воскликнула: „Уже!“ Над этой тощей нивой, с которой уже сжали хлеб, стлался дым от сжигаемых на костре сорняков; через выемку в откосе дороги двигалась овечья отара, словно поток грязноватого молока, и, пройдя, овцы сразу же начинали пастись, словно щипали вместо травы песок. Жану нужно было идти полем к себе в Вильмежа. Я сказала, что провожу его: „Все эти вопросы очень меня интересуют“. Но нам вдруг не о чем стало говорить. На стерне острые края соломинок влезали в сандалии и больно кололи мне ноги. Мне казалось, что Жану хочется поскорее остаться одному и без помехи отдаться своим мыслям. Я напомнила ему, что мы еще не поговорили об Анне. „Мы не свободны в выборе тем для разговоров, да и для размышлений тоже, или же тогда надо согласиться с мистиками и следовать их правилам… — величественно сказал он. — Такие люди, как мы, всегда плывут по течению, идут по линии наименьшего сопротивления“. Словом, он все сводил к тому, о чем читал в этот период в книгах.

Мы решили встретиться еще раз, чтобы обсудить, как вести себя с Анной. Он говорил рассеянно и вдруг, не ответив на вопрос, заданный мной, наклонился и с каким-то детским торжеством показал мне белый гриб, понюхал его, потом приложил шляпку к губам».

## VII

Бернар поджидал Терезу на крыльце. «У меня ничего не нашли! Ничего! — закричал он, завидев в сумраке ее фигуру. — Представь себе, у меня, при моем-то сложении, оказывается, малокровие. Невероятно, но факт! Внешность обманчива. Начну теперь курс лечения… Буду принимать капли Фаулера — в них есть мышьяк. Очень важно, чтоб у меня снова появился аппетит…»

Тереза помнила, что вначале она даже не почувствовала раздражения: все, исходившее от Бернара, меньше, чем обычно, раздражало ее (как будто все его слова и возгласы доносились откуда-то издалека). Она его не слышала, теперь она душой и телом устремилась в другой мир, где живут жадные существа, где каждый хочет одного — познавать, постигать — и, как твердил Жан с видом глубокого удовлетворения, жаждет «стать самим собой». Когда за столом она заговорила о своей встрече с ним, Бернар крикнул: «Отчего ты мне сразу не сказала? Странная ты все-таки особа! Ну как? О чем вы договорились?»

Тереза тотчас же придумала план, который и в самом деле они потом осуществили: Жан Азеведо

напишет Анне письмо, в котором в очень мягких выражениях лишит ее всякой надежды. Бернар презрительно засмеялся, когда Тереза сообщила, что этот молодой человек совсем и не домогается руки Анны. Какой-то Азеведо не мечтает жениться на мадемуазель де ла Трав! «Да ты что, с ума сошла? Просто-напросто он понял, что тут ничего не выйдет, а эти ловкачи не станут рисковать, когда заранее знают, что их карта будет бита. Какая ты, голубушка, еще наивная».

Бернар не велел зажигать лампы — из-за комаров, и поэтому не видел, каким взглядом посмотрела на него Тереза. «У меня опять появился аппетит», — говорил он. Не напрасно он ездил в Бордо — доктор возвратил ему жизнь.

«Часто ли я виделась с Жаном Азеведо? Он уехал из Аржелуза в конце октября… Раз пять или шесть мы прогуливались вместе. Особо надо сказать о той прогулке, когда мы с ним сочиняли письмо Анне. Наивный юноша, он подбирал успокаивающие слова, но, ничего ему не говоря об этом, я чувствовала всю их жестокость. Наши последние прогулки сливаются у меня в воспоминаниях. Жан Азеведо описывал мне Париж, свой товарищеский круг, и я старалась вообразить его мир, где царит единственный закон: стать самим

собой. „Вы здесь обречены лгать до самой смерти“. Почему он это сказал? С каким-то тайным умыслом? В чем он подозревал меня? „Не могу представить себе, — заявил он, — как вы можете выносить эту удушливую атмосферу. Поглядите на это огромное и однообразное пространство, на это болото, затянутое льдом, сковавшим здесь все души! Иной раз появится трещина, видна черная вода: кто-то в ней бился из последних сил, пошел ко дну, и ледяная корка вновь спаялась… ведь здесь каждый, как и повсюду, рождается со своим собственным законом, здесь, как и повсюду, у каждого своя особая судьба; и все же приходится подчиняться всеобщей печальной участи; некоторые ей противятся, и тогда в почтенных семьях происходят драмы, о которых хранят молчание. Как здесь говорят: „Надо помалкивать…““

„Это верно!“ — воскликнула я. Случалось, я расспрашивала о каком-нибудь нашем родственнике — двоюродном дедушке или бабке, чьи фотографии исчезли из всех альбомов, и никогда я не получала ответов; только про одного мне сказали: „Он исчез… его заставили исчезнуть…“

Не опасался ли Жан Азеведо, что и меня постигнет та же участь? Он уверял, что ему бы и в голову не пришло говорить о таких вещах с Анной, так

как она, несмотря на свою страстную любовь к нему, очень простодушна, вряд ли способна постоять за себя и скоро будет укрощена. „Но вы! В каждом вашем слове я чувствую, как вы изголодались, как вы алчете истины…“ Надо ли передавать Бернару в точности наши разговоры? Сущее безумие надеяться, что он в силах хоть что-нибудь понять тут! Пусть он все-таки знает, что я не сдалась без борьбы. Помню, я однажды возразила этому юноше, что он приукрашает ловкими фразами самое гнусное приятие нравственного падения. Я даже призвала на помощь нравоучительное чтение, которое нам предлагалось в лицее. „Быть самим собою? — повторила я. — Но это возможно лишь в той мере, в какой мы сами создаем свою жизнь“. (Не стоит развивать эту мысль, хотя для Бернара, пожалуй, и следовало бы ее развить.) Жан Азеведо утверждал, что нет ужаснее падения, чем отречься от самого себя. Он заявлял, что не найдется ни одного героя, ни одного святого, которому не случалось бы, да еще не раз, напрягать всю волю, чтобы преодолеть свою натуру. „Надо превзойти самого себя, чтобы обрести Бога“, — твердил он. И еще он говорил: „Принять себя — это обязывает лучших из нас бороться с собою, но открыто, в честном сражении,

без хитрых уловок. И нередко случается, что эти освободившиеся рабы добровольно связывают себя узами самой стеснительной религии“.

Не надо спорить с Бернаром, насколько обоснованна такая мораль, надо даже согласиться с ним, что все это — жалкие софизмы, но пусть он поймет, пусть попытается понять, как увлекательны были эти речи для женщины моего склада и что я испытывала по вечерам в нашей столовой в Аржелузе. Рядом, в кухне, Бернар снимал охотничьи сапоги, рассказывал на местном диалекте, удачна ли была охота и какую добычу он принес. Пойманные вяхири трепыхались в мешке, брошенном на стол, вздували его; Бернар ел не спеша, радуясь, что аппетит вернулся к нему, потом он с любовью отсчитывал капли Фаулера. „Это здоровье“, — твердил он. В камине пылали дрова, и за десертом Бернару нужно было только повернуть свое кресло, чтобы протянуть к огню ноги в домашних войлочных туфлях. В руках он держал „Птит жиронд“, но глаза у него слипались. Иногда он всхрапывал, но чаще дышал так тихо, что его и не слышно было. Жена Бальона шаркала шлепанцами в кухне, потом она приносила подсвечники со свечами. И воцарялась тишина, аржелузская тишина! Тот, кто не

бывал в нашем глухом краю, не знает, что такое тишина: она окружает дом плотной темной массой, такой же, как лес, где ночью все замирало, лишь иногда ухала сова (и тогда казалось, что в темноте раздаются чьи-то рыдания).

И эту гнетущую тишину я особенно сильно ощутила после отъезда Жана Азеведо. До тех пор пока я знала, что днем снова встречусь с ним, само уж его присутствие делало безобидным мрак, сгустившийся за окнами; Жан спал где-то неподалеку, все ланды и ночная тьма были полны им. Но вот он уехал из Аржелуза, назначив мне при прощальной нашей встрече свидание через год, и выразил при этом надежду, что к тому времени я буду свободна. (Не знаю, право, сказал ли он это не задумываясь или с какой-то задней мыслью. Я склонна думать, что молодому парижанину уже стала невыносима наша тишина, наша особая, аржелузская тишина, и что мной он дорожил как единственной своей аудиторией.) Но как только мы с ним расстались, я словно вошла в бесконечный туннель, и там все сгущается, сгущается тьма. Выберусь ли я, выберусь ли на вольный воздух или задохнусь тут? До моих родов, которые произошли в январе, ничего не случилось…»

Тут Тереза в нерешительности останавлива-

ется, пытаясь отвлечься мыслями от того, что случилось в ее доме, в Аржелузе, на третий день после отъезда Жана. «Нет, нет! — думает она. — Это же не имеет никакого отношения к тому, что я должна буду сейчас объяснить Бернару. Не могу я терять время, блуждая по тропинкам, которые не ведут никуда». Но мысль человеческая упряма, невозможно помешать ей устремиться в ту сторону, куда ей захочется: Терезе не удается выбросить из памяти тот октябрьский вечер. На втором этаже, в спальне, раздевался Бернар. Тереза внизу ждала, чтобы прогорело полено, после чего ей надо было идти наверх, а пока она была счастлива хоть минутку побыть одной! Что сейчас делает Жан Азеведо? Может быть, выпивает в том маленьком баре, о котором он ей рассказывал, а может быть (ведь ночь такая теплая), катается со своим другом в автомобиле по пустынным аллеям Булонского леса. Может быть, работает за письменным столом, а вдали глухо гудит Париж. Жан сам создает для себя тишину, отвоевывает ее от грохота мира; тишина не навязана ему извне, как та тишина, что душит Терезу; тишина в Париже — дело его рук, она простирается не дальше, чем свет от его лампы, чем полки, заставленные книгами… Вот о чем

думала Тереза. Вдруг за дверью залаяла, потом заскулила собака, и знакомый, такой усталый голос, раздавшийся в прихожей, успокоил пса — Анна де ла Трав отворила дверь; она пришла из Сен-Клера пешком, темной ночью; башмаки у нее были все в грязи. На маленьком, сразу постаревшем личике лихорадочно блестели глаза. Она бросила шляпу на кресло, спросила: «Где он?»

Тереза и Жан, написав письмо и отправив его по почте, решили, что дело кончено, — они никак не думали, что Анна не захочет отказаться от своего счастья. Но разве человек уступит логическим доводам и рассуждениям, когда речь идет о самой его жизни! Анне удалось ускользнуть от надзора матери и сесть в поезд. По темной дороге к Аржелузу ее вела белесая полоса неба между вершинами сосен. «Во что бы то ни стало увидеться с ним. Если мы увидимся, я опять его завоюю. Надо увидеться с ним». И вот Анна шла, спотыкаясь, выворачивая ноги в рытвинах; она изо всех сил спешила добраться до Аржелуза. И вдруг Тереза говорит, что Жан уехал, что он в Париже. Анна не верила, отрицательно качала головой. Нет, не может быть, иначе ей не выдержать, сейчас она рухнет тут от усталости и отчаяния.

— Ты лжешь! Ты всегда лгала!

И когда Тереза возмутилась, Анна добавила:

— Да, вот уж в ком живет дух нашего семейства! Ты выдаешь себя за свободолюбивую женщину… А на деле, как только вышла замуж, сразу же стала служить семейке… Да, да, ты, разумеется, думала, что поступаешь хорошо — предаешь меня ради моего же блага, хочешь спасти, верно? Можешь не объяснять, и так все понятно.

Она толкнула входную дверь. Тереза спросила:

— Куда ты?

— В Вильмежа́, к нему.

— Я же тебе говорю, что его нет там уже два дня.

— Не верю тебе.

Она вышла. Тогда Тереза зажгла фонарь, висевший на крюке в прихожей, и двинулась вслед за ней.

— Ты ошиблась, Анна, — это дорога на Биурж, а в Вильмежа́ вон туда надо свернуть.

Они прошли через полосу тумана, поднявшегося над лугом. Проснулись собаки. Вот наконец и дубы Вильмежа; нет, это не спящий, а мертвый дом. Анна ходит вокруг этого пустого склепа, стучится, колотит в дверь кулаками. Тереза стоит неподвижно, поставив фонарь на траву. Она видит, как легкий силуэт ее подруги приникает

к каждому окну нижнего этажа. Вероятно, Анна всякий раз произносит имя любимого, но не выкрикивает его, не зовет, зная, что это бесполезно. Несколько минут ее не было видно — она зашла за дом, затем она появилась, опять подошла к двери, опустилась на крыльцо и, обхватив руками колени, уткнулась в них лицом. Тереза заставила ее подняться, вывела на дорогу. Анна шла, шатаясь, и все твердила: «Завтра утром поеду в Париж. Париж не так уж велик, я найду его в Париже…» Но говорила она это, как усталый ребенок, который больше не в силах сопротивляться и уже готов смириться.

Бернар, проснувшийся от громкого их разговора, накинул халат и ждал в гостиной. Напрасно Тереза старается прогнать воспоминание о сцене, разыгравшейся между сестрой и братом. Человек, который мог грубо схватить за руки измученную девочку, потащить ее по лестнице на третий этаж, втолкнуть в спальню и запереть дверь на ключ, — ведь это твой муж, Тереза, тот самый Бернар, который через два часа будет твоим судьей. Дух семьи вдохновляет его, избавляет от всяких колебаний. Бернар всегда, при любых обстоятельствах знает, что надлежит сделать в интересах семьи. Ты вот с тоской и тревогой

готовишь длинную защитительную речь, но ведь только люди, не имеющие принципов, могут поддаться чужим доводам. Бернару наплевать на твои оправдания: «Я знаю, что мне надо делать». Он всегда знает, что ему надо делать. Если иной раз придет в замешательство, то скажет: «Мы это обсудили в семейном кругу и признали, что…» Как можешь ты думать, что он еще не вынес тебе приговор? Судьба твоя решена бесповоротно, так что лучше постарайся уснуть.

# VIII

После того как де ла Травы увезли побежденную Анну в Сен-Клер, Тереза почти до самых родов безвыездно жила в Аржелузе. Вот когда она по-настоящему изведала тишину, царившую там, именно в эти долгие ноябрьские ночи. Письмо, посланное ею Жану Азеведо, осталось без ответа. Вероятно, он нашел, что не стоит заводить скучную переписку с какой-то провинциалкой. К тому же она в положении, это не такое уж приятное воспоминание. Может быть, теперь, на расстоянии, Тереза казалась пресной этому дурачку? Для него были бы гораздо привлекательнее в женщине притворная сложность и рисовка! Разве он мог понять эту обманчивую простоту, этот прямой взгляд и всегда уверенные движения? Вероятно, он считал ее способной поймать его на слове, как это было с Анной, готовой все бросить и бежать с ним. Жан Азеведо не доверял женщинам, которые слишком быстро складывают оружие, так что нападающий не успевает снять осаду. Больше всего он боялся одержать победу, пожать плоды победы. Тереза старалась проникнуть в духовный мир этого юноши. Но

восхищавшие Жана книги, которые она выписала из Бордо, показались ей непонятными. Она жила в полной праздности. Нечего было и думать, что она станет готовить приданое для будущего ребенка, «это не ее жанр», — ехидничала г-жа де ла Трав. В деревнях немало женщин умирают родами. Тереза доводила тетю Клару до слез, уверяя, что и она умрет, как ее мать, что ей не выжить, она в этом уверена. И всегда добавляла, будто ей «все равно, что придется умереть». Какая ложь! Она еще никогда так страстно не жаждала жить, и еще никогда Бернар не выказывал такого внимания к ней. «Да он заботился вовсе не обо мне, а о том, кого я носила во чреве. Напрасно он с ужасным своим местным произношением твердил: „Возьми еще пюре… Не ешь рыбы… Ты сегодня уже и так много ходила…“ Меня это нисколько не трогало — ведь так же ухаживают за нанятой кормилицей, чтобы у нее было хорошее молоко. Свекор и свекровь берегли меня, как священный сосуд, вместилище их будущего потомства; несомненно, они в случае чего пожертвовали бы мною ради этого эмбриона. Я утратила ощущение своего собственного существования! Я была лишь лозой виноградной: в глазах всего семейства значение имел лишь плод, который

созревал во мне.

До конца декабря пришлось жить в потемках. Как будто еще мало было тени от бесчисленных сосен, непрерывные дожди множили и множили вокруг нашего угрюмого дома миллионы движущихся прутьев водяной решетки! Когда единственная дорога на Сен-Клер уже угрожала стать непроезжей, меня перевезли в этот городок, в другой дом, где было чуть посветлее, чем у нас в Аржелузе. Старые платаны на Большой площади еще оспаривали свои листья у ветра и дождя. Тетя Клара не пожелала переселиться в Сен-Клер, чтобы стать моей сиделкой, — старуха могла жить только в Аржелузе, но она приезжала очень часто, в любую погоду, в своем деревенском шарабане и привозила мне лакомства, которые я так любила в детстве и, по ее мнению, любила и до сих пор: серые ржаные пышки на меду, сладкий пирог по названию „фугас“ или „румаджад“. С Анной я виделась только за столом, она не обращалась ко мне ни с единым словом, с виду была тихая, смирившаяся, сразу утратила свою свежесть. Зачесанные назад, туго стянутые волосы открывали ее некрасивые восковые уши. Имени молодого Дегилема не произносили, однако г-жа де ла Трав уверяла меня, что хотя Анна еще не сказала „да“,

но уже и не говорит „нет“. Ах, как верно судил о ней Жан: немного времени понадобилось, чтобы накинуть на нее узду и усмирить ее. Бернар чувствовал себя хуже, потому что опять стал выпивать перед обедом рюмку-другую „для аппетита“. О чем говорили эти люди вокруг меня? Они много толковали о приходском священнике (мы жили как раз напротив церковного дома). Всех интересовало, например, почему кюре в течение одного дня четыре раза прошел куда-то через площадь, а возвращался, вероятно, другой дорогой...»

Помня некоторые свои разговоры с Жаном Азеведо, Тереза теперь более внимательно присматривалась к этому еще не старому священнику; он мало общался с прихожанами, и они считали его гордецом: «Здесь такие повадки не годятся». При его редких посещениях господ де ла Трав Тереза отметила, что у него высокий лоб, седые виски. У этого человека нет ни одного друга. Как он проводит вечера? Почему избрал такую жизнь? «Он строго соблюдает все правила, — говорила г-жа де ла Трав, — каждый вечер читает молитвы, но нет на нем, знаете ли, благодати. Его не назовешь благочестивым. А наше благотворительное общество он совсем

забросил». Она жаловалась, что кюре распустил оркестр, организованный попечителем общества; родители обижаются, что он больше не водит подростков на футбольные матчи. «Это очень мило, что он сидит, уткнувшись в книгу, но ведь этак недолго и приход упустить». Чтобы послушать его, Тереза несколько раз ходила в церковь. «Ну, дорогая, что это вам вздумалось? Ведь в вашем положении можно и не посещать церковные службы...» Проповеди священника касались догматов, принципов морали и были безличны. Но Терезу интересовали модуляции его голоса, его жесты, то или иное слово, казавшееся более весомым, чем другие... Ах, он, может быть, помог бы ей разобраться в путанице ее мыслей и чувств, ведь он так отличался от всех, он тоже принимал жизнь трагически; к своему внутреннему одиночеству он присоединил еще и ту пустыню, которая создается вокруг человека, надевшего сутану. Какую поддержку находил он в ежедневном исполнении церковных обрядов? Терезе хотелось пойти к мессе в будний день, когда никого не бывает в церкви, кроме мальчика-служки, и священник, склонившись над кусочком хлеба, бормочет слова литургии. Но ее любопытство показалось бы странным всему

семейству и жителям городка: стали бы кричать, что она обратилась в лоно христианства.

Сколько ни страдала Тереза в эту пору, но лишь после родов она по-настоящему почувствовала, что больше не в силах выносить такую жизнь. Внешне это ни в чем не сказывалось, между ней и Бернаром не происходило никаких сцен, с его родителями она держала себя даже более почтительно, чем он сам. Трагедия как раз и была в том, что не находилось ни малейших причин для разрыва и не предвиделось никаких событий, которые помешали бы тоскливой обыденности идти своим чередом до самой смерти. При разногласиях должна быть какая-то почва для столкновений, но Тереза почти не видела Бернара и еще меньше — его родителей; да их слова и не доходили до нее, она и не подумала бы отвечать на их замечания. Они ведь говорили на разных языках. В самые важные слова они вкладывали разный смысл. А если у Терезы вырывалось какое-нибудь искреннее восклицание, то ведь в семействе уже было раз и навсегда установлено, что она обожает дерзкие выпады. «Я делаю вид, что не слышу, — говорила г-жа де ла Трав, — а если она настаивает на своем, я не придаю значения ее словам. Она знает, что с нами эти штучки

не пройдут».

И все же г-жа де ла Трав с трудом переносила странные причуды снохи: Тереза терпеть не могла, когда знакомые ахали, уверяя, что маленькая Мари вылитая мать. Обычные в этих случаях шуточки («Ну, уж от этой дочки вы не отречетесь...») приводили ее в крайнее раздражение, которое ей не всегда удавалось скрыть. «Да она ничуть на меня не похожа, — твердила Тереза. — Посмотрите, какая она смуглая, глаза черные, как угольки. И вот поглядите на мои фотографии — я была худенькая, белесая девчушка».

Она не желала, чтобы Мари походила на нее. Мать хотела, чтобы у нее не было ничего общего с этой крошкой, плотью от плоти ее. И уже по городу пошли слухи, что Тереза Дескейру не страдает избытком материнской нежности. Но г-жа де ла Трав уверяла, что Тереза по-своему любит дочку. «Конечно, нечего требовать, чтобы она следила, как купают малютку, меняют ей пеленки, — эти заботы ей не свойственны, но я вижу, как она целыми вечерами просиживает у колыбельки, даже воздерживается тогда от курения и все смотрит, смотрит на спящую крошку... Кстати сказать, у нас превосходная, отлично вышколенная няня, да и наша Анна тут.

Ах, вот уж из Анны, можно поклясться, выйдет замечательная мамаша!..» И правда, с тех пор как в доме появился ребенок, Анна возродилась к жизни. Колыбель всегда привлекает женщину, но Анна была просто счастлива, когда брала малютку на руки. Чтобы свободнее было приходить в детскую, она помирилась с Терезой, ко от былой нежной их дружбы остались лишь привычные ласковые жесты и прозвища. Анна очень боялась материнской ревности Терезы: «Ведь малютка знает меня лучше, чем свою маму: как увидит — смеется. В прошлый раз Мари была у меня на руках, и когда Тереза хотела ее взять, девочка заплакала, раскричалась. Она так явно любит меня больше, чем маму, что мне даже неловко бывает».

Анна могла бы и не испытывать неловкости. В эту полосу своей жизни Тереза была далека от дочери, как и от всего остального. И людей, и вещи, и свое собственное тело, и даже свою душу она воспринимала словно какой-то мираж, словно туман, повисший в воздухе. И в этом небытии только один Бернар обретал чудовищную реальность: его плотная фигура, гнусавый голос, безапелляционный тон, самодовольство. Вырваться из этого мира… Но как? И куда идти?

Первые жаркие дни действовали на Терезу угнетающе. Однако ничто не предвещало поступка, который она уже готова была совершить. Что было в этом году? Она не может вспомнить никаких неприятностей, никаких ссор, помнит только, что в день Праздника Тела Господня Бернар был как-то особенно противен ей, когда она смотрела утром в щель между ставнями на крестный ход. Бернар оказался, пожалуй, единственным мужчиной в этой процессии. Городок вмиг опустел, как будто на улицу вместо традиционного агнца выпустили льва… Люди попрятались, чтобы им не пришлось обнажать голову или становиться на колени. Лишь только опасность миновала, двери пооткрывались одна за другой. Тереза внимательно смотрела на священника, который шел, почти что зажмурив глаза, и держал обеими руками свою странную ношу. Губы его шевелились: к кому взывал он с таким скорбным видом? И сразу же вслед за ним важно вышагивал Бернар — он «исполнял свой долг».

Шла неделя за неделей, и за все это время не выпало ни одной капли дождя. Бернар жил в непрестанном страхе — боялся лесного пожара, и у него снова начались боли в сердце. В стороне Луша сгорело пятьсот гектаров сосняка. «Если

бы дул северный ветер, погибли бы мои сосны в Балисаке». Тереза все ждала чего-то, чего — и сама не знала, от этого ясного, невозмутимого неба… Может, никогда больше не будет дождя… И в один прекрасный день затрещит в огне весь лес кругом, сгорит даже сам городок. Почему, спрашивается, в ландах никогда не горят селения? Как несправедливо, что пламя всегда подбирается к деревьям, а людей не трогает. В семействе Дескейру без конца говорили, спорили о причинах бедствия: может, кто-то бросил непогасший окурок. А может, это поджог? Тереза мечтала, что вот она встанет ночью, выйдет тихонько из дому, заберется в тот лес, где больше всего вереску, бросит там зажженную сигарету, и на заре огромное облако дыма затянет небо… Но она гнала от себя эту мысль: любовь к соснам была у нее в крови — не на сосны обращала она свою ненависть.

Настала минута открыто взглянуть на то, что она сделала. Какое объяснение дать Бернару? Ничего не остается, как напомнить ему шаг за шагом, как все это случилось. Это было в день большого пожара около Мано. В столовую, где наспех завтракала вся семья, то и дело входили люди. Одни уверяли, что горит как будто очень далеко от Сен-Клера, другие утверждали, что уже

пора бить в набат. Воздух в этот знойный день был пропитан запахом горящей смолы, а солнце казалось запачканным сажей. Перед глазами Терезы встает лицо Бернара: повернувшись к Бальону, он слушает его сообщение, а сильной волосатой рукой держит над стаканом пузырек с лекарством, не замечая, что капли Фаулера одна за другой падают и падают в воду. Он залпом выпил стакан, и Терезе, разомлевшей от жары, даже и в голову не пришло сказать ему, что он выпил двойную дозу лекарства. Все встали из-за стола, только она одна осталась, продолжая лениво раскрывать ножичком свежий миндаль, чуждая всему этому волнению, равнодушная к этой драме, да и ко всякой другой, кроме своей собственной. В набат не стали бить. Бернар наконец вернулся. «Ну хоть раз ты, Тереза, правильно сделала, что не волновалась, — горит далеко, в стороне Мано… — Потом спросил: — А капли я принял?» — и, не дождавшись ответа, накапал в стакан лекарства. Тереза промолчала — вероятно, от лени, от усталости. На что она надеялась в эту минуту? «Не может же быть, что я промолчала умышленно!»

Однако и ночью, когда у постели Бернара, который мучился рвотой и плакал, доктор Педмэ стал

расспрашивать, что произошло днем, она ничего не сказала о том, что случилось за столом. А ведь так было легко, не бросая на себя тень, обратить внимание доктора на то, что Бернар принял много мышьяку. Могла же она произнести такую, например, фразу: «В ту минуту до меня как-то не дошло… Мы все ужасно взволновались из-за этого пожара… Но теперь я готова поклясться, что он принял двойную дозу». Однако она промолчала. Было ли у нее хоть поползновение сказать это? Темный замысел, который за завтраком, неведомо для нее самой, уже был в ее душе, начал всплывать из самых глубин ее существа, еще бесформенный, но уже наполовину осознанный.

После ухода доктора она долго смотрела на уснувшего наконец Бернара и думала: «Нет же доказательств, что он заболел из-за того. Может быть, у него приступ аппендицита, хотя никаких других симптомов и нет… у него, наверное, инфекционный грипп». Но через день Бернар был уже на ногах. «Весьма возможно, что все было именно из-за того». Но Тереза не могла бы за это поручиться, а ей так хотелось быть уверенной. Вот и все. «У меня вовсе не было такого чувства, что я во власти чудовищного искушения, мне казалось, что мною движет любопытство, — прав-

да, удовлетворить его было небезопасно. Но в первый день, когда я, прежде чем Бернар вышел в столовую, накапала лекарство в его стакан, помню, я твердила себе: „Один-единственный раз, только чтобы выяснить… тогда я буду знать, из-за того ли он заболел. Один-единственный раз — и конец“».

Поезд замедляет ход, дает долгий гудок, снова идет быстрее. Два-три огня в темноте: станция Сен-Клер. Но Терезе больше уже ничего не надо анализировать: она ринулась в зияющую пропасть преступления, и преступление затянуло ее; что последовало за ним, Бернар знает так же хорошо, как она сама; болезнь его внезапно вернулась, и Тереза ухаживала за ним дни и ночи, хотя, казалось, сама выбилась из сил. Она не могла тогда проглотить ни куска. Бернар даже уговаривал ее попробовать полечиться каплями Фаулера, и она взяла рецепт у доктора Педмэ. Бедняга доктор! Как он удивлялся, что Бернара рвет какой-то зеленоватой жидкостью. И никогда бы он не поверил, что у больного может быть такое несоответствие между пульсом и температурой; ему неоднократно случалось констатировать, что при паратифе пульс может быть ровным, хотя больного сильно лихорадит, но что означал этот

частый пульс при температуре ниже нормальной? Несомненно, инфекционный грипп. Грипп — этим все сказано.

Госпожа де ла Трав думала было вызвать для консультации известного врача, но ей не хотелось обижать доктора Педмэ, старого друга дома. К тому же Тереза опасалась напугать Бернара. Однако в середине августа, после особенно тревожного приступа, доктор Педмэ сам пожелал услышать мнение одного из своих авторитетных коллег. По счастью, на следующий день состояние Бернара улучшилось, через три недели уже говорили, что он выздоравливает. «Ловко я отделался, — шутил Педмэ. — Вызвали бы светило медицинского мира, и вся слава излечения досталась бы ему, а не мне».

Бернар потребовал, чтобы его перевезли в Аржелуз, рассчитывая, что его окончательно вылечит осенняя охота на вяхирей. Терезе пришлось тогда нелегко, — острый ревматизм приковал тетю Клару к постели, и все пало на молодую хозяйку: двое больных в доме, ребенок, не считая всяких хлопот и дел, лежавших на тете Кларе. Тереза с большой охотой старалась заменить ее в заботах о бедняках Аржелуза. Она обегала все фермы, заказала по рецептам лекарства для за-

болевших, как это делала тетя Клара, заплатила за них из своего кошелька. Ее не печалило, что ферма Вильмежа заперта. Она больше не думала о Жане Азеведо, да и ни о ком другом. Она шла одиноко через туннель в головокружительной темноте, она должна была идти, идти, не размышляя, как животное, чтобы выбраться из черного мрака удушливого дыма, вырваться на чистый воздух. Скорее! Скорее!

В начале декабря болезнь с новой силой обрушилась на Бернара: как-то утром он проснулся, дрожа от озноба, а ноги у него онемели, ничего не чувствовали. Что же за этим последовало? Г-н де ла Трав вечером привез из Бордо врача для консультации; осмотрев больного, тот долго молчал. (Тереза держала в поднятой руке лампу, в жена Бальона вспоминала потом, что хозяйка была бледна как смерть.) На скудно освещенной лестничной площадке Педмэ, понизив голос, чтоб не услышала насторожившаяся Тереза, рассказал своему коллеге, что аптекарь Даркей показал ему два подделанных рецепта, подписанных, однако, им, доктором Педмэ; на одном рецепте чья-то преступная рука добавила: «Капли Фаулера», а на другом выписаны были довольно сильные дозы хлороформа, дигиталина и аконитина. Бальон

принес в аптеку эти рецепты вместе со многими другими. Даркей встревожился, что отпустил ядовитые вещества, и на следующий день прибежал к Педмэ… Да Бернар знает обо всем этом не хуже самой Терезы. Его тотчас отправили в санитарной карете в Бордо, положили там в клинику, и с того дня ему стало лучше. Тереза осталась в Аржелузе одна, но, каким бы глубоким ни было ее одиночество, она слышала вокруг нараставший гул: забившийся в нору зверь чуял, что приближается стая псов. Она изнемогла, словно после неистового бега, словно бежала из последних сил и была совсем уже у цели, уже протянула руку, как вдруг ее швырнули на землю, и она упала как подкошенная.

Однажды вечером в конце зимы приехал отец и заклинал ее снять с себя обвинение. Все еще можно спасти. Педмэ согласился взять обратно жалобу, поданную им в суд, заявив, будто уже не может сказать с уверенностью, что один из рецептов не написан целиком его рукой. Что касается аконитина, хлороформа и дигиталина, он, конечно, не мог прописать их в таких больших дозах, но поскольку в крови больного не обнаружено ни малейших следов этих веществ…

Тереза вспоминает сцену объяснения с отцом,

происходившую у постели тети Клары. Им не хотелось зажигать лампу, и комнату освещали только отблески огня, пылавшего в камине. Тереза говорила монотонно, как школьница, вызубрившая урок (этот урок она вытвердила в долгие бессонные ночи):

— Мне встретился на дороге какой-то человек — не здешний, не из Аржелуза. И он сказал мне, что раз я посылаю кого-то в аптеку Даркея, то он очень просит заказать там лекарства и по его рецепту — ему самому не хочется показываться в аптеке, так как он должен Даркею деньги… Он не сообщил мне ни своей фамилии, ни адреса — сказал, что сам придет ко мне за лекарством…

— Тереза, придумай что-нибудь другое! Умоляю тебя во имя нашей семейной чести! Придумай, несчастная, что-нибудь другое!..

Отец упрямо повторял свои упреки, глухая тетка, приподнявшись на подушках, тщетно прислушивалась и, чувствуя нависшую над Терезой смертельную опасность, стонала: «Что он тебе говорит? Чего им от тебя нужно? Тебе хотят сделать что-то плохое?»

Тереза нашла в себе силы улыбнуться больной старухе и взять ее за руку, а сама, как школьница на уроке катехизиса, монотонно твердила: «Мне

встретился на дороге человек. Было уже темно, так что я не разглядела его лица, он не сказал мне, на какой ферме живет… Недавно вечером он приходил за своим лекарством… К несчастью, никто в доме его не заметил».

## IX

Вот наконец Сен-Клер. Тереза вышла из вагона, ее никто не узнал. Пока Бальон сдавал ее билет, она обогнула здание вокзала и, лавируя между штабелями досок, вышла на дорогу, где стоял шарабан.

Теперь этот шарабан ее убежище: на разбитой дороге нечего бояться встречи со знакомыми. Но вся история ее преступления, восстановленная в памяти с таким трудом, рухнула, ничего не осталось от подготовленной исповеди. Нет, ей нечего сказать в свою защиту, даже невозможно привести какую-нибудь причину; проще всего — молчать или же только отвечать на вопросы. Чего ей теперь бояться? Минует ночь, как все ночи, завтра взойдет солнце; она уверена, что выбралась из беды, что бы дальше ни случилось. И ничего не может случиться хуже того равнодушия, той отчужденности, которые отделяют ее от всего мира, даже от нее самой. Да, смерть при жизни — она ощущает в себе смерть, насколько может это ощущать живой человек.

Глаза ее привыкли к темноте, и на повороте

дороги она разглядела ферму, низкие постройки которой походили на спящих животных, лежащих на земле. Здесь, бывало, Анна всегда пугалась собаки, бросавшейся под колеса ее велосипеда. Дальше заросли ольхи показывали, что там сырая ложбинка, где в самые знойные дни прохлада овевала разгоревшиеся щеки подружек. Девочка на велосипеде, ее сверкающие в улыбке белые зубы, ее шляпа с широкими полями, защищавшими от солнца, треньканье велосипедного звонка и торжествующий голос: «Смотри! Еду, не держась руками за руль!» — в душе Терезы еще жив этот смутный образ, все, что она может найти в прошлом, на чем может отдохнуть измученное сердце. И она машинально твердит под ритмическое цоканье копыт старой лошади, трусившей рысцой: «Бесполезность моей жизни — и ничтожность моей жизни — одиночество безмерное мое — безысходная моя судьба». То единственное, чем все могло бы разрешиться, Бернар не сделает. Ах, если бы он мог открыть ей объятия, ни о чем не спрашивая! Если б она могла припасть головой к человеческой груди и заплакать, ощущая ее живое тепло.

Она заметила тот косогор у хлебного поля, где когда-то в жаркий день сидел Жан Азеведо. Поду-

мать только, ведь она воображала в ту пору, что в мире есть такое место, где все ее существо могло бы расцвести, — среди людей, которые понимали бы ее, быть может, восхищались бы ею и дарили ей свою любовь! Но одиночество привязалось к ней, как язвы к прокаженному. «Никто не может ничего сделать для меня; никто не может ничего сделать против меня».

— Вон наши навстречу идут.

Бальон натянул вожжи. Приближались две тени. Значит, Бернар, такой еще слабый, вышел ей навстречу — ему, значит, не терпится узнать, чем все кончилось в суде. Тереза приподнялась на сиденье и еще издали крикнула: «Дело прекратили!» В ответ раздалась короткая реплика: «Это было известно». Бернар помог старухе тетке взобраться в шарабан и разобрал вожжи. Бальону велел дальше идти пешком. Тетя Клара сидела посередине, между супругами. Пришлось кричать ей в самое ухо, что все уладилось (впрочем, у нее было весьма смутное представление о случившейся драме). Как обычно, глухая старуха начала говорить, говорить до потери дыхания, заявила, что «у них всегда одна тактика, что это повторяется дело Дрейфуса: „Клевещите, клевещите — всегда что-нибудь останется“. Они забрали си-

лу, и республиканцы зря не держатся начеку. Как только этим зверям вонючим дают поблажку, они на людей набрасываются…» Ее кудахтанье избавляло супругов от необходимости разговаривать — они не обменялись ни единым словом.

Потом тетя Клара, тяжело дыша и отдуваясь, поднялась по лестнице с зажженной свечой в подсвечнике.

— А вы еще не ложитесь? Тереза, должно быть, измучилась. В спальне тебе оставили, дорогая, чашку бульона и холодного цыпленка.

Но супруги все еще стояли в прихожей. Старуха видела, как Бернар отворил дверь в гостиную, пропустил первой Терезу и скрылся за дверью вслед за ней. Не будь этой проклятой глухоты, она бы уж приникла ухом к двери… а теперь, что ж, никто и не думает ее остерегаться — она будто заживо замурованная. Все же тетя Клара погасила свечу, ощупью спустилась на первый этаж, поглядела в замочную скважину: Бернар как раз переставлял лампу, лицо у него было ярко освещено, оно казалось испуганным и вместе с тем торжественным. Тереза сидела спиной к двери; накидку и шляпу она бросила на кресло, ноги протянула к огню, и от ее мокрых ботинок поднимался пар. На мгновение она повернула

голову к мужу, и старуха тетка обрадовалась, увидев, что Тереза улыбается.

Тереза улыбалась. В те немногие минуты, когда она прошла рядом с Бернаром короткое расстояние от конюшни до дома, она вдруг поняла, или вообразила, будто поняла, как ей надо себя вести. При первом же взгляде на Бернара рухнули все ее надежды объяснить ему свой проступок, довериться ему. Как меняются в разлуке наши представления о людях, которых мы хорошо знаем! Всю дорогу она безотчетно старалась создать новый образ Бернара, найти в нем человека, способного ее понять или хотя бы попытаться понять, но с первого же взгляда увидела его таким, каким был он в действительности, — человеком, который никогда, ни разу в жизни не мог поставить себя на место другого и попытаться увидеть то, что видит твой противник. Нет, право, разве Бернар стал бы ее слушать? Он ходил взад и вперед по сырой комнате с низким потолком, и под его ногами трещал подгнивший местами пол. На жену он не смотрел — он весь был поглощен приготовленной заранее речью. Да и Тереза знала, что она сейчас ему скажет. Самый простым всегда оказывается тот выход, о каком мы прежде и не думали. Сейчас она скажет ему: «Я исчезну,

Бернар. Не беспокойтесь обо мне. Если хотите, исчезну немедленно, сегодня же ночью. Ни лес, ни темнота меня не пугают. Мы с ними старые друзья, давно знаем друг друга. Я создана по образу и подобию этого бесплодного края, где нет ничего живого, кроме перелетных птиц да диких кабанов. Я согласна стать изгнанницей. Сожгите все мои фотографии, и пусть никто, даже моя дочь, не услышит больше моего имени, и пусть вся ваша семья считает, что меня как бы и не было никогда».

И Тереза уже открыла рот, уже произнесла:

— Позвольте мне исчезнуть, Бернар.

При звуках ее голоса Бернар обернулся, бросился к ней из дальнего угла комнаты; на лбу у него вздулись жилы, он лепетал заикаясь:

— Что?! Вы осмеливаетесь иметь свое мнение? Осмеливаетесь выражать какие-то желания? Довольно! Ни слова больше! Вы должны только слушать, получать от меня распоряжения, беспрекословно подчиняться моим решениям.

Теперь он уже не заикался, теперь он говорил тщательно подготовленными фразами. Облокотись на каминную полку, он изъяснялся строгим тоном, вытащил из кармана исписанный листок бумаги и заглядывал в него. У Терезы пропал

страх, ей даже хотелось расхохотаться. Он был смешон, просто-напросто смешон. Ну какое значение имеет то, что он там декламирует, да еще с таким противным произношением, над которым не смеются только в Сен-Клере? Все равно она уедет. К чему вся эта трагедия? Подумаешь, велика важность, если бы не стало этого дурака! На листке белой бумаги, дрожавшем в его руке, четко выделялись его неухоженные ногти; манжет, конечно, он не носит, он из числа тех мужланов, которые кажутся чучелами, когда вылезают из своего захолустья, а жизнь их ровно никому не нужна — ни для какого-нибудь дела, ни для какой-нибудь идеи, ни для какого-нибудь человека. Вообще, просто по привычке придают такое непомерное значение любой человеческой жизни. Робеспьер был прав, и Наполеон был прав, и другие… Бернар заметил, что она улыбается, и, рассвирепев, повысил голос. Терезе волей-неволей пришлось слушать:

— Но вы в моих руках!.. Понятно это вам? Вы должны подчиняться решениям, принятым нами на семейном совете, в противном случае…

— Что в противном случае?

Она откинула притворное равнодушие, заговорила дерзким и насмешливым тоном, даже

крикнула:

— Слишком поздно! Вы дали суду показания в мою пользу и уже не можете взять их обратно. Иначе вас привлекут за лжесвидетельство…

— Всегда может открыться какой-нибудь новый факт. У меня в ящике секретера заперто неоспоримое доказательство. Срока давности, слава богу, тут не установлено.

Она вздрогнула. Спросила:

— Чего вы хотите от меня?

Он стал рыться в своих записках, а Тереза несколько секунд вслушивалась в мертвую тишину Аржелуза. До часа переклички петухов было еще далеко, ни один ручеек, ни одна струйка воды не журчала в этой пустыне, ни малейший ветерок не шевелил вершины бесчисленных сосен.

— Я исхожу не из своих личных соображений. Сам я стушевываюсь, для меня важны только интересы семьи. Все мои решения всегда были продиктованы интересами семьи. Ради чести семьи я согласился обмануть правосудие. Пусть меня судит Бог.

Этот высокопарный тон коробил Терезу. Ей хотелось попросить Бернара говорить попроще.

— Для нашей семьи важно, чтобы нас с вами

считали живущими в супружеском согласии и чтобы я, по мнению общества, был уверен в вашей невиновности. С другой стороны, я хочу как можно надежнее уберечь себя…

— Я вам внушаю страх, Бернар?

Он пробормотал:

— Страх? Нет. Ужас! — И продолжил дальше свою речь: — Давайте договоримся поскорее, пусть все будет решено раз и навсегда. Завтра мы с вами выедем из этого дома и поселимся в доме, принадлежащем нашей семье, — я не хочу, чтобы ваша тетка постоянно торчала у меня перед глазами. Еду вам будет подавать жена Бальона в вашу спальню; во все остальные комнаты вам входить запрещается; бегать по лесу можете сколько угодно. По воскресеньям мы вместе будем ездить к мессе в Сен-Клер: надо, чтобы люди видели, что вы идете со мной под руку; а в первый четверг каждого месяца, когда в Б. бывает ярмарка, мы в открытой коляске будем приезжать в гости к вашему отцу, как мы это делали раньше.

— А Мари?

— Мари завтра уезжает со своей няней в Сен-Клер. Затем моя мать увезет ее на юг под предлогом поправления здоровья. Я полагаю, вы и не рассчитывали, что вам оставят дочь? Ее

тоже надо укрыть от опасности. Ведь в случае моей смерти она по достижении двадцати одного года вступит во владение наследством. Отчего же после мужа не уничтожить и ребенка?

Тереза вскочила, едва сдержав крик.

— Так вы думаете, что я это сделала из-за ваших сосен?

Значит, этот дурак не увидел ни одного из множества тайных истоков ее преступления и придумал самую низменную причину.

— Разумеется, из-за сосен… А для чего же иначе? Надо искать по методу исключения. Попробуйте указать какой-нибудь другой мотив… Впрочем, это не имеет значения и уже нисколько не интересует меня, я больше не задаюсь таким вопросом, вы теперь ничто, но — увы! — существует имя, которое вы носите. Через несколько месяцев, когда общественное мнение будет считать, что мы живем в добром согласии, Анна выйдет за молодого Дегилема… Вам известно, что Дегилемы потребовали отсрочки? Они хотят еще поразмыслить… И после свадьбы Анны я смогу наконец поселиться в Сен-Клере, а вы — вы останетесь здесь. Под предлогом неврастении или чего-нибудь другого…

— Сумасшествия, например.

— Нет, это в дальнейшем повредило бы Мари. Но уважительные причины всегда найдутся. Вот так-то.

Тереза тихо сказала:

— В Аржелузе… до самой смерти?..

Она подошла к окну, растворила его. В эту минуту Бернар испытывал искреннюю радость: он всегда немного робел перед этой женщиной, чувствовал себя приниженным. Но как он господствовал над ней в этот вечер! Она должна понять, что все презирают ее! Он гордился своей сдержанностью. Г-жа де ла Трав без конца твердила ему, что он просто святой человек, вся семья восхваляла его благородство; впервые в жизни он чувствовал величие своей души. Когда ему в лечебнице с величайшими предосторожностями открыли, что Тереза покушалась на его жизнь, он проявил хладнокровие, за которое его превозносили, но это не стоило ему никаких усилий: ведь ничто не имеет действительно большого значения для людей, неспособных любить. Поскольку в сердце Бернара не было любви, он испытал лишь трепетную радость избавления от страшной опасности; так может чувствовать себя человек, вдруг узнавший, что он, сам того не ведая, долгие годы жил в тесной близости с буйным сумасшедшим.

Но в этот вечер Бернар почувствовал свою силу — он был господином положения. Его восхищало сознание, что никакие трудности жизни не могут сломить такого прямого и здравомыслящего человека, как он; сразу же после налетевшей бури он готов был утверждать, что каждый сам виноват в своем несчастье. Страшнейшая драма произошла у него, а он вот «справился» с ней, как справлялся с любым делом. О его беде почти что и знать не будут, приличия соблюдены, никто больше не вздумает жалеть его (он не хотел, чтоб его жалели). Что унизительного в том, что он женился на чудовище, раз он в конечном счете укротил его? Кстати сказать, в холостяцкой жизни есть свои приятные стороны, а оттого, что он заглянул смерти в глаза и чудом избежал ее, у него необычайно обострились все его страсти — любовь к своим владениям, к охоте, к своему автомобилю, к вкусной еде, к хорошему вину — словом, к жизни.

Тереза долго стояла у окна; она смутно видела белевшую в темноте дорожку, слышала запах хризантем, защищенных садовой решеткой от овечьих отар. За оградой черной стеной вздымались дубы, скрывая сосны, но влажный ночной воздух был пропитан запахом смолы. Тереза

знала, что сосновый бор окружает дом, словно вражеские полчища, невидимые, но подступившие совсем близко. И вот эти сумрачные стражи, чьи глухие жалобы она слышит, будут видеть, как она томится тут в долгие зимы, как она изнывает знойным летом от жары, они станут свидетелями ее медленной смерти от удушья. Она закрыла окно и подошла к Бернару.

— Так вы намерены силой удержать меня здесь?

— Называйте это как угодно, но помните, что отсюда вы выйдете только со связанными руками.

— Зачем преувеличивать? Я же вас знаю: не такой уж вы злой, каким стараетесь казаться. Неужели вы хотите, чтобы на ваше семейство пал такой позор? Нет, на этот счет я спокойна.

Тогда Бернар, как человек рассудительный, все хорошо взвесивший, объяснил ей, что бегство означало бы, что она признает себя виновной. Позор обрушится на их семейство, и избегнуть его можно будет только одним способом: отсечь зараженную часть тела, отречься от преступницы перед лицом всех людей.

— Именно к этому решению сперва и склонялась моя мать. Мы даже хотели предоставить правосудию идти своим путем, не будь тут за-

мешана судьба Анны и судьба Мари. Но сделать это еще не поздно. Не торопитесь с ответом. Я прощаюсь с вами до завтра.

Тереза сказала вполголоса:

— У меня еще отец есть.

— Отец? Но мы с ним вполне солидарны. У него своя жизнь, политическая карьера, его партия, идеи, которые он защищает. Он думает только о том, как бы замять это скандальное дело, замять во что бы то ни стало. Согласитесь, что он немало сделал для вас. Ведь если следствие вели спустя рукава, то именно благодаря ему. Да, несомненно, он уже и выразил вам свою волю, в категорической форме выразил. Разве не так?

Бернар больше не повышал голоса, вновь был почти вежливым. Нельзя сказать, что ему стало жаль Терезу. Но эта женщина, которая, казалось, даже не дышала, была повергнута ниц, заняла наконец подобающее ей место. Все пришло в порядок. Он с гордостью думал, что у кого-нибудь другого счастье всей жизни рухнуло бы от такого удара, который обрушился на него, Бернара Дескейру, а он вот сумел выправить положение. Каждый человек может ошибиться, да, относительно Терезы, можно сказать, ошибались решительно все, даже г-жа де ла Трав, обычно

очень быстро и верно выносившая суждения о своих знакомых. И все дело в том, что теперь не придают особого значения принципам и не замечают, насколько опасно то воспитание, какое получила Тереза. Конечно, она — чудовище, но что бы там о ней ни говорили, а если б она верила в Бога… страх — первая ступень к благоразумию. Так полагал Бернар. А еще он думал, что весь город жаждет насладиться зрелищем позора их семьи, но как же обыватели будут разочарованы, видя каждое воскресенье за мессой дружную супружескую чету. Право, хоть бы поскорее настало воскресенье, хочется посмотреть на эти физиономии… А справедливая кара, кстати сказать, от этого ничего не потеряет. Он взял со стола лампу и держал ее в высоко поднятой руке, свет падал на склоненную голову Терезы.

— Вы еще не идете к себе в спальню?

Тереза, казалось, не слышала. Он вышел, оставив ее в темноте. На нижней ступени лестницы сидела, скорчившись, тетя Клара. Видя, что она с беспокойством смотрит на него, Бернар заставил себя улыбнуться и, взяв ее под локоть, помог ей подняться. Но она упиралась, словно старая собака, не желающая отходить от постели умирающего хозяина. Бернар поставил лампу на

каменный пол и крикнул тете Кларе в ухо, что Тереза уже чувствует себя гораздо лучше, но ей хочется побыть несколько минут одной.

— Вы же знаете ее причуды.

Да, старуха знала ее причуды, на свое несчастье, она не раз входила к племяннице как раз в то время, когда той хотелось побыть одной; зачастую стоило тете Кларе приотворить дверь, и она уже чувствовала себя непрошеной гостьей.

Она с трудом поднялась и, опираясь на руку Бернара, добралась до своей комнаты, расположенной над большой гостиной. Бернар вошел вслед за ней, заботливо зажег для нее свечу, стоявшую на столе, затем, поцеловав ее в лоб, вышел Старуха не сводила с него глаз. Чего только не умела она разгадать по лицам людей, которых не могла слышать! Она выждала, когда Бернар войдет к себе в спальню, тихонько отворила свою дверь… но увидела, что он еще стоит на лестничной площадке и, опершись на перила, свертывает сигарету; она поспешно юркнула обратно, ноги у нее дрожали, дыхание перехватило, она не в силах была раздеться, так и лежала на постели одетая, с открытыми глазами.

## X

А в гостиной сидела в темноте Тереза. Под пеплом, покрывавшим угли, в камине еще тлел огонь. Тереза не двигалась. Теперь, когда уже было поздно, в памяти всплывали обрывки исповеди, которую она подготовила в поезде. Но стоит ли корить себя за то, что она не воспользовалась этим обдуманным признанием? По правде говоря, столь складная история не очень соответствовала действительности. Зачем, например, ей вздумалось придать такое большое значение ее разговорам с Жаном Азеведо? Вот глупость! Как будто разглагольствования этого юнца могли идти в счет! Нет, конечно, нет! Она повиновалась глубокому, непреложному закону. Она не погубила этой семьи — так теперь семья погубит ее, у них имеются основания считать ее чудовищем, но и она тоже считает их чудовищами. Ничем не проявляя внешне своих намерений, они хотят не спеша, действуя методично, уничтожить ее. «Теперь против меня пустят в ход весь мощный семейный механизм. Я ведь не сумела ни сломать его, ни выбраться из-под его колес. Совершенно бесполезно искать другие причины, кроме основ-

ной: „все дело в том, что они — это они, а я — это я“… Носить маску, стараться соблюдать приличия, обманывать. У меня для этого и на два года не хватило терпения; подумать только, что другие люди, такие же люди, как я, терпят до самой смерти, — вероятно, им помогает природная способность приноравливаться к обстоятельствам, усыпляющая сила привычки, и в конце концов они тупеют и погружаются в сон, зато остаются в лоне всемогущей семьи. Но я-то, я-то, я-то?..»

Она встала, растворила окно. Потянуло предрассветным холодом. Почему бы ей не убежать? Стоит только вылезти из окна. Бросятся они в погоню за ней? Отдадут ее опять в руки судебных властей? Можно все-таки попытать счастья. Будь что будет, только бы не эта бесконечная агония. Тереза уже пододвинула кресло, приставила его к подоконнику. Но ведь у нее нет денег. Ей принадлежат тысячи, тысячи сосен, и все это ни к чему: без разрешения Бернара она не может получить ни единого гроша. Лучше уж пуститься бежать напрямик через ланды, как бежал когда-то Дагер, убийца, за которым гнались, — Тереза в детстве чувствовала к нему беспредельную жалость (как ей запомнились жандармы, искавшие его; жена Бальона угощала их в кухне вином); а напала на

след несчастного Дагера собака господ Дескейру. Его схватили полумертвого от голода в зарослях вереска. Тереза видела, как его провезли в телеге на соломе связанным по рукам и по ногам. Говорили, что он умер на арестантской барже, не доехав до Кайенны. Арестантская баржа… Каторга… А разве они не способны отдать и ее в руки правосудия, как собирались сделать? О какой это улике говорил Бернар? Лжет, вероятно… если только не нашел в кармане старой пелерины пакетик с ядом…

Надо проверить, решила Тереза. Она ощупью стала подниматься по лестнице. Чем выше поднималась, тем становилось светлее, — наверно, уже заря светит в окно. Вот наконец лестничная площадка у чердака, на ней шкаф, где висит старая одежда, которую до сих пор никому не отдают, потому что надевают ее на охоту. В выцветшей пелерине есть глубокий карман; тетя Клара клала туда свое вязанье в те времена, когда и она подстерегала в хижине вяхирей. Тереза засовывает в карман руку и вытаскивает запечатанный пакетик:

*Хлороформ — 10 граммов.*
*Аконитин — 2 грамма.*

*Дигиталин — 0,2 грамма.*

Она перечитывает эти слова, эти цифры. Умереть. Она всегда безумно боялась смерти. Главное, не смотреть смерти в глаза, думать только о том, что надо сделать: налить в стакан воды, растворить в ней порошок, выпить залпом, вытянуться на постели, закрыть глаза. Стараться не думать о том, что будет после смерти. Почему боятся вечного сна больше, чем всякого другого? Если ее сейчас кинуло в дрожь, то только потому, что на рассвете всегда бывает холодно. Тереза спускается по ступенькам, останавливается у той комнаты, где спит Мари. Нянька храпит так громко, словно рычит какой-то зверь. Тереза тихонько входит. Сквозь щели в ставнях пробивается занимающийся дневной свет. В тени белеет узкая железная кроватка. На одеяльце лежат два крошечных кулачка. В подушке утопает еще расплывчатый детский профиль. Тереза узнает ушко Мари, слишком большое, как у матери: верно говорят, что девочка — вылитая мать. Вот она лежит, отяжелевшая, спящая. «Я ухожу. Но эта частица меня самой останется, и судьба ее свершится до конца, ничего оттуда не выкинешь, ни на йоту не изменишь». Склад ума, склонности, закон крови, закон нерушимый.

Терезе приходилось читать, что самоубийцы, дошедшие до отчаяния, уносят с собой в небытие своих детей. Мирные обыватели в ужасе роняют газету: «Да как возможны подобные вещи?» Поскольку Тереза — чудовище, она чувствует, что это вполне возможно и что еще бы немного — и она… Она опускается на колени, едва касается губами маленькой ручонки, лежащей на одеяле, и вот удивительно, что-то нарастает в самой глубине ее существа, поднимается к глазам, жжет ей щеки: скупые слезы женщины, которая никогда не плакала!

Потом Тереза поднялась, еще раз окинула взглядом ребенка, прошла наконец в свою комнату, налила воды в стакан, сломала сургучную печать и остановилась в нерешительности, какой из трех ядов взять.

Окно было отворено; петухи своим пением, казалось, разрывали пелену тумана, а прозрачные его клочья цеплялись за ветки сосен. Все кругом было залито светом зари. Как же расстаться с этим сиянием? Что такое смерть? Ведь никто не знает, что такое смерть. Тереза не была уверена, что это небытие. Она не могла с твердостью сказать: там никого нет. И как была она противна себе за то, что ей страшно. Ведь она не колеба-

лась, когда хотела столкнуть другого человека в бездну небытия, а сама вдруг упирается. Какая унизительная трусость! Если Предвечный существует (на мгновение возникло воспоминание: Праздник Тела Господня, удушливый, жаркий день, одинокий человек в тяжелом золотом облачении, чаша, которую он держит обеими руками, шевелящиеся губы и скорбное лицо) — да, если Предвечный существует и если такова воля его, чтобы жалкая слепая душа переступила порог, пусть он, по крайней мере, примет с любовью чудовище, сотворенное им. Тереза вылила в стакан с водой хлороформ — его название было более привычно и меньше пугало ее, ибо вызывало представление о сне. Надо спешить. Дом уже просыпается: жена Бальона со стуком открыла ставни в спальне тети Клары. Что она там кричит глухой старухе? Обычно та ее понимает по движениям губ. Захлопали двери, кто-то бежит по лестнице.

Тереза едва успела набросить на стол свою шаль, чтобы скрыть пакетики с ядом. Не постучавшись, ворвалась жена Бальона.

— Мамзель померла! Я пришла, а она мертвая лежит на постели, совсем одетая. Уже закоченела.

Тете Кларе, старой безбожнице, опутали пальцы четками, положили ей на грудь распятие. Приходили фермеры, преклоняли колени и выходили, окинув взглядом Терезу, стоявшую в изножий кровати («А кто ее знает, может, и старуху-то она извела»); Бернар поехал в Сен-Клер известить родных и заняться необходимыми хлопотами. Вероятно, он думал, что эта смерть пришла вовремя, — отвлечет внимание от главного. Тереза глядела на мертвое тело, на старое преданное существо, которое пало ей под ноги в то мгновение, когда она хотела ринуться в бездну смерти. Что это? Случайность? Совпадение? Скажи ей кто-нибудь, что это произошло по особому произволению, она бы только плечами пожала. Люди шушукались: «Видели? Она хоть бы для виду слезинку проронила». А Тереза в сердце своем говорила с той, кого уже не стало: «Как же мне теперь жить? Быть живым трупом, да еще во власти тех, кто меня ненавидит? Даже и не пытаться что-нибудь увидеть за стенами своего склепа?»

На похоронах Тереза занимала положенное ей место. А в ближайшее воскресенье она вошла в церковь под руку с Бернаром, и, вместо того чтобы пройти к своей скамье через боковой придел, он нарочно провел ее через неф. Тереза откинула

траурную вуаль лишь после того, как заняла свое место между свекровью и мужем. Присутствующим в церкви не было ее видно за колонной, а против нее был только клирос. Ее окружили со всех сторон: сзади — толпа, справа — Бернар, слева — г-жа де ла Трав, и только одно оставалось ей открытым, как арена, на которую вырывается из тьмы бык, — вот это пустое пространство, где между двумя мальчиками-служками странно наряженный человек что-то шепчет, слегка расставив руки

## XI

Вечером Бернар и Тереза возвратились в Аржелуз, но теперь в дом Дескейру, где уже много лет почти что и не жил никто. Камины там дымили, окна плохо затворялись, под двери, которые изгрызли крысы, задувал ветер. Но в том году осень была так хороша, что сначала Тереза и не замечала этих неприятностей. Бернар целыми днями пропадал на охоте. Вернувшись домой, он тотчас располагался на кухне, обедал с Бальонами — Тереза слышала звяканье вилок, монотонные голоса. В октябре быстро темнеет. Книги, которые Тереза велела перенести из соседнего дома, она уже знала наизусть. Бернар ничего не ответил на просьбу жены переслать в Бордо, в книжную лавку, ее заказ на новинки, он только позволил ей пополнить запас сигарет. Что ей было делать вечерами? Мешать кочергой жар в камине? Но ветер выбивал в комнату дым от горящих смолистых поленьев, у нее першило в горле, щипало глаза, и без того раздраженные курением табака. Как только Бальонша уносила остатки почти нетронутого ужина, Тереза тушила лампу и ложилась в постель. Сколько часов лежала она,

вытянувшись под одеялом, тщетно ожидая сна? Тишина Аржелуза мешала ей спать: когда ночью дул ветер, все-таки было лучше — в смутной жалобе, звучавшей в вершинах сосен, была какая-то человеческая ласка. Тереза отдавалась душой этой убаюкивающей песне. Беспокойные ночи поры равноденствия лучше усыпляли ее, чем тихие ночи.

Как ни были томительны бесконечные вечера, все же случалось, что Тереза возвращалась с прогулки еще засветло, и тогда какая-нибудь фермерша, завидев ее, хватала своего ребенка за руку и спешила увести его во двор, или же встретившийся гуртоправ, которого она знала и в лицо, и по имени, не отвечал на ее приветствие. Ах, как было бы хорошо затеряться, исчезнуть в большом, многолюдном городе! В Аржелузе каждый пастух знал сочинявшиеся о ней истории (ей приписывали даже смерть тети Клары). Она не посмела бы тут переступить чужого порога, из дому выбиралась через боковую калитку, обходила фермы стороной; стоило вдалеке застучать колесам крестьянской тележки, она сворачивала с большой дороги на проселочную; она шла быстро, а на сердце у нее было тревожно, как у птицы, вспугнутой охотником; заслышав дребезжащий

звук велосипедного звонка, она пряталась в зарослях вереска и замирала там, пока не проедет велосипедист.

По воскресеньям на мессе в Сен-Клере она не испытывала такого страха, и там ей становилось немного легче. Общественное мнение городка как будто стало более благосклонным к ней. Она не знала, что отец и семейство де ла Трав рисовали ее как невинную жертву, смертельно сраженную клеветой. «Мы боимся, что бедняжка не оправится, она никого не желает видеть, и доктора говорят, что в этом ей никак нельзя противоречить. Бернар окружает ее заботами, но, знаете ли, психика ее затронута».

В последнюю ночь октября бешеный ветер, примчавшийся с Атлантики, долго терзал вершины деревьев, и Тереза в полусне прислушивалась к этому шуму, похожему на гул океана, однако на рассвете ее разбудила не эта жалоба леса. Она откинула ставни, но в комнате по-прежнему было темно: шел дождь, мелкий и частый, струившийся по черепичным кровлям хозяйственных служб, по еще густой листве дубов. Бернар не пошел в тот день на охоту. Тереза закуривала сигарету, бросала, выходила на лестничную площадку и слышала оттуда, как ее муж бродит на нижнем

этаже из комнаты в комнату; запах крепкого трубочного табака проникал в ее спальню, заглушая запах сигарет, которые курила Тереза, — сразу на нее пахнуло прежней ее жизнью. Первый день осеннего ненастья… Сколько же времени ей еще предстоит томиться в этой комнате у камина, где едва тлеют угли! В углах плесень, из-за сырости отстали обои; на стенах еще видны следы висевших там фамильных портретов, которые Бернар увез в Сен-Клер, чтобы украсить ими гостиную, и все еще торчат уже ненужные ржавые гвозди. На каминной полке по-прежнему стоят в фигурной рамке из поддельной черепахи три фотографии, такие бледные, словно покойники, запечатленные на них, умерли вторично: отец Бернара, его бабка и сам Бернар в детстве, с челкой на лбу и локонами до плеч. Надо прожить тут весь этот день, а потом жить тут недели и месяцы…

Когда стало смеркаться, Тереза не выдержала: тихонько отворила дверь, спустилась по лестнице и вошла в кухню. Бернар, сидевший на низком стуле перед очагом, вскочил, Бальон перестал чистить ружье, а его жена выронила из рук вязанье. Все трое смотрели на Терезу с таким выражением, что она спросила:

— Что, испугались меня?

— Входить в кухню вам запрещено. Вы разве не знаете?

Тереза ничего не ответила и попятилась к двери. Бернар окликнул ее.

— Ну, раз уж мы встретились… то я считаю нужным сообщить вам, что дальнейшее мое пребывание здесь больше не является необходимым. Нам удалось создать в Сен-Клере атмосферу симпатии к вам, все считают или делают вид, что считают вас несколько… неврастеничной. Мы уверили всех, что вы больше любите жить в одиночестве, а я часто навещаю вас. Впредь я освобождаю вас от обязанности ходить к мессе…

Тереза пробормотала, что ей «совсем не было неприятно» ходить к мессе. Бернар ответил, что дело не в том, что ей приятно или неприятно. Искомый результат достигнут — вот и все.

— И поскольку месса для вас ничего не значит…

Тереза открыла было рот, хотела что-то сказать, но промолчала. А Бернар повелительным тоном заявил, что она должна вести себя так, чтобы ни единым словом, ни единым жестом не повредить столь быстрому и нежданному успеху. Тереза спросила, как чувствует себя Мари. Он ответил, что Мари чувствует себя хорошо и завтра она

с Анной и г-жой де ла Трав уезжает в Больe; он и сам проведет там некоторое время — месяца два-три, не больше. Затем он отворил дверь и, посторонившись, пропустил Терезу.

На тусклой осенней заре она услышала, как Бальон запрягает лошадь. Потом раздался голос Бернара, конское ржание и удалявшийся стук колес. И опять лил дождь, падавший на черепицы, на запотевшие окна, на пустынное поле, на все сто километров ланд и болот, на последние еще не укрощенные движущиеся дюны и на океан.

Тереза курила, закуривая одну сигарету от другой; часа в четыре надела непромокаемый плащ и решила пройтись под дождем. В темноте ей стало страшно, и она вернулась к себе в комнату. Огонь в камине погас, она дрожала от холода и, чтобы согреться, легла в постель. Часов в семь Бальонша принесла ей яичницу с ветчиной, Тереза отказалась от еды: ее уже стало мутить от вкуса и запаха свиного сала. Каждый день жирные мясные консервы или ветчина. Бальонша уверяла, что у нее больше ничего нет. Хозяин запретил резать птицу. И стала жаловаться, что Тереза заставляет ее без толку подниматься и спускаться по лестнице, а ведь у нее, Бальонши, и сердце больное, и ноги отекают. Тяжелая у нее

работа. Только ради г-на Бернара она и взялась за это дело.

Ночью Терезу лихорадило, но голова была необычайно ясной, и в воображении она рисовала себе жизнь в Париже. Вот ресторан, где она была с Бернаром, но теперь она не с ним, а с Жаном Азеведо и какими-то молодыми женщинами. Вот она положила на стол свой черепаховый портсигар, закурила сигарету «Абдулла». Вот она говорит, изливает свою душу, а в это время оркестр играет под сурдинку. Ее рассказ слушают с восторгом — вокруг такие внимательные, но не удивленные лица, и одна женщина говорит: «Вот так же было и у меня... Да-да, я тоже испытала это...» Какой-то писатель отводит ее в сторону: «Вы должны написать о том, что вам пришлось пережить. Мы напечатаем в нашем журнале эту „Исповедь женщины наших дней“». Домой ее отвозит в своей машине молодой человек, вздыхающий о ней; они едут по аллее Булонского леса, сама она не чувствует волнения, но ей приятно, что сидящий слева от нее юноша горит страстью. «Нет, сегодня вечером не могу, — говорит она ему, — сегодня я обедаю у подруги». — «А завтра?» — «Тоже не могу». — «Значит, вы никогда не бываете свободны по вечерам?» — «Почти никогда...

можно сказать, никогда».

Но в ее жизни есть человек, рядом с которым ей все кажется ничтожным; человека этого никто не знает в их кругу, он очень скромный, совсем безвестный, но все существование Терезы вращается вокруг этого солнца, видимого лишь ее взгляду, только она одна знает жар его объятий. Париж гудит, как ветер в соснах. Приникшее к ней тело возлюбленного, такое легкое, стесняет ее дыхание, но пусть уж она лучше задохнется, лишь бы он был здесь, рядом. (И Тереза делает такое движение, как будто обнимает кого-то, правой рукой сжимает себе левое плечо, а ногти левой руки впиваются в правое плечо.)

Она встает, идет босая к окну, отворяет его; ночь не холодная, но даже и надеяться нельзя, чтобы хоть один день в эту осень не шел дождь: с утра до вечера дождь, дождь, и так до скончания веков. Будь у нее деньги, она бы убежала в Париж и пошла бы прямо к Жану Азеведо, доверилась бы ему; он сумел бы найти ей работу. Жить в Париже одной, да еще на свой собственный заработок, ни от кого не зависеть! Освободиться от этой семьи. Пусть само сердце выбирает себе близких — не по крови, а по духу, но и по плоти также; найти поистине родных тебе людей, — даже если их бу-

дет немного, даже если они будут разбросаны по свету... Наконец она уснула при открытом окне. Проснулась на рассвете от холода и сырости; она так замерзла, что у нее стучали зубы, но не могла решиться встать и затворить окно, не было даже сил протянуть руку и укрыться сбившимся одеялом.

В этот день она так и не встала с постели, не умылась, не привела себя в порядок. Проглотила несколько кусочков мясных консервов и выпила кофе, чтобы закурить сигарету: натощак она больше не могла теперь курить, желудок не позволял.

Она пыталась возвратиться к своим ночным вымыслам; днем в Аржелузе шуму не прибавлялось, а после обеда уже наступала такая же тьма, как и ночью. В пору самых коротких дней в году, да еще при упорном ненастье, все смешивалось: утренние, вечерние, дневные часы; утренняя мгла быстро переходила в вечерний сумрак, а кругом стояла нерушимая тишина. Терезе теперь совсем не хотелось спать, и ее сны наяву становились от этого еще более четкими; она терпеливо искала в своем прошлом забытые лица, губы, которые влекли ее к себе; она возрождала смутные воспоминания о случайно встреченных

мужчинах, которых в ночных грезах призывало ее невинное тело. Она придумывала себе счастье, рисовала радости жизни, создавала сказку о какой-то немыслимой любви.

— Она теперь и не вылезает из постели, — через некоторое время докладывала Бальонша мужу, — и не ест ничего, до консервов и до хлеба не дотрагивается. Но не беспокойся, бутылочку-то всю выпивает. Сколько ни дай вина этой дряни, все вылакает. Да еще, знаешь, сигаретами своими простыни прожигает. Рано или поздно она пожар тут устроит. Курит, без конца курит — даже пальцы и ногти пожелтели, как будто она их в арнику опустила. Подумать только, простыни-то добротные, домотканые. Не жди, голубушка, что я тебе часто буду менять белье.

Бальонша ныла, что она не отказывается подметать комнату Терезы и перестилать постель, но ведь эта чертова лентяйка не желает вылезать из-под одеяла. Да и стоит ли для нее стараться? Несчастная старуха Бальонша больными своими, отекшими ногами взбирается по лестнице с кувшинами горячей воды, но как поставит их утром у двери, так они и стоят до вечера.

Мысли Терезы уже отвлеклись от образа того неведомого возлюбленного, который она создала

себе на радость, ее уже утомило вымышленное счастье, она пресытилась им, и теперь фантазия уводила ее от действительности иными путями. Вот она лежит на смертном одре. Вокруг стоят на коленях люди. К ложу ее приносят умирающего мальчика (одного из тех, кто убегал при виде Терезы); она возлагает на его голову руку с пожелтевшими от никотина пальцами, и мальчик встает исцеленный. Возникали у нее и другие, совсем скромные мечты: вот она построила себе дом на берегу моря; она так ясно представляла себе сад, террасу, расположение и назначение комнат; она подбирала для них обстановку, искала место для каждой вещи, расставляла там и тут мебель, что была у нее в Сен-Клере, спорила сама с собой, покупая ткани. Затем декорация становилась расплывчатой, оставалась садовая беседка и скамья у моря. Тереза сидит на этой скамье, положив голову кому-то на плечо. Зазвонил колокол, призывая к обеду; она встает, входит в темную аллею, кто-то идет рядом с нею и вдруг обнимает ее обеими руками, прижимает к себе. «Поцелуй, — думает она, — должен остановить время»; ей кажется, что в любви бывают мгновения бесконечности — так говорило ей воображение, но верна ли эта догадка? Этого ей никогда не узнать.

Опять она видит белый домик, колодец; скрипит насос, благоухают во дворе только что политые гелиотропы; ужин будет отдыхом перед счастьем, ожидающим ее вечером и ночью. Неизъяснимым счастьем, которому невозможно смотреть в лицо, оно беспредельно, сердце человеческое не в силах вместить его. Итак, любовь, которой Тереза была лишена больше всех, пронизывала все ее существо, Тереза была одержима ею. Она почти и не слышала визгливого голоса Бальонши. Что там кричит эта старуха?

— Рано или поздно господин Бернар без предупреждения вернется с юга. И что же он скажет, когда заглянет в вашу комнату? Ведь это настоящий свинарник! Вставайте-ка скорее, сударыня, не то придется поднять вас силой.

Тереза садится на постели, с тупым удивлением смотрит на свои ноги. Ноги худые, как у скелета, ступни кажутся огромными. Бальонша надевает на нее капот, заталкивает ее в кресло. Тереза ищет возле себя сигареты, но ее рука повисает, как плеть. Негреющие лучи солнца вливаются в распахнутое окно. Бальонша суетится, орудует половой щеткой, пыхтит, чертыхается, а ведь, говорят, эта Бальонша добрая женщина. Когда к Рождеству колют откормленного ею кабана,

она проливает слезы. А злится она из-за того, что Тереза ничего ей не отвечает: молчание Бальонша считает для себя оскорбительным, как знак презрения.

Но Тереза не в силах была говорить. Когда все ее тело ощутило свежесть чистых простынь, она, как ей кажется, сказала «спасибо», но на самом деле ни звука не слетело с ее губ. Бальонша прошипела, уходя:

— Ну, уж этих простынь вы не прожжете!

Тереза испугалась, что старуха унесла сигареты, и со страхом протянула руку к ночному столику: сигарет там не оказалось. А как же ей жить без сигарет? Ей необходимо постоянно ощущать в пальцах эту сухую и упругую палочку, ей необходимо без конца нюхать и разминать сигареты, видеть, что комната утопает в сизом облаке дыма, который она втягивает и выпускает изо рта. Бальонша придет теперь только вечером, весь день — без сигарет. Тереза закрыла глаза, а ее пожелтевшие пальцы все еще делали привычные движения, будто разминали сигарету.

В семь часов вечера пришла Бальонша, принесла свечу, поставила на стол поднос: молоко, кофе, кусок хлеба.

— Ну, как? Больше вам ничего не надо? — Она

злорадно смотрела на Терезу, ждала, что та попросит сигарет, но Тереза лежала молча, повернувшись лицом к стене.

Бальонша, вероятно, плохо затворила окно, от порыва ветра оно распахнулось, и ночной холод ворвался в комнату. У Терезы не хватило мужества откинуть одеяло, встать и подбежать босиком к окну. Она лежала неподвижно, скорчившись и натянув одеяло до самых глаз, чувствуя на веках и на лбу ледяное дыхание ветра. В сосновом бору не стихал беспредельный гул, похожий на гул океана, и все же там царила тишина, глубокая тишина Аржелуза. Тереза думала, что если бы она жаждала мученичества, она бы не куталась так в одеяла. Она попробовала было откинуть их, но выдержала холод лишь несколько мгновений. Потом ей удалось выдержать немного дольше — она как будто повела игру, совсем безотчетно, без всякого участия воли; страдания стали ее единственным занятием и, кто знает, может быть, смыслом ее существования в мире.

## XII

— Письмо от хозяина!

Тереза не брала протянутое ей письмо, но Бальонша не отставала: наверное, тут сказано, когда хозяин вернется, и ей, Бальонше, надо про это знать, чтобы вовремя все приготовить.

— Может, хотите, чтобы я прочитала?

Тереза ответила:

— Прочтите! Прочтите! — и, как всегда в присутствии Бальонши, повернулась лицом к стене. Но то, что чуть не по складам читала вслух Бальонша, вывело ее из оцепенения:

«*Я был очень рад, узнав из сообщений Бальона, что у вас в Аржелузе все благополучно...*»

Бернар писал, что вернется на машине, но так как он намерен останавливаться по дороге в тех или иных городах, то не может указать точной даты своего приезда.

«*Во всяком случае, вернусь я не позднее двадцатого декабря. Не удивляйтесь, что я приеду с Анной и Дегилемом. В Болье они обручились, но это еще не официальная помолвка. Дегилем непременно хочет сначала увидеться с Вами. Уверяет, что этого требуют приличия, но я чувствую,*

*что он хочет составить себе мнение о некоторых обстоятельствах — Вы, конечно, догадываетесь каких. Вы так умны, что прекрасно справитесь с этим испытанием. Помните: Вы больны, у Вас затронута психика. В общем, я полагаюсь на Вас. Я буду Вам признателен, если Вы постараетесь не разрушить счастья Анны, не помешаете благополучному осуществлению плана, который во всех отношениях удовлетворяет нашу семью. В противном случае Вы дорого заплатите за малейшую попытку повредить нам. Однако я уверен, что этого нам нечего опасаться…*»

Это было в ясный и холодный день. Тереза встала с постели, подчинившись настояниям Бальонши, и, опираясь на ее руку, немного прошлась по саду, но за завтраком она с трудом справилась с кусочком белого мяса цыпленка. До двенадцатого декабря оставалось еще десять дней. Бальонша уверяла, что если Тереза встряхнется, будет выходить из дому, дышать свежим воздухом, она живо встанет на ноги.

— Не то что она со зла упрямится, — говорила Бальонша мужу, — она просто совсем раскисла. Господин Бернар умеет дрессировать непослушных собак: чуть что, наденет парфорсный

ошейник[44]. Ну, с этой-то не пришлось долго возиться, видишь, ползает теперь на брюхе. Но лучше бы он все-таки ей не доверял…

Тереза действительно изо всех сил старалась отказаться от мечтаний, дремоты, от самозабвения. Она заставляла себя ходить, есть, а главное, вновь обрести ясность мыслей, здраво смотреть на вещи и на людей; ведь приди она в ланды, пострадавшие от пожара по ее вине, она ступала бы там по слою пепла, ходила бы среди обгоревших черных сосен — так же вот готова она была говорить и улыбаться в кругу этой семьи — ее семьи.

Восемнадцатого декабря, в пасмурный, но не дождливый день Тереза сидела у камина в своей спальне и дремала, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. Вдруг ее разбудил шум мотора. Затем она услышала голос Бернара, раздавшийся в прихожей, а также голос г-жи де ла Трав. Когда Бальонша, запыхавшись, ворвалась в спальню, забыв постучаться, Тереза уже стояла перед зеркалом, подрумянивала себе щеки и подкрашивала губы. Она сказала: «А то, пожалуй,

---

**[44] Примечания: 44**

Строгий ошейник. Используются, в основном, в целях дрессировки. Главная отличительная черта такого ошейника — наличие шипов с внутренней стороны, которые причиняют животному некоторый дискомфорт при рывке поводком.

напугаю жениха Анны…»

Бернар допустил промах — не поднялся первым делом к жене. Молодой Дегилем, обещавший своим родителям «смотреть в оба», отметил такое невнимание со стороны мужа и решил, что оно «наводит на некоторые размышления». Немного отодвинувшись от Анны, он поднял меховой воротник теплого пальто и счел нужным сказать, что «эти деревенские гостиные нечего и пытаться натопить». Он спросил у Бернара: «У вас сделан под домом подвал? Нет? Ну, так у вас пол всегда будет подгнивать, разве только что положить под него слой цемента…»

На Анне было беличье манто и фетровая шляпка без ленты и без банта («Но, — заметила г-жа де ла Трав, — хоть на этом колпачке нет никаких украшений, он стоит дороже, чем прежние наши шляпы с перьями и с эгретками. Правда, фетр тут чудесный, куплен у Лельгака, а фасон создан самим Ребу»). Г-жа де ла Трав протягивала ноги к топившемуся камину, но все поворачивалась властным и пухлым лицом к двери. Она обещала Бернару быть на высоте положения, но заявила ему: «Смотри не проси, чтобы я поцеловала ее. Нельзя же этого требовать от матери. Меня и то уж в дрожь бросает при мысли, что придется

поздороваться с ней за руку. Один бог знает, каких ужасов она натворила, но, представь себе, не это меня больше всего возмущает, мы же знаем, что есть люди, способные на любое злодейство, меня ее лицемерие возмущает. Вот что страшно. Ты одно вспомни: „Мама, лучше сядьте вот в это кресло, вам будет удобнее“. И ведь как она боялась „напугать“ тебя! „Дорогой мой бедняжечка так боится смерти, что если мы вызовем врача для консилиума, это его доконает…“ Господь бог видит, я ничего не подозревала, но, услышав из ее уст „дорогой мой бедняжечка“, я просто поразилась…»

Но сейчас, в гостиной их аржелузского дома, г-жу де ла Трав беспокоило только одно: явная неловкость, которую испытывал каждый из присутствующих; она внимательно наблюдала за Дегилемом, устремившим на Бернара свои сорочьи глаза.

— Бернар, ты бы сходил посмотреть, что делает Тереза… Может быть, ей нездоровится.

Анна, равнодушная, как будто отрешившаяся от всего, что может произойти, первая услышала знакомые шаги: «Да вот она, уже спускается по лестнице». Бернар прижал руку к груди; опять началось сердцебиение. Какое идиотство, что

он не приехал сюда вчера вечером! Нужно было заранее прорепетировать эту сцену с Терезой. Что-то она скажет? Она способна все испортить, не сделав ничего такого, за что ее можно было бы упрекнуть. Как она медленно спускается по ступенькам! А все уже встали, все повернулись к двери, и наконец Тереза отворила ее.

Несомненно, Бернар долгие годы помнил, как при появлении этого изможденного существа, этого маленького, бледного и накрашенного личика у него прежде всего мелькнула мысль: «Суд присяжных». Но возникла она не по поводу преступления Терезы. Ему вдруг вспомнилось цветное приложение к «Пти паризьен», украшавшее в числе многих других картинок дощатую беседку в аржелузском саду его родителей; и в знойные дни под жужжание мух и неистовое стрекотание кузнечиков в траве он, ребенком, со страхом вглядывался в эту красно-зеленую картину, изображавшую «Узницу замка Пуатье».

Так и теперь он испуганно смотрел на это бескровное, исхудалое лицо и корил себя за свое безумие: ведь надо было сразу же, во что бы то ни стало устранить эту ужасную женщину, отбросить ее, как выбрасывают в воду бомбу, которая с минуты на минуту может взорваться. Сознатель-

но или безотчетно, но Тереза вызывала у каждого мысль о какой-то драме, хуже того — о каком-то происшествии из уголовной хроники; она, несомненно, могла быть только преступницей или жертвой… Собравшиеся в гостиной родственники встретили ее возгласами удивления и жалости столь непритворными, что Дегилем заколебался в своих выводах, не знал, что ему и думать. А Тереза объяснила:

— Но ведь все это очень просто. Погода была плохая, я совсем не выходила на воздух и потеряла аппетит. Я почти ничего не ела. Но ведь лучше похудеть, чем располнеть, верно?.. Давай, Анна, поговорим о тебе. Я так рада…

Тереза взяла ее за руки (она сидела, Анна стояла) и долго глядела на нее. С исхудалого, как будто истаявшего лица на Анну смотрели такие знакомые глаза; когда-то, в детстве, их пристальный взгляд раздражал ее, и она говорила Терезе: «Что ты так смотришь на меня? Перестань!»

— Я так радуюсь твоему счастью, Анна.

И на губах Терезы мелькнула улыбка, поздравлявшая Анну с ее «счастьем», адресованная и г-ну Дегилему, его плешивой голове, жандармским усам, покатым плечам, его коротенькой визитке и его жирненьким ляжкам, обтянутым брюками

в серую и черную полоску (да что ж, мужчина как мужчина, словом — муж). Затем она вновь перевела глаза на Анну и сказала:

— Сними шляпку… Ну вот, я и узнаю тебя, душенька.

Анна же видела теперь совсем близко кривившийся рот Терезы, ее глаза, никогда не проливавшие слез, но она не знала, о чем в эту минуту думала Тереза. Г-н Дегилем высказал мысль, что и зимою деревня не так уж страшна для женщины, если она любит свое гнездышко. «В доме всегда столько работы…»

— Что же ты не спросишь меня о Мари?

— Правда, правда… Расскажи о Мари…

И тут Анна как будто вновь стала недоверчивой, враждебной, — не зря же она несколько месяцев очень часто и с одинаковым выражением повторяла своей матери: «Я бы ей все простила, она в конце концов душевнобольная, но ее равнодушия к Мари я не могу вынести. Мать, которая нисколько не интересуется своим ребенком. Приводите тут какие угодно оправдания, а я считаю это гнусным».

Тереза догадывалась, что думает Анна: «Она презирает меня за то, что я не заговорила прежде всего о Мари. Как объяснить ей? Она не поняла

бы, что я полна собой, всецело занята собой. Анна ждет не дождется детей, чтобы раствориться в них, подобно своей матери, подобно всем женщинам-семьянинкам. А мне всегда необходимо думать о своем, я стараюсь обрести себя… Анна скоро позабудет и свою юность, и свою дружбу со мной, позабудет и ласки Жана Азеведо — все позабудет при первом же писке младенца, которым ее наградит вот этот гном, даже не сняв свою визитку. Женщина-семьянинка жаждет утратить свою индивидуальную жизнь. Как прекрасна такая жертва во имя блага всего рода, и я чувствую красоту этой обезличенности, этого самоотречения… Но я-то, я…»

Тереза попыталась не слушать того, что говорили вокруг, а думать о Мари; крошка теперь, должно быть, уже лепечет. «Приятно было бы послушать ее болтовню, но только недолго, она быстро наскучила бы мне и захотелось бы поскорее остаться наедине с самой собой…» Она спросила Анну:

— А Мари, наверно, уже хорошо говорит?

— Повторяет все, что услышит. Ужасно забавно. Закукарекает петух или машина даст гудок, она сейчас же поднимет пальчик и скажет: «Слышишь? Бибика кличит». Такая душечка! Такая

прелесть!

Тереза думала: «Надо прислушаться, о чем они там говорят. В голове у меня так пусто… О чем это толкует господин жених?» И, сделав над собой усилие, она слушает.

— У меня в Балисаке имение, но наши смолокуры не такие усердные, как здесь: собирают смолу четыре раза в год, а в Аржелузе — семь, а то и восемь раз.

— Ну, ваши смолокуры просто лодыри, ведь цены-то на смолу завидные.

— Да-да. Нынче смолокур зарабатывает по сто франков в день! Но мы, кажется, утомили вашу супругу.

Тереза откинула голову на спинку кресла. Все встали. Бернар решил переночевать в Аржелузе. Дегилем сказал, что он сам поведет его машину, а завтра шофер пригонит ее обратно и привезет багаж Бернара.

Тереза сделала усилие, чтобы привстать, но свекровь удержала ее.

Тогда она закрыла глаза и услышала, как Бернар сказал матери:

— Ну уж эти Бальоны! Сейчас я им задам такую головомойку, что они ее долго будут помнить!

— Слушай, ты все-таки не увлекайся, а то они,

чего доброго, возьмут расчет, а нам это ни к чему: во-первых, они слишком много знают, а кроме того, имение… Одному только Бальону известны все его границы.

Затем, отвечая на какую-то реплику Бернара, которую Тереза не расслышала, г-жа де ла Трав добавила:

— Будь все же поосторожнее, очень-то ей не доверяй, следи за каждым ее жестом, никогда не позволяй, чтобы она одна входила в кухню или в столовую!.. Да нет, она не в обмороке, она спит или притворяется…

Тереза открывает глаза, перед ней Бернар, он держит в руке стакан и говорит:

— Вот выпейте скорее. Это испанское вино, оно очень укрепляет силы.

А затем, поскольку Бернар всегда делает то, что решил, он идет в кухню и дает там волю своему негодованию. Разговор идет на местном наречии. Тереза слушает кудахтанье Бальонши и думает: «Бернар чего-то испугался! Но чего именно?» Он возвращается.

— Мне кажется, вам приятнее будет есть в столовой, а не у себя в комнате. Я уже отдал распоряжение, чтобы вам накрывали на стол, как прежде — в столовой.

Право, Бернар стал таким же, как в дни следствия, — союзником, желающим во что бы то ни стало вызволить ее из беды. Он хочет, чтобы она выздоровела, чего бы это ни стоило. Да, он, несомненно, испугался. Вот он сидит перед ней, ворошит кочергой жар в камине. Тереза наблюдает за ним, но не может угадать, какой образ возникает в пламени перед его выпуклыми глазами, а видит он там красно-зеленый рисунок приложения к «Пти паризьен» — «Узница замка Пуатье».

Сколько бы ни лил дождь, на песчаной почве Аржелуза не остается ни одной лужи. В самой середине зимы достаточно солнышку выглянуть на один час — и уже можно спокойно гулять в туфлях на веревочной подошве по дорогам, устланным ковром сухих и упругих сосновых игл. Бернар пропадал на охоте по целым дням, но к вечеру всегда возвращался домой, спрашивал, как Тереза себя чувствует, еще никогда он так не заботился о ней. В их отношениях не было натянутости Он заставлял ее взвешиваться каждые три дня, позволял курить только после еды и не больше двух сигарет. По его совету Тереза очень много ходила пешком по лесу: «Физические упражнения возбуждают аппетит лучше всякого

аперитива».

Теперь Тереза уже не боялась Аржелуза. Ей казалось, что сосны расступаются, размыкают свои ряды, ветвями подают ей знак, чтоб она уходила на волю. Как-то раз вечером Бернар сказал ей:

— Я прошу вас подождать только до свадьбы Анны. Пусть все ланды еще раз увидят нас с вами вместе, а после вы будете свободны.

В ту ночь она не могла сомкнуть глаз: тревога и радость не давали ей спать. На рассвете она услышала пение петухов, — казалось, они не перекликаются, а поют хором, все разом, наполняя и небо, и землю единым ликующим воплем. Итак, Бернар выпустит ее на волю, как выпустил он когда-то в ланды дикую кабаниху, которую не мог приручить. Когда Анна выйдет замуж за своего Дегилема, пусть себе люди болтают что угодно. Бернар привезет Терезу в Париж, она погрузится в его пучину, а он вернется домой. Так было у них условлено. Ни развода, ни официального «раздельного жительства» — для посторонних предлогом выставят ее здоровье. («Она чувствует себя хорошо только в путешествиях».) Бернар будет регулярно ей высылать ее долю дохода от сбора смолы.

Бернар не расспрашивал Терезу о ее планах,

пусть она убирается ко всем чертям.

— Я только тогда успокоюсь, — говорил он матери, — когда она вытряхнется отсюда.

— Надеюсь, она примет свою девичью фамилию... Но все равно, если она опять примется за свое, тебя живо найдут.

Однако Бернар утверждал, что Тереза «брыкается только в оглоблях». А будет она чувствовать себя свободной, так, может быть, станет благоразумнее. Во всяком случае, надо рискнуть. Такого же мнения держался и г-н Ларок. В конечном счете лучше всего, чтобы Тереза исчезла с горизонта; так ее скорее забудут, люди отвыкнут сплетничать о ней. Теперь самое главное — молчать. Мысль эта укоренилась в их головах, и они уже не могли отказаться от нее: Терезу надо вывести из оглобель. Ах, как им хотелось сделать это поскорее!

Тереза очень любила самый конец зимы, когда обнажены земля и лес и все же бурые лохмотья засохших листьев упорно цепляются за ветви дуба. В эти дни она открыла, что тишины в Аржелузе не существует. В самую тихую погоду лес стонет, как будто плачет над своей судьбой, убаюкивает себя, и даже когда он засыпает, ночами слышится его бесконечный шепот. А ведь может

случиться, что в ее будущей жизни, невообразимой жизни, ей доведется встречать зарю в таком одиночестве, что она пожалеет о часах утреннего пробуждения в Аржелузе, о ликующем вопле бесчисленных петухов, и долгие годы ей потом будут вспоминаться кузнечики, стрекочущие днем, и ночной скрип сверчков. Париж. Кругом будут не сосны, терзаемые людьми, а люди, опасные люди. Вместо полчищ деревьев — полчища людей.

Супруги Дескейру сами удивлялись, что чувствуют себя друг с другом так непринужденно. Терезе пришла мысль, что мы спокойно терпим соседство неприятных для нас людей, если уверены, что можем расстаться с ними. Бернара теперь интересовало, и сколько весит Тереза, и как она рассуждает: она говорила при нем так свободно, как никогда не говорила прежде. «В Париже… когда я уеду в Париж…» Там она поселится в гостинице, а может быть, подыщет себе квартиру. Она собиралась ходить на лекции, на доклады, на концерты — начать с азов свое образование. Теперь Бернар и не думал следить за ней, без опаски ел за столом суп, пил вино. Доктор Педмэ, встречавший их иногда на дороге к Аржелузу, говорил своей жене: «Удивительно, что они как будто совсем и не разыгрывают комедию».

## XIII

В теплое мартовское утро, около десяти часов, волна людей уже текла по улицам Парижа, подступала к террасе «Кафе де ла Пэ», где сидели за столиком Бернар и Тереза. Она бросила сигарету и, как это делают жители ланд, тщательно раздавила окурок подошвой.

— Боитесь, что асфальт загорится?

И Бернар деланно засмеялся. Он корил себя, зачем ему вздумалось проводить Терезу до Парижа. Конечно, поехали они только после свадьбы Анны, и проводить даже надо было, считаясь с общественным мнением, но главное — он подчинился желанию Терезы. Право, у этой женщины просто талант создавать нелепые положения; пока она как-то связана с его жизнью, ему, вероятно, не раз придется потворствовать ее безрассудным желаниям; она сохраняет некое подобие влияния даже на такой уравновешенный, такой положительный ум, как у него. И когда пришла минута расстаться с ней, он против своей воли испытывал чувство грусти, хотя никогда бы не сознался в этом: кажется, трудно найти человека более чуждого сантиментам такого рода, а уж тем более

по отношению к Терезе это просто немыслимо. И ему хотелось избавиться поскорее от душевного смятения. Только и вздохнешь свободно, когда сядешь в Южный экспресс. Автомобиль будет ждать его нынче вечером в Лангоне. Вскоре после этой станции, у дороги на Вилландро, начнутся сосновые леса. Он смотрел на профиль Терезы, видел, как ее взгляд останавливается на каком-нибудь лице, возникшем в толпе прохожих, и следит за ним до тех пор, пока оно не исчезнет. И вдруг Бернар сказал:

— Тереза… Я хотел вас спросить… — Он отвел глаза, потому что не мог выдержать взгляда этой женщины, и быстро добавил:

— Почему вы это сделали? Потому что ненавидели меня? Я внушал вам отвращение?

Он слушал собственные слова с удивлением и досадой. Тереза улыбнулась, потом с очень серьезным видом подняла на него глаза. Наконец-то! Бернар задал тот вопрос, над которым она задумалась бы прежде всего, будь она на его месте. Может быть, не напрасна будет исповедь, так долго подготовлявшаяся ею — сначала в коляске на пути в Низан, затем в поезде узкоколейки, увозившем ее в Сен-Клер, в ту ночь, когда она так страстно, так терпеливо вспоминала, делала

тяжкие усилия, чтобы найти истоки своего проступка. Может быть, наступила наконец минута, когда мучительное копание в себе возместится ей. Должно быть, она невольно внесла смятение в душу Бернара, все усложнила. И вот он задал ей вопрос, как будто случившееся ему не очень ясно и он не знает, что об этом думать. Теперь он не так примитивен в своих суждениях и не так безжалостен. Тереза бросила на этого нового для нее Бернара снисходительный, почти материнский взгляд. Ответила она, однако, насмешливым тоном:

— А разве вы не догадывались, что всему причиной ваши сосны? Я хотела одна владеть вашими соснами.

Он пожал плечами:

— Если я когда-нибудь и верил этому, то сейчас уже не верю. Почему вы это сделали? Теперь-то вы можете мне сказать?

Она смотрела куда-то вдаль; на покрытом грязью тротуаре, по которому текла густая толпа прохожих, в ту самую минуту, когда ей предстоит броситься в людской поток, биться там или покорно пойти ко дну, перед ней вдруг забрезжила заря: она увидела возможность возвращения в потаенный и печальный край, жизнь в тишине

Аржелуза, всю отданную размышлениям, уход в свой внутренний мир, совершенствование, поиски Бога… Бродячий торговец, марокканец, продававший коврики и стеклянные бусы, подумал, что она улыбается ему, и подошел. Тереза сказала все так же насмешливо:

— Я хотела было ответить вам: «Не знаю, почему я это сделала», — но теперь, представьте себе, я, пожалуй, знаю. Возможно, я сделала это для того, чтобы увидеть в ваших глазах тревогу, любопытство, словом, смятение, которые я уже целую минуту вижу в них.

Он проворчал сердитым тоном, напомнившим Терезе их свадебное путешествие:

— Как видно, вы до конца намереваетесь острить… Нет, скажите серьезно: почему?

Она перестала улыбаться и спросила, в свою очередь:

— А вы, Бернар, наверно, всегда знаете причины своих поступков, да?

— Конечно… Но крайней мере, мне так кажется.

— Я бы очень хотела, чтобы ничего не осталось скрытым от вас, знаете, я вся истерзалась, стараясь во всем разобраться. Но поймите, все причины, какие я могла бы привести, едва я

выразила бы их словами, показались бы мне ложными…

Бернар нетерпеливо перебил ее:

— Но был же все-таки день, когда вы решились, когда вы сделали то самое…

— Да, в день большого пожара около Мано.

Они придвинулись друг к другу и заговорили вполголоса. На этом людном парижском перекрестке при свете нежаркого солнца и дуновениях довольно холодного ветра, приносивших запах пряного заморского табака и развевавших фестоны желтых и красных маркиз над террасой кафе, Терезе казалось странным говорить о знойном дне Аржелуза, о небе, затянутом облаком дыма, о закопченной небесной лазури, о въедливом запахе гари, который шел от сгоревшего соснового бора, и о своем оцепеневшем в дремоте сердце, где медленно зарождался преступный замысел.

— Вот как это произошло. Мы сидели в столовой — там всегда закрывали ставни в жаркие часы и потому было темно. Вы говорили с Бальоном, повернув к нему голову, и позабыли считать капли, падавшие в стакан…

Тереза не смотрела на Бернара и говорила, заботясь только об одном: как бы не упустить

мельчайших подробностей, и вдруг услышала, что он смеется, и тогда взглянула на него — да, он смеялся обычным своим глупым смехом, а потом сказал: «Ну что это, право! За кого вы меня принимаете?» Он ей не поверил. (Да и по правде сказать, разве можно было поверить тому, что она говорила?) Он язвительно хихикал, и она узнавала прежнего Бернара — самоуверенного, самодовольного, который не даст себя провести. Он уже обрел свое обычное расположение духа, и она снова сбилась. Он ехидно сказал:

— Значит, эта мысль пришла вам внезапно, по наитию свыше, так, что ли?

Как он злился на себя, что вздумал расспрашивать Терезу. Ведь тем самым он мог потерять преимущества, которые ему давало презрение к ней, подавлявшее эту сумасшедшую, и она, черт ее подери, уже подняла голову! И зачем это он уступил нежданному желанию понять? Да и что можно понять у свихнувшихся баб? Но вот сорвался с языка вопрос… Нечаянный, необдуманный…

— Послушайте, Бернар, я говорю не для того, чтобы убедить вас в своей невиновности, вовсе нет!

И с какой страстной горячностью она приня-

лась обвинять себя: пусть она действовала как лунатик, но ведь для этого надо было, по ее словам, чтобы мысль о преступлении уже целые месяцы созревала в ее сердце, чтобы она уже давно вынашивала преступный замысел. Это же ясно видно. С какой сознательной яростью, с каким упорством она после первых попыток продолжала осуществлять свое намерение.

— Я чувствовала себя преступницей лишь в ту минуту, когда рука моя колебалась. Я сердилась на себя за то, что продлеваю ваши мучения. Я считала, что надо идти до конца и не медлить! Я подчинялась какому-то ужасному долгу. Да, это было как будто долгом.

Бернар прервал ее:

— Бросьте громкие слова! Попытайтесь наконец сказать мне, чего вы хотели. Попытайтесь.

— Чего я хотела? Несомненно, мне легче было бы сказать, чего я не хотела. Я не хотела разыгрывать роль почтенной дамы, делать положенные жесты, произносить избитые фразы, словом, на каждом шагу отрекаться от той Терезы, которая… Вот, Бернар, хочу сказать правду, а почему-то мои слова звучат фальшиво!..

— Говорите тише, вон тот господин, что сидит впереди нас, обернулся.

Бернар хотел теперь только одного: поскорее кончить объяснение. Но он знал, что эта свихнувшаяся женщина с превеликим удовольствием готова копаться во всяких психологических вывертах. И Тереза тоже понимала, что этот человек, на секунду приблизившийся к ней, вновь далек от нее, бесконечно далек. И все же она упорствовала, даже пробовала силу своей прелестной улыбки и низких, хрипловатых интонаций своего голоса, которые прежде ему так нравились.

— А теперь, Бернар, я хорошо чувствую, что Тереза, которая инстинктивно гасит окурок сигареты, помня, что из-за пустяка могут загореться заросли вереска, Тереза, которая любила сама считать свои сосны, сама выясняла, сколько собрано смолы, Тереза, которая гордилась, что она вышла замуж за одного из Дескейру, заняла подобающее ей место в одном из наиболее почтенных в ландах семейств, словом, довольная тем, что она хорошо устроилась, эта Тереза — существо реальное, но столь же реальна, столь же полна жизни и другая Тереза, и нет ни малейшего основания приносить в жертву эту другую!..

— Какую еще «другую»?

Она не знала, что ответить, он посмотрел на часы. Она сказала:

— Придется мне все-таки приезжать иногда по делам и чтобы повидать Мари.

— По каким делам? Имущество у нас общее, и я сам управляю им. Мы же не будем возвращаться к этому вопросу, у нас все уже решено, правда? Вы будете занимать свое место на всех официальных церемониях, на которых для чести нашего имени и в интересах нашей семьи люди должны видеть меня с вами вместе. При такой многочисленной родне, как у нас, слава богу, достаточно бывает свадеб и похорон. Удивительно, например, будет, если дядя Мартен дотянет до осени. Вот и появится для вас повод приехать, — конечно, ненадолго, ведь вам у нас, кажется, все уже опротивело.

Конный полицейский приложил свисток к губам, и тогда открылись невидимые шлюзы, и армия пешеходов поспешно пересекла улицу, прежде чем на черный асфальт мостовой опять потоком хлынули такси. «Мне нужно было бы уйти как-нибудь ночью в Южные ланды, как это сделал Дагер. Идти бы среди чахлых сосен, какие растут на этой скудной земле, идти, идти, пока не иссякнут силы. У меня не хватило бы мужества окунуть голову в лагуну и держать ее под водой, чтобы захлебнуться (как это сделал в прошлом году один аржелузский пастух, потому что сноха

не давала ему есть). Но вот лечь в песках и закрыть глаза я могла бы… Только ведь ни воронье, ни муравьи не станут ждать…»

Тереза смотрела на живую человеческую реку, в которую она сейчас бросится, и тогда быстрое течение подхватит ее, повлечет, потащит по перекатам. Теперь ничего уж не поделаешь. Бернар опять достал часы:

— Без четверти одиннадцать. Едва успею заехать в гостиницу.

— Вам не жарко будет в дороге.

— Какое там! В автомобиле придется нынче вечером одеться потеплее.

И Тереза увидела мысленным взором дорогу, по которой Бернар покатит в машине, представила себе, как будет дуть ему в лицо холодный ветер, несущий запахи болот, смолистых щепок, дыма от сжигаемых сорных трав, запах мяты и тумана. Она поглядела на Бернара и улыбнулась той улыбкой, из-за которой в ландах дамы говорили: «Красавицей мадемуазель Терезу не назовешь, но она просто очаровательна!» Если бы Бернар сказал: «Я прощаю тебе. Едем со мной», — она встала бы и пошла за ним. Но Бернар, на минуту поддавшийся было неуместному волнению и сердившийся на себя за это, теперь испытывал

только отвращение к необычным поступкам и к словам, отличным от тех, которыми принято обмениваться каждый день. Бернар походил на прочные аржелузские тележки, сделанные «по колее», — ему нужны были проторенные, привычные дороги. И нынче вечером, вернувшись в Сен-Клер и войдя в столовую, он вновь попадет в свою колею и обретет душевный покой.

— Я хочу в последний раз попросить у вас прощения, Бернар.

Тереза произнесла эти слова чересчур торжественно и безнадежно — это была последняя ее попытка возобновить разговор. Но Бернар запротестовал:

— Не стоит больше говорить об этом.

— Вы будете чувствовать себя очень одиноким; пусть меня там не будет, я все-таки занимаю некоторое место. Для вас было бы лучше, если бы я умерла.

Он слегка пожал плечами и почти весело попросил ее «не расстраиваться из-за него».

— В каждом поколении Дескейру был свой старый холостяк! Эта роль выпала на мою долю. У меня все необходимые данные для нее (вы, полагаю, согласитесь со мной). Жалею только, что у нас родилась дочь, а не сын, — угаснет имя.

Правда, даже если бы мы продолжали жить вместе, второго ребенка мы бы не захотели иметь… Так что, в общем, все идет хорошо. Не вставайте, пожалуйста. Посидите еще тут.

Он знаком подозвал такси и на секунду подошел к Терезе напомнить ей, что по счету уже уплачено.

Она долго смотрела на бокал Бернара, где еще оставалось на донышке немного портвейна, потом снова стала разглядывать прохожих. Некоторые, по-видимому, поджидая кого-то, ходили взад и вперед. Какая-то женщина дважды обернулась и с улыбкой поглядела на Терезу (работница, а может быть, просто нарядилась работницей). В этот час пустели швейные мастерские. Тереза и не думала уходить из кафе — ей не было ни скучно, ни грустно. Она решила не ходить в этот день к Жану Азеведо и вздохнула с облегчением, — ей совсем не хотелось видеться с ним: опять разговаривать, подыскивать выражения. Она знала Жана Азеведо, но тех людей, с которыми стремилась сблизиться, она не знала — знала только то, что они не потребовали бы от нее слов. Тереза больше не боялась одиночества: она уже предчувствовала, что стоит ей подольше посидеть неподвижно, и вокруг нее поднимется темный

круговорот, смутное волнение, так же как потянулись бы к ней муравьи и сбежались бы собаки, если б тело ее неподвижно вытянулось в песках Южных ланд. Ей захотелось есть, она встала и увидела себя в большом зеркале, вставленном в резную раму старинного английского стиля: что ж, этой молодой даме очень идет ее дорожный костюм, облегающий фигуру! Но со времени ее заточения в Аржелузе лицо ее все еще оставалось изможденным, худеньким, оно словно истаяло, скулы выступали, нос казался коротким. Она подумала: «Я женщина без возраста». Она позавтракала на улице Руаяль (так она часто делала в своих мечтах). Ей не хотелось возвращаться сейчас в отель. Приятное тепло разливалось по телу после полбутылки пуйи. Она спросила сигарет. Какой-то молодой человек за соседним столиком чиркнул зажигалкой и поднес ей огонек; она улыбнулась. Подумать только, всего лишь час тому назад ей хотелось ехать вечером с Бернаром по дороге на Вилландро, все больше углубляясь в мрачный сумрак соснового бора! А разве так уж важно любить тот или иной край, сосны или клены, океан или равнину? Ничто ее теперь не интересует, кроме людей, существ из плоти и крови. «Мне мил не этот каменный город, не

музеи, не лекции, а живой лес, который тут волнуется, его раздирают такие яростные страсти, что с ними не сравнится ни одна буря. Стоны аржелузских сосен в тишине ночи только потому и тревожат, что в них есть что-то человеческое».

Тереза немного выпила и много курила. Она посмеивалась про себя довольным смехом. Тщательно подкрасив щеки и губы, она вышла на улицу и двинулась куда глаза глядят.

**1927 г.**

# КЛУБОК ЗМЕЙ

*Враг своих близких, душа, пожираемая ненавистью и алчностью, — низкое существо! И все же я хотел бы вызвать в вашем сердце жалость и хоть каплю сочувствия к нему. Всю жизнь убогие страсти заслоняли от него свет, сиявший так близко, что порою жаркие лучи касались и обжигали его. Да, страсти... Но прежде всего — люди, не очень-то милосердные христиане. Он оказался их жертвой и мучителем. Ведь сколько среди нас строгих судей презренного грешника, — они-то и отвращают его от истины, ибо ей уж не воссиять сквозь их толпу.*

*Нет, не деньги были кумиром этого скупца, не мести жаждал этот беснова-тый. Что он любил в действительности, вы узнаете, если у вас хватит терпения и мужества выслушать его исповедь, вплоть до последнего признания, прерванного смертью...*

# Часть первая
## Глава первая

Как ты будешь удивлена, найдя это послание у меня в сейфе на пачке ценных бумаг! Быть может, лучше было бы отдать письмо на хранение нотариусу, и он вручил бы его тебе после моей смерти; или положить его в ящик письменного стола, — наследники, конечно, поспешат взломать стол еще до того, как остынет мой труп. Но ведь долгие годы я столько думал и передумал об этом письме и в бессонные ночи так ясно представлял себе, как оно будет лежать на полочке сейфа — совершенно пустого сейфа, где не будет ровно ничего, кроме этого акта мести, которую я подготовлял почти полвека. Успокойся (да ты, впрочем, уже успокоилась), — процентные бумаги целы! Я так и слышу этот ликующий возглас. Как только ты вернешься из банка, ты крикнешь детям, еще не откинув с лица траурный креп: «Процентные бумаги целы!»

А ведь они чуть было не исчезли из сейфа: я уже готовился принять для этого меры. Стоило мне захотеть, и я всего бы вас лишил, оставил бы вам

только дом и землю. На ваше счастье, ненависть моя умерла. Я долго думал, что у меня ненависть — самое живучее из всех чувств. А вот я ее не испытываю больше, — по крайней мере, сегодня не испытываю.

Я состарился, одряхлел, и мне трудно представить себе — неужели я был когда-то безумцем, больным существом, одержимым ненавистью? Неужели я ночи напролет обдумывал — не средства отмщения (эта бомба замедленного действия была уже изготовлена с величайшей тщательностью, чем я очень гордился) — я размышлял о том, как буду наслаждаться своей местью. Как мне хотелось дожить до той минуты, когда ты вернешься из банка, вскрыв пустой сейф. Как бы у вас вытянулись физиономии! Нужно было только постараться все устроить умно, выдать тебе доверенность на вскрытие сейфа не слишком рано и не слишком поздно, чтоб не лишить себя радости услышать, как все вы с отчаянием в голосе будете вопрошать: «Где ценные бумаги?» Даже самая мучительная агония, пожалуй, не испортила бы мне этого удовольствия. Да, я был способен на такое вероломство. Как меня довели до этого? Ведь я не был извергом.

Уже четыре часа дня, а на столе в моей спальне

все еще стоит поднос с остатками завтрака; по грязным тарелкам ползают мухи. Я звоню, но все без толку. В деревне звонки всегда испорчены. Набравшись терпения, жду, когда кто-нибудь наконец заглянет ко мне. В этой комнате я спал в детстве, и здесь же я, вероятно, умру. А в день моей смерти милая дочь Женевьева первым делом потребует отцовскую спальню для своих детей. Ведь я занимаю самую большую и самую хорошую комнату в доме. Будьте справедливы и вспомните, пожалуйста, что я предлагал Женевьеве уступить ей место и, конечно, сделал бы это, если б не вмешался доктор Лаказ, заявивший, что для моих бронхов вредна сырость и мне поэтому не годится жить в нижнем этаже. Я-то, разумеется, переселился бы туда, но с затаенной обидой, и рад, что мне в этом помешали. (Постоянно я приносил своим близким жертвы, отравлявшие мне жизнь, и чувство горькой обиды, которое они оставляли в душе, не только не утихало со временем, но возрастало и крепло от воспоминаний об этих жертвах.)

Злопамятство и гневливость — черты наследственные в нашей семье. Я не раз слышал от матери, что мой отец долгие годы был в ссоре со своими родителями, а они тридцать лет не

желали встречаться со своей дочерью, которую выгнали из дому, и до самой своей смерти не помирились с ней (от нее пошла наша марсельская родня, с которой мы не знакомы). Младшее поколение в нашей семье никогда не знало причин этих раздоров, но, доверяя старшим, впитало в себя их ненависть; я и сейчас, пожалуй, отвернулся бы от своих марсельских кузенов, если б встретился с ними на улице. Можно не видеться с дальними родственниками, а куда денешься от своей законной жены и от своих собственных детей? Бывают, конечно, хорошие, дружные семьи, но как подумаешь, сколько у нас супружеских союзов, в которых муж и жена раздражают друг друга до последней степени, терпеть друг друга не могут, а между тем едят за одним столом, умываются из одного умывальника, спят на одной постели, — то просто диву даешься, что у нас еще мало разводов! Ненавидят друг друга, а спастись бегством не решаются; так и живут под одной кровлей…

Почему это у меня нынче такое лихорадочное желание писать о своей жизни, именно сегодня — в день моего рождения? Мне пошел шестьдесят восьмой год, но только я один об этом знаю. День рожденья Женевьевы, Гюбера и их деток у нас

всегда отмечается; пекут сладкий пирог, втыкают в него свечечки, дарят виновникам торжества цветы… Я уже много лет ничего не дарил тебе на день рождения — и не потому, что забываю, а из мести… Довольно!.. Последний букет, полученный мною на день рождения, был подарком моей бедной мамы — она нарвала для меня эти цветы своими старческими руками, обезображенными подагрой; не думая о своей грудной жабе, о всех своих недугах, она с трудом добрела до розария.

Так о чем это я говорил? Ах да, — ты, конечно, удивляешься, почему вдруг на меня напало неистовое желание писать, — именно неистовое. Можешь судить об этом хотя бы по моему почерку: все буквы скривились в одну сторону, как сосны под западным ветром. Послушай, в начале письма я говорил, что долго обдумывал свою месть, и вот отказываюсь от нее. Но есть кое-что в тебе, кое-что, исходящее от тебя, над чем мне хочется восторжествовать, — я имею в виду твое молчание. Не пойми меня превратно. Я очень хорошо знаю, какая ты тараторка — ты можешь часами беседовать с Казо по поводу домашней птицы или огорода. С детишками, даже самыми маленькими, ты весело болтаешь и сюсюкаешь целые дни. Зато со мной!.. Ах, это мрачное мол-

чание за семейными трапезами! Я вставал из-за стола нисколько не отдохнув — голова пустая, сердце гложут заботы, а поговорить о них не с кем… И особенно тяжело мне стало дома после дела Вильнава, когда я сразу прославился в качестве крупнейшего адвоката-криминалиста, как называют меня в газетах. Чем больше я склонен был возомнить о себе, тем больше ты старалась показать мне, что я ничтожество… Впрочем, не в том дело, — мне хочется отомстить тебе за другое, за твое упорное молчание, когда дело касалось нашей семейной жизни, глубочайшего нашего разлада. Сколько раз, слушая пьесу в театре или читая книгу, я задавался вопросом: а бывают ли в жизни любовники или супруги, которые делают друг другу «сцены», объясняются начистоту, и у них становится легче на душе после таких объяснений.

Сорок с лишним лет мы оба страдали, живя бок о бок, и все эти сорок с лишним лет ты как-то ухитрялась не произнести ни единого слова, затрагивающего что-нибудь глубокое; ты всегда ускользала.

Я долго думал, что это сознательно выработанная тобою система, и все хотел понять, зачем и почему ты к ней прибегаешь. Но в один пре-

красный день меня осенила догадка: моя жизнь просто-напросто не интересовала тебя. Я оказался вне круга твоих забот, занятий, развлечений и стал настолько чужд тебе, что ты всегда избегала меня, и не из страха, а потому, что тебе было скучно со мной. У тебя тонкое чутье, ты сразу угадывала малейшую мою попытку к сближению, и если я заставал тебя врасплох, находила какие-нибудь пустячные отговорки или же, похлопав меня по щеке и наскоро поцеловав, убегала по своим делам.

Конечно, можно опасаться, что ты разорвешь мое письмо, как только прочтешь первые строки. Но нет, ты этого не сделаешь, — уже несколько месяцев, как в тебе затронуто любопытство: ты удивлена, заинтригована. Хоть ты и мало ко мне присматриваешься, но как же тебе было не заметить разительную перемену в моем настроении? Да, да, я уверен, что на этот раз ты не ускользнешь от объяснения. А я хочу, чтобы и ты, и твой сын, и твоя дочь, и зять, и внуки узнали наконец, что за человек жил одиноко в стороне от вашего тесного кружка, что представлял собою тот измученный, усталый адвокат, за которым им приходилось ухаживать, потому что кошелек был у него в руках. Человек, который томился и страдал где-

то на другой планете. На какой планете? Тебе и в голову не приходило полюбопытствовать, посмотреть на нее. Успокойся, я не собираюсь угостить тебя надгробным словом во славу моей особы, заранее сочиненным мною самим, или же обвинительной речью против вас. В моей натуре преобладает свойство, поражающее всякую женщину (за исключением тебя, разумеется), а именно беспощадная ясность мысли.

Никогда у меня не было той утешительной способности к изворотливому самообольщению, которая облегчает жизнь большинству людей. Если мне случалось совершить что-либо гадкое, низкое, то я первый отдавал себе в этом отчет…

Пришлось отложить перо — дождаться, когда принесут лампу. Пока ее не зажгли и не заперли ставни, я смотрел в окно, любовался красивыми тонами черепиц на крышах сараев и винного подвала — одни яркие, как цветы, а другие переливчатые, словно грудка у голубя. Слушал, как дрозды поют в густой листве плюща, обвившего и ствол, и ветви пирамидального тополя, как стучит бочка, которую катят по двору. Мне все-таки повезло: я дожидаюсь смерти в милом сердцу уголке, где все осталось таким же, каким было в моем детстве. Только вот гудит и стучит движок,

поднимая воду из реки, а прежде скрипело колесо водочерпалки, которое вертела старая ослица… (Да еще рокочет этот противный почтовый самолет, который ежедневно в час вечернего чая уродует небесную лазурь.) А ведь немногим удается видеть в живой действительности, совсем близко, рядом с собою, мир своего прошлого, который большинство людей воскрешает лишь перед своим мысленным взором, когда у них хватает мужества и терпения погрузиться в воспоминания. Прикладываю руку к груди, прислушиваюсь к частому и слабому биению сердца, смотрюсь в зеркало, вделанное в дверцу шкафа, в котором хранятся шприц, ампулы с атропином, камфорой и вообще все, что необходимо в случае приступа удушья. А услышат меня, когда я позову на помощь? Они уверяют, что у меня «ложная грудная жаба», но говорят так не столько для моего, сколько для собственного утешения, чтобы им спокойнее спалось. Осторожно делаю вдох. Ощущение неприятное — как будто кто-то положил мне руку на левое плечо и нажимает на него, не дает ему свободно подняться, словно хочет напомнить: «Я тут, не забывай». Да, надо отдать справедливость смерти — ко мне она не подкрадывается по-воровски. Она уже несколько

лет открыто бродит вокруг меня, я слышу ее шаги, чувствую ее дыхание; она со мной терпелива, не зря же я подчиняюсь строгой дисциплине, к которой обязывает ее приближение. Вот и доживаю свой век в халате, создав вокруг обстановку, приличествующую больному старику; сижу в том самом глубоком кресле с подушечками, в котором и моя мать ждала смертного часа; и так же, как у нее, возле меня стоят на тумбочке всякие пузырьки и коробки с лекарствами; я плохо выбрит, от меня плохо пахнет, я стал рабом отвратительных мелочных причуд. Но не доверяйте этому: когда приступов нет, я оживаю и еще могу постоять за себя. Я вновь появляюсь в конторе моего поверенного Буррю, который уже считал, что я отправился на тот свет; у меня хватает сил целыми часами просиживать в подвалах банка и стричь купоны.

Надо мне еще пожить немножко, чтоб дописать свою исповедь. Должна же ты выслушать меня наконец, а то ведь в те долгие годы, когда я разделял с тобой ложе, ты всегда твердила вечером, стоило мне приблизиться к тебе: «Ах, я падаю от усталости, смертельно хочу спать, я уже сплю, сплю!..»

Ты старалась избежать не столько моих ласк,

сколько моих слов.

И правда, ведь наше несчастье и породили разговоры — те бесконечные беседы, которые мы так любили, когда только что поженились. Мы были очень молоды: мне исполнилось двадцать три года, а тебе — восемнадцать, и, пожалуй, любовные утехи доставляли нам меньше радости, чем откровенные, доверчивые излияния. Как в детской дружбе, мы поклялись ничего не таить друг от друга. Мне, в сущности, не в чем было исповедоваться, даже приходилось приукрашать свои жалкие похождения, и я не сомневался, что и у тебя такое же скудное прошлое: я просто не мог себе представить, чтобы ты до встречи со мною произносила имя какого-нибудь другого юноши; я был уверен в этом до того вечера, когда…

Было это в той самой спальне, где я сейчас пишу. Обои на стенах с тех пор переменили, но мебель красного дерева все та же и так же расставлена, и по-прежнему стоит на столике кувшин из переливчатого опалового стекла и чайный сервиз, выигранный в лотерею. По ковру тянулась тогда полоса лунного света. Теплый

южный ветер, пролетавший над ландами[45], доносил до нашей постели запах гари.

Ты не раз говорила мне о каком-то Рудольфе, своем друге, и всегда это бывало ночью, в спальне, как будто его призраку полагалось появляться меж нами в часы самой глубокой нашей близости; ты и в тот вечер опять произнесла его имя — помнишь? Но этого тебе показалось мало. «Мне бы следовало, милый, кое о чем сказать тебе перед нашей помолвкой. Право, меня совесть мучит, что я тебе не призналась… О, ничего особенного, успокойся!»

Я нисколько не встревожился и не намеревался ничего выпытывать. Но ты была так любезна, что сама принялась развлекать меня признаниями и преподносила их с такой готовностью, что я сначала смутился. И пустилась ты в откровенности вовсе не потому, что тебя мучила совесть или заговорило в тебе чувство деликатности, в чем ты меня убеждала, да и сама была убеждена. Нет, ты просто наслаждалась сладостными воспоминаниями, ты больше не могла молчать. Может

---

**[45] Примечания: 45**

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

быть, ты и чувствовала опасность, грозящую гибелью нашему счастью, но, как говорится, это было сильнее тебя. Тень Рудольфа против твоей воли витала вокруг нашей постели.

Не думай, пожалуйста, что источником нашего несчастья была ревность. Позднее я действительно бешено ревновал тебя, но в ту летнюю ночь 1885 года, о которой идет речь, я не испытывал ничего похожего на это жестокое чувство, когда ты призналась мне, что прошлым летом в Эксе, куда вы ездили всем семейством, этот незнакомый мне юноша был твоим женихом.

Подумать только! Лишь через сорок лет я получил возможность объясниться по этому поводу. Но прочтешь ли ты мое письмо? Ведь все это тебя совсем не занимает. Все, что меня касается, для тебя скучно. Когда-то тебя поглощали дети — дети мешали тебе видеть и слышать меня, а теперь у тебя растут внуки… Что ж, тем хуже. Надо все-таки попробовать, в последний раз попытать счастья. Быть может, мертвый я буду для тебя интереснее, чем живой, хотя бы в первые дни, и ты из чувства долга прочтешь эти страницы до конца. Мне так хочется верить в это. И я верю.

## Глава вторая

Нет, я не испытывал ревности во время твоей исповеди. Но поймешь ли ты, что она разрушила во мне? Как тебе это объяснить? Я был у матери единственным ребенком. Она рано овдовела и одна растила меня. Ты знала ее, вернее сказать, долгие годы жила рядом с ней, не зная ее. Даже если б тебя это интересовало, тебе было бы трудно понять душевную близость, соединявшую два одиноких существа — мать и сына; ведь у вас была совсем другая семья — богатая и влиятельная, многочисленная буржуазная семья, с твердо установленной домашней иерархией, со сложными правилами и распорядком. Нет, тебе не понять, какими страстными, нежными заботами может окружить сына, единственное свое сокровище на земле, вдова мелкого чиновника, начальника одного из отделов префектуры. Мои школьные успехи переполняли ее гордостью. У меня же, кроме них, и не было других радостей. В те времена я был твердо уверен, что мы очень бедны. На мой взгляд, об этом свидетельствовала наша скромная жизнь и строжайшая экономия, которую мама сделала для себя законом. Я, конечно, ни в

чем не знал недостатка. Теперь-то я вижу, как меня холила и баловала мать. В Остейне у нее была ферма, оттуда нам по дешевой цене доставляли провизию, и в детстве я был бы очень удивлен, если б мне сказали, что в нашем доме изысканный стол: откормленные пулярки, зайцы, паштеты из дичи — все это нисколько не казалось мне роскошью. Я всегда слышал разговоры о том, что наша ферма ничего не стоит. И правда, когда она досталась матери в наследство, то земля вокруг нее была бесплодной пустошью, — там мой дед в детстве сам пас коров. Но мне было неизвестно, что мои родители прежде всего позаботились о том, чтоб ее распахали, засеяли семенами сосны, и когда мне исполнился двадцать один год, я оказался владельцем двух тысяч гектаров молодого сосняка, где уже вели вырубку, поставляя крепежный лес в шахты. Мать делала также сбережения из своих скромных доходов. Еще при жизни отца, «вытянув из себя все жилы», купили усадьбу Калез (за сорок тысяч франков, а я теперь эти виноградники и за миллион не отдам). Мы жили на улице Сент-Катрин в собственном доме на четвертом этаже (дом этот и несколько незастроенных участков отец получил от родителей перед женитьбой). Из деревни два раза в неделю

присылали корзину с провизией: мама старалась как можно реже «ходить к мяснику». Я был одержим неотвязной мыслью попасть в Эколь Нормаль[46]. По воскресеньям и четвергам приходилось меня чуть не силой прогонять из дому «подышать воздухом». Я нисколько не походил на тех хвастунишек, которые делают вид, что они без всякого труда стали первыми учениками. Я был «зубрила» и гордился этим: да, мол, я зубрила, вот и все! Помню, что в лицее мне не доставляло никакого удовольствия изучать Вергилия[47] или Расина[48]. Раз задано «по курсу» — значит, зубри, и только. Из всех творений человеческого гения я выделял те, которые «входили в программу», лишь они имели значение в моих глазах, и по поводу их я писал в своих сочинениях то, что

**[46] Примечания: 46**

Высшая нормальная (педагогическая) школа *(фр. Ecole normale superieure)* — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции, одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах, чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

**[47] Примечания: 47**

Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.) — римский поэт, в поэмах которого — вершине римской классической поэзии — воспевались идиллический мир пастушеской жизни и эпические странсвия троянских героев.

**[48] Примечания: 48**

Расин Жан-Батист (1639–1699) — французский драматург, один из трёх выдающихся драматургов Франции XVII в., наряду с Корнелем и Мольером, автор трагедий на темы античной мифологии. Сюжеты его драм рассказывают о слепой, страстной любви.

полагается писать в угоду экзаменаторам, то есть то, что говорилось и писалось многими поколениями юношей, поступающих в Эколь Нормаль. Вот каким я был идиотом, возможно, таким и остался бы, если б за два месяца до конкурсных экзаменов не началось у меня кровохарканье, которое привело мою мать в такой ужас, что мне пришлось все бросить.

Так я поплатился за то, что слишком много зубрил в детстве и в юности; когда мальчик растет, развивается, нельзя ему безнаказанно сидеть до глубокой ночи за письменным столом, согнувшись над тетрадями и книгами, знать не зная никаких физических упражнений.

Письмо мое наскучило тебе? Ужасно боюсь наскучить. Но, умоляю, не пропускай ни одной строчки. Уверяю тебя, я говорю только о самом необходимом: вся трагедия нашей с тобой жизни проистекает из этих мелких событий, ты их не знала или забыла о них.

К тому же я, как ты могла убедиться из первых же строк моего письма, вовсе не собираюсь щадить себя. Тут немало найдется приятного для твоей ненависти… Ну да, да… не возражай, пожалуйста: ведь если ты когда-нибудь и думаешь обо мне, то всегда враждебно.

Боюсь, однако, что я несправедлив к тому хилому мальчугану, каким я был, к заморышу, корпевшему над толстыми справочниками и словарями. Когда я читаю воспоминания детства других людей и вижу, какой светлый рай встает у них у всех перед глазами, я думаю с тоской: «А я? Почему моя жизнь всегда была такой унылой пустыней? Может быть, я просто позабыл то, о чем вспоминают другие? Может быть, и я знал в детстве такие же дивные радости?..» Увы! Я вижу и на заре жизни только остервенелую зубрежку, яростную борьбу за первое место, злобное соперничество с двумя моими одноклассниками по прозвищу Енох и Родриго. Я инстинктивно отвергал всякую дружбу с товарищами. Ореол моих успехов и даже мое высокомерие, помнится, привлекали ко мне некоторых школьников. Я свирепо отталкивал всякого, кто выражал мне свою симпатию, терпеть не мог «сантиментов». Будь я даже профессионалом-литератором, и то мне бы не удалось извлечь из воспоминаний о своей школьной жизни ни одной умилительной страницы. Погоди… все-таки был один проблеск чувствительности, но очень слабый, почти незаметный. Я часто думал об отце, которого едва помнил, и мне иногда удавалось убедить себя,

что папа не умер, — нет, были какие-то необыкновенные обстоятельства, и он куда-то исчез. Возвращаясь из лицея, я бегом бежал домой по улице Сент-Катрин, прямо по мостовой, лавируя между экипажами, — по тротуару идти было слишком долго, очень уж много там сновало прохожих. Я стремглав взлетал по лестнице. Мать сидела у окна, чинила белье. Папина фотография висела на обычном своем месте — справа от кровати. Я милостиво позволял матери целовать меня, но едва отвечал на ее расспросы и сразу же садился за уроки.

Лишь только у меня началось кровохарканье, так круто изменившее мою судьбу, мать увезла меня в Аркашон, и я провел в сельском домике на берегу залива долгие и такие мрачные месяцы: ведь из-за того, что здоровье мое было подорвано, рухнули мои мечты о профессорской карьере. И я очень сердился на маму: для нее такая трагедия совсем не имела значения, и мне казалось, что она не заботится о моей будущности. А бедная мама каждый день с трепетом ждала «часа термометра». От еженедельного взвешивания моей особы зависела и ее скорбь, и ее радость. Много лет спустя, когда мне пришлось изведать, как горько лежать больным, если никого решитель-

но твоя болезнь не тревожит, я подумал: судьба справедливо наказывает меня за мою черствость, за то, что я не ценил обожавшую меня мать.

С первых же весенних дней я «выправился», как говорила мама, и буквально воскрес. Стал шире в плечах, возмужал. Мой организм, совсем было захиревший от нездорового образа жизни, окреп и развился в сухой лесистой местности, покрытой зарослями толокнянки, дрока и соснами, под которыми приютился Аркашон, — в те годы он еще был просто деревней.

И как раз в это время мать сообщила мне, что она нисколько не боится за мою будущность, ибо у нас с ней есть весьма недурное состояние и оно с каждым годом все увеличивается. Спешить мне ни к чему, тем более что от военной службы меня, наверно, освободят. У меня врожденный дар слова, поражавший всех моих учителей. Мне лучше всего поступить на юридический факультет; там все науки я постигну без особого труда и очень скоро стану знаменитым адвокатом, а если захочу, могу заняться политической деятельностью. Размечтавшись, мама говорила, говорила, открывая мне свои планы, а я слушал ее в угрюмом, злобном молчании, рассеянно глядя в окно.

Я уже начал «ухаживать». Мама наблюдала за

мной с боязливой снисходительностью. Позднее, когда мне пришлось жить в кругу твоих родных, я увидел, каким важным пороком считают в религиозной семье распущенность. Но моя мать видела тут лишь одну опасность: как бы это не повредило моему здоровью. Убедившись, что я не злоупотребляю такого рода удовольствиями, она стала смотреть сквозь пальцы на мои вечерние отлучки и требовала только, чтобы к двенадцати часам я был дома. Не бойся, я не стану рассказывать о своих юношеских любовных шалостях. Я знаю, тебя приводят в ужас такие истории, да и похождения-то у меня были весьма убогие.

Но они стоили мне довольно дорого, и я страдал из-за этого. Мне было обидно, что во мне самом так мало привлекательного, что и молодость мне не помогает. А ведь, кажется, я не был уродом. Черты лица у меня, как говорится, правильные. Женевьева — вылитый мой портрет, а в девушках она была очень хороша. Но я принадлежу к той породе людей, про которых говорят, что у них нет молодости. Неприятно смотреть на угрюмого малого, когда в нем совсем нет юной свежести. Одним уж своим хмурым видом я замораживал людей. И чем лучше я это сознавал, тем больше мрачнел. Я никогда не умел одеваться, выбрать

галстук, красиво завязать его. Никогда я не умел беззаботно отдаться минуте веселья, посмеяться, подурачиться. Невозможно даже было представить, чтоб меня кто-нибудь пригласил на веселую приятельскую пирушку; такие гости, как я, своим мрачным обликом испортят всем настроение. К тому же я был очень обидчив и не выносил ни малейшей насмешки. Зато уж если мне, бывало, вздумается пошутить, то я, совсем того и не желая, наносил удары дубиной, а такие насмешки не прощаются. Я грубо издевался над какой-нибудь смешной чертой в человеке, над его физическим недостатком, о котором следовало бы молчать. С женщинами же из робости и из гордости я говорил наставительным, снисходительным тоном, а они этого, как известно, терпеть не могут. Я не понимал толку в их туалетах. Чувствуя, что я не нравлюсь женщинам, я «назло им» старался подчеркнуть в себе все, что им внушает отвращение. Словом, моя молодость была длительным самоубийством. Я нарочно спешил не понравиться, боясь, что это выйдет и без моих стараний, само собой.

Не знаю, прав я тут был или нет, но я во всем винил мать. Мне казалось, что я расплачиваюсь за то, что в детстве она, на мою беду, слишком меня

нежила, лелеяла, опекала, от всего оберегала. И в юности я был с ней невероятно жесток и груб. Я упрекал ее за то, что она чересчур сильно любит меня. Я не прощал ей того великого чувства, которое лишь она одна в целом свете дарила мне, той самоотверженной любви, которую никто другой никогда не дал мне изведать. Прости, что я опять говорю об этом, но в мыслях о матери я черпаю силу переносить свое одиночество, твое глубокое равнодушие ко мне. Ведь это справедливая расплата. Бедная мама уже давно уснула вечным сном, воспоминание о ней еще живет только в усталом сердце старика, каким я стал, — а как бы она страдала, если б могла предвидеть, что судьба отомстит мне за нее.

Да, я был жесток с матерью. Как невеселы были наши трапезы в маленькой столовой сельского домика при свете висячей лампы! Я едва отвечал на ее робкие вопросы или же, вдруг вспылив, разражался гневом по малейшему поводу, а то и совсем без всякого повода. Она не пыталась понять, разобраться в причинах моей злобы, принимая ее как гнев какого-то божества. «Это болезнь, — говорила она, — тебе просто нужна нервная разрядка…» И она добавляла, что как женщине малообразованной, невежественной,

ей меня не понять: «Конечно, какая же я тебе компания? Молодому человеку не очень-то весело со стариками и старухами». И хотя она была всегда очень бережлива, чтоб не сказать скуповата, она теперь давала мне больше денег, чем я просил, сама толкала меня на всякие траты, привозила мне из Бордо нелепые пестрые галстуки, которые я не желал надевать.

Мы подружились с соседями. Я стал ухаживать за их дочерью, хотя она мне совсем не нравилась; девушка эта проводила зиму в Аркашоне по предписанию врачей: мама с ума сходила от страха, что я заражусь чахоткой или же скомпрометирую девицу и вынужден буду жениться на ней. Я теперь уверен, что, упорно (хотя и тщетно) добиваясь победы над этой барышней, я просто хотел доставить неприятность матери.

Через год мы вернулись в Бордо. Жили мы уже в другом месте. Мать купила дом на бульваре и ничего мне об этом не говорила, желая сделать сюрприз. Я был поражен, когда дверь нам отпер лакей. Мать отвела мне весь второй этаж. Все вокруг блестело новизной. Втайне я был восхищен роскошной обстановкой (хотя, думается, теперь бы она мне показалась ужасной), но все беспощадно раскритиковал и выразил беспокойство

по поводу огромных расходов.

И тогда мама, ликуя, отдала мне отчет в положении наших дел, хотя и не обязана была это делать (большая часть нашего состояния принадлежала лично ей как ее приданое). Пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода, не считая тех денег, какие давала вырубка лесных дач, — следовательно, по тем временам, да еще по понятиям провинциалов я обладал «недурным» состоянием, и любой молодой человек, оказавшись на моем месте, постарался бы воспользоваться им, чтоб получить доступ в высшее общество города. Честолюбия во мне было достаточно, но я не мог скрывать от своих товарищей по факультету, какие враждебные чувства я к ним питал. Почти все они были отпрысками аристократических семейств, воспитывались у иезуитов, а я учился в казенном лицее, мой дед был пастухом; я не мог им простить своей зависти к их изысканным манерам. Правда, я находил, что эти молодые щеголи гораздо ниже меня по своему умственному развитию. Завидовать ничтожным фатам, которых презираешь! Такое постыдное чувство может отравить человеку жизнь. Да, я завидовал этим юношам и презирал их; а их надменность (может быть, мнимая) еще больше распаляла

во мне злобу против них. И такая уж у меня натура, что мне ни разу и в голову не приходило попробовать завоевать их симпатию, напротив, я с каждым днем все больше сближался с их противниками. Ненависть к религии, так долго являвшаяся моей преобладающей страстью, доставившая тебе столько страданий и навсегда сделавшая нас врагами, родилась во мне на юридическом факультете в 1879 и в 1880 годах — в те годы, когда в палате вотировали статью седьмую знаменитого декрета и когда изгнали из Франции иезуитов[49].

До той поры я был равнодушен к вопросам религии. Мать никогда их не затрагивала, разве только скажет, бывало: «Что мне беспокоиться? Если уж такие люди, как мы, не попадут в царство небесное, так, значит, и никого туда не пустят». В младенчестве она меня окрестила. Я ходил к первому причастию, когда учился в лицее, но эта церемония оставила во мне лишь смутное воспоминание, как о какой-то скучной формальности. Во всяком случае, больше я уже никогда не причащался. В вопросах религии я по-прежнему оставался круглым невеждой; в детстве, встречая

**[49] Примечания: 49**

В 1761 г. во Франции был издан знаменитый декрет об изгнании иезуитов из страны за крупные финансовые аферы.

на улице священников, я смотрел на них как на забавных ряженых, как на карнавальные маски. Я никогда не задумывался над такого рода проблемами, а когда наконец столкнулся с ними, то подошел к религии исключительно с политической точки зрения.

Я организовал из бывших студентов кружок; мы собирались в «Кафе Вольтера», и там я упражнялся в красноречии. В личной своей жизни я был весьма застенчив и робок, а в публичных словопрениях становился совсем другим человеком. У меня нашлись почитатели, мне приятно было слыть их главой, хотя в глубине души я презирал их не меньше, чем богатых буржуа. Я злился на них за то, что они простодушно раскрывали те жалкие побуждения, которые руководят ими в жизни, — точно такие же побуждения были и у меня самого, что заставляло меня вдумываться в свои чувства. Все эти молодые люди были сыновьями мелких чиновников, учились в школах на стипендиях, были умны и честолюбивы, но отравлены желчной завистью и злобой. Мне они льстили, но не любили меня. Иногда я угощал их обедом в ресторане — это бывало для них целым событием, о котором они долго потом толковали. Но мне были противны их манеры. Иной раз я

не мог удержаться от язвительной насмешки, которая жестоко их оскорбляла и навсегда занозой впивалась им в сердце.

А вот моя ненависть к религии была вполне искренней. Мучило меня также и некоторое стремление к социальной справедливости. Я заставил мать снести саманные лачуги[50], в которых жили наши арендаторы-испольщики, питавшиеся черным хлебом и маисовой кашей. Впервые она попыталась было воспротивиться мне:

— Ты что ж, думаешь, они тебе будут благодарны?..

Но никаких иных подвигов я не совершил. Я страдал от сознания того, что меня сближает с моими противниками общая нам всем алчность: к землям, к деньгам. Есть на свете классы собственников и есть неимущие. Мне стало ясно, что я всегда буду в лагере собственников. Состояния у меня не меньше, а может быть, и больше, чем у тех спесивых денди, которые, как мне казалось, отворачивались, когда замечали меня, но, конечно, не отказались бы пожать мне руку, если б я

**[50] Примечания: 50**

Саман — сырцовый кирпич из глины с добавлением резаной соломы, костры, мякины и др., с древности распространенный как строительный материал в безлесных районах.

протянул ее. Кстати сказать, и правые, и левые не раз попрекали меня на публичных собраниях за то, что я — владелец двух тысяч гектаров леса да еще виноградников. Прости, что я так мешкаю. Но без всех этих подробностей тебе не понять, что значила для такой уязвленной души, как моя, встреча с тобой и наша любовь. Я, крестьянский сын, у которого мать «ходила в платочке», и вдруг стал женихом мадемуазель Фондодеж! Это было просто невероятно, непостижимо.

## Глава третья

Прервал свое послание — во-первых, потому что стемнело, а во-вторых, услышал внизу разговор. Не очень громкий разговор. Наоборот, вы говорили, понизив голос, и как раз это меня беспокоило. Когда-то из своей спальни я прекрасно мог следить за вашими беседами. Но теперь вы от меня таитесь, все шушукаетесь. Недавно ты мне сказала, что я стал туг на ухо. Вовсе нет: я хорошо слышу далекий стук поезда на железнодорожном мосту. Нет, нет я не глухонемой. А вы нарочно говорите вполголоса, вы не хотите, чтоб я слышал ваши слова. Что вы от меня скрываете? Дела, что ли, идут плохо? Недаром же вокруг тебя собралась

вся семья, и все идут, высунув язык, как собаки. Тут и милый зять — маклер по продаже вин, и муж нашей внучки, убежденный бездельник, и любезный сынок Гюбер... А между тем ведь он банкир, к нему отовсюду текут деньги, и этот малый дает по двадцать процентов дивидендов. На меня не рассчитывайте: я из своих рук ничего не выпущу. Уверен, что ты нынче вечером будешь мне нашептывать: «Очень было бы просто продать на сруб сосняк». Ты мне припомнишь, что обе дочки Гюбера живут у родителей своих мужей, ибо не получили денег на то, чтоб зажить своим хозяйством и обзавестись обстановкой. «У нас на чердаке уйма всякой мебели, она там только пылится, портится. Ну что нам стоит дать им на время эти вещи?» Да, да, уверен, что ты сейчас будешь ко мне с этим приставать. «Обе внучки на нас сердятся и больше не ездят к нам... Я лишена радости видеть милых внучек...» Несомненно, вы как раз об этом и шепчетесь.

. . . . . .
. . . . . .

Перечел эти строки, написанные вчера, словно в каком-то бреду. Как я мог поддаться такой злобе? И в сущности, я не письмо пишу, а веду

дневник. Возобновляю свое послание. Как быть? Зачеркнуть написанное и начать по-другому? Невозможно. Время не терпит. Как написалось, так пусть и остается. Да ведь я и хотел все тебе открыть без утайки, чтоб ты заглянула в самые глубокие тайники души моей. Вот уже тридцать лет, как я в твоих глазах автомат, выбрасывающий тысячефранковые кредитки, — автомат неисправный, работающий плохо, надо его постоянно встряхивать, пока не удастся его вскрыть и выпотрошить, полными пригоршнями вытаскивая запрятанные в нем деньги.

Вот опять я поддался необузданной злобе. Возвращусь-ка лучше к тому, на чем я остановился вчера. Постепенно я дойду до истоков моего неистовства. Припомню ту роковую ночь… Но сначала надо воскресить в твоей памяти нашу первую встречу.

В августе 1883 года я находился с матерью в Люшоне. В те времена в «Отеле Скарона» полно было мягких кресел, диванов, пуфов, искусно сделанных чучел пиренейских серн. А благоуханья липовых аллей в Этиньи мне не забыть! Прошло столько лет, но когда цветут липы, мне все кажется, что я слышу именно тот дивный запах. По утрам меня будили ослики, постукивав-

шие копытцами по мостовой, позвякивание их бубенцов, щелканье бича погонщиков. Горные ключи бежали даже по улицам. Мальчишки-разносчики выкрикивали «розанчики», «рогульки» и молочные хлебцы. Проезжали конные проводники; я смотрел, как отправляются на прогулку кавалькады.

Весь второй этаж занимало семейство Фондодеж. Им отвели апартаменты короля Леопольда. «Вот транжиры!» — говорила мама. Это не мешало им всегда платить с запозданием (в Бордо они арендовали большой земельный участок для хранения товаров, который у нас имелся близ пристани).

В гостинице мы с мамой обедали за общим столом, а вам подавали отдельно. Я хорошо помню ваш круглый столик у окна и сидевшую за ним вашу тучную бабушку, прикрывавшую лысую голову черной кружевной наколкой, на которой дрожали бисерные висюльки. Мне все казалось, что старуха улыбается мне, это обманчивое впечатление создавалось из-за того, что у нее были крошечные прищуренные глазки и рот до ушей, узкий, как щель. Ей прислуживала монахиня с одутловатым желчным лицом, окаймленным белыми лопастями туго накрах-

маленного «апостольника». А как хороша была твоя мать!.. Красавица! Всегда в черном: она носила траур по двум своим умершим сыновьям. Я сначала влюбился не в тебя, а в нее и потихоньку ею любовался. Меня волновали ее прекрасные обнаженные руки и шея. Она не носила никаких драгоценностей. Я строил в своем воображении чисто стендалевскую завязку романа и давал себе слово к вечеру обязательно заговорить с ней или сунуть ей записку. Тебя же я почти не замечал. Я внушил себе, что в молодых девицах нет ничего интересного. А к тому же у тебя была такая надменная, уничтожающая манера не обращать внимания на окружающих — ты таким способом выражала им свое презрение.

Однажды, возвратившись из казино, я оказался свидетелем разговора между моей матерью и г-жой Фондодеж, которая говорила чересчур любезным, вкрадчивым тоном, как полагается воспитанному человеку, не желающему опуститься до низкого уровня своего неотесанного собеседника. Мама, наоборот, нисколько не стеснялась и не понижала голоса: ты в моих руках, голубушка, и я тебя прижму. В ее глазах господа Фондодеж были просто-напросто неаккуратными плательщиками. Она по-крестьянски ценила

только землю, не доверяя торговым делам и непрочному купеческому богатству, над которым всегда висит угроза банкротства. Я прервал ее на середине язвительной фразы: «Конечно, я верю подписи вашего супруга, а только, знаете ли…»

Впервые я вмешался в деловой разговор. Г-жа Фондодеж получила желательную для нее отсрочку. Впоследствии мне не раз приходила мысль, что крестьянская смекалка моей матери ее не обманула: твое семейство стоило мне довольно дорого, и если б я поддавался вам, твой сын, твоя дочь, муж твоей внучки живо бы пустили по ветру все мое состояние, все бы пожрала их коммерция. Их коммерция! Контора в первом этаже, телефон, машинистка… А за этой скромной деловой декорацией сотни тысяч так и летят! Да что ж это я отвлекся… Мы ведь вспоминаем о нашем с тобой знакомстве в Баньер-де-Люшоне в 1883 году.

Теперь все ваше семейство встречало меня любезными улыбками. Бабушка за столом говорила без умолку, не дожидаясь ответов, так как была глуха. А твоя мама разочаровала меня — несколько раз мне случалось поболтать с ней после обеда, и она оказалась весьма скучной особой, совсем не отвечающей моим романтическим представ-

лениям о ней. Не сердись, пожалуйста, за такие воспоминания, но, право, всегда она лепетала что-то плоское, ничтожное; все мысли ее вращались в узком, тесном мирке, а язык поражал своей скудостью, — словом, через три минуты мне уже становилось скучно, и я не знал, о чем с ней говорить.

Разочаровавшись в матери, я обратил внимание на дочь. Я не сразу заметил, что нам с тобой весьма охотно предоставляли возможность беседовать. Мог ли я подумать, что семейство Фондодеж видит во мне завидного жениха? Мне вспоминается прогулка в долину Лилий. Ехали туда в коляске — бабушка и ее монахиня на заднем сиденье, а мы с тобой на передней скамеечке. Наемных экипажей в Люшоне, слава богу, было достаточно. Только господам Фондодеж могла взбрести в голову фантазия выписать на воды свою собственную коляску.

Лошади шли шагом, над ними вилась целая туча мух. У монахини лицо лоснилось от пота, она дремала, полузакрыв глаза. Бабушка обмахивалась купленным в парке Этиньи веером, на котором был нарисован матадор, закалывающий шпагой черного быка. Несмотря на жару, ты была в длинных, по локоть, перчатках. Все на тебе

было белое, даже высокие ботинки. Ты сказала: «После смерти братьев я дала обет носить только белое». Я тогда не понимал, что это значит — носить по обету тот или иной цвет. Впоследствии мне пришлось узнать, что в вашей семье питали склонность к таким нелепым религиозным обычаям. Но при том душевном состоянии, в каком я был тогда, мне это казалось очень поэтичным. Как тебе объяснить тогдашние мои переживания? Вдруг почувствовать, что ты не внушаешь отвращения, что ты не противен девушке и, может быть, даже нравишься ей! Каким знаменательным для меня стал тот вечер, когда ты мне сказала: «У вас длинные ресницы, удивительно длинные для мужчины!»

Я старательно скрывал свои передовые взгляды. Помню, во время этой прогулки мы с тобой на подъеме вылезли из коляски, чтобы лошадям легче было тянуть ее в гору; твоя бабушка и монахиня тем временем принялись перебирать четки и бормотать молитвы, а кучер, вышколенный за долгие годы службы у вас, возглашал с козел: «Аминь!» Ты улыбалась, поглядывая на меня. Но я сохранял невозмутимую серьезность. Без всякого усилия над собой я сопровождал по воскресеньям тебя и твою мать к поздней обедне, начинав-

шейся в одиннадцать часов. Церковные службы не вызывали у меня никаких метафизических мыслей. Религиозный культ — только и всего, вполне обычный для того класса, к которому и я теперь принадлежу (я с гордостью это сознавал); своего рода традиция, религия предков, хранимая буржуазией, система обрядов, имеющая лишь социальное значение.

Иной раз в церкви ты украдкой посматривала на меня, и воспоминание об этих обеднях связывалось у меня с чудесным открытием, переполнявшим мою душу восторгом: оказывается, я могу нравиться, пленять, взволновать девичье сердце. Моя любовь, как мне казалось, сдваивалась с твоей любовью ко мне. Впрочем, какое значение имели мои собственные переживания. Самым важным была моя вера в твою любовь; я, как в зеркале, отражался в женской душе, и, как видно, образ мой ее нисколько не отталкивал. Какое дивное отдохновение! Все существо мое расцвело. Никогда мне не забыть, что твои глаза растопили лед, сковывавший мою душу, и в ней забили животворные родники чувств. Самые обыкновенные знаки нежного внимания — пожатие руки, цветок, хранимый в книге, восхищали меня, все было для меня так ново.

Только моей матери не доставалось ни единой крохи от этого пиршества возрождения. Ведь я видел, как враждебно она относится к постепенно созревавшему у меня замыслу, к моей мечте, которую я и сам считал безумной. Я сердился, что она нисколько не разделяет моих восторгов. «Разве ты не понимаешь, что тебя завлекают в сети? Это уж такие люди!» — твердила она, не подозревая, что ее слова могли погубить беспредельную радость, горевшую во мне от сознания, что я наконец любим. Есть на свете девушка, которой я нравлюсь, и, может быть, она даже хочет выйти за меня замуж: я верил в это, несмотря на подозрительность моей матери.

«Такие богатые, такие влиятельные люди! Что им за выгода породниться с нашей семьей», — думал я. И я гневался на мать, почти ненавидел ее за то, что она ставила под сомнение мое счастье.

Все же она собрала некоторые интересовавшие ее сведения, так как у нее были связи в крупных банках. Как я ликовал, когда ей пришлось признать, что фирма Фондодеж, несмотря на временные затруднения, пользуется большим доверием и ей охотно дают кредит. «Они наживают бешеные деньги, но слишком уж широко живут, — говорила мама. — Все уходит на лошадей,

на экипажи да на ливрейную челядь. Любят пускать пыль в глаза, не умеют беречь денежки...»

Сведения, полученные из банков, окончательно уверили меня, что пришло счастье. У меня было теперь доказательство бескорыстия твоих близких: значит, они улыбаются мне только потому, что я приятен им; мне вдруг показалось вполне естественным нравиться людям, всем без исключения. Нам с тобой позволяли проводить вечера наедине, гулять в тенистых аллеях парка вокруг казино. Как странно, что в начале жизни, когда человеку выпадает немножко счастья, внутренний голос не предупреждает его, не говорит ему: «Живи ты хоть до ста лет, не знать тебе иной радости, кроме вот этих немногих часов. Наслаждайся же ими, выпей чашу счастья до дна, больше тебе уж ничего не достанется. Встретился на твоем пути родник счастья, помни — это первый и последний. Утоли жажду раз и навсегда, больше тебе пить не придется».

А я, наоборот, убеждал себя, что это только еще начало долгой счастливой жизни, полной страстной любви, и я недостаточно ценил те вечера, когда мы с тобой неподвижно сидели на садовой скамье под дремлющей листвой.

Но ведь уже и тогда были некоторые тревож-

ные признаки, только я не умел их разгадать. Помнишь тот темный вечер, когда мы сидели на скамье у поворота дорожки, что петлями идет в гору позади водолечебницы? Ты вдруг, без всякой, казалось бы, причины, разрыдалась. Я помню запах твоих щечек, по которым струились слезы, запах непостижимого для меня горя. Я думал, что ты плачешь от счастья. По молодости лет я не мог иначе истолковать душившие тебя рыдания. Правда, ты ведь говорила мне такие успокоительные слова: «Это ничего, это оттого, что я возле вас…»

И ты не лгала, лгунья! Ты действительно плакала из-за того, что была возле меня, а не возле другого — возле того, чье имя ты наконец выдала мне несколько месяцев спустя вот в этой самой спальне, где я пишу в те дни, когда ко мне, старику, уже стучится в окошко смерть, а кругом меня собралась милая моя семейка и ждет минуты вожделенного дележа добычи.

А я-то, глупец, в тот вечер был так счастлив возле тебя, на повороте тропинки, змеившейся над Баньером. Я прижимался лицом к твоему плечу, к твоей тоненькой шейке, я вдыхал свежее, чистое благоухание, исходившее от моей маленькой плачущей девочки. Влажная и теплая

пиренейская ночь, пахнувшая мокрой, росистой травой и мятой, восприяла и твой аромат. Под горой на площади Источников листва старых лип вокруг раковины для оркестра была освещена фонарями. Было видно, как старик англичанин из нашей гостиницы ловит сачком с длинной палкой ночных бабочек, слетавшихся на огонь. Ты мне сказала: «Дайте мне носовой платок...» Я вытер тебе глаза и спрятал платок на груди, под рубашкой.

Я стал совсем другим человеком — думаю, этим все сказано. Совсем другим!.. Даже лица моего коснулся светлый луч счастья. Я это чувствовал по взглядам женщин. После этого вечера, после твоих слез, ни малейшего подозрения у меня не могло бы возникнуть. А сколько было вслед за этим других вечеров, когда ты вся искрилась радостью, так доверчиво опиралась на мое плечо, держалась за мою руку. Я поднимался по тропинке слишком быстро, ты говорила: «Ой, тише, тише! Я совсем задохнулась!» Я был целомудренным женихом. Ты пробудила во мне нетронутые чувства. Ни разу у меня не возникало искушения злоупотребить доверием, которое оказывали мне твои родные, мне и в голову не приходила мысль, что за этим доверием, быть может, кро-

ется расчет.

Да, я стал другим человеком, до такой степени другим, что однажды со мной произошло нечто странное, — теперь уж можно в этом признаться, ибо вряд ли ты будешь торжествовать, читая это письмо. Это было на дороге в долину Лилий. Мы с тобой выпрыгнули из коляски и пошли пешком. Журчала вода в речке; я растирал в руке стебелек дикого укропа; внизу уже сгущалась тьма, а на вершинах гор еще сияли очаги света… И вдруг у меня возникло ощущение, нет — почти физическая уверенность, что существует иной мир, кроме нашего, существует вполне реально, но мы знаем лишь тень его…

Ощущение это длилось одно мгновение, и на протяжении моей печальной жизни оно повторялось редко и через очень большие промежутки. Но сама необычайность этого ощущения усиливала его значимость в моих глазах. Вот почему позднее, когда у нас начались бесконечные распри из-за религии, мне приходилось отгонять от себя такие воспоминания.

Я считаю своим долгом сказать тебе об этом. Но теперь уж поздно касаться этих вопросов.

Вспоминать о нашей помолвке не стоит. Однажды вечером мы стали женихом и невестой,

и вышло это как-то помимо моей воли. Ты, думается мне, поняла вырвавшиеся у меня слова совсем не в том смысле, какой я хотел вложить в них, и я вдруг оказался связанным с тобою. Я просто не мог опомниться от неожиданности. Не стоит об этом вспоминать. Но тут было одно неприятное обстоятельство, на котором я заставлю себя остановиться. Ты сразу же мне сообщила, что ставишь некоторые условия, и в том числе следующие: «ради доброго согласия» ты не желаешь вести общее хозяйство с моей матерью и даже жить с нею в одном доме. Не только твои родители, но и ты сама твердо решили ни за что в этом не уступать.

Сколько лет прошло, а как отчетливо я помню свое объяснение с матерью в душном номере гостиницы. Окно было раскрыто, за ним зеленели деревья парка. Все вспоминается так ясно: золотые пылинки, пляшущие в солнечном луче, который протянулся сквозь решетчатые ставни, звон бубенчиков, доносящийся с улицы и переливчатая мелодия тирольской песни. У матери разболелась от жары голова, и она лежала на диване, одетая в юбку и в широкую кофту (она никогда не знала, что такое изящное домашнее платье, пеньюар, нарядный халатик). Я восполь-

зовался тем, что мать говорила, как мы устроимся после моей женитьбы: она собиралась отдать нам весь нижний этаж, а себе оставить одну комнату в четвертом этаже.

«Послушай, мама… Иза думает, что было бы лучше…» Излагая твои соображения, я украдкой бросал взгляд на старческое лицо матери и смущенно опускал глаза. А она все комкала изуродованными, распухшими в суставах пальцами оборку на своей широкой кофте. Если б она стала спорить, упрекать, мне было бы за что ухватиться, но ее молчание не давало мне повода разразиться гневом. Она слушала, не показывая ни обиды, ни удивления. Наконец она заговорила, подыскивая такие слова, чтобы я поверил, будто она заранее знала, что мы будем жить врозь, и не находит в этом ничего необыкновенного.

— Я почти круглый год буду проводить в Оринье, — сказала она. — Там домик поприличнее, чем в других наших мызах, а вам оставлю Калез. В Оринье я построю себе флигелек — трех комнат мне вполне достаточно. Недорого будет стоить. Конечно, жаль зря тратиться, — на будущий год меня, может, и в живых не будет. Но ведь позднее флигелек может тебе пригодиться, — сделай из него охотничий домик. Будешь осенью, в октябре

месяце, приезжать в Оринье охотиться на диких голубей, — очень даже удобно будет жить в нем. Ты, правда, охоты не любишь, но, может, у тебя пойдут дети, и им полюбится птиц стрелять.

Как бы далеко ни заходила моя неблагодарность, любовь матери была беспредельна. Я гнал ее с насиженного места, она покорно отходила и соглашалась ютиться в другом уголке. Она ловила крохи внимания, которые я бросал ей, и готова была ко всему приноровиться. Но после этого разговора вечером ты меня спросила:

— Что с вашей мамой? Она больна?

На следующий день мама оправилась и была такая же, как всегда. Из Бордо приехал твой отец со старшей дочерью и зятем. Пришлось, конечно, сообщить им о нашей помолвке. Каким презрительным взглядом они окидывали меня. Мне казалось, что я слышу, как они спрашивают друг друга: «Ну, как, по-твоему, можно с ним „показываться“?.. Мамаша просто невозможна…» Никогда не забуду, какое удивление вызвала у меня твоя сестра Мари-Луиза, которую вы называли Маринеттой; она была на год старше тебя, а казалась моложе — такая хрупкая, тоненькая, с длинной гибкой шейкой, с тяжелым шлемом золотых волос и такими детскими глазами. Старик муж, за

которого ее выдал твой отец, внушал мне ужас. Я с отвращением смотрел на этого барона Филипо. Но после его смерти мне не раз приходила мысль, что он был несчастнейшим человеком. Какие муки терпел этот старый болван, стараясь, чтобы его молоденькая жена забыла, что ему идет седьмой десяток. Он затягивался в корсет до потери дыхания. Широкий и высокий крахмальный воротничок скрадывал обвислые щеки и дряблую складку под подбородком. Чернота лоснящихся крашеных усов и бакенбард только подчеркивала лиловатую бледность потрепанного лица. Он едва слушал, что ему говорили, — все норовил посмотреться в зеркало, и если это ему удавалось, вспомни, как мы хихикали, когда бедняга испытующе-тревожно всматривался в свое отражение. Вставные челюсти не позволяли ему улыбаться. Неослабевавшим усилием воли он заставлял себя никогда не разжимать в улыбке губы. Мы заметили также, как он осторожно надевал свой цилиндр, чтобы не сдвинуть чрезвычайно искусно зачесанную прядь волос, которая тянулась от затылка и разбегалась на плешивой макушке головы жиденькими струйками, как дельта мелководной речки.

Твой отец был ему сверстник, но, несмотря

на седую бороду, лысину и толстый живот, еще нравился женщинам и умел их очаровать даже в деловых отношениях. Только моя мать давала ему решительный отпор. Может быть, она ожесточилась и очерствела из-за того удара, который я нанес ей. Мать оспаривала каждый пункт брачного контракта, как будто речь шла о торговой сделке или о договоре на аренду земли. Я выражал притворное негодование, возмущался ее требованиями, но втайне радовался, что она так хорошо отстаивает мои интересы. И если ныне мое состояние совершенно четко отграничено от твоего и вы не имеете никакой власти надо мной, я обязан этим моей матери — она потребовала для обоих супругов строго раздельного владения имуществом, как будто я был девицей, которой вздумалось выйти замуж за распутного кутилу.

Поскольку родители моей невесты приняли эти требования, я мог быть спокойным: значит, они дорожили мной, считаясь с твоей любовью ко мне.

Мама и слушать не хотела, чтобы твое приданое выплачивалось в виде пожизненной ренты, и требовала, чтоб его выдали наличными. «Они мне все ставят в пример этого самого барона Филипо, — рассказывала мне она, — смотрите —

барон взял старшую дочку без гроша приданого. Еще бы! Этой развалине да приданое требовать! Пусть радуется, что за него молоденькую красавицу выдали. Бедная девочка! Ну, а с нами совсем другое дело. Они вообразили, что я без ума от радости, — вот, мол, с какими людьми породнюсь… Плохо они меня знают…»

А мы с тобой тем временем изображали «двух голубков», делая вид, будто все эти меркантильные споры нас нисколько не интересуют. Ты полагалась на финансовый гений своего отца не меньше, чем я на мамину гениальность. Да, может быть, мы еще тогда не знали, ни ты, ни я, до какой степени мы любим деньги.

Нет, я несправедлив к тебе. Ты всегда любила деньги только из-за детей. Ты, пожалуй, способна была бы убить меня ради обогащения своих ненаглядных деток, а не ради себя, ведь ты отдала бы им последний кусок хлеба.

А вот я… признаюсь, я люблю деньги, с ними мне спокойнее. До тех пор пока я сам хозяин своего богатства, вы бессильны в борьбе против меня. Ты вот все твердишь: «Нам с тобой в наши годы так мало нужно». Какое заблуждение! Старика считают человеком лишь постольку, поскольку у него есть имущество. А как только мы его ли-

шаемся, нас выбрасывают на свалку. У нас нет выбора: или приют для престарелых, богадельня, или крепко держись за свое добро. О крестьянах рассказывают с возмущением, что они все выманят у своих стариков, ограбят их до нитки, а после этого морят их голодом, чтоб умерли поскорее. Но сколько раз я подмечал подобные мерзости и в почтенных буржуазных семьях — правда, там действуют тоньше и стараются соблюдать приличия. Ну так вот, я боюсь обеднеть. Мне все кажется, что я еще мало, мало накопил золота. Вас золото привлекает, а меня обороняет.

Пришел час вечерней молитвы, а я не слышал колокольного звона… Впрочем, его и не было, ведь сегодня страстная пятница. Нынче из города приедут в автомобиле все наши мужчины — сын и зятья; я спущусь в столовую, буду обедать со своими домочадцами. Хочу посмотреть на них, когда все они будут в сборе: мне легче бороться против всей их стаи, чем давать им отпор в беседах наедине. Да и недурно будет съесть у них на глазах в покаянный, великопостный день мясную котлетку — не затем, чтобы подразнить их, а просто хочется показать, что воля моя не ослабела и я ни в чем не собираюсь им уступить. Сорок пять лет я занимаю определенные позиции

— тебе так и не удалось меня выбить из них, но все мои редуты рухнут один за другим, если я сделаю хоть одну-единственную уступку. Пред лицом моей семьи, где все питаются в страстную пятницу фасолью и сардинами на постном масле, я съем мясную котлету в знак того, что я непоколебим и не удастся им заживо ограбить меня.

## Глава четвертая

Я не ошибся. Вчерашнее мое появление за семейной трапезой расстроило ваши планы. Только за детским столом было весело, потому что в страстную пятницу детям у нас дается на обед шоколад и хлеб с маслом. Я плохо различаю эту мелюзгу. У моей внучки Янины уже есть дочурка, которая недавно начала ходить… Я перед всеми продемонстрировал, что у меня прекрасный аппетит. Ты постаралась оправдать в глазах детей мое прегрешение, сославшись на мое слабое здоровье и преклонный возраст: «Дедушке доктор велел есть котлетки».

Мне ужасно не понравился оптимизм Гюбера. Он выразил полную уверенность, что скоро дела на фондовой бирже оживятся, но так стараются подбодрить себя люди, когда речь идет об их жиз-

ни или смерти. А ведь он все-таки мне сын. Этот сорокалетний мужчина — мой сын! Знаю это, но не чувствую. Право, невозможно смотреть в глаза этой истине. А что, если дела у него все-таки пойдут плохо? Банкир, который дает вкладчикам такие дивиденды, ведет крупную и рискованную игру… Вдруг в один прекрасный день окажется, что честь нашей семьи в опасности. Честь семьи! Ну уж этому идолу я не согласен приносить жертвы. На этот счет заранее принимаю решение: выдержать удар. Им не растрогать меня. Тем более, что, кроме меня, есть еще и старик Фондодеж — он-то даст себя подковать, если я откажу.

Да что ж это я разболтался, несу какой-то вздор! Должно быть, не хочется вспоминать о той ночи, когда ты, сама того не ведая, разрушила наше счастье.

Странное дело, ты ведь как будто совсем и не помнишь об этом, А между тем в те недолгие часы душной летней ночи откровенный разговор в темной спальне решил всю нашу судьбу. Каждое слово, произнесенное тобою, все больше разъединяло нас, а ты ничего и не заметила. Твоя память хранит тысячи ничтожных мелочей, но об этой катастрофе ты ровно ничего не помнишь. Ты с гордостью заявляешь о своей глубокой вере

в загробную вечную жизнь, так подумай хорошенько — ведь ты лишила меня вечной жизни в ту ночь! Ведь первая моя истинная любовь сделала меня чувствительным к той атмосфере веры и поклонения божеству, в которой ты жила. Ведь я любил тебя и готов был полюбить все, что составляло твое духовное существо. Я умилялся, когда ты в длинной ночной сорочке, точно девочка-школьница, преклоняла колени и складывала руки для молитвы…

Мы жили в той самой комнате, где я пишу сейчас. Почему же после свадебного путешествия мы поселились в Калезе, у моей матери? (Я не допустил, чтобы она отдала нам Калез, который она сама создала и так сильно любила.) Позднее, стараясь побольше озлобиться против тебя, я припомнил некоторые обстоятельства, — сперва они как-то ускользали от моего внимания, а может быть, я и нарочно старался не замечать их. Прежде всего твое семейство под предлогом смерти какого-то вашего четвероюродного дядюшки решило обойтись без всякого свадебного торжества. Ясно было, что они просто-напросто стыдятся твоего незавидного брака. В Баньерде-Люшоне барон Филипо рассказывал всем и каждому, что его молоденькая свояченица «до

безумия» влюбилась в какого-то безвестного юношу, правда, очаровательного и несомненно, человека с будущим, да ко всему прочему еще и очень богатого, но весьма скромного происхождения. «Ну понимаете, никакого родства!» — говорил он, как будто я был подкидышем, незаконнорожденным. Но в конечном счете он находил довольно удобным, что у меня нет родственников, — по крайней мере, не придется за них краснеть. Моя мама — в общем, почтенная старушка — явно решила держаться в тени. И, наконец, надо же посчитаться с тобой, ведь ты, по его словам, росла балованной дочкой и вертела родителями, как хотела. У меня, твоего избранника, оказалось прекрасное состояние; и даже такое семейство, как Фондодеж, могло примириться с этим браком, закрыв глаза на все его минусы.

Мне, конечно, передали все эти сплетни, но, в сущности, я не узнал из них ничего нового. Я был так счастлив в то время, что не придал им никакого значения; да, надо признаться, я счел даже удобным для себя то, что свадьба наша состоялась чуть ли не тайно: разве я мог бы найти приличных шаферов в той голодной шайке, которая считала меня своим главарем? А гордость не позволяла мне обратиться к моим вчерашним

врагам. Блестящий брак давал мне полную возможность сблизиться с ними; но я рисую себя в этой исповеди такими черными красками, что могу и не скрывать одной хорошей черты моего характера: непреклонную волю к независимости. Я ни перед кем и никогда не унижался, всегда хранил верность своим убеждениям. Надо сказать, что в нашем браке я пошел на некоторый компромисс, и меня даже мучила совесть. Я обещал твоим родителям не мешать тебе выполнять религиозные обряды, но относительно себя самого обязался только не вступать в франкмасонские общества. Впрочем, других требований ко мне и не предъявляли. В те годы считалось, что религия — это женское дело. В обществе находили вполне достаточным и приличным, если муж сопровождал жену на церковные службы. А в Люшоне я уже доказал всей вашей родне, что мне это нисколько не противно.

В сентябре 1895 года, когда мы вернулись из Венеции, твои родители не пригласили нас к себе в усадьбу Сенон под тем предлогом, что туда съехалось на открытие охоты множество знакомых — их собственных друзей, а также приятелей барона Филипо, в доме нет ни одной свободной комнатки. И тогда мы сочли выгодным

для себя поселиться на время у моей мамы. Нас нисколько не смущала мысль о нашем грубом эгоизме и бесцеремонном отношении к ней. Мы милостиво согласились жить вместе с нею до тех пор, пока нам это будет удобно. Она и не думала торжествовать.

— Весь дом в вашем распоряжении, — говорила она. — Пожалуйста, приглашайте кого угодно, я съежусь в комочек, никто меня и не увидит. Я умею стушевываться. — И она добавляла: — Да меня и дома-то никогда не бывает.

Действительно, она много времени проводила на виноградниках, в винном подвале, на скотном дворе, в птичнике, в прачечной, наблюдая за стиркой. После обеда мама поднималась к себе в комнату прилечь на минутку. Если встречала нас в гостиной, то всегда робко извинялась. Прежде чем войти, она стучалась в дверь. Мне пришлось ее предупредить, что это не принято. Она даже предложила исполнять в доме обязанности экономки и кухарки, но ты не причинила ей такого огорчения. У тебя не было желания унижать ее, ты относилась к ней снисходительно. И какой глубокой благодарностью к тебе преисполнилось смиренное сердце! Напрасны оказались ее страхи: ты не так уж сильно разлучила ее с сыном.

Я даже был ласковее с нею, чем до женитьбы. Ее очень удивляло наше безудержное веселье, наш звонкий хохот. Да неужели этот счастливый молодой супруг — ее родной сын, прежде такой замкнутый, такой угрюмый? «Значит, я не умела подойти к нему, — думала она — Где уж мне! Ведь он и умом, и образованием много выше меня. Вот теперь жена исправляет зло, которое я причинила ему».

Помню, с каким восхищением она смотрела на тебя, когда ты размалевывала экраны и тамбурины, или пела романсы, или играла на пианино мендельсоновскую «Песню без слов»[51], неизменно сбиваясь все на одном и том же пассаже.

Иногда к тебе приезжали из города твои прежние девичьи подруги. Ты их предупреждала:

— Сейчас увидите мою свекровь. Удивительно своеобразный тип! Настоящая сельская аристократка. Теперь таких уж не встретишь.

Ты находила, что у мамы есть свой оригинальный стиль и много такта. Мама умела говорить с прислугой на местном диалекте, и ты снисходительно замечала, что держится она

---

**[51] Примечания: 51**

Мендельсон-Бартольди Феликс (1809–1847) — немецкий композитор, дирижер, пианист и органист. Основатель первой немецкой консерватории (1843).

«с простонародьем» прекрасно. Ты простирала свою любезность до того, что показывала гостям дагерротип, запечатлевший маму пятнадцатилетней девушкой в шелковом платочке. Ты даже разучила песенку, восхвалявшую старые крестьянские семьи, «благородней дворянских семей благородных»… Какой ты была тогда либералкой! Материнство вернуло тебе простоту и естественность.

…А все-таки надо же наконец рассказать о той ночи. Душная была ночь — мы даже не решались закрыть ставни, хотя ты страшно боялась летучих мышей. Под окном шелестела старая липа, а нам все казалось, что кто-то дышит в углу комнаты. Порой листья шуршали на ветру так громко, словно шел сильный дождь. По полу протянулась лунная дорожка, бледными пятнами выделялась раскиданная по стульям одежда. Уже не слышно было неумолчного гула, стоявшего днем над лугом, настала глубокая тишина.

Ты сказала: «Спать хочется… Давай уснем…» Но и во сне, усталые, мы не находили отдохновения. Из бездны забытья поднимался призрак. Тень неведомого мне Рудольфа. Как только мои руки смыкались, обнимая тебя, в твоем сердце воскресал его образ. А когда кольцо объятий

размыкалось, мы угадывали его присутствие. Я не хотел, я боялся страдать. Инстинкт самосохранения заставляет нас защищать свое счастье. Я знал, что нельзя расспрашивать тебя. Пусть его имя будет словно водяной пузырь: мелькнет и лопнет на поверхности нашей жизни. Пусть не всколыхнутся стоячие воды; не надо трогать того, что лежит на дне в вязкой тине, заражая воду, как гниющий смрадный труп. Я молчал. Но тебя, несчастную, томила потребность излить в словах обманутую, неутоленную страсть. Стоило только сорваться с моих уст вопросу: «Да кто же, наконец, этот Рудольф?» — и ты тотчас заговорила:

— Да, мне, конечно, давно следовало тебе рассказать… Только ты не думай… Ничего серьезного. Не волнуйся…

И в темноте зажурчал тихий торопливый шепот. Твоя голова уже не покоилась на моем плече. Ничтожно малое расстояние, которое разделяло два рядом простертые на ложе существа, стало непреодолимым.

Оказывается, Рудольф был по матери австриец, а отец его — француз, крупный фабрикант в Северном департаменте… Познакомился он с тобой в Эксе, куда тебя возили в сопровождении бабушки позапрошлым летом, до нашей с тобой

встречи в Люшоне. Он приехал из Кембриджа. Наружность его ты не стала описывать, но я тотчас же наделил его в воображении всеми пленительными чертами, которых я сам лишен. Луна освещала мою руку, лежавшую на простыне, — большую мужицкую руку с узловатыми пальцами и короткими ногтями. По твоим словам, вы ничего не делали предосудительного, хотя он вел себя менее почтительно, чем я. Не помню я дословно твоих признаний. Да и зачем они мне? Разве в этом дело? Если б ты его не любила, я бы постепенно утешился и простил бы короткий неудачный роман, в котором вдруг погибла чистота доверчивой девочки. Но сразу же у меня возник вопрос: «И года не прошло после этой великой любви, а как же она могла полюбить меня?» И я весь похолодел от ужаса. «Значит, все это фальшь, — думал я, — она лгала мне. Не пришло ко мне избавление. Как это я вдруг вообразил, будто девушка может полюбить меня? Таких, как я, никто не любит!»

Еще мерцали предрассветные звезды. Проснулся дрозд. Ветер зашуршал в листве, потом надул занавески на окнах, долетел до нас, и мы почувствовали его прохладное дуновение, приятно освежавшее воспаленные от бессонницы

глаза. Все было таким же, как во времена моего счастья. Так недавно, всего лишь десять минут назад, я был счастлив, а вот теперь уже говорю: «во времена моего счастья…» Я задал вопрос:

— Он не хотел на тебе жениться?

Помню, как ты возмутилась, каким шипящим голосом ты заговорила, когда я затронул твое самолюбие. Разумеется, я ошибался, — как раз наоборот! Рудольф был влюблен и очень гордился, что возьмет жену из рода Фондодеж. Но его родители узнали, что два твоих брата умерли в юношеские годы от чахотки. А так как у самого Рудольфа были слабые легкие, то его семья и слышать не хотела о таком браке.

Я задавал вопросы спокойным тоном, и у тебя даже мысли не возникало, что ты сама губишь свое счастье.

— Вот видишь, дорогой, значит, так судьба решила — выйти мне не за него, а за тебя. Ты ведь знаешь, у меня папа и мама ужасные гордецы, — право, даже смешно немножко! Они оскорбились, что свадьба моя расстроилась, и это принесло нам с тобой счастье. В нашем кругу, как тебе известно, придают просто невероятное значение здоровью, когда дело касается брака. И вот мама испугалась, вообразила, что всему городу известно, почему

Рудольф вдруг разошелся со мной, и теперь никто на мне не женится. Я обязательно останусь старой девой. Все думала, думала об этом, просто с ума сходила. Несколько месяцев она мне житья не давала. Как будто мало еще мне было горя… И в конце концов она убедила и папу, и меня, что выдать меня замуж невозможно.

Я держал себя в руках, не произнес ни одного слова, которое заставило бы тебя насторожиться. А ты все твердила, что такова уж была воля провидения, благодаря всему этому и родилась наша любовь.

— Я полюбила тебя с первого взгляда. Перед тем, как отправиться в Люшон, мы съездили в Лурд[52] на богомолье. И как только я тебя увидела, то сразу поняла, что молитвы наши услышаны…

Ты и не подозревала, как меня возмутили эти слова. У ваших противников втайне складывается более возвышенное представление о религии, чем это кажется вам и даже чем это кажется им самим. Несомненно, так, иначе почему же их оскорбляет ваше низменное применение религии. А в ваших глазах самое простое и естественное дело — просить всяких земных благ у

---

**[52] Примечания: 52**

Лурд — город во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи. Один из наиболее важных в Европе центров паломничества.

того самого Бога, которого вы называете Отцом небесным. Впрочем, что мне до этого? Важно другое: из твоих слов явствовало, что твои родные и ты сама жадно набросились на первого попавшегося жениха и подцепили меня на удочку.

Только в эти минуты я по-настоящему понял, до какой степени наш брак был неравным. Он стал возможен лишь потому, что на твою мамашу напало какое-то безумие, которым она заразила и отца, и тебя… Ты мне сообщила, что барон Филипо преисполнился негодованием и даже грозился отречься от тебя, если ты вздумаешь выйти за меня замуж. Да, да. Мы в Люшоне подсмеивались над этим старым болваном, а он, оказывается, всячески старался убедить весь клан Фондодежей в необходимости расторгнуть нашу помолвку.

— Только напрасно он старался, дорогой мой. Решение мое было твердо.

И ты несколько раз повторила, что, разумеется, нисколько об этом не жалеешь. Я не перебивал тебя, не мешал твоим излияниям. Я слушал, затаив дыхание. Ты заверила меня, что с Рудольфом не знала бы счастья. Он был слишком красив и, в сущности, не умел любить — он милостиво позволял, чтоб его любили. Первая попавшаяся женщина могла бы отнять его у тебя. Вот что

ты говорила. И ты не замечала, что даже голос у тебя менялся, когда ты произносила его имя: обычно голос твой немного жестковат, а тут в нем появлялись такие мягкие и трепетные, воркующие нотки, как будто из груди твоей рвались на свободу нежные, любовные вздохи, долго не находившие себе выхода.

Итак, твой Рудольф не дал бы тебе счастья, потому что был красив, обаятелен и нравился женщинам. Иными словами, со мной ты могла жить в полном спокойствии, себе на радость, благодаря моей невзрачной наружности и угрюмому характеру, которым я отталкивал от себя все сердца. У Рудольфа были, как ты говорила, несносные повадки, как у многих молодых повес, которые учились в Кембридже и старательно подражали английским манерам. Так неужели ты предпочла выйти замуж за мужлана, который не способен выбрать материю для костюма, завязать галстук, не занимается спортом, не блещет светскими манерами, не обладает тонким искусством избегать серьезных разговоров, сердечных излияний, признаний, не умеет жить изящно и весело? Нет, ты взяла себе в мужья несчастного малого только потому, что он подвернулся тебе в том году, когда твоя мать, истеричка, вступившая в критический

возраст, вбила себе в голову, что дочь «выдать замуж невозможно», и так тебя измучила, что ты не желала и не могла подождать еще полгода, а у меня оказалось достаточно денег, чтоб оправдать наш брак в глазах хорошего общества.

Я молча слушал, сдерживая короткое, быстрое дыхание, я сжимал кулаки, кусал себе губы. И до сих пор еще, когда я сам себе становлюсь противен, когда мне невыносимы бывают собственное мое тело и душа, я все думаю о том, каким я был в тот далекий 1885 год. Мне вспоминается юноша двадцати трех лет, несчастный муж, который в исступлении прижимал к груди руки, словно хотел задушить в себе свою молодую любовь.

Я весь дрожал. Ты заметила это и, прервав свои признания, спросила:

— Тебе холодно, Луи?

Я ответил, что озяб немножко, пустяки, сейчас согреюсь.

— Слушай, ты, надеюсь, не ревнуешь? Это было бы просто глупо…

Я поклялся, что у меня нет и тени ревности, и я не солгал. Но разве ты могла бы понять, что трагедия моя была совсем не в ревности?

Ты и не подозревала, не догадывалась, какую глубокую рану нанесла мне, но все же мое молча-

ние встревожило тебя. Ты в темноте протянула руку, пощупала мой лоб, погладила меня по лицу. Ни единая слеза не оставила на нем влажного следа, но, быть может, твоя рука не узнавала привычных черт — такими они стали жесткими, окаменелыми, так крепко я стиснул зубы. Ты испугалась. Ты хотела зажечь свечу и, перегнувшись через меня, долго отыскивала спички на ночном столике; я задыхался, чувствуя на своей груди твое проклятое тело.

— Что с тобой? Скажи что-нибудь. Ты меня пугаешь.

Я притворился удивленным. Стал уверять, что ты совершенно напрасно беспокоишься.

— Ах, глупыш ты мой дорогой! Как ты меня напугал! Ну, я тушу свечку. Спать, спать!

Ты больше не сказала ни слова. Я смотрел, как занимается заря, первое утро моей новой жизни. На черепичной крыше щебетали ласточки. По двору проходил какой-то человек, волоча ноги в тяжелых сабо. Я так ясно слышу до сих пор все, что слышал тогда, сорок пять лет назад: пение петухов, колокольный звон, далекий грохот поезда на железнодорожном мосту; и все еще я вдыхаю запах, вливавшийся тогда в окно: пахло дымком — ветер нес этот приятный мне запах с

побережья, когда там выжигали сухой терновник и траву. Вдруг я приподнялся.

— Иза, помнишь, ты плакала в тот вечер, когда мы сидели на скамье у Верхнего Баньера? Ты из-за него плакала?

Ты ничего не ответила, я схватил тебя за руку выше локтя, ты вырвалась и зарычала, как зверек. Потом повернулась на бок. Ты крепко спала в волнах длинных волос. Озябнув от предрассветного холодка, ты натянула на себя скомканные простыни и свернулась во сне клубочком, как спят молодые животные. Зачем же было тревожить твой детский безмятежный сон? Ведь то, что я хотел услышать от тебя, я уже знал. Не правда ли? Я бесшумно встал, подошел к зеркальному шкафу и долго всматривался в свое отражение, как будто передо мною стоял чужой человек или как будто я вновь стал самим собою — человеком, которого никто не любит, из-за которого никто не будет страдать. Жалко мне стало своей молодости; большой мужицкой рукой я провел по своей щеке, на которой уже темнела жесткая рыжеватая щетина небритой бороды.

Я молча оделся и вышел в сад. Мама была в розовой аллее. Она всегда вставала вместе с прислугой и принималась проветривать комнаты.

Она сказала мне:

— Что, вышел прохладой подышать? — И, указывая на дымку, окутавшую равнину, добавила: — Знойно будет нынче. В восемь часов я везде закрою ставни…

Я поцеловал ее нежнее, чем обычно. Она сказала вполголоса:

— Дорогой ты мой…

Сердце у меня (ты, верно, удивишься, что я говорю о своем сердце) разрывалось от муки. Слова горького признания просились на уста… Но с чего начать? Да и поймет ли меня бедная мама? Молчать гораздо легче, и я всегда поддаюсь соблазну ничего не говорить. Я спустился к террасе. Над виноградником смутно вырисовывались хрупкие силуэты плодовых деревьев. Холмы словно плечом приподнимали пелену тумана и разрывали ее. Из серой дымки возникла колокольня, а потом и сама церковь, — они поднялись, как живые существа. Ты вот воображаешь, что я ровно ничего не понимаю в таких вещах… Однако в ту минуту я понял, что человеку, жизнь которого разбита, как у меня, надо искать причину и смысл своего крушения и что решающие события нашей судьбы, особенно те, которые касаются сердца нашего, ниспосланы нам с сокровенным значением, и

мы должны разгадать его… Да, в иные часы своей жизни я был способен постичь такие тайны, и это могло бы сблизить меня с тобою. Впрочем, в то утро волнение мое длилось лишь несколько минут. Помню, как я шел обратно, к дому. Еще не было восьми часов, а солнце уже палило. Ты сидела у окна, наклонив голову, придерживала одной рукой свои распущенные волосы, а другой причесывала их щеткой. Ты не видела меня. Я остановился и, подняв голову, мгновение смотрел на тебя с глубокой ненавистью. Прошло столько лет, а мне кажется, что до сих пор еще во рту у меня горечь этой ненависти.

Я побежал к себе в кабинет, отпер ящик, где у меня хранился скомканный платок, которым я вытер твои слезы в тот вечер, когда мы были в Верхнем Баньере, тот платочек, который я, болван, спрятал у себя на груди. Теперь я вытащил его, привязал к нему камень, словно к шее живого пса, которого решил утопить, и бросил его в болотце, именуемое у нас «водомоина».

## Глава пятая

И с того дня началась долгая эра великого молчания, которая длится уже пятое десяти-

летие. Внешне крушение нашего счастья не было заметно. Все как будто шло по-старому. Не прекратилась и телесная наша близость, но в минуты объятий уже не возникал перед нами призрак Рудольфа, и ты никогда не произносила теперь опасного имени. Он появился по твоему призыву, некоторое время бродил вокруг нашего ложа и сделал свое дело — разрушил супружеское счастье. После этого оставалось только молча ждать, как потянутся вереницей связанные меж собою последствия тайной катастрофы.

Ты, вероятно, упрекала себя, зачем все рассказала мне. Конечно, ты не придавала своей исповеди большого значения, а просто считала, что было бы куда умнее изгнать это имя из наших разговоров. Не знаю, заметила ли ты, что мы уже не шептались, как прежде, по ночам. Кончились наши бесконечные беседы. И разговаривая друг с другом, мы обдумывали каждое свое слово. Оба держались теперь настороже.

Ночью я просыпался — меня будило страдание. Я думал: «Теперь я, как лиса, попавшая в западню, — мне уж не вырваться». И мысленно я рисовал себе сцену нашего объяснения. Вот я грубо встряхиваю тебя за плечо и сбрасываю с постели. А ты — ты вскрикнешь: «Нет, я не лгала

тебе, клянусь, я полюбила тебя!..»

Да, за неимением лучшего! И ведь так легко уверить своего партнера, что ты его обожаешь, стоит только прибегнуть к чувственному волнению, хотя оно ровно ничего не значит. А между тем я не чудовище: первая попавшаяся девушка, которая искренне полюбила бы меня, сделала бы из меня все, что ей угодно.

Иной раз я в темноте стонал от жестокой муки, а ты не просыпалась.

Впрочем, с первой твоей беременностью все объяснения стали излишними, отношения наши постепенно изменились. Беременность твоя определилась незадолго до сбора винограда. Мы вернулись в город. У тебя случился выкидыш, и несколько недель тебе пришлось провести в постели. Весною ты снова понесла. Надо было беречь тебя. И вот пошли годы, когда ты зачинала, рожала, хворала, кормила — предлогов было больше чем достаточно для того, чтобы отдалиться от тебя. Я повел жизнь, полную тайного распутства, — весьма тайного. Ведь я уже много выступал в суде, был «при деле», как говорила мама, и мне полагалось строго соблюдать приличия. Похождениям были отведены определенные часы, они вошли у меня в привычку.

Жизнь в провинциальном городе вырабатывает у развратника инстинктивную хитрость, как у преследуемой дичи. Успокойся, Иза, я милосердно избавлю тебя от рассказов о «мерзостях». Не бойся, я не стану описывать адскую скверну, которой я, однако, осквернял себя почти ежедневно. Ты когда-то спасла меня от ада, и ты же вновь ввергнула меня в ад.

Но если б я даже вел себя менее осторожно, ты все равно ничего бы не заметила. С рождением Гюбера проявилась твоя истинная натура: ты по природе своей — мать, и только мать. Меня ты совсем забросила, просто не замечала; вот уж действительно можно сказать про тебя: «У нее только и света в окошке, что дети». Сделав тебя матерью, я, очевидно, совершил все, чего ты ждала от меня.

Пока дети были бессмысленными червячками, они не интересовали меня, и у нас с тобой не было никаких столкновений из-за них. Встречались мы только в часы, отведенные по супружескому ритуалу для привычного акта плотского сближения, в котором мужчина и женщина бесконечно далеки душою друг от друга.

Ты вспомнила о моем существовании лишь тогда, когда я, по твоему мнению, стал опасен

для твоих детенышей. Ты возненавидела меня, когда я предъявил свои права на них. Сейчас обрадую тебя признанием: никакого отцовского инстинкта у меня не было. Во мне просто говорила ревность, я завидовал этим малышам, пробудившим в тебе такую страстную любовь. Да, да, в наказание тебе я старался отнять их у тебя. Я выставлял, конечно, высокие соображения, говорил о требованиях долга. Я, видите ли, не желал, чтобы закоренелая святоша исковеркала своим воспитанием умы моих детей. Вот в какую гордую позу я становился. А на деле шла речь не об этом.

Кончу ли я когда-нибудь свое повествование? Я предназначал его для тебя, а теперь мне кажется, что ты не станешь читать его дальше — не хватит ни терпения, ни желания. В сущности, пишу я для самого себя. Я ведь старый адвокат, вот и привожу в порядок папку с начисто проигранным делом о моей жизни, разбираюсь в документах, провалив тяжбу.

Опять звонят колокола… Завтра Пасха. Придется спуститься и посидеть с домочадцами ради «Святого праздника», как я тебе обещал. «Дети жалуются, что совсем тебя не видят», — сказала ты сегодня утром. Рядом с тобой стояла у моей

постели Женевьева. Ты вышла, желая оставить нас с дочерью наедине. Женевьеве нужно было что-то попросить у меня. Я слышал, как вы шептались в коридоре: «Лучше тебе первой с ним поговорить», — убеждала ты Женевьеву. Я догадывался, что речь пойдет о муже моей внучки, об этом шалопае и бездельнике Фили. А все-таки я молодец! Перехитрил вас, сумел повернуть разговор в другую сторону и не дал Женевьеве заговорить о своем зяте. Она ушла не солоно хлебавши. Я знаю, чего им от меня надо. Недавно я слышал, как они сговаривались. Окно гостиной как раз под моим окном, и когда оба окна открыты, мне все слышно. Надо только наклониться. Они хотят, чтобы я дал Фили «взаймы» крупную сумму, тогда он внесет залог на биржу и будет из четвертой доли работать с известным маклером. Дело, видите ли, надежное, отчего не вложить в него деньги. Ну, уж извините! Я ведь чую — надвигается буря. Деньги держи под замком… Если б они знали, сколько я продал разных акций в прошлый месяц: я почуял, что на бирже пойдет на понижение, и опередил игру…

Все уехали к вечерне. Из-за Пасхи обезлюдел дом и поля. Сижу я тут один, старый Фауст, отрешенный от всех радостей мира, отделенный

от них непреодолимой преградой — своей старостью.

Они не знают, что такое старость. А как внимательно они слушали меня за завтраком, когда я заговорил о бирже, о торговых делах, — так и впивались в меня глазами, ловили каждое слово. Говорил-то я главным образом для Гюбера — пусть дает отбой, если еще не поздно.

Весьма встревоженный был у него вид! Вот уж кто не умеет скрывать свои неприятности! Но ел он за двоих, машинально опустошая тарелку, а ты ему все подкладывала. Все матери, бедняжки, так поступают: когда видят, что любимого сына томит забота, они чуть не силой заставляют его есть, словно от этого у него прибавится бодрости и он справится с бедой. А Гюбер тебя обрывал, грубил, как я когда-то грубил своей матери.

Зато Фили, муж моей внучки, усердно ухаживал за мной, подливал мне вина в бокал. А уж как старалась сама Янина выразить нежное беспокойство о своем дедушке:

— Дедушка, миленький, ну зачем вы курите? Ведь вам вредно! Даже одну папироску, и то нельзя. А вы уверены, что этот кофе действительно без кофеина?

Плохая она актриса, в каждом слове чувствует-

ся фальшь, даже звук голоса выдает ее с головой, бедняжку. Когда ты была молодой, ты тоже фальшивила, притворялась. Но с первой же беременности перестала кривляться и стала естественной А вот Янина до конца жизни останется глупенькой дамочкой, которая стремится узнать все новости, все моды, повторяет чужие слова, показавшиеся ей верхом изысканности, обо всем высказывает чужое мнение, ибо своего не имеет, и ровно ничего на свете не понимает. Как же это Фили, такой непосредственный малый и такой повеса, может жить с этой дурочкой и ломакой? Впрочем, не все в ней фальшиво — она полна непритворной страсти к красавчику Фили. Только потому Янина так плохо и разыгрывает свою роль, что для нее ничего на свете не существует, кроме ее любви.

После завтрака мы вышли посидеть на веранде. Янина и Фили смотрели на Женевьеву молящим взглядом, а она, в свою очередь, глядела на меня и все порывалась что-то сказать. Ты, Иза, еле заметно покачала головой: здесь, нельзя. Тогда Женевьева поднялась и спросила:

— Папа, хочешь, пойдем с тобой погуляем немножко?

Как вы все меня боитесь! Мне даже стало жалко

Женевьеву, и хотя я сначала решил, что с места никуда не двинусь, но тут поднялся и взял ее под руку. Мы прошлись с нею по лужайке. Все семейство наблюдало за нами с веранды. Женевьева сразу же начала:

— Папа, я хотела поговорить с тобой о Фили…

Она дрожала. Право, очень неприятно, когда родные дети тебя боятся. Но как вы думаете, возможно в шестьдесят восемь лет избавиться от укоренившегося в твоих чертах жестокого выражения? В таком возрасте его не изменишь. А душе больно, что она не может отразиться в наружности человека…

Женевьева торопливо выкладывает свою просьбу, в которой каждое слово было заранее обдумано. Как я и ожидал, речь идет о залоге на биржу. Только напрасно она напирала на те доводы, которые меня только раздражают. Послушать ее, так безделье сего молодого человека угрожает разрушить счастье и будущность его семьи. Фили, видите ли, начинает портиться. Я ответил, что для такого малого занятия биржевого маклера послужат только удобной ширмой. Женевьева встала на его защиту. Решительно все любят этого Фили.

— Зачем же, папочка, относиться к его шало-

стям строже, чем сама Янина относится к ним…

Я возразил, что вовсе не собираюсь его осуждать. Любовные похождения этого красавца мало меня занимают.

— Разве он интересуется мною? Ведь нет, не так ли? Почему же я должен им интересоваться?

— Он тебя глубоко уважает…

Эта глупая ложь дала мне повод подпустить шпильку, которую я держал в запасе:

— Должно быть, из уважения твой Фили и называет меня «старым крокодилом». Пожалуйста, не спорь, я сколько раз сам слышал, как он меня за моей спиной так величал… Да я и не возражаю: крокодил так крокодил, крокодилом и останусь. Чего ждать от старого крокодила? Только его смерти. Да еще погодите, — неосторожно добавил я, — берегитесь, как бы покойник не выкинул с вами какой-нибудь неприятной штуки. (Очень сожалею, что сказал это, — теперь у них заработает смекалка!)

Женевьева испуганно запротестовала, вообразив, что я обиделся на оскорбительное прозвище «крокодил». Меня оскорбляет не эта дурацкая кличка, а молодость Фили. Может ли он понять, что представляет в глазах старика, во всем разочарованного, всеми ненавидимого, — торжеству-

ющая молодость счастливого глупца, который с юных лет упивался наслаждениями, каких мне и за пятьдесят лет жизни ни разу не привелось изведать? Я ненавижу этих молокососов, я полон лютой злобы против них. А этот Фили особенно мне противен. Как бродячий кот бесшумно прыгает в чужое окно, учуяв соблазнительный запах, так и он мягкой поступью, на бархатных лапках, проник в мой дом, услышав заманчивый аромат богатства. Приданого за моей внучкой дали немного, зато у нее были великолепные «надежды». Ах, эти надежды наших дорогих деток! Чтобы дорваться до их осуществления, наследники рады перешагнуть через наш труп.

Женевьева расплакалась, всхлипывала, утирала слезы, и тут я сказал вкрадчивым тоном:

— Послушай, ведь у тебя есть муж. Твой Альфред коммерсант — торгует ромом. Что ему стоит взять зятя в свое дело, создать ему положение. Почему я должен великодушничать больше, чем вы?

И тут вдруг пошла совсем иная песня. Женевьева заговорила о бедняге Альфреде с величайшим презрением и брезгливостью! Послушать ее, так он просто трус, жалкое, робкое существо — он не только не расширяет, а с каждым днем сокращает

торговые обороты. Какая прежде была внушительная фирма, а теперь двоим директорам в ней делать нечего.

Я поздравил Женевьеву с тем, что ее муж осторожный человек: когда надвигается буря, нужно убирать паруса. Будущее за теми, кто, как Альфред, играет по маленькой. Нынче самый большой недостаток делового человека — широкий размах. Женевьева решила, что я смеюсь над ней, а я действительно так думаю — это мое глубокое убеждение, недаром же я держу деньги у себя под замком и даже не рискую положить их в сберегательную кассу.

Мы повернули обратно к дому. Женевьева теперь не осмеливалась слова промолвить. Я шел, нарочно не опираясь на ее руку. Все домочадцы сидели кружком, смотрели на нас и, несомненно, толковали о явных зловещих признаках разлада меж нами. Вероятно, наше возвращение прервало спор между семейством Гюбера и семейством Женевьевы. Ох, какая великолепная свалка произойдет из-за наследства, если только я соглашусь отдать вам когда-нибудь свои деньги! Из всей родни, собравшейся на веранде, стоял на ногах только Фили. Ветер трепал его непокорные волосы. На нем была рубашка с открытым воротом и

короткими рукавами. Терпеть не могу нынешних молодых людей — они похожи на девиц атлетического сложения. Его круглые детские щеки вспыхнули, когда на глупый вопрос Янины: «Ну, как побеседовали?» — я ласково ответил: «Да, мы беседовали о старом крокодиле…»

Еще раз скажу: я ненавижу его не за эту насмешливую кличку, а за то, что молодежь не понимает, что такое старость. Не может представить себе пытки старика, который ничего не получил от жизни и ничего не ждет от смерти. Пусть нет ничего за гробом, и никакого этому нет объяснения, и не дано нам разгадать эту тайну… Но все-таки ты ведь, Иза, не выстрадала того, что я выстрадал. Дети не ждут твоей смерти. Они тебя по-своему любят, обожают тебя. Они без колебаний стали на твою сторону. А между тем я их любил. Женевьева — теперь толстая сорокалетняя женщина, и только что она пыталась вытянуть у меня для своего беспутного зятя четыреста тысяч франков, а ведь я помню, как она маленькой девчушкой сидела у меня на коленях. Ты, бывало, как увидишь наши нежности, сейчас же зовешь ее к себе. Да что ж это я! Никогда мне не кончить своей исповеди, если я буду говорить вперемежку о настоящем и о прошлом. Призываю себя к порядку.

## Глава шестая

Думается, я возненавидел тебя, Иза, не сразу, не в первый же год после той роковой ночи. Нет, ненависть росла во мне постепенно, по мере того как я убеждался в полном твоем равнодушии ко мне, ибо для тебя ничто на свете не существовало, кроме твоих визгливых, жадных крикунов-ребятишек. Ты даже не заметила, что я, хотя мне еще не было тридцати лет, стал известным адвокатом по гражданским делам, был завален работой и что меня уже прославляли как крупную величину в нашем судебном округе, самом знаменитом во Франции после Парижского округа. А начиная с дела Вильнава (1893 год) я прославился, кроме того, и как адвокат-криминалист (а ведь очень редко у адвокатов бывают выдающиеся способности в обеих этих областях юриспруденции), и только ты одна не знала, что моя защита в этом процессе прогремела по всему миру. И как раз в этом году наш разлад перешел в открытую войну.

Начиная с дела Вильнава, принесшего мне славу, меня еще сильнее сдавили тиски, в которых я задыхался; до тех пор у меня в душе еще, пожалуй,

тлела искорка надежды, но мой громкий триумф доказал мне, что я для тебя не существую.

Супруги Вильнав (помнишь ли ты их историю?) прожили в браке двадцать лет и все еще любили друг друга так нежно, что любовь их вошла в пословицу — люди стали говорить «Вот у кого мир да согласие!» Жили они вместе со своим единственным сыном, подростком пятнадцати лет, в пригородной усадьбе Орион; жили довольно замкнуто, вполне довольствуясь обществом друг друга: «Такая любовь только в книгах бывает!» — восхищалась твоя мать, всегда говорившая избитыми фразами (Женевьева унаследовала от бабушки секрет такого искусства).

Уверен, что ты уже ничего не помнишь о драме Вильнавов. Если я стану рассказывать о ней, ты будешь надо мной смеяться, как ты смеялась однажды, когда я за обедом предался воспоминаниям о своих школьных и студенческих экзаменах… но что ж делать. Как-то раз лакей, прибирая утром комнаты в первом этаже, услышал раздавшийся во втором этаже выстрел и отчаянный крик. Он бросился наверх. Спальня хозяев заперта. Слышно, как там переговариваются вполголоса, передвигают мебель, кто-то пробежал в ванную. Лакей все дергает дверную

ручку. Наконец дверь отворяется. Вильнав лежит на постели без памяти, у него вся рубашка в крови. А его жена, непричесанная, в халате, стоит у спинки кровати с револьвером в руке. Она сказала лакею: «Я ранила мужа, привезите скорее доктора и полицейского комиссара. Я никуда отсюда не уйду». От нее ничего не могли добиться — говорила только одно: «Я ранила мужа». Это подтвердил и Вильнав, когда оказался в состоянии говорить. Больше ничего от пострадавшего не узнали — он, так же как и жена, отказывался от показаний.

Обвиняемая не пожелала пригласить себе адвоката; так как я был зятем г-на Фондодежа, большого их приятеля, то мне предложили выступить на суде в качестве защитника по назначению. Я ежедневно ездил в тюрьму, посещал свою подзащитную, но ничего не мог выпытать — она упрямо отказывалась отвечать. По городу ходили о ней самые нелепые слухи, но я с первого же дня не сомневался в ее невиновности: она сама взвалила на себя вину, и муж, горячо ее любивший, поддержал эту клевету. О, у людей, не знавших взаимной любви, есть особое чутье, и они безошибочно угадывают у других страстную любовь. Эта женщина была вся во власти любви

к своему мужу. Она, конечно, не стреляла, не могла выстрелить в него. Может быть, она даже бросилась к нему на защиту и заслонила его от револьвера какого-нибудь изгнанного поклонника. Но никто из посторонних не приезжал к ним накануне покушения на убийство. Никто из их знакомых не был частым посетителем в их доме. Впрочем, не стоит рассказывать во всех подробностях эту старую историю.

До того самого дня, когда я должен был выступить в суде, я считал необходимым только отрицать, что моя подзащитная совершила преступление, в котором ее обвиняли, и доказывать, что она не могла этого сделать. И только в последнюю минуту меня осенила гениальная мысль, разорвалась завеса, скрывавшая тайну: все раскрыло показание сына обвиняемой, юного Ива Вильнава, — вернее, не само показание, так как оно было малозначительным и не дало ничего нового, а тот молящий и властный взгляд, которым смотрела на него мать: она глаз с него не сводила до тех пор, пока он не кончил своего показания и его не увели из зала суда, — тогда ее лицо вдруг просветлело, все в ней изобличило внутреннее чувство успокоения. И тут меня осенила мысль: я в своей речи обвинил сына, бо-

лезненного подростка, ревновавшего мать к отцу, слишком горячо ею любимому. Я поразил всех неопровержимой логикой и страстным красноречием. Моя импровизированная речь знаменита до сих пор, ибо профессор Ф., по собственному его признанию, нашел в ней в зародыше основу своей системы: она способствовала более глубокому проникновению в психологию подростков, помогла появлению новых методов лечения их неврозов.

Если я воскрешаю сейчас эти воспоминания, дорогая Иза, то вовсе не потому, что надеюсь вызвать у тебя запоздавшее на сорок лет восхищение моими талантами, которого ты не чувствовала в дни моего триумфа, когда газеты обоих полушарий печатали статьи обо мне и помещали мой портрет. Важно тут другое. Полное твое равнодушие в этот торжественный для меня час моей жизни в полной мере показало мне, как я чужд тебе и как одинок. А в это время у меня в течение нескольких недель был перед глазами пример женской самоотверженной любви — в тюремной камере я видел женщину, которая приносила себя в жертву ради спасения своего ребенка, видя в нем не столько своего любимого сына, сколько дитя своего любимого мужа, наследника его

имени. Ведь муж, жертва покушения, умолял ее: «Прими вину на себя…» И из любви к нему жена решилась уверить весь мир, что она преступница, что она хотела убить мужа, который был ей дороже всех на свете. Побудила ее к этой жертве супружеская, а не материнская любовь. (Дальнейшее развитие событий это подтвердило: она рассталась с сыном и под разными предлогами всегда жила вдали от него.) А ведь какая-нибудь женщина могла бы полюбить меня так же, как любила Вильнава жена. Во время процесса мне часто приходилось с ним встречаться. Чем он был лучше меня? Довольно красивый мужчина. В нем чувствовалась порода, но, должно быть, он был недалек — это доказывается его враждебным отношением ко мне после процесса. А ведь я даровитый человек. Будь возле меня в ту пору любящая женщина — каких только высот я бы не достиг! Но ведь одинокий человек не может всегда хранить веру в себя. Нам надо, чтоб возле нас был свидетель нашей силы — кто-нибудь, кто ведет счет нанесенным ударам, отмечает удачи, неудачи и увенчивает нас лаврами в день победы — как когда-то в школе, в день раздачи наград, получив похвальный лист и стопку книжек, я искал глазами маму в толпе родителей, и под звуки

военного оркестра, игравшего туш, она мысленно возлагала на мою головенку, остриженную под машинку, золотой лавровый венок.

Ко времени процесса Вильнава мама сильно сдала. Я далеко не сразу заметил это; первым признаком этого упадка была ее неожиданная привязанность к черной собачонке, которая всегда неистово лаяла, как только я приближался. Всякий раз, когда я навещал маму, у нее только и разговору было, что об этой собачке.

Впрочем, мамина нежность не заменила бы мне той любви, которая могла бы спасти меня на решающем повороте моего жизненного пути. У мамы был один порок: она слишком любила деньги, и этот порок я унаследовал от нее — сребролюбие у меня в крови. Мама, конечно, всячески уговаривала бы меня не бросать адвокатуру, которая дает мне «хорошие деньги». А ведь я мог бы стать литератором, меня усиленно приглашали сотрудничать и газеты, и все толстые журналы; на выборах левые партии предлагали мне выставить свою кандидатуру в парламент от округа Ла-Бастид (человек, который после моего отказа дал согласие баллотироваться, прошел без труда), но я поборол свое честолюбие, потому что хотел «зарабатывать хорошие деньги».

Да ведь и тебе этого хотелось, и ты дала мне понять, что никогда не расстанешься с провинцией; меж тем женщине, которая любила бы меня, была бы дорога моя слава и она убедила бы меня, что искусство жить состоит в том, чтобы жертвовать низменными аппетитами во имя высокой страсти. Дураки газетчики поднимают шумиху и выражают притворное негодование по поводу того, что тот или иной адвокат, став депутатом или министром, извлекает кое-какие мелкие преимущества из своего положения. А лучше бы господа борзописцы выражали свое восхищение твердостью выдающихся людей, которые сумели установить разумную иерархию в мире своих страстей и предпочли славу политического деятеля самым прибыльным судебным процессам. Если б ты любила меня, ты исцелила бы меня от глупой алчности, которая выше всего ставит непосредственную выгоду, заставляет гоняться за мелкой, жалкой добычей — за гонорарами — и пренебрегает «тенью могущества». А ведь не бывает тени без реальности, тень — это часть реальности. Но куда там! У меня оставалось одно утешение: «зарабатывать хорошие деньги». Идеал любого лавочника!

Вот и все, что мне осталось — деньги, нажитые

за долгие и ужасные годы. Вас одолевает безумное желание выманить их у меня. А мне невыносима мысль, что они попадут в ваши карманы, хотя бы после моей смерти. Я ведь говорил в начале своего письма, что хотел принять кое-какие меры, и вам бы тогда ничего не досталось. И тут же я дал тебе понять, что я отказался от этой мести. Но говорил я так, не зная, что в моем сердце ненависть — как море: есть у нее свои приливы и отливы. Отхлынет она — я смягчаюсь. А потом снова прилив, и мутная волна захлестывает меня.

С нынешнего дня, со дня «светлого праздника Пасхи», когда вы сделали попытку обобрать меня ради Фили и когда я видел, как вся семья собралась у двери в кружок и следит за мной, меня преследует картина будущего дележа моего наследства. Вот-то поднимется драка! Вы, как собаки, начнете грызться из-за моих земель, из-за акций и прочих ценных бумаг. Земли вы получите. А вот ценных бумаг уже нет. Да-с, те самые ценные бумаги, о которых я упоминал в начале письма, — фью! Нет их, проданы на прошлой неделе! И хорошо я сделал, что сбыл их с рук: с тех пор курс бумаг на бирже падает с каждым днем. Все корабли идут ко дну, лишь только я убегаю с них. Я никогда не ошибаюсь. Теперь у меня

миллионы, миллионы чистоганом! Вы их тоже получите… Получите, если мне это будет угодно. Но бывают дни, когда я говорю: «Не достанется вам ни гроша!»

Слышу, как вы идете целой оравой по лестнице, перешептываетесь, останавливаетесь на площадке, разговариваете, не боясь разбудить меня (у вас уже решено, что я оглох); сквозь щель под дверью вижу свет от зажженных свечей. Узнаю фальцет вашего милейшего Фили (у него как будто все еще ломается голос), и вдруг раздается приглушенный женский смех, фырканье, кудахтанье. Ты их журишь: «Перестаньте, как не стыдно! Он же не спит!» Ты подходишь к моей двери, прислушиваешься, смотришь в замочную скважину. Меня выдает лампа. Ты возвращаешься к своей стае и, должно быть, шепчешь: «Не спит еще! Подслушивает». Все уходят на цыпочках. Опять скрипит лестница, потом одна за другой затворяются двери. В пасхальную ночь в доме собрались супружеские пары нашей семьи. И ведь я мог бы стать живым стволом нашего генеалогического древа, тесно связанным со своими молодыми отпрысками. По большей части в семье любят отца. Но ты была моим врагом, и дети оказались во вражеском стане.

Пора теперь перейти к нашей междоусобной войне. Но сегодня уже не могу писать, нет сил. Однако в постель я не лягу. Терпеть не могу лежать в постели, даже когда здоровье этого требует. Зачем прятаться от смерти, притворяясь покойником. Мне кажется, смерть не посмеет прийти, пока я держусь на ногах. Чего же я боюсь? Страданий, мучительной агонии, предсмертной икоты? Нет. Но ведь смерть — это небытие, ее можно выразить лишь знаком отрицания — минус.

## Глава седьмая

Пока трое наших детей были крошками, наша вражда оставалась скрытой. Атмосфера в доме создалась тяжелая. Ты была глубоко равнодушна ко мне и ко всему, что меня касалось, а поэтому не страдала из-за этой атмосферы — ты просто ее не замечала. Да меня почти никогда и дома не было. Утром я завтракал один и в одиннадцать часов уезжал в суд. Меня поглощали дела, семейным радостям я мог бы посвящать очень немного времени, но и это время я, как ты, конечно, догадываешься, тратил на удовольствия совсем иного рода. Почему же меня соблазнял самый грубый разврат, лишенный всего, что

обычно служит извинением распутству, сведенный к самой неприкрашенной мерзости, без малейшей тени чувства, без малейшей, хотя бы притворной, нежности? Ведь мне нетрудно было бы заводить романы, которые вызывают в хорошем обществе восхищение. Разве адвокату, и к тому же еще довольно молодому, не приходится сталкиваться с соблазнительными просительницами? Очень многие женщины, обращаясь ко мне по делу, видели во мне мужчину и старались очаровать меня. Но я потерял веру в лукавых обольстительниц или, лучше сказать, не верил, что действительно могу понравиться. С первого же взгляда я угадывал, что женщины, готовые стать моими любовницами и прилагающие все усилия к тому, чтобы я откликнулся на их призыв, руководились корыстью. Меня замораживала предвзятая мысль, что все они ждут для себя выгоды от этого сближения. Да почему не признаться еще в одной причине? К трагической уверенности в том, что никто меня не любит и не может полюбить, присоединилась подозрительность богатого скупца, который боится, как бы его не надули, не стали бы вытягивать у него деньги. Тебе-то я назначил определенную сумму на расходы. Прекрасно зная мой характер, ты

не решилась бы попросить у меня хоть на грош больше. Впрочем, сумма была довольно солидная, и ты никогда ее не превышала. С этой стороны мне ничто не угрожало. Но другие женщины! Я принадлежал к числу тех дураков, которые убедили себя, что на свете существуют только две категории женщин: бескорыстные, жаждущие любви, и пройдохи, которые хотят только денег. А между тем у большинства женщин жажда любви уживается с потребностью в поддержке, покровительстве — им хочется, чтоб кто-нибудь заботился о них, защищал, баловал... В шестьдесят восемь лет я вижу это так ясно, что иной раз готов выть от отчаяния, — зачем я сам, собственными руками отталкивал от себя любовь, и не из добродетельных чувств, а из недоверия и мелкой скаредности. Было у меня в жизни несколько связей, но, едва начавшись, они обрывались — то из-за моей нелепой подозрительности, ибо я дурно истолковывал самую невинную просьбу, то я сам становился противен женщине за кое-какие мои повадки, которые и ты недолюбливала: за споры с официантами в ресторанах или с извозчиками из-за чаевых. Я хочу заранее знать, сколько должен платить. Я люблю, чтобы на все была такса. Придется сделать постыдное призна-

ние: пожалуй, в разврате меня привлекало то, что на него заранее установлены определенные цены. И разве у такого человека, как я, есть что-нибудь общее между влечением сердца и голым желанием? Влечение сердца, как мне казалось, у меня уж никогда не может быть удовлетворено, а потому, едва оно зарождалось, я спешил его подавить. Я стал великим мастером в искусстве убивать в себе всякое чувство в ту минуту, когда воля еще играет в любви решающую роль, когда мы стоим на грани страсти и еще вольны всецело отдаться ей или же вырваться из ее оков. Я довольствовался простейшими отношениями — теми, которые покупаются за условленную заранее цену. Терпеть не могу, когда меня надувают, но то, что я обязан заплатить, я всегда плачу. Вы вот все кричите о моей скупости; между тем я никогда не задерживаю деньги по счетам, не выношу долгов и всегда плачу наличными: все мои поставщики это знают и восхваляют меня. Мне просто бывает невыносима мысль, что я кому-то должен, хотя бы ничтожную сумму. Точно так же я понимал и «любовь». За услугу плати чистоганом… Какая гадость! Нет, я слишком уж сгущаю краски, слишком черню себя: все-таки я любил одну женщину, и она, кажется, любила

меня… Было это в 1909 году, на исходе моей молодости. Зачем обходить молчанием этот роман? Ты знала о нем и припомнила мне его, когда тебе понадобилось кое-что выторговать у меня.

Она была молоденькой гувернанткой, я спас ее от суда (она была под следствием по обвинению в детоубийстве). Сначала она отдалась мне из благодарности, но затем… Да, да, в тот год я изведал искреннюю любовь… только все погубил мой ненасытный эгоизм. Мало того что я держал ее в бедности, чуть ли не в нищете, я еще требовал, чтобы она всегда находилась в моем распоряжении, ни с кем бы не виделась, была бы всецело в моей власти, зависела от приливов и отливов моего желания и услаждала меня в редкие часы моего досуга. Она была моей собственностью, моей вещью. Владеть, пользоваться, использовать себе на потребу — эти мои стремления распространялись и на людей. У меня натура рабовладельца. И вот однажды в жизни я как будто нашел себе покорную жертву, отвечавшую всем моим требованиям. Я держал ее под надзором, следил за каждым ее взглядом… Ах, что ж это я!.. Забыл свое обещание не вести с тобой разговор на такие темы. Скажу кратко: она уехала в Париж — не могла выдержать.

«Ведь если б ты только с нами не мог ужиться, — не раз говорила мне ты, — а то ведь все, решительно все боятся тебя, избегают тебя, Луи. Ты же сам видишь!» Да, я видел это. В судебной палате меня всегда сторонились. Очень долго меня не выбирали в Совет присяжных поверенных. А на пост старшины сословия адвокатов выбирали не меня, а всяких кретинов, после которых мне было бы стыдно занимать этот пост. Да, в сущности, зачем мне он? Только лишние расходы на представительство, на приемы. Все эти почести обходятся дорого, игра не стоит свеч. Тебе, наоборот, хотелось почета — ради детей. Ты никогда ничего не хотела ради меня самого, всегда твердила: «Сделай это ради детей».

Через год после нашей свадьбы у твоего отца случился первый удар, и доступ в усадьбу Сенон был для нас закрыт. Ты очень скоро привыкла к Калезу и свила в нем себе гнездо. Меня ты отринула, но родной мой край полюбила. Ты пустила корни в моей земле, но они не переплелись с моими корнями Дети всегда проводили каникулы в этом доме, в этом саду. Здесь умерла наша дочка Мари. И смерть ее не исполнила твою душу ужасом, наоборот, ты считаешь священным местом ту комнату, где она, бедняжка, страдала. Здесь ты

лелеяла свой выводок, ухаживала за больными детьми, сидела у их колыбели, читала наставления нянькам и гувернанткам. Между этими вот яблонями натягивали веревки, на которых сушились выстиранные платьица Мари и все эти милые детские одежки. Вон в той гостиной аббат Ардуэн садился за пианино, собрав вокруг себя детей, и они пели хором, причем пели не только псалмы и духовные гимны, «чтобы не рассердился папа».

Летними вечерами, покуривая возле дома в саду, я слышал детские чистые голоса, выводившие арию Люлли[53]: «Ах, леса и скалы, прозрачные ключи…» Спокойное счастье, в котором мне не было доли, — я это знал; запретная для меня сфера чистоты и светлых грез: спокойная любовь, дремлющая волна, льнувшая к берегу в нескольких шагах от моей скалы.

Стоило мне войти в гостиную, голоса умолкали. При моем появлении обрывались все разговоры. Женевьева уходила, захватив с собой книгу. Одна лишь Мари не боялась меня. Я подзывал ее, и она бежала ко мне; я хватал ее в объятия, да она и

**[53] Примечания: 53**

Люлли Жан Батист (1632–1687) — композитор, основоположник французской оперной школы. Создал классические типы так называемой лирической трагедии и французской оперной увертюры.

сама ласково прижималась ко мне. Я слышал, как бьется ее сердечко — часто-часто, как у птички. А как только я, бывало, выпущу ее, она упорхнет в сад… Мари!

Очень рано детей стало тревожить то, что я не хожу в церковь и ем скоромное по пятницам. На их глазах между отцом и матерью шла борьба, но очень редко она приводила к бурным стычкам, в которых, надо сказать, я чаще всего терпел поражение. После каждой схватки продолжалась подземная война. Ареной ее всегда был Кализ, потому что в городе меня никогда не бывало дома. Но перерыв в сессиях судебной палаты совпадал со школьными каникулами, и два месяца (август и сентябрь) мы все были здесь в сборе.

Помню тот день, когда мы бросились друг на друга в лобовую атаку (по поводу шуточки, которую я позволил себе в присутствии Женевьевы, отвечавшей аббату Ардуэну урок по «Закону Божьему»); в этой ссоре я заявил о своем праве оберегать разум моих детей, а ты — о своем долге охранять их души. Я был разбит впервые, так как согласился, чтобы воспитание Гюбера доверили отцам иезуитам, а девочек отдали в пансион при женском монастыре. Я уступил, поддавшись престижу, который всегда имели в моих глазах

«традиции семейства Фондодеж». Но я жаждал отплатить за поражение, а кроме того, сделал в тот день важное открытие — нащупал единственное твое больное место, я знал теперь, на какую тему завести разговор, чтобы ты вышла из себя, позабыв о своем обычном равнодушии ко мне, и подарила бы меня вниманием — хотя бы из ненависти. Наконец-то я нашел почву для столкновений. Наконец-то я заставлю тебя вступить со мной в рукопашный бой! Когда-то мое неверие в Бога было для меня пустой формой, в которую изливались, как струи расплавленного металла, унижения мелкого крестьянина, разбогатевшего, но презираемого своими товарищами из высшей буржуазии; теперь эта изложница заполнилась любовным разочарованием и почти беспредельной ненавистью.

Как-то раз за столом снова разгорелась ссора. (Я спросил у тебя, что за радость Предвечному смотреть, как ты ешь в постные дни форель или лососину вместо говядины.) Ты вышла из-за стола. Я помню, каким взглядом смотрели на меня наши дети! Я направился вслед за тобой в твою спальню. Ты не плакала, говорила со мной совершенно спокойно. В тот день я понял, что ты вовсе не смотришь сквозь пальцы на мой образ жизни,

как я думал. Оказалось, ты наложила руку на кое-какие письма — они давали тебе основание требовать в суде развода. «Я осталась с тобою из-за детей. Но если жизнь с тобою будет грозить гибелью их душам, я колебаться не стану…»

Да, ты без колебаний распростилась бы со мной и даже с моими деньгами. При всей своей корысти ты готова пойти на любую жертву, лишь бы в душах твоих детей остались нетронутыми заложенные в них «основы веры», то есть куча ханжеских привычек, правил, формул — чистейшая ерунда.

Тогда еще у меня не было в руках оружия против тебя — оскорбительного письма, которое ты написала мне после смерти Мари. Сила была на твоей стороне. Да и положение мое сильно бы пошатнулось в случае бракоразводного процесса: в те времена, особенно в провинции, порядочное общество не шутило с такими вещами. И так уж ходили слухи, что я франкмасон; мои взгляды оказались неприемлемы для света, из-за них меня сторонились, и если б не престиж твоей родни, они бы сильно повредили моей карьере. Главное же, в случае развода пришлось бы вернуть акции Суэцкого канала, которые дали за тобой в приданое. А я привык считать эти акции

своими. Меня удручала мысль, что надо будет с ними расстаться (да, кроме того, расстаться и с рентой, которую выплачивал нам твой отец…).

Я смирился и дал согласие на все, что ты потребовала от меня, но втайне решил посвятить свои досуги завоеванию своих детей. Я принял такое решение в начале августа 1896 года. Воспоминания о тех годах, когда мы проводили в усадьбе знойные и унылые летние месяцы, перемешались у меня в голове, и те воспоминания, которые я буду приводить сейчас, охватывают лет пять (1895–1900 года).

Я думал, что будет не так уж трудно отвоевать у тебя детей… Я рассчитывал на свой отцовский авторитет, на свой ум. Ну что стоит, — думалось мне, — привлечь к себе двух девчурок и мальчика десяти лет? Пустяки, я шутя этого добьюсь. Помню, как ты была удивлена и встревожена, когда я предложил детям пойти с папой на большую прогулку. Ты сидела тогда во дворе под серебристым тополем, дети вопрошающе посмотрели на тебя.

— Ну, конечно, дорогие, можно. Раз вас зовет с собой папа, нечего и спрашивать у меня разрешения.

Мы отправились. Как надо говорить с детьми? Для меня привычное дело давать на суде отпор

суровому прокурору или ловкому защитнику обвиняемого, когда я выступаю на стороне истца, даже выдерживать враждебность целого зала; на сессиях меня боится сам председатель суда, а вот перед детьми я робею — перед детьми и перед простым народом, даже перед крестьянами, хотя я сам из крестьянского рода. Тут я теряю почву под ногами, запинаюсь, говорю что-то невнятное.

Дети были со мной очень милы, но посматривали на меня как-то недоверчиво. Ты завоевала их сердца и держала в своих руках все подступы к ним. Невозможно было проникнуть туда без твоего разрешения. «По долгу совести» ты старалась не умалять моего отцовского авторитета, но не скрывала от детей, что надо усердно молиться за «бедного папу». И что бы я ни делал, мне было отведено определенное место в их представлениях о мире: для них я был «бедным папой», за которого надо усердно молиться, стараться, чтобы он обратился душой к Богу. Все мои «оскорбительные» выпады против религии только усиливали создавшееся у них наивное представление о грешнике-папе. Жили они в волшебном мирке, где вехами служили церковные праздники, которые в нашем доме справлялись торжественно. Ты могла добиться от детей об-

разцового послушания, напоминая им о первом причастии, к которому кто-нибудь из них готовился или которого уже сподобился. Вечерами, когда они пели хором на веранде в Калезе, мне приходилось слышать не только арии Люлли, но и духовные псалмы. Я смутно видел издали фигурки детей, собравшиеся вокруг тебя, а когда светила луна, различал три ангельских личика, поднятые к небу. Мои шаги, раздававшиеся на дорожке, посыпанной гравием, прерывали это благочестивое пение.

Каждое воскресенье начиналась суета, шумные сборы к обедне. Ты всегда боялась, как бы не опоздать, не приехать к шапочному разбору. Лошади фыркали у крыльца. Звали замешкавшуюся кухарку. Кто-нибудь из детей забывал свой молитвенник. Чей-то пронзительный голос вопрошал: «Которое сегодня воскресенье после Пасхи?» Возвратившись, дети прибегали поздороваться со мной и заставали меня еще в постели. Малютка Мари, вероятно, усердно молилась в церкви о спасении души своего папы, читала все молитвы, какие знала, и теперь она внимательно вглядывалась в мое лицо, надеясь прочесть на нем, что я уже чуть-чуть исправился. Только она одна не раздражала меня. Двое старших уже вос-

приняли все твои верования спокойно, бездумно, с инстинктивным стремлением буржуа к комфорту, которое впоследствии уберегало их от всех героических добродетелей, от всего возвышенного безумия христианства; в противоположность им Мари была полна трогательного усердия в вере, сердечно и ласково относилась к прислуге, к арендаторам наших мыз, к беднякам. О ней говорили: «Да она все готова раздать, деньги у нее в руках не держатся. Это очень мило, но надо все-таки приглядывать за ней…» И еще говорили про нее: «Никто перед ней не может устоять, даже отец». Вечерами она сама подходила ко мне, взбиралась на колени. Как-то раз она заснула, уронив головку мне на плечо. Ее кудряшки щекотали мне щеку. Сидеть не двигаясь, да еще в неудобной позе, было мучительно трудно, и хотелось покурить. И все же я не шелохнулся. В девять часов за ней пришла нянька, но я сам отнес Мари в детскую, и вы, видимо, были потрясены, словно перед вами предстал покоренный хищный зверь, подобный тем львам и тиграм, которые лизали ноги юным мученикам на арене Колизея. Несколько дней спустя — четырнадцатого августа, утром — Мари сказала мне (знаешь, как это делают дети):

— Папочка, дай слово, что исполнишь мою

просьбу… Нет, ты сначала скажи: «Честное слово!», а потом я тебе скажу…

И она мне напомнила, что на следующий день, в воскресенье, ты поешь в церкви соло — запричастную молитву на поздней обедне, и с моей стороны было бы очень мило пойти послушать маму.

— Ведь ты обещал! Ты обещал! — твердила она, целуя меня. — Ты сказал: «Честное слово!»

Мой ответный поцелуй она приняла за знак согласия. Весь дом узнал о предстоящем событии. Я чувствовал, что за мной наблюдают. Барин пойдет завтра к обедне, а ведь он никогда и не заглядывает в церковь! Событие огромной важности.

Вечером я сел за стол в крайнем раздражении и долго не мог скрыть его. Гюбер спросил у тебя о чем-то, связанном с делом Дрейфуса[54]. Помню, я разразился негодованием, услышав, что ты ответила. Я вышел из-за стола и больше не появлялся. Пятнадцатого августа на рассвете я, захватив чемоданчик, вышел из дому, уехал шестичасо-

---

**[54] Примечания: 54**

Дрейфус Альфред (1859–1936) — офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности. В 1894 г. против него было сфабриковано дело о шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, приговорен к пожизненной каторге.

вым поездом в Бордо и провел ужасный день в душном опустевшем городе.

Странно, что после этого я все-таки вернулся в Калез. Почему я всегда проводил с вами свой отпуск, а не отправлялся путешествовать? Я мог бы сочинить какие-нибудь благовидные причины А по правде говоря, я просто боялся лишних расходов. Я не мог себе представить, что можно отправиться путешествовать, потратить столько денег, не погасив предварительно плиту в кухне и не заколотив наглухо двери своего дома. Мне не доставило бы никакого удовольствия разъезжать по чужим местам, зная, что без меня хозяйство идет обычным ходом. Я всегда в конце концов возвращался к общей кормушке. Раз для меня в Калезе готов стол и дом, зачем это я стану тратиться на гостиницы и рестораны? Я унаследовал от матери дух строжайшей бережливости и считал его своей добродетелью.

Итак, я вернулся домой, но в страшно злобном настроении, даже Мари не могла его рассеять. И с того времени я применил другую тактику против тебя. Я теперь не нападал прямо на твои верования, а, пользуясь малейшим поводом, старался показать, что ты живешь не так, как того требует твоя вера. И хоть ты была доброй христианкой,

а все-таки, признайся, бедняжка Иза, я без труда доказывал противное. Ты, например, никогда не знала, а если и знала, то позабыла, что помощь ближнему — первый долг христианина. Под словом «милосердие» ты понимала некоторое количество необременительных обязанностей по отношению к беднякам и, заботясь о спасении своей души, добросовестно выполняла эти обязанности. Должен признать, что теперь ты сильно изменилась: ты самолично ухаживаешь за «недугующими» — лечишь больных неизлечимым раком, это дело другое! Но в те времена, дав подачку какому-нибудь бедняку — из числа твоих подопечных, ты с особой энергией выжимала соки из других бедняков, которые находились в зависимости от тебя. Ты ни в коей мере не желала поступиться своим правом хозяйки дома — платить слугам как можно меньше и требовать от них работы как можно больше. По утрам нам привозила овощи зеленщица, жалкая старуха, которой ты подала бы щедрую милостыню, если б эта несчастная протянула руку за подаянием, но так как она не хотела побираться, а развозила по домам зелень, ты считала для себя делом чести торговаться с нею за каждый кочешок капусты и урезать на несколько грошей ее убогий барыш.

Робкие намеки прислуги или батраков на то, что надо бы им прибавить жалованья, сначала вызывали у тебя изумление, затем яростный гнев, и ты давала просителям отпор с такой страстной силой негодования, что последнее слово всегда оставалось за тобой. Ты обладала своеобразным даром убеждать этих маленьких людей, что им ровно ничего не нужно. Начинался бесконечный перечень преимуществ, которые дает им их необыкновенно выгодное положение: «Вы получаете бесплатную квартиру, бочонок вина, половину свиньи, которую откармливаете моей же картошкой, вам дается огород для выращивания овощей». Бедняги батраки опомниться не могли: да неужели у них столько сокровищ? Ты уверяла, что твоя горничная может не тратить ни гроша из тех сорока франков жалованья, которые ты ей платишь ежемесячно, может все их целиком класть на книжку в сберегательной кассе.

— Ведь я ей отдаю все свои старые платья и нижние юбки, свои старые ботинки. На что ей деньги? Только чтоб гостинцы посылать в деревню…

Впрочем, когда слуги заболевали, ты усердно ухаживала за ними, ты никогда не оставляла их в беде, и я должен признать, что, в общем, тебя

всегда уважали и зачастую даже любили, так как слуги презирают слабохарактерных хозяев. На все житейские вопросы у тебя были взгляды, обычные для твоей среды и твоего времени. Но ты никогда не сознавалась, что Евангелие их осуждает. «Послушай, — говорил я, — а ведь, кажется, Христос сказал то-то и то-то...» Ты сразу умолкала, огорченная, разгневанная из-за того, что такой спор идет при детях. И в конце концов ты всегда попадала в ловушку. «Нельзя же все понимать буквально...» — растерянно лепетала ты. Я с легкостью опровергал подобные возражения и совсем тебя забивал, приводя примеры, доказывающие, что святость как раз и состоит в том, чтобы в точности следовать евангельскому учению, принимать его буквально. Если ты, на свое несчастье, возражала, что ты не святая, я приводил евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный».

Признайся, бедная моя Иза, что я тебя по-своему направлял на путь высоких добродетелей, и если теперь ты ухаживаешь за больными, умирающими от рака, они этим отчасти обязаны мне. Ведь в прежние годы любовь к детям всецело поглощала тебя, ты отдавала им все свои нерастраченные сокровища доброты, на них обращала ты свою

жажду самопожертвования. Дети заслоняли от твоих глаз весь мир. Они отвратили тебя не только от мужа, но и от всех людей. Даже Богу ты могла молиться только о здоровье и будущности своих детей. Вот тогда-то я поиздевался над тобой… Я спрашивал тебя — а не следует ли христианину желать, чтоб детям его были ниспосланы всяческие тяжкие испытания, бедность и болезни. Ты обрывала меня: «Я больше с тобой разговаривать не желаю. Ты уж сам не знаешь, что говоришь…»

Но, на твое несчастье, я привлекал к спору наставника детей, двадцатитрехлетнего семинариста, аббата Ардуэна. Я призывал его в свидетели наших разногласий и безжалостно ставил его в затруднительное положение, так как требовал его вмешательства только в тех случаях, когда был уверен, что я прав, а он в этих своеобразных прениях о вере не умел таить свои мысли. Когда развернулось дело Дрейфуса, у меня появилось столько поводов натравливать на тебя беднягу аббата «Из-за какого-то несчастного еврея подрывать престиж армии!» — возмущалась ты. Ухватившись за эти слова, я выражал притворное негодование и не унимался до тех пор, пока не добивался от аббата Ардуэна заявления, что христианин даже ради спасения родины не может

согласиться с осуждением невиновного.

Впрочем, я не особенно старался внушить тебе и детям истинное представление о деле Дрейфуса, которое вы знали только по карикатурам, помещаемым в благомыслящих газетах. Вы представляли собой несокрушимую скалу. Даже когда казалось, что я одолел вас в споре и доказал свою правоту, вы оставались при своем убеждении, что мне это удалось сделать только при помощи хитрых уловок. И тогда вы решили молчать в моем присутствии. Стоило вам завидеть меня, как вы разом обрывали все споры, что, кстати сказать, случается и теперь. Но иной раз вы не знали, что я подслушиваю, притаившись за кустами; я появлялся перед вами совершенно неожиданно, вы не успевали дать отбой и поневоле принимали сражение.

— Это святой человек, — говорила ты про аббата Ардуэна, — но ведь он сущий младенец и не верит, что есть на свете зло. Мой муж играет им, как кошка с мышью, и поэтому терпит его, несмотря на свое отвращение к духовенству.

По правде сказать, я позволил, чтоб наняли в гувернеры семинариста, только потому, что никто другой не согласился бы за сто пятьдесят франков заниматься с детьми целое лето. На первых по-

рах я принимал этого долговязого и близорукого черноволосого малого, не смевшего от робости пошевелиться, за существо самое ничтожное и не обращал на него никакого внимания, словно передо мной был стол или стул. Он давал уроки детям, ходил с ними на прогулки, мало ел и не говорил ни слова. Проглотив последний кусок, он тотчас же удалялся к себе в комнату. Иной раз, когда в доме никого не было, он садился за пианино. В музыке я ничего не понимаю, но, как ты говорила, «слушать его было приятно».

Ты, вероятно, не забыла случай, который произошел в нашем доме с аббатом Ардуэном, но ты и не подозревала, что из-за этого случая между мной и беднягой Ардуэном втайне протянулась ниточка взаимной симпатии. Однажды дети объявили, что к нам идет приходский священник. Я тотчас же, как обычно, удрал в виноградник. Но вскоре ты прислала за мной Гюбера: священнику понадобилось срочно поговорить со мной по какому-то важному делу. Кляня все на свете, я все-таки двинулся обратно к дому, потому что очень боялся этого сухонького старичка. Он заявил мне, что пришел покаяться передо мной, его, оказывается, замучила совесть. Он рекомендовал нам аббата Ардуэна как знающего и

добродетельного молодого человека, прекрасно окончившего семинарию, полагая, что посвящение его в сан отложено лишь по состоянию его здоровья. Однако он недавно узнал на собрании священнослужителей всей епархии, что эта отсрочка является дисциплинарной мерой. Аббат Ардуэн при всем своем благочинии до безумия любит музыку и как-то раз, соблазненный одним из своих товарищей, тайком отправился в театр на благотворительный концерт и из-за этого даже не ночевал в семинарии. Хотя он был в штатском, его узнали в театре и донесли на него. Скандал усугублялся еще тем обстоятельством, что в программе участвовала исполнительница арии Таис[55], г-жа Жоржетта Лебрен; когда она появилась на сцене с голыми ногами, в короткой греческой тунике, перехваченной под грудью серебряным поясом («Говорят, больше ничего на ней не было, даже самых тоненьких перемычек на плечах»), по залу прокатилось испуганное: «А-ах!» В ложе, где сидели члены союза «Единение», какой-то старый господин возмутился: «Ну уж это чересчур!.. Куда мы попали?» Вот что пришлось увидеть аббату Ардуэну и его спутнику! Один

**[55] Примечания: 55**

Опера французского композитора Жюля Массне (1842–1912), мастера лирической оперы, Президента Академии изящных искусств.

из преступников был немедленно исключен из семинарии, Ардуэна простили за его выдающиеся успехи, но начальство предписало отсрочить для него на два года посвящение в сан. Мы с тобой единодушно возразили, что наше доверие к аббату Ардуэну от этого не уменьшится. Священник, однако, с тех пор выказывал провинившемуся семинаристу величайшую холодность, заявляя, что «этот несчастный Ардуэн обманул его». Ты, разумеется, помнишь этот инцидент, но тебе осталось неизвестным, что было дальше. В тот же вечер, когда я курил на террасе над обрывом, я увидел при лунном свете приближавшуюся ко мне тощую черную фигуру. Ардуэн неуклюже остановился возле меня и попросил извинения за то, что, вступая в мой дом, не сообщил мне о своем недостойном поступке. Я заверил аббата, что его выходка скорее вызывает у меня симпатию к нему, а он стал мне возражать с неожиданной твердостью и произнес целую обвинительную речь против самого себя. Он заявил, что я, должно быть, не представляю себе, как велика его вина: оказывается, он нарушил долг повиновения, осквернил свое призвание, погрешил против нравственности. Кроме того, он навлек позор на семинарию. Словом, всю жизнь ему не искупить

того, что он натворил… До сих пор у меня стоит перед глазами эта длинная, согбенная фигура, озаренная лунным светом, и падающая от нее тень, перерезанная пополам парапетом террасы.

При всем моем предубеждении против духовных особ, я не мог заподозрить Ардуэна хотя бы в малейшем лицемерии — он был полон искреннего стыда и скорби. И бедняга все просил извинить его за то, что он умолчал о своем проступке, а в оправдание приводил свою бедность — ему необходимо было найти себе заработок, иначе он два месяца каникул должен был бы сидеть на шее у матери, а она вдова, очень бедна, ходит по домам стирать белье в Либурне. Я ему ответил, что, по-моему, он вовсе не был обязан сообщать нам об инциденте, касавшемся лишь нарушения семинарской дисциплины. Тогда он взял меня за руку и сказал нечто неслыханное — такие слова мне говорили впервые в жизни, и я был потрясен:

— Вы очень добрый.

Тебе ведь хорошо знаком мой смех — даже в начале нашей совместной жизни он действовал тебе на нервы, смех совсем не заразительный, в дни моей юности убивавший всякое веселье вокруг меня. В тот вечер я весь трясся от смеха, уставившись на ошеломленного семинариста.

Наконец я успокоился и сказал:

— Нет, вы даже не представляете себе, господин аббат, какую нелепость вы сказали! Спросите-ка у людей, которые меня знают, добрый я или нет. Спросите моих домочадцев, моих собратьев: злоба — вот моя сущность.

Он смущенно ответил, что злой человек, по-настоящему злой, не стал бы говорить откровенно о своей злобе. И, намекая на мою адвокатскую профессию, привел слова Христа: «В темнице я был, и вы посетили меня…»

— Да это я для своей выгоды делаю, господин аббат. Профессия обязывает. Когда-то я платил тюремным надзирателям, чтобы они вовремя шепнули на ухо мою фамилию подследственному заключенному… так что видите!..

Не помню уж теперь, что он мне ответил. Мы шли с ним рядом по липовой аллее. Как бы ты удивилась, скажи я тебе, что мне почему-то было приятно присутствие этого человека в сутане! А между тем мне и вправду было с ним хорошо.

Случалось, я вставал на рассвете и выходил в сад подышать предутренней прохладой. Я смотрел, как аббат отправляется к ранней обедне, шагает так быстро и так погружен в свои мысли, что, проходя рядом, не замечает меня. Как раз в

эти дни я преследовал тебя своими насмешками и старался доказать, что живешь ты в полном противоречии со своими принципами. И все же совесть упрекала меня: всякий раз, как я ловил тебя, так сказать, с поличным и упрекал в грехе скупости или черствости, я хоть и выражал уверенность, что у вас, набожных людей, не осталось и следа христианского духа, я все-таки знал, что под моей кровлей обитает человек, жизнь которого, неведомо для всех, исполнена этого духа.

## Глава восьмая

Был, однако, один случай, когда я без всякой натяжки мог считать твое поведение отвратительным. В 1896 или 1897 году — тебе это лучше знать — умер наш зять барон Филипо. Как-то утром твоя сестра Маринетта проснулась, заговорила с мужем, а он ничего не ответил ей. Она открыла ставни, увидела, что глаза у него закатились, нижняя челюсть отвисла. Маринетта не сразу поняла, что муж ее умер и что она несколько часов спала возле трупа.

Вряд ли кто-нибудь из вас почувствовал всю подлость завещания этого жалкого старика: он оставил жене огромное состояние, но при

условии, что она вторично не выйдет замуж В противном случае большая часть наследства должна была перейти к племянникам покойного.

— Надо окружить ее заботами, — твердила твоя мать. — К счастью, семья у нас очень дружная, все друг за друга. Не надо оставлять бедную девочку одну.

Маринетте исполнилось в ту пору тридцать лет, но ведь ты помнишь, конечно, что у нее был совсем юный и девический облик. Ее выдали за старика, она послушалась родителей и покорно сносила это супружество. Вы не сомневались, что она безропотно подчинится требованию остаться неутешной вдовой. Вы считали пустяком тот толчок, который дало ей неожиданное освобождение, резкий переход из темного подземелья на солнечный свет.

Нет, Иза, ты не думай, я не стану злоупотреблять преимуществом вести монолог, которое я себе тут присвоил. Вполне естественно было твое желание, чтобы завещанные миллионы остались в семье Фондодеж и твои дети попользовались бы наследством барона. По вашему твердому убеждению, Маринетта должна была во что бы то ни стало сохранить огромный капитал, кото-

рый ей достался ценою десятилетнего рабства, приковавшего ее к старику мужу. Вами руководили родственные чувства. Молодой вдове не выходить вторично замуж — это казалось вам вполне естественным. Да вспоминала ли ты, Иза, когда-нибудь, что десять лет назад ты была молодой супругой? Нет, на супружеской любви ты поставила крест: ты была только матерью, никакой любви для тебя не существовало — ни для тебя, ни для других, как тебе казалось. У вас в семье никто не грешил избытком воображения: вы не могли бы поставить себя на место кого-либо другого — не только какого-нибудь мерзавца, но и на место порядочного человека.

Решено было, что первое лето после смерти мужа Маринетта проведет в Калезе. Она с радостью согласилась. Нельзя сказать, чтоб ты была очень дружна с сестрой, но Маринетта очень любила наших детей, особенно маленькую Мари. Я лично почти ее не знал, и меня прежде всего поразила ее миловидность и грация; она была на год старше тебя, а казалась на несколько лет моложе. Дети, которых ты носила под сердцем, испортили твой тонкий стан, ты отяжелела; она же как будто вышла девственницей из постели этого старика. Личико у нее было детское. Она носила высокую

прическу по тогдашней моде, ее золотистые волосы пушистыми завитками окаймляли затылок (нынче позабыли эту прелесть — облачко пушистых завитков). Глаза были, пожалуй, слишком круглые, словно она всегда чему-то удивлялась. Я для забавы обхватывал ладонями ее «осиную талию», но бюст и бедра были у нее по нынешним понятиям чрезмерно развиты; ведь женщины в те годы походили на какие-то искусственно выведенные цветы.

Меня удивляла жизнерадостность Маринетты. Она всячески старалась повеселить детей, играла с ними в прятки, причем тайниками служили все закоулки в доме и даже чердак; по вечерам устраивала живые картины. «Маринетта у нас немножко легкомысленная, — говорила ты, — и не совсем понимает, как ей надо вести себя в ее положении».

Ей сделали большую уступку — допустили, чтобы по будням она носила белые платья, но ты считала страшно неприличным, что по воскресеньям она бывала на обедне без длинной вдовьей вуали, без накидки, обшитой траурным крепом. Ты считала, что жара не может служить тут оправданием.

Единственным развлечением, которым Мари-

нетта пользовалась при муже, была верховая езда. До самой своей смерти барон Филипо оставался известным знатоком конских ристалищ, прекрасно ездил верхом и почти никогда не пропускал утренней прогулки на лошади. Маринетта выписала в Калез свою лошадь и, так как некому было ее сопровождать, сначала ездила верхом одна; но это казалось тебе вдвойне скандальным: женщина, овдовевшая лишь три месяца назад, не должна заниматься никаким спортом, а уж разъезжать верхом на лошади без телохранителя — это переходит всякие границы.

«Я ей скажу, что у нас в семье о ней думают», — твердила ты. И ты говорила ей это, но Маринетта все равно делала по-своему. Наконец, устав сражаться, она обратилась ко мне с просьбой сопровождать ее на прогулках, причем обязалась достать для меня очень смирную лошадь. (Все расходы она, разумеется, принимала на себя.)

Мы обычно выезжали на рассвете, спасаясь от слепней и мух и зная, что до первых лесных дач, то есть километра два, надо подниматься в гору шажком. Лошадей подводили к крыльцу. Маринетта шаловливо показывала язык окнам твоей спальни, закрытым ставнями, и прикалывала к своей амазонке розу, окропленную росой. «Хотя

вдове цветочков носить не полагается», — шутила Маринетта. Звонили к ранней обедне — звон был торопливый, жиденький. Аббат Ардуэн, робко поклонившись нам, исчезал в дымке тумана, поднимавшейся над виноградниками.

Итак, до леса мы ехали не спеша и разговаривали. Я заметил, что пользуюсь некоторым авторитетом у моей свояченицы — не столько из-за моего положения в суде, сколько из-за крамольных идей, которые я проповедовал в семейном кругу. Твои же взгляды, Иза, слишком уж походили на взгляды ее покойного мужа. А ведь у женщин и религия, и всякие идеи обязательно олицетворяются в образе какого-нибудь человека — любимого или ненавистного.

От меня зависело, чтобы мой престиж возрос еще больше в глазах этой бунтовщицы. Но вот беда — пока она восставала против вас, я без труда присоединялся к ее возмущению, но я не мог разделять ее презрения к миллионам, которых она должна была лишиться в случае вторичного замужества. Мне было бы выгодно говорить то же, что и она, и разыгрывать возвышенное благородство, чтобы взволновать ее сердце; но я не в силах был притворяться в таком вопросе и делать вид, будто я одобряю ее, когда она заявляла, что ее

нисколько не страшит возможная утрата мужниного наследства. И уж если говорить начистоту, то меня преследовала мысль, что Маринетта может внезапно умереть и мы будем ее наследниками (я думал не о детях, а о самом себе).

Бывало, я заранее подготовлюсь к разговору, словно вытвержу урок, — нет, это оказывалось сильнее меня: «Семь миллионов! Маринетта, вы с ума сошли! Да на свете не сыщешь ни одного человека, ради которого стоило бы пожертвовать таким состоянием!» Она заявляла, что ставит счастье выше богатства, а я ее уверял, что нельзя быть счастливым, пожертвовав таким богатством.

— Ах, так? — восклицала она. — Напрасно вы говорите, что ненавидите наших, вы совершенно такой же, как они, одного поля ягода.

Она поднимала лошадь в галоп, я трусил позади нее. Итак, она вынесла мне приговор, все было потеряно. Ах, эта мания, эта бешеная страсть к деньгам! Чего они лишили меня! Я мог бы найти в Маринетте милую сестру, быть может, подругу… И вы еще хотите, чтобы я отдал вам деньги, ради которых я всем пожертвовал? Нет, нет, мои капиталы стоили мне слишком дорого, и до последнего моего вздоха вы не получите ни

сантима.

А вы все-таки неустанно ведете осаду. В воскресенье пожаловала ко мне жена Гюбера. Интересно, по собственному почину она приехала или это вы ее подослали? Вот уж убогое существо эта Олимпия! (Почему, спрашивается, Фили окрестил ее Олимпией? А ведь привилось прозвище, мы даже забыли ее настоящее имя…) Но мне кажется, она не сказала о своем намерении навестить меня. Вы не приняли ее в свой клан, не считаете ее настоящей родней. Эта особа равнодушна ко всему, что находится за пределами ее узкого мирка, ко всему, что непосредственно ее не касается; знать не хочет, что обо мне «люди говорят», не считает их мнения законом, не ведает, что я вам враг. И нельзя сказать, что так у нее получается по доброте душевной или из ее личной симпатии ко мне: она никогда не думает о других, даже не способна возненавидеть кого-нибудь. Если при ней бранят меня, она заявляет: «Он всегда очень любезен со мной». Она не чувствует моей язвительности. А так как иной раз я, из духа противоречия, встаю на ее защиту, когда вы все нападаете на нее, то Олимпия убеждена, что она мне очень нравится.

Из ее путаных речей я понял, что Гюбер вовре-

мя дал отбой, но, чтобы спасти свое положение, ему пришлось пустить на бирже в ход все свое личное состояние и приданое жены.

— Он говорит, что обязательно вернет свои деньги, но только ему нужен сейчас… ну как это называется?.. Аванс в счет наследства.

Я одобрительно покачивал головой и как будто соглашался с ней, делая вид, что даже и не подозреваю, чего она от меня хочет. Каким наивным дурачком я умею прикидываться в такие минуты!

Если б ты, бедняжка Олимпия, знала, чем я пожертвовал ради денег, когда мне все-таки еще было далеко до старости! Мне шел тридцать пятый год. Ах, как волнующи были утренние часы, когда мы с Маринеттой возвращались шагом по дороге, которую уже припекало солнце, а кругом была голубоватая зелень виноградника, опрысканная купоросом. Я красноречиво убеждал молодую насмешницу, что никак нельзя терять унаследованные ею миллионы; меня преследовала мысль об этих миллионах, которых она грозила нас лишить. А когда я умолкал, оторвавшись от этого наваждения, она смеялась и вышучивала меня с презрительной снисходительностью. Я начинал защищаться и совсем

запутывался в своих доводах.

— Я же в ваших интересах говорю, Маринетта. Неужели вы считаете, что у такого человека, как я, на уме только будущность моих детей? Иза, конечно, не хочет, чтобы ваше богатство ускользнуло от них из-под носа. Но я...

Она смеялась и говорила сквозь зубы:

— Право, вы настоящее чудовище!..

Я заверял ее, что забочусь только об ее счастье. Она с отвращением мотала головой: «Нет, нет!» А в сущности, хотя Маринетта не признавалась в этом, она не столько мечтала о замужестве, сколько о детях, о материнстве.

После завтрака я, невзирая на жару, уходил из дому, где в наглухо запертых холодных и темных комнатах дремали мои домашние, развалившись на кожаных диванах или в плетеных креслах, и когда я, приоткрыв закрытую ставнем стеклянную дверь, выскальзывал в огненное пекло и лазурь, мне не надо было и оборачиваться: я знал, что эта презиравшая меня женщина сейчас выйдет вслед за мной, я слышал ее шаги на дорожке, посыпанной гравием. Ей было неудобно, она спотыкалась на неровном скате, высокие каблуки подворачивались. Наконец мы добирались до террасы, устроенной над обрывом, и

останавливались там, облокотившись о парапет. Маринетта для забавы производила испытание: долго ли она может продержать обнаженную руку на раскаленном камне.

Внизу расстилалась равнина, залитая знойным солнцем и объятая такой же тишиной, как в лунные ночи, когда она спит, озаренная голубоватым светом. Каменистые холмы смыкались на горизонте в черную арку, придавленную светлым металлическим небом. До четырех часов не увидишь ни одной живой души. Столб мошкары трепетал в воздухе все на одном месте, такой же неподвижный, как единственный на всей равнине дымок, которого не колебало ни малейшее дуновение ветерка.

Я знал, что женщина, стоявшая рядом со мной, не могла бы меня полюбить — решительно все в моей душе было ей мерзко. Но лишь мы с ней одни дышали воздухом среди мертвого оцепенения, царившего в этом глухом углу; это молодое, тоскующее существо, за которым строго надзирала жадная родня, искало моего взгляда так же бессознательно, как поворачивается к солнцу цветок гелиотропа. Однако в ответ на малейший, даже неясный, намек я услышал бы только насмешки. Я прекрасно знал, что она с

отвращением оттолкнет мою руку, хотя бы очень робко протянувшуюся к ней. И вот так мы стояли друг возле друга на краю котловины, где, как в огромном бродильном чане, наливались хмельным соком гроздья винограда среди дремлющих голубоватых листьев.

А ты, Иза, что ты думала о наших утренних прогулках и о наших беседах, происходивших в тот час, когда вокруг было сонное царство? Впрочем, я знаю, как ты относилась к этому, я слышал твои слова. Да, однажды я слышал сквозь запертые ставни, как ты разговаривала со своей матерью в зале (она гостила тогда у нас в Калезе, приехав, несомненно, для того, чтобы надзор за Маринеттой был построже).

— В отношении взглядов он оказывает на нее дурное влияние, — говорила ты, — но во всем остальном это неопасно. Он развлекает ее, и только…

— Да, пусть развлекает, это самое главное, — ответила тебе мать.

Вы радовались, что я развлекаю Маринетту. «Но когда осенью вернемся в город, надо будет найти что-нибудь другое». Как бы ты ни презирала меня, Иза, я сам почувствовал к тебе презрение за такие слова. Ты и в самом деле воображала,

что тут не может быть для тебя ни малейшей опасности. Женщины быстро забывают то, что в них самих уже перегорело.

Правда, когда мы с Маринеттой стояли днем над обрывом, ничего «предосудительного» и не могло случиться; хотя кругом царило безлюдье, а все-таки мы на этой террасе чувствовали себя у всех на виду, словно на сцене. Если б нашелся на соседних фермах такой храбрец, который не спал бы в жаркие часы, он бы увидел, как стоят рядом, неподвижно, словно два тополя, мужчина и женщина, устремив взгляды на раскаленную равнину, стоят так близко, что при малейшем движении невольно касаются друг друга.

Но и ночные наши прогулки были столь же невинны.

Помню один августовский вечер. За обедом шли бурные споры из-за дела Дрейфуса. Маринетта, так же как и я, принадлежала к лагерю «дрейфусаров», требовавших пересмотра дела. Она теперь превосходила меня в искусстве вовлекать аббата Ардуэна в прения и умела заставить его встать на ту или другую сторону. Ты за столом

восхваляла газетную статью Дрюмона[56], а Маринетта вдруг спросила звонким голоском, словно девочка на уроке «Закона Божьего»:

— Господин аббат, скажите, — дозволительно христианам ненавидеть евреев?

В тот вечер аббат Ардуэн, к нашему с ней большому удовольствию, не отделался туманными отговорками. Он заговорил о важной роли народа, избранного свидетелем деяний Господа, о предсказанном его обращении в истинную веру, которое будет возвещать «конец времен». Гюбер стал возражать, заявил, что надо ненавидеть палачей Спасителя нашего, и тогда аббат ответил ему, что каждый из нас имеет право ненавидеть только одного палача, виновного в муках Иисуса Христа: «Ненавидеть только самого себя, и больше никого...»

В расстройстве чувств ты ответила, что в таком случае ничего другого не остается, как предать Францию во власть чужестранцев. К счастью для аббата, ты вспомнила о Жанне д'Арк, и на ней вы помирились. На веранде кто-то из детей воскликнул:

---

**[56] Примечания: 56**

Дрюмон Эдуард (1844–1917) — французский политический деятель и публицист, автор скандальной антисемитской книги «Еврейская Франция».

— Ой, как луна светит! Вот красиво!

Я вышел и направился к обрыву. Я знал, что Маринетта пойдет вслед за мною. И в самом деле, я услышал, как она окликнула меня, задыхаясь от быстрого бега: «Подождите меня…» Она накинула на плечи боа.

На востоке поднималась полная луна. Маринетта смотрела, как длинные косые тени буков протянулись по траве. Лунный свет заливал крестьянские домики с наглухо запертыми ставнями. Вдалеке лаяли собаки. Маринетта спросила, почему ни один листок на деревьях не шелохнется, не заколдовала ли их луна. Еще она сказала, что такие ночи созданы нарочно для того, чтобы мучить одиноких людей.

— Пустая декорация! — негодовала она. — Сколько влюбленных льнут друг к другу в этот час, сидят щека к щеке или касаясь друг друга плечом. Сообщница луна!

На ее ресницах дрожали слезы. Кругом все было недвижно, все замерло, живым было лишь ее дыхание. Она все еще немного задыхалась. Что осталось от тебя сейчас, Маринетта, от тебя, умершей в 1900 году? Что остается от тела, пролежавшего в могиле тридцать лет? А я так хорошо помню аромат твоих волос в ту ночь. Для того что-

бы верить в воскресение мертвых, в воскресение их плоти, быть может, надо победить плотские вожделения. А тех, кто злоупотреблял ими, постигает кара: они уже не могут не только поверить в воскресение во плоти, но и вообразить его себе.

Я взял ее за руку, словно хотел утешить маленькую обиженную девочку, и она, как ребенок, прижалась головкой к моему плечу. Я принял этот дар, как принимает земля упавший с дерева персик. Большинство людей сближаются меж собой не по выбору, так же как не выбирают своих соседей деревья, а просто вырастают случайно друг возле друга и переплетаются ветвями лишь потому, что они разрослись.

Но в эту минуту я совершил подлость — я подумал о тебе, Иза, и возмечтал отомстить: воспользоваться увлечением Маринетты и заставить тебя страдать. Мысль эта овладела мною на краткий миг, но все же она возникла у меня, я замышлял это преступление. Мы двинулись неверным шагом туда, где не было лунного света, к гранатовой и жасминовой роще. Но, по воле судьбы, я вдруг услышал шаги в аллее под сводом переплетавшихся виноградных лоз — этой аллеей аббат Ардуэн ходил в церковь к обедне. Несомненно, это был он... И мне вспомнилось,

как он сказал мне однажды вечером: «Вы очень добрый...» Если б он мог заглянуть в мое сердце, прочесть, что там делалось в эту минуту! Мне стало стыдно. Быть может, это и спасло меня?

Я вновь привел мою спутницу в полосу света, усадил ее на скамью. Я вытер ей слезы своим носовым платком. Я говорил ей ласковые слова — вот так же я утешал свою дочку Мари, когда она, бывало, бежит по липовой аллее, упадет, а я ее подниму и приласкаю. Я притворялся, что ничего не заметил, не угадал смутного волнения в ее невольном порыве и в ее слезах.

## Глава девятая

На следующее утро она не поехала кататься верхом. Я отправился в Бордо. (Несмотря на каникулы в судебной палате, я два раза в неделю ездил в город и проводил там целый день, не желая прерывать своих юридических консультаций.)

Когда я садился в поезд, направляясь обратно домой, у платформы стоял Южный экспресс, и, к великому моему удивлению, за зеркальными стеклами вагона, на котором было написано «Биарриц», я увидел Маринетту, без креповой вуали, одетую в серый английский костюм. Мне

вспомнилось, что одна из ее подруг, поехавшая в Сен-Жан-де-Люц, все звала ее туда. Маринетта перелистывала какой-то иллюстрированный журнал и не замечала знаков, которые я ей делал. Вечером я доложил тебе об этой встрече, но ты едва обратила внимание на мои слова, так как считала путешествие Маринетты короткой вылазкой. Ты сказала, что вскоре после моего отъезда в город Маринетта получила телеграмму от своей подруги. Тебя как будто удивляло, что мне об этом ничего не известно. Может быть, ты заподозрила, что мы сговорились тайно встретиться в Бордо? Впрочем, тебе было не до того — маленькая наша Мари лежала в постели вся в жару, а перед этим у нее несколько дней было расстройство кишечника. И ты очень тревожилась. Надо тебе отдать справедливость: когда кто-нибудь из детей заболевал, ты думала только об этом, ничего другого для тебя больше не существовало.

Страшно останавливаться на том, что случилось через несколько дней. Прошло тридцать лет, а только огромным усилием воли я могу заставить себя вспоминать об этом. А ты еще посмела сказать мне прямо в лицо, что я не позволил вызвать врача из города. Конечно, если б мы

пригласили профессора Арнозана, он установил бы, что у ребенка брюшной тиф, а вовсе не грипп, как мы думали. Но ты вспомни хорошенько. Ты меня спросила: «Не позвать ли Арнозана?» Я ответил: «Доктор Обру уверяет, что у него в деревне человек двадцать больны таким же гриппом...» Ты больше не настаивала. Зачем же ты потом стала уверять, будто ты и на следующий день умоляла меня телеграфировать Арнозану? Не может этого быть, иначе я помнил бы. Правда, я столько думал обо всем этом, думал дни и ночи, столько перебирал, ворошил воспоминания, что совсем запутался. Допустим, что я скуп, — согласен, я скуп... Но не до такой же степени, чтобы скаредничать, когда речь шла о здоровье Мари. Да это просто невероятно, тем более что профессор Арнозан всех готов лечить даром, из любви к Богу и к людям. Если я даже его и не позвал, то только потому, что мы все были уверены, что у Мари самый обыкновенный грипп, «осложнившийся расстройством кишечника». Этот невежда Обру предписывал Мари побольше есть, для того чтобы она не ослабела. Он ее убил, он, а не я! Нет, у нас с тобой не было тогда никаких споров, ты не настаивала, не требовала, чтобы вызвали Арнозана, ты лжешь! Я не виновен в смерти Мари.

Ужасно, что ты обвиняешь меня в ее смерти! И ты действительно в это веришь, всегда этому верила.

Мучительное лето! Страшное лето! Неугомонные, жестокие кузнечики. Мы не могли достать льда. В те знойные дни я непрестанно вытирал влажным полотенцем ее личико, покрывавшееся испариной, и отгонял от нее мух. Арнозана вызвали слишком поздно. Лечение переменили, когда уже ничто не могло ее спасти. Она все шептала — бредила, наверно: «Ради папы! Ради папы!» А помнишь ее душераздирающий крик: «Больно, больно! Боже мой, ведь я же маленькая! — И вдруг добавила, сдерживаясь: — Нет, я еще могу терпеть». Аббат Ардуэн поил ее «святой водой», привезенной из Лурда. Мы склоняли головы над ее исхудалым тельцем, руки наши соприкасались. А когда все было кончено, ты меня обвиняла в бесчувственности.

А хочешь знать, что творилось у меня в душе? Странное дело — ты, верующая женщина, никак не могла оторваться от мертвого тела дочери. Тебя умоляли поесть, подкрепиться, говорили, что иначе ты не выдержишь. Но из комнаты умершей тебя приходилось уводить насильно. Ты сидела у изголовья Мари, трогала то ее лобик,

то холодные щеки, словно щупала, нет ли жару, а то приникала губами к ее кудрявым, еще живым волосам; иногда ты бросалась на колени, как будто хотела помолиться, — но нет, ты хотела лишь прижаться лбом к ледяным, окаменелым ручкам.

Аббат Ардуэн поднимал тебя и говорил о детях, на которых надо походить, чтобы войти в царство Отца небесного: «Она жива, она вас видит, она ждет вас». Ты качала головой; слова эти не доходили до тебя, твоя вера ничем не могла тебе помочь. Ты думала лишь о лежащем перед тобой мертвом теле, которое было плотью от плоти твоей, о мертвом теле, которое скоро предадут земле, где завершится уже начавшееся в нем тление. А я, неверующий, глядя на останки своей дочери, понял все страшное значение слова «прах». У меня было чувство невозвратимой утраты, вечной разлуки, отсутствия. Ее больше нет, ушла навсегда. А это уже не она. «Вы ищете Мари? Ее уже здесь нет…»[57]

Позднее ты обвиняла меня в том, что я быстро ее забыл. А ведь ты не знаешь, что оборвалось во мне, когда я подошел к гробу проститься с Мари и

---

**[57] Примечания: 57**

Намек на «Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, Он воскрес». Евангелие от Луки 24:5–6.

в последний раз ее поцеловал. Ведь это уже была не она! Ты презирала меня за то, что я не ходил с тобой на кладбище, где ты бывала почти каждый день. «Как ему не совестно! — возмущалась ты. — А ведь, кажется, одну только Мари он и любил немножко. Бессердечный человек!»

Маринетта приехала на похороны, но через три дня опять уехала. Горе ослепило тебя, ты не видела опасности, надвигавшейся с этой стороны, и как будто отъезд сестры даже доставил тебе облегчение. А через два месяца мы узнали о ее помолвке с каким-то журналистом, с которым она познакомилась в Биаррице. Было уже поздно отвести удар. Ты не могла простить ей этого брака, ты кипела неукротимой злобой, как будто прорвалась вся твоя подавленная ненависть к Маринетте. Ты знать не желала ее мужа, этого, как ты говорила, негодяя, хотя он был самым обыкновенным человеком, каких очень много на белом свете. Но ведь он совершил великое преступление: лишил наших детей богатого наследства, которым, кстати сказать, он и не воспользовался, так как большая часть состояния досталась племянникам барона Филипо.

Но ведь ты никогда не рассуждаешь, и ты чернила этого «преступника» без зазрения совести.

Право, никогда я не встречал человека столь искренне несправедливого, как ты. На исповеди ты, наверно, каешься в каких-нибудь мелких грешках, не замечая того, что вся твоя жизнь — сплошное нарушение всех евангельских заповедей. Тебе ничего не стоит нагромоздить целую кучу ложных доводов, чтобы уничтожить ненавистного тебе врага. Ты никогда не видела мужа своей сестры, ровно ничего о нем не знала, но убежденно говорила о нем: «В Биаррице Маринетта попала в сети и стала жертвой какого-то проходимца, просто-напросто альфонса, промышляющего в отелях».

Когда бедняжка умерла от родов (ах, не хочется мне судить тебя так жестоко, как ты судила меня после смерти Мари!), — мало сказать, что ты не проявляла никакого горя, ты как будто торжествовала: «Ну, что, я была права? Так и должно было кончиться, она сама шла навстречу своей гибели...» А тебе, конечно, не в чем себя упрекнуть: ты выполнила свой долг. Несчастная Маринетта знала, что родные всегда примут ее с распростертыми объятиями, что ее ждут, стоит ей только подать знак. И, по крайней мере, ты можешь сказать, положа руку на сердце: «Я не была ее сообщницей». Тебе, оказывается, дорого стоило

сохранять твердость. Но ведь бывают случаи, когда надо принудить свое сердце замолчать.

Нет, я не стану корить тебя. Я даже готов признать, что ты была добра к маленькому Люку, сыну Маринетты, и приняла в нем участие, когда уже не было в живых твоей матери, которая до самой смерти заботилась о нем. Ты брала его к себе на летние каникулы, а раз в год, зимой, ездила навещать его — он учился в пансионе в окрестностях Байонны. Ты говорила: «Я исполняю свой долг, раз его отец не желает заботиться о сыне».

Я никогда тебе не рассказывал, что в сентябре 1914 года видел в Бордо отца нашего Люка. Я все пытался тогда достать себе сейф в банке, но все сейфы разобрали люди, бежавшие из Парижа. Наконец дирекция Лионского кредита сообщила мне, что один из клиентов банка возвращается в Париж и, может быть, согласится уступить мне свой сейф. Когда мне назвали фамилию этого клиента, я понял, что речь идет об отце Люка. Не думай, он совсем не чудовище, каким ты себе его представляешь. Самый обыкновенный человек. Возраст — тридцать восемь лет, вид изнуренный, глаза блуждающие, и, несомненно, все время терзается страхом, что его возьмут в армию. Как он не похож на того молодого человека, которого

я видел четырнадцать лет назад на похоронах Маринетты и потом имел с ним деловой разговор. Он говорил со мной совершенно откровенно. Оказывается, у него есть сожительница — по-видимому, женщина недостойная, ибо он хотел избавить Люка от общения с ней. И, желая сыну добра, он отдал его бабушке, мадам Фондодеж. Бедная моя Иза, если б ты и наши дети знали, что я предлагал в тот день этому человеку! Теперь-то я могу тебе рассказать. Я хотел, чтобы сейф он оставил за собой, а мне выдал бы доверенность. Тогда все мое состояние в наличных деньгах и в ценных бумагах хранилось бы в этом сейфе вместе с документом, свидетельствующим, что все это принадлежит Люку. Пока я жив, отец Люка не имел бы доступа к сейфу. Но после моей смерти он стал бы полным его владельцем, о чем вы ровно ничего бы не знали…

Разумеется, я бы отдал таким образом в руки этого человека свою судьбу и все свое состояние. Вот до чего я вас тогда ненавидел! И что ж! Он не согласился на такую сделку. Не посмел! Заговорил о своей чести!

Как же я мог дойти до такого безумия?! К тому времени детям было уже под тридцать лет, Женевьева была замужем, а Гюбер женат; оба

окончательно и бесповоротно оказались на твоей стороне и во всех возможных случаях — против меня. Вы действовали исподтишка, я стал для вас врагом. А ведь ты с ними обоими, особенно с Женевьевой, не очень-то ладила. Ты упрекала дочь, что она всегда оставляет тебя одну, ни в чем у тебя не спрашивает совета, все делает по-своему; но как только дело касалось меня, согласие восстанавливалось — вы выступали единым фронтом. Все, впрочем, шло под сурдинку, за исключением торжественных моментов жизни; так, например, у нас происходили ужаснейшие баталии, когда пришла пора женить Гюбера и выдавать замуж Женевьеву. Ни тому, ни другому я не желал дать в руки наличный капитал, а решил назначить им ежегодную ренту. Родителям жениха моей дочери и невесты моего сына я отказался сообщить, каково мое состояние, из чего оно состоит, где хранится. И я держался твердо, я выиграл сражение, меня поддерживала ненависть, да, ненависть, а кроме того — любовь, моя любовь к маленькому Люку. Родители моего будущего зятя и будущей снохи скрепя сердце согласились на все: они не сомневались, что в кубышке у меня огромная сумма.

Но мое молчание вас тревожило. Вы пытались

выведать тайну. Женевьева иной раз принималась ластиться ко мне. Ах, какая неуклюжая дипломатия! Деревенщина! Я уже издали слышал, как она тяжело шагает, волоча деревянные башмаки. И я частенько говорил ей: «После моей смерти вы меня будете благословлять». Конечно, я говорил это забавы ради: хотелось поглядеть, как вы все всполошитесь, как у вас глаза заблестят от алчности. Ведь Женевьева передавала тебе эти волшебные слова. Вся родня млела от восторга. А я в это время старался найти такую уловку, чтоб оставить вам лишь то, что невозможно было утаить. Я думал только о маленьком Люке. Мне даже пришла в голову мысль заложить землю…

И все-таки однажды я попался и принял ваши кривляния за чистую монету — это было после смерти Мари, в том же году. Я расхворался. По некоторым симптомам можно было предположить, что у меня та же болезнь, которая унесла нашу девочку. Я терпеть не могу лечиться, не выношу докторов и лекарства. Но ты до тех пор приставала ко мне, пока я, смирившись, не согласился лечь в постель и вызвать Арнозана.

Ты ухаживала за мной усердно, это уж само собой разумеется, и, видимо, даже волновалась за меня; а порой, когда ты спрашивала, как я

себя чувствую, в твоем голосе звучала глубокая тревога. Ты щупала мне лоб, как больным детям, ты пожелала, чтоб тебе стелили постель в моей комнате. Если ночью я метался в жару, ты вставала и давала мне пить. «Кажется, она дорожит мной, — думал я, — кто бы поверил!..» Может быть, из-за того, что я «хорошо зарабатываю»? Но нет, деньги сами по себе не доставляют ей радости… А может быть, она боится, как бы после моей смерти не пошатнулось положение наших детей? Вот это правдоподобное объяснение. Но оказалось, что я не угадал.

Когда Арнозан осмотрел меня, ты вышла с ним на веранду, и я слышал ваш разговор — от волнения ты позабыла об осторожности, как это частенько бывает с тобой, и раскаты твоего голоса долетали до меня:

— Ради бога, доктор, говорите всем, что Мари умерла от брюшного тифа. А то ведь, знаете, у меня два брата умерли, бедняжки, от чахотки, и теперь по городу пошли слухи, будто и Мари умерла от той же болезни. Люди так злы! Покоя от них нет. Я очень боюсь, как бы мужнина болезнь не отозвалась на судьбе Женевьевы и Гюбера. Если он тяжело болен, опять начнутся неприятные толки. Он ужасно меня напугал; несколько дней

я просто была сама не своя, все думала о своих несчастных детях. Вы же знаете, доктор, что у него в молодости, еще до женитьбы, одно легкое тоже было задето. Это стало известно — у нас ведь все и про всех знают, сплетников ужасно интересуют чужие неприятности! Даже если б мой муж умер от какой-нибудь эпидемической болезни, никто бы этому не поверил, ведь не верят же, что наша Мари умерла от тифа! И бедным моим детям пришлось бы за это поплатиться. Я, знаете, так злилась на него, — не хочет лечиться, не желает лечь в постель, да и все тут! Как будто это касается только его одного! Да что ему другие, он о других никогда не думает, даже о собственных своих детях не беспокоится!.. Нет, нет, доктор, такому человеку, как вы, трудно поверить, что существуют люди, подобные моему супругу. Вы ведь такой же, как аббат Ардуэн, вы не верите, что на свете есть зло.

Я смеялся в одиночестве, лежа на одре болезни, и возвратившись, ты спросила меня, чему я смеюсь. Я ответил словами, которые у нас с тобой в большом ходу:

— Да так, ничему. — «Чему ты смеешься? — Ничему. — О чем ты думаешь? — Ни о чем».

## Глава десятая

Снова принимаюсь за свои записи — после тяжелого припадка, почти месяц продержавшего меня в вашей власти. Как только болезнь обезоруживает меня, вы все уже тут как тут, вся семейка смыкает свои ряды и, расположившись у моей постели, зорко следит за мной.

В прошлое воскресенье пожаловал Фили, чтобы посидеть со мной, составить мне компанию. Было жарко, душно, я отвечал односложно на его любезные речи, мысли у меня путались, я задремал… Долго ли я спал? Не могу сказать. Разбудил меня звук его голоса. Я увидел в полумраке, что он весь подобрался, насторожился. Глаза у этого молодого волка блестели. На руке выше часов он носил еще золотую цепочку. Рубашка была расстегнута на худенькой мальчишеской груди. Я снова задремал. Проснулся я от скрипа башмаков, чуть-чуть открыл глаза и стал наблюдать за ним из-под опущенных ресниц. Он принялся ощупывать мой пиджак, где у меня во внутреннем кармане лежал бумажник. Сердце у меня бешено колотилось, но я усилием воли заставил себя лежать неподвижно. Уж не догадался ли он?

Почему-то вернулся на свое место.

Я сделал вид, будто только что проснулся, спросил, долго ли я спал.

— Какое там! Несколько минут, дедушка.

Меня пробрала дрожь — ведь страшно одиноким старикам, когда их выслеживает какой-нибудь отчаянный малый. Не сошел ли я, право, с ума. Мне кажется, что этот молодец может убить меня. Сказал же Гюбер однажды, что, по его мнению, Фили способен на все.

Видишь, Иза, как я был несчастлив. А когда ты прочтешь эти строки, поздно уж будет жалеть меня. Но мне все-таки приятно думать, что хоть тогда ты почувствуешь ко мне сострадание. Не верю я в ваш вечный ад. Зато знаю, что такое проклятый, окаянный грешник здесь, на земле, заблудший человек, который, куда бы он ни пошел, идет ложным путем, человек, путь которого всегда был ложным: неудачник, не умевший жить — не в житейском понимании смысла этих слов, а в глубоком их смысле. Иза, я страдаю. Дует южный, знойный ветер. Мне душно, меня томит жажда, и нечем ее утолить, кроме тепловатой противной воды в умывальнике. Нажил человек миллионы, и нет у него стакана холодной воды!

Если я еще выношу ужасающие для меня по-

сещения Фили, то, может быть, потому, что он напоминает мне другого юношу, нашего племянника Люка, которому, впрочем, было бы сейчас уже за тридцать. Я никогда не отрицал христианских добродетелей и видел, что этот мальчик дал тебе много поводов развивать их в себе. Ты его не любила, в нем не оказалось никаких фамильных ваших черт, хоть он и был сыном Маринетты; не любила ты этого черноглазого мальчика с низким и широким лбом, окаймленным «височками, как у испанцев», — говорил Гюбер. Его отдали в пансион в Байонну, учился он плохо, но тебя это, по твоему мнению, не касалось: «Вполне достаточно с меня и того, что я вожусь с ним, когда он приезжает на каникулы».

Нет, вовсе не книги его занимали. В наших краях, где, кажется, давно перебили всю дичь, он почти ежедневно возвращался домой с охотничьими трофеями. Если раз в году появлялся в наших полях заяц, в конце концов он обязательно становился добычей Люка: я, как сейчас, вижу — мальчик идет по длинной аллее сада и весело поднимает вверх убитого зайца, зажав в кулаке его длинные уши. Я всегда слышал, как Люк отправляется из дому на рассвете; я отворял окно — из дымки тумана раздавался звонкий голос:

— Пойду осмотреть переметы.

Он всегда смотрел мне прямо в лицо и спокойно выдерживал мой взгляд, он не боялся меня, никакие страхи ему в голову не приходили.

Иногда я уезжал на несколько дней и если неожиданно возвращался, не предупредив вас, то обычно, входя в дом, слышал запах сигар, на полу в гостиной не видел ковра и находил все признаки прерванного празднества. (Лишь только я, бывало, со двора, Женевьева и Гюбер приглашали своих приятелей и устраивали пирушку, несмотря на строгое мое запрещение; а ты им потакала, ты поощряла это непокорство: «Ведь надо же поддерживать отношения», — заявляла ты.) И в этих случаях умиротворителем подсылала ко мне Люка. Его очень смешило, что я навожу на всех ужас.

— Они, знаешь, вертелись, плясали в гостиной, а я взял да и крикнул: «Дядя идет! Глядите, вон он на дорожке!» Если б ты видел, как они прыснули во все стороны! Тетя Иза и Женевьева схватили поднос с бутербродами и потащили обратно в буфетную. Вот переполох был!

Только для одного этого мальчишки я не был пугалом. Иногда я спускался с ним к реке посмотреть, как он удит рыбу. Этот непоседа, живой

как ртуть, этот шалун, весельчак мог часами смотреть на поплавок, застыв на берегу, как ствол дерева, только рука его порой шевелилась медленно и бесшумно, как гибкая ветка ивы. Женевьева с полным основанием утверждала, что у него совершенно неэстетическая натура. Действительно, он никогда не утруждал себя вечерними прогулками к обрыву, не любовался равниной при лунном свете. Он не мог восторгаться природой, потому что сам был частицей природы, слитой с нею, одной из сил ее, живым родником среди чистых родников.

Я думал о том, какой невеселой была его юная жизнь: мать умерла, об отце запрещалось говорить в нашем доме, с детских лет в пансионе, среди чужих — бедный, заброшенный ребенок. Таких обстоятельств для меня, например, вполне было бы достаточно, чтоб моя душа переполнилась горечью и ненавистью к людям. А вот от него исходила радость жизни. Все его любили. Как мне это казалось удивительным — ведь меня-то все ненавидели! Да, все его любили, даже я. Он всем улыбался, и мне тоже; хотя улыбался мне не больше, чем другим.

Все в этом мальчике было естественно, непосредственно и очень чисто. По мере того как он

подрастал, меня больше всего поражала эта чистота, это неведение зла, равнодушие к соблазнам зла. Наши дети тоже были хорошими, согласен, Гюбер был поистине примерным юношей, как ты говорила. Должен отдать тебе справедливость — это плоды твоего воспитания. Если б Люк пожил на свете подольше и стал бы взрослым мужчиной, можно ли было бы не беспокоиться за его нравственность? Чистота его не казалась основанной на каких-то принципах, благоприобретенной и сознательной: это была прозрачность ручья, бегущего по камешкам. Его облик блистал чистотой, как блещет росою трава на лугу. Я останавливаюсь на этой его черте, потому что она произвела на меня глубокое впечатление. Твои высоконравственные рассуждения, намеки, презрительно-брезгливые гримасы, поджатые губы — не могли бы внушить мне истинного понимания сущности порока. Я постиг ее, неведомо для себя, лишь благодаря этому мальчику, что стало мне ясно только гораздо позднее. Ты вот воображаешь, что все смертные носят на себе печать первородного греха, но ни один человек не нашел бы этой гнойной язвы у Люка: он вышел из рук ваятеля, вылепившего его, без всякого изъяна, цельным и прекрасным. Зато я, сравнив

себя с ним, почувствовал все свое уродство.

Можно ли сказать, что я любил его, как сына? Нет, я любил его за то, что он совсем не был похож на меня. Я прекрасно вижу, какие черты Гюбер и Женевьева унаследовали от меня: алчность, жажду материальных благ, которые для них превыше всего в жизни, презрительную властность (Женевьева безжалостно третирует своего мужа и высокомерна, как я). А Люк совсем другой; я был уверен, что не увижу в нем свое подобие.

Большую часть года я о нем совсем не думал. Отец брал его к себе из пансиона на Новый год и на Пасху, а летние каникулы он всегда проводил у нас. Уезжал он в октябре, когда покидали наши края и перелетные птицы.

Был ли он набожным? Ты о нем говорила так:

— Даже на таком глупом звереныше, как этот мальчик, сказывается влияние отцов иезуитов. По воскресеньям он ни за что не пропустит обедни, исповедуется, причащается… Конечно, молится он не очень усердно, на скорую руку. Ну что ж поделаешь! Каждый дает что может, большего и нечего с него требовать.

Со мной он никогда не затрагивал этих вопросов, не делал ни малейшего намека. Все его разговоры носили вполне конкретный характер.

Иной раз, когда он вытаскивал из кармана складной нож, поплавок, дудочку, чтоб подманивать жаворонков, на траву выпадали короткие черные четки, и он проворно поднимал их. Пожалуй, по утрам в воскресенье в нем было больше степенности, чем в будни, меньше жизнерадостности, легкости, как будто он нес тогда на плечах какой-то груз.

Среди всего, что привязывало меня к Люку, было одно обстоятельство, которому ты, вероятно, удивишься. Не раз случалось, что в воскресенье я узнавал в этом олененке, который в те часы переставал прыгать, брата нашей девочки, умершей двенадцать лет тому назад, хотя Мари совсем не походила на него характером: она не выносила, когда кто-нибудь раздавит букашку, и очень любила, устлав мхом дупло дерева, ставить туда статуэтку Богоматери, — помнишь? Ну так вот, для меня в этом «звереныше», как ты называла Люка, оживала наша Мари: вернее сказать, тот самый светлый родник, который был в ее душе и вместе с нею скрылся под землю, вновь бил у моих ног.

В начале войны Люку было почти пятнадцать лет. Гюбера взяли в армию, во вспомогательные части. Все процедуры осмотра во врачебной

комиссии он переносил с философским спокойствием, ты же места себе не находила от тревоги. Долгие годы его узкая грудь вызывала у тебя мучительное беспокойство. Теперь ты только на нее и возлагала надежды. Когда нудная канцелярская работа и какие-нибудь неприятности вдруг внушали Гюберу желание пойти на фронт добровольно и он принимался (впрочем, бесплодно) хлопотать об этом, ты доходила до того, что откровенно высказывала опасение, которое до тех пор с таким трудом скрывала от всех, — ты твердила: «При такой наследственности, как у него…»

Бедная Иза, не бойся, что я брошу в тебя камень. Я-то лично никогда тебя не интересовал, ты никогда не присматривалась ко мне, а уж в то время меньше, чем когда-либо. Ты не замечала, не угадывала, как в годы войны с каждой зимой возрастала во мне жестокая тревога. Отец Люка был мобилизован и направлен в какое-то министерство, и теперь мальчик проводил у нас не только лето, но и рождественские и пасхальные каникулы. Война вызывала в нем энтузиазм. Он все боялся, что военные действия кончатся до того, как ему исполнится восемнадцать лет. Раньше он никаких книг в руки не брал, а тут поглощал специальное труды, изучал карты. Он занимался

физическими упражнениями. В шестнадцать лет он был уже взрослым мужчиной и совсем не из мягкосердечных людей. Вот уж кого нисколько не трогали разговоры о раненых и убитых! Из самых страшных рассказов о жизни в окопах, которые я заставлял его читать, он извлекал свое собственное представление о войне как о грозном, но великолепном спорте, которым не всегда дается право заниматься: нужно было торопиться. Ах, как он боялся опоздать! У него уже было в кармане разрешение его болвана папаши. А я по мере того как приближался роковой день января 1918 года, когда ему должно было исполниться восемнадцать лет, с трепетом следил за карьерой старика Клемансо[58], подобно тому как некогда родители заключенных ждали падения Робеспьера[59], надеясь, что тиран падет раньше, чем их сыновья предстанут перед судом.

---

**[58] Примечания: 58**

Клемансо Жорж (1841–1929) — премьер-министр, неоднократно министр Франции, лидер радикалов. Стремился к установлению военной и политической гегемонии Франции в Европе.

**[59] Примечания: 59**

Робеспьер Максимилиан (1758–1794) — деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев. Фактически возглавив в 1793 г. революционное правительство, способствовал казни Людовика XVI, созданию революционного трибунала, казни лидеров партии жирондистов. Сосредоточил в своих руках практически неограниченную власть; организатор массового террора. Казнен термидорианцами.

Когда Люк был в лагере, в Суже, и проходил там обучение, ты посылала ему вязаные теплые вещи и всякие лакомства, но говорила иной раз такие слова, что я готов был изничтожить тебя, Иза. Ты преспокойно заявляла: «Конечно, если бедного мальчика убьют, будет очень печально… Но он-то, по крайней мере, не оставит после себя сирот…» Разумеется, ничего позорного в этих словах не было.

И вот настал день, когда все стало ясно: нет надежды, что война кончится раньше, чем Люка отправят на передовые. Когда фронт был прорван в Шмен-де-Дам, он приехал к нам проститься — на две недели раньше, чем это предполагалось. Как было больно! Наберусь мужества и приведу одну ужасную подробность — воспоминание о ней иногда будит меня ночью, и я просыпаюсь с громким стоном. В тот день я пошел к себе в кабинет, достал кожаный пояс, сделанный шорником по образцу, который я сам дал ему. Я взобрался на скамейку и, дотянувшись до верхушки книжного шкафа, попытался придвинуть к себе стоявшую там гипсовую голову Демосфена[60]. Это оказалось

**[60] Примечания: 60**

Демосфен — (384–322 до н. э.) — афинский оратор и государственный деятель, за свою политическую проницательность и стилистическое мастерство считался величайшим греческим оратором.

мне не под силу. Голова была битком набита луидорами, которые я прятал в этой копилке со дня мобилизации. Я погрузил руку в золото — в золото, которым дорожил больше всего на свете, достал несколько пригоршней золотых монет и засунул их в пояс. Когда я слез со скамейки, эта кожаная змея, проглотившая столько луидоров, стала твердой, как камень; я обвил ее вокруг своей шеи, и она тяжело давила мне на затылок.

Я робко протянул пояс Люку. Он сначала не понял, что я ему даю.

— А зачем мне эта штука, дядя?

— Как «зачем»? Может очень пригодиться, когда вы будете на стоянках или если в плен попадешь... и во многих других обстоятельствах... Ведь золото всемогуще.

— Ой-ой! — воскликнул он, смеясь. — У меня и так всякого барахла много. Неужели ты думаешь, что я навьючу на себя еще этот пояс? Да ну его! При первой же атаке швырну его в отхожее место.

— А в начале войны, дружок, все брали с собой золото — у кого оно было, конечно.

— Да потому, что тогда люди не знали, дядя, что их ждет на фронте.

Он стоял посреди комнаты, пояс же, наби-

тый золотом, бросил на диван. Юноша он был крепкий, сильный, а каким казался хрупким в большом, не по росту, мундире. Из широкого ворота выступала тоненькая детская шея. Волосы уже были острижены под машинку, и лицо как-то потеряло из-за этого индивидуальность — стало «общесолдатским». Его уже приготовили к смерти, «обрядили», он стал подобен другим, неотличимым от них, уже стал безымянным, уже исчез… Он рассеянно посмотрел на пояс, потом вскинул глаза на меня, и во взгляде его были насмешка и презрение. Все-таки он поцеловал меня на прощанье. Я проводил его до парадного. На пороге он обернулся и крикнул мне:

— Сдай ты все это во Французский банк.

А у меня слезы застилали глаза, я ничего не видел.

Я слышал, как ты ему ответила, смеясь:

— Ну уж на это не рассчитывай. Такого подвига нельзя от него ждать!

Дверь захлопнулась, я стоял, не двигаясь, в вестибюле, а ты мне сказала:

— Признайся, ты знал, что он не возьмет от тебя золота? Ты просто сделал широкий жест.

Я вспомнил, что пояс остался на диване. Кто-нибудь из прислуги полюбопытствует заглянуть

в него… Кто их знает… Такой уж народ!

Я торопливо поднялся в спальню и взвалил пояс себе на плечи, решив снова высыпать оттуда все золото в голову Демосфена.

Несколько дней спустя скончалась мама, а я почти и не заметил этого: уже несколько лет она ничего не сознавала; жила она не с нами. Теперь вот я каждый день думаю о ней, но мама мне вспоминается такой, какой она была в дни моего детства и молодости, воспоминание о той старухе, какой она стала, стерлось. Кладбищ я не выношу, но к маме на могилу хожу иногда. Цветы я перестал приносить — с тех пор, как заметил, что их воруют с могилы. Нищие таскают розы богачей, наживаются за счет покойников. Надо бы поставить ограду, но нынче это ужасно дорого стоит. А вот у Люка совсем нет могилы. Он пропал — так и числится: «без вести пропавший». Я храню в бумажнике ту единственную открытку, которую он еще успел мне написать: «Все благополучно. Посылку получил. Крепко целую». Так и написано: «Крепко целую». Все-таки сказал мне ласковое слово бедный мой мальчик.

## Глава одиннадцатая

Нынче ночью проснулся от удушья. Пришлось встать. Дотащился до своего кресла и там, под громкие завывания бешеного ветра, перечитал последние страницы своих записей. Поразительно, какие мерзкие подонки души они освещают!.. Перед тем как снова взяться за перо, я посидел у окна. Ветер стих. Ни единого дуновения. Калез мирно спал под звездным небом. И вдруг около трех часов ночи снова налетел шквал, в небе загромыхало, упали первые, тяжелые капли холодного дождя. Так громко барабанили они по черепичной крыше, что я испугался — не пошел ли град. Право, я думал, сердце у меня остановится. Ведь с виноградников только что «сошел цвет». По всему холму на лозах завязи — зачатки будущего урожая, но они как те ягнята, которых охотник привязывает к дереву и оставляет в ночном мраке, приманивая хищных зверей. Над моими обреченными виноградниками ползут тучи, грозящие градом, и гремят раскаты грома.

А в сущности, что мне до урожая, до сбора винограда? Что я теперь могу собирать в этом мире? Мне остается только одно: немного лучше

познать самого себя. Послушай, Иза, после моей смерти ты найдешь в столе среди других бумаг листок, на котором выражена моя последняя воля. Сделал я свои распоряжения через несколько месяцев после смерти Мари, когда я был болен и из-за детей ты тревожилась о моей участи В этом завещании ты найдешь мой символ веры, выраженный приблизительно в следующих словах: «Если я перед смертью соглашусь принять напутствие священника, то, будучи сейчас в здравом уме и твердой памяти, я заранее против этого протестую, ибо только воспользовавшись ослаблением умственных способностей и физических сил больного, смогут добиться от меня того, что мой разум отвергает».

Ну так вот, должен сознаться, что за последние месяцы, когда я, преодолевая свое отвращение к себе, с пристальным вниманием вглядываюсь в свой внутренний облик и чувствую, как все мне становится ясно, — именно теперь меня мучительно влечет к учению Христа. И я больше не стану отрицать, что у меня бывают порывы, которые могли бы привести меня к Богу. Если б я переменился, настолько переменился, что не был бы противен самому себе, мне нетрудно было бы бороться с этим тяготением. Да, с этим было бы

покончено, я просто-напросто считал бы это слабостью. Но как подумаю, что я за человек, сколько во мне жестокости, какая ужасная сухость в моем сердце, какой удивительной я обладаю способностью внушать всем ненависть к себе и создавать вокруг пустыню, — страшно делается, и остается только одна надежда… Вот что я думаю, Иза: не для вас, праведников, твой Бог сходил на землю, а ради нас, грешников. Ты меня не знала и не ведала, что таится в моей душе. Быть может, страницы, которые ты прочтешь, уменьшат твое отвращение ко мне. Ты увидишь, что все-таки были у твоего мужа сокровенные добрые чувства, которые, бывало, пробуждала в нем Мари своей детской лаской да еще юноша Люк, когда, возвратившись в воскресенье от обедни, он садился на скамью перед домом и смотрел на лужайку. Только ты, пожалуйста, не думай, что я держусь о себе очень высокого мнения. Я хорошо знаю свое сердце, мое сердце — это клубок змей, они его душат, пропитывают своим ядом, оно еле бьется под этими кишащими гадами. Они сплелись клубком, который распутать невозможно, его нужно рассечь острым клинком, ударом меча:

«Не мир, но меч принес я вам»[61].

Быть может, завтра я отрекусь от того, что доверил тебе здесь, так же как отрекся нынешнею ночью от того, что написал тридцать лет назад как последнюю свою волю. Ведь я ненавидел, простительной ненавистью, все, что ты исповедовала, и до сих пор я ненавижу тех, кто лишь именует себя христианами. Разве не правда, что многие умаляют надежду, искажают некое лицо, некий светлый облик, светлый лик? «Но кто тебе дал право судить их? — скажешь ты мне. — В самом-то тебе столько мерзости!» Иза, а нет ли в мерзости моей чего-то более близкого символу, которому ты поклоняешься, чем у них, у этих добродетельных? Вопрос мой кажется тебе, конечно, нелепым кощунством. Как мне доказать, что я прав? Почему ты не говоришь со мной? Почему никогда ты не говорила со мной? Быть может, нашлось бы у тебя такое слово, от которого раскрылось бы мое сердце. Нынче ночью я все думал: может быть, еще не поздно нам с тобой перестроить свою жизнь. А что, если бы не ждать смертного моего часа — теперь же отдать

**[61] Примечания: 61**

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч…» Евангелие от Матфея 10:34.

тебе эти страницы? И просить тебя, именем Бога твоего заклинать, чтобы ты прочла все до конца? И дождаться той минуты, когда ты закончишь чтение. И вдруг бы я увидел, как ты входишь ко мне в комнату, а по лицу твоему струятся слезы. И вдруг бы ты раскрыла мне свои объятия. И я бы вымолил у тебя прощение. И оба мы пали бы на колени друг перед другом.

Буря, наверно, кончилась. В небе мерцают предрассветные звезды. Показалось мне, будто снова дождь пошел, но нет, это падают капли с листьев. Не лечь ли мне в постель? Может быть, не станет мучить удушье. Устал я, уж не в силах больше писать, все чаще бросаю перо и откидываюсь на жесткую спинку стула.

Какое-то змеиное шипение, свист, потом оглушительный грохот и молния, полыхнувшая по всему небу. И наступила зловещая тишина, а за ней на холмах стали взрываться бомбы, которые бросают виноградари, чтобы ушли тучи, грозящие градом, или же разрешились дождем. С той стороны, где Барзак и Сотерн трепещут, ожидая града — бедствия, страшного для нашего края, — взлетают во мраке ракеты. На колокольне в Сен-Венсене звонят во всю мочь, в надежде отвратить градобитие, подобно тому как человек

поет во весь голос, когда ему страшно. И вдруг по черепичной крыше что-то застучало, словно кто-то швырнул на нее сверху горсть мелких камешков… Градины! В прежнее время я бросился бы к окну. Слышно было, как с резким стуком отворились ставни в спальнях. Ты крикнула какому-то человеку, торопливо проходившему по двору: «Сильный град?» Он ответил: «Довольно сильный. К счастью, вперемешку с дождем идет». По коридору прошлепали босые детские ножки — видно, кто-то из ребятишек испугался. Я прикинул по привычке: сто тысяч франков убытку — но не тронулся с места. А когда-то ничто бы меня не удержало, я бы выбежал из дому. Ведь нашли же меня однажды грозовой ночью посреди виноградника — в домашних шлепанцах, с потухшей свечой в руке, я стоял под сильным градом, падавшим мне на голову. Меня повлек туда глубокий инстинкт крестьянина, мне хотелось броситься на землю, как будто я мог прикрыть своим телом виноградники, спасти их от градобития. Но нынче вечером мне вдруг стало чуждо все то, что было, в глубоком смысле этого слова, моим достоянием. Наконец-то порвались узы! Не знаю, кто, не знаю, что избавило меня от них, Иза, но веревки, опутавшие меня, порвались: я иду

куда-то. Какая сила влечет меня? Слепая сила? Любовь? Быть может, любовь.

## Часть вторая
## Глава двенадцатая

***Париж. Улица Бреа***

Зачем вздумалось мне сунуть в чемодан эту тетрадь? Что мне теперь делать со своей исповедью, со своей длинной исповедью? Между мною и моей семьей все кончено. Та, для которой я раскрывал в этих записях всю свою душу, до самого дна, больше не должна существовать для меня. Для чего же мне и дальше трудиться? Да вот в чем дело: неведомо для себя я, несомненно, находил в этом облегчение, избавление. А в каком странном свете показывают меня строки, написанные в ту ночь, когда пошел град!.. Уж не нашло ли тогда на меня безумие? Нет, нет, не надо здесь говорить о безумии. Не надо даже упоминать это слово. А то они, пожалуй, способны обратить его против меня, если эти страницы когда-нибудь попадут им в руки. Теперь мои записи ни к кому не обращены. Надо будет их уничтожить, как только мне станет хуже… А может быть, я завещаю их своему сыну — я еще его не знаю, но сейчас разыскиваю в Париже. Как мне хотелось открыть Изе тайну на

тех страницах, где я намекал на роман, который у меня был в 1909 году; я чуть было не признался, что моя любовница была беременна от меня, когда уехала в Париж: она решила там скрыться.

Я считал себя человеком великодушным, так как до войны посылал матери и ребенку по шесть тысяч франков в год. Мне никогда и в голову не приходила мысль увеличить эту сумму. Значит, я сам и виноват, что и мать, и сын, которых я разыскал здесь, оба оказались существами, приниженными нуждой, зависимым положением и неблагодарной черной работой. Под тем предлогом, что они живут в этом квартале, я снял каморку в дешевом семейном пансионе на улице Бреа. У одной стены — кровать, у другой — шкаф, едва осталось место для столика, за которым я пишу. А какой на улице грохот! В мое время на Монмартре было тихо. Теперь же мне чудится, что сюда напустили сумасшедших, которые никогда не спят. Моя милая семейка не шумела так, собравшись в Калезе у подъезда в ту ночь, когда я собственными своими глазами видел, собственными ушами слышал… Зачем об этом вспоминать?.. Да затем, чтоб облегчить душу, закрепив хоть ненадолго в своих записях жестокое воспоминание… А впрочем, зачем мне

уничтожать эту тетрадь? Мой сын и наследник имеет право все узнать о своем отце. Этой исповедью я хоть немного исправлю свою вину перед ним, ведь я с самого рождения сына держал его в отдалении от себя, как чужого.

Увы, достаточно было мне увидеться с ним два раза, как у меня уже сложилось вполне определенное мнение о нем. Для такого существа, как он, мое послание не представит ни малейшего интереса. Что тут может понять этот приказчик, эта мелкая сошка, это отупевшее существо, у которого в жизни одно удовольствие — игра на бегах?

Ночью, когда поезд мчал меня в Париж, я старался представить себе, какие упреки мне придется услышать от него, и заранее готовился защищаться. Как на нас влияют мелодраматические шаблоны романов и театральных пьес! Я не сомневался, что у моего незаконного сына душа полна горечи и высоких чувств. То я наделял его суровым благородством Люка, то красотою Фили. Я все предвидел, только не то, что он может походить на меня. Неужели существуют отцы, которым приятно, когда им говорят: «Ваш сын походит на вас!» Мерилом моего отвращения к самому себе может служить тот ужас, который

я испытал, увидев перед собою своего двойника. Я страстно любил своего приемного сына Люка — может быть, за то, что он нисколько на меня не походил. Робер, однако, кое в чем отличается от меня: он тупица, не мог выдержать каких бы то ни было, самых легких, экзаменов. После многократных неудачных попыток он махнул на ученье рукой. Мать, которая все жилы из себя вытягивала, чтобы дать ему образование, стала презирать его. Она не может удержаться и постоянно его шпыняет, намекая на все его провалы; он молча слушает, понурив голову, ибо не может утешиться, что зря потрачено столько денег. Вот в этом он действительно мой сын. Но то, что я собираюсь преподнести ему сказочный дар — огромное состояние, он не в силах постигнуть, не хватает воображения. Такого богатства он не в силах представить себе и не верит нежданному чуду. По правде говоря, и мать, и он сам боятся: «Это ведь незаконно… нас могут посадить…»

Пухлая бледная особа, крашеная блондинка, казавшаяся карикатурой на ту женщину, которую я когда-то любил, не сводила с меня все еще красивых больших глаз: «Если б я встретила вас на улице, — сказала мне она, — я бы вас не узнала!» А разве я узнал бы ее? Я боялся, что она затаила

злобу против меня, захочет отомстить мне. Всего я опасался, только не мог предвидеть этого унылого равнодушия. Она очерствела, отупела от ежедневного восьмичасового выстукивания на пишущей машинке, она боится «скандальных историй». У нее остался болезненный страх перед судебными властями, с которыми у нее было столкновение в прошлом. А ведь я хорошо объяснил ей и Роберу свой план. Робер возьмет в каком-нибудь банке сейф на свое имя, я перенесу туда свое состояние. Он даст мне доверенность на право вскрывать сейф и обязуется не касаться этого сейфа до дня моей смерти. Я, разумеется, потребую, чтобы Робер подписал заявление, в котором он признает, что все, находящееся в этом сейфе, принадлежит мне. Не могу же я все-таки отдаться ему во власть, я совсем его не знаю. Мать и сын возражают — ведь после моей смерти найдут этот документ. Какие идиоты! Не хотят положиться на меня! Я попытался было втолковать им, что можно вполне довериться деревенскому поверенному Буррю, он мне всем обязан, и я веду с ним дела уже сорок лет. У него лежит на хранении пакет, на котором я написал: «Сжечь в день моей смерти». И я уверен, что Буррю выполнит распоряжение, уничтожит пакет

вместе со всем его содержимым. Я вложил туда и заявление, подписанное Робером. Я глубоко уверен, что Буррю все сожжет, тем более, что в этом запечатанном конверте лежат документы, которые ему выгодно уничтожить.

Но Робер и его мать боятся, что после моей смерти Буррю ничего не сожжет и станет их шантажировать. Признаться, я тоже об этом подумал и решил передать им в собственные руки кое-какие документы, вполне достаточные для того, чтобы отправить вышеозначенного Буррю на каторгу, если он вздумает фокусничать. Заявление Робера мой поверенный Буррю должен будет сжечь на их глазах, и лишь тогда они возвратят ему оружие, которым я их снабжу. Ну, чего им еще надо?

Но эта идиотка и этот дурачок ничего не могут сообразить, ничего не понимают, уперлись и твердят свое. Я им преподношу миллионы, а они, вместо того чтобы броситься мне в ноги, благодарить, как я воображал, спорят, рассуждают… Допустим, что в этом деле есть некоторый риск, — ну и что же? Игра стоит свеч! Так нет, — они не желают подписывать заявления: «А как же мы будем подавать декларацию для подоходного налога? Опасно! У нас могут быть неприятности…»

Ах, как же я, значит, ненавижу свою семью, если не выгнал этих двух дураков и не захлопнул у них перед носом дверь. Оба боятся моих законных наследников: «Знаете, опасно! Они все пронюхают и подадут на нас в суд...» Робер и его мать воображают, что моя жена и дети уже подняли тревогу, заявили в полицию и за мной следят сыщики. Поэтому они соглашаются встречаться со мною только по ночам или на окраине города. Да разве мне с моим здоровьем можно не спать по ночам и целыми днями разъезжать в такси! Не думаю, чтоб у моих домашних возникли какие-нибудь подозрения: я не первый раз путешествую один, и откуда им знать, что недавно ночью в Калезе я, невидимо для них, присутствовал на их военном совете. Словом, они еще не выследили меня в Париже. И ничто на этот раз не помешает мне добиться своего. А с того дня, как Робер согласится на предложенную махинацию, я буду спать спокойно. Он трус, а посему не совершит никакой неосторожности.

Нынче вечером, тринадцатого июля, играет оркестр на вольном воздухе, на углу улицы Бреа кружатся пары. О, тихий, мирный Калез! Вспоминаю последнюю ночь перед моим отъездом. Вопреки запрещению доктора, я принял таб-

летку веронала и уснул глубоким сном. Вдруг я вздрогнул и проснулся. Смотрю на часы — только еще час ночи. Меня напугал шум — откуда-то доносился многоголосый говор. Окно с вечера осталось открытым. Прислушиваюсь — ни во дворе, ни в гостиной никого нет. Направляюсь в ванную — она выходит окном на север, то есть в сторону подъезда. Вижу — у крыльца в необычно поздний час сидит вся семья. Ночью им некого было опасаться: кругом ни души, и в эту сторону выходят только окна умывальных комнат и коридора.

Ночь была теплая и необыкновенно тихая. В краткие мгновения молчания я слышал немного хриплое дыхание Изы, слышал, как чиркают спичкой. Тишина. На черных кронах вязов не колышется ни единый листок. Я не решался выглянуть из окна, но узнавал каждого своего врага — по голосу, по смеху. Они не спорили, не ссорились. Кто-то (Иза или Женевьева) бросил реплику, и после этого настало долгое молчание. Потом вдруг, в ответ на замечание Гюбера, что-то возразил Фили, и тут они заговорили наперебой.

— А ты уверена, мама, что он держит у себя в несгораемом шкафу только маловажные документы? Скупцы народ неблагоразумный.

Вспомни, как он хотел дать Люку, какому-то мальчишке, уйму золота… Где он прятал это золото?

— В несгораемом шкафу у него ничего нет. Он же знает, что мне известен шифр, которым открывается замок: *Мари.* Он в шкаф лазит, только когда ему нужно возобновить страховой полис или проверить, сколько налогу он уплатил.

— Мама, да ведь это очень важно! Может быть, хоть по налоговому листу мы узнаем сумму его доходов, он ведь их упорно скрывает от нас.

— Да там только то, что относится к недвижимости. Я уже смотрела.

— Это тоже очень показательно, вы не находите? Чувствуется, что он принял все меры предосторожности.

Фили, позевывая, пробормотал:

— Нет, вы подумайте только — сущий крокодил! Вот уж не повезло мне! Нарвался на такого крокодила!

— И если хотите знать мое мнение, — заметила Женевьева, — то, мне думается, ничего вы не найдете и в сейфе, который у него есть в Лионском кредите. Ты что, Янина?

— Мама, да что ж это такое! Ведь все говорят, будто он тебя любит немножко. А когда ты и дядя Гюбер были маленькими, разве он иногда

не баловал вас? Разве нет? Так, значит, вы сами виноваты. Не умели взять его лаской. Вы просто неловкие, неуклюжие! Надо было вертеться около него, ластиться, очаровывать его. Я бы всего добилась, я уверена. Да только вот он не выносит моего Фили.

Гюбер сердито оборвал племянницу:

— Можешь быть уверена, наглость твоего мужа дорого нам обойдется…

Послышался смех Фили. Я чуть-чуть выглянул из окна; огонек зажигалки осветил на мгновение его сложенные ладони, округлый подбородок, толстые губы.

— Будет вам! Он и без меня терпеть вас не мог.

— Нет, прежде все-таки меньше ненавидел нас.

— А вы вспомните-ка, что бабушка рассказывала, — заговорил опять Фили. — Как он себя вел, когда потерял дочку… С таким видом на всех посматривал, будто ему наплевать было, что она умерла… Никогда и не заглядывал на кладбище…

— Нет, Фили, вы уж слишком далеко заходите. Мари он любил, только ее одну в целом мире и любил.

Если б не это возражение Изы, которое она

сделала слабым, дрожащим голосом, я бы не мог сдержаться. Я сел на низкий стул и, вытянув шею, прижался головой к подоконнику. Женевьева сказала:

— Если б Мари осталась жива, ничего бы этого не было. Он бы просто не знал, чем одарить ее, как ей угодить…

— Да бросьте вы! Так же возненавидел бы, как и всех остальных. Ведь он — чудовище! Никаких человеческих чувств!..

Иза опять запротестовала:

— Прошу вас, Фили, не говорите так о моем муже, да еще при мне и при его детях. Вы должны относиться к нему почтительно.

— Почтительно! Почтительно! — И Фили, кажется, пробормотал: — Вы, может, воображаете, что очень весело войти в такую семью…

Женевьева сухо заметила:

— А вас никто насильно и не тянул…

— А зачем же вы мне пыль в глаза пускали? «Ах, у нас впереди надежды, надежды…» Ну вот еще, теперь Янина ревет! Ну что? Что я такого сказал? — И он с досадой заворчал: — До чего ж все это надоело!

Наступило молчание, слышно было только, как Янина всхлипывает и сморкается. Чей-то голос

(чей — я не мог разобрать) произнес: «Сколько звезд!» В Сен-Венсене на колокольне пробило два часа.

— Дети мои, пора спать.

Гюбер заволновался, заявил, что нельзя расходиться, не приняв решения. Да, давно пора действовать. Фили согласился с ним. Он заявил, что долго мне не протянуть, а тогда уж ничего нельзя будет сделать. Старик принял все меры…

— Да, наконец, скажите, дорогие дети, чего вы от меня ждете? Я уже все испробовала. Больше ничего не могу сделать.

— Нет, можешь, — возразил Гюбер, — все от тебя зависит.

И он что-то зашептал. Я ничего не мог расслышать. Самого-то главного я, значит, и не узнаю? Наконец заговорила Иза, и по ее голосу я понял, что она возмущена, шокирована:

— Нет, нет! Мне это совсем не нравится!

— А разве важно, мама, нравится тебе это или не нравится? Надо спасти наше состояние — вот и все.

Опять началось шушуканье, и снова его прервал возглас Изы:

— Это очень жестоко, дитя мое.

— Но не можете же вы, бабушка, и впредь оста-

ваться его сообщницей! Ведь он отнимает у нас наследство именно с вашего разрешения. Вы своим молчанием выражаете свое согласие с ним.

— Янина, детка моя, как ты можешь!..

Бедная Иза, сколько ночей она провела у изголовья этой ревы, которую она взяла к себе в комнату, потому что родители желали спать спокойно, а никакая нянька не соглашалась возиться с такой визгливой плаксой. Янина говорила сухим, дерзким тоном. (Я бы ей задал за этот тон!) И в заключение добавила:

— Мне, конечно, неприятно говорить вам, бабушка, такие вещи. Но это мой долг.

Долг! Ее долг! Так она называет свою чувственную страсть, свой страх, что ее бросит бездельник, засмеявшийся в эту минуту дурацким смехом…

Женевьева поддержала свою дочь: несомненно, что слабодушие можно считать сообщничеством. Иза вздохнула:

— Может быть, дети, лучше всего будет написать ему письмо?

— Ну уж нет! Никаких писем! — возмутился Гюбер. — Письма-то и губят людей. Надеюсь, мама, ты ему никогда не писала?

Иза призналась, что раза два-три она писала мне.

— Надеюсь, не грозила ему и не оскорбляла?

Иза молчала, не решаясь признаться. А я смеялся втихомолку. Да, да, она писала мне, и я бережно храню эти письма: в двух она меня жестоко оскорбляла, а третье письмо было почти нежное, — словом, пришлось бы ей проиграть процесс, если б милые деточки, по своей несказанной глупости, уговорили бы ее подать на меня в суд и требовать расторжения брака. Теперь все они всполошились — так бывает у собак: одна собака зарычит, и тогда вся свора начинает рычать.

— Вы ему не писали, бабушка? Скажите же! У него нет никаких ваших писем, опасных для нас?

— Нет, пожалуй, опасных нет... Вот только Буррю, — ну, знаете, этот поверенный из Сен-Венсена, которого мой муж какими-то путями прибрал к рукам, — однажды он сказал мне ужасно жалостливым тоном (но ведь он пройдоха и лицемер)... да, он сказал мне: «Ах, сударыня, зачем вы ему писали! Это большая неосторожность с вашей стороны!..»

— Что ж ты ему написала? Надеюсь, в письме не было оскорблений?

— В одном письме были упреки, и довольно

резкие, — это после смерти Мари. И потом я еще раз написала — в тысяча девятьсот девятом году. Тогда у него была связь, более серьезная, чем другие его связи, — по этому поводу я и писала.

Гюбер заворчал: «Это очень важно, крайне важно...» — и, желая его успокоить, Иза сказала, что она потом все уладила — выразила в другом письме сожаление в своей резкости, признала, что не раз была передо мной виновата.

— С ума сойдешь! Целый букет нелепостей!..

— Н-да! Теперь уж ему нечего бояться бракоразводного процесса...

— Но почему же вы думаете в конце концов, что у него черные замыслы против вас?

— Послушай, мама! Надо быть слепым, чтоб этого не видеть! А непроницаемая тайна, в которой он совершает свои финансовые операции? А его намеки? А те слова, которые вырвались однажды у Буррю при свидетелях: «Ну и кислые же у них будут физиономии после смерти старика!..»

Они спорили теперь с таким остервенением, как будто старухи матери и не было тут. Громко застонав, она поднялась с кресла. «Вредно мне при моем ревматизме сидеть по ночам на воздухе». Дети не отозвались ни единым словом.

Потом я услышал, как они, не прерывая своих

разговоров, небрежно бросали матери: «Покойной ночи». Должно быть, ей самой пришлось обойти их всех и самой целовать всех по очереди, они же нисколько и не побеспокоили себя. Осторожности ради я тотчас же лег в постель. На лестнице послышались тяжелые шаги. Иза подошла к двери, я услышал ее шумное дыхание. Поставив свою свечу на полочку, она отворила дверь. Подошла к постели. Наклонилась надо мной, хотела удостовериться, что я сплю. Как долго она всматривалась в меня! Я боялся, что выдам себя. Она дышала коротко и быстро. Наконец она вышла и затворила за собой дверь. Когда щелкнула задвижка в ее спальне, я вновь вернулся в ванную на свой «пост подслушивания».

Дети еще не разошлись. Но разговаривали теперь вполголоса. Многих слов я так и не расслышал.

— Он был не из ее круга, — говорила Янина. — Это тоже играло роль. Фили, душенька, ты кашляешь. Накинь на себя пальто.

— Да, в сущности, больше всего он не жену, а нас ненавидит. Нет, это просто невероятно, неслыханно! В романах и то такого не найдешь. Мы, конечно, не должны судить маму, но все-таки она, по-моему, слишком снисходительна

к нему…

Послышался голос милейшего Фили:

— А ей-то что! Приданое свое она всегда вернет. Дедушка Фондодеж дал за ней акции Суэцкого канала… С тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года цена на них, верно, вздулась до небес!

— Акции? Акции Суэцкого канала? Они уже проданы…

Это сказал Альфред, супруг Женевьевы (я сразу узнал его нерешительные интонации, его заикание). До сих пор бедняга Альфред не промолвил ни слова. Женевьева и тут его оборвала резким, крикливым голосом, каким она всегда говорит с мужем:

— Ты с ума сошел! Откуда ты взял, что акции проданы?

Альфред рассказал, что в мае месяце он зашел в комнату тещи как раз в ту минуту, когда она подписывала распоряжение о продаже, и она ему сказала: «Кажется, сейчас самое подходящее время их продать — выше курс не поднимется, теперь пойдет на понижение».

— И ты нам ничего не сообщил? — заорала Женевьева. — Вот дурак набитый! Папа, значит, велел ей продать эти акции. Боже мой, такие акции! А ты говоришь об этом совершенно

спокойно, как будто ничего особенного не случилось…

— Да я же полагал, Женевьева, что мама поставила вас в известность. А поскольку по брачному контракту муж не имеет прав на ее приданое…

— Ну-с, а в чей карман попала прибыль от этой продажи? Как ты думаешь? Представьте себе, милый мой супруг ни слова нам не сказал! Боже мой! Всю жизнь прожить с таким человеком…

Вмешалась Янина — попросила говорить потише, а то разбудят ее дочурку. Несколько минут они говорили так тихо, что я уже ничего не мог разобрать. Потом послышался голос Гюбера:

— Я все думаю о том плане, который вы сегодня предложили. На маму надеяться нечего, сама она на это не пойдет… Надо, по крайней мере, ее постепенно подготовить к нашему решению…

— А может, она найдет, что это все-таки лучше, чем развод. Ведь развод по суду приведет неизбежно и к расторжению церковного брака, и значит, тут замешаются вопросы совести… Разумеется, то, что предложил Фили, на первый взгляд не очень красиво… А впрочем, что тут особенного? Не мы же будем судьями. В конечном счете все зависит вовсе не от нас. Наша задача только поднять вопрос. Решен он будет в нашу

пользу только в том случае, если соответствующие компетентные учреждения сочтут это необходимым.

— А я вам говорила и еще раз скажу: ничего у вас не выйдет. Зря вы замахиваетесь, — заявила Олимпия.

Должно быть, жену Гюбера довели, как говорится, до белого каления, раз она заговорила так громко и решительно. Она выступила с утверждением, что я человек уравновешенный, положительный, здравомыслящий.

— Должна сказать, — добавила она, — что зачастую я бываю с ним вполне согласна, и я прекрасно сумела бы с ним поладить и добилась бы чего угодно, если б только вы не портили моих начинаний…

Я не расслышал, что ей ответил Фили, должно быть, отпустил какую-нибудь наглую шуточку, потому что все засмеялись, и стоило Олимпии раскрыть рот, как опять поднимался хохот. До меня долетали обрывки разговора.

— Вот уже пять лет, как он не выступает в суде. Не может больше выступать.

— Из-за сердца?

— Да, теперь из-за сердца. Но когда он вышел из суда, то еще не был серьезно болен. Просто у него

были неприятные столкновения с коллегами. Происходили они публично, при свидетелях, и я уже собрал о них соответствующие сведения…

Напрасно я напрягал внимание и слух, дальше ничего нельзя было разобрать: Фили и Гюбер, несомненно, придвинулись поближе друг к другу, и я слышал только неясное бормотание, вслед за ним возмущенный возглас Олимпии:

— Перестаньте вы! Единственный человек, с которым я могу поговорить о хороших книгах, обменяться мыслями, человек с широким кругозором, и вы хотите…

Из ответа Фили я расслышал только одно: «Не в своем уме». А потом вдруг заговорил вечный молчальник — зять Гюбера; он произнес сдавленным голосом:

— Прошу вас, Фили, говорите вежливо с моей тещей.

Фили заявил, что он просто пошутил. Чего там, ведь оба они оказались жертвами в этом деле. Зять Гюбера с дрожью в голосе стал заверять, что он совсем не считает себя жертвой и женился на дочери Гюбера по любви, и тогда все хором закричали: «И я по любви!», «И я!», «Я тоже!». Женевьева насмешливо сказала мужу:

— Ах, и ты тоже? Вот хвастун! Ты, оказывается,

женился на мне, ничего не зная о папином богатстве? А помнишь, что ты мне шепнул в вечер нашей помолвки? «Он ничего не хочет нам говорить. Но какое это имеет значение? Ведь мы все равно знаем — состояние у него огромное!»

Раздался взрыв хохота, потом гул разговоров, и снова послышался голос Гюбера. Несколько секунд он говорил один, я расслышал только конец его речи:

— Это прежде всего вопрос справедливости, вопрос нравственности. Мы защищаем свое законное достояние и священные права семьи.

В глубокой предрассветной тишине слова их доходили до меня очень явственно.

— Установить слежку за ним? У него большие связи в полиции, как я не раз в том убеждался. Его предупредят…

А через несколько мгновений до меня донеслось:

— Всем известны его резкость, его алчность. Надо откровенно сказать, что в двух-трех процессах он как будто вел себя не совсем деликатно. Но что касается здравого смысла, уравновешенности…

— Во всяком случае, никто не станет отрицать, что его отношение к нам просто бесчеловечное, чудовищное, какое-то сверхъестественное.

— И ты думаешь, дорогая детка, — сказал Альфред своей дочке, — что этого достаточно для установления диагноза?

Я понял. Теперь я все понял! В душе у меня было глубокое спокойствие, буря стихла, явилась непоколебимая, твердая уверенность: они сами — чудовища, а я — их жертва. Мне приятно было, что моей жены нет среди них. Пока Иза была тут, она все же немного защищала меня, и при ней они не решались заикнуться о своих замыслах. Теперь-то эти подлые замыслы мне известны, однако я их не боюсь. Болваны несчастные! Да разве вам удастся учредить опеку над таким человеком, как я, или запереть меня в сумасшедший дом? Попробуйте только пальцем пошевельнуть, я живо поставлю Гюбера в отчаянное, безвыходное положение. Он и не подозревает, что его судьба в моих руках. А что касается Фили, то у меня хранятся некие опасные для него материалы из папки полицейских сведений… Я не собирался ими воспользоваться. Впрочем, я и теперь не пущу их в ход. Достаточно мне будет показать им всем клыки.

Впервые в жизни я испытывал утешительное сознание, что я не самый плохой человек, другие гораздо хуже меня. У меня нет желания отомстить

им. Во всяком случае, я не стану придумывать для них иной мести, кроме лишения наследства. А они-то как ждут его! Иссохли от нетерпения, обливаются потом от мучительной тревоги.

— Звезда упала! — крикнул Фили. — Не успел я загадать желание.

— Никогда не успеть! — сказала Янина. А муж подхватил с неизменной своей детской жизнерадостностью:

— Как увидишь падучую звезду, сразу кричи: «Миллионы!»

— Глупый ты, Фили!

Все поднялись. Слышно было, как отодвигают садовые кресла по хрустящему гравию. Щелкнула задвижка в парадном, потом в коридоре захихикала Янина. Одна за другой закрылись двери спален. Я принял твердое решение. У меня уже два месяца не было припадков удушья. Значит, ничто не помешает мне поехать в Париж. Обычно я уезжаю без предупреждения. Но я не хочу, чтоб эта моя поездка походила на бегство. До утра я не спал, обдумывал свой давний план — извлек его из архива и тщательно разработал.

## Глава тринадцатая

Я встал в полдень. Усталости нисколько не чувствовал. Вызвал по телефону Буррю, он явился после завтрака. Почти час мы с ним беседовали, прогуливаясь под липами вокруг лужайки. Иза, Женевьева и Янина издали наблюдали за нами, и я наслаждался их явным беспокойством. Как жаль, что мужчины — в Бордо. Они говорят про низенького старичка поверенного: «Буррю за него в огонь и в воду готов броситься». А Буррю просто мой раб, связан по рукам и ногам. Как же он, бедняга, молил меня в то утро, чтоб я не давал оружия против него в руки возможного моего наследника!.. «Да чего ж вы боитесь? — успокаивал я его. — Ведь он возвратит вам этот документ, когда вы сожжете подписанное им заявление...»

Прощаясь, Буррю отвесил дамам глубокий поклон, они ответили чуть заметным кивком. Потом он с грехом пополам оседлал свой велосипед и укатил. Я направился к женщинам и известил их, что вечером уезжаю в Париж. Иза стала отговаривать: неблагоразумно ехать одному при таком состоянии здоровья.

— Ничего не поделаешь, — ответил я. — Мне

надо отдать некоторые важные распоряжения. Вы хоть этого и не замечаете, а я думаю о вас.

Они смотрели на меня испытующим, тревожным взглядом. Иронический тон выдал меня. Янина посмотрела на мать и осмелилась возразить:

— Бабушка или дядя Гюбер могли бы вас заменить.

— Удачная мысль, дитя мое… Весьма удачная!.. Но, знаешь ли, я привык все делать сам. И потом — это, конечно, плохо, я и сам знаю, что плохо, но я никому не доверяю.

— Даже своим детям? Ах, дедушка!

Она так жеманно протянула слово «дедушка», что меня злость взяла. Какая самоуверенность! Подумаешь, неотразимая очаровательница! А этот пронзительный, писклявый голос. Я хорошо различал его прошлой ночью в хоре милых родственников… И я расхохотался, весьма опасным для моего сердца смехом — кашляя, задыхаясь. Видимо, я их перепугал. Никогда мне не забыть жалкого, измученного лица Изы. У нее, верно, и тогда уже были припадки. Янина, несомненно, стала к ней приставать, как только я отошел от них: «Бабушка, не пускайте его, не позволяйте ему ехать…» Но моя жена уже не в силах была

сражаться, вести наступление, она совсем изнемогла, едва дышала, едва двигалась. Недавно я слышал, как она сказала Женевьеве: «Хорошо бы лечь, уснуть и никогда, никогда не просыпаться…» Мне теперь жалко ее было, как было когда-то жалко мою бедную маму. А дети выдвигали против меня это старое, изношенное осадное орудие, которое уже не могло служить. Они, разумеется, на свой лад любили мать, заставляли ее приглашать доктора, принимать лекарства, соблюдать диету. Когда дочь и внучка изволили удалиться, она подошла ко мне.

— Послушай, — торопливо сказала она. — Мне нужны деньги.

— У нас сегодня десятое. А первого я дал тебе на весь месяц.

— Да, но мне пришлось немного помочь Янине: они в очень стесненном положении. В Калезе мне всегда удается сократить расходы. Я верну тебе из тех денег, которые ты дашь мне в августе.

Я ответил, что такие траты меня не касаются, я вовсе не обязан содержать бездельника Фили.

— Я в булочной задолжала и в бакалейной… Посмотри, вот счета.

И она вытащила счета из сумочки. Право, мне ее жалко стало. Я предложил дать чеки: «Так я, по

крайней мере, буду уверен, что деньги не уйдут на что-нибудь другое...» Она согласилась. Я достал чековую книжку и тогда заметил, что Янина с мамашей наблюдают за нами, прогуливаясь в розарии.

— Уверен, — сказал я, — что они воображают, будто мы говорим совсем о другом...

Иза вздрогнула.

— О чем же нам говорить? — тихо сказала она. И в это мгновение у меня подступило к сердцу. Я схватился за грудь обеими руками — жест, хорошо ей знакомый. Она перепугалась:

— Тебе плохо?

Я уцепился за ее руку. В старой липовой аллее как будто стояла дружная супружеская пара, прожившая долгую жизнь в глубоком сердечном единении. Я сказал шепотом: «Ничего, мне лучше». Она, верно, подумала, что настала минута, быть может, неповторимая минута, когда можно откровенно поговорить со мной. Но у нее уже не было сил. Я заметил, что она и сама-то дышит тяжело и неровно. Я хоть и был тяжко болен, но держался стойко, крепился. А она поддавалась болезни, думала только о детях, нисколько не заботилась о себе самой, ей ничего не было нужно. Она хотела что-то сказать и не находила слов,

бросала украдкой взгляды на дочь и на внучку, желая, видно, придать себе храбрости. Потом вскинула на меня глаза; я прочел в ее взгляде бесконечную усталость и, пожалуй, сострадание, и, несомненно, ей было еще и стыдно. Должно быть, то, что говорили ночью дети, ее оскорбило.

— Право, тревожно на душе. Ну зачем ты один едешь?

Я не ответил, сказал только, что если со мной в дороге случится несчастье, меня перевозить сюда не стоит.

Она взмолилась, чтобы я не намекал на такую страшную возможность. И я добавил:

— Слушай, Иза, зачем зря деньги тратить? Кладбищенская земля везде одинакова.

— Что ж, я и сама так думаю, — сказала она со вздохом. — Пусть они похоронят меня, где хотят. Прежде-то я все говорила: «Положите меня возле Мари...» А что теперь осталось от Мари?

Лишний раз я убедился, что для нее наша милая дочка, маленькая Мари, была могильным прахом, горсточкой костей. Я не посмел сказать, что все эти долгие годы дитя мое оставалось для меня живым, что я чувствовал ее дыхание и часто в духоте моей мрачной жизни оно проносилось внезапным чистым дуновением.

Напрасно Женевьева и Янина шпионили и поджидали мать. Она казалась такой усталой. Быть может, перед ней предстало все ничтожество целей ее долголетней борьбы против меня? Женевьева и Гюбер, которых на это толкали их собственные дети, натравливали на меня несчастную старуху Изу Фондодеж — ту, что была когда-то моей невестой и вместе со мной вдыхала благоухание баньерских ночей. Полвека мы с ней сражались. И вот в некий знойный летний день оба противника почувствовали, что, вопреки столь долгой борьбе, их соединяют узы прожитой вместе жизни и старость. Как будто, ненавидя друг друга, мы пришли к одному и тому же месту жизненного пути. Больше ничего не было за этим мысом, где мы ждали смерти. По крайней мере, для меня. У нее еще оставался Бог — Бог-то должен был ей остаться. Все, за что она цеплялась так же алчно, как и я сам, вдруг отпало, исчезли все вожделения, стоявшие стеной между нею и бесконечным. Видит ли она его теперь? Ведь теперь ничто ее не отдаляет от него. Нет, не видит. Осталась преграда — честолюбивые планы и требования ее детей. Она несла в душе бремя их желаний. Ей приходилось быть черствой в угоду им. Денежные заботы, тревога о здоровье детей,

их расчеты, их тщеславие и зависть — от этого ей не уйти, все придется начинать заново, как заново решает школьник задачу, когда учитель, перечеркнув листок, напишет: «Переделать».

И снова она бросила взгляд на аллею, где Женевьева и Янина, вооружившись садовыми ножницами, якобы обрезали сухие ветки на розовых кустах. Выжидая, пока утихнет сердцебиение, я присел на скамью и долго смотрел вслед жене — она шла по дорожке, низко опустив голову, как ребенок, ожидающий строгого нагоняя. Было жарко, душно, надвигалась гроза. Иза шла разбитой походкой, видно было, что каждый шаг для нее мученье. Я будто слышал, как она стонет: «Ох, бедные мои ноги!» Ненависть между старыми супругами никогда не бывает так сильна, как им кажется.

Иза подошла к дочери и внучке, и, очевидно, обе стали ее упрекать. Вдруг она повернулась и снова направилась ко мне. Вся красная, страдая от одышки, она села рядом со мной и сказала жалобно:

— В грозовую погоду мне всегда очень нехорошо. Такая усталость одолевает, и нервы так напряжены!.. За последние дни я сама не своя… Послушай, Луи, меня кое-что беспокоит… Суэцкие

акции… Приданое мое. Мы с тобой продали их, а на что ты употребил эти деньги? Ты ведь тогда велел мне подписать какие-то другие бумаги.

Я сообщил, что она получила огромную прибыль благодаря тому, что я продал эти акции накануне падения их курса, затем сказал, какие именно процентные бумаги я купил на реализованную сумму.

— Приданое твое дало приплод, Иза. Даже учитывая падение франка, сумма огромная. Ты будешь поражена. Все положено на твое имя в Вестминстер-банке — и основной капитал, и прибыль. Твоих детей это совершенно не касается… Можешь быть спокойна. Своим собственным деньгам я хозяин, и все, что я нажил, — это мое. Но то, что ты с собой принесла, это уж твоя собственность. Поди успокой своих ангелов бескорыстия, — вон как они на меня смотрят!

Она схватила меня за руку.

— За что ты их ненавидишь, Луи? За что ты всю свою семью ненавидишь?

— Это вы меня ненавидите, а не я. Вернее сказать, дети меня ненавидят… А ты… ты просто не замечаешь меня, кроме тех случаев, когда я раздражен или внушаю тебе страх…

— Прибавь еще: «Или когда я мучаю тебя…»

Разве мало я выстрадала?

— Ах, оставь, пожалуйста. Ты никого не видела, кроме детей.

— Да, я всей душой к ним привязалась. А что ж мне оставалось в жизни, кроме них? — И, понизив голос, она добавила: — В первый же год ты меня оставил, изменял мне, сам знаешь…

— Ну, Иза, не станешь же ты уверять меня, будто мои шашни очень тебя огорчали… Разве что задевали твое самолюбие. Молодые жены обидчивы.

Она горько усмехнулась.

— Ты как будто искренне говоришь. Подумать только, ты даже не замечал…

Я встрепенулся — забрезжила надежда. Неловко говорить — ведь речь шла о былых, давно угасших чувствах. А вот взволновала надежда, что сорок лет назад я был, неведомо для себя, любим. Да нет, теперь уж не поверю.

— Ни разу у тебя не вырвалось ни слова, ни крика… Ты всецело поглощена была детьми.

Она закрыла лицо руками. И в тот день мне особенно бросилось в глаза, какие на них набухшие вены и темные пятна.

— Детьми? Подумать только! С тех пор как мы стали спать в разных комнатах, я столько лет не

смела положить с собой ни одного из детей, даже когда они хворали. Все ждала, все надеялась, что ты придешь…

Слезы текли по старческим ее рукам. Вот что сталось с Изой. Только я один мог еще различить в этой рыхлой старухе, почти калеке, прежнюю Изу, юную девушку, «посвятившую себя белому цвету», мою спутницу в прогулках к долине Лилий.

— Стыдно и смешно в мои годы вспоминать о таких делах… Да, главное, смешно. Прости меня, Луи.

Я молча смотрел на виноградники. И в эту минуту возникло у меня сомнение. Да как же это возможно! Почти полстолетья человек разделяет с тобою жизнь, и ты все эти годы видишь его только с одной стороны. Как же это возможно! Неужели мы словно делали выбор из всех его слов и поступков и запоминали лишь то, что питало наши обиды против него, поддерживало злопамятство? У нас какое-то роковое стремление упрощать облик другого человека, отбрасывать все черты, которые смягчили бы уродливый его образ, создавшийся в нашем представлении, и сделали бы более человечным его карикатурный портрет, который мы рисуем нарочно, для оправ-

дания своей ненависти… Уж не заметила ли Иза, что я взволнован? Она поторопилась воспользоваться своим выигрышным положением.

— Ты не поедешь сегодня?

И в глазах у нее блеснул огонек торжества, как это обычно бывало, когда ей казалось, что она «одолела меня». Прикидываясь удивленным, я ответил, что не вижу никаких оснований откладывать поездку. Мы вместе с ней направились к дому. Из-за моего сердца мы поднялись не по крутому скату, а пошли в обход, по липовой аллее, огибавшей дом. Я все-таки был в смущении, не знал, как поступить. А что, если не ездить? Отдать бы Изе свою тетрадь… Что, если бы… Она оперлась на мое плечо. Сколько уж лет она этого не делала! Аллея выводила к дому с северной стороны. Иза сказала:

— Казо никогда не убирает садовых стульев…

Я рассеянно взглянул. Пустые кресла все еще стояли тесным кружком. Тем, кто был тут ночью, понадобилось сесть поближе друг к другу и вести разговор шепотком. Земля была изрыта каблуками Везде валялись окурки тех папирос, которые курит Фили. Прошлой ночью тут расположились мои враги. Под деревьями, насаженными моим отцом, они сговаривались, как им отдать меня

под опеку или запереть в сумасшедший дом. Однажды вечером я в минуту самоуничижения сравнивал свое сердце с клубком змей. Нет, нет, — теперь я вижу: эти змеи не во мне прячутся, они выползли на свободу и прошлой ночью сплелись клубком в этом мерзком кружке — у крыльца, и земля еще хранит их следы.

«Деньги свои ты получишь, Иза, — думал я, — весь капитал и всю прибыль, какую они благодаря мне принесли. Но уж прошу извинить — больше ничего от меня не жди. Я постараюсь найти такую уловку, чтобы даже эта усадьба вам не досталась. Я ее продам и лес продам. Все, что мне досталось от родителей, пойдет моему сыну, которого я еще не знаю, у меня с ним завтра первое свидание. Каков бы он ни был, он вас не знает, он не принимал участия в вашем заговоре, воспитывался он вдали от меня, и в нем не может быть ненависти ко мне, или же ненависть его носит отвлеченный характер, относится к вымышленному образу, не имеющему ко мне отношения».

Я гневно сбросил с плеча руку Изы и, забывая о своем старом, больном сердце, быстро поднялся по ступеням подъезда. Иза крикнула «Луи!» Я даже не обернулся.

## Глава четырнадцатая

Мне не спалось, я встал, оделся и вышел на улицу. Чтоб попасть на бульвар Монпарнас, пришлось прокладывать себе дорогу в толпе, лавировать между танцующими парами. Когда-то даже такие ярые республиканцы, как я, избегали гуляний, устраивавшихся в день Четырнадцатого июля. Ни одному приличному человеку не пришло бы в голову принять участие в уличных балах и развлечениях. А нынче вечером и на улице Бреа, и на площади, как я погляжу, вовсе не какая-нибудь шваль. Расхлябанных жуликов и в помине нет — танцуют подтянутые крепкие молодцы, с непокрытой головой; на некоторых — рубашки с открытым воротом, с короткими рукавами. Среди танцующих женщин очень мало проституток. Молодежь цепляется за колеса такси, мешающих им кружиться, но проделывает это очень мило, благодушно. Какой-то юноша, нечаянно толкнув меня, крикнул:

«Дорогу почтенному старцу!» Я проходил меж двух рядов сияющих лиц. «Что, не спится, дедушка?» — бросил мне смуглый брюнет с низко растущей надо лбом густой шевелюрой. Наверно,

и Люк так же бы вот смеялся, как этот юноша, и танцевал бы на улицах; а я, человек, который никогда не знал, что такое бездумный отдых, беззаботное веселье, наверно, учился бы у бедного моего мальчика радоваться жизни. Как бы я его баловал, дарил подарки, набивал бы кошелек деньгами. Да нет его, земля ему в рот набилась. Вот о чем я думал, сидя на террасе кафе, чувствуя и на свежем воздухе привычное стеснение в груди.

И вдруг в толпе, медленно двигавшейся по тротуарам и по мостовой, я увидел своего двойника: это был Робер; он шел рядом с каким-то плюгавым юнцом, своим приятелем; у Робера такие же длинные ноги и короткое туловище, как у меня, он втягивает голову в плечи, совсем как я. Смотрю на него с отвращением. Все мои физические недостатки у него как-то подчеркнуты. У меня, например, длинное лицо, а у него уж просто лошадиное, плечи подняты, как у горбуна. Да и голос тоже, как у горбуна. Я окликнул его. Бросив приятеля, он подошел ко мне и посмотрел вокруг испуганным взглядом.

— Только не здесь! — зашипел он. — Приходите на улицу Кампань-Премьер, я буду ждать на тротуаре, с правой стороны.

Я сказал, что здесь, в такой толкучке, нас

меньше всего могут заметить. Это как будто его успокоило, он простился с приятелем и присел к моему столику.

В руках у него был спортивный журнал. Желая прервать неловкое молчание, я завел разговор о лошадях. Старик Фондодеж частенько вел со мной беседы на эту тему и просветил меня. Я рассказал Роберу, что мой тесть, играя на бегах, ставил на ту или иную лошадь весьма обдуманно — он принимал в соображение не только ее родословную, но и самые разнообразные обстоятельства, вплоть до того, какую почву для беговой дорожки она предпочитает. Робер прервал меня:

— А у нас в магазине всегда можно узнать насчет шансов выиграть. (После всех своих неудач он пристроился в мануфактурном магазине Дэрмас на улице Пти-Шан.)

Оказывается, его интересовал только выигрыш. Лошадей он не любил.

— У меня другая страстишка, — добавил он, — велосипед! — И глаза у него заблестели.

— А скоро будет еще одна: автомобиль заведете!

— Неужели?!

Он послюнил большой палец, оторвал от книжечки листик папиросной бумаги, свернул

сигарету. И снова наступило молчание. Я спросил, не чувствуется ли заминка в делах той фирмы, где он служит. Он ответил, что часть персонала уволили, но ему лично расчет не грозит. Его мысли никогда не выходили за пределы его узких, личных интересов. И вот на это убогое существо внезапно обрушится поток золота.

А не обратить ли мне мои миллионы на добрые дела. Раздать все из рук в руки. Нет, они обязательно пронюхают и добьются, чтоб надо мной учредили опеку… А если по завещанию? Но ведь при наличии прямых наследников невозможно уменьшить причитающуюся им долю. Эх, Люк, если б ты был жив! Правда, он-то никогда бы не принял… А я все равно нашел бы способ обогатить его — он и не узнал бы, что это от меня… Дал бы, например, приданое любимой им женщине…

— Послушайте, мосье… — сказал Робер, поглаживая себе щеку красной рукой с толстыми, как сосиски, пальцами. — Я, знаете ли, вот чего опасаюсь: как бы ваш поверенный, этот самый Буррю, не умер прежде, чем мы с ним сожжем мое заявление…

— Ну что ж, ему наследует сын. Оружие против Буррю, которое я вам вручу, вы, в случае надобности, сможете обратить против его сына.

Робер молча продолжал поглаживать себе щеку. Мне не хотелось больше разговаривать. Все внимание поглощала острая боль, сжимавшая грудь.

— Ну хорошо, — сказал Робер, — допустим, Буррю сожжет мое заявление, и тогда я ему отдам тот документ, ради которого он выполнит свое обещание. Но кто ему помешает пойти после этого к вашим наследникам и сказать: «Я знаю, где капиталец спрятан. Хотите, продам вам секрет? Прошу за него столько-то да еще столько-то в случае успеха — если найдете клад». Ведь Буррю может договориться, чтоб его имя не фигурировало… А тогда уж ему нечего будет опасаться. И вот, знаете ли, поведут расследование, убедятся, что я ваш сын, увидят, что мы с матерью живем богато, а не так, как до вашей смерти жили… И тогда одно из двух: или подавай в налоговое управление правильную декларацию насчет доходов, либо как-нибудь ухитрись скрыть…

Он говорил четко и ясно. Ум его вышел из дремотного оцепенения, машина заработала и уже не останавливалась.

Оказалось, что у этого приказчика весьма развиты крестьянские черты характера: он предусмотрителен, недоверчив, непреодолимо

боится риска, стремится ничего не оставлять на волю случая. Несомненно, он предпочел бы получить от меня сто тысяч из рук в руки, чем скрывать такое огромное богатство.

Я выждал, пока стихнет боль в сердце, разожмутся тиски, сдавившие грудь…

— В ваших словах есть некоторая доля правды. Я согласен с вами. Что ж, не подписывайте документа. Я всецело доверяюсь вам. Впрочем, если я захочу, то без труда докажу, что деньги принадлежат мне. Но это уже не имеет никакого значения: через полгода, самое большее через год я умру.

Он и не подумал сказать что-нибудь утешительное, хотя бы самую избитую фразу, не сделал ни жеста, у него не нашлось ни единого ободряющего слова, которое сказал бы любой на его месте. Вряд ли он был черствее своих сверстников, он просто дурно воспитан.

— Что ж, — сказал он, — пожалуй, сойдет! — И, подумав, добавил внушительно: — Надо будет время от времени наведываться в сейф еще при вашей жизни… чтобы в банке примелькалось мое лицо. Я буду ходить туда за деньгами для вас.

— А знаете, — сказал я, — у меня ведь еще и за границей есть несколько сейфов. Если вы пожелаете, если сочтете более надежным…

— Расстаться с Парижем? Нет, не согласен!

Я пояснил, что жить он может в Париже и ездить за границу, когда понадобится. Тогда он спросил, в чем я держу свое состояние — в процентных бумагах или в наличных деньгах, и добавил:

— А неплохо бы все-таки иметь на руках письмо от вас — вроде того, что вот, мол, будучи в здравом уме и твердой памяти, вы по собственному своему побуждению завещаете мне свое состояние… Это может пригодиться… Кто их знает, вдруг те-то пронюхают, докопаются и обвинят меня в краже… Да и вообще на душе будет спокойнее…

Он опять умолк, купил себе китайских орехов и принялся есть их с такой жадностью, как будто умирал от голода. И вдруг спросил:

— А интересно все-таки — что они вам сделали, те-то?

— Берите, раз вам дают, — сухо ответил я, — и не задавайте никаких вопросов.

Его дряблые щеки чуть-чуть порозовели, на губах появилась кривая натянутая улыбка, какой он, вероятно, отвечает на выговоры хозяина, и тогда блеснули его белые, острые зубы — единственное украшение его невзрачной физиономии.

Теперь он сосредоточенно снимал шелуху со своих орехов и молчал. Как видно, он не был в восторге. Должно быть, воображение рисовало ему всякие ужасы. Ведь вот досада! Натолкнуться на такого субъекта, который ничего не видит в этой комбинации, кроме опасностей, а ведь они, в сущности, совсем не страшны. Мне захотелось раззадорить его радужными картинами.

— Есть у вас подружка? — внезапно спросил я. — Вы теперь можете жениться, будете с ней жить, как богатые буржуа.

Он сделал неопределенный жест и покачал своей победной головой. А я продолжал соблазнять:

— Впрочем, вы можете теперь жениться на любой, какая вам приглянется. Если вам нравится какая-нибудь женщина, по вашему мнению, недоступная…

Он насторожился, и впервые я заметил, как в его глазах блеснул огонек молодости!

— Неужели я мог бы жениться на мадемуазель Брюжер?

— Кто она такая — мадемуазель Брюжер?

— Да нет, я шучу. Она ведь старшая продавщица в нашем магазине. Ах, какая великолепная женщина! Гордячка! На меня и не смотрит. Как будто я пустое место… Вот женщина! Подумайте!

Я его заверил, что, будь у него лишь двадцатая часть того состояния, которое я преподнесу ему, и то он может жениться на любой старшей продавщице города Парижа.

— Мадемуазель Брюжер! — повторил он. И, пожав плечами, добавил задумчиво: — Да нет, куда там!

Боль в груди не проходила. Я поманил официанта, хотел расплатиться. Робер вдруг проявил удивительную щедрость:

— Нет, что вы, что вы! Я сам.

Я с удовольствием положил деньги в карман. Мы встали. Музыканты уже укладывали свои инструменты в футляры и чехлы. Погасли гирлянды электрических лампочек. Теперь Роберу нечего было бояться, что его увидят со мной.

— Я провожу вас, — предложил он.

Сердце все еще болело. Я попросил Робера идти помедленнее. Выразил ему свое восхищение, что он не торопится осуществить наш план.

— Но если я умру нынче ночью, — заметил я, — вы потеряете большое богатство!

Он слегка пожал плечами, на лице его было написано полное равнодушие к такой беде. В общем, я только внес беспокойство в жизнь этого малого. Он был почти одного роста со мной. При-

обретет ли он когда-нибудь барские замашки? Уж очень у этого молодого приказчика, моего сына и наследника, был жалкий вид. Я попытался придать более задушевный характер нашей беседе, стал уверять, будто меня мучит совесть за то, что я совсем забросил его самого и его мать. Он, видимо, удивился: он находил, что я поступил «очень порядочно», регулярно посылая им маленькую сумму денег на содержание. «Очень многие и не подумали бы этого сделать». И он добавил ужасные слова: «Ведь вы же не первый у нее были…»

Очевидно, он без малейшей снисходительности судил свою мать Подошли к моему подъезду, и вдруг он сказал:

— А не переменить ли мне профессию? Заняться таким делом, чтобы приходилось бывать на бирже… Нетрудно тогда объяснить, откуда у меня большие деньги.

— Берегитесь, не делайте этого! — сказал я. — Начнете играть на бирже — все потеряете.

Он с озабоченным видом уставился на тротуар.

— Да это я все из-за подоходного налога — вдруг инспектор начнет допытываться.

— Поймите же, это наличные деньги, безвестное богатство, положенное в сейфы, которые никто в мире, кроме вас, не имеет права вскры-

вать.

— Ну да, конечно. А все-таки…

Измучившись, я захлопнул дверь перед его носом.

## Глава пятнадцатая

***Калез***

В окно, о которое бьется муха, смотрю на оцепеневшие холмы. Ветер с воем гонит тяжелые тучи, и тень их скользит по равнине. Вокруг — мертвая тишина, все застыло в ожидании первого раската грома. «Виноградники испугались», — сказала наша Мари в такой же вот угрюмый летний день, тридцать лет тому назад. Снова раскрыл тетрадь. Да, вон какой у меня теперь почерк. Наклоняюсь, внимательно всматриваюсь в торопливо набросанные буквы, в строчки, подчеркнутые ногтем. Я все-таки доведу до конца свои записи. Мне надо, обязательно надо все сказать. Теперь я знаю, кому предназначить свою исповедь. Только вот многое придется уничтожить, а иначе им не под силу будет выдержать. Иные страницы я и сам не могу перечесть спокойно. То и дело останавливаюсь, закрываю лицо руками. Вот человек, вот некий

человек среди людей — вот я. Может быть, вас и тошнит от таких, как я, а все же я существую.

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июля, расставшись с Робером, я едва дотащился до своей комнаты, кое-как разделся, с трудом лег в постель. Какая-то неимоверная тяжесть навалилась мне на грудь, я задыхался, но, несмотря на жестокое удушье, не умер. Окно оставалось раскрытым. Будь я на пятом этаже, то… А если броситься со второго этажа, пожалуй, не убьешься, — только эта мысль и останавливала меня. Я едва мог протянуть руку и взять со столика пилюли, которые обычно мне помогают.

На рассвете наконец услышали мой звонок. Привели врача, он сделал мне укол. Стало легче дышать. Мне предписана полная неподвижность. При жестокой боли мы становимся послушны, как малые дети, и я не смел пошевелиться. Отвратительный зловонный номер, безобразные обои, мерзкая мебель, праздничный гул и шум в день Четырнадцатого июля — ничто меня не удручало: боль стихла, а большего я не желал. Как-то вечером пожаловал Робер и с тех пор не показывался. Но мать его приходила каждый день, сразу после работы, и проводила у меня часа два; она оказывала мне кое-какие услуги,

приносила почту (письма мне адресовывались «До востребования») — от родных не было ни одного письма.

Я не жаловался, был очень кроток, принимал все прописанные мне лекарства; когда я заговаривал с матерью Робера о наших с ним планах, она уклончиво отвечала, что это не к спеху, и переводила разговор на другую тему. Я вздыхал: «Как же не к спеху?» — и указывал на свою грудь.

— У моей мамы припадки бывали сильнее ваших, а прожила она до восьмидесяти лет.

Однажды утром мне стало гораздо лучше, давно уже я так хорошо себя не чувствовал. Я очень проголодался, но все, что мне подавали в этом семейном пансионе, было несъедобно. У меня явилась дерзкая мысль пойти позавтракать в маленьком ресторанчике на бульваре Сен-Жермен — мне нравилось, как там кормят. Да и драли там меньше, чем в других парижских ресторанах, куда я имел обыкновение заглядывать, — всегда я там садился за стол, боясь разориться, испытывал гнев и удивление, когда подавали счет.

Такси довезло меня до угла улицы Ренн. Я прошелся немного, чтобы испробовать свои силы. Все складывалось хорошо. Время еще было раннее — только что пробило двенадцать, и я решил

зайти в кафе «Де Маго» выпить стакан виши. Усевшись в зале на мягком диванчике, я рассеянно смотрел на бульвар.

Вдруг меня кольнуло в сердце. На террасе кафе, отделенной от меня лишь зеркальным стеклом, я увидел знакомые узкие плечи, плешь на макушке головы, седеющий затылок, плоские и оттопыренные уши — за столиком сидел Гюбер, уткнувшись в газету и водя по строчкам близорукими глазами. Очевидно, он не заметил, как я вошел в кафе. Тяжко колотившееся больное сердце постепенно успокоилось. Я был полон злорадства: я за тобой слежу, а ты об этом и не подозреваешь.

Странно! Мне казалось, что Гюбер может сидеть на террасе кафе только на Больших бульварах. А что ему делать в этом квартале? Несомненно, он сюда явился с какой-то целью. Я решил выждать и заранее расплатился за виши, чтобы уйти, не задерживаясь, если понадобится. Гюбер все посматривал на часы, очевидно, ждал кого-то. Я догадывался, кто сейчас прошмыгнет между столиками и подойдет к нему, и был почти разочарован, когда у тротуара остановилось такси и оттуда вылез супруг Женевьевы. Альфред был в соломенной шляпе-канотье, надетой набекрень.

Вдали от жены этот низенький сорокалетний толстяк взыграл духом, вырядился в слишком светлый костюм, ярко-желтые ботинки. Провинциальное щегольство моего зятя представляло резкий контраст со строгой элегантностью Гюбера, который, по словам Изы, одевается «как настоящий Фондодеж».

Альфред снял шляпу и вытер потный лоб. Потом залпом выпил поданный ему стаканчик анисовой. Гюбер встал из-за столика и посмотрел на часы. Я приготовился двинуться за ними. Они, конечно, поедут в такси. Попробую и я взять такси и выследить их, — дело трудное! Но и то уж хорошо, что я их увидел; остается только узнать, зачем они прикатили в Париж. Я подождал, пока они выйдут на тротуар. Такси они, однако, не подозвали, а пошли пешком через площадь. Мирно о чем-то беседуя, они направились к Сен-Жермен-де-Пре. Вот чудо, вот радость, оба вошли в церковь!

Вряд ли полицейский испытывает такое ликование, видя, как вор входит в «мышеловку». Я даже чуточку задыхался от волнения. Пришлось немного подождать, ведь они могли обернуться: сын мой, правда, близорук, но у зятя зрение хорошее. Преодолев усилием воли свое нетерпение,

я минуты две постоял на тротуаре, а затем тоже вошел в церковь.

Было это в начале первого часа. Осторожно ступая, я прошелся по главному и почти пустому приделу и вскоре убедился, что тех, кого я ищу, там нет. У меня мелькнуло подозрение: вдруг они увидели меня и нарочно вошли в церковь, чтобы сбить меня со следа, а сами ускользнули через боковые двери. Я повернул обратно и решил обойти правый придел, прячась за огромными колоннами. И вдруг в самом темном углу, в глубокой нише, я обнаружил их. Оба сидели на стульях, а посередине, как бы зажатое ими с двух сторон, сидело третье действующее лицо, смиренно сгибавшее сутулую спину. Появление этого персонажа нисколько меня не удивило. Я ведь пять минут тому назад ждал в кафе, что к столику моего законного сына приползет этот жалкий червяк Робер. Я предчувствовал это предательство, но из-за усталости, из лени мне не хотелось думать о нем. С первой нашей встречи мне стало ясно, что у такого ничтожества, у такого раба нет ни капли смелости; а его мать преследуют воспоминания о прошлом ее столкновении с судейскими властями, — конечно, она-то и посоветовала сыну войти в сговор с моей семьей и продать им секрет

как можно дороже. Я смотрел на длинную спину дурака Робера: плотно его стиснули два этих крупных буржуа! Один из них, а именно Альфред — что называется, добрый малый, думает только о своей непосредственной выгоде, ничего дальше своего носа не видит (что, впрочем, шло ему на пользу), а у другого, у моего любезного сынка Гюбера, есть и дальновидность, и крепкие клыки, а обращение с людьми резкое и властное (черта, унаследованная от меня). Робер окажется совершенно беспомощным против него. Я следил за ними из-за колонны, как наблюдаешь иной раз за пауком и мухой, заранее решив раздавить и паука и муху. Робер все ниже опускал голову. Должно быть, он сначала дерзко заявил: «Пополам!» Он вообразил, что сила на его стороне. Но они живо раскусили этого дурня, он выдал себя с головой и теперь уж никак не мог диктовать условия. Один лишь я, невидимый свидетель этой борьбы, знал, насколько она бесполезна, бесплодна, и чувствовал себя всесильным божеством; готовясь уничтожить этих жалких насекомых своей всемогущей дланью, раздавить под своей пятой этот клубок змей, я тихонько смеялся. Не прошло и десяти минут, как Робер уже не смел пикнуть. Гюбер говорил не умолкая

— должно быть, отдавал распоряжения, а Робер угодливыми кивками изъявлял готовность повиноваться и так сутулился, что спина у него стала совсем круглая. Альфред же, развалясь на соломенном стуле, покачивался, заложив ногу на ногу, и запрокидывал голову, — мне была видна, так сказать, вверх дном, его желтовато-смуглая и толстая сияющая физиономия, окаймленная черной щетиной отросшей бороды.

Наконец они встали. Я двинулся вслед за ними. Они шли не спеша, — Робер шагал посредине, понурив голову, как вор между двумя жандармами; заложив за спину большие красные руки, он вертел в них потрепанную фетровую шляпу грязно-серого цвета. Я думал, что меня уже ничем не удивишь, но я ошибался. Когда Альфред и Робер уже выходили из двери, Гюбер, отстав от них, окунул руку в кропильницу со «святой водой», потом повернулся к алтарю и широко перекрестился.

Теперь мне ни к чему было торопиться, беспокоиться. Зачем идти за ними, выслеживать? Я знал, что в тот же день, вечером, или самое позднее завтра утром ко мне прибежит Робер и будет просить поскорее выполнить мой замысел. Как же мне его встретить? Еще успеется подумать об этом. Я чувствовал усталость и присел на стул отдохнуть.

Сейчас больше всего меня занимало, заслоняло все остальное и страшно раздражало ханжество Гюбера. Какая-то молоденькая, скромно одетая девушка села на стул впереди меня и, положив рядом с собой шляпную картонку, опустилась на колени. Мне виден был ее профиль и чуть склоненная шейка; взгляд был устремлен вдаль, на те самые створки запрестольного образа, на который так истово перекрестился Гюбер, исполнив свой семейный долг. Вошли два семинариста — один, очень высокий и худой, напомнил мне аббата Ардуэна; другой был маленького роста, с пухлым детским лицом. Они опустились на колени рядышком и застыли. Я проследил направление их взгляда и не мог понять, что же они видят. «В общем, — думал я, — ничего здесь нет, кроме тишины, прохлады, запаха ладана, воска и каменных сыроватых стен». Вновь мое внимание привлекло лицо молоденькой модистки. Глаза у нее теперь были закрыты. Ресницы были длинные, и мне вспомнились закрытые глаза Мари, лежавшей в гробу. Я чувствовал, что вот здесь — так близко, рядом со мной, и вместе с тем бесконечно далеко от меня — неведомый мне мир доброты. Иза часто говорила мне: «Ты видишь только дурное, только зло… Ты всюду и

во всех видишь зло...» Это была правда и в то же время неправда.

## Глава шестнадцатая

Я завтракал; на душе у меня было легко, почти весело. Такого ощущения внутренней свободы и благополучия я давно не испытывал, как будто предательство Робера не только не расстроило моих планов, а наоборот, послужило им на пользу. В моем возрасте человеку, жизнь которого уже давно висит на волоске, нечего копаться в себе и искать причин внезапных скачков, резких перемен в настроении: они физиологичны. Миф о Прометее символически выражает ту мысль, что вся мировая скорбь зависит от больной печени. Но кто же осмелится признать такую простую, такую грубую истину. Меня не мучили боли. Мне доставлял приятные вкусовые ощущения чуть поджаренный бифштекс. Я был доволен, что порция большая, — значит, можно не тратиться на второе блюдо. На десерт я решил взять сыру — это и сытно, и дешево.

«Как мне держать себя с Робером? — думал я. — Надо брать другой прицел, но сейчас я устал и не могу сосредоточить внимание на этих вопросах.

Да и к чему забивать себе голову планами. Лучше всего положиться на вдохновение». Не смея признаться себе в этом, я предвкушал ожидавшее меня удовольствие — уж я всласть позабавлюсь, поиграю, как кошка, с этим жалким мышонком, Робером. У него нет и тени подозрения, что я проведал о его предательстве. Жестоко это будет с моей стороны? Вообще жесток я или нет? Да, жесток. Не больше, чем кто-нибудь другой, чем все другие, чем дети или женщины. Жесток — как все (и тут мне вспомнилась молоденькая модистка из церкви Сен-Жермен-де-Пре) — как все те, кто не чтит кроткого агнца.

Я нанял такси и вернувшись к себе, на улицу Бреа, лег в постель. Студенты, основные жильцы этого семейного пансиона, разъехались на каникулы по домам. Я отдыхал, наслаждался тишиной и покоем. А все же эту меблированную комнату с застекленной дверью, задернутой грязной занавеской, никак уже не назовешь уютным гнездышком. Со спинки кровати в стиле Генриха II отваливается накладная резьба — отпавшие кусочки бережно хранятся на полке камина в позолоченной бронзовой корзиночке. Глянцевитые обои с муаровым узором усеяны целой россыпью жирных пятен. Даже при отворенном

окне в воздухе стоит запах, исходящий от ночной тумбочки, хоть она и украшена нарядной столешницей из красного мрамора. Стол накрыт ковровой скатертью горчичного цвета. Весьма любопытная обстановка — образец уродства и безвкусных мещанских притязаний.

Меня разбудил шелест юбки. У моего изголовья появилась мать Робера, и прежде всего я увидел ее улыбку. Если б я даже ничего не знал о совершившемся предательстве, то одно уж подобострастие этой женщины навело бы меня на мысль о нем. Чрезмерная ласковость — явный признак вероломного поступка. Я тоже улыбнулся своей гостье и заверил ее, что чувствую себя гораздо лучше. Двадцать лет тому назад нос у нее был не такой толстый, а большой рот блистал тогда превосходными зубами, которые унаследовал от нее и Робер. Теперь же ее сияющая, широкая улыбка обнажала вставную челюсть. Должно быть, она шла быстро, и едкий запах, который она распространяла вокруг, победоносно боролся с запахом, исходившим от тумбочки с доской из красного мрамора. Я попросил ее распахнуть настежь окно. Она выполнила просьбу, затем подсела ко мне и, опять подарив меня улыбкой, сообщила, что раз я поправился, то Робер всецело в моем

распоряжении для «того самого дела». Завтра, в субботу, он как раз будет свободен с двенадцати часов дня. Я напомнил ей, что по субботам банки после двенадцати не работают. Тогда она сказала, что Робер отпросится в понедельник с утра. Его, конечно, отпустят. Да, впрочем, теперь ему нечего и считаться с хозяевами.

У нее был очень удивленный вид, когда я решительно заявил, что Роберу не следует бросать сейчас работу, надо подождать еще несколько недель. Прощаясь со мной, она пообещала навестить меня завтра вместе с сыном, но я попросил, чтобы Робер пришел один: сказал, что мне хочется немножко побеседовать с ним, получше узнать его… Бедная дурочка не могла скрыть свое беспокойство: она, конечно, боялась, как бы сын не выдал себя. Но когда я говорю внушительным тоном и смотрю внушительным взглядом, никому и в голову не придет ослушаться меня. А ведь наверняка она сама убедила Робера пойти на сговор с моими детьми; я слишком хорошо знаю эту кислятину, этого труса, который боится всего на свете, и прекрасно могу себе представить, в какое смятение должен был привести его подобный замысел.

На следующее утро этот подлец явился, и с

первого же взгляда мне стало ясно, что его муки превзошли все мои предположения. Веки у него покраснели, опухли, — очевидно, он совсем лишился сна; бегающие глазки не смели смотреть на меня. Я его усадил, выразил беспокойство по поводу его болезненного вида, словом, был с ним очень ласков, почти нежен. С мастерским, адвокатским красноречием я принялся рисовать картину открывающейся перед ним райской жизни. Я куплю на его имя в Сен-Жермене дом с парком в десять гектаров. В доме все до единой комнаты будут обставлены старинной мебелью. В парке — пруд, а в нем — прекрасная рыба; во дворе — гараж на четыре автомобиля. Я придумывал и расписывал все новые и новые соблазны. Когда я заговорил об автомобиле и предложил купить машину лучшей американской марки, я увидел, что его терзают жестокие муки. Очевидно, он обязался не принимать от меня при жизни ни гроша.

— Никто и ничто вас не будет тревожить, — добавил я. — Купчую вы подпишете сами. Я уже отложил и передам вам в понедельник некоторое количество ценных бумаг, они обеспечат вам годовой доход в сотню тысяч франков. При такой ренте можно жить спокойно в ожидании лучше-

го. Но большая часть моего состояния находится в Амстердаме. На будущей неделе мы с вами туда съездим и сделаем необходимые распоряжения… Что с вами, Робер?

Он пролепетал:

— Нет, не надо… я ничего не возьму при вашей жизни… Мне это неприятно… Я не хочу обирать вас. Пожалуйста, не настаивайте, мне тяжело слушать.

Он стоял, прислонившись к шкафу, поддерживая одной рукой локоть другой руки, и грыз себе ногти. Я пристально смотрел на него, а ведь моих глаз боялись в суде и адвокаты противной стороны, и их подзащитные; когда я выступал на стороне истца, я не сводил глаз с ответчика, сверлил взглядом свою жертву — человека, сидевшего на скамье подсудимых, и случалось, он, не выдержав моего пронизывающего взгляда, падал без чувств на руки жандармов.

В сущности, я был благодарен Роберу, я дышал теперь свободно, ведь было бы ужасно последние дни жизни посвятить такому убогому существу. Я не испытывал ненависти к нему. Я решил отбросить его, не причинив ему вреда. Но я не мог отказать себе в удовольствии еще немного поиздеваться над ним.

— У вас похвальные чувства, Робер. Очень похвальные. Как мило, что вы решили подождать моей смерти. Но я не приму такой жертвы. В понедельник вы получите все, что я обещал, а в конце недели я переведу на ваше имя большую часть своего состояния (он замахал руками, забормотал). Что это значит? Или берите, или поставим на всем крест, — сухо добавил я.

Отводя глаза в сторону, он попросил несколько дней на размышления — хотел, конечно, выгадать время, чтобы написать в Бордо и получить оттуда указания. Идиот несчастный!

— Вы меня удивляете, Робер. Право, удивляете!.. Очень странно вы себя ведете.

Я думал, что смягчил выражение своих глаз, хотя сделать это невозможно — взгляд у меня суровее, чем я сам. Робер пролепетал чуть слышно:

— Почему вы так на меня смотрите?

— Почему я так смотрю на тебя? — переспросил я, невольно передразнивая его. — А почему ты не можешь выдержать моего взгляда?

Люди, избалованные всеобщей любовью, както безотчетно, инстинктивно находят те самые слова и жесты, которые привлекают все сердца. А я настолько привык вызывать во всех ненависть и страх, что у меня и глаза, и брови, и голос, и смех

покорно становятся пособниками этого грозного дара, порою даже помимо моей воли. Так было и тут: я хотел, чтобы взгляд мой выражал снисходительность, а несчастный малый корчился от ужаса. Я рассмеялся, а мой смех показался ему зловещим. И, наконец, — так выстрелом в упор добивают затравленного зверя, — я вдруг спросил:

— Сколько они тебе предложили, *те-то?*

Итак, я заговорил с ним на «ты», и в этом было, хотел я того или нет, презрение, а не милостивая насмешка. Он пробормотал: «Кто предложил?» — и вскинул на меня глаза, полные почти благоговейного ужаса.

— Да те два господина, — ответил я. — Один толстый, другой — худой. Да, да, худой и толстый!

Мне уже хотелось поскорее кончить эту игру. Противно стало затягивать ее, но ведь как-то не сразу решишься раздавить каблуком сороконожку.

— Да успокойтесь вы, — сказал я наконец. — Я вас прощаю.

— Я не виноват… Я не хотел… Это…

Я зажал ему рот рукой. Невыносимо было бы слушать, как он взваливает вину на свою мать.

— Т-шш! Не надо никого называть… Ну скажи-

те же, сколько они вам предложили. Миллион? Пятьсот тысяч? Меньше? Не может быть! Триста тысяч? Двести?

У него был самый жалкий вид. Он качал головой.

— Нет. Ренту обещали выплачивать, — сказал он еле слышно. — Рента нас и соблазнила, это надежнее. Двенадцать тысяч франков в год.

— С нынешнего дня?

— Нет, когда они наследство получат… Они ведь не могли угадать, что вы сейчас же захотите все положить на мое имя. А теперь уже поздно… Ну да, они могли бы притянуть меня к суду… Разве только вот скрыть от них… Ах, какой же я дурак! Вот мне и наказание…

Он плакал, сидя на краешке моей постели, и был весьма уродлив в эту минуту; одна его рука беспомощно свесилась, огромная красная рука, налившаяся кровью.

— Я же все-таки ваш сын, — всхлипывал он. — Не бросайте меня.

И неловким движением он попытался обнять меня за шею. Я мягко отстранил его. Потом подошел к окну и, не оборачиваясь, сказал:

— С первого августа вы будете ежемесячно получать по полторы тысячи франков. Я немедленно

дам распоряжение, чтоб эта рента выплачивалась вам пожизненно. В случае чего рента будет перенесена на имя вашей матери. Моя семья, разумеется, не должна знать, что мне все известно о заговоре в церкви Сен-Жермен-де-Пре. (Тут он вздрогнул.) Я думаю, совершенно излишне предупреждать вас, что стоит вам проболтаться — вы все потеряете. Хотите получить прощение — держите меня в курсе всех козней против меня.

Теперь он знал, как трудно от меня что-нибудь скрыть и как дорого ему обошлось бы предательство. Я дал ему понять, что не желаю больше видеть ни его самого, ни его мамашу. Письма пусть адресуют мне до востребования все в то же почтовое отделение.

— Когда уезжают из Парижа ваши сообщники?

Он заверил меня, что они уже уехали вчера вечером. Я пресек его преувеличенные изъявления благодарности и поток обещаний. Он, несомненно, был потрясен: какое-то сказочное божество, намерения коего непостижимы, божество, коему он изменил, возносило его в небеса, низвергало в бездну, снова подхватывало... У него замирало сердце; он закрывал глаза, он всему покорялся... Изогнув спину, прижав уши, шелудивый пес ползком уносил кость, которую я ему бросил.

Вдруг он спохватился и спросил, как и через кого он будет получать обещанную ренту.

— Вы будете получать ренту. Я своего слова никогда не нарушаю, — сухо ответил я. — Остальное вас не касается.

Держа руку на скобке двери, он сказал:

— Хорошо бы через какое-нибудь страховое общество… вроде как страховой полис или пожизненная рента… что-нибудь такое… Через солидное страховое общество… Так мне было бы спокойнее, я бы не расстраивался…

Я распахнул полуоткрытую дверь и вытолкнул его в коридор.

## Глава семнадцатая

Прислонившись к камину, я машинально стал пересчитывать кусочки лакированных деревянных завитушек, лежавшие в бронзовой корзиночке.

Долгие годы я мечтал об этом незнакомом мне сыне. В унылой моей жизни меня не оставляло ощущение, что он существует. Где-то есть у меня сын, зачатый мною, я найду его, если захочу, и, может быть, он станет моим утешением. Живет он в очень скромной обстановке, но от этого он

мне ближе; и так хотелось думать, что он не похож на моего законного сына — я наделял его в воображении той простотой и силой привязанности, которые нередко встречаются в народе. Словом, он был моей последней ставкой. Я знал, что, если она будет бита, мне уж нечего и некого ждать, — остается только отвернуться к стене и съежиться в комочек. За сорок лет я, как мне казалось, свыкся с ненавистью — меня ненавидели, и сам я ненавидел. А меж тем, подобно всем людям, я таил в душе сладостную надежду и, как умел, обманывал себя, стремясь утолить душевный голод, пока была возможность. А теперь все кончено.

Теперь у меня даже не будет постыдного удовольствия строить планы различных махинаций, пытаясь лишить своих детей наследства за то, что они желали мне зла. Теперь Робер навел их на верный путь: в конце концов они найдут все мои сейфы, даже те, которые взяты на чужое имя. Изобрести что-нибудь другое? Эх, пожить бы еще немного и все, все пустить по ветру! А потом умереть, не оставив ровно ничего, — так, чтоб нечем было заплатить за нищенские похоронные дроги. Но ведь я всю жизнь дрожал над каждым грошом, столько лет скаредничал,

утоляя свою алчность, — и где же мне, в моем возрасте, научиться проматывать деньги? Да и дети мои зорко будут следить за мной, думал я. Я не могу позволить себе никакого расточительства, каждая моя «неразумная» трата станет опасным оружием, которое они обернут против меня…

Увы! Мне не удастся разориться, потерять все свои капиталы. Ах, унести бы их с собой в могилу, истлевать в земле, сжимая в объятиях свое золото, банковые билеты, процентные бумаги! Доказать бы, что лгут святоши-проповедники, уверяя, что блага мира сего не следуют за нами в смерти! Или уж обратиться, что ли, в щедрого благотворителя? Ведь добрые дела — бездонная пропасть, которая может все поглотить. Разослать в конторы благотворительных обществ или сестрицам монахиням, заступницам бедняков, пожертвования от благодетеля, пожелавшего остаться неизвестным. Разве я не могу забыть о своих врагах и подумать о других людях? Но ведь в чем ужас старости? Старость — это итог всей нашей жизни, окончательный итог, в котором не изменить ни одной цифры. Шестьдесят восемь лет жизни привели к тому, что я стал стариком, полным ненависти к своим близким, таким я и умру. Каким я сделался, таким и останусь. А как

бы хотелось стать совсем другим! Господи Боже, если б ты существовал!

В сумерках явилась горничная, постлала мне постель, ставней она не заперла. Я лег, не зажигая лампы. Уличный шум и свет фонарей не мешали мне дремать. Не раз я вдруг просыпался — как в вагоне, когда поезд остановится на станции, — и снова впадал в забытье. Я уже не чувствовал себя больным, и все же мне казалось, что мне остается одно — лежать в постели и терпеливо ждать, когда моя дремота сменится вечным сном.

Мне еще надо было сделать некоторые имущественные распоряжения, для того чтобы Роберу выплачивали обещанную мною ренту, а кроме того, сходить в почтовое отделение и взять письма, адресованные мне до востребования, — теперь некому было оказать мне этой услуги. Я уже три дня не просматривал своей корреспонденции. Ах, это ожидание какого-то важного, необыкновенно нужного, радостного письма, — оно так живуче, все переживает в душе человеческой; вот вам доказательство, что надежда в нас неискоренима, не вырвать ее, как цепкий сорняк пырей.

На следующий день я встал в полдень, мысли об ожидающей меня корреспонденции придали мне силы, и я отправился в почтовое отделение.

Шел дождь, я не захватил с собой зонта и поэтому пробирался у самых стен. Вероятно, вид у меня был странный, прохожие оборачивались, глядели на меня. Мне хотелось крикнуть им: «Что во мне необыкновенного? Уж не принимаете ли вы меня за сумасшедшего? Только, пожалуйста, помалкивайте, а то мои дети сейчас же этим воспользуются. Не смотрите на меня так удивленно — я такой же, как все, только вот родные дети меня ненавидят, приходится от них защищаться. Но это вовсе не значит, что я сумасшедший. Иной раз я бываю в несколько возбужденном состоянии под действием всяких снадобий, которые я вынужден принимать из-за грудной жабы. Ну да, я разговариваю сам с собой, разговариваю, это потому, что я всегда один. А человеку нужно с кем-нибудь поговорить. Что же необыкновенного в том, что одинокий человек бормочет какие-то слова и жестикулирует?»

Почта, которую мне вручили, состояла из печатных извещений и реклам, нескольких банковских писем и трех телеграмм. В телеграммах, вероятно, шла речь о каком-то моем приказе на биржу, который маклеру не удалось выполнить. Я решил расположиться в ближайшем кабачке и там вскрыть их.

За длинными столами сидели перемазанные мелом и известкой каменщики всех возрастов и медленно жевали, поглощая скудные порции кушаний, запивали свой завтрак литром вина и почти не разговаривали друг с другом.

Они работали с утра, и всё под дождем. В половине второго снова примутся за работу. Был конец июля. На вокзалах полно было народу… Интересно, поняли бы каменщики мои терзанья? Конечно, поняли бы. Как же мне, старому адвокату, не знать этого? На первом же процессе, в котором я выступал, мне пришлось столкнуться с явлением, обычным в деревне: сыновья ссорились между собой, не желая кормить старика отца, и старались сплавить его друг другу. Бедняга каждые три месяца переходил из дома в дом, везде его проклинали. Сыновья с громкими воплями призывали смерть, которая избавила бы их от отца, и сам он звал ее как избавительницу. А сколько раз на фермах и мызах я наблюдал жестокую драму: старик отец долго упрямится и не выпускает из рук свое добро, потом, поддавшись на притворную ласку, все отдает, и тогда дети сживают его со света непосильным трудом и голодом!.. Да, наверное, такие истории были знакомы вон тому худому, жилистому старику

каменщику, который сидел в двух шагах от меня и медленно перетирал хлеб голыми деснами.

Нынче никого не удивляет, если в кабачке сидит хорошо одетый старик. Я кромсал кусок беловатого кроличьего мяса и смотрел, как, догоняя друг друга, катятся по оконному стеклу капли дождя; потом старался прочесть фамилию хозяина заведения, написанную на наружной стороне витрины. Доставая носовой платок, я нащупал в кармане свою почту. Я надел очки и, взяв наугад одну из телеграмм, вскрыл ее: «Похороны мамы завтра двадцать третьего июля, отпевание девять часов церкви Сен-Луи». Послана была телеграмма утром в этот день, а две другие — позавчера, с промежутком в несколько часов; в одной говорилось: «Мама при смерти, возвращайся», а во второй: «Мама скончалась»... Все три подписаны были Гюбером.

Я скомкал телеграммы и продолжал завтракать, занятый одной мыслью — хватит ли сил сесть сегодня же вечером в поезд. Несколько минут я думал только об этом, и вдруг возникло другое чувство: удивление, что я пережил Изу. Ведь я стою на краю могилы. Решительно все — а уж я тем более — не сомневались, что я умру первым. В своих планах, хитростях, заговорах я

имел в виду те дни, которые последуют за моей смертью, уже недалекой. Ни у меня, ни у моих родственников не возникало ни малейших сомнений на этот счет. Моя жена неизменно представлялась мне вдовой в длинной креповой вуали, мешающей ей отпереть сейф. Внезапный переворот во вселенной напугал бы и поразил меня не больше, чем эта смерть. Но вопреки всему во мне уже заговорил деловой человек, я принялся разбираться в создавшемся положении и прикидывать, какие преимущества оно может мне дать в борьбе с врагами. Вот какие мысли волновали меня до той самой минуты, как тронулся поезд. А тогда начало работать воображение: только тут я представил себе Изу на смертном одре и стал думать о том, что совершалось возле него вчера и позавчера. Я припоминал во всех мелочах обстановку ее спальни в Калезе (я не знал, что умерла она в Бордо). Я прошептал: «Теперь уже положили в гроб...» — и ощутил какое-то подлое чувство облегчения. А то ведь я не знал бы, как держать себя. Какие переживания изображать, ощущая на себе внимательные и враждебные взгляды своих детей? Теперь же вопрос решен. Но как вести себя на самих похоронах? По приезде я, конечно, слягу, и, таким образом, все трудности

будут разрешены. Ведь не могу же я присутствовать на похоронах, у меня сейчас едва хватило сил добраться до уборной. Такая слабость меня не пугала: Иза умерла, значит, мне еще не скоро умирать, я пропустил свою очередь. Но в вагоне я боялся припадка, тем более что я был один в купе. На вокзале меня, конечно, встретят (я дал телеграмму), вероятно, приедет Гюбер…

Нет, встречал меня не Гюбер. Какое я почувствовал облегчение, когда передо мной вдруг появилась толстая, унылая, опухшая от бессонницы физиономия Альфреда! Мой вид явно испугал его. Я вынужден был опереться на его руку и не мог без его помощи сесть в автомобиль. Утро было дождливое, и оттого особенно угрюмым казался квартал, по которому мы ехали мимо городских боен и казарм. Мне не пришлось расспрашивать Альфреда: он сам рассказал обо всем, подробнейшим образом описал, в каком именно месте городского сквера Иза упала без чувств: не доходя оранжереи, у массива араукарий и кокосовых пальм; рассказал, как ее перенесли в ближайшую аптеку, а потом повезли домой и как трудно было внести грузное тело на второй этаж, в спальню; как пустили ей кровь, сделали пункцию… У нее оказалось кровоизлияние в мозг, но она всю ночь

была в сознании, знаками звала меня, звала очень настойчиво, а потом впала в забытье, как раз когда пришел священник для миропомазания. «Но она накануне причащалась…» Альфред хотел оставить меня у нашего подъезда, уже задрапированного черной тканью, и поехать дальше под тем предлогом, что он едва успеет переодеться для похорон. Но волей-неволей ему пришлось помочь мне вылезти из автомобиля и подняться по ступеням крыльца. Я не узнал нашей прихожей. Стены затянуты черным, гора цветов посередине и вокруг пылает целый лес свечей. Я зажмурился. Все было чужим, необычайным, странным, как во сне. Неподвижно стояли две монахини, должно быть, доставленные бюро похоронных процессий вместе со всем прочим. От этой выставки траурных тканей, цветов и трепещущих огней шла во второй этаж, к будничной жизни, самая обыкновенная лестница с потертой ковровой дорожкой. По ней спустился Гюбер, очень корректный, внушительный, одетый во фрак. Он протянул мне руку, что-то сказал. Голос его доносился до меня откуда-то издалека. Я хотел ответить, но только беззвучно шевелил губами, голос не слушался. Гюбер наклонился ко мне, лицо его стало огромным, и вдруг я провалился в черную бездну. Мне

потом говорили, что обморок мой длился минуты три, не больше. Очнулся я в небольшой комнате, служившей приемной, когда я еще занимался адвокатурой. В носу у меня щипало от нюхательных солей. Я услышал голос Женевьевы: «Он приходит в себя…» Я открыл глаза, увидел склоненные надо мною лица. Они стали совсем не такими, как обычно, — одни были воспаленные, красные, другие зеленовато-бледные. Толстушка Янина казалась ровесницей матери. Особенно изменилось от слез лицо Гюбера, стало совсем некрасивым, но выражение его было трогательным — как в детстве, когда Иза брала плачущего сына к себе на колени и говорила: «Сыночек у меня такой маленький, а горе у него большое-большое!..» Только у красавца Фили, одетого во фрак, в котором он таскался по всем кабакам Парижа и Берлина, было скучающее и равнодушное лицо — таким он, верно, бывал, когда отправлялся на какую-нибудь пирушку или возвращался с ночного кутежа, пьяный и расхлябанный (он еще не успел завязать узел галстука). Позади Фили теснились какие-то женщины под траурными вуалями, я плохо различал кто: вероятно, Олимпия с дочерьми. В полумраке блестели чьи-то крахмальные манишки.

Дочь поднесла к моим губам стакан, я отпил из него несколько глотков. Потом сказал, что мне лучше. Женевьева спросила, не хочу ли я лечь в постель. Я сказал первое, что мне пришло в голову:

— Мне хочется проводить ее до могилы, ведь я же не мог проститься с ней…

Как актер, пробующий найти верный тон, я повторил:

— Ведь я не мог проститься с ней… проститься с ней, — и вдруг эти банальные слова, сказанные лишь для приличия, лишь потому, что они соответствовали моей роли на похоронах жены, с нежданной могучей силой пробудили во мне то самое чувство, которое они и должны были выразить; лишь тут я понял то, что еще не доходило до моего сознания: больше я никогда не увижу Изы; не будет меж нами объяснения, она не прочтет моей исповеди. Навеки все останется таким, как было в Калезе, когда мы разговаривали в последний раз. Теперь уж ничего не перестроить заново, не зажить по-другому; она умерла, так и не узнав, что я был не только извергом и палачом, каким казался, но что жил во мне и другой человек. Даже если б я приехал лишь в последнюю минуту ее жизни, даже если бы мы не

обменялись ни единым словом, она увидела бы слезы, струящиеся по моим щекам, как струятся они сейчас, и отошла бы, видя мою скорбь, мое отчаяние. А теперь вот только мои дети, онемев от изумления, взирали на это зрелище. Вероятно, они за всю свою жизнь ни разу не видели меня плачущим. Злобное и грозное старческое лицо, лицо Медузы, чей взгляд никто не мог выдержать, вдруг преобразилось, стало человеческим.

Я услышал, как кто-то сказал (кажется, Янина):

— Ах, если б вы не уезжали… Зачем вы уехали?

Да, зачем я уехал? Но разве я не успел бы вернуться? Успел бы, если б они послали телеграммы не до востребования, а на улицу Бреа!.. Гюбер неосторожно добавил:

— Уехали, не оставив адреса… Ведь мы не могли угадать…

И тогда мелькнувшая смутная мысль стала уверенностью. Ухватившись обеими руками за подлокотники кресла, я приподнялся и крикнул Гюберу в лицо:

— Лжешь!

Он забормотал:

— Папа, ты с ума сошел!

Я повторил:

— Да, вы все лжецы… Вы знали мой адрес. По-

гляди мне в глаза и посмей сказать, что вы не знали адреса!

Гюбер вяло возразил:

— Откуда же нам было знать?

— А ты ни с кем не встречался, кто имел ко мне весьма тесное отношение? Ну-ка, посмей это отрицать! Посмей.

Все, окаменев, смотрели на меня. Гюбер мотал головой, как ребенок, запутавшийся во лжи.

— Кстати сказать, недорого вы ему заплатили за предательство. Не очень-то вы щедры, дети мои. Двенадцать тысяч франков ренты несчастному малому за то, что он возвратил вам этакое состояние! Просто даром услужил.

Я захохотал, потом закашлялся. Дети мои не смели промолвить ни слова. Фили пробормотал сквозь зубы: «Грязная история!..»

Я продолжал свои разоблачения, только понизил голос, заметив умоляющий жест Гюбера:

— Из-за вас я не простился с ней. Вам был известен каждый мой шаг, но вы прятались от меня. Ведь если б вы послали телеграмму на улицу Бреа, я бы догадался, что меня предали. Ничто в мире не заставило бы вас сделать это, даже мольбы умирающей матери. Конечно, вы скорбели душой, но шли напролом.

Я выложил им все это, выложил и другие, более горькие истины. Гюбер взмолился:

— Да заставь его замолчать, Женевьева! Заставь его замолчать! — бормотал он прерывающимся голосом. — Люди услышат!

Женевьева обняла меня за плечи, опять усадила в кресло.

— Не надо, отец… Сейчас не надо… Поговорим потом, когда будем бодрее. А сейчас не надо. Заклинаю тебя именем матери… Ведь она еще тут, лежит в гробу.

Гюбер, побледнев, приложил палец к губам: вошел распорядитель похорон со списком тех важных особ, которые в процессии должны были идти у катафалка. Я встал с кресла, сделал несколько шагов. Я пожелал идти один и, пошатываясь, двинулся к двери. Стая домочадцев почтительно расступилась передо мной. Я еле-еле добрался до той комнаты, где стоял гроб, и опустился на колени. Тут подоспели Женевьева и Гюбер, подхватили меня под руки и повели. Я подчинился им. Очень трудно было подниматься по лестнице. Одна из монашек, стоявших у гроба, согласилась побыть у моей постели, пока идут похороны. Перед уходом Гюбер, как будто меж нами ничего и не было, спросил, хорошо ли он

сделал, что внес в список почетных провожатых старшину сословия адвокатов. Я отвернулся к окну, по которому барабанил дождь, и не ответил.

Уже слышался топот ног. Наверное, весь город придет расписаться. С кем только мы не связаны по линии Фондодежей! А по моей! Суд, адвокатура, банки, весь деловой мир… Я испытывал блаженное состояние человека, оправдавшегося перед судом, доказавшего свою невиновность. Я обличил своих детей во лжи, они не посмели отрицать свою вину. Пока совершалась церемония прощания и весь дом гудел, словно шел в нем какой-то странный бал без музыки, я заставлял себя думать лишь о преступлении своих детей: они, и только они, виноваты в том, что я не простился с Изой… Но сколько я ни подхлестывал свою давнюю, застарелую ненависть, от этого у нее, словно у запаленной лошади, не прибавлялось силы. То ли от чисто физического ощущения отдыха, то ли от приятной мысли, что последнее слово осталось за мной, не знаю отчего, но я как-то смягчился.

До меня уже не долетало гнусавое бормотанье священников, служивших панихиду, затихли, удаляясь, скорбные песнопения, и, наконец, во всем нашем большом доме воцарилась такая же глубокая тишина, как в Калезе. Все его обитатели

ушли провожать Изу. Она потянула за своим катафалком всех детей, всю родню и всю челядь. В доме остались только я да монахиня — сидя у моего изголовья, она перебирала четки и дочитывала молитвы, начатые у гроба покойницы.

В тишине я снова почувствовал скорбь вечной разлуки, непоправимой утраты. Снова у меня болезненно сжалось сердце, ибо теперь все было кончено — ничего мы с Изой друг другу больше не скажем. Я сидел в постели, опираясь на подушки, чтобы легче было дышать, и обводил глазами комнату, обставленную мебелью в стиле Людовика XIII, которую мы с Изой выбрали у Бардье в день нашей помолвки, — все эти вещи долго стояли в спальне Изы, пока не перешла к ней по наследству мебель матери. Вот эта кровать была печальным ложем мужа и жены, в молчании таивших обиду друг против друга.

Возвратившись с кладбища, Гюбер и Женевьева зашли ко мне, другие остались в коридоре. Я понял, что им очень уж непривычно видеть мое лицо, залитое слезами. Они постояли у моего изголовья; брат представлял собою странную фигуру; в утренние часы на нем фрак — вечерний туалет; а сестра — словно башня, задрапированная черными тканями; только носовой платок

выделялся ярко-белым пятном, а из-под откинутой креповой вуали виднелось круглое и помятое красное лицо. Горе со всех нас сорвало привычную личину, и мы не узнавали друг друга.

Они справились, как я себя чувствую. Женевьева сказала:

— Почти все проводили до самого кладбища. Ее очень любили.

Я стал спрашивать, что было перед тем, как у Изы случился удар.

— Она все жаловалась на недомогание… может быть, у нее было предчувствие, ведь накануне возвращения в город она весь день провела в своей комнате, все что-то перебирала, сожгла в камине кучу писем… Мы даже думали, что в трубе сажа загорелась…

Я прервал ее, мне пришла важная мысль:

— Как ты думаешь, Женевьева, мой отъезд мог тут сыграть роль?

Женевьева с удовлетворением ответила:

— Это, конечно, было для мамы ужасным огорчением.

— Но вы ей ничего не сказали? Вы не сообщили ей о том, что вам удалось пронюхать?

Женевьева вопрошающе посмотрела на брата: можно ли показать, что она поняла, о чем идет

речь? Должно быть, у меня было дикое выражение лица, — они оба перепугались, и пока Женевьева помогала мне сесть поудобнее, Гюбер торопливо доложил, что мама заболела недели через две после моего отъезда и что они решили на время болезни держать ее в полном неведении наших прискорбных раздоров. Правду ли он говорил? Он добавил дребезжащим голосом:

— Ведь если б мы уступили искушению и сказали ей об этом, то первые были бы виноваты…

Он отвернулся, и я увидел, что плечи его вздрагивают от рыданий. Кто-то приоткрыл дверь и осведомился, скоро ли наконец сядут за стол. Я услышал голос Фили: «Ну что тут такого? Я же не виноват… У меня просто под ложечкой сосет». Женевьева сквозь слезы спросила, что мне прислать поесть. Гюбер пообещал прийти после завтрака — тогда мы объяснимся раз и навсегда, если только у меня хватит сил выслушать его. Я кивком выразил свое согласие.

Когда они ушли, монахиня помогла мне подняться; я принял ванну, оделся, съел немножко бульону. Я не желал вести сражение в образе тяжко больного старика, которого противник щадит из сострадания и оказывает ему свое милостивое покровительство.

Когда мои дети вернулись, перед ними был уже совсем другой человек, отнюдь не возбуждавший жалости. Я принял снадобья, облегчающие приступы, сидел в кресле выпрямившись — я всегда чувствую себя гораздо бодрее, когда не валяюсь в постели.

Гюбер переоделся в визитку, а Женевьева закуталась в старый халат матери. «У меня нет ничего черного, нечего надеть...» Оба сели напротив меня, сказали несколько слов, приличествующих случаю, а затем Гюбер приступил к объяснению.

— Я очень много думал... — сказал он.

Он тщательно подготовил свою речь. Он говорил так торжественно, словно обращался к собранию акционеров, взвешивая каждое слово и старательно избегая всего, что могло вызвать скандал:

— Сидя у постели умирающей матери, я много думал, я заглянул в свою совесть, я попытался изменить прежнюю свою точку зрения на нашу распрю и поставить себя на твое место. Мы видели в тебе отца, которого неотступно преследует желание лишить своих детей наследства, и в моих глазах это делало наше поведение законным или хотя бы извинительным. Но мы дали тебе моральный перевес над нами своей беспощадной

борьбой и своим…

Он замялся, подыскивая нужное слово, и я тихонько подсказал:

— …своим подлым заговором.

Гюбер слегка покраснел. Женевьева вскипела:

— Почему же «подлым»? Ты гораздо сильнее нас…

— Полно вам! Тяжелобольной старик против целой стаи молодых волков…

— Тяжело больной старик в такой семье, как наша, пользуется большими преимуществами. Он не выходит из своей комнаты и тем не менее подстерегает всех и вся; следит за всеми, узнает привычки всех членов своей семьи и из всего извлекает пользу для себя. На досуге не спеша обдумывает в одиночку страшные удары и подготовляет выполнение своих замыслов. Он все знает о других, они же ничего о нем не знают. Ему известны места, где удобно подслушивать чужие разговоры (я не мог удержаться от улыбки, тогда и Гюбер вежливо улыбнулся). Ну да, — продолжал он, — в своей семье люди всегда держат себя неосторожно. В споре повышают голос, говорят громко, а в конце концов даже кричат, сами того не замечая. Мы слишком полагались на толщину стен нашего старого дома, забывая о том, что

если стены и толстые, зато половицы тонкие. Да и окна зачастую бывают распахнуты настежь…

Насмешливые намеки немного разрядили атмосферу. Гюбер, однако, тотчас же заговорил серьезным тоном.

— Я вполне допускаю, что ты мог считать нас виноватыми перед тобой. Правда, как я уже говорил, мне очень легко сослаться на то, что это случай законной самозащиты, — но не стоит спорить, подливать масла в огонь. Не буду я также устанавливать, кто был зачинщиком этой прискорбной распри. Я даже согласен выступить в защиту виновного. Но ты должен понять…

Он поднялся, протер стекла очков. Глаза у него быстро мигали, лицо было худое, измученное, щеки впали.

— Ты должен понять, что я боролся во имя чести нашей семьи и будущности своих детей. Ты не можешь себе представить, каково наше положение, — ты человек прошлого столетия, ты жил в ту сказочную эпоху, когда благоразумный финансист мог делать ставку на надежные ценности. Я, конечно, понимаю, что ты всегда бывал на высоте обстоятельств — ты, например, раньше всех увидел приближение бури и успел вовремя реализовать процентные бумаги… Но ведь ты

мог это сделать только потому, что находился вне предпринимательских дел, вне дел — именно «вне»; надо сказать прямо: ты — «не у дел»! Ты мог хладнокровно обсудить положение, все взвесить и действовать, как тебе вздумается, — ты был сам себе хозяин, а не был, как я, связан по рукам и ногам… Удар был слишком внезапным. Никто не успел обернуться в делах… Впервые случилось, что затрещали все ветки дерева разом. Не за что ухватиться, не на чем наверстать потерянное…

С какой тоской он повторял: «Не на чем…», «не на чем..» Далеко ли завлекли его долговые обязательства? Сильно ли он увяз? Может быть, уже тонет и судорожно бьется, пытаясь выплыть? Но тут Гюбер, спохватившись, что он слишком разоткровенничался, изрек несколько общеизвестных истин: послевоенное оборудование мощными машинами, перепроизводство, кризис потребления… Для меня неважно было, что именно он говорит, зато я внимательно присматривался к нему и видел, что он полон тревоги. И как раз в эти минуты я заметил, что ненависть моя умерла, угасло желание отомстить. Может быть, все это умерло уже давно. Я искусственно подогревал свою злобу, бередил свои раны. Но зачем же спорить с очевидностью? Глядя на сво-

его сына, я испытывал чувство очень сложное, в котором, однако, преобладало любопытство. Одно мое слово — и в душе этого несчастного не осталось бы и следа тревоги, жестоких терзаний и ужаса, — а какими они казались мне теперь странными! Мысленно я видел перед собою свое богатство, в котором, как мне думалось еще совсем недавно, заключалась вся моя жизнь, богатство, которое я тщетно пытался подарить, потерять и которым даже не мог свободно располагать по своему усмотрению, — и что ж! теперь я больше не чувствовал никакой привязанности к этому богатству; более того, оно вдруг перестало меня интересовать и будто не имело ко мне никакого отношения. Гюбер, умолкнув, пристально и недоверчиво смотрел на меня сквозь стекла очков: «Что там еще отец затевает? Какой новый удар готовится нам нанести?» Губы у него уже складывались в страдальческую гримасу, он откинулся на спинку кресла и приподнял руку, как ребенок, боящийся, что его сейчас побьют. Он робко сказал:

— Я прошу тебя только об одном: помоги мне оправиться и укрепить свое положение. Вдобавок к тому, что мне достанется от мамы, мне понадобится (он замялся, не решаясь назвать

сумму)… понадобится только один миллион. А когда положение выправится, то все пойдет как по маслу, тогда я и один справлюсь… А впрочем, решай сам, тебе виднее. Я обязуюсь подчиниться твоей воле…

Он умолк и судорожно проглотил слюну. Исподтишка он наблюдал за мной, но ничего не мог прочесть на моем лице.

— А как у тебя, дочка? — спросил я, поворачиваясь к Женевьеве. — У тебя, наверное, все хорошо. Твой муж человек осторожный…

Женевьеву всегда раздражало, когда хвалили ее мужа. Она возмущенно заявила, что их фирме пришел конец. Альфред уже два года не закупает рома, очевидно, полагает, что сейчас надежнее всего свернуть дело. Им, конечно, есть на что жить, но вот Фили грозится бросить жену и, несомненно, сделает это, как только станет ясно, что тесть обеднел.

Я пробормотал:

— А пусть бросает. Подумаешь, несчастье!

Женевьева торопливо заговорила:

— Ну, конечно, он ужасная дрянь, мы все это знаем, и Янина это знает. Но если он ее бросит, она умрет… Да, да, умрет! Тебе этого не понять, папа. Ты в таких делах несведущ. Янина знает

о своем Фили всю подноготную — куда больше, чем нам известно. Она часто мне говорила, что он просто невообразимый негодяй. И все-таки, если он ее бросит, она умрет. Тебе это, несомненно, кажется нелепостью. Такие чувства для тебя не существуют. Но при своем огромном уме ты можешь понять даже то, что тебе самому совершенно чуждо.

— Ты утомляешь папу, Женевьева.

Гюбер думал, что его неловкая сестра «все испортит», да еще зря задевает мое самолюбие. Он, должно быть, заметил тоскливое выражение, появившееся на моем лице, не зная, какая причина вызвала во мне уныние. Где же ему знать, что Женевьева разбередила мою рану, неосторожно коснувшись больного места. Я вздохнул: «Счастливец Фили!»

Гюбер и Женевьева обменялись удивленным взглядом. Они вполне искренне всегда считали меня полоумным и, вероятно, со спокойной совестью упрятали бы меня в сумасшедший дом.

— Фили ужасный мерзавец! — проворчал Гюбер. — А мы у него в руках.

— Его тесть более снисходителен к нему, чем ты, — сказал я. — Альфред частенько говорил, что Фили не так уж плох, как о нем думают, — он

просто озорник.

Женевьева вспылила.

— Он и Альфреда за собой тянет: зять развратил тестя, в городе это всем известно. Их вместе встречали с продажными женщинами… Какой позор! Такие вот огорчения и убили маму…

Женевьева приложила к глазам платок. Гюбер подумал, конечно, что я решил отвлечь их внимание от главного вопроса.

— Да разве об этом сейчас речь, Женевьева? — раздраженно спросил он. — Можно подумать, что во всем мире существуешь только ты и твои дети.

Разозлившись, Женевьева ответила, что еще неизвестно, кто из них эгоистичнее — она или Гюбер, и добавила:

— Разумеется, своя рубашка ближе к телу, каждый прежде всего думает о своем ребенке. Я всегда решительно все готова была сделать для Янины и горжусь этим. Как мать я все, все делала для нее. Я бы ради нее в огонь бросилась…

Язвительным тоном (узнаю свою кровь!) Гюбер заявил, что она «не только сама бросилась бы, но и других туда готова бросить».

Как меня в прежние дни позабавила бы их ссора! Я радовался бы этим раздорам, видя в них

предвестника беспощадной драки из-за клочков наследства, которых мне не удастся лишить их. Но теперь мне противно, а главное — скучно их слушать. Надо раз и навсегда разрешить денежный вопрос. Пусть дадут мне умереть спокойно.

— Как странно, дети!.. — сказал я. — Странно, что я в конце концов сделаю именно то, что казалось мне величайшим безумием…

Ого! Ссора сразу прекратилась. Оба противника уставились на меня жестким, недоверчивым взглядом. Они ждали, они насторожились.

— Ведь я всегда говорил себе: не забывай, что случилось со стариком крестьянином, арендовавшим у нас мызу. Все он отдал детям, а они, обобрав отца при жизни, предоставили ему умирать с голоду… А то еще и так бывает: затянется чересчур агония — детки положат старику на голову две подушки и нажмут немножко..

— Папа, умоляю тебя!

И в голосе, и в выражении лица чувствовался неподдельный ужас. Я сразу заговорил другим тоном:

— Тебе, Гюбер, много будет хлопот с разделом наследства. У меня вклады в нескольких банках; и здесь, и в Париже, и за границей. Да еще недвижимость — дома, земли, фермы.

При каждом моем слове у них все шире раскрывались глаза, но оба не смели поверить. Я заметил, как тонкая рука Гюбера то широко раскрывалась, то нервно сжималась в кулак.

— И пусть со всем этим будет покончено теперь же, еще до моей смерти, — вместе с разделом наследства от матери. За собой я оставлю в пожизненное пользование Калез — дом и парк (расходы по поддержанию в порядке и по ремонту — на ваш счет). О виноградниках я больше слышать не хочу. Будете мне выплачивать через нотариуса ежемесячную ренту, остается только определить ее сумму. Передай-ка мне бумажник, Гюбер… да, да, в левом кармане моего пиджака.

Дрожащей рукой Гюбер протянул мне бумажник. Я достал запечатанный конверт.

— Вот здесь ты найдешь сведения о размерах моего состояния. Можешь отнести этот пакет нотариусу Аркаму… Или нет, лучше позвони по телефону, попроси его прийти, я сам передам ему пакет и смогу тогда при тебе подтвердить ему мою волю.

Гюбер взял конверт и спросил с тоской:

— Ты не смеешься над нами? Нет?

— Ступай, позвони нотариусу. Сам увидишь, смеюсь я или нет.

Он бросился было к двери и вдруг спохватился.

— Нет, — сказал он, — сегодня неудобно… Надо подождать хоть неделю…

И он провел рукой по глазам. Несомненно, ему было стыдно, он хотел заставить себя думать о матери. Конверт он вертел в руках.

— Ну что ж, — подстрекнул я, — распечатай конверт и прочти, я тебе разрешаю.

Он торопливо подошел к окну, сорвал с конверта печать. Он не читал, а пожирал глазами опись. Женевьева не вытерпела: она встала и, вытянув шею, с жадностью заглядывала через плечо брата.

Я смотрел на своих детей. Вот брат и сестра. Ничего нет в них ужасного. Гюбер — деловой человек, финансист, попавший в затруднительное положение, отец семейства; Женевьева — мать семейства; они нежданно получили миллионы, которые считали потерянными для себя. Нет, я и не видел в них ничего ужасного. Меня удивляло другое — собственное мое равнодушие. Я был подобен человеку, который перенес операцию и, очнувшись, говорит, что он ничего не почувствовал. Я вырвал из своей души то, к чему был, как мне казалось, глубоко привязан, то, что крепко вросло в самое мое нутро.

Однако я испытывал только облегчение, чисто физическое чувство облегчения: мне было легче дышать. В сущности, что я делал уже многие годы? Все пытался избавиться от своего состояния, наделить им кого-нибудь, но обязательно чужого человека, не принадлежащего к моей семье. Всегда я обманывался, сам не знал, чего я хочу. Мы никогда не знаем, чего мы в действительности хотим, и вовсе не любим того, что, думается нам, мы любим.

Я услышал, как Гюбер сказал сестре:

— Огромное… огромное состояние!.. Ну просто огромное!

Потом они о чем-то поговорили шепотом, и вдруг Женевьева заявила, что они не могут принять такой жертвы с моей стороны, они не хотят, чтобы я всего лишил себя ради них.

Странно звучали в моих ушах слова: «жертву» и «всего лишить себя». Гюбер настаивал:

— Сегодня ты очень взволнован, потому и принял такое решение. Ты не так уж болен, как тебе кажется. Тебе еще нет семидесяти, а при грудной жабе люди доживают до глубокой старости. Через некоторое время ты раскаешься. Если хочешь, я избавлю тебя от материальных забот. Но владей себе спокойно тем, что тебе принадлежит… Мы

хотим только, чтобы все было по справедливости. Мы всегда хотели только справедливости.

Меня одолевала усталость, они видели, что глаза у меня слипаются. Я сказал, что решение мое неизменно и впредь говорить об этом мы будем лишь в присутствия нотариуса. Они направились к двери, я, не поворачивая головы, произнес:

— Забыл вас предупредить, что я назначил ежемесячную ренту в полторы тысячи франков своему сыну Роберу — я обещал ему. Напомни мне об этом, Гюбер, когда мы будем подписывать у нотариуса акт.

Гюбер покраснел. Он не ожидал такой колкости. Но Женевьева по простоте душевной не заметила тут никакого подвоха. Широко раскрыв глаза от удивления, она быстро произвела подсчет:

— Восемнадцать тысяч франков в год! А тебе не кажется, что это слишком много?

## Глава восемнадцатая

Лужайка сегодня светлее, чем небо. Промокшая насквозь земля дымится; в воде, затопившей рытвины, отражается мутная лазурь небосвода. Все меня занимает так же, как в те дни, когда Калез принадлежал мне. Моего здесь нет теперь ниче-

го, а я не чувствую своей бедности. Льют дожди; в бессонные ночи я слышу их плеск, знаю, что из-за них гниет виноград, и все так же печалюсь, так же боюсь, как бы не погиб урожай, как и в те времена, когда я был хозяином виноградников. Думал я, что мне дорога моя собственность, а теперь понял, что во мне говорила вошедшая в плоть и кровь безотчетная привязанность к земле, инстинкт крестьянина, сына крестьянского, рожденного теми, кто испокон веков с тревогой вопрошает горизонт, что он сулит: дождь или погожий день. Рента, которую я должен ежемесячно получать, будет накапливаться у нотариуса: мне ведь ничего не нужно, и, в сущности, никогда не было нужно. Всю жизнь я был пленником страстей, которые в действительности не владели мной. Как собаку, что воет по ночам на луну, меня завораживал отраженный свет, отблеск. Подумайте, проснуться в шестьдесят восемь лет! Возродиться перед самой смертью! О, если бы дано мне было пожить еще несколько лет или хоть несколько месяцев, даже несколько недель…

Сиделку уже отправили обратно в город — я чувствую себя гораздо лучше. За мной будут ходить Амели и Эрнест, служившие при Изе, они умеют делать уколы; у меня под рукой все

необходимые лекарства: ампулы морфина и нитрита. Сын и дочь — в городе, всё хлопочут, всё заняты делами по наследству, и в Калезе появляются лишь в тех случаях, когда им нужны какие-нибудь сведения для оценки той или иной части моего имущества. Все идет довольно мирно, без особых споров; из страха прогадать при дележе они приняли комическое решение все делить пополам, даже комплекты камчатного столового белья, наборы рюмок и сервизы. Они готовы разрезать надвое старинный гобелен или ковер, только бы он не достался кому-нибудь из них одному. Оба предпочитают все получить в разрозненном виде, зато поровну. Они ведь хотят, чтобы все было по справедливости, вот как они ее понимают — справедливость. Всю жизнь они украшали весьма пышными наименованиями самые низкие страсти… Нет, нет, — отказываюсь от своих слов, вычеркиваю их. Как знать, может быть, и они в плену у страсти, которая на самом-то деле не пустила в них глубоких корней?

А что они думают обо мне? Несомненно, оба считают, что я потерпел поражение и сдался. Они, видите ли, меня «одолели». Все же при каждом своем приезде в Калез они держат себя весьма почтительно и всё благодарят меня. Однако я вы-

зываю у них удивление. Особенно настороженно наблюдает за мной Гюбер, у него нет уверенности, что я сложил оружие. Да успокойся ты, бедняга! Когда меня привезли в Кализ выздоравливать, я и тогда не был очень-то опасен для вас… А уж теперь-то!..

По краям лугов вырисовываются длинные ряды вязов и тополей, поднимающихся друг над другом, а между темными их вереницами клубится туман — туман и дым: там жгут сорную траву; да еще вьется дымка испарений от напоенной дождями земли. Ведь сейчас у нас осень, гроздья, осыпанные дождевыми каплями, блещущими между ягодами, уже не нальются сладкими соками, — все отнял у них дождливый август. Не вернуть им потерянного. Поздно! Но для человека, может быть, никогда не бывает поздно. Я твержу себе, что для человека никогда не поздно.

На следующий день по возвращении в Кализ я вошел в комнату Изы, но сделал это вовсе не из благоговейного чувства. Только безделье, только полная моя незанятость, которая мне (сам хорошенько не знаю) не то приятна, не то очень томительна, побудила меня отворить приоткрытую дверь в эту комнату, первую в

коридоре слева от лестницы. Окно стояло раскрытое настежь, распахнуты были и дверцы шкафа, широко выдвинуты ящики комода. Слуги все оттуда вынесли, солнце проникало во все уголки, пожирая неосязаемые следы завершившейся человеческой судьбы. Был теплый сентябрьский день, жужжали проснувшиеся мухи. Густые круглые кроны желтеющих лип напоминали какие-то огромные плоды, тронутые пятнами. Небесная синева, густая в вышине, бледнела на горизонте над спящими холмами. Откуда-то донесся звонкий девичий смех; над виноградниками двигались золотистые на солнце шляпы — начался сбор винограда. Но жизнь, чудесная жизнь, ушла из комнаты Изы: лежавшие на дне шкафа перчатки и зонтик казались мертвыми. Я посмотрел на старый камин: резьба на среднем камне очага изображает грабли, лопату, серп и сноп пшеницы. Просторную топку этих старинных каминов, где могут пылать целые бревна, летом прикрывают широкими разрисованными экранами На нашем экране изображена была упряжка волов на пашне; однажды в детстве, разозлившись на что-то, я продырявил весь экран перочинным ножичком. Экран был косо прислонен к камину. Когда я хотел его отодвинуть и

поставить как следует, он упал, открыв зияющий черный квадрат топки, где полно было золы. Мне вспомнилось, что рассказывал Альфред о последнем дне, проведенном Изой в усадьбе: «Она жгла бумаги, мы думали, что начался пожар…»

В эту минуту я понял, ясно понял: она чувствовала приближение смерти. Нельзя одновременно думать о своей собственной смерти и о смерти других людей; меня неотвязно преследовала мысль, что смерть у меня за плечами, и я не замечал нервного напряжения Изы. «Это ничего, это возрастное», — говорили бестолковые наши дети. Но она-то, разжигая в камине яркий огонь, знала, что смерть подкрадывается к ней. Она хотела исчезнуть полностью, уничтожить все следы своего существования. Я смотрел, как ветерок чуть шевелит в камине серые хлопья холодного пепла. В углу стояли щипцы, которыми пользовалась Иза. Я схватил их и погрузил в золу, в эту кучку праха, в это небытие. Я раскапывал ее, как будто под пеплом скрывалась тайна моей жизни, тайна наших жизней. Чем глубже вонзались в золу щипцы, тем плотнее становился ее слой.

Я вытащил несколько клочков бумаги — должно быть, уцелевших в середине толстой пачки, но на этих спасенных из пепла лоскутках сохра-

нились лишь отдельные слова и непонятные обрывки фраз. Все написано было одним и тем же незнакомым мне почерком. Руки у меня дрожали, я упорно продолжал свои раскопки На крошечном, запачканном сажей обрывке мне удалось прочесть слово «рах»[62], а под маленьким крестиком стояло: «23 февраля 1913 г.» и обращение: «…дорогая дочь…» Я усердно старался разобрать обрывки фраз, написанных на обгорелой по краям странице, но восстановил только следующие строки: «Вы не несете ответственности за то, что этот ребенок вызывает в вас чувство ненависти, — она была бы преступной лишь в том случае, если б вы поддались ей. Меж тем вы всячески стараетесь…» С большим трудом я прочел еще: «…слишком смело с нашей стороны судить мертвых… его привязанность к Люку не доказывает…» Дальше все скрыла копоть, кроме следующей фразы: «Простите, не доискиваясь, какую именно вину вы прощаете. Отдайте ему свое…»

Еще успею поразмыслить обо всем этом, — сейчас надо искать, искать. И я искал. В неудобной позе, наклонившись так низко, что трудно было

---

**[62] Примечания: 62**
Мир *(лат.).*

дышать, я раскапывал щипцами золу. Вытащил записную книжку в клеенчатом переплете — и весь затрепетал от волнения: книжка как будто была не тронута огнем, — но оказалось, что в ней не уцелел ни один листочек. Только на оборотной стороне переплета мне удалось прочесть несколько слов, написанных рукой Изы: «Букет духовный», а ниже: «Не зовусь я „Тот, кто проклинает“, имя мое — Иисус». («О Христе», святой Франциск Сальский).

Дальше шли другие цитаты, но прочесть их было невозможно. Склонившись над этим прахом, я долго искал, но больше ничего не нашел. Наконец я встал, поглядел на свои черные от сажи руки. Увидел в зеркале, что и лоб у меня испачкан. Как в дни молодости, вдруг явилось желание уйти куда-нибудь в поле и ходить долго, долго. Забыв о своем больном сердце, я быстро сбежал с лестницы.

Впервые за много недель я направился в виноградники, где уже, один за другим, длинные ряды лоз лишались гроздьев и готовились к зимнему сну. Весь пейзаж вокруг был таким легким, прозрачным, воздушным и лазурно-переливчатым, как те голубоватые мыльные пузыри, которые когда-то Мари выдувала соломинкой.

Ветер и солнце уже подсушили колеи дорог и глубокие отпечатки воловьих копыт. Я шел, неся в своей душе неведомый мне прежде образ Изы — образ женщины, терзавшейся страстями, которые одному лишь Господу Богу под силу было укрощать. Прозаическую домовитую хозяйку пожирала ревность к сестре. Маленький Люк был ей ненавистен. Иза возненавидела ни в чем не повинного мальчугана! Что тут было причиной? Зависть? Боязнь за собственных детей? Ведь я любил Люка больше, чем их. Но она ненавидела и Маринетту… Да, да. Она страдала из-за меня: я обладал властью мучить ее. Безумие! Умерла Маринетта, умер Люк, умерла Иза. Все умерли, умерли! Я уже старик, я стою на краю той самой ямы, что поглотила их, и вот я радуюсь — радуюсь тому, что не был безразличен умершей женщине, что я вызывал в ее душе эти бури.

Смешно! И я в самом деле смеялся в одиночестве, кашляя и задыхаясь, ухватившись рукой за столбик, к которому привязана была виноградная лоза; а передо мной расстилались широкие просторы, затянутые бледной дымкой, где тонули деревни с колокольнями церквей, дороги и окаймлявшие их тополя. С трудом лучи заходящего солнца прокладывали себе путь к этому

погребенному в тумане миру. Я чувствовал, я видел, я осязал свое преступление. Страшным было не только это мерзкое змеиное гнездо, эта ненависть к родным детям, жажда мести, алчность к деньгам; ужасным было то, что я ничего не видел иного, кроме переплетавшихся ядовитых гадюк. Я связан был с гнусным клубком змей, как будто он стал моим сердцем, как будто толчки моего сердца смешивались с кишением этих гадов. Мало того что на протяжении пятидесяти лет я знал в себе лишь то, что на самом-то дело не было мною, я так же поступал и с другими. Меня ослепляли те жалкие вожделения, которые я читал на лицах своих детей. В чертах Робера я замечал лишь тупость, обманчивая видимость все заслоняла от меня. Никогда внешний облик людей не представал перед моим взором как оболочка, которую нужно прорвать и, проникнув сквозь нее, увидеть истинную сущность человека. Мне следовало бы сделать это открытие раньше — в тридцать, в сорок лет. А теперь что ж? Теперь я старик, сердце у меня бьется медленно, вяло; в последний раз я вижу, как осень убаюкивает виноградники, окутывает их дымкой тумана и багрецом заката. Те, кого я должен был любить, умерли; умерли те, кто мог бы меня любить. А к

тем, кто остался в живых, мне не найти дороги, не открыть их внутреннего облика, — не успеть мне, да и сил уже нет. Теперь во мне все, даже голос, даже движения, даже смех — принадлежат тому чудовищному уроду, которого я противопоставил миру, уроду, которому я дал свое имя.

Кажется, именно такие мысли бродили у меня в голове, когда я стоял в винограднике, опершись на столбик, и глядел на далекие луга Икема, залитые светом заходящего солнца. Случай, о котором я здесь расскажу, несомненно еще больше прояснил эти думы, но они уже возникли у меня в тот вечерний час, когда я возвращался домой, до глубины души проникнутый ощущением тишины и покоя, спускавшихся на землю; от деревьев протянулись длинные тени, весь мир был приятием, кротостью; дремавшие холмы как будто сгибали спину, казалось, они ждали туманов и мрака ночного — а тогда они, может быть, прилягут и уснут человеческим сном.

Я надеялся, что Женевьева и Гюбер уже приехали и ждут меня дома, — ведь они обещали пообедать со мной. Впервые в жизни я хотел, чтоб они побыли со мной, впервые радовался свиданию с ними. Мне не терпелось показать

им новую свою душу. Ведь нельзя же, нельзя терять ни минуты, мне надо поскорее их узнать, и пусть они узнают меня. Успею ли я перед смертью проверить испытанием свое открытие? Я вихрем пронесусь по длинному пути, ведущему к сердцам моих детей, преодолею все преграды, разделяющие нас. Клубок змей наконец рассечен; я очень быстро завоюю любовь своих детей, и они будут плакать обо мне, когда закроют мне глаза.

Оказалось, они еще не приехали. Я сел на скамью близ дороги — все слушал, внимательно слушал, не загудит ли мотор. Чем больше они запаздывали, тем больше хотелось мне увидеть их. Вспыхнул было прежний гнев: им, значит, все равно, что я жду их тут, волнуюсь! Для них совсем неважно, что я из-за них мучаюсь, это они нарочно!.. Потом я спохватился: может быть, они запаздывают по какой-нибудь неизвестной мне, но уважительной причине; совершенно напрасно я по старой привычке злобствую. Прозвонил колокол, возвещая час обеда. Я направился в кухню сказать Амели, что надо еще немножко подождать. Весьма редко мне случалось заглядывать в эту кухню с почерневшими потолочными балками, к которым подвешены были окорока. Я сел на соломенный стул у огня. До моего по-

явления Амели, ее муж и наш приказчик Казо весело разговаривали — я еще издали слышал их громкий смех. Как только я вошел, они умолкли. Всегда меня окружает атмосфера страха и почтения. Я никогда не разговариваю со слугами. Меня не назовешь требовательным, придирчивым хозяином. Нет, слуги просто не существуют для меня — я их не вижу, не замечаю. Но в тот вечер мне как-то было легче возле них. Раз мои дети не приехали, отчего бы мне не пообедать за некрашеным столом, на котором кухарка рубит мясо? Казо тотчас удрал, Эрнест принялся надевать белую куртку, в которой он всегда прислуживал мне за столом. Его молчание действовало на меня угнетающе. Я не мог придумать, что бы ему такое сказать. Мне ровно ничего не было известно об этой супружеской паре, которая верой и правдой служила мне уже двадцать лет. Наконец я вспомнил, что их дочь, выданная замуж в Совтер, однажды приезжала навестить родителей и привезла кролика, за которого Иза не стала ей платить, так как гостья пила и ела в нашем доме. Не поворачивая головы, я торопливо произнес:

— Ну что, Амели, как ваша дочка? Все в Совтере живет?

Амели склонила ко мне свое темное, обветрен-

ное лицо и, поглядев на меня, ответила:

— Да ведь вы же знаете — умерла она. Двадцать девятого числа, на святого Михаила, как раз десять лет будет. Разве вы не помните?

Муж ее ничего не сказал, только сурово посмотрел на меня: он подумал, что я нарочно притворяюсь, будто забыл об их несчастье.

Я пробормотал: «Простите меня… Стар стал… голова не работает…» И, как всегда, когда я чем-нибудь бываю смущен и робею, у меня вырвался тихий смешок — я не мог подавить этого нелепого смеха. Эрнест сказал обычным своим тоном: «Кушать подано».

Я встал и направился в плохо освещенную столовую, сел за стол напротив Изы — тени Изы. А вон там прежде сидела Женевьева, дальше — аббат Ардуэн, а рядом с ним — Гюбер… Я искал глазами стоявший когда-то между окном и буфетом высокий стульчик Мари — он после нее служил Янине, а потом дочери Янины. Я с трудом проглотил несколько кусочков; мне страшен был взгляд человека, прислуживавшего за столом.

В гостиной топился камин, жарко пылали сухие лозы. В этой комнате сменявшие друг друга поколения, как море, отступающее в часы отлива, оставили свои ракушки — альбомы, шкатулочки,

дагерротипы, карселевские кенкеты[63]. В горках хранились мертвые безделушки. Со двора доносился тяжелый стук конских копыт и скрип деревянного пресса для винограда, работавшего у самого дома. Звуки эти надрывали мне сердце. «Дети, милые вы мои, почему не приехали?» — жалобно стонал я. Если бы слуги услышали, они, верно, подумали бы, что кто-то чужой сидит в гостиной, они не узнали бы моего голоса, не поверили бы, что так говорит тот негодяй, который, как они думали, притворился, будто ничего не знает о смерти их дочери. Жена, дети, хозяева и слуги — все, казалось, составили заговор против моей души и диктовали мне мерзкую мою роль. Я так и застыл в той злобной позе, какую принудили меня принять. Мой облик соответствовал образу, созданному их ненавистью ко мне. Экое безумие надеяться, что в шестьдесят восемь лет я поднимусь против течения и заставлю их увидеть во мне другого человека! А ведь я именно другой и всегда был другим! Мы же видим лишь то, что привыкли видеть. Вот я и вас-то не вижу по-настоящему, бедные мои дети. Будь я помоложе, не так резко определился бы у меня склад души, не так

---

**[63] Примечания: 63**
Масляные лампы.

крепко укоренились бы привычки. Впрочем, я и в молодости вряд ли мог бы освободиться от злых чар. Сила для этого нужна. Какая сила? Чья-то помощь нужна. Да, нужен тот, кто поручился бы перед людьми, что я одержал победу над собой, тот, кому близкие мои поверили бы и увидели бы меня иным; нужен некий верный свидетель, кто сказал бы правду обо мне, снял бы с моих плеч мерзкое бремя и возложил его на себя…

Даже лучшие не могут одни, без помощи, научиться любить; для того чтобы не бояться смешных черт, пороков, а главное, людской глупости, нужно обладать тайной любви, которую мир уже не знает. И пока не откроют вновь эту тайну, напрасны будут старания изменить условия жизни людей; прежде я думал, что только из эгоизма я сторонился всех экономических и социальных проблем. Я был сущим чудовищем, замкнувшимся в своем одиночестве и равнодушии к людям, — это верно, но у меня было сокровенное чувство, смутная уверенность, что ничему не помогут революции и внешние перемены в облике нашего мира, — нет, надо проникнуть в сердце мира. Я ищу того единственного, кто мог бы одержать такую победу; надо, чтобы сам он был сердцем человеческих сердец,

пылающим средоточием всей их любви. Желание мое, быть может, уже было молитвой. Еще бы немного, и, пожалуй, я опустился бы на колени и, облокотившись на кресло, сложил руки, — так делала в летние вечера Иза, а трое малышей стояли вокруг нее, цепляясь за ее платье. Возвращаясь с прогулки, я видел их в освещенное окно, старался приглушить свои шаги и, оставаясь невидимым в темном саду, смотрел на эту молящуюся группу! «Простершись пред Тобой, Господи, — вслух говорила Иза, — возношу Тебе благодарение за то, что дал Ты мне сердцем познать Тебя и возлюбить...»

А теперь вот я стою посреди этой комнаты, и ноги едва держат меня, я пошатываюсь, как будто меня ударили в грудь. Я все думаю о своей жизни, всматриваюсь в нее. Нет, не поднимешься против течения столь мутного, грязного потока. Таким я был ужасным человеком, что за всю жизнь у меня не нашлось ни одного друга. А все же, — говорил я себе, — не потому ли так случилось, что я никогда не умел надевать личину? Если б все люди ходили без масок, как я ходил в продолжение полувека, пожалуй, они дивились бы тому, что очень мало разницы в их нравственном уровне. Ведь если правду говорить, никто не показывает своего лица, никто! Большинство людей обезьянничают,

рисуются, изображают возвышенные, благородные чувства. Сами того не ведая, они подражают литературным героям или кому-нибудь другому. Святые знали, видели, что у людей творится в душе, и потому ненавидели и презирали себя. Я не внушал бы окружающим отвращения, если б не показывал им свое нутро так открыто, так обнаженно, без всяких прикрас.

Вот какие мысли преследовали меня, когда я бродил в полумраке по гостиной, натыкаясь на тяжеловесную мебель из палисандрового или красного дерева — на увязнувшие в песках обломки прошлого моей семьи. Столько людей, чьи тела ныне уже истлели, когда-то опирались на эти столики, сидели в этих креслах, лежали на этих оттоманках. Малыши запачкали своими башмачками диван, когда забирались на него и, удобно расположившись, рассматривали картинки в переплетенном комплекте какого-нибудь иллюстрированного журнала на 1870 год. Обивка так и осталась темноватой в тех местах, где ее касались маленькие ножонки. Ветер с воем носится вокруг дома, метет опавшие листья тополей. Опять позабыли запереть ставни в одной из спален.

## Глава девятнадцатая

На следующий день я с тревожным нетерпением ждал почты. Я бродил взад и вперед по аллеям сада, как бродила когда-то Иза, с беспокойством поджидая запоздавших детей. «Что случилось? — думал я. — Поссорились они? Заболел кто-нибудь?» Я «ужасно расстраивался». По части придумывания всяких страхов я оказался таким же мастером, как Иза, и все не мог отогнать черные мысли. Я долго блуждал среди виноградников, ничего не видя, ничего не замечая, как это свойственно человеку, когда его гложет забота, но помнится, от моего внимания не ускользала перемена, происшедшая во мне. Я даже был доволен своей тревогой. В тумане гулко разносились все звуки, долину было слышно, но не видно. По длинным полосам виноградника разлетелись трясогузки и перепелки, осаждая еще не подгнившие гроздья. Люк в детстве любил эти утренние часы ранней осени…

Наконец принесли почту. Короткое письмецо Гюбера, присланное из Парижа, не успокоило меня. Он писал, что ему неожиданно пришлось выехать по срочному делу: довольно серьезные

неприятности, о которых он расскажет по возвращении, вернуться же он собирается послезавтра. Я думал, что у него какие-нибудь осложнения со стороны финансовой инспекции — может быть, он позволил себе что-нибудь незаконное.

К середине дня я уже не мог выдержать, велел отвезти меня на вокзал и взял билет в Бордо, хотя обещал детям никогда не ездить один. Женевьева жила теперь в нашем старом доме. Я столкнулся с ней в передней — она прощалась с каким-то незнакомым мне человеком: вероятно, с доктором.

— Гюбер ничего тебе не сообщил?

Женевьева увела меня в ту самую приемную, где я лежал без чувств в день похорон Изы. Я вздохнул с облегчением, узнав, что речь идет о бегстве Фили — я опасался более страшного несчастья. Оказалось, что Фили бежал с женщиной, которая «держит его крепко», и что произошла ужасная сцена объяснения с Яниной; он был крайне жесток и не оставил жене никакой надежды. Бедняжка Янина сейчас в полной прострации, и ее состояние беспокоит доктора. Альфред и Гюбер догнали беглеца в Париже. Только что пришла телеграмма, из которой ясно, что они ничего не добились.

— Подумать только! Ведь мы давали им так много на содержание… Разумеется, мы были осторожны и никакого капитала им не выделили, но ренту назначили очень солидную. А Янина-то! Боже мой, какая слабохарактерность! Он умел добиться от нее всего, решительно всего! Подумать только! Прежде он грозился бросить ее из-за того, что ты, папа, нам ничего не оставишь, но ведь удрал он не тогда, а теперь, когда ты отдал нам все свое состояние. Как ты это объяснишь?

Она остановилась против меня и, подняв брови, удивленно смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Потом прижалась к батарее и стала зябко потирать руки.

— А бежал он, разумеется, с весьма богатой женщиной?..

— Вовсе нет! С учительницей пения. Да ты хорошо ее знаешь — это госпожа Велар. Особа не первой молодости и видавшая виды. Какое там богатство! Едва на жизнь зарабатывает. Ну, как ты это объяснишь? — повторила она.

И, не дожидаясь ответа, она заговорила снова. В эту минуту появилась Янина. Она вышла в халате и подставила мне лоб для поцелуя. На мой взгляд, она не похудела, но в ее тяжеловесном, лишенном изящества облике отчаяние стерло черты,

которые я терпеть не мог: это жалкое создание, прежде такое жеманное, неестественное, сбросило с себя все наносное и стало совсем простым. На нее падал жесткий свет люстры, но она даже не прищурила глаза. Она сказала только одно: «Вы уже знаете?» — и села на шезлонг. Слышала ли она слова своей матери, бесконечную обвинительную речь, не умолкавшую, вероятно, с того самого часа, как бежал Фили?

— Подумать только!..

Каждый свой ораторский период Женевьева начинала с восклицания «Подумать только!» — довольно странного в устах женщины, которая совсем на привыкла думать.

— Подумать только! — возмущалась она. — Какая неблагодарность! Выдали за него замуж прекрасную девушку, не посмотрели на то, что в двадцать два года он уже растратил немалое состояние, которое получил в наследство очень рано (он был круглым сиротой, не имел близких родственников, и пришлось освободить его от опеки). Семья жены сознательно закрывала глаза на его грязные похождения… И вот как он за все отблагодарил…

Во мне накипало раздражение, и я не мог его сдержать. Уснувшая застарелая злоба при-

открыла один глаз. Да разве сама Женевьева, Альфред, Иза и все их приятели не завлекали Фили всяческими посулами и «надеждами», не приманивали его?

— И любопытнее всего, — ворчал я, — что ты сама веришь своим россказням. Однако ты прекрасно знаешь, как вы гонялись за этим мальчишкой…

— Послушай, папа, не станешь же ты его защищать?..

Я заявил, что вовсе не собираюсь защищать Фили, а только хочу сказать, что мы были к нему несправедливы: он оказался не таким уж низким человеком, каким мы его считали. Вероятно, ему слишком бесцеремонно показывали, что раз супругу Янины обеспечена роскошная жизнь, то он должен терпеть все унижения, ходить у вас на цепочке — никуда ему теперь не убежать. Но люди не такие уж подлецы, как нам кажется.

— Подумать только! Ты защищаешь негодяя, бросившего молодую жену и малютку дочь?..

— Женевьева! — раздраженно крикнул я. — Ты меня не понимаешь. Ну сделай же над собой усилие, постарайся понять. Очень нехорошо, очень дурно, когда человек бросает свою жену и дочку, — это бесспорно. Но совершить такой

проступок он может как из подлых побуждений, так и по причинам высокого порядка.

— Ах, вот что! — упрямо твердила Женевьева. — Ты, значит, считаешь, что муж поступает благородно, бросив двадцатидвухлетнюю жену и маленькую дочку.

Из круга этих рассуждений Женевьева не могла выйти, она ровно ничего не понимала.

— Нет, ты слишком глупа… А может, просто притворяешься, нарочно не хочешь понимать. Но я вот что скажу: Фили кажется мне не такой уж дрянью, с тех пор как…

Женевьева прервала меня и принялась кричать, чтобы я хоть подождал, пока Янина уйдет из комнаты, — для нее, бедняжки, оскорбительно, что я защищаю ее мужа. Но Янина, упорно молчавшая до той минуты, вдруг заговорила изменившимся, неузнаваемым голосом:

— Мама, зачем отрицать? Мы все старались на каждом шагу унизить Фили, мы готовы были с грязью его смешать. Вспомни — как только разделили наследство, мы стали командовать… Да, я вообразила, что его можно водить на поводке, как породистого красивого песика. Мне даже не так было больно, как прежде, что он не любит меня. Ведь я им владела, он принадлежал мне,

стал моей собственностью: деньги-то были у меня в руках, — пусть попрыгает около меня, постоит на задних лапках. Это собственные твои слова, мама. Помнишь, как ты мне говорила: «Пусть теперь попрыгает около тебя, постоит на задних лапках!» Мы думали, что для него деньги дороже всего. Может быть, он и сам так думал, и все же стыд и гнев оказались сильнее. Ведь он не любит ту женщину, которая отняла его у меня, — он мне сам признался, когда уходил. И, несомненно, это правда. Он высказал мне столько горьких, жестоких истин, что можно этому поверить. Он ее не любит, но она не презирала его, не старалась унизить. Она отдалась ему, а не купила его. А я купила его, как приглянувшуюся безделушку.

Она несколько раз повторила эти слова, словно бичевала себя. Мать пожимала плечами, но радовалась, что Янина наконец заплакала: «Теперь ей станет легче…» И она принялась утешать дочь:

— Не бойся, душенька, он вернется. Голод и волка из лесу гонит. Когда перебесится да поживет в нищете…

Уверен, что Янине противно было слушать такие слова. Я встал и взялся за шапку. Мне невыносима была перспектива провести вечер в обществе дочери. Я уверил ее, что нанял авто-

мобиль и вернусь на нем в Кале́з. И вдруг Янина сказала:

— Увезите меня с собой, дедушка.

Мать возмутилась: что за безумие! Янине надо быть в городе — она может понадобиться юристам. А кроме того, в Кале́зе ее «тоска заест».

Женевьева пошла за мной следом и, остановившись на лестничной площадке, осыпала меня резкими упреками за то, что я потакаю безумной страсти Янины.

— Было бы великим счастьем, если б ей удалось оторвать его от сердца. Неужели ты не согласен со мной? Найти какой-нибудь повод для развода совсем нетрудно, а когда Янина успокоится, она снова выйдет замуж. При ее состоянии она сделает великолепную партию. Но прежде всего надо, чтоб она разлюбила этого негодяя. А ты что делаешь? Ты терпеть не мог Фили, а теперь вдруг начинаешь восхвалять его. Да еще при ней… Ну уж нет, я не пущу ее к тебе в Кале́з. Воображаю, в каком настроении она оттуда вернется. Здесь-то мы в конце концов сумеем отвлечь ее от тяжелых мыслей, она позабудет…

«Если только не умрет от горя, — думал я. — Или же станет влачить жалкое существование, горе будет ее точить, ровное, неотвязное горе,

которое не ослабеет со временем. А может быть, Янина принадлежит к той породе женщин, которая мне, старику адвокату, хорошо известна: у этих несчастных надежда становится болезнью, неисцелимым недугом, — они и через двадцать лет все еще ждут и смотрят на дверь глазами верной собаки».

Я вернулся в комнату, где Янина сидела неподвижно все на том же месте, и сказал:

— Приезжай, когда вздумается, детка… Всегда буду рад тебя видеть.

Она не шевельнулась, ничем не показала, что поняла меня. Вошла Женевьева и, недоверчиво глядя на меня, спросила: «Что ты ей сказал?» Оказывается, она потом обвиняла меня, что за эти несколько секунд я «совратил» Янину — потехи ради забил ей голову всякими вредными идеями А я, спускаясь по лестнице, все вспоминал, как бедная моя внучка крикнула: «Увезите меня с собой…» Да, она попросила меня увезти ее. Я инстинктивно сказал о Фили те самые слова, которые ей так хотелось услышать. Быть может, я был первым, кто не оскорбил ее.

Я шел по улицам Бордо, иллюминованным по случаю начала школьного года. Блестели тротуары, мокрые от моросившего дождя. Голоса

шумных южан перекрывали грохот трамваев. Аромат моего детства исчез; пожалуй, я бы нашел его в более мрачных кварталах, на улице Дюфур-Дюбержье или на улице Грос-Клош. Может быть, там какая-нибудь старушка еще торгует каштанами — стоит себе на углу темной улицы, прижимая к груди дымящийся горшок с печеными каштанами, которые пахнут анисом. Нет, мне совсем не было грустно. Ведь в тот вечер меня услышали, поняли. Мы с Яниной объединились — это была победа. Но с Женевьевой нельзя договориться, и я потерпел поражение: против некоего определенного вида тупости я бессилен. Нетрудно найти путь к живой душе, увидев ее даже сквозь преступления, сквозь самые плачевные пороки, но вульгарность — непреодолимая преграда. Что ж, ничего не поделаешь, так и решим: невозможно расколоть каменные плиты всех этих могил. Я буду счастлив, если мне перед смертью удастся достигнуть душевной близости хотя бы с одним человеческим существом.

Я переночевал в гостинице и вернулся в Калез только на следующее утро. Несколько дней спустя меня навестил Альфред, и от него я узнал о тяжелых последствиях моей беседы с Женевьевой. Янина написала Фили совершенно безумное

покаянное письмо, поспешила заявить, что сама во всем виновата, и просила у мужа прощения. «Женщины всегда такие глупости вытворяют...» Благодушный толстяк не осмелился выразить свою мысль, но я уверен, что ему очень хотелось сказать: «Она идет по стопам своей бабушки...»

Альфред дал мне понять, что процесс теперь можно заранее считать проигранным, и ответственность за это Женевьева возлагает на меня: я нарочно «заморочил голову» Янине. Я только улыбнулся и спросил зятя, — как он думает, чем я в данном случае руководствовался. Он заверил меня, что нисколько не разделяет мнения своей жены, но она полагает, что я поступил так ради забавы, из мести, а может быть, просто «из чистейшей злобы».

Дети больше не приезжали ко мне. Через две недели я получил письмо от Женевьевы: она сообщала, что Янину пришлось поместить в нервно-психиатрическую лечебницу. Конечно, о сумасшествии тут не может быть и речи. Врачи возлагали большие надежды на эту лечебную изоляцию.

Я тоже оказался в изоляции, хотя и не по причине болезни. Уже давно сердце не давало мне такой долгой передышки. Куда больше двух

недель стояли сияющие теплые дни — осень медлила завладеть миром. С деревьев не упал еще ни один листок, опять зацвели розы. Одно было плохо — мои дети вновь отдалились от меня. Гюбер появлялся только для того, чтобы поговорить о делах. Он поражал меня своей сухостью, чопорностью. Говорил он со мной весьма учтиво, но видно было, что держится настороже.

Из-за своего «вредного» влияния на Янину, в котором меня обвиняли, я утратил всю завоеванную мною симпатию моих детей. Вновь я стал в их глазах врагом, коварным, на все способным злобным стариком. Янину, единственное существо, которое, быть может, поняло бы меня, заперли, отделили ее от живых людей.

И все же я познал глубокий душевный покой. Лишенный всего, одинокий старик, над которым нависла угроза мучительной смерти, я оставался уравновешенным, бодрым, не терял остроты ума. Меня не тяготили мысли о моей печальной жизни. Я не чувствовал бремени прожитых лет и одиночества, словно не был больным и старым, словно впереди у меня была еще долгая жизнь, словно мир, овладевший моей душой, был живым и благостным существом.

## Глава двадцатая

Уже месяц, как у меня живет Янина, — я приютил ее, когда она убежала из лечебницы. Бедняжка еще не поправилась, считает себя жертвой заговора: говорит, что ее заперли в сумасшедший дом за то, что она отказалась начать процесс против Фили, требовать развода и аннулирования брачного контракта.

Все родственники воображают, будто я внушаю Янине такие мысли и восстанавливаю ее против близких; однако это неверно: с тех пор как она в Калезе, я целыми днями (а в деревне они тянутся бесконечно) упорно борюсь с ее иллюзиями и химерами. Погода ужасная — дождь, слякоть; гниют в грязи опавшие мокрые листья. По двору, усыпанному гравием, люди проходят в тяжелых сабо — вон кто-то идет, накинув углом на голову мешок. Осень начисто оголила деревья, и сразу выступили убогие ухищрения, придававшие саду «живописность»: решетчатые своды беседочек, переплеты трельяжей и жидкие купы декоративных растений, озябших от непрестанных холодных дождей.

В спальнях такая пронизывающая сырость,

что вечером у нас с Яниной не хватает мужества расстаться с уютной гостиной, и мы подолгу сидим у камелька. Бьет полночь, а все не хочется подниматься на второй этаж к себе в комнату; терпеливо сложенная горка огненных углей постепенно обрушивается на серый слой золы, — а мы беседуем. Снова и снова приходится убеждать мне свою внучку, что ни ее родители, ни ее брат, ни дядя Гюбер не хотят ей зла. Стараюсь, как могу, чтоб она не вспоминала о психиатрической лечебнице. Но вот от воспоминаний о муже отвратить ее невозможно, и мы все время о нем говорим. «Вы не можете себе представить, что это за человек!.. Вы ровно ничего о нем не знаете!..»

Вслед за этими словами следует то обвинительная речь, то дифирамбы — и только по тону, которым Янина произносит это вступление, я могу угадать, будет ли она восхвалять своего Фили или обливать его грязью. Но воспевает ли она его или чернит, факты, которые она приводит, кажутся мне весьма незначительными. Янина вообще совсем лишена воображения, однако любовь наделила ее удивительной способностью преобразовывать, искажать и во всех случаях преувеличивать реальные факты. Да ведь я знаю твоего Фили! Он — ничтожество, и только

быстролетная юность на мгновение облекла его красой своих лучей. Этому избалованному мальчишке, живущему «на всем готовеньком», ты приписываешь то высокие, тонкие чувства, то вероломные замыслы, обдуманное коварство, а на самом деле у него и мыслей-то нет никаких — одни рефлексы.

Ты и твои родители не понимали, что ему хотелось чувствовать себя сильнее вас, что он задыхался в атмосфере рабского подчинения. Зачем вы очень уж высоко поднимали подачки и заставляли его прыгать? Он из той породы собачек, которым такая дрессировка не нравится, и они удирают туда, где их не утомляют и любезно подносят кормежку прямо на полу.

Бедняжка Янина ни малейшего понятия не имеет, какова сущность ее милого Фили. Да что она может разглядеть, когда у нее все заслоняет тоска о нем, потребность, чтоб он был возле нее, жажда его ласк, которыми он иногда ее дарил, ревность и ужас сознания, что она потеряла его. Лишенная глаз, обоняния, щупальцев, она, обезумев, бежит за ускользнувшей добычей, сама не зная, кто же он — тот, за кем она гонится… Говорят, отцовская любовь слепа. Янина мне — внучка, но даже будь она моей дочерью, я все же видел бы ее такою,

какова она в действительности. Нет в ней ничего обаятельного, черты лица правильные, но фигура неуклюжая, тяжеловесная, голос какой-то нелепый, писклявый; да вообще она из тех женщин, на которых мужчина не бросит острого взгляда, не задумается о них. А все-таки в эти вечера она казалась красивой той особой красотой, которую придает женщине любовное отчаяние. Может быть, и нашелся бы мужчина, которого привлек бы этот пылающий пожар. Но бедняжка сгорает на костре во мраке, в безлюдье — один лишь старик дед свидетель ее пытки.

Мне жаль Янину, и в эти долгие вечера я терпеливо выдерживаю бесконечные воспоминания о ее необыкновенном Фили, хотя этот юноша похож на миллионы других юношей, так же как заурядный белый мотылек неотличимо похож на всех прочих белых мотыльков; я слушаю и поражаюсь неистовой страсти, которую он один в целом мире в силах был зажечь в этой женщине, — такой исступленной страсти, что она заслонила для нее весь мир, видимый и невидимый; для Янины ничего не существует, кроме ее мужа, кроме молодого самца, уже немного потрепанного, готового предпочесть выпивку всем остальным удовольствиям и взирающего на

любовь как на своего рода труд, утомительную обязанность… Вот убожество!

Янина едва замечает свою дочку, которая в сумерки тихонько пробирается к нам в гостиную. Мать, не глядя, касается поцелуем ее кудрявой головки. Нельзя сказать, что малютка не играла роли в ее жизни: только из-за дочери Янина находила в себе силы побороть неистовое желание броситься в погоню за Фили (она была бы способна назойливо преследовать его, то молить, то оскорблять, публично устраивать ему сцены). Нет, мне одному не удалось бы ее удержать дома, она оставалась только ради ребенка, но утешения в нем не находила. Девчушка как будто чувствовала это и вечером, когда мы сидели у огня в ожидании обеда, спешила забраться к дедушке на колени, как будто искала у меня прибежища. Волосики у нее были мягкие, как пух, пахло от них теплым птичьим гнездышком, и мне вспоминалась тогда Мари. Я закрывал глаза и, прильнув губами к детской головке, сидел тихонько, сдерживая желание крепко стиснуть в объятиях это маленькое существо. В сердце своем я призывал мою погибшую девочку. В то же время мне казалось, что я обнимаю и Люка. Иной раз поцелуешь ее, когда она разыграется, и чувствуешь, что щеч-

ки у нее чуть-чуть солененькие, как у маленького Люка в дни летних каникул, когда он, бывало, так набегается за день, что заснет за столом. Он не мог дождаться десерта и, отправляясь спать, обходил стол, подставляя всем подряд для поцелуя свою сонную усталую рожицу.

Вот о чем я думал, пока Янина, пленница своей любви, ходила взад и вперед, неустанно кружила по комнате.

Помню, как-то вечером она спросила:

— Как же мне быть теперь? Что сделать, чтоб не страдать?.. Как вы думаете, это пройдет?..

Ночь была холодная; вдруг, вижу, Янина подходит к окну, распахнула створки, раскрыла ставни, высунулась из окна, смотрит на сад, залитый лунным светом, и жадно дышит ледяным воздухом. Я отвел ее на место, усадил у огня и, хотя не привык к нежностям, неловко подсел к ней и обнял за плечи. Я спросил, нет ли у нее хоть какой-нибудь поддержки:

— Ты верующая?

Она рассеянно повторила:

— Верующая? — как будто не поняла меня.

— Ну, да, — сказал я, — ты веришь в Бога?..

Она вскинула горящие глаза, недоверчиво посмотрела на меня и наконец заявила, что не

видит, «какое это может иметь отношение»... Я настойчиво повторил вопрос; тогда она ответила:

— Ну, конечно, я верующая. Хожу в церковь и вообще делаю все, что полагается. Почему вы спрашиваете? Вы смеетесь надо мной?

— Как ты думаешь, — продолжал я, — Фили достоин великого твоего дара?

Янина посмотрела на меня угрюмым, сердитым взглядом, какой бывает у ее матери, когда она не понимает, что ей говорят, не знает, как ответить, и боится попасть впросак. Наконец она рискнула:

— Никакой тут связи нет... Не люблю, когда к этим делам примешивают религию. Ну да, я верующая, а поэтому мне противны такие вот нездоровые сопоставления. Я же исполняю все, что предписывает религия...

Она изрекла это таким тоном, как будто доложила финансовому инспектору, что она «аккуратно платит все налоги». А ведь как раз я это и ненавижу и всю жизнь ненавидел эту грубую карикатуру, этот жалкий шарж на христианскую жизнь, а чтобы иметь право их ненавидеть, я притворялся, будто вижу в них подлинное христианство. Надо смело смотреть в лицо тому, что

ненавидишь. Но ведь мне-то, — думал я, — мне-то уже известно было, что я сам себя обманывал. Я это знал еще в конце прошлого века, в тот вечер, когда вот тут, в Калезе, аббат Ардуэн сказал мне на террасе: «Вы очень добрый…» Разве это не верно, что я уже знал? А позднее я затыкал себе уши, чтоб не слышать тех слов, которые шептала умирающая Мари. А ведь именно тогда, у ее изголовья, мне открылась тайна смерти и жизни человеческой… Моя девочка умирала ради меня… Я хотел забыть это. Неустанно я старался потерять ключ к вратам тайны, а чья-то рука возвращала мне его на каждом решающем повороте моего жизненного пути. (Разве мне забыть взгляд Люка воскресным утром после мессы, в тот час, когда начинал стрекотать первый кузнечик?.. А та весенняя ночь, когда пошел град?..)

Вот какие у меня были думы в тот вечер. Помню, что я встал, так резко оттолкнув кресло, что Янина вздрогнула. Ночная тишь, царившая в Калезе, казавшаяся плотной, почти твердой, сковывала, приглушала ее скорбь. Огонь в камине угасал, в комнате постепенно становилось холоднее, Янина все ближе придвигала к очагу свой стул, ее ноги почти касались теплой золы. Она протягивала к тлеющим углям руки, склоняла голову.

Лампа, стоявшая на каминной полке, освещала сверху ее низко согнувшуюся грузную фигуру, а я бродил поодаль, в полумраке гостиной, загроможденной старинной мебелью палисандрового и красного дерева. Я бессильно кружил вокруг этой человеческой глыбы, этого недвижного тела. «Детка моя…» Я искал и не находил нужных слов. Как меня душит нынче вечером, когда я пишу эти строки, как мучительно болит сердце, словно вот-вот разорвется, а все оттого, что оно исполнилось любви, и я знаю наконец имя, ее див.

. . . . . .
. . . . . .

***Калез, 10 декабря 193…***

Дорогая Женевьева!

На этой неделе кончу разбирать бумаги, которыми в отцовском столе набиты все ящики. Но я считаю своим долгом немедленно ознакомить тебя с весьма странным документом. Как тебе известно, отец умер за своим рабочим столом; когда Амели вошла к нему в кабинет утром 24 ноября, она увидела, что он сидит, уткнувшись лицом в раскрытую тетрадь — ту самую, которую я посылаю тебе заказным письмом.

Тебе, вероятно, трудно будет разобрать, что там

написано, я тоже немало помучился. Однако хорошо, что почерк такой неразборчивый, — слуги, конечно, ничего не могли прочесть. Сначала я из деликатности хотел избавить тебя от чтения этой тетради: отец там пишет о тебе очень грубо, говорит очень обидные, оскорбительные слова. Но разве я имею право скрывать от тебя документ, который принадлежит тебе в такой же мере, как и мне? Ты ведь знаешь мою щепетильность в отношении всего, что так или иначе является наследством наших родителей. Поэтому я передумал и посылаю тетрадь. А впрочем, кого только отец не оскорбил на этих страницах, пропитанных желчью! Всем нам досталось. К сожалению, мы давно знаем, как он к нам относился, это для нас совсем не новость. Вся моя юность была отравлена тем презрением, которое моя особа почему-то вызывала у отца. Из-за этого я долго не верил в себя, в свои силы, я весь сжимался, чувствуя на себе его безжалостный взгляд; много лет прошло, пока у меня появилось наконец чувство собственного достоинства и сознание своей значимости.

Я все ему простил, скажу даже, что именно сыновний долг побудил меня ознакомить тебя с этим документом. Какое бы ты суждение ни

вынесла об этих записях, в которых откровенно выражены ужаснейшие чувства, бесспорно то, что образ нашего отца предстанет теперь перед тобою — я не смею сказать более благородным, но, наконец, более человечным. (Я думаю, в частности, о его любви к нашей покойной сестре Мари и к маленькому Люку — ты увидишь трогательные свидетельства этой привязанности.) Теперь я лучше понимаю скорбь, которую он проявил у гроба бедной мамы. А помнишь, как мы были поражены? Ты думала, что он немного притворялся. Даже если эти страницы сослужат лишь ту службу, что они откроют тебе, какие страдания таило сердце этого непреклонного и безумно гордого человека, то уж ради одного этого, дорогая Женевьева, стоит прочесть его исповедь, как бы горько это ни было тебе.

Этой исповеди я обязан благодетельным чувством душевного успокоения, которое, несомненно, снизойдет и на тебя. Я от природы очень щепетильный человек. Пусть у меня будут тысячи оснований считать себя совершенно правым в том или ином случае, — достаточно какого-нибудь пустяка, чтобы смутить мою совесть. Ах, нелегко живется человеку, когда у него так развито нравственное чувство и деликатность,

как у меня! Отец ненавидел и преследовал меня, а при каждом акте вполне законной самозащиты я испытывал жестокую душевную тревогу, если не сказать угрызения совести. Не будь я главой семьи, на котором лежит ответственность за честь нашего имени и за достояние наших детей, я бы предпочел отказаться от борьбы с отцом, лишь бы мне не знать этих терзаний, этого душевного разлада, — ведь ты неоднократно была свидетельницей моих мучений.

Благодарю Господа Бога, ибо по воле Его слова отцовских записей вполне оправдывают меня. Прежде всего они подтверждают то, что мы уже знали: он сам признается в тех махинациях, которые изобретал, желая лишить нас наследства. Не могу без краски стыда за отца читать те страницы, на которых он описывает придуманный им способ держать в своей власти и поверенного Буррю, и некоего Робера. Набросим на эти мерзкие интриги покров забвения. Однако из них с полной очевидностью явствует, что я обязан был во что бы то ни стало расстроить эти гнусные планы. Я это сделал, сделал весьма успешно и нисколько не стыжусь своего поступка. Я выполнил свой долг. Можешь теперь не сомневаться, сестра, — своим богатством ты обязана мне. В

своей исповеди бедняга отец пытается убедить себя, что ненависть, которую он испытывал к нам, вдруг умерла, и кичится своим внезапным отречением от всех благ земных (признаюсь, я не мог удержаться от смеха, читая эти строки). Но обрати, пожалуйста, внимание, когда именно произошел этот нежданный поворот, — он произошел в тот момент, когда все его замыслы потерпели крушение, ибо его побочный сын продал нам тайну. Скрыть такое большое состояние не очень-то легко; план мобилизации, тщательно разработанный за несколько лет, не переделаешь за два-три дня. Истина очень проста: бедняга чувствовал, что конец его близок, что у него нет ни времени, ни возможности лишить нас наследства каким-либо иным способом, кроме того заговора, который мы, по милости провидения, раскрыли.

Не желая проиграть процесс ни перед самим собой, ни перед нами, наш знаменитый адвокат пустился на мошенничество — наполовину бессознательно (готов это допустить): он решил превратить свое поражение в некую моральную победу, он закричал о своем бескорыстии, о своем отречении от всего… А что ему еще оставалось делать, скажите на милость? Нет, меня этими

фокусами не проведешь, и я уверен, что, как человек здравомыслящий, ты вполне согласна со мной. У нас нет никаких оснований таять от восторга и благодарности.

Но есть еще один вопрос, в котором исповедь отца принесла мне полное удовлетворение, и теперь на душе у меня спокойно. В этом вопросе я особенно строго анализировал себя перед судом своей требовательной совести и, признаюсь, долго не мог найти успокоения. Я имею в виду мои попытки, правда тщетные, подвергнуть отца обследованию психиатров, чтобы определить состояние его умственных способностей. Тут меня очень смущали доводы моей жены. Как тебе известно, я обычно не очень считаюсь с ее мнениями — она особа чрезвычайно неблагоразумная. Но она не давала мне покоя ни днем, ни ночью, все уши мне прожужжала своими рассуждениями, и, откровенно говоря, некоторые ее аргументы меня поколебали. В конце концов ей удалось убедить меня, что наш великий адвокат, делец, изворотливый финансист и глубокий психолог — самый уравновешенный человек на свете.

Разумеется, очень легко изобразить извергами детей, которые, боясь лишиться наследства, изо

всех сил стараются запереть родного отца в сумасшедший дом. Видишь, я не боюсь слов и говорю вполне откровенно. Я провел немало бессонных ночей. Одному Богу известно, как я мучился.

Так вот, дорогая Женевьева, эта тетрадь, особенно некоторые ее страницы, с полной очевидностью свидетельствуют о том, что наш отец страдал перемежающимся помешательством. Я даже полагаю, что перед нами случай, весьма интересный с медицинской точки зрения; следовало бы передать эти записи психиатру. Но я считаю первым своим долгом не допускать разглашения документа, столь опасного для судьбы наших детей. Спешу тебя предупредить об этом и советую сжечь тетрадь немедленно по прочтении. Так страшно, что она может попасть в руки посторонних людей! Надо избежать этого. Мы всегда держали в тайне все, что касается наших семейных дел; я принял меры к тому, чтобы никто не знал о нашем беспокойстве по поводу душевной болезни отца: ведь как-никак — он глава семьи. Но, представь себе, некоторые субъекты, не принадлежащие к числу наших кровных, не проявили благоразумной сдержанности; в частности, отличился твой зять: негодяй рассказывал повсюду ужаснейшие истории об

отце. Мы за это теперь дорого расплачиваемся. Вероятно, ты и сама знаешь, какие слухи ходят в городе. Очень многие сопоставляют неврастению Янины со всяческими эксцентричностями отца, которые ему приписывают на основании россказней Фили.

Итак, разорви и сожги эту тетрадь и не говори о ней никому; пусть не будет больше о ней речи и между нами. Должен сказать, что мне все-таки жаль ее уничтожать — там есть и психологические тонкости, и даже очень милые картины природы. У отца был, как видно, не только ораторский талант, но и писательская жилка. Что ж, тем более надо уничтожить тетрадь. Вообрази, вдруг кто-нибудь из наших детей позднее опубликует такую исповедь. Вот ужас! Но между нами нет места недомолвкам, мы можем называть вещи настоящими их именами и, прочтя эту тетрадь, должны сказать откровенно, что отец наш, бесспорно, был полусумасшедшим. Теперь мне понятны слова твоей дочери, которые я принимал за выдумку больного воображения: «Дедушка — единственный религиозный человек, который встретился мне в жизни». Бедняжка Янина приняла всерьез туманные устремления и мечтанья этого ипохондрика. Враг своих близких, чело-

век, ненавидимый всеми, никогда не имевший друзей и, как ты увидишь из его записей, несчастный в любви (тут есть комические подробности), ревнивец, который не мог простить своей жене невинного девичьего флирта, — неужели он к концу жизни стал искать утешения в молитве? Нисколько не верю такому обращению; из тех строк, где об этом говорится, явствует другое: перед нами ярко выраженное умственное расстройство, мания преследования, навязчивые идеи помешанного, принявшие религиозную форму. Тебе может прийти мысль: а не было ли тут настоящей христианской веры? Нет. Говорю это совершенно уверенно, ибо в таких вопросах я хорошо разбираюсь и знаю, чего стоит подобное благочестие. По правде сказать, лжемистицизм отца вызывает у меня непреодолимое отвращение.

Как женщина, ты, возможно, отнесешься к этому иначе. Однако, если ты готова поверить нежданной религиозности отца, вспомни, что он поразительно умел ненавидеть, но любить мог только назло кому-нибудь. В исповеди он расписывает свои религиозные порывы, а на самом деле преподносит нам прямую или косвенную критику тех принципов, в которых мать

воспитывала нас с самого детства. Он ударился в неистовый мистицизм лишь для того, чтобы ему удобно было нападать на разумную, умеренную набожность, которую в нашей семье всегда уважали. Истина — это равновесие... На этом я кончаю, не буду развивать дальше своих мыслей и утомлять тебя долгими рассуждениями. Я сказал обо всем достаточно, сама ознакомься с записями. С нетерпением жду ответа. Хочется поскорее узнать твои впечатления.

Места осталось мало, а надо еще ответить на твои вопросы о вещах очень важных. Дорогая Женевьева, мы переживаем сейчас период кризиса, и нам нужно разрешить чрезвычайно острую, тревожащую нас проблему — как быть с наследством? Если мы будем хранить в сейфе пачки банковых билетов, то придется проживать свой капитал, а ведь это истинное несчастье. Если же купить на бирже процентных бумаг и стричь купоны, тоже радости мало: курс ценных бумаг непрерывно падает. А раз уж, так или иначе, приходится нести убытки, то разумнее всего сохранить кредитные билеты Французского банка; франк стоит нынче только четыре су, но все же он обеспечен огромным золотым запасом. Отец видел все это очень ясно, и мы должны следовать

его примеру. У французов укоренилась весьма опасная наклонность во что бы то ни стало помещать свой капитал в какое-либо предприятие; с этим соблазном, дорогая Женевьева, борись изо всех сил. Жить надо, конечно, не на широкую ногу, а соблюдать строжайшую экономию. Если тебе понадобится совет, я всегда в твоем распоряжении, — ты это знаешь. Несмотря на тяжелые времена, могут иной раз представиться случаи выгодно поместить капитал; я сейчас очень внимательно слежу за одной маркой коньяка и анисовой водкой: в торговых делах такого типа кризиса не будет. И, по-моему, нам нужно смотреть в эту сторону, действовать смело и вместе с тем осторожно.

Очень рад приятным вестям о Янине. Сейчас нечего бояться накатившей на нее чрезмерной набожности. Важно то, что она отвлеклась от постоянных мыслей о Фили.

Все остальное само собой придет в норму: Янина из нашей породы, а у нас всегда умели не злоупотреблять самыми лучшими удовольствиями.

До свидания, дорогая Женевьева. В среду увидимся.

Твой любящий брат

***Гюбер.***

. . . . . .
. . . . . .

***Янина — Гюберу***

Дорогой дядя!

Прошу Вас — рассудите нас с мамой. Она отказывается дать мне дедушкин «дневник». По ее словам, стоит мне прочесть его, и от моего преклонения перед дедушкой ничего не останется. Но если она так оберегает дорогую мне память, зачем же она твердит каждый день: «Ты и представить себе не можешь, как плохо он отзывается о тебе!.. Даже твою наружность не пощадил!» Еще больше меня удивляет то, что она очень охотно дала мне прочесть Ваше письмо, в котором Вы комментируете этот «дневник»...

Устав бороться со мной, мама наконец сказала, что даст мне прочесть дедушкины записи, если Вы сочтете это уместным, — она всецело полагается на Вас. И вот я взываю к Вашему чувству справедливости. Прежде всего позвольте сразу же устранить препятствие, которое касается лично меня: как бы жестоко дедушка ни судил обо мне в своем «дневнике», я уверена, что сама я

осуждаю себя еще строже. Главное же, я уверена, что его суровость не относится к той несчастной женщине, какой я была, когда жила близ него в Калезе всю осень, до самой его смерти.

Простите меня, дядя, но я никак не могу согласиться с Вами в одном, очень существенном вопросе: я единственный свидетель последних недель жизни дедушки и знаю, каковы были его чувства в то время. Вы осуждаете его туманную и нездоровую религиозность, однако позвольте Вам сказать, что в Калезе он трижды встречался с приходским священником (один раз в конце октября и два раза в ноябре). Отчего Вы не хотите спросить у священника об этом? По словам мамы, в «дневнике», где дедушка отмечает даже мелкие события своей жизни, ничего не говорится об этих встречах, а если б с ними был связан перелом в душевной настроенности дедушки, о них непременно было бы написано. Но ведь мама говорит также, что «дневник» прерван на середине слова; несомненно, смерть постигла дедушку в ту минуту, когда он хотел сказать о своей исповеди. И напрасно было бы возражать, что если он получил отпущение грехов, то пошел бы к причастию. Я помню, какие слова мне говорил дедушка за день до своей смерти: его преследовала

мысль, что он еще недостоин принять причастие, бедняжка решил подождать до Рождества. Ну почему Вы мне не верите? Почему думаете, что у меня галлюцинации? Было именно так, как я утверждаю: в среду, за день до смерти, в гостиной своего дома в Калезе он говорил со мной об этом желанном для него рождественском дне; у меня все еще звучит в ушах его голос, полный тоски, быть может, уже угасающий, тихий голос.

Успокойтесь, дядя, я не собираюсь превращать дедушку в святого. Я согласна с Вами — он был странный, а иногда просто ужасный человек. И все же в последние дни жизни в нем совершилось просветление. И ведь только он один обхватил руками мою голову и силой отвратил мой взгляд от…

А не кажется ли Вам, что Ваш отец был бы совсем другим человеком, если б и мы были иными. Не думайте, что я хочу бросить в Вас камень; я знаю Ваши достоинства, знаю, что дедушка был очень несправедлив к Вам и к моей маме. На наше несчастье, он принимал нас за примерных христиан… Пожалуйста, не спорьте. После смерти дедушки я свела знакомство с людьми, у которых есть свои недостатки, свои слабости, но они живут так, как им велит их вера, и они полны

милосердия. Если бы дедушка жил среди таких людей, быть может, он уже давно бы увидел те врата, к которым он подошел лишь накануне смерти.

Повторяю, я не хочу обвинять все наше семейство, чтобы оправдать его неумолимого главу. Главное, я не могу забыть, что пример бабушки должен был бы раскрыть ему глаза, а он так долго стремился лишь к одному — отомстить за свою обиду. Но позвольте мне сказать в заключение, почему я все-таки считаю его правым перед нами: ведь там, где были сокровища наши, там было и сердце наше — мы думали только о наследстве, которого боялись лишиться. Конечно, у нас было достаточно оправданий: ведь Вы, например, финансист, а я слабая женщина… А все-таки у нас у всех, кроме бабушки, жизнь не соответствовала нашим принципам. Уста наши говорили «верую», а мысли, желания и поступки не были связаны корнями с этой верой, которую мы исповедовали на словах. Все силы души у нас устремлены были к обладанию материальными благами, тогда как дедушка… Поймете ли Вы меня, если я скажу, что сердце его было не там, где были его сокровища. Я готова поклясться, что его «дневник», который мне не дают прочесть, неопровержимо свиде-

тельствует об этом.

Надеюсь, дядя, на Вашу чуткость и с полным доверием к Вам жду ответа.

***Янина.***

**1932 г.**